БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ИММАНУИЛА КАНТА

МЕЖДУ МИРОМ И ЯЗЫКОМ: СМЫСЛ И ТЕКСТ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Монография

Под редакцией С. Т. Золяна и Г. Л. Тульчинского

Издательство
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
2021

УДК 165; 81
ББК 87.22
М43

Рецензенты

М. В. Ильин, д-р полит. наук, канд. филол. наук, проф.;
И. Б. Микиртумов, д-р филос. наук, проф.

Авторский коллектив

С. В. Герасимов (разделы 11, 12), *С. Т. Золян* (Введение, разделы 1—6, 9, Вместо заключения), *Ж. Р. Сладкевич* (разделы 15—17, Вместо заключения), *В. Э. Согомонян* (разделы 13, 14), *А. А. Тесля* (раздел 18, Вместо заключения), *Г. Л. Тульчинский* (разделы 7, 11, Вместо заключения), *Е. С. Фидря* (раздел 10)
В подготовке материалов к печати принимала участие *Т. В. Белецкая*

М43 **Между миром и языком: смысл и текст в коммуникативном пространстве** : монография / под ред. С. Т. Золяна и Г. Л. Тульчинского. — Калининград : Издательство БФУ им. И. Канта, 2021. — 435 с.
ISBN 978-5-9971-0672-0

Монография посвящена семантике и коммуникации — неделимым аспектам когнитивных процессов взаимоотображения мира и языка. Традиционно эти два аспекта информационных процессов в теоретическом аспекте оказываются разделены: семиотика и семантика занимаются изучением знаков и значений, рассматривая их в отрыве от процессов коммуникации, в то время как теория коммуникации стремится утвердить себя как универсальную дисциплину, изучающую механизмы передачи информации безотносительно к ее содержанию. Между тем именно текст есть и знак, и единица коммуникации (сообщение), и структура (форма организации информации). В книге с разных позиций и на различном материале рассматривается кардинальная проблема — динамические аспекты смысло- и текстообразования, в первую очередь механизмы создания новых смыслов и функционирования текстов в различных контекстах.

Рассчитана на специалистов в сфере гуманитарного знания и всех интересующихся проблемами социально-культурных практик, семиотики и коммуникации.

Исследование осуществлено в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в рамках поддержанного Российским научным фондом проекта №18-18-00442 «Механизмы смыслообразования и текстуализации в нарративных и перформативных дискурсах и практиках (применительно к авто- и метарепрезентациям «себя» и «другого» в социальной и политической коммуникации)».

УДК 165; 81
ББК 87.22

ISBN 978-5-9971-0672-0
© БФУ им. И. Канта, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение (*С. Т. Золян*) 4
1. Семиотика как органон гуманитарного знания: возможности и ограничения (*С. Т. Золян*) 9
2. Знак и смысл — вариации в модальном ключе (*С. Т. Золян*)..... 22
3. Между миром и языком: текст и принципы его описания (*С. Т. Золян*)..... 45
4. Антропо-, слово- и текстоцентричные лингвистические описания (*С. Т. Золян*) 53
5. «Образ мира, в слове явленный»: текст как объект иконической семиотики (*С. Т. Золян*) 66
6. Текст: семантика и семантизация (*С. Т. Золян*)..... 80
7. Стратификационные семантические модели текста: «глубокая семиотика» и «стереометрическая семантика» (*Г. Л. Тульчинский*) 100
8. От смысла действия к «смыслу как таковому»: концепции смыслообразования Вебера и Лумана в семиотической перспективе (*С. Т. Золян*) 133
9. О взаимодействии социальных и языковых смыслов: опыт гибридной семантики (*С. Т. Золян*) 166
10. Факторы и логики реконструирования смысла политического текста в условиях когнитивной и интерпретационной неопределенности (*Е. С. Фидря*) 190
11. Наррация как смыслообразующий фактор (*С. В. Герасимов, Г. Л. Тульчинский*) 208
12. Формирование нарратива из перформатива в публичных коммуникациях (*С. В. Герасимов*) 252
13. Трансформация коммуникативных характеристик политического дискурса в современном информационном пространстве (*В. Э. Согомонян*) 265
14. Символические комплексы массовой культуры и семиозис политического дискурса в современном обществе (*В. Э. Согомонян*) 286
15. Смыслообразовательные механизмы конструирования медиаобразов: Россия на обложках польских журналов (*Ж. Р. Сладкевич*)..... 292
16. Механизмы смыслопорождения в медиапрактиках (на примере социальной рекламы) (*Ж. Р. Сладкевич*)..... 309
17. Медиаобраз Сан-Эскобара в пространстве вымышленных миров (*Ж. Р. Сладкевич*) 323
18. Семантика и прагматика общественно-политических дискурсов и практик: взгляд в прошлое (*А. А. Тесля*)..... 343
Вместо заключения. Смысл в жизни и смысл в тексте 365
Список литературы 388
Именной указатель 414
Предметный указатель..... 430
Сведения об авторах 435

ВВЕДЕНИЕ

0. Основная проблема, которая будет рассматриваться в настоящем коллективном исследовании, — что есть смысл и как он порождается. Человеческая деятельность основана на таких ценностях, как смысл и значение. Деятельность и действительность (а также все формы их проявления и репрезентации — культура, история, литература, искусство, политика, право и т. п.), могут быть рассмотрены как смысловые ансамбли. Вопросы смысла в той или иной форме являются объектом изучения как всего комплекса гуманитарного знания в целом, так и отдельных гуманитарных дисциплин. Но вместе с тем каждая из этих дисциплин подходит к проблеме смысла со своих позиций, используя собственный методологический инструментарий. Поэтому остается недостаточно проясненной проблема — а что же объединяет эти столь различные «смыслы смысла», или «значения значения» (в первую очередь, это различие между пониманием смысла как сущности, функции, цели некоторого объекта или явления, и смыслом как семиотической характеристикой знака или текста). Более того — само наличие этой объединяющей сферы еще требует обоснования. Так, было бы абсурдом сводить «смысл истории», как он понимается в философии истории, к лингвистическому содержанию некоторого текста. Например, считать смыслом всеобщей истории семантическую макроструктуру, которую можно извлечь из книги под названием «Всеобщая история». С другой стороны, было бы академическим обскурантизмом игнорировать так называемый *лингвистический поворот* (linguistic turn) в философии истории, благодаря которому была продемонстрирована зависимость интерпретации истории от тех или иных дискурсивных и нарративных практик, семантических схем, в которых она истолковывается, и, в конечном итоге, лингвистических форм, в которых выражается то или иное понимание исторических событий. То же можно сказать применительно к соотношению между смыслами лингвистическими и социологическими, лингвистическими и политологическими, культурологическими, и т. п. Меж- и трансдисциплинарное описание подобных сходств и различий, точек соприкосновения и отталкивания может выявить некоторую общую модель различных форм проявления семантики и семантизации и обеспечить возможность для взаимопонимания между различными гуманитарными дисциплинами.

1. В то же время следует учесть, что вышеуказанные смысловые ансамбли существуют не как статичные системы, а скорее как динамические процессы. Возникает задача не только нахождения общего знаменателя между различными смысловыми системами, но также и между семантикой и коммуника-

цией, представляющей семантику в процессе коммуникации или, точнее, семантику как процесс и как коммуникацию. Человеческая деятельность есть непрерывный процесс порождения, обмена и преобразования ценностей и смыслов. В наиболее общем виде этот процесс может быть описан как коммуникация. Семантика и коммуникация являются неделимыми аспектами одних и тех же многообразных, но единых когнитивных процессов взаимоотображения мира и языка. Как правило, эти два аспекта информационных процессов в теоретическом аспекте оказываются разделены: семиотика и семантика занимаются изучением знаков и значений, рассматривая их в отрыве от процессов коммуникации, в то время как теория коммуникации стремится утвердить себя как универсальную дисциплину, изучающую механизмы передачи информации безотносительно к ее содержанию. Между тем именно текст есть и знак, и единица коммуникации (сообщение), и структура (форма организации информации). Понятие текста позволит заполнит заполнить все еще существующую в теории лакуну между семиотикой и коммуникацией. Однако, как это ни парадоксально, несмотря на не поддающееся учету множество исследований, само понятие текста все еще нуждается в прояснении: далеко не ясно*, что есть текст и как он организован*. Можно предположить, что проблема заключается в неадекватности той методологии, посредством которой пытались объяснить природу и структуру текста. На наш взгляд, для этого требуется, чтобы были уяснены и эксплицитно описаны принципы и методы новой лингвистики и новой семиотики — такие, в которых текст (а не слово) был бы исходным понятием. Между тем, как мы попытаемся показать, эти принципы и методы уже давно сформулированы и хорошо известны. И хотя они и не были до сих пор представлены в виде целостной теории, но вполне допускают подобное обобщение.

2. Из всех факторов социальной организации и коммуникации языку принадлежит особое место — помимо очевидной функции быть средством коммуникации язык является важнейшим компонентом личной (персональной) и коллективной идентичности, он имеет огромное символическое значение во всех социальных и культурных практиках, создает основу для социальной солидарности и взаимопонимания внутри общества. Согласно Майклу Хэллидею, язык и есть социальная семиотика, в которой общество описывает себя и конституирующие его смыслы [Hallyday 1978]. Однако раскрыть этот потенциал языка и коммуникации лингвистика будет в состоянии, только рассматривая проблему комплексно и в трансдисциплинарном ключе. Необходимость применения основанного на семиотических методах трансдисциплинарного аппарата диктуется еще и тем, что при всей важности языка в коммуникации, он не является единственным и, более того, практически всегда выступает в различной соотнесенности с другими семиотическими инструментами и каналами коммуникации. Другие модусы коммуникации, такие как жесты, движения, образы, нечленораздельные звуки и т. п., также являются ключевыми компонентами для продуцирования смыслов и конструи-

рования социальных миров. Раскрытие полного потенциала коммуникации возможно только при использовании потенциала (социальной) семиотики, философии, культуры, социологии и т. п. И напротив, без лингво-семиотического инструментария процессы порождения и передачи смыслов останутся без должной экспликации.

В этом отношении одним из подобных трансдисциплинарных мостов может стать социальная семиотика. В данном случае из различных механизмов смыслообразования будут рассмотрены связанные с выражением таких смыслов, которые могут быть названы социальными, то есть детерминированными некоторыми социальными конвенциями и институтами. В этом плане может оказаться плодотворной лотмановская концепция семиосферы, предполагающая взаимодействие и пересечение различных подобластей и языков [Лотман 1984].

Конкретные описания тех или иных лингвистических средств создания новых смыслов нуждаются в понимании самих философских основ семиотики социума и семантики языка. В дополнение к существующим необходимы теории, описывающие процессы порождения новых смыслов. Наряду с аксиоматикой Платона — Декарта, основанной на идее припоминания или же рекомбинации уже известного, должна существовать параллельная, фундаментом которой можно считать положение о возможности порождения нового знания в процессе коммуникации — посредством как семантической деривации, так и образования новых концептуальных схем.

Идею подобной альтернативной семантики прекрасно выразил А. С. Пушкин:

> Смѣшно как вѣруютъ у насъ каждой шуткѣ. К.<нязь> В.<яземскій>, оправдывая излишество эпитетовъ, [дѣлающих] столь вялыми русскиіе стихи, сказалъ очень забавно: что всѣ существ<ительные сказаны> и что намъ остается <заново оттѣнивать ихъ прилагательными> и проч. Добро<совѣстные?> люди задумались и важно стали доказывать, что и глаголы, и дѣпричас<тия> и проч.<ия> части рѣчи давно уже сказаны. Если все уже сказано, зачѣм же вы пишете? чтобы сказать красиво то, что было сказано просто? жалкое занятіе! нѣт, не будем клеветать разума человѣческого — неистощимого в соображеніяхъ понятій, какъ языкъ неистощимъ въ соображеніи словъ (А. С. Пушкин, 1827)[1].

Оставшаяся в черновых записках мысль Пушкина получает свое подтверждение не только в художественном творчестве, но и в современной теории социальных систем:

[1] Черновики статьи «Отрывки из писем, мысли и замечания», напечатанной в альманахе «Северные цветы» на 1828 г. (вышел в свет 22 декабря 1827 г.), не вошли в ее беловой текст. Пушкин цитирует статью Вяземского «Сочинения в прозе В. Жуковского», напечатанную в «Московском Телеграфе», 1826 г., №5. Текст Пушкина цитируется по: [Эйхенбаум 1937: 14].

> Смысл — это продукт операций, использующих смысл, а не какое-то свойство мира, обязанное своим происхождением какому-либо творению, учреждению или источнику. Поэтому не существует никакой идеальности, отделенной от реальности фактического переживания и процесса коммуникации. Платон, правда, был прав в том, что идеи связаны с памятью. Но воспоминание не ведет назад к подлинному, почти забытому смыслу сущего, к его сущностным формам, идеям; память конструирует структуры лишь с целью одномоментного использования для подтверждения выборочности и ограничения присоединительной способности. Предположения, основанные на смысле систем, будто бы устойчивые во времени идентичности уже существовали изначально и будут существовать и в дальнейшем, и будто бы к ним можно было бы отнестись как к чему-то наличному, — являются самообманом... Смысл — и мы придаем важность этой парадоксальной формулировке — это бесконечный процесс, то есть неопределенная связь отнесений, к которой, однако, можно определенным образом получать доступ, а также воспроизводить ее [Луман 2004: 50].

Как видим, и у Пушкина, и у Лумана смыслообразование есть некоторое динамическое сопряжение наличного, «уже сказанного» и творимого, «соображаемого». В лингвистических терминах мысль Лумана можно передать следующим образом: говорящий обладает системным знанием о языке и знанием о его употреблении. Это знание: 1) основного значения слова; 2) правил изменения смыслов в зависимости от внутритекстового или экстралингвистического контекста. На основе этого системного знания возможно также и 3) умение понимать — определять тот смысл, которое данное слово имеет в том или ином социальном контексте. Можно предположить следующие принципы лингво-семиотического описания, благодаря которым языковые смыслы будут описаны не как нечто готовое, а как возникающее в результате процессов соотнесения мира и языка в процессе коммуникации. Смысл не есть нечто наличествующее в мире, оно есть новое и творимое. По аналогии с энергией (вспомним знаменитую чеканную формулировку В. фон Гумбольдта «Язык есть энергия, а не эргон»), смысл есть возобновляемый ресурс человечества. Поэтому столь существенен вопрос — как же происходит его сотворение?

Сознавая возможность и необходимость различных подходов, в данном случае мы прежде всего придерживаемся следующего. Формирование смысла понимается как результат соположения языковой и внелингвистических систем в процессе коммуникации, что может быть описано как механизм соотнесения языковых выражений текста и множества актуальных и латентных контекстов с множеством его возможных значений (интерпретаций, миров, текстов) и дискурсов (языковых игр). При таком подходе становится возможным соотнесение логико-семантических характеристик с когнитивными. Семантика высказывания текста выступает как подвижная контекстно-зависимая величина, функция от его лингвистических. когнитивных и референци-

альных характеристик. Безусловно, такое понимание служит исходным, к которому будут добавляться по принципу расширяющихся кругов дополнительные факторы и стратегии формирования смысла.

Динамический подход позволяет отразить способность языковых единиц порождать новые значения в процессе как порождения текста, так и его функционирования. Вербализация и конструирование ментальных репрезентаций рассматриваются как взаимовлияющие друг на друга многоэтапные процессы. Понимание не ограничивается операциями над знаками и текстами, есть также проблема поведения и межличностного (социального) взаимодействия. Это предполагает, что семантизация заданных языковых единиц (слов) определяется не только его смыслом внутри системы языка, но и рядом внелингвистических факторов, которые в процессе коммуникации также приобретают лингвистическую форму и потому могут быть объектом дальнейшей коммуникации («новое значение слова», «слово в данном контексте»).

Реалии современных информационных процессов привели к необходимости рассмотреть процессы передачи и порождения смыслов в условиях изменившегося коммуникативного пространства. Исходя из положения о том, что «канал есть содержание», были рассмотрены возникшие благодаря новым технологиям особенности современной политической и социальной коммуникации и их влияние на содержание публичного дискурса, в первую очередь при коммуникации «власть — общество». Это требует раскрытия связи между положением социального субъекта в пространстве социальных отношений и отношений власти и его предрасположенностями воспринимать, оценивать и действовать в контексте данных структурных отношений. Это также позволяет рассмотреть процесс конструирования и реконструирования смыслов и текстов как активный процесс согласования значения текста и его культурного, социального структурного, прагматического, политического контекстов, осуществляемый субъектом в условиях неполной определенности с учетом и опорой на множество контекстуальных факторов.

Столь многовекторное и междисциплинарное исследование стало результатом работы многопрофильного исследовательского коллектива, творческого диалога философов, лингвистов, социологов, политологов и литературоведов, представляющих академические центры Калининграда, Еревана, Санкт-Петербурга, Москвы и Гданьска. Осуществить его было бы невозможным без поддержки, оказанной Российским научным фондом, профинансировавшим проект № 18-18-00442 «Механизмы смыслообразования и текстуализации в нарративных и перформативных дискурсах и практиках (применительно к авто- и мета-репрезентациям «себя» и «другого» в социальной и политической коммуникации)», который был осуществлен в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (Калининград, Россия) под руководством С. Т. Золяна.

С. Т. Золян

1. СЕМИОТИКА КАК ОРГАНОН ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1.1. Реализуема ли программа Чарльза Морриса?

В ставшей знаменитой статье Чарльза Морриса главной заявленной целью было обосновать возможности семиотики как «инструмента» *(органона)* всех наук»:

> Семиотика, таким образом, может сыграть важную роль в деле объединения наук, хотя природу и степень участия семиотики в этом процессе еще предстоит выяснить. Но если семиотика — это полноправная наука, изучающая вещи и свойства вещей в их функции служить знаками, то она в то же время и инструмент всех наук, поскольку любая наука использует знаки и выражает свои результаты с помощью знаков. Следовательно, метанаука (наука о науке) должна использовать семиотику как органон, или орудие [Моррис 1983: 38].

Однако своей «счастливой» судьбой статья обязана, скорее, благодаря другому — тому, что в ней была систематизирована и разумно упрощена концепция Чарльза Пирса. Чарльз Моррис сделал ее возможной для практического применения, и именно в той форме, которую придал ей Ч. Моррис, она получила широкое распространение. Стали общепринятыми такие систематизированные Ч. Моррисом понятия, как семиозис, всепроникающая семиотическая триада (синтактика, семантика, прагматика), типология знаков (символы, индексы, иконы), разграничение семиотических и метаязыковых операций над знаком.

Однако, если семиотика в той форме, которую придал ей Моррис, стала хрестоматийной, то идеи Ч. Морриса о семиотике как инструменте всех наук остались без каких-либо серьезных последствий, хотя к ним периодически и возникает интерес[2]. Подобную ситуацию, на наш взгляд, нельзя считать слу-

[2] Так, помимо дискуссий последних лет, можно вспомнить показательный эпизод из истории семиотики в СССР. В 1962 г. доклад Б. А. Успенского о том, что семиотика может заменить гносеологию, послужил поводом для уничтожения уже напечатанных тезисов симпозиума по структурно-типологическому изучению знаковым систем, а семиотика оказалась если не под негласным запретом, то на полуподпольном положении. Отсюда возник и «эзопов язык» для ее обозначения. Ср.: конференции по *вторичным моделирующим системам*, «труды по *знаковым системам*»; в центральных академических изданиях того времени практически отсутствуют публикации по семиотике («москвичи» не могли публиковаться нигде, кроме как в Тарту, что и привело к формированию так называемой Тартуско-Московской школы). Столь резкую реакцию на неопубликованные тезисы Б. А. Успенского можно объяснить лишь тем, что идеологи-ортодоксы, видимо, в значительной мере разделяли эти положения, почему и видели в семиотике весьма опасное покушение на принятые в то время в гуманитарных науках догмы.

чайностью, поскольку она вытекает из и связана с самой сердцевиной концепции Морриса — понятием знака:

> …понятие знака может оказаться столь же фундаментальным для наук о человеке, как понятие атома для физических наук и клетки для наук биологических [Моррис 1983: 74].

Однако Моррис не ограничивает знак сферой «наук о человеке», для него это и инструмент любой науки («поскольку любая наука использует знаки и выражает свои результаты с помощью знаков» [Моррис 1983: 38]), и тем самым науки о науке[3], и в то же время конструкт семиотики[4], определяемый на основе ее операций[5]. Понятие знака раздваивается и множится в различных направлениях — это и объект (напр., биологический или физический). Вместе с тем это и не объект, а порождение семиозиса и вне его не существующее, и в то же время это элемент то ли самой науки, то ли ее методологического аппарата. Все эти понимания не противоречат друг другу, но они лежат в разных плоскостях и вряд ли допускают какое-либо содержательное объединение, кроме как в рамках самой программы Морриса.

Такая многомерность понятия знака делает его поистине вездесущим, оно повсюду и потому может связать все воедино:

> Понятие знака может оказаться важным для объединения социальных, психологических и гуманитарных наук, когда их отграничивают от наук физических и биологических. А поскольку, как будет показано ниже, знаки — это просто объекты, изучаемые биологическими и физическими науками и связанные между собой в сложных функциональных процессах, то объединение формальных наук, с одной стороны, и социальных, психологических и гуманитарных наук — с другой, создаст необходимую базу для объединения этих двух рядов наук с физикой и биологией [Моррис 1983: 38].

Однако подобная сводимость всего и вся воедино проблематична — именно потому, что сам Моррис всякий раз говорит о самых различных характеристиках знака. Последовательное применение такого принципа может привести к абсурду: напр., изучение химических свойств типографской краски как знаконосителя никак не приведет к обнаружению политических харак-

[3] «Метанаука (наука о науке) должна использовать семиотику как органон, или орудие... Так как ничто нельзя изучать без знаков, обозначающих объекты в изучаемой области, то и при изучении языка науки приходится использовать знаки, указывающие на знаки» [Моррис 1983: 38—39].

[4] Ср.: «Свойства знака, десигната, интерпретатора или интерпретанты — это свойства реляционные, приобретаемые объектами в функциональном процессе семиозиса. Семиотика, следовательно, изучает не какой-то особый род объектов, а обычные объекты в той (и только в той) мере, в какой они участвуют в семиозисе» [Моррис 1983: 40].

[5] «Термин “знак” — это термин семиотики в целом; его невозможно определить в пределах одной лишь синтактики, семантики или прагматики» [Моррис 1983: 44].

теристик напечатанной в газете передовицы, почему и не может служить «базой для объединения» химии и политологии. Справедливо указывая на важность выявления семиотических характеристик языка науки, Ч. Моррис неправомерно генерализирует эти свойства:

> Изучение науки может быть целиком включено в изучение языка науки, поскольку изучение языка науки предполагает не просто изучение его формальной структуры, но и изучение его отношения к обозначаемым объектам, а также к людям, которые используют этот язык... [Моррис 1983: 38].

Изучение языка и используемых знаков какой-либо науки — это лишь один из ее аспектов, а не наоборот (напр., математическая нотация или принципы картографирования в географии не предопределяют характеристики этих наук)[6]. Изучение той или иной науки предполагает, как один из ее аспектов, изучение ее языка, однако сама наука не может рассматриваться как предметная область ее языка. Между тем, согласно Моррису, «изучение науки может быть целиком включено в изучение языка науки» [Моррис 1983: 38]; «научное изучение науки есть изучение языка науки» [Моррис 1983: 38—39]. Но так может подходить только та наука, предметом которой являются знаковые системы, то есть семиотика. Подход, предлагаемый Моррисом, действительно возможен только в семиотике, поскольку она изучает не ту или иную науку в целом, а только ее знаковый инструментарий (так, например, в рамках филателистического подхода к миру можно рассматривать географию, историю, политику, искусство и т. п., как тематические разделы филателии). Однако вне его все это оказывается бессмысленным и не может оправдать претензии рассматривать филателию как метанауку или органон-интегратор).

Аппарат (можно сказать — язык) различных наук создается именно внутри них, а не заимствуется из семиотики. Единство языка (в данном случае — в самом широком смысле[7]) не есть та характеристика, которая дает основание для каких-либо содержательных выводов. Устанавливаемое семиотикой единство знаковой формы описаний, используемых другими науками[8], есть существенный результат внутри самой семиотики, но это не может стать основой интердисциплинарной интеграции. Но та же ситуация возникнет, даже

---

[6] Подобный подход уже позднее получил название *междисциплинарного редукционизма* (*«*стремление свести познание сложных явлений к познанию более простых»), с которым связан также и «методологический империализм» [Авдонин 2014: 18].

[7] Ср.: *«*Язык в полном семиотическом смысле этого термина есть любая, межсубъектная совокупность знаковых средств, употребление которых определено синтактическими, семантическими и прагматическими правилами» [Моррис 1983: 67—68].

[8] Ср.: «Задача семиотики как раз и заключается в том, чтобы разработать необходимые знаки и принципы такого исследования. Семиотика создает общий язык, применимый к любому конкретному языку или знаку, а значит, применимый и к языку науки, и к особым знакам, которые в науке используются» [Моррис 1983: 39]

если ограничиваться «узким» пониманием языка — например, все написанное на русском языке выводить из свойств русского языка и видеть в этом некую интегрирующую основу. Общность будет ограничиваться именно тем, что все эти тексты написаны на русском языке. В случае поэзии или культуры это еще имеет некоторые содержательные основания, но во всех других сферах лишено какого-либо смысла. Другое дело, что в русистике вполне резонно иметь разделы, специализирующиеся на изучении особенностей употребления русского языка в химии, биологии и т. п. Это может быть полезным при разработке терминологии, составлении учебников для иностранцев, переводе и т. п., но вряд ли приведет к какому-либо прогрессу в соответствующих науках.

Но даже и такое скромное взаимодействие между науками может и не предполагать какого-либо семиотического инструментария, а будет зависеть от содержательных факторов. Так, например, изучение человека и физиологических особенностей его артикуляционного аппарата имеет важную роль в фонетике, и на нем основана артикуляционная классификация звуков. Однако это имеет какую-либо значимость только в пределах фонетики и связанных с ней дисциплин (логопедии, методики преподавания и т. п., но не в хирургии или биологии). Но и при этом роль семиотики совершенно не ясна. Другое дело — ментальные характеристики человека и семантика языка, поскольку и то и другое основано на знаковых операциях, и здесь интегрирующая роль семиотики несомненна. Как видим, вопрос не в свойствах семиотического аппарата, а в характеристиках объекта и целях исследования. Неадекватность ситуации станет еще яснее, если перейти к формальным аспектам языков науки. В таком случае язык науки сводится к определенной системе нотации, которая уже вовсе лишена каких-либо содержательных аспектов (корпус текстов на русском, сербском, аварском, якутском и других языках, использующих кириллицу, не обладает каким-либо содержательным единством).

Заметим, что в концепции Морриса понятие знака явно доминирует над понятием языка. Язык рассматривается как производное от знаков, сами знаки имеют тенденцию формировать систему[9] (а не система определяет, что в ней является или не является знаком). Учитывая время написания статьи, естественным представляется и то, что для Морриса как семиотические объекты выступают скорее не столько языки, сколько их знаковая форма. Разумеется, в этом случае формальные языки логики и математики оказываются наиболее характерными представителями класса языков и рассматриваются как эталонные, к которым следует привести все остальные типы. Уже позднее

[9] Ср.: «Совокупность знаков имеет тенденцию превращаться в знаковую систему; это справедливо и для знаков, воспринимаемых органами чувств: жестов, музыкальных тонов и живописи; для речи и письма. В одних случаях системная организация относительно свободна и вариативна и может включать в себя подсистемы различной степени организованности и взаимосвязанности; в других случаях она относительно замкнута и стабильна, как, например, язык математики и других наук» [Моррис 1983: 47].

Л. Витгенштейн выявит и легитимизирует разнообразие языков (языковых игр)[10] и назовет язык «Трактата» лишь одной из них. Однако Моррис, как и вся современная ему наука, ориентировался именно на язык «Трактата».

При этом Моррис исходит из идеи единства всех языков, почему и выделяемые им семиотические характеристики оказываются равноприменимыми для всех областей знания. Именно вследствие ее универсализма возможны две семиотики — чистая и дескриптивная.

> Однако именно к этой цели *(*формализации семиотики. — *С. З.)* нам следует стремиться. Когда она будет достигнута, возникнет так называемая чистая семиотика (pure semiotic), которая будет включать в себя в качестве составных частей чистую синтактику, чистую семантику и чистую прагматику. В систематической форме будет разработан метаязык, с помощью которого будут обсуждаться все знаковые ситуации. Применение этого языка для описания конкретных разновидностей знаков можно было бы назвать дескриптивной семиотикой (или соответственно дескриптивной синтактикой, семантикой или прагматикой) [Моррис 1983: 44].

Нечто подобное предлагал и Альфред Тарский, разграничивавший теоретическую и дескриптивную семантику[11]. Но Тарский под языками понимал только формальные языки («совершенно точными методами мы сможем раз-

---

[10] Ср.: «Представь себе многообразие языковых игр на таких вот и других примерах:
— отдавать приказы или выполнять их;
— описывать внешний вид объекта или его размеры;
— изготавливать объект по его описанию (чертежу);
— информировать о событии;
— размышлять о событии;
— выдвигать и проверять гипотезу;
— представлять результаты некоторого эксперимента в таблицах и диаграммах;
— сочинять рассказ и читать его;
— играть в театре;
— распевать хороводные песн;
— разгадывать загадки;
— острить; рассказывать забавные истории;
— решать арифметические задачи;
— переводить с одного языка на другой;
— просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молить.

Интересно сравнить многообразие инструментов языка и их способов применения, многообразие типов слов и предложений с тем, что высказано о структуре языка логиками (включая автора “Логико-философского трактата”)» [Витгенштейн 1994: 90 (§ 23)].

[11] «Совокупность исследований семантических отношений в естественном языке в целом называют “дескриптивной семантикой”. Отношение между теоретической и дескриптивной семантикой аналогично отношению между чистой и прикладной математикой или, может быть, между теоретической и эмпирической физикой» [Тарский 1998: 126].

вивать семантику единственно языков формализованных*»),* то есть уже разработанные языки логики и математики, а не те, которые, по Моррису, в дальнейшем должны были быть созданы в недрах семиотики.

Между тем, в свете высказанного, возникает вопрос — а какими единицами и правилами будет оперировать эта «чистая» семиотика? Возможно, эта «чистота» должна привести к созданию новых формальных языков — напр., математической семиотики (хотя и трудно представить, чем она будет отличаться от существующей математической лингвистики). Но, как показал опыт математической лингвистики, она есть ответвление математической логики, и нет никаких оснований утверждать, что описание естественных языков есть приложение моделей математической лингвистики к конкретным случаям (подобные идеи можно было встретить разве что на заре возникновения этой дисциплины).

Если же эта «чистота» должна быть достигнута эмпирически, путем выделения общих закономерностей различных знаковых систем, то, как нетрудно было убедиться, чем более высокого порядка «общности» вовлекаются в рассмотрение, чем «чище» семиотика, тем она бессодержательнее, и такое индуктивное «восхождение» (или «очищение») не может привести также и к формализации.

Как видим, все поставленные Моррисом вопросы вполне правомерны в рамках самой семиотики. Моррису удалось разработать теоретические основы семиотики и наметить возможность ее приложений, но его главная задача — в той форме, в какой ставил ее сам Моррис, видевший в ней не только отдельную наук, но и «Новейший органон», требует значительных уточнений.

1.2. Дело о «Семиотике как “органоне” наук»: сэр Френсис Бэкон против Чарльза Морриса

Слово «Органон» часто встречается в статье Ч. Морриса, один из разделов назван «Семиотика как органон наук». Безусловно, это наименование отсылает к двум великим «Органонам» — Аристотеля и Френсиса Бэкона (1620). Однако в самой статье упоминается лишь одна из составляющих аристотелевского Органона — книга «Об истолковании», имеющая непосредственное отношение к теории знаков. Между тем, если можно найти хоть косвенную отсылку к «Новому Органону», то это, на наш взгляд, взятая как эпиграф цитата из Г. Лейбница:

Никто не должен бояться, что наблюдение над знаками уведет нас от вещей: напротив, оно приводит нас к сущности вещей.

Этот эпиграф можно рассматривать как полемический ответ на «антисемиотизм» «Нового Органона», видевшего в знаках источник заблуждений. Френсиса Бэкона нередко причисляют к предтечам современной семиотики. Это имеет веские основания, однако его интерес к знакам — это скорее подход врача к изучению опасной болезни, чтобы найти средства для ее лечения

(если это только возможно)[12]. Его классификация знаков основана на том, в какой мере различные типы знаков в большей или меньшей степени приводят к заблуждениям; они разграничиваются по степени их «испорченности»[13]. Уже первый тезис «Нового Органона» антисемиотичен: человек — истолкователь непосредственно *природы:*

> Man, being the servant and interpreter of Nature, can do and understand so much and so much only as he has observed in fact or in thought of the course of nature. Beyond this he neither knows anything nor can do anything (Человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько постиг в ее порядке делом или размышлением, и свыше этого он не знает и не может) [Бэкон 1978: 12 (§ I)].

Почему и любое иное, помимо эмпирического, знание, основанное на знаках, оказывается неадекватным и ведет к заблуждениям. Это и есть знаменитые «идолы» Бэкона, с которыми должна бороться наука. Два идола имеют непосредственное отношение к лингвистике и семиотике — это *идолы площади* и *идолы театра*. Первый идол — порождение языка, второй — порождение основанных на языке иных знаковых систем (коннотативных или вторичных моделирующих), на основе которых создаются основанные на знаковых средствах семиотические миры («вымышленные и искусственные миры»)[14]. Особо опасен язык, порождение толпы, с которым бессильны бороться и «ученые мужи»:

> Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, *идолами площади*. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям [Бэкон 1978: 19—20 (§ XLIII)].

---

[12] Пусть и метафорически, но воздействие языка на науку Бэкон описывает как неизлечимый недуг (или неисправимое зло): «Отсюда и получается, что громкие и торжественные диспуты ученых часто превращаются в споры относительно слов и имен, а благоразумнее было бы (согласно обычаю и мудрости математиков) с них и начать для того, чтобы посредством определений привести их в порядок. Однако и такие определения вещей, природных и материальных, не могут исцелить этот недуг (cure this evil), ибо и сами определения состоят из слов, а слова рождают слова» [Бэкон 1978: 25 (§ LIX)].

[13] «Тем не менее в словах имеют место различные степени негодности и ошибочности» (There are, however, in words certain degrees of distortion and error) [Бэкон 1978: 26 (§ LX)].

[14] «Их мы называем *идолами театра*, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры» («...so many stage plays, representing worlds of their own creation after an unreal and scenic fashion...») [Бэкон 1978: 20 (§ XLIV)].

Предвосхищая попытки логиков и философов XX в. (в том числе и Ч. Морриса) предпринять логико-семантический анализ языка и конструирование некоторого идеального языка, служащего адекватным отображением действительности, Ф. Бэкон справедливо предрекает их неудачу. Его точка зрения скорее ближе к точке зрения сторонников теории лингвистической относительности, причем в ее радикальной форме:

> Но тягостнее всех идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных для разума толпы. Когда же более острый разум и более прилежное наблюдение хотят пересмотреть эти границы, чтобы они более соответствовали природе, слова становятся помехой [Бэкон 1978: 20 (§ XLV)].

Причина «непобедимости» идолов площади — это не только то, что их воздействие неявно и их обнаружение требует особого анализа, но, что еще более опасно, поскольку неустранимо, — то, что борьба со словами ведется посредством самих слов. По сути, Фр. Бэкон вплотную подошел к проблеме необходимости конструирования особого метаязыка для анализа языка-объекта, а его анализ классов слов на основе их референциальных характеристик предвосхищает многие положения логической семантики (имена несуществующих вещей; имена существующих вещей, но неясные; плохо определенные имена, требующие контекстуализации и т. п. [Бэкон 1978: 25—28 (§ LX—LXI)], но с противоположной целью — дискредитировать саму возможность описания мира посредством языка.

Практически то же, но в более мягкой форме относится к идолам театра (иногда называемые также идолами *теорий — system*). Они создаются коллегами-философами:

> Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры... При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности [Бэкон 1978: 19 (§ XLIV)].

Они менее опасны, поскольку являются продуктом воображения образованных людей, а их воздействие носит явный характер[15]. Поэтому эти за-

[15] «Идолы театра не врождены и не проникают в разум тайно, а открыто передаются и воспринимаются из вымышленных теорий и из превратных законов доказательств» [Бэкон 1978: 26 (§ LXI)].

блуждения проще подаются опровержению (поскольку порождены неверным способом доказательства либо же допускают процедуру верификации [Бэкон 1978: 27 (§ LXI)]. Однако даже это не спасает от появления все новых идолов театра (или новых спекулятивных теорий):

Идолы театра или теорий многочисленны, и их может быть еще больше, и когда-нибудь их, возможно, и будет больше [Бэкон 1978: 27 (§ LXII)].

Хотя идолы театра создаются философами, постоянные аналогии с комедиями, сказками, историческими повествованиями и т. п. позволяют распространить подход Фр. Бэкона и на другие, различными семиотическими средствами описывающие мир (в том числе и возможные миры) знаковые системы.

В свое время, будучи обвиненным во взяточничестве, Френсис Бэкон в оправдание привел неотразимый аргумент, который во многом способствовал весьма мягкому наказанию для него: получаемые им подношения не влияли на объективность его вердиктов, и по многим делам его приговоры были против тех, от кого он до этого принимал подарки. В данном случае ситуация обратная — тот суровый вердикт, который Бэкон выносит семиотическим порождениям, идолам площади и идолам театра, оказывается ценнейшим подарком, преподносимым им семиотике, — он определяет сферу действия семиотики как Органона. В этом он прекрасно дополняет программу Ч. Морриса — обосновывая роль семиотики как органона (но не всех, а только гуманитарных наук) и тем самым снимая вышеперечисленные претензии на ничем не ограниченный радиус применения этого инструмента. Без только мешающего ей «методологического империализма» семиотика есть именно тот инструмент, который адекватен для описания идолов площади и идолов театра — то есть всех тех конструктов (знаковых объектов), существование которых обусловлено не природой, а некоторыми знаковыми операциями — говоря процитированными выше словами Бэкона, «вследствие предания, веры и беззаботности» и «порождающего их общения и сотоварищества людей».

1.3. Новая семиотика как сверхновый органон

«Новый Органон» Бэкона очерчивает сферу, которая противостоит точному знанию — это идолы театра и идолы площади. Между тем это именно та сфера, в которой реальность и ее знаковое конструирование оказываются неразрывно связаны. Языковой знак нельзя отделить от выражаемого им смысла — вне этого он перестает быть знаком. Однако и смысл может существовать только будучи выражен в некоторой знаковой форме. Описание неотделимо от того, что описывается. Это напоминает разграничение субъективного и объективного, но только отчасти, поскольку здесь ключевым оказывается не столько вопрос существования, сколько конструирования. Это те сферы человеческой деятельности, а также те науки, где объект и метод взаимосплетены и где субъект знаковой деятельности не может принять позицию, которую предполагает бэконовский «истолкователь», — истолковывать непосредственно природу, а не созданные другими ее описания.

Лингвистика и философия XX в. показали, что язык есть не столько инструмент описания действительности, сколько механизм и форма ее конструирования. Соответствующие различным социальным функциям различные модусы употребления языка приводят к формированию различных типов реальности, точнее представлений о ней. Некоторые типы реальности могут быть отделены от языка, на котором они описываются, — например, физическая; некоторые существуют только как языковая структура — например, поэтическая. Но во всех случаях очевидно, что: 1) представление о реальности (представление реальности) не существует вне выражающего его языка и 2) любая реальность получает какой-либо социально значимый смысл и значение, только будучи выражена в языковых структурах, вне которых абсурдно говорить о смысле какого-либо исторического события или же физического явления, поскольку человеческая деятельность есть непрерывный процесс порождения, обмена и преобразования ценностей и смыслов. Поэтому «истолкователь природы» неизбежно наделяет ее знаками и смыслами и преобразует ее в текст: это может быть некоторое научное или художественное описание некоторого природного явления либо же ее семиотизация (сама природа рассматривается как текст, язык которого мы должны постичь[16]).

Тем самым в процессе функционирования (коммуникации) возникает постоянное взаимодействие текстов и знаковых систем: это и тексты, порождающие новые тексты, ибо интерпретацией некоторого текста может стать некоторый другой текст, это и новые знаковые системы, множество надстраивающихся друг на другом мета- и коннотативных семиотик[17]. Это позволяет

[16] Отсюда и устойчивая метафора: мир как книга, как это прекрасно развернуто в стихах Велимира Хлебникова:

Род человечества — книги читатель,
А на обложке — надпись творца,
Имя мое — письмена голубые...
Эти горные цепи и большие моря,
Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтешь!
В этих страницах прыгает кит
И орел, огибая страницу угла,
Садится на волны морские, груди морей,
Чтоб отдохнуть на постели орлана.

Очень интересна и куда менее привычна «государственническая» версия этой метафоры, приписываемая Петру I: «Земля, наша обитаемая, есть закрытая книга; путешествие развертывает в оной листы; и сии листы суть государства, в коих внимательному оку представляются люди и народы, как буквы, слоги и строки» [Бестужев 1821: 113].

[17] Семиологические основы операций, создающих вторичные моделирующие системы, были описаны еще Луи Ельмслевом, который называл их коннотативными и метасемиотиками: «Под денотативной семиотикой мы понимаем такую семиотику, ни один из планов которой не является семиотикой. Предельно расширяя кругозор, мы

выделить сферу действия семиотики и как отдельной науки, и как органона тех наук, в которых областью референции будут, по классификации Ельмслева, семиотики первого и более высокого уровня (то есть все типы не-денотативных семиотик). Денотативные семиотики, в которых ни план выражения, ни план содержания (то есть ни денотат, ни замещающий его знаконоситель) не являются знаками, можно назвать бэконовскими, поскольку к ним приложимы требуемые его методом процедуры интерпретации.

Таким образом, следует подтвердить, что семиотика действительно может служить органоном наук, но только тех, в которых ключевыми являются понятия смысла и ценности, и где описываемое неотделимо от самого описания или создается этим описанием. Круг этих наук в общих чертах совпадает с гуманитарными. Науки, где можно разграничить объект и метод, также не могут не пользоваться знаками, но тем не менее объекты изучения данной науки (денотаты) существует независимо от нее. Это все те сферы знания и те науки, где объекты даны и могут считаться естественными (данными природой — по Бэкону), почему и сами науки оправдывают свое название естественных. В данном случае знаки имеют непосредственную референцию и могут быть заменены более точными и т. п.

В отличие от гор и океанов географа или клеток и зверушек биолога, абстрактные или ментальные объекты и отношения, социальные смыслы и ценности и т. п. не могут быть репрезентированы иначе как в знаковой форме, почему и все последующие дескриптивные или коммуникативные операции над ними будут операциями со знаками. При этом, очевидно, в результате этих операций семиотические операции будут усложняться, создавая все новые вторичные, третичные и т. д. моделирующие системы, но в целом все они будут сводиться к двум фундаментальным — ельмслевским коннотативным и метаязыковым операциям. Безусловно, это сфера идолов, рожденных коммуникацией и социальными функциями («общением и сотовариществом людей»), почему и антисемиотический эмпиризм оказывается неадекватным.

Среди денотативных и неденотативных знаковых систем несколько особняком стоят лингвистика и математика — в силу двойственного характера их семиотических средств. Среди объектов гуманитарных наук язык занимает особое место, поскольку семантика языкового знака носит двоякий характер[18], его означаемым являются и смыслы, и значения. Если первые обусловлены языком как системой и вне языка не существуют, то вторые — это ре-

можем указать, что существуют также семиотики, план выражения которых является семиотикой, и существуют семиотики, план содержания которых является семиотикой. Первую мы будем называть коннотативной семиотикой, вторую — метасемиотикой» [Ельмслев 1960: 368—369].

[18] Мы основываемся на противопоставлении Фреге “Sinn” и “Bedeutung”; первый член не представляет трудности для перевода — это «смысл» (Sense/Significance). Однако второй до сих пор не имеет общепринятого перевода. На русский его переводят то как «денотат», то как «значение». Еще больше вариантов дают английские переводы: *reference / meaning / denotation / nominatum.*

ально существующие и в этом смысле независимые от языка объекты (в данном случае можно отвлечься от модуса существования и степени зависимости от языка денотатов общих имен, имен мнимых объектов и т. д.). Тем самым язык одновременно оказывается и денотативной семиотикой, и неденотативной, почему и может выступать в функционально различных ипостасях и семиотических статусах (ср. с теорией языковых игр Витгенштейна).

Пусть в зеркально отраженной форме, но аналогичное относится и к математике. Ее абстрактные объекты также не существуют вне знаковой формы и не имеют денотатов в самой природе, однако вместе с тем они оказываются точными и универсальными моделями существующих независимо от науки математики объектов и отношений. Кроме того, правила конструирования объектов и логического вывода делают полностью обоснованным рассмотрение математики как формального языка (ср.: [Математика и семиотика 2014: 127—130]). Напомним, что к разграничению смысла и значения сам Готлоб Фреге пришел от рассмотрения составляющих основы математики утверждений тождества; впоследствии наиболее существенные для семантики открытия также были сделаны при изучении математики (теория истины и метаязыков Тарского, теорема Геделя, семантика возможных миров Карнапа, не говоря уже о вкладе Витгенштейна в теорию языка).

Как мы уже имели возможность обосновать ранее [Золян 2014а], описывая не только то, что существует, но и что могло и даже не могло существовать, семиотика из инструмента описания мира становится инструментом его создания и понимания. Думается, если «сузить» сферу действия гуманитарными науками, то идея Ч. Морриса имеет больше оснований, чем это имело место в тридцатых. Но это требует коренного изменения методологических подходов к семиотике: перехода от моррисовской формы семиотики к той, которую Бенвенист назвал семиотикой «второго поколения» [Бенвенист 1974: 89].

Ч. Моррис, продолжая подход Ч. Пирса и Г. Фреге, ориентировался на точные науки, претендующие на возможность адекватного отображения действительности посредством некоторых знаковых операций. Безусловно, в таком случае нужды в привлечении модальности не было, а возникающие трудности объяснялись несовершенством языка. Между тем, хотя знаковые системы точных наук допускали достаточно простую семиотическую интерпретацию, сами они особой потребности в семиотике как «универсальном инструменте» не испытывали: их вполне устраивал их собственный.

Но при обращении к гуманитарным наукам ситуация существенно меняется. Здесь реальность заменяется ее описаниями, модальность становится ключевым понятием (подробнее: [Золян 2014а, в]), определяющей становится семантика возможных миров и пропозициональных установок, а кажущиеся «изъяны» языка оказываются свидетельством его гибкости и полифункциональности. Естественный язык — механизм, в первую очередь, для сотворения мира (в том числе и бэконовских идолов площади и театра) и уже потом — для его описания. Та версия семиотики, которую можно назвать модальной, тре-

бует привлечения иных принципов. Она предусматривает теоретический и дескриптивный инструментарий для рассмотрения таких явлений, как соотнесенность между модальностями, проявления субъективности и так называемых объективных модусов в языке и речи, зависимость смысла и денотации от контекста, выражение и обозначение возможных и несуществующих объектов, возможность описания будущего и прошлого, в том числе и их альтернатив, и т. п. — всего, что невозможно описать средствами немодальной референтной семиотики.

Подобная семиотика будет также и контекстно-зависимой. Это касается самого определения знака — смысл и денотат знака не абсолютны, а определяются контекстом, на чем мы остановимся в следующих разделах. Неизбежная при модальном понимании смысла релятивизация денотации соотносится с релятивизацией контекстуальной, как внешне-, так и внутритекстовой. Еще одним типом контекстуальной зависимости могут быть различные конфигурации интертекстуальных отношений. Модальная семиотика может быть рассмотрена и как функциональная семиотика, семиотика в действии. Уже само описание знака и знаковых отношений, если оно берется как контекстуально-зависимая величина, имплицитно предполагает коммуникацию. При этом, как предполагал еще Э. Бенвенист, объектом «семиотики второго поколения» явится не изолированный знак, а высказывание и текст. Именно текст является формой существования возможных миров («идолов площади и театра»), которые, в свою очередь, являются семантикой текста. Тем самым модальная семиотика, не ограничиваясь изучением собственно семиозиса, или семиозиса первого уровня (конструирование знака и знаковой системы), оказывается ориентированной на описание таких процессов, как конструирование текстов, их функционирование, интерпретация, интертекстуальные отношения и т. д. Идеи, равно как и методы модальной семиотики, позволяют описывать социальные и исторические процессы так, как они осмысляются их участниками и интерпретаторами, и могут оказаться весьма существенными для выработки новых методологических концепций гуманитарных наук. Семиотика, превращающаяся из науки о знаках в науку о смыслах и текстах, выступает (процитируем емкое выражение М. В. Ильина [Ильин 2014]), как «алгебра гуманитарных наук», призванная описывать не столько знаки, сколько смыслы, тексты и интерпретации (ср.: [Фомин 2014]).

Таким образом, можно говорить об актуальности программы, предложенной Чарльзом Моррисом, но которая при этом оказывается парадоксально инвертирована. Для ее реализации

а) должно быть пересмотрено то, что признано — семиотическая теория в версии морриса;

б) признано то, что не было принято — возможность семиотики выступать как органон знания:

в) но только такого, которое создается семиотическими средствами и без них не существует.

Подобная попытка будет предпринята в последующих разделах.

2. ЗНАК И СМЫСЛ — ВАРИАЦИИ В МОДАЛЬНОМ КЛЮЧЕ

Реализуя вышеуказанные задачи, мы хотим в качестве основы для их решения предложить основные принципы такой версии семиотики, которую можно назвать модальной, — это семиотика, в эксплицитной форме использующая модальную семантику. Но перед этим необходимо уточнить, а что же есть «основные принципы семиотики», которые и подлежат пересмотру, то есть рассмотреть сами основы семиотики — так, как они намечены ее основателями. Соответственно, данный раздел будет состоять из двух частей — вначале мы попытаемся рассмотреть, что лежит в основе «классической» версии семиотики, затем — как их можно дополнить принципами и методами современной семантики, в первую очередь введя в определение знака его модальное измерение.

2.1

Безусловно, крайне затруднительно говорить о какой-либо канонической версии семиотики. Это возможно только как результат крайне поверхностного подхода, при котором игнорируются разнородность и многовекторность развития семиотики, которые изначально были заданы Ф. Соссюром, Ч. Пирсом и Г. Фреге. До сих пор неясно — а что есть семиотика? Недостаточность этого определения очевидна — уже в популярном мультимедийном учебнике для начинающих Чандлера резонно ставится вопрос — если семиотика есть наука о знаках, то что же есть знак?[19] Ответ, однако, не столь очевиден, и не только для начинающих, но и для отцов-основателей семиотики.

Само определение знака вовсе не очевидно — знак определяется посредством семиотической теории, он относится к метаязыку[20]. Утверждение «Знак

[19] «Semiotics could be anywhere. The shortest definition is that it is *the study of signs*. But that doesn't leave enquirers much wiser. 'What do you mean by a sign?' people usually ask next» [Chandler 2007: 1]. Мих. Лотман считает такое определение тавтологией [Lotman 2003].

[20] Знаки, которые используются в семиотических процессах, и знаки как понятие семиотики — это различные объекты. На это указывал еще Ч. Моррис, но он же указывал, что трудно избежать этого смешения. Ср: «Очень важно видеть различие между отношениями, присущими данному знаку, и знаками, которые мы используем, когда говорим об этих отношениях, — полное осознание этого является, быть может, самым важным общим практическим приложением семиотики. Функционирование знаков — это, в общем, способ, при котором одни явления учитывают другие явления с помощью третьего, опосредующего класса явлений. Но если мы хотим избежать величайшей путаницы, нам следует тщательно разграничить уровни этого процесса. Семиотика как наука о семиозисе столь же отлична от семиозиса, как любая наука от своего объекта… Для констатации фактов о знаках семиотика как наука

есть знак» не является полной тавтологией — казалось бы, слово «знак» употребляется двояко: первое употребление, субъектное, относится к языку-объекту, второе, предикативное, — к метаязыку. Но дело обстоит сложнее: уже первое, субъектное употребление слова «знак» зависит от теории: если есть нечто общее между громом и романом «Война и мир», то это только то, что мы рассматриваем их как знаки, и общность эта может быть установлена только в пределах семиотической теории, описывающей эти сущности как знаки. Нам представляется, что речь должна идти о двух уровнях метаязыкового употребления — уровне наблюдения / оперирования знаками и уровне описания того, чем мы оперируем как знаки. Принципиальная сложность в том, что сами по себе знаки нам не даны — они либо конструируются, либо же употребляются как знаки. Что есть знак — это одновременно и вопрос практического использования чего-либо в качестве знака, и вопрос семиотической теории, описывающей это нечто как знак. Разумеется, исторически знаки предшествуют семиотике, логически — порождаются соответствующей теорией[21]. И неслучайно, что с самого возникновения семиотики намечаются две различные версии — Ф. Соссюра и Ч. Пирса. Их обычно рассматривают как двух разделенных океаном единомышленников, различия между которыми лишь в том, что один назвал новую науку «семиологией», другой предпочел переосмыслить более традиционный термин «семиотика»[22]. Меж-

---

пользуется особыми знаками, это некий язык, на котором можно говорить о знаках… Термин “знак” — это термин семиотики в целом; его невозможно определить в пределах одной лишь синтактики, семантики или прагматики; лишь при очень широком использовании термина “семиотический” можно сказать, что все термины этих дисциплин являются семиотическими терминами» [Моррис 1983: 43—44].

[21] Так, долгое время в советской семиотике наиболее популярным было определение И. И. Ревзина: семиотика есть перенесение методов лингвистического анализа на нелингвистические объекты [Ревзин 1971]. Четко прослеживается следующая логика — если нечто, не являющееся знаком (нелингвистический объект), описывается как знак (лингвистический объект), он может рассматриваться именно так. В дальнейшем Евгений Горный продолжил эту логику: «Семиотика — это то, что люди, называющие себя семиотиками, называют семиотикой» [Горный 1996: 170]. Примечально что в таком определении изначальная тавтологичность определения знака сохраняется — но с семиотики она переходит на семиотиков. Таким образом все три определения семиотики тавтологичны: в традиционном определении тавтологичен объект (знак), в определении И. Ревзина — метод, Е. Горного — субъект. Объединение этих трех определений приводит к своеобразному *perpetum mobile* — семиотики создают метод, метод — объект, объект — людей, которые его изучают, семиотиков, и так на каждом витке будут порождаться соответствующие теории и методы.

[22] Приведем расхожее определение из Encyclopedia Britannica: “**semiotics**, also called Semiology, the study of signs and sign-using behaviour. It was defined by one of its founders, the Swiss linguist Ferdinand de Saussure, as the study of “the life of signs within society.” Although the word was used in this sense in the 17-th century by the English philosopher John Locke, the idea of semiotics as an interdisciplinary mode for examining phenomena in different fields emerged only in the late 19th and early 20th centuries with the independent work of Saussure and of the American philosopher Charles Sanders Peirce” [Britannica].

ду темтеоретические различия между Пирсом и Соссюром куда значительнее, чем различие в терминах[23]. Сегодняшняя разноголосица в понимании самих основ семиотики — отголосок изначально различных подходов к ее главному герою — знаку.

По Соссюру, знак и язык — это социальные явления:

> Следовательно, можно представить себе науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества; такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее семиологией (от греч. semeion «знак»)… Точно определить место семиологии — задача психолога [Соссюр 1977: 54].

Строго говоря, в социальной жизни функционирует не язык, а речь. Для Пирса, напротив, семиотика есть формальная система, но знак не предполагает какой-либо системы, он конкретен и тем самым неотделим от каких-либо форм социального поведения. Для Пирса семиотика — это формальное учение о знаках (философская логика), которое представляет собой «абстракцию от всех типов знаков, используемых интеллектом, способного учиться на основании опыта»[24]. Но вместе с тем определение знака конкретно (и даже — наглядно) и зависит от ситуации, а не от системы: «Для Пирса знак есть конкретный объект, субститут, который замещает другой конкретный объект» [Lotman 2003: 80]. Соответственно семантика, то есть отношение между знаком и замещаемым объектом (по Пирсу) или между означаемым и означающим (по Соссюру), получат различную интерпретацию: для Пирса это отношение между объектами, не имеющее никакого касательства к мышлению[25], для Соссюра — это исключительно ментальная сущность[26], отношение между означаемым и означающим; и то и другое являются мысленными образами.

---

[23] Ряд принципиальных отличий отмечен в: [Бенвенист 1974; Lotman 2003].

[24] Ср.: «Думается, я уже имел случай показать, что логика, в своем наиболее общем смысле, есть всего лишь иное название семиотики, квази-необходимого или формального учения о знаках. Говоря, что это учение “квази-необходимо” или формально, я имею в виду, что мы наблюдаем свойства известных нам знаков, и от этого наблюдения, путем процесса, который можно называть Абстрагированием, переходим к утверждениям, в высшей степени ненадежным (и в этом смысле совершенно не необходимым) о том, какими должны быть свойства всех знаков, используемых “научным” разумом, то есть разумом, способным учиться на опыте» [Пирс 2000: 176 (§ 227)].

[25] “Logic is *formal semiotic*. A sign is something, *A*, which brings something, *B*, its *interpretant* sign, determined or created by it, into the same sort of correspondence (or a lower implied sort) with something, *C*, its *object*, as that in which itself stands to *C*. This definition no more involves any reference to human thought than does the definition of a line as the place within which a particle lies during a lapse of time” [Peirce 1976: 54].

[26] «Мы можем изобразить язык в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий, так и в столь же неопределенном плане звучаний... Языковой знак есть двусторонняя психическая сущность...» [Соссюр 1977: 114, 99].

Но в таком случае знак определяется вне рамок собственно знаковых процессов. Семантика перестает быть лингвистической или семиотической дисциплиной и рассматривается как ветвь либо (социальной) психологии, либо математики (логики). Следовательно, можно будет говорить о двух не связанных между собой семантиках — математической и психологической[27]. Такой подход оборачивается потерей как лингвистического, так и семиотического базиса. Так, Э. Бенвенист указывает на следующее глубинное противоречие, к которому приводит последовательное развитие идей Ч. Пирса:

> Человек в целом есть знак, его мысль — знак, его эмоция — знак. Но если все эти знаки выступают как знаки друг друга, то могут ли они в конечном счете быть знаками чего-то, что само не было бы знаком? Найдем ли мы такую точку опоры, где устанавливалось бы первичное знаковое отношение? Построенное Пирсом семиотическое здание не может включать само себя в свое определение. Чтобы в этом умножении знаков до бесконечности не растворилось само понятие знака, нужно, чтобы где-то в мире существовало различие между знаком и означаемым [Бенвенист 1974: 70—71].

Выход Бенвенист видел в соссюровской концепции, определяющей знак внутри некоторой системы (структуры). Но в этом случае, на что обратил внимание Умберто Эко, предложив в качестве противовеса теорию Пирса, происходит следующее: «Иными словами, благодаря коду определенное означающее начинает соотноситься с определенным означаемым. И если потом это означаемое принимает в голове у говорящего форму понятия или же воплощается в определенных навыках говорения, то это касается таких дисциплин, как психология и статистика. Парадоксальным образом, когда семиология, кажется, вот-вот определит означаемое, в тот самый миг она рискует изменить самой себе, превратившись в логику, философию или метафизику. Один из основателей науки о знаках Чарльз Сандерс Пирс пытался уйти от этой опасности, введя понятие “интерпретанты”, на котором следует остановиться» [Эко 1998: 52]. Подобное хождение по кругу вслед за У. Эко можно было бы продолжить и в другом направлении, используя понятие отсутствующей структуры. Акцентируя необходимость знака быть включенным в какой-либо код, мы, по логике У. Эко, придем к таким нежизнеспособным абстракциям, как «код кодов» и т. п.

Как видим, постоянно возникают ситуации либо тавтологических кругов, либо же «ухода» в иные дисциплины, что предполагает использование уже иных методов, отличных от семиотических. Такая ситуация складывается, на

[27] Ср.: «Я различаю два объекта рассмотрения: во-первых, описание возможных языков или грамматик как абстрактных семантических систем, посредством которых символы связываются с аспектами реальности; во-вторых, описание психологических и социологических факторов, обусловливающих то, что некотолрое лицо или группа лиц использует именно данную семиотическую систему. Смешение этих двух объектов может привести только к путанице» [Льюиз 1983: 254].

наш взгляд, вследствие того, что абсолютизируется один из аспектов знака, и тогда возникают или тавтологические круги, или не имеющий предела самодостаточный семиозис[28]. А при разъединении этих аспектов знак теряет свои особенности, и, соответственно, семантика и семиотика утрачивают свой объект, сливаясь либо с психологией, либо с математикой.

Между тем здесь не требуется изобретать чего-либо принципиально нового. По нашему мнению, баланс между различными аспектами семантики знака, между субъективным и объективным лингвистическим и экстралингвистическим был найден еще Готлобом Фреге. Его теорию знака надо освободить от последовавших популяризаторских толкований в духе Огдена — Ричардса («треугольника Фреге»)[29] и вспомнить о той основной проблеме, которую поставил Г. Фреге: выражают ли утверждения тождества отношения между объектами или же между именами или знаками объектов, понимая под объектами как физические или же абстрактные объекты, так и мысленные представления о них [Фреге 1977: 181]? Фреге уходит от якобы очевидного «объективистского» решения — отношения идентичности устанавливаются не между объектами, а между именами объектов, то есть это семиотическое отношение. Отсюда и будут следовать ответы на вытекающий вопрос: а что есть семиотическое отношение? — есть ли это отношение между знаками (Соссюр) или же отношение между знаками и объектами (Пирс)?

Решение Фреге известно — это различные знаковые отношения, которые следует разграничить: одно есть смысл знака, другое его значение, или денотат[30]. Но, разграничивая эти отношения, Г. Фреге указывает и на соотнесенность между ними: отношение между знаком и объектом детерминировано отношением между смыслом и знаком. Тем самым эти два аспекта выступают не как независимые друг от друга семантические аспекты (как в пресловутом

[28] Ср. определение знака у Пирса — «Нечто, что определяет что-то другое (свою интерпретанту) к тому, чтобы это что-то тем же самым образом, что и оно само, относилось к некоторому объекту, к которому оно само относится (к своему объекту), причем интерпретанта, в свою очередь, становится знаком, и т. д. ad infinitum» [Пирс 2000: 218 (§303)]. В оригинале яснее: “The interpretant of a sign becomes in turn a sign, and so on *ad infinitum*”.

[29] Так называемый «семантический треугольник» следует именовать треугольником К. Огдена — И. Ричардса: он появляется в ставшей знаменитой книге «The meaning of meaning» [Ogden, Richards 1923: 11] без какого-либо упоминания Фреге (о нем говорится лишь в приложении, где дан обзор основных на то время семантических теорий — с. 273—274). В самой книге авторы говорят о «нашем треугольнике» (our triangle), а Бронислав Малиновский в помещенной там же статье называет его треугольником «Огдена — Ричардса» [Malinovski 1923: 325].

[30] Фреге противопоставляет *Sinn* и *Bedeutung*; первый член не представляет трудности для перевода — это «смысл» (Sense / Significance). Однако второй до сих пор не имеет общепринятого перевода. На русский его переводят то как «денотат», то как «значение». Еще больше вариантов дают английские переводы: reference / meaning / denotation / nominatum.

треугольнике), а как смысловые уровни. Внутрисистемное отношение, смысл (то есть как у Соссюра)[31], в свою очередь, определяет отношение между знаком и объектом (то есть как у Пирса)[32]. При этом Фреге четко отграничивает смысл как внутрисистемное явление (поскольку «смысл можно рассматривать сам по себе, то есть можно говорить о смысле как таковом» [Фреге 1977: 186]) от индивидуальных представлений, проводя «важное для нас различие между представлением, которое вызывается словом у слушающего, с одной стороны, и смыслом и денотатом слова, — с другой»[33].

2.2

Концепция Г. Фреге в определенной степени синтезирует подход и Соссюра, и Пирса, но добавляет весьма существенный аспект: как сам знак, так и его денотат определяются через смысл. Смысл понимается как явление внутриязыковое, но не замыкающееся языком: посредством смысла осуществля-

[31] Ср.: «Чтобы понимать смысл имен собственных, требуется лишь в достаточной степени владеть соответствующим языком или знать совокупность обозначений, к которой принадлежит данное имя» [Фреге 1977: 183].

[32] «В идеале соответствие между знаками, смыслами и денотатами должно быть устроено таким образом, чтобы всякому знаку всегда соответствовал один определенный смысл,…всякому знаку всегда соответствовал один определенный смысл, а всякому смыслу в свою очередь всегда соответствовал один определенный денотат; в то же время денотату (вещи) может соответствовать не один смысл, а несколько, и один и тот же смысл может выражаться разными знаками не только в разных языках, но и в пределах одного и того же языка…Знак как таковой (будь то слово, словосочетание или графический символ) может мыслиться не только в связи с обозначаемым, то есть с тем, что можно было бы назвать *денотатом* знака [Bedeutung], но и в связи с тем, что мне хотелось бы назвать *смыслом* знака [Sinn]; смысл знака — это то, что отражает способ представления обозначаемого данным знаком» [Фреге 1977: 183, 182].
«Условимся говорить, что собственное имя (слово, знак, сочетание знаков, выражение) *выражает* свой смысл и *обозначает*, или *называет*, свой денотат» [Фреге 1977: 188].

[33] Приведем пример, наглядно поясняющий, как Фреге понимает и это различие, и «объективность» смысла: «Между денотатом и представлением располагается смысл — не столь субъективный, как представление, но и не совпадающий с самой вещью, то есть с денотатом. Поясним это соотношение следующим примером. Допустим, что некто смотрит на Луну в телескоп. При этом имеют место два реальных изображения Луны: первое образуется на линзах внутри телескопа, а второе — на сетчатке глаза наблюдателя. Тогда саму Луну можно сопоставить с денотатом, первое изображение Луны — со смыслом, а второе — с представлением (или восприятием). Верно, что изображение в телескопе является односторонним и зависит от расположения телескопа, тем не менее оно вполне объективно, поскольку его могут одновременно воспринимать несколько наблюдателей. Однако изображение Луны на сетчатке глаза у каждого будет свое. В силу разного строения глаз, вряд ли можно ожидать даже геометрического подобия изображений на двух разных сетчатках, а их полное совпадение совсем исключено» [Фреге 1977: 186—187].

ется соотнесение знака с *именно его* денотатом: денотат здесь не какой-либо объект, отличный от знака (как у Пирса), — а детерминированный данным смыслом. Вместе с тем смысл знака вовсе не ограничивается отношением данного знака к другим знакам внутри данной системы (как у Соссюра) — он предполагает в качестве функции знака (функции во всех смыслах этого слова) его соотнесенность с денотатом, то есть объектом, лежащим вне знаковой системы.

Как видим, для наличия смыслов совсем не обязательно наличие объектов или же психологических или мысленных представлений об них. Более того — не может быть денотатов, если нет обозначающих его знаков — могут быть объекты, которые станут денотатами только после того, как будут обозначены некоторым знаком[34]. Тем самым Фреге создает основу для собственно семиотического и семантического подхода, не предполагающего их растворения в психологии или в логике. Но тут возникает ряд вопросов, которые отчасти были намечены и самим Фреге, уделившим им значительное место в своей работе.

В центре теории Фреге оказывается смысл, на основе которого возможно определение других семиотических явлений. Однако сам по себе смысл не играет самостоятельной роли — он есть *способ* (или *правила*) *соотнесения* знака с его денотатом. Может ли знак не иметь смысла — такой вопрос для Фреге *бессмысленен:* если нечто не имеет смысла, то невозможно соотнести его с некоторым объектом. Соответственно, не может быть смысла, который оказался бы не выраженным в знаках и характеризовал бы сам объект (очевидно, что когда мы говорим о смысле дерева или же о смысле истории, то используем слово «смысл» в ином... смысле) В то же время, по Фреге, смыслы «могут быть рассмотрены сами по себе» [Фреге 1977: 186][35]. Но если смысл есть «способ соотнесения» или отношение, то как возможны ситуации, когда отсутствует второй член отношения — денотат? В таком случае смысл

[34] Видимо, так надо понимать Л. Витгенштейна: «...слово “значение” употребляется в противоречии с нормами языка, если им обозначают вещь, “соответствующую” данному слову. То есть значение имени смешивают с носителем имени. Когда умирает господин N, то говорят, что умирает носитель данного имени, но не его значение. Ведь говорить так было бы бессмысленно, ибо, утрать имя свое значение, не имело бы смысла говорить “господин N умер”» [Витгенштейн 1994: 98 (§ 40)].

[35] Заметим, впрочем, что далеко не ясно, как в рамках теории Фреге можно рассматривать смысл «сам по себе», не релятивизируя его к знакам и денотатам. По Фреге, «косвенный денотат слова совпадает с его обычным смыслом», где под косвенным денотатом понимается денотат слов, используемых в косвенном употреблении, напр., при цитации. Однако это далеко не так: напр., в предложении «Говорят, что Петя любит Аню» денотатами этих имен будут Аня и Петя, а не смысл этих слов. Если же считать, что Фреге имеет в виду самое узкое понимание цитации, исключительно как воспроизведение слов «Аня» и «Петя», а не сказанного о них, то тогда пропадает само понятие смысла. О нефрегевском подходе к цитации и косвенным смыслам (см.: [Davidson 1975; Barwise, Perry 1981; Cresswell 1980; Золян 1989]).

оказывается явлением исключительно внутрисистемным, что не согласуется с общим подходом Фреге. Даже ограничивая себя рассмотрением в качестве знаков исключительно собственных имен, Фреге сознает, что язык устроен иначе, чем то предписывает его семантическая теория. Он сам же и описывает эти «отклонения» от постулируемого им «идеального» языка. Это: 1) зависимость смысла языковых выражений от контекста[36]; 2) наличие у имени различных смыслов[37] и, что наиболее существенно, 3) то, что имена и предложения могут иметь смысл, но не иметь денотата[38]. Все это в разной степени и по-разному, но довольно существенно колеблет сами основы теории Фреге. И если первые два еще могут быть объяснены «несовершенством» естественного языка и быть элиминированы в языке идеальном, то третье препятствие неустранимо и в идеальном языке. Видимо, поэтому ему и уделено особое внимание:

> Дело здесь в несовершенстве языка, от которого, впрочем, не вполне свободна и знаковая система математического анализа; здесь мы также встречаем выражения, которые внешне выглядят так, как будто они что-то обозначают, однако в действительности, по крайней мере до сих пор, денотат их неизвестен, например: сумма бесконечного расходящегося ряда. Этого можно избежать, если особым соглашением приписать данному выражению денотат "0". От логически совершенного языка …нужно требовать, чтобы любое выражение, образуемое как собственное имя грамматически правильным образом из уже ранее введенных знаков, действительно обозначало некоторый предмет, и чтобы в качестве собственного имени не вводилось ни одного знака, не обеспеченного некоторым денота-

[36] Ср.: «Разумеется, в действительности указанное соответствие часто нарушается. Как было только что сказано, в идеальной знаковой системе всякому выражению должен соответствовать только один определенный смысл; однако естественные языки далеко не всегда удовлетворяют этому требованию: редко бывает так, чтобы слово всегда имело один и тот же смысл в разных контекстах» [Фреге 1977: 184]. Заметим, что, на наш взгляд, адекватнее исходить из того, что контекстная зависимость семантики языковых выражений — это не исключение, а, напротив, общее правило (см. ниже).

[37] «По поводу того, что следует считать смыслом настоящих имен собственных, таких как, например, Аристотель, могут быть разные мнения. Можно, в частности, считать, что слово Аристотель имеет смысл "ученик Платона и учитель Александра Великого". Тот, кто придерживается такого мнения, извлечет из предложения (2) *Аристотель родился в Стагире* не тот же самый смысл, который извлечет из него человек, считающий, что слово Аристотель имеет смысл "*учитель Александра Великого, родившийся в Стагире*". Но до тех пор, пока значение имени остается одним и тем же, подобные колебания смысла допустимы, хотя в языках точных наук их следует избегать. В идеальном языке неопределенность смыслов нежелательна» [Фреге 1977: 183].

[38] «Далее, хотя можно предполагать, что любому грамматически правильному выражению, выступающему в роли имени собственного, всегда соответствует некоторый смысл, вовсе не всякому смыслу соответствует некоторый денотат. Например, выражение «наиболее удаленное от Земли небесное тело» имеет вполне определенный смысл, но вряд ли у него есть денотат» [Фреге 1977: 184].

том. Известно, что в логике недопустима неоднозначность выражений, ибо она является источником логических ошибок. Я полагаю, что не менее опасны псевдоимена, которые лишены денотата. История математики знает много заблуждений, которые возникли по этой причине. Псевдоимена, по-видимому, даже в большей степени, чем неоднозначные выражения, способствуют демагогическому злоупотреблению языком. «Воля народа» может служить этому хорошим примером: легко можно установить, что у этого выражения нет никакого, по крайней мере общепринятого, денотата. Поэтому мне представляется исключительно важным закрыть этот источник заблуждений — по крайней мере в науке — раз и навсегда. Тогда те недоразумения, которые мы только что рассматривали, станут невозможны, так как в таком случае наличие или отсутствие денотата у собственного имени не будет зависеть от истинности мысли [Фреге 1977: 199—200].

Как видим, ситуация, когда смыслу знака не соответствует какой-либо денотат, объясняется Фреге «несовершенством языка» и не приводит его к мысли о необходимости усовершенствования не языка, а собственной теории. Но вместе с тем Фреге допускает такое употребление языка, при котором оказывается естественной ситуация, когда предложение имеет смысл, но не имеет денотата, — это поэтический язык. Так, рассматривая предложение *Одиссея высадили на берег Итаки в состоянии глубокого сна*, Фреге замечает: «Например, при чтении эпоса нас волнуют, наряду с красотой языка, только смысл предложений и вызываемые ими представления (образы) и чувства. Вопрос об истинности этих предложений увел бы нас из сферы художественного восприятия в сферу научных изысканий. Вот почему, коль скоро мы воспринимаем поэму Гомера только как художественное произведение, нам безразлично, в частности, имеет имя Одиссей денотат или нет» [Фреге 1977: 190]. Однако и в этом случае речь, по Фреге, идет о некоторой частной форме языковой деятельности, а для имен, подобных имени «Одиссей», желательно даже иметь особый термин: «изображения» (Bilder)[39] — чтобы отличать их и от «псевдоимен», и от «настоящих» знаков.

2.3

Как мы попытались показать, основная проблема, которая не получает удовлетворительного решения в рамках теории Фреге, — это то, что у знака (имени или предложения) при наличии смысла может и не быть денотата. Необъясненной остается и возможность наличия у имени собственного нескольких смыслов. Между тем все эти проблемы получат решение, если дополнить концепцию Готлоба Фреге модальным компонентом — ввести в качестве области интерпретации (денотации) не только актуальный мир, но и возможные и невозможные миры. В принципе это уже сделано в модальной

[39] «Желательно иметь для знаков, которые должны быть наделены только смыслом, особое название, например, «изображения» [Bilder]; тогда слова, произносимые актером на сцене, будут изображениями; более того, и сам актер будет изображением» [Фреге 1977: 190].

семантике (семантике возможных миров), особенно в той ее версии, которая непосредственно направлена на описание естественных языков (Д. Льюиз, М. Кресвелл). Требуется лишь перенести выработанные подходы в семиотику, уточнив понятие знака. Поэтому, не вдаваясь в детальное обсуждение известного, продемонстрируем то, что при внесении модального компонента и множества возможных миров как области интерпретации языковых выражений ситуация меняется: при наличии смысла знак будет иметь также и денотат. Другое дело, что денотаты этих выражений могут быть локализованными в возможных или невозможных мирах и не иметь денотата в мире, принимаемом за актуальный. Так, все приводимые Г. Фреге выражения можно разбить на следующие группы:

1) Денотат имени не существует в актуальном физическом мире, но мог бы существовать. Возможность существования принято определять как существование в некоторых возможных мирах. Так, Одиссей не существует в мирах истории Греции, но он существует в мирах греческого эпоса. Единорогов не существует в зоологии, но они существуют в мифологии. Они могли бы существовать при ином течении событий.

2) Денотат выражения не существует в актуальном мире и не может существовать ни в одном из возможных миров. Например: «наибольшее натуральное число», «круглый квадрат», «самая отдаленная от земли планета». Это те случаи, когда правила сочетания смыслов приводят к ситуации, когда компоненты выражения могут иметь и смысл, и денотат, но их композиция характеризуется только смыслом. Так язык создает «псевдоимена», и их денотатом оказывается пустое множество (ноль). В таком случае все «псевдоимена», отличаясь по смыслу, будут иметь один и тот же денотат. Но это решение, которое содержится у Фреге, может быть дополнено — если в качестве области интерпретации рассматривать и невозможные миры. В таком случае денотаты этих выражений будут локализованы в различных невозможных мирах, и возможна ситуация, когда в одном из таких миров существуют круглые квадраты, но не существует наибольшего натурального числа (см.: [Хинтикка 1980; Vendler 1975; Cresswell 1983] и др.). Такой подход выявляет зависимость понятия возможных миров от используемых для их конструирования языковых средств.

3) Пусть не покажется странным, но с этой точки зрения наименее ясной оказывается то, как рассматривать такое, по Фреге, «псевдоимя», как обиходное выражение *воля народа*. Мы считаем, что подобные случаи, как и в случае художественного знака, должны быть рассмотрены как непрямое употребление знака. В данном случае необходимо специальное рассмотрение характера референции имен в политическом дискурсе, напоминающее оруэлловское двоемыслие: одновременная референция к мирам, в некоторых из которых данный референт существует, и к мирам, в которых он не существует [Золян 2010; 2016б].

4) Оказываются преодоленными колебания Г. Фреге относительно того, признавать ли за предложением *Одиссея высадили на берег Итаки в состоя-*

нии глубокого сна, наличие истинностного значения или нет. Ведь очевидно, что если отрицать за этим предложением истинностное значение, то его оценка будет такой же, как и его отрицание: *Неверно, что Одиссея высадили на берег Итаки в состоянии глубокого сна*. Между тем первое предложение следует признать истинным применительно к области его референции (гомеровскому эпосу) и языковому универсуму, включающему имя «Одиссей» как каузальную историю его различных употреблений (ср.: [Donnelan 1972]). Кроме того, если признать у имени «Одиссей» наличие денотата (см. выше), то тем самым мы признаем наличие денотата и у включающего его предложения (именно отсутствие денотата у имени «Одиссей» служило для Фреге основой для отрицания у этого предложения истинностного значения).

5) Наконец, уже к другому аспекту смысла относилась смущавшая Фреге возможность наличия у имени собственного двух смыслов. Не вдаваясь в описание хорошо известных различий между именем и определенной дескрипцией (Б. Рассел), с одной стороны, и жесткими и нежесткими десигнаторами (С. Крипке) — с другой, укажем следующее: в данном случае очевидно, что хотя у выражений «Аристотель», «ученик Платона» и «учитель Александра Великого» один и тот же денотат в актуальном мире, но они не равноэкстенсиональны: в различных возможных мирах это могут быть различные индивиды. Так, при ином течении событий Аристотель мог и не быть учеником Платона, а у Александра мог быть и другой учитель. Еще более сложную — модально-темпоральную — структуру имеет выражение «учитель Александра Великого, родившийся в Стагире» (в отличие от выражения «Аристотель родился в Стагире») — в тот момент, когда родился Аристотель, он еще не был учителем Александра Великого. Первое выражение предполагает описание из мира, будущего по отношению к миру, в котором родился Аристотель, и, соответственно, одновременную денотацию имени «Аристотель» к этим двум мирам (ср.: [Данто 2002]). И если предложение «Аристотель родился в Стагире» истинно начиная с момента рождения Аристотеля, то в тот момент в актуальном мире имя «учитель Александра Великого» еще не имело денотата, а предложение «учитель Александра Великого родился в Стагире» стало истинным спустя десятилетия. Так что и с этой точки зрения не во все моменты времени и не во всех мирах у выражений «Аристотель» и «родившийся в Стагире учитель Александра Великого» один и тот же денотат.

Как видим, все те случаи, которые Фреге склонен был объяснять «несовершенством языка», из-за чего нарушалась соотнесенность между смыслом и денотатом, получают свое решение, если предположить, что денотация знака осуществляется не только в актуальном, но и в возможных и невозможных мирах. Но такое расширение требуется вовсе не для того, чтобы получили объяснение случаи, которые вызвали трудности или же рассматривались как исключения. На наш взгляд, напротив, как раз они, выявляя то, что не столь очевидно в случае «обычных» знаков, подсказывают, что в определение знака необходимо включить и модально-темпоральное измерение.

Рассмотрим такой знак, как архитектурный чертеж здания. Безусловно, это знак, выступающий как аналог имени собственного в соответствии со всеми мыслимыми подходами к имени собственному. Что может являться его денотатом? Ответ будет зависеть от той области интерпретации, в которой мы будем искать этот денотат. Так, на стадии проектирования это будет дом-в-будущем — денотат еще физически не существует в момент проектирования, но он существует в достижимом из актуального мира возможном мире, который станет актуальным через некоторый момент времени. После постройки дома этот чертеж станет субститутом дома — например, при оформлении собственности. Если этот дом будет разрушен, этот же чертеж станет историческим фактом — домом-в-прошлом, его денотатом будет дом, который существует в тот возможном мире, который достижим из актуального мира, поскольку был актуальным некоторое время назад (ср.: [Прайор 1981]). Это временно́е отношение может быть осложнено модальным — например, если данный чертеж представлен на конкурсе, то денотатом станет дом, который *может стать домом в будущем*. Если же на конкурсе этот проект не станет победителем, то денотатом чертежа станет дом, который *мог бы,* но никогда не станет домом, то есть этому дому суждено будет существовать исключительно в возможных мирах. Можно представить и ситуацию, когда дом разрушен, но архитектор-археолог реконструирует его по сохранившимся деталям. Подобная реконструкция всегда будет носить относительный характер, поэтому денотат данного чертежа будет существовать в возможных мирах прошлого, — возможно, но не обязательно, что один из этих миров был некогда и актуальным миром. Наконец, можно представить (как на гравюрах Эшера), что дом спроектирован неправильно, и построенный по этому чертежу дом чертеж рухнет или же просто не может быть построен. Тогда денотатом знака станет дом, который не существует ни в одном из возможных миров, но существует в некоторых из невозможных.

Ситуация станет еще интереснее, если вспомним, что чертеж — это знак-икон, то есть должно быть определенное соответствие между означаемым и означающим. В данном случае это соответствие носит взаимно однозначный характер. Таким образом, будут ситуации, когда знак будет подобием того, что не только не существует, но и не может существовать. Как видим, в отличие от общепринятой точки зрения, возможны ситуации, когда не означающее должно походить на означаемое, а как раз наоборот — означающее задает то, каким должно быть означаемое, чтобы соответствовать означающему. Соответственно, далеко не всегда верно то, что знаки-иконы обращены к прошлому опыту[40].

Что же в таком является смыслом знака — чертежа дома? Меняется ли смысл во всех этих случаях, как это предполагал Фреге применительно к

[40] «Бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту. Он существует только как образ в памяти» — эту мысль Ч. Пирса из его книги «Экзистенциальные графы» воспроизводит Роман Якобсон, обобщая свою знаменитую статью «В поисках сущности языка» [Якобсон 1983: 116].

имени «Аристотель», или же остается одним и тем же? Наконец, что считать денотатом данного знака — один и тот же дом, локализованный в разных мирах, или же множество различных не сводимых друг к другу домов. Мы считаем, что смысл данного знака-чертежа есть функция, которая соотносит данный знак с соответствующим ему денотатом в том или ином мире. Денотатом этого знака будут возможные значения функции[41]: чертеж однозначно задает параметры здания. Разумеется, все соответствующие этому чертежу дома будут, хотя и локализованным в разных мирах, но одним и тем же домом. Мыслимые или реальные отличия между этими локализациями уже не будут касаться семантики данного знака (напр., в разные моменты времени этот один и тот же дом может быть окрашенным в разные цвета, быть новым или покосившимся от старости, на фоне разного ландшафта и т. п.). Разумеется, в данном случае имеется в виду денотат чертежа, а не реальный дом — в физическом отношении непостроенный или разрушенный дом отличаются от реальных домов, но рассматриваемые как денотаты чертежа они не отличимы друг от друга (вспомним Витгенштейна — денотат имени «Иван Иванович» остается тем же, даже если Иван Иванович болеет или даже, не дай бог, умер).

Это решение основано на расширении на все знаки того подхода, который принят при описании дейктических единиц: смысл дейктического выражения понимается как функция, которая применительно к любому контексту однозначно определит денотат данного выражения применительно к данному контексту. Например, местоимение «я» может указывать на различных индивидов, но его смысл при этом остается тем же — указание на того, кто применительно к данному контексту является говорящим.

Мы предлагаем перенести этот подход и на все остальные знаки — рассматривать смысл как функцию, которая соотносит знак с его денотатами во всех возможных мирах, причем денотация к актуальному миру — это лишь один из возможных случаев. Это решение может иметь две версии. Для имени собственного это будет один и тот же индивид, как в рассмотренном случае с чертежом. В случае имени нарицательного (общего имени), как и в случае семантики «Я», это могут быть и различные индивиды. Так, например, денотатом слова «стол» могут быть не только реально существующие столы, но и те, которые сгорели при пожаре, нарисованы на картине, были увидены мной во сне, столы, которые я собираюсь купить на будущий год или те, которые мне нравятся или не нравятся, — хотя все эти объекты обозначаются словом «стол», но вовсе не обязательно, что они являются одним и тем же индивидом.

Аналогично мы будем рассматривать и имена собственные. В естественном языке, в отличие от знаков, подобных чертежу, денотаты могут изменяться физически. Например, Лев Толстой в 1848 г. и Лев Толстой в 1908 г.:

[41] В данной статье мы специально использовали «денотат», а не значение, чтобы не было смешения значения-meaning и значения-value.

если судить по фотопортретам (рис. 1, 2), то это совершенно разные люди. Если в качестве знака рассматривать фотографии, то денотатом одной фотографии будет Лев Толстой в 1848 г., а другой — Лев Толстой в 1908 г.[42]

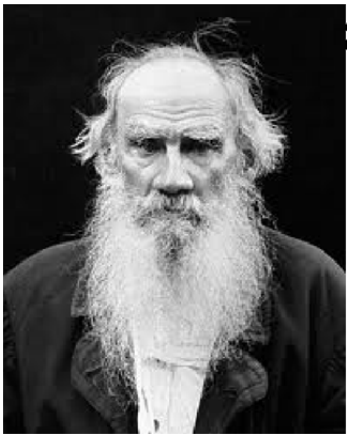

Рис. 1. Л. Н. Толстой в 1908 г.[43]

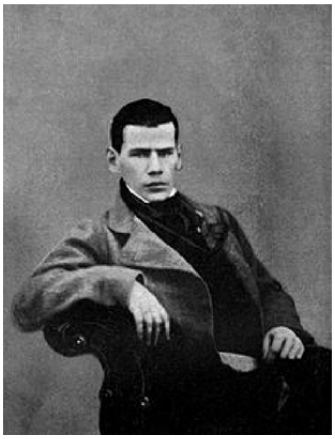

Рис. 2. Л. Н. Толстой в 1848 г.[44]

Но применительно к имени «Лев Толстой» денотатом будет один и тот же индивид, пусть и локализованный в различающихся по времени мирах: Лев Толстой в разные периоды его жизни. Имя «Аристотель» во всех мирах выделит Аристотеля, хотя это могут быть и различные индивиды (безотносительно к тому, какую семантическую версию мы принимаем — С. Крипке, Д. Льюиза или Я. Хинтикки) с различающимися биографиями — так, Аристотель будет Аристотелем и в тех возможных мирах, где ему не суждено будет встретиться с Платоном или же где не существует Александра Македонского. При этом следует учитывать гибкость языкового знака — при определенных условиях имя нарицательное может функционировать как имя собственное, и наоборот.

Однако здесь требуется дополнительные уточнения. Понимая смысл как функцию, мы должны уточнить, что является ее областью определения, или областью значения. Здесь можно принять две точки зрения. Первая, абсолютная, сегодня представлена в модальной семантике: область значения функ-

[42] Вероятно, так яснее становится идея основателя «общей семантики» Альфреда Коржибски снабдить каждое имя собственное временным индексом: чтобы за преступление молодого Смита не страдал сидящий в тюрьме пожилой Смит, или же самоубийство Смита рассматривалось бы как убийство Смита-первого впавшим в безумие Смитом-вторым [Korzybski 1958: xlii]. В основе этой идеи стремление уподобить знаки естественного языка иконам-моделям (например — фотографиям), в которых наблюдается однозначное соответствие между означаемым и означающим.

[43] URL: https://ria.ru/20101107/293350042.html (дата обращения: 01.10.2021).

[44] URL: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3947075/pub_5f7195d96e33974a01b1af f3_5f719e536e33974a01bff101/scale_1200 (дата обращения: 01.10.2021).

ции, или стратифицированная область интерпретации имени — это и есть некоторое неуточняемое множество возможных миров (начиная с пустого мира и кончая их универсальным множеством. В соответствии с ней смысл знака описывает значения функции во всех возможных и невозможных мирах и тем самым выделяет денотат данного знака в любом из этих миров (подобно Богу у Лейбница, который мог видеть все множество возможных миров и выбрать из них наилучший: например, найти денотат имени «Аристотель» в мире, в котором не было Платона). Тем самым знание семантики имени — это умение выделить данного индивида в любом из представленных для обозрения миров.

Однако за исключением случаев, относящихся к особым экстравагантным случаям (фантастика, театр абсурда, альтернативная история и т. п.), в рассмотрение может быть принято ограниченное множество возможных миров[45]. Смысл и денотат знака существуют не в вакууме, а в некотором темпорально-модальном пространстве, мире, или поле. Тем самым знак, как правило, имеет некоторую сферу денотации, определенную условиями, обсуждение которых выходит за рамки данного раздела. Если смысл знака понимается как функция, которая определена на некотором множестве возможных миров, то и границы этой сферы также следует считать компонентом семантики знака — это его модально-темпоральное измерение, или же поле[46]. Оно непроизвольно и детерминировано, с одной стороны, контекстом высказывания (где и когда), а также тем компонентом семантики о знака, которое с определенными оговорками можно назвать каузальной историей имени (С. Крипке, К. Доннеллан): цепочкой его употреблений, начиная с момента «первокрещения», первого называния, то есть памятью о предыдущих контекстах. Разумеется, границы этого поля денотации (радиус действия имени) могут быть изменены за счет создания новых текстов или же новых интерпретаций имеющихся (например, открытие новых текстов Аристотеля или исключение некоторых из приписываемых Аристотелю). Во всех этих случаях действует прагмасемантический механизм, останавливаться на описании которого в данном случае не имеет смысла. Он достаточно исследован, с одной стороны, в работах по

[45] Я. Хинтикка предложил разграничивать «возможные» миры и эпистемические альтернативы — поскольку «не все возможные миры равно возможны», то субъект, как правило, рассматривает в качестве возможных только те миры, которые совместимы с его представлениями о мире [Хинтикка 1980: 228—229].

[46] Мы используем крайне многообещающую идею Михаила Лотмана о том, что определения знаковой системы как набора элементов, правил и отношений еще недостаточно — требуется также ввести и понятие поля. Например, излюбленный пример Ф. Соссюра, шахматы — помимо описания фигур и ходов, требуется и понятие доски, которая также является некоторым набором знаков и отношений [Lotman 2012]. М. Лотман под полем понимает скорее сферу действия формальных операций, то есть синтактику, и определяет поле применительно к знаковой системе. Мы считаем уместным распространить данный подход на знак, его семантику и прагматику (последнее предполагает обращение к текстовым структурам и здесь не рассматривается).

модальной семантике и прагматике (Ю. Степанов, Р. Столнейкер, Д. Каплан, Д. Льюиз и др.), с другой — в исследованиях по интертекстуальным отношениям, цитации, прецедентным текстам, концептам и т. д.

Приведем несколько примеров, показывающих зависимость имени собственного от темпоральных характеристик. Например, во всех нижеприведенных предложениях

«Москва — столица России»,
«Москва была столицей России»,
«Будь Москва столицей России»,
«Неверно, что Москва столица России»,
«Возможно, что Москва будет столицей России»,
«Возможно, что Москва не будет столицей России»

денотаты имени «Москва» локализованы в различных мирах, поэтому все они могут быть истинными, если соответствующим образом соотнести время высказывания с данными мирами. В некоторых исторических мирах Москва была столицей России, в некоторых — нет, в будущем она может быть столицей России, но может и не быть. Эта отнесение имени «Москва» к тому или иному темпоральному миру осуществляется за счет эксплицитных (содержащихся в предложении модально-временных показателей) или имплицитных форм (времени контекста высказывания). С другой стороны, одно и то же предложение

«Москва — столица России»

может быть истинным или ложным в зависимости от контекста его высказывания — высказывается ли оно в девятнадцатом или в двадцатом веке, в мире романа Льва Толстого «Война и мир» или же в повести Кабакова «Невозвращенец» и т. п. Разумеется, оценка того или иного высказывания — это факт не только языка, но и истории России, но эта история существенна для правильного использования имени «Москва» и знания его семантики. Соотнесенность между модально-темпоральными характеристиками смысла имени и его денотата наглядно проявляется при изменении имени, а, стало быть, и смысла. Изменение имени не может повлиять на физические объекты, но изменяет не только смысл, но и его денотацию, поскольку со смыслом оказывается ассоциировано и модально-темпоральное измерение (поле, пространство, рамка) смысла. Так, переименование города никак не может повлиять на сам город, но приводит к изменению денотата. Поэтому возможны предложения: «Санкт-Петербург — это Ленинград» и «Ленинград — это Санкт-Петербург», поскольку эти два имени хоть и синонимичны (взаимозаменимы в некоторых контекстах, но не во всех), но они нетождественны и

несимметричны[47]. Употребление этих высказываний ограничено определенными контекстуальными временными рамками. «Санкт-Петербург — это Ленинград» — высказывание, истинное после 1991 г., когда Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. И напротив, высказывание «Ленинград — это Санкт-Петербург» истинно в момент от 1924 до 1991 г. Поэтому возможны и такие предложения как «Ленинград был Санкт-Петербургом» или же «Санкт-Петербург был Ленинградом». Но неверно будет: «Петроград был Ленинградом», тогда как истинно — «Ленинград был Петроградом (истинным будет — «Петроград стал Ленинградом»). Таким образом, «Санкт-Петербург», «Петроград», «Ленинград» — это разные имена одного и того же города, но при этом мы видим, что их денотат не всегда один и тот же, поскольку может быть локализован в различных временных мирах. Поэтому денотаты этих имен не тождественны, но связаны линией межмировой соотнесенности, поскольку миры, в которых они локализованы, достижимы один из другого: один мир есть мир, который был (есть, будет) этим другим миром. Что же касается обозначения одного и того же города, то нам потребуется ввести еще одно собственное имя: «город, который в разные времена назывался Санкт-Петербургом, Петроградом, Ленинградом» (как это делается в справочниках — дается нынешнее название, а в скобках — прежние). Приведенные случаи весьма похожи на приводимые Фреге как примеры имена, имеющие различные смыслы, но тот же денотат («Венера», «Вечерняя Звезда» и «Утренняя звезда»)[48]. В духе сказанного положение об идентичности у этих имен денотатов должно быть уточнено.

[47] Этот случай отличен от достаточно редких случаев так называемой абсолютной синонимии, когда имеет место полная взаимозаменимость имен: «Лингвистика — это языкознание» и «Языкознание — это лингвистика». Здесь мы не расматриваем и те смысловые отличия, которые принято связывать с так называемой «внутренней формой» слова — в предложениях «Ленинград был назван в честь Ленина», «Санкт-Петербург был назван в честь святого Петра» — эти имена перестают быть взаимозаменимыми безотносительно какого-либо временного контекста (ср. абсурдное: «Ленинград был назван в честь св. Петра»). Определение синонимии как взаимозаменимости в некоторых, но не во всех контекстах, и определение многозначности как наличие у слова двух и более рядов синонимов дано нами в [Золян 2014в]. Там же намечено и разграничение между синонимией и семантическими и прагматическими характеристиками равноинтенсиональности и равноэкстенсиональности.

[48] Один из примеров Фреге прямо показывает соотнесенность имени с временными характеристиками: Ср.: «Предположим, что у данного предложения есть денотат. Заменим в нем некоторое слово на другое слово с тем же денотатом, но с другим смыслом; это никак не должно повлиять на денотат предложения в целом. Мы увидим, однако, что выражаемое предложением суждение изменится: так, например, в предложениях (6) *Утренняя звезда — это небесное тело, освещаемое солнцем* и (7) *Вечерняя звезда — это небесное тело, освещаемое солнцем* выражены разные суждения. Если не знать, что *Утренняя звезда* и *Вечерняя звезда* суть имена одного и того же небесного тела, то одно суждение можно счесть истинным, а другое ложным. Таким

Аналогичный подход можно распространить и на имена нарицательные. В условиях конкретного речевого акта они начинают вести себя как имена собственные, указывая не на класс объектов, а на определенный объект. Можно считать, что к неизменному компоненту языкового смысла (его внутрисистемным характеристикам) прибавляется тот, который мы определили как модально-темпоральное поле, характеристики которого определяются коммуникативным контекстом (кто — кому — где — когда говорит), подобно тому, как имя «Москва» в высказывании «Москва — столица России» синхронизировано со временем контекста его высказывания. Так, в высказывании «Дом покосился» имя соотнесено с тем объектом, который имеют в виду собеседники — будь то реальные сегодняшние собеседники, исторические личности или же вымышленные собеседники из романа. Тем самым смысл имени нарицательного в речи получает дополнительные модально-темпоральные характеристики, которые определяют модально-темпоральную локализацию его денотата (мир и время). Впрочем, не только в речи, но и в языке смысл имени может иметь темпорально-модальные характеристики. Например, в предложении «Вчера я купил лапти» имя «лапти» будет интерпретировано как шутливое обозначение некоторой обуви, поскольку никак не соотносится с современными мирами. Но в контексте «Вчера в магазине сувениров я купил лапти» это же имя будет интерпретировано в соответствии со своим прямым смыслом. Аналогично, смыслы имен «кентавр», «единорог», «ведьма» и т. п. включают указание, что их область интерпретации — это сказочные и литературные миры. Поэтому возможно высказывание «Петя верит, что он убил единорога» при аномальности высказывания «Петя убил единорога». Если же коммуникативный контекст высказывания требует интерпретации имени в актуальном мире, то прямой смысл изменяется на переносный (ср.: «Иванушка-дурачок обманул ведьму» и «Начальница Ивана — ведьма»).

2.4

Мы приходим к заключению, что конституирующее знак отношение между означаемым и означающим (смысл знака, по Фреге) должно быть дополнено модальным компонентом (темпоральные отношения принято рассматривать как разновидность модальных). Это уточнение позволяет дать адекватное решение тем сложностям или кажущимся исключениям («несовершенству языка»), которые возникают при игнорировании этого аспекта.

образом, суждение нельзя считать денотатом предложения; его надо рассматривать как смысл предложения» [Фреге 1977: 189]. Ситуация меняется, если считать, что смыслы имен *Вечерняя звезда* и *Утренняя звезда* имеют различные темпоральные характеристики и их денотаты локализованы в различных, периодически сменяющих друг друга временных мирах, в отличие от денотата имени «Венера», которая не имеет подобного ограничения.

В той версии семантической теории, которая была предложена Фреге, центральным является понятие смысла, благодаря чему возможна денотация, то есть рассмотрение знака и его соотнесенности с экстралингвистическими объектами. Подобная сконцентрированность теории на смысле позволяет обезопасить семантику знака от ее растворения в мире объектов. Вместе с тем основная идея Фреге — что смысл есть отношение (функция), соотносящее языковые выражения с нелингвистическими объектами, — естественным образом может быть дополнена модальным компонентом. Такое дополнение тем более уместно, что именно концепция Фреге стала основой теоретико-множественной семантики, которая и используется в модальной семантике. Однако, как это ни странно, она не была перенесена в семиотику[49].

Но вместе с тем теория Фреге не затрагивает вопроса о том, откуда появляются, как определяются и как существуют смыслы. Безусловно, частичный ответ можно найти в теории Соссюра — смыслы определяются той системой, в который данный знак функционирует. Но смысл не может быть ограничен исключительно отношением между знаками внутри системы, он предполагает и выход за ее пределы.

Смыслы формируют новые системы, которые, хотя и существуют в виде знаковых конструкций, уже несводимы к тому, что можно рассматривать как манифестацию этих систем в речи (подобно тому, как текст нельзя рассматривать как одну из возможных реализаций системы того языка, на котором написан текст, — это лишь один из его аспектов). Это уже не только отношения между знаками, но и такие системы, конструкции или, лучше сказать, модели или возможные миры (в модальной семантике это синонимы). Это некоторые знаковые конструкты, используя которые мы в состоянии экспли-

[49] В семиотике использование идеи Фреге часто ограничивается (и, возможно, блокируется) приписываемым ему семантическим треугольником, в котором потеряно столь существенное понимание смысла как отношения. Например, то существенное уточнение, которые приводит Эмиль Бенвенист применительно к соссюровской концепции произвольности знака, по сути, в более «психологизированной» форме воспроизводит идею Фреге, но без каких-либо отсылок. Ср.: «Хотя Соссюр и утверждает, что понятие «сестра» не связано с означающим s-ö-r, он при этом тем не менее мыслит о *реальности* этого понятия. Говоря о различии b-ö-f (франц. «бык») и o-k-s (нем. «бык»), он вопреки себе опирается на тот факт, что оба эти слова относятся к одному и тому же *реальному предмету*. Вот здесь-то *предмет, вещь*, сначала открыто исключенная из определения, проникает в него теперь окольным путем и вызывает в этом определении постоянное противоречие. Таким образом, существует противоречие между способом, каким Соссюр определяет языковой знак, и природой, которую он ему приписывает… означающее и означаемое, акустический образ и мысленное представление являются в действительности двумя сторонами одного и того же понятия и составляют вместе как бы содержащее и содержимое. Означающее — это звуковой перевод идеи, означаемое — это мыслительный эквивалент означающего. Такая совмещенная субстанциальность означающего и означаемого обеспечивает структурное единство знака» [Бенвенист 1974: 91, 93].

цировать то, что принято называть условиями истинности, а также (продолжим) условиями денотации. Смысл некоторого предложения в модальной семантике принято определять как множество возможных миров, в которых оно истинно. Такой подход есть продолжение классического подхода, связывающего понимание предложения, то есть экспликацию его смысла, со знанием условий его истинности: каким должен быть мир, чтобы предложение соответствовало или не соответствовало бы тому, что имеет место. Эти условия истинности предложения могут быть представлены как некоторая знаковая конструкция, описание: «Все то, что может быть описано, может и случиться» [Витгенштейн 1958: 93 (6.362)]. Формой существования подобных конструкций явятся тексты — как существующие, так и потенциально возможные.

Аналогично применительно к имени: его смысл можно представить только как функцию, то есть чисто формальное отношение, которое не имеет и не требует какой-либо материализации. Но к этому определению смысла можно добавить и содержательный аспект — это условия денотации, то есть применительно к каким мирам и посредством каких текстов и коммуникативных контекстов может быть осуществлена денотация. Тем самым смысл как отношение может быть реализован как описание и модели соотнесения, и модуса существования в этой модели (в некотором множестве возможных миров) некоторого объекта (имя собственное) или класса объектов (имя нарицательное). Это есть соотнесенное с данным знаком его модальное измерение. При актуализации данного знака модальные характеристики соотносятся с миром-контекстом коммуникации, в результате чего определяется денотация данного знака применительно к некоторому миру-контексту.

2.5

Обобщая, можно наметить принципы той версии семиотики, которая исходит из модального понимания семантики знака, что влечет за собой ряд и других принципов. Традиционная, или классическая, семиотика — это теория знаков и знаковых систем, которая «изучает роль знаков и знаковых систем в социуме» (соссюровский подход; подход Пирса к семантике как к формальной системе получил развитие в основном в логике). Основные семиотические процессы — это сигнификация, то есть процессы соотнесения знака и его означаемого (Соссюр) или же интерпретация — процессы соотнесения некоторого предмета, выступающего как знак, с другим объектом, замещаемым этим знаком (Пирс). Тем самым ни сигнификация, ни интерпретация не предполагают коммуникации, но при этом являются бесконечным процессом: и при интерпретации, и при сигнификации один знак отсылает к другому знаку без какого-либо указания на пределы, когда этот процесс можно считать завершенным. Согласно Пирсу, этот процесс определяется отношениями между предметами, по Соссюру — внутрисистемными парадигматическими

и синтагматическими отношениями. Процессы коммуникации, равно как деятельности, процесса оперирования знаками, если и присутствуют в описании, то как привнесенные извне.

Та версия семиотики, которую можно назвать модальной, не ограничивается вышеописанным модальным пониманием знака, а требует привлечения и иных принципов, в первую очередь тех, что давно выработаны в логической семантике. Это, во-первых, основанная на концепции Фреге теоретико-множественная семантика, во-вторых, корреспондентные теории истины и значения (Л. Витгенштейн, А. Тарский), в-третьих, теория языковых игр (Л. Витгенштейн). Основой же явится семантика возможных миров.

Основными отличиями модальной версии семиотики от классической будут следующие:

1) Модальная семиотика основывается на семантике возможных миров и связанных с ней концепциях (семантика пропозициональных установок, интенциональность и т. д.). Соответственно, она будет предусматривать теоретический и дескриптивный инструментарий для рассмотрения таких явлений, как соотнесенность между модальностями, проявления субъективности и так называемых объективных модусов в языке и речи, зависимость смысла и денотации от контекста, выражение и обозначение возможных и несуществующих объектов, возможность описания будущего и прошлого, в том числе и их альтернатив, и т. п., — всего того, что для описания средствами немодальной референтной семиотики представляет значительные трудности, если только возможно.

2) Подобная семиотика будет контекстно-зависимой. Это будет касаться самого определения знака — смысл и денотат знака не абсолютны, а определяются контекстом. Но контекстуальным отношением является не только соотнесение имени и объекта, таковы и внутренние принципы организации языкового смысла; уже в самой языковой системе имя характеризуется контекстуально-зависимым смыслом[50]. Неизбежная при модальном понимании смысла релятивизация денотации соотносится с контекстуальной релятивизацией, как внешне-, так и внутритекстовой. Еще одним типом контекстуальной зависимости могут быть различные конфигурации интертекстуальных отношений.

3) Коррелятом контекстно-зависимой семантики в экстралингвистической сфере явятся межмировые отношения (модельные структуры, по Крипке). Множества возможных миров и отношения между ними — это не только область интерпретации, но и компонент смысла, то есть механизма самого

[50] Напомним: Г. Фреге верно подметил, что контекстуальная зависимость смысла — это характерная особенность языкового знака, хотя он и отнес это к «несовершенству» языка: «…в идеальной знаковой системе всякому выражению должен соответствовать только один определенный смысл; однако естественные языки далеко не всегда удовлетворяют этому требованию: редко бывает так, чтобы слово всегда имело один и тот же смысл в разных контекстах» [Фреге 1977: 184]. Между тем возможна теория контекстно-зависимой семантики, в основе которой лежит так называемый принцип композиционности Фреге — см.: [Золян 2015].

соотнесения между миром и знаковой системой. Но, в свою очередь, системы этих миров для своего выражения имплицируют создание новых знаковых систем и трансформацию имеющихся.

4) Модальная семиотика может быть рассмотрена и как функциональная семиотика, семиотика в действии. Уже само описание знака и знаковых отношений, если оно берется как контекстуально-зависимая величина, имплицитно предполагает коммуникацию. Тем самым оно дополняет традиционную семиотику, которая ограничивается уровнем сигнификации или интерпретации (Ч. Пирс, У. Эко), или же структурными аспектами системы (Соссюр), не предполагая коммуникации. Мы видим тесную связь между структурными, интерпретативными и коммуникативными характеристиками знаков и знаковых систем, но вместе с тем их относительную независимость. Поэтому при всем желании соединить эти аспекты в рамках единой теории следует допустить, что могут быть и соответствующие версии семиотики.

5) Как предполагал еще Э. Бенвенист, объектом «семиотики второго поколения» явится не изолированный знак, а высказывание и текст [Бенвенист 1974: 89]. Именно текст является формой существования множества возможных миров, которое, в свою очередь, является семантикой текста. Так модальная семиотика, отходя от изучения собственно семиозиса, или семиозиса первого уровня (конструирование знака и знаковой системы), оказывается ориентированной на описание таких процессов, как конструирование текстов, их функционирование, интерпретация, интертекстуальные отношения и т. д.

6) Описывая не только то, что существует, но и что могло и даже не могло существовать, семиотика из инструмента описания мира становится инструментом его создания и понимания. Уместно вспомнить мысль Чарльза Морриса о том, что семиотика одновременно и самостоятельная наука, и в то же время — «органон всех наук» [Моррис 1983: 37]. Как это было предложено в предыдущем разделе, если «сузить» ее сферу действия гуманитарными науками, то идея Ч. Морриса имеет больше оснований быть реализованной, чем это имело место в тридцатых. Моррис, продолжая подход Ч. Пирса и Г. Фреге, ориентировался на точные науки, претендующие на возможность адекватного отображения действительности посредством некоторых знаковых операций. Безусловно, в таком случае нужды в привлечении модальности не было, а возникающие трудности объяснялись несовершенством языка. Между тем, хотя знаковые системы точных наук допускали достаточно простую семиотическую интерпретацию, сами они особой потребности в семиотике как «универсальном инструменте» не испытывали: их вполне устраивал их собственный.

Но при обращении к гуманитарным наукам ситуация существенно меняется. Здесь реальность заменяется ее описаниями, модальность становится ключевым понятием, определяющей становится семантика возможных миров и пропозициональных установок, а кажущиеся «изъяны» языка оказываются свидетельством его гибкости и полифункциональности. Естественный язык — механизм, в первую очередь, для сотворения мира и уже потом — для его описания. Семиотика в ее модальной версии предоставляет адекватный инст-

рументарий (органон) для описания этих обеих функций. Однако для полноты описания она, как уже было указано во Введении, она должна быть дополнена инструментарием лингвистики текста, или, точнее, текстоцентричной лингвистики[51] (см. следующий раздел).

2.6

Рубеж прошлого и нынешнего веков ознаменовался попыткой тотального пересмотра идей и методов структурализма, в особенности же того, что еще в шестидесятых Ж. Деррида было названо соссюрианским «логоцентризмом» [Деррида 2000]. Не претендуя на оценку того, что было создано в результате подобной «деконструкции», заметим, что сегодня в гуманитарных науках вновь утверждаются возврат к основам, заложенным в структурной лингвистике и аналитической философии, причем в их первоначальном варианте. Вместе с тем очевидно, что необходимы значительные уточнения. Уместно вспомнить провидческое замечание Ю. М. Лотмана относительно ситуации, сложившейся в конце 1970-х гг.:

> Обобщение опыта развития принципов семиотической теории за все время, протекшее после того, как исходные предпосылки ее были сформулированы Фердинандом де Соссюром, приводит к парадоксальному выводу: пересмотр основных принципов решительным образом подтверждал их стабильность, в то время как стремление к стабилизации семиотической методологии фатально приводило к пересмотру самых основных принципов [Лотман 1978: 18].

Как нам представляется, необходимо уточнение, если не пересмотр самой концепции знака и семиотики — традиционная семиотика сегодня оказалась оторванной от семантики. То, что было достигнуто в лингвистической семантике начиная с 1960-х гг., в семиотике оказалось незамеченным — во всяком случае в том, что касается не дескриптивных и прикладных аспектов, а теоретических основ, затрагивающих само определение знака. С одной стороны, модальная семантика, а с другой — когнитивистика могут во многом дополнить наше понимание семиозиса, в то время как генеративная семантика ставит перед необходимостью коренного уточнения взаимодействия синтактики, семантики и отказа от рассмотрения их как автономных сфер (что с 1970-х гг. уже можно считать укорененным в лингвистике).

[51] Насколько нам известно, термин «текстоцентричность» впервые употребил Мих. Лотман как характеристику Тартуско-Московской семиотической школы (из названия которой почему-то исключили петербуржцев) [Лотман 1995]. Вяч. Вс. Иванов также утверждает, что именно текст являлся «главным объектом исследования представителей московско-тартуской школы» [Иванов 2010: 33]. Как аналог, можно указать на термин «синтактикоцентричная лингвистика» — его предложил Р. Джекендорф, характеризуя теории языка, основанные на идеях хомскианской лингвистики [Jackendorff 2007: 55].

3. МЕЖДУ МИРОМ И ЯЗЫКОМ: ТЕКСТ И ПРИНЦИПЫ ЕГО ОПИСАНИЯ

0. Семантика и коммуникация являются неделимыми аспектами одних и тех же многообразных, но единых когнитивных процессов взаимоотображения мира и языка. В то же время, как правило, эти два аспекта информационных процессов в теоретическом аспекте оказываются разделены: семиотика и семантика занимаются изучением знаков и значений, рассматривая их в отрыве от процессов коммуникации, в то время как теория коммуникации стремится утвердить себя как универсальную дисциплину, изучающую механизмы передачи информации безотносительно к ее содержанию. Между тем именно текст есть и знак, и единица коммуникации (сообщение), и структура (форма организации информации). Понятие текста позволит заполнить все еще существующую в теории лакуну между семиотикой и коммуникацией. Однако, как это ни парадоксально, несмотря на не поддающееся учету множество исследований само понятие текста все еще нуждается в прояснении: далеко не ясно, *что есть текст и как он организован*. Можно предположить, что проблема заключается в неадекватности той методологии, посредством которой пытались объяснить природу и структуру текста. На наш взгляд, для этого требуется, чтобы были уяснены и эксплицитно описаны принципы и методы новой лингвистики и новой семиотики — такие, в которых текст, а не слово был бы исходным понятием. Между тем, как мы попытаемся показать, эти принципы и методы уже давно сформулированы и хорошо известны. И хотя они и не были до сих пор представлены в виде целостной теории, но вполне допускают подобное обобщение.

1. Традиционная семиотика есть изучение знака и знаковых систем, и текст возникает в подобных теориях как производное — текст конструируется из знаков, заданных в некоторой знаковой системе и посредством определенных в этой же системе некоторых правил. На этом, при всех различиях между ними, основаны теории Пирса и Соссюра. Для первого исходным было понятие знака, для второго — знаковой системы, но в обоих случаях понятие текста, по сути, отсутствует (Соссюр относит все, что выше лексического уровня, к речи, у наиболее последовательно развивающего его идеи Ельмслева текст есть все, что может быть произведено на данном языке).

Безусловно, и для Соссюра, и, с некоторыми оговорками, для Пирса слово и было наиболее характерным проявлением знака. В этом оба они опирались на дисциплины, где в качестве исходного элемента выступает изолированный знак (Соссюр — на лингвистику, Пирс — на логику). Между тем вполне возможно предположить иную версию лингвистики, где слово не было бы исходным понятием. Зададимся вопросом — что было бы, если бы лингвистика зародилась не в Риме и Греции, а в Абхазии, на Аляске или в Гренландии, где говорящие говорят на инкорпорирующих, а не на флективных языках?

Можно, конечно, вслед за апологетами флективных языков в середине XIX в. утверждать, что потому-то люди в Греции и Риме и открыли логику и лингвистику, что там говорили на флективных языках, но подобные концепции сегодня припоминают лишь как факт из истории языкознания. Как известно, в инкорпорирующих языках далеко не ясно, что есть слово — оно функционирует исключительно в составе предложения и характеризует предложение в целом, почему и не осознается как отдельная языковая единица (подобно категории времени и модальности в русском языке — для так называемого наивного говорящего не столь очевидно, как они выражены, например в предложениях «Он — инженер» или «Дожди»).

Однако возможны и иные подходы. Разумеется, законченные теории, отрицающие за словом «право на обладание» смыслом и значением, в лингвистике все еще остаются нереализованной возможностью. Однако как принципиальный подход к семантике они уже были провозглашены еще в первой трети XX в. людьми, оставившими огромный след в интеллектуальной атмосфере гуманитарного знания. В философии языка это Людвиг Витгенштейн, в лингвистике — Луи Ельмслев, в поэтике — Осип Мандельштам. Так что возможна теория языка, основанная на противоположной аксиоматике — когда предполагается, что лексическая единица сама по себе не имеет значения и приобретает его только в контексте. Эта куда менее распространенная в лингвистике позиция, которая если и допускается как альтернатива, то, пожалуй, только и поэтической семантике.

Так, согласно Л. Витгенштейну («Логико-философский трактат»):

> 3.3. Только предложение имеет смысл; только в контексте предложения имя обладает значением (Only propositions have sense; only in the nexus of a proposition does a name have meaning).
>
> 3.142. Только факты могут выражать смысл; класс имен этого делать не может.
>
> 4.002. Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея представления о том, как и что означает каждое слово, — так же как люди говорят, не зная, как образовывались отдельные звуки.
>
> 4.23. Имя выступает в предложении только в контексте элементарного предложения.

Куда более развернутое рассмотрение значения как употребления дано уже в позднейших работах, рассмотрение которых увело бы нас в сторону от основной тематики. С иных позиций, но по сути к тем же выводам, хотя и конкретизированным уже непосредственно к теории лексического значения приходит Луи Ельмслев.

> Предпринимая такой детальный анализ на традиционной основе, мы, возможно, обратим внимание на тот факт, что «значение», которое несет каждая из минимальных сущностей, должно пониматься как чисто контекстуальное. Ни одна из минимальных сущностей, включая корни, не обладает таким «независимым» существованием, чтобы ей можно было приписать лексическое значение...

> Не существует иных доступных восприятий значений, чем значения контекстуальные; любая сущность, а, следовательно, также и любой знак определяется относительно, а не абсолютно, и только по своему месту в контексте. С этой точки зрения бессмысленно проводить различие между значениями, которые появляются только в контексте, и значениями, о которых можно сказать, что они имеют независимое существование, или, следуя древним китайским грамматикам, — между «пустыми» и «полными» словами. Так называемые лексические значения в некоторых знаках есть не что иное, как искусственно изолированные контекстуальные значения или их искусственный пересказ. В абсолютной изоляции ни один знак не имеет какого-либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте, под которым мы понимаем ситуационный или эксплицитный контекст, неважно какой, поскольку в неограниченном или продуктивном тексте (живом языке) мы всегда можем превратить *ситуационный контекст в эксплицитный контекст* [Ельмслев 1960: 303—304].

Как видим, также и для Л. Ельмслева лексические единицы сами по себе не обладают смыслом, а приобретают его только в контексте. А то, что принято считать смыслом слова, — это есть смысл слова в его наиболее употребительном контексте (например, «белый» в смысле «быть белого цвета», а не, скажем, «быть участником Белого движения»).

Что касается поэтики, то здесь подобная точка зрения, исходящая из различия между текстуальным и узуальными смыслами, применительно к поэтическому языку является общепринятой. Заметим, однако, что поэт, последовательно реализовывавший этот принцип в своей поэзии, Осип Мандельштам, вовсе не считал контекстуальную зависимость слова характеристикой исключительно поэтического языка — для него это общелингвистическая характеристика слова:

> Как же быть с прикреплением слова к его значению; неужели это крепостная зависимость? Ведь слово не вещь. Его значимость нисколько не перевод его самого. На самом деле никогда не было так, чтобы кто-нибудь крестил вещь, назвал ее придуманным именем.
>
> Словесное представление, сложный комплекс явлений, связь, «система». Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и, обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре.
>
> Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела [Мандельштам 1987: 47].

Итак, слово может иметь смысл только в составе предложения, причем это значение контекстуально, не может быть определено заранее, связь между словом и референтом подвижна. Крайне интересное развитие допускает мысль Мандельштама: значение или смысл слова («значимость») не есть перевод его самого, что может стать темой отдельного исследования: этим, по-

мимо прочего, отрицается жестко фиксируемая в словарях соотнесенность между словом и его толкованием. Все это подводит к некоторой альтернативной семиотике и лингвистике.

3. Как было сказано выше, в традиционной семиотике исходными являются понятие знака и знаковых систем, а понятие текста появляется как производное, как описание процессов и результатов конструирования комплексных знаков из элементарных единиц алфавита. Между тем, знак всегда *контекстуализован* и *интер-текстуализован* — стало быть, он не может быть рассмотрен как исходное понятие. Поэтому семиотика текста не есть некоторое дополнение традиционной, это будет уже иная версия семиотики, в которой исходным будет понятие текста, и, напротив, знак будет рассматриваться как производное от текста.

Основные принципы подобной текстоцентричной семиотики (назвав ее «семиологией второго поколения») были очерчены еще в 1969 г. Эмилем Бенвенистом в его хорошо известной статье «Семиология языка». Но, несмотря на известность, основные ее положения все еще ожидают своего решения, хотя это были не благие пожелания, а четко сформулированные конкретные задачи. Эмиль Бенвенист наметил основы новой лингвистики и семиотики, которые альтернативны по отношению к основанной на понятии знака структурной лингвистике и семиотике Ч. Пирса и Ф. де Соссюра. Это — лингвистика не знака, а речи, кардинальная разница между которыми, согласно Бенвенисту, в том, что «семиотическое (знак) должно быть узнано, семантическое (речь) должно быть понято» [Бенвенист, 1974: 88].

Из этого различия следуют важные следствия, которые также до сих пор недостаточно осознаны. В первую очередь, это невозможность описания текста на основе теории, в которой исходным было бы понятие знака («определение знака как минимальной единицы»), поскольку в таком случае никакие правила комбинации знаков не позволят сконструировать высказывание (текст, дискурс):

> В действительности мир знаков замкнут. От знака к высказыванию нет перехода ни путем образования синтагм, ни каким-либо другим. Их разделяет непереходимая грань. Поэтому следует признать, что в языке есть две разные области, каждая из которых для своего изучения требует отдельного аппарата понятий. Для области, названной нами семиотической, основу исследования составит соссюровская теория языкового знака. Семантическую же область следует рассматривать отдельно. Для ее исследования необходим новый аппарат понятий и определений [Бенвенист 1974: 89][52].

[52] Заметим, что, полемизируя с соссюрианской традицией, Бенвенист мог бы сослаться на авторитет Соссюра, для которого переход от знака к синтагме был весьма проблематичен. Однозначно относя предложение к сфере речи, Соссюр колеблется при определении статуса до-предложенческих синтагм, и его ответ скорее «нет», чем «да»: «Здесь можно было бы возразить: поскольку типичным проявлением синтагмы является предложение, а оно принадлежит речи, а не языку, то не следует ли из этого, что и синтагма относится к области речи? Мы полагаем, что это не так. Характерным

Согласно Бенвенисту, вовсе не требуется отказ от «идеи языкового знака», которую он считал «самой важной особенностью языка», но необходимы, наряду с имеющими место, также и альтернативные лингвистика и семиотика текста («целого речевого произведения»):

> ...нужно преодолеть соссюровское понимание знака как единственного принципа, от которого будто бы зависит и структура языка и его функционирование. Это преодоление должно идти в двух направлениях:
>
> во внутриязыковом (интралингвистическом) анализе — в направлении нового измерения означивания, означивания в плане речевого сообщения, названного нами семантическим и отличного от плана, связанного со знаком, то есть семиотического;
>
> в надъязыковом (транслингвистическом) анализе текстов и художественных произведений — в направлении разработки метасемантики, которая будет надстраиваться над семантикой высказывания.
>
> Это будет семиология «второго поколения», и ее понятия и методы смогут содействовать развитию других ветвей общей семиологии [Бенвенист 1974: 89].

Как видим, Эмиль Бенвенист предельно ясно сформулировал задачу — для адекватного описания «речевых произведений» требуется новая — «семиология языка второго поколения», которая станет основой как для новой теории языка (Бенвенист называет ее «лингвистикой речи», «транслингвистикой», «метасемантикой»), так и для «других ветвей общей семиологии».

4. Попытаемся изложить наше видение того, как можно конкретизировать сформулированную Бенвенистом задачу и предложить основные принципы базирующейся на «семиологии языка второго поколения» текстоцентричной теории — позволим себе отойти от терминов Бенвениста, но имея в виду предложенный им подход. Текстоцентричная теория языка будет описывать все те же механизмы формирования языковых структур. Вместе с тем, по крайней мере в сфере семантики, она будет исходить из того, что семантические структуры языка не только реализуются, но прежде всего воссоздаются в процессе многомерной актуализации и коммуникации, то есть в форме текстов.

Процесс передачи информации обычно представляют как передачу знаков или сигналов. Однако это поверхностный взгляд — единицей коммуникации

свойством речи является свобода комбинирования элементов; надо, следовательно, поставить вопрос: все ли синтагмы в одинаковой мере свободны?». Исходя из этого критерия — ограничения на сочетаемость — Соссюр относит к сфере языка лишь два типа синтагматики: а) фразеологизмы и клише; б) синтагмы, сконструированые посредством подобных правилам словообразования «шаблонов». Но в целом, по Соссюру, отнесение синтагм к языку или речи окказионально и не подчиняется общим правилам: «Но надо признать, что в области синтагм нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы. Во многих случаях представляется затруднительным отнести туда или сюда данную комбинацию единиц, потому что в создании ее участвовали оба фактора, и в таких пропорциях, определить которые невозможно» [Соссюр 1977: 124].

является текст. Только текст, а не знак следует рассматривать как объект создания — передачи — сохранения — преобразования информации, и именно текст является оптимальной формой операций с информацией и ее функционально-смыслового структурирования. Сам текст является знаком, и составляющие его знаки-конституенты внутри него теряют свою автономность и самодостаточность.

В случае языкового текста лексические единицы и другие дотекстовые структуры, безусловно, составляют текст, но в этом случае изменяется их характер. Так, языковой знак, будь то слово, имя или предложение, внутри текста выступает уже не как внутрисистемное интенсиональное отношение, а как модальное, как межмировое отношение референции или как межмировая линия, выделяющая некоторое множество объектов в различных мирах. Это уже достаточно хорошо осознано на примере разграничения таких единиц, как *предложение vs высказывание*, но не является столь очевидным применительно к лексике, поскольку в этом случае есть нечто данное — набор исходных единиц, словарь. Однако внимательный анализ показывает, что уже на уровне знаков — лексических единиц семантика знака включает модально-темпоральное измерение, о чем уже было сказано выше (см. также: [Золян 2014а, б]). При этом нетрудно убедиться, что «заданность» семантики словаря возможна только в системе, а не в тексте. Так, всякое преобразование данной лексической единицы при переводе или пересказе может выявить динамический характер его семантики. Например, адекватный перевод есть не сопоставление слов из словаря одного языка со словами из словаря другого, а соотнесение контекстов, в которых они встречаются. Соответственно, слово может быть переведено не как изолированная единица, а только в контексте, а так называемое бесконтекстное значение слова — это, как правило, его значение при употреблении в наиболее характерном контексте — см. вышеприведенную мысль Л. Ельмслева о том, что «любое знаковое значение возникает в контексте» [Ельмслев 1960: 303].

Можно продолжить идею Ельмслева о том, что в изоляции знак не может иметь значения (смысла), и счесть, что такие характеристики, как «знаковость» и «языковость», сами по себе еще недостаточны для формирования смысла [Ельмслев 1960: 303—304]. Понимание (осмысление) не ограничивается знаковыми и текстуальными операциями, но является также компонентом знаковых моделей поведения и межличностного (социального) взаимодействия («языковых игр»).

Противопоставлению подлежат не лингвистика знака и лингвистика текста (если следовать терминологии Бенвениста), но скорее подходы — словоцентричный и текстоцентричный. При текстоцентричном исходным понятием явится текст, а смысл будут рассматриваться как контекстно-зависимая переменная величина. Такой подход предполагает анализ смысловых структур в их соотнесенности с интертекстуальными и контекстуальными факторами и позволяет более зримо увидеть и описать семантику «языка в действии». Семантика языкового знака, будь то слово или текст, в этом случае

предстает как контекстуально обусловленная и не существующая вне этих факторов текста и стратегий его интерпретации. При этом, следуя принципу динамической семантики[53], следует исходить из того, что семантика текста и его конституентов не только зависит от контекста, но, в свою очередь, сама видоизменяет контекст.

Введение понятия текста как исходного вовсе не требует отказа от понятия знака. Другое дело, что в этом случае функциональной окажется именно семантическая и семиотическая сторона знака — как отношение между означающим и означаемым, между языком и миром. Знак в этом случае будет пониматься не как исходно заданная единица, а как соотношение. Более того, именно предлагаемый подход позволяет описывать текст как знак, но только как знак особого типа, семантикой которого, в отличие от языковых структур предшествующего уровня, оказывается не некоторый объект или множество объектов, а некоторая система отношений между различными стратифицированными областями.

Предлагаемая текстоцентричная теория позволяет по-новому рассмотреть типологию типов дискурса — это не столько различающиеся лингвистическими признаками языковые структуры, сколько особые типы (стратегии) языкового поведения, позволяющие за счет изменения правил интерпретации актуализировать одни и те же языковые структуры (тексты) в различных дискурсивных практиках и, наоборот, обеспечивать реализацию некоторой дискурсивной стратегии посредством различных текстовых структур. Так, художественный текст предполагает одновременную референцию к поэтическому миру текста, мирам литературной традиции, мирам истории, персональному миру читателя и т. д. Референция исторического текста — это межмировое отношение между различными темпоральными модальностями (мир в прошлом, настоящем, настоящем). Темпоральные модальности могут быть осложнены деонтическими и др. (напр.: мир-долженствующий-быть-в-будущем, мир, возможный, но не реализованный в прошлом, и т. п.) Такая гибкость, позволяющая тексту выступать в различных ипостасях, есть один из способов генерировать новые смыслы и значения.

Несмотря на различные проявления, сферы приложения и используемые методы, объектом анализа оказывается некий единый принцип — это механизм структурирования смысловых структур. Формирование смысловых структур текста начинается с уровня субтекстовых структур — в их соотнесенности со следующими структурами смысла и значения: а) интертекстуальными (множество текстов); б) прагмасемантическими (множество комму-

[53] Динамическая семантика — направление в формальной семантике, возникшее еще в 1980-х гг. в работах Ганса Кампа и Ирен Хейм. Несмотря на очевидную привлекательность ее принципов, она все еще в малой степени известна в лингвистике и семиотике ввиду ее концентрации на процедурах логического анализа языковых кванторов и т. п. Между тем, как показывает поэтическая семантика, эти принципы и методы могут иметь куда более широкое применение — в частности, при изучении текстуальных и контекстуальных трансформаций лексического значения.

никативных контекстов функционирования данного текста); в) референциальными (возможные миры, стратифицированные области интерпретации); и, наконец, г) функционально-прагматическими (языковое поведение в его соотнесенности с факторами политической, социальной и межкультурной коммуникации, «языковые игры»).

Семантика языкового знака контекстуально обусловлена и не существует вне структур текста и стратегий его интерпретации. Язык рассматривается как ансамбль концептуальных и контекстуально-зависимых подсистем, для которого язык, понимаемый как система знаков, есть лишь план выражения. Если ранее такой подход связывался исключительно с языком в поэтической функции и признавался лишь в поэтике, то сегодня становится очевидным, что и другие виды языковой деятельности носят динамический и креативный характер**.** Семантические структуры языка не только реализуются, но прежде всего воссоздаются в процессе многомерной актуализации и коммуникации, то есть в форме текстов.

Текст не есть некий контейнер для «готовых» смыслов, а «генератор», порождающий их в процессе функционирования текста (Р. Барт, Ю. М. Лотман). Следует учесть, что как при порождении текста, так и при его интерпретации оказываются задействованными несколько семиотических систем, и их смысловое взаимодействие приводит к динамическим смысловым трансформациям уже на уровне субтекстовых структур[54]. При этом, как то предлагал Ю. М. Лотман еще в 1980-е гг. [Лотман 1981; 1991а], текст необходимо рассматривать динамически, в процессе его порождения и функционирования, как смысловое и функциональное единство, способное к целеполаганию, адаптации и трансформации в зависимости от изменяемых условий (контекста), а также обладающее способностью сохранять информацию (памятью), перерабатывать (креативно-когнитивные характеристики) и передавать ее (коммуникативная сила).

Тем самым исходный объект текстоцентричной семиотики и лингвистики — это текст, но изучаемый «не в себе и для себя», а как целокупность его многомерной гетерогенной смысловой структуры, множественности языков порождения и интерпретации и контекстно обусловленных коммуникативных характеристик. Единицы языка будут в таком случае определяться не столько посредством их внутрисистемных синтагматических и парадигматических отношений, а относительно их функции в организации текста и его возможных приложений (интерпретаций). Текст выступает и как структура, и как операция (действие), а языковая деятельность — как многомерная актуализация и тем самым текстуализация языковых структур в процессе коммуникации.

[54] Так, в поэтическом тексте уже даже звуки могут непосредственно соотноситься со смыслами (звукосимволизм).

4. АНТРОПО-, СЛОВО- И ТЕКСТОЦЕНТРИЧНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

4.1. Антропоцентризм как принцип лингвистического описания

В данном разделе попытаемся рассмотреть место текстоцентричного подхода в существующих парадигмах лингвистического знания, в первую очередь применительно к антропоцентричному подходу. Одним из основных направлений в современной лингвистике в настоящее время признается антропоцентрический подход, который противопоставляется системоцентризму структурализма. Сам термин был введен почти одновременно [Алпатов 1993; Кубрякова 1994; 1995] и был призван объединить все те новые достаточно разнородные тенденции и подходы, которые ориентированы на «человека говорящего», — прагматику, когнитивистику, корпусную лингвистику, теорию дискурса, лингвоперсонологию и др. (ср.: [Кубрякова 1995; Бугорская 2004]). При таком понимании антропоцентризм — это не столько методология, сколько лингвистическое выражение гуманистических принципов:

> Господство принципов антропоцентризма роднит лингвистику со многими другими областями знания, ибо интерес к человеку как центру вселенной и человеческим потребностям как определяющим различные типы человеческой деятельности знаменует переориентацию, наблюдаемую во многих фундаментальных науках. Антропоцентризм как особый принцип исследования заключается в том, что научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и ее усовершенствования... человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и конечные цели. Он (антропоцентризм. — *С.З.*) знаменует... тенденцию поставить человека во главу угла во всех теоретических предпосылках научного исследования и обусловливает его специфический ракурс [Кубрякова 1995: 212].

С этой точки зрения антропоцентрический подход в лингвистике — это не есть нечто новое, а продолжение богатой традиции. Его истоки прослеживаются в XIX в. у В. Гумбольдта и Г. Пауля [Романова 2015], в XX в. он связывается в первую очередь с работами Эмиля Бенвениста, а в советской лингвистике — с развивающими этот подход исследованиями Юрия Степанова[55]. При таком подходе «антропоцентризм» может пониматься предельно

[55] Ср.: «Язык есть семиотическая система, основные референционные точки которой непосредственно соотнесены с говорящим индивидом. С присущей ему простотой Бенвенист называет это свойство *“человек в языке”*... Иначе все эти черты лингвистической концепции можно назвать *антропоцентрическим принципом*» [Степанов 1974: 14] (здесь и далее у автора разрядка вместо курсива).

широко и означает скорее ориентацию исследователя на определенную исследовательскую идеологию, нежели методологию. Неслучайно, что под «антропоцентризмом» в лингвистике могут пониматься совершенно различные явления. Более того, расширяя границы антропоцентризма, мы рискуем потерять какие-либо критерии: в принципе любое описание языка так или иначе связано с человеком[56]. Поэтому имеет смысл вернуться к именно к истокам введения указанного разграничения и рассмотреть его методологические основы.

Этот термин был предложен в ставшей программной статье В. М. Алпатова [Алпатов 1993] в совершенно иной связи и на других основаниях. В данном случае предметом обсуждения будет только этот, куда более узкий, подход. Его методологические основы, даже если ограничиться только концепцией В. М. Алпатова, все еще остаются прояснены в недостаточной мере. Нередко обе вышеупомянутые статьи упоминаются как описывающие одно и то же явление. Но нетрудно убедиться, что с самого начала наличествовала определенная вариативность критериев, по которому разграничивались эти подходы. Прослеживая самозарождение «антропоцентрического» подхода в версии В. М. Алпатова, можно заметить, что он возникает не из ориентации на человека и человеческий фактор в языке, а скорее из необходимости предложить некоторое альтернативное видение архитектуры языка. Именно этот аспект станет предметом нашего рассмотрения в связи с вопросом о множественности возможных лингвистических описаний и их неполной совместимости.

4.2. Антропоцентризм как метод словоцентричного описания?

В начальной версии концепции В. М. Алпатова было предложено разграничивать два принципиально отличных подхода к описанию языковых феноменов, или, более узко, к выделению единиц языка — словоцентричный и несловоцентричный подходы [Алпатов 1982]. Казалось бы, дальнейшее развитие этой теории должно было привести к уточнению того, что считать «несловоцентричным» подходом. Однако В. М. Алпатов предлагает иное. Он существенно видоизменяет само основание для подобного разграничения, предпочитая говорить сначала об *интуитивном* и *исследовательском,* а в дальнейшем, учитывая точку зрения К. Рахилиной [Рахилина 1989], уже об *антропоцентричном* и *системоцентричном* подходах [Алпатов 1993].

Основанием для такой замены послужило предположение о том, что, согласно интуиции носителей, основной осознаваемой единицей языка является слово, тогда как выделение других каких-либо единиц интуитивно неочевид-

[56] Ср.: «*Язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка*; в соответствии с ним язык и должен изучаться. Поэтому в своем главном стволе лингвистика всегда будет наукой о языке в человеке и о человеке в языке, наукой гуманитарной» [Степанов 1974: 15].

но и может отражать разве что интуицию лингвистов, ориентированных на системность описания. Именно в таком виде концепция В. М. Алпатова получила широкое распространение и была взята за основу многими лингвистами. Но при этом оказалось элиминированным исходное разграничение между словоцентричным и несловоцентричными подходами. Как можно убедиться из нижеизложенного, ориентация на слово как исходную единицу описания не может быть отождествлена с ориентацией лингвистического описания на экспликацию интуиции говорящего.

Разграничение между антропоцентризмом и системоцентризмом вовсе не снимает изначального разграничения между различными подходами к выделению исходных единиц: они противопоставлены по различным основаниям. Алпатов в основном оставил прежней саму концепцию, но поменял названия: *словоцентризм* был заменен на *антропоцентризм* (так как он понимался как отражающий интуицию носителя языка), а *несловоцентризм* — на *системоцентризм*. Это, безусловно, сказалось на строгости предлагаемого разграничения, что, кстати, оговаривалось самим автором[57]. Так, словоцентричная лингвистика может быть не только антропоцентричной, но и системоцентричной (вспомним основанные на словоцентризме категориальные грамматики, особенно в ее аппликативной версии С. К. Шаумяна), а «антропоцентризм» может пониматься совсем по-иному применительно к носителям инкорпорирующих языков или каких-либо других, где выделение слов не может считаться интуитивно очевидным[58]. Более того, такой подход хотя и не сводится к противопоставлению грамматики слушающего и грамматики говорящего (или грамматикам синтеза и грамматикам анализа), но достаточно близок к ним. Между тем и те и другие также могут быть как антропо-, так и системоцентричными.

[57] Ср: «Антропоцентричный и системоцентричный подходы всегда влияли друг на друга, и не всегда их легко отграничить. С одной стороны, как мы уже отмечали, и при антропоцентричном подходе оказываются нужными исследовательские процедуры для периферийных неясных случаев. С другой стороны, весьма значительно не всегда осознаваемое влияние антропоцентричного подхода на системоцентричный» [Алпатов 1993: 18]; «При этом, безусловно, оба подхода не могут не учитывать совсем языковую интуицию, только делается это в различной степени и по-разному» [Алпатов 1993: 25].

[58] На это обстоятельство указывается и в первой статье: «Словоцентрический подход основан на интуитивной очевидности понятия слова, которое носители европейских флективных языков (возможно, и некоторых других) воспринимают как непосредственную данность (что не исключает существования отдельных спорных случаев). Но для языков иного строя исходить из такой очевидности невозможно. Применение словоцентрического подхода в его привычном для нас европейском варианте к каждому языку, хорошо известное по так называемым миссионерским грамматикам, а иногда существующее и поныне, показало свою неадекватность для многих языков» [Алпатов 1982: 69].

Не оспаривая возможность разграничения между антропо- и системоцентричными подходами, мы считаем целесообразным вновь вернуться к рассмотрению изначальной концепции В. М. Алпатова — когда разграничению подлежали словоцентричный и несловоцентричный подходы. И тот и другой предметом рассмотрения имели слово, хотя во втором случае слово рассматривалось как межуровневое образование:

> Первый из них... базируется на том, что главной и исходной единицей такого описания является слово; другой подход рассматривает слово в ряду других языковых единиц, предпочитает последовательно анализировать ярусы языковой системы... нередко вместо единого слова рассматривает несколько единиц с разными свойствами [Алпатов 1982: 15].

Подобное разграничение оказалось несколько заслонено измененной терминологией и не получило адекватного развития. Между тем оно может стать принципом построения достаточно перспективных моделей, в том числе и отличных от тех, что были предложены в этой связи. Предпримем эту, пусть несколько запоздалую, попытку раскрыть потенциал «несловоцентричной» лингвистики.

4.3. «Несловоцентризм» как межуровневое отношение?

В первую очередь, следует уточнить: как можно интерпретировать второй член оппозиции — «*несловоцентричность*». Оно может пониматься и как выделение единиц иного, нежели лексический, уровня как исходного, и как некоторое межуровневое образование. Если судить по первой статье В. М. Алпатова, в ней можно увидеть отсылку к двум различным пониманиям «несловоцентризма» — в одном случае это рассмотрение слова как производного понятия, а исходной единицей оказывается морфема, во втором — рассмотрение слова как межуровневого отношения. Первое понимание можно связать с указанием на Леонарда Блумфильда, второе — на Бодуэна де Куртенэ[59]. Как на первое применение «несловоцентричного подхода» В. М. Алпатов указывает на статью Бодуэна де Куртенэ «Язык и языки», цитируя следующее положение:

> *На то щука в море, чтоб карась не дремал.* Производится два независимых друг от друга членения этого предложения: интонационно-фонетическое (вплоть до фонем как предельных единиц анализа) и морфологическое. В последнем слу-

[59] Заметим, что в данном случае подходы этих двух лингвистов рассматривались как нечто единое. Ср.: «Спустя два десятилетия несловоцентрический подход сформулировал Л. Блумфилд, выделявший, прежде всего, единицы, названные им формами (морфема считалась минимальной формой). Затем последовательно выделялись слово, словосочетание и предложение» [Алпатов 1982: 67].

чае выделяются сначала два простых предложения (*на то щука в море* и *чтобы карась не дремал*), затем они членятся на простые синтаксические единицы — семасиологически-морфологические слова (на то, щука, в море, чтоб... не дремал, карась), наконец, производится членение на морфемы (на-, -т-, -о, щук-, -а, в-, -мор-, -е и т. д.) [Алпатов 1993: 67].

Бодуэн де Куртенэ в изложении В. М. Алпатова в самом деле предстает как предтеча блумфильдовского метода анализа по непосредственно составляющим. Между тем у самого Бодуэна дело обстоит несколько сложнее. Чтобы лучше понять мысль Бодуэна, имеет смысл обратиться к первоисточнику, дополнив вышеприведенную цитату:

> Каждая из этих сложных синтаксических единиц распадается на простые синтаксические единицы, т. е. на отдельные уже не фонетические, но семасиологически-морфологические слова, выделяемые из случайной связи благодаря тому, что они попадаются в других сочетаниях. Таковы слова: на то, щука, в море, чтоб... не дремал, карась. С помощью такой же ассоциации по сходству разлагаем слова на их морфологические части или морфемы [Бодуэн де Куртенэ 1904а: 534].

Как видим, у Бодуэна вводится несколько характеристик слова, и разложимость на морфемы — лишь одна из них, причем далеко не определяющая. До этого говорится о *простых синтаксических единицах,* а также о *семасиологически-морфологических словах.* Слово у Бодуэна может выделяться по разным основаниям, поскольку оно есть единица, относящееся к различным уровням языка. Хотя Бодуэн этого термина не употребляет, для него *грамматика* — это организация языка в целом, или система отношений, в которые включено *слово.* Это явствует, если обратиться к его написанной параллельно с вышеупомянутой и опубликованной в том же томе энциклопедии Брокгауза и Ефрона статьей «Языкознание»:

> Кроме фонетики, под понятие грамматики подходят: 2) *семасиология* (*семантика*), т. е. наука о значении или об ассоциациях внеязыковых представлений (идей) с представлениями строго языковыми. 3) *Морфология*, или наука о строе языка в самом обширном смысле этого слова, распадающаяся на: а) *морфологию* в тесном смысле, т. е. науку о построении отдельных слов и словоподобных единиц языка, и б) *синтаксис*, т. е. науку о построении предложений и их сочетаний, равно как о связи слов в предложении и об их взаимной зависимости. 4) *Лексикология*, или наука о словах и выражениях самого разнообразного содержания и самого разнообразного объема. 5) *Этимология*, или наука о родстве и происхождении слов и их частей [Бодуэн де Куртенэ 1904б: 519].

Крайне интересно разграничение лексикологии и семасиологии, а также включение этих дисциплин в состав *грамматики,* что предвосхищает то представление о языке, которое сформировалось только к концу прошлого века и в котором оказывается нерелевантным разграничение между грамма-

тикой и лексиконом. Далее Бодуэн конкретизирует это разграничение, и на каждом из уровней языка основным объектом оказывается слово, но рассматриваемое применительно к соответствующему уровню описания:

> В морфологии, в самом обширном смысле этого слова, мы имеем дело с описанием строя предложений, слов и их частей, с определением порядка, в каком эти части следуют друг за другом, равно как и с определением их взаимной зависимости. В синтаксисе самыми простыми, далее неделимыми единицами являются слова и постоянные выражения, равносильные словам; в морфологии же в тесном смысле или в науке о строе слов самым простым элементом является *морфема*, т. е. комплекс звуковых представлений, объединяемый в одно целое ассоциацией с известной группой представлений из области или строя слов (представления морфологические), или их значения (представления лексические и семасиологические)... [Бодуэн де Куртенэ 1904б: 519].

Как нам представляется, подход Бодуэна не такой уж и «несловоцентричный» — все указанные разделы ориентированы на слово как на основной объект исследования. Другое дело, что слово понимается не как готовая словарная, а как некая *семасиологически-морфологическая* единица, или, используя принятую современную терминологию, слово понимается как межуровневое отношение или даже интерфейс. Так, очень близко к бодуэновскому пониманию оказывается предложенное Роем Джекендорфом понятие «параллельной архитектуры». «Синтактикоцентризму» генеративных грамматик хомскианского типа и «семантикоцентризму» когнитивных грамматик он противопоставляет «автономный подход» — это представление о языке как об независимых уровнях (модулях, ярусах), которые организуются в систему посредством межуровневых интерфейсов. Соответственно, слово описывается как правило частичных соответствий между структурами различных уровней:

> Thus a word is best regarded as a type of interface rule that establishes a partial correspondence among pieces of phonological, syntactic and semantic structure, such that each piece conforms to the formation rules of its own component. Rather, lexical items are among the rules of grammar — very particular rules to be sure, but rules nonetheless [Jackendorff 2007: 55].

Как видим, «несловоцентричными» могут быть различные понимания. В одном случае приоритетным для организации языка как целостной структуры будет признаваться тот или иной уровень и, соответственно, единица данного уровня. Отсюда возможность таких несловоцентричных подходов, как морфемоцентричный (как, например, у Блумфильда), или же ориентированный на предложение как основную единицу языка (синтактикоцентричный подход хомскианской лингвистики). При другом понимании центральным элементом организации языка будут считаться межуровневые связи, отношения и механизмы межуровневого взаимодействия (интерфейсы). Более того — в та-

ком виде *«несловоцентричность»* может пониматься как отсутствие центра: параллельная архитектура языка не предполагает единого связывающего их центра. При этом оба эти подхода (словоцентричный и несловоцентричный) могут быть как антропоцентричными, так и системоцентричными. Бодуэн описывает организацию языка скорее как параллельную архитектуру независимых уровней, но слово тем не менее остается ключевой единицей — оно предстает как объект шести лингвистических дисциплин и то же время выступает как интерфейс между соответствующими уровнями. Наименее понятным в данной связи оказывается понятие антропоцентризма — во всяком случае, если Бодуэна, как это предлагает В. М. Алпатов, и можно считать основоположником несловоцентричного (понимая под ним межуровневое взаимодействие) и, соответственно, системоцентричного подхода, то замена *словоцентризма* на *антропоцентризм* оказывается далеко не очевидной. Так, непонятно, почему Бодуэн менее «антропоцентричен», чем, скажем, Пешковский? (Возможно, он более «системен», но это уже совсем другая характеристика.) Особенно явно непоследовательность подобного подхода видна, если мы попытаемся распространить словоцентризм (и, стало быть, антропоцентризм) на такие явления, как слово в системе (языке) и слово в речи (тексте). Как видим, словоцентризм также может выступать в двух ипостасях — антропоцентричной и системоцентричной, что и мы постараемся продемонстрировать ниже.

4.4. Словоцентризм и текстоцентризм

Удовлетворительное решение, как нам кажется, лежит в иной плоскости. «Несловоцентризм» может проявляться не как «принижение» статуса слова, а как его рассмотрение в ином ракурсе. Так, Бодуэн де Куртенэ рассматривает слово не как самодостаточную единицу, а как некоторую совокупность внутрисистемных парадигматических отношений внутри языка. Но подобный подход к слову можно распространить и на текст: слово будет рассматриваться опять-таки как совокупность (система) контекстуальных и интертекстуальных отношений, но определяемых уже не системой языка, а текстом. В этом смысле подобный подход можно назвать «текстоцентризмом» — слова предстают не как составляющие текст, а как формируемые текстом[60]. Если в первоначальной версии В. М. Алпатова «несловоцентризм» был устремлен «вниз», к морфемам, то в этом случае он ориентируется вверх, к высказываниям и текстам, и оказывается скорее «антропоцентричным», нежели «системоцентричным». Может быть переосмыслено понимание «несловоцентричности» как синонима «системного» — если иметь в виду разграничение меж-

[60] Принципы этого подхода изложены нами в: [Золян 2014а, б; 2016б]. См. также: [Иванов 2010; Вдовиченко 2016; Плунгян 2018].

ду описаниями слова в системе и слова в тексте. И применительно к такому разграничению следует говорить о двух связанных, но тем не менее отличных способностях говорящего: с одной стороны, распознавать слово как единицу языка, а с другой — вычислить то значение, которое оно приобретает в определенном контексте. Такое понимание можно считать проявлением упоминавшегося выше принципа Эмиля Бенвениста: «Семиотическое (знак) должно быть узнано, семантическое (речь) должно быть понято» [Бенвенист, 1974: 88].

Стоит подробнее упомянуть о широко известной, но все еще далекой от реализации исследовательской программы Эмиля Бенвениста, тем более что именно с ней связывают ориентацию на «человека в языке и язык в человеке» в качестве объекта лингвистического описания [Степанов 1974]. Но в данном случае обратим внимание на предложенное Бенвенистом разграничение между лингвистикой знака и лингвистикой речи. Из этого проистекают важные следствия, которые также до сих пор недостаточно осознаны.

В первую очередь, это невозможность описания текста на основе теории, в которой исходным было бы понятие знака («*знака как минимальной единицы*»), поскольку в таком случае никакие правила комбинации знаков не позволят сконструировать высказывание (текст, дискурс) — [Бенвенист 1974: 89]. При таком подходе «словоцентризм» и «несловоцентризм» будут отличаться не по степени концентрации описания на слове или на какой-либо другой единицы, а по различной аксиоматике лингвистической (или семиотической) теории — сфокусирована ли она на языковой способности говорящего узнавать слово, и тогда ей будет соответствовать словоцентричная лингвистическая теория, или же на умении говорящего понимать слово в зависимости от контекста, и тогда ему будет соответствовать текстоцентричная теория. *Знать и уметь* — это две грани языковой способности, и обе они отражают интуицию говорящего и в этом смысле оба отражающих их подхода также явятся антропоцентричными. Поэтому нуждается в уточнении предположение В. М. Алпатова о том, что «антропоцентризм и системоцентризм различаются, прежде всего, разным отношением к двум точкам зрения на язык: точке зрения носителя языка и точке зрения исследователя». [Алпатов 1993: 17]. Представляется не совсем удачным отрицать за говорящим интуитивное знание о системе языка. Знать и уметь — две грани языковой способности, и в данном случае точнее будет говорить об ориентации на функционально различные системы — систему языка и систему речи (ср.: [Николаева 2015]).

4.5. «Знать и уметь» — основа семантического оперирования

Ранее нами были предложены принципы возможного описания языка, исходящие из того, что слово не может обладать фиксированным и не зависящим от контекста смыслом, и, соответственно, говорящий не в состоянии знать смыслов употребляемых им слов — раз их нет в языке [Золян 2013, 2016а]. Так

мы попытались развить парадоксальный тезис Витгенштейна: «Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея представления о том, как и что означает каждое слово» [Витгенштейн 1958: 44 (§ 4.002)]. В самом деле, именно зависимость слова от контекста позволяет наделять языковые выражения новыми смыслами.

Если понимать смысл как функцию от текста и контекста, то знать смысл слова — это знать, какой смысл может выражать слово в том или ином контексте. Однако поскольку знание всех контекстов доступно лишь вечному и всеведущему существу, то полное знание контекстов и, соответственно, всех возможных смыслов оказывается для говорящего недостижимым. Вместе с тем есть разница между отсутствием «представления о том, как и что означает каждое слово» в родном языке и «не-знанием» на неизвестном говорящему языку. Естественно, что на незнакомом языке он не будет в состоянии выразить какой-либо смысл, даже если механически запомнит словник данного языка. Поэтому для говорящего знать смысл слова — это уметь вычислить его смысл как функции в некотором множестве контекстов: начиная от нормативного до новаторского. Тем самым на весь лексикон переносятся принципы описания индексальной (дейктической) семантики. Так, знание смысла местоимения «я» — это умение определить относительно любого контекста, кто в данном контексте является референтом «Я». Но для этого надо знать, чем задаваемое местоимением «я» отношение (функция) отличается от отношения, задаваемого местоимением «ты» или же существительным «говорящий», а это уже не контекстно-зависимое, а внутрисистемное отношение.

Предлагаемый подход, разграничивающий и вместе с тем синтезирующий две языковые способности, *знание* и *умение*, позволяет решить эту дилемму. Бесспорно, следует исходить из того, что слово не имеет фиксированного значения, что «необходимо всегда учитывать полное предложение. Только в нем слово обладает подлинным значением... Слова обозначают нечто только в контексте предложения» [Фреге 2008: 196, 198]. Но очевидно и то, что не все возможные значения равноправны: некоторые *равнее* других, то есть требуют минимального контекста, а другие оказываются возможными только в весьма специфичных контекстах. Здесь уместно напомнить о вероятностной модели языка Налимова: семантика лексической единицы есть некоторая вероятностная Бейесова модель, это множество возможных значений, которым приписаны различные вероятности — от близких к единице до близких к нулю [Налимов 1979].

Очевидно, что чем выше вероятностная значимость того или иного лексического значения, тем меньше степень его контекстной зависимости. Конечно, нет нужды предполагать, что говорящему интуитивно известен вероятностный вес того или иного значения. Однако вполне естественно предположить за говорящим знание а) основного значения слова; б) правил изменения смыслов в зависимости от внутритекстового или экстралингвистического

контекста. На основе этого системного знания возможно в) умение понимать — определять тот смысл, которое данное слово имеет в том или ином контексте. Нетрудно увидеть, что различие между наличествующими семантическими теориями во многом проистекает из того, на описание какой семантической компетенции они ориентированы (это будут лексикологические, семантико-синтаксические и контекстуально-зависимые семантические теории). Безусловно, все три фактора допускают множественность решений, почему и в некоторых случаях достижение однозначного решения оказывается принципиально невозможным (напр., поэтическая семантика, «двоемыслие», *doublespeak*, магические тексты и пр.). Однако это особые виды дискурсивных практик, относящиеся к специфическим типам *языковых игр*. Куда более общим явлением могут быть случаи, когда между *знанием* и *умением* возникают определенные лакуны, что может явиться причиной неадекватной или же неполной семантизации. Но именно эти случаи свидетельствуют о необходимости учета обеих способностей и их относительной независимости. Различие между ними становится очевидным, когда знание слова не влечет понимания, и наоборот — понимание не основывается на знании.

Для наглядности приведем известные примеры, когда слово может быть известным, но его смысл — непонятен:

> — «Отшедшим же им, се ангел господень... во сне явися Иосифу, глаголя: “востав поими отроча и матерь его...”»
>
> — Отроча и матерь его, — повторила Ольга и вся раскраснелась от волнения.
>
> — «И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти...»
>
> При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча… (А. П. Чехов. Мужики).

Как видим, слово «дондеже» встречается в знакомом тексте (и потому может считаться известным Ольге), но его семантика неизвестна, почему и воспринимается сугубо эмоционально. Возможно также и незнание сферы контекстуального приложения данного слова. Так, Аркадий Аверченко изменяет сферу контекстуализации фразы-зачина из статьи Иннокентия Анненского в журнале «Аполлон» — рассчитанная на читателя-эстета, хорошо знакомого с традицией эллинизма и ориентированная на семантизацию применительно к этой традиции, она оказывается перенесена в бытовую плоскость, почему и радикально меняет смысл[61].

[61] Ср: «Первая статья, которую я начал читать, — Иннокентия Анненского — называлась “О современном лиризме”. Первая фраза была такая: “Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...” Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался, и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно... Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил: — Что

Возможны случаи различного знания и вытекающего из этого псевдопонимания: говорящие ориентируются на различные семантические системы, каждой из которых их понимание оказывается адекватным, но эти понимания оказываются несовместимы друг с другом[62].

Возможно и обратное: само слово неизвестно, но применительно к контексту может быть понято. Хрестоматийная «Глокая куздра» приводится как пример семантизации на основе категориальных значений. Однако его же можно рассматривать как пример понимания (пусть и неполного) незнакомых слов в неопределенном контексте. В качестве примера приведем пародийный текст, понимание которого не предполагает ни знания, ни понимания большинства из используемых слов:

> — У фейков не та волатильность. Их юзать — одна хренотень.
> — А если апгрейдить?
> — Флейм получится. Или фрик. Говорю же вам — хренотень одна.
> «Хренотень...» — повторил про себя Фил. — Забавное словцо. Иностранное наверно. Надо запомнить. Потом вверну при случае». И он пошел в свою рум заниматься трансакционным бэнкингом, а также франчайзингом, краудфандингом, троллингом, тюнингом и, прости господи, дрифтингом (Сахаров Г. Девелопер, или трансакционный бэнкинг // Литературная газета. 2015. 1—7 апр. №13 (6503)].

Данный текст предполагает двоякий языковой код — точное значение слов можно найти в английском. Но вместе с тем знание значений этих слов необязательно — различие между семантикой слов *франчайзинг* и *краудфандинг* несущественна, достаточно понять тот приблизительный смысл, который они имеют в данном тексте (как герой данного рассказа понял «незнакомое» ему русское слово «хренотень»). А понимание значения отсутствующего в русском слова «рум» восстанавливается из контекста (*он пошел в свою рум заниматься трансакционным бэнкингом*) и не требует знание английского *room*: это то место, где персонаж работает. Разумеется, в данном случае можно говорить только о приблизительном значении (так, неясно, следует ли под словом «рум» понимать служебный кабинет или общую рабочую комнату). Как видим, текстоцентричный подход позволяет описать различные типы семантизации, в том числе и отклоняющиеся, в зависимости от различной степени семантической и контекстуальной определенности/неопределенности.

побудило вас вмешаться в действие пьесы?.. Я попытался оправдаться: — Тирсы уж очень примахались, господин околоточный... — Знаем мы вас, — скептически сказал околоточный. — Напьются, а потом — тирсы!» (А. Аверченко «Аполлон»).

[62] Ср.: «Пример столкновения двух идейно-стилистических систем (“дворянской” и “крестьянской”), наполняющих одно и то же слово различным содержанием, находим у Пушкина в черновых примечаниях к “Евгению Онегину”: “Кто-то спрашивал у старухи: по страсти ли, бабушка, вышла ты замуж. — По страсти, родимый, отвечала она. — Приказчик и староста обещали меня до полусмерти прибить”» [Лотман 1963: 48].

4.6. Выводы

Как следует из приведенных достаточно тривиальных примеров, предложенное Бенвенистом разграничение между *узнаванием* и *пониманием* языкового знака отражает различные языковые способности, которые могут быть представлены как взаимосвязанные в текстоцентричной теории. Текстоцентричный подход не отрицает значимость слова, но оно перестает восприниматься как «самовитое» — не только как определяемое системой языка, но и формируемое в тексте. При таком описании текст выступает как целокупность, включающая его многомерную гетерогенную смысловую структуру, множество языков порождения и интерпретации и контекстно обусловленных коммуникативных характеристик. Единицы языка определяются относительно их функции в организации текста и его возможных приложений и интерпретаций. Это, разумеется, не отменяет тех внутрисистемных характеристик, которыми эти единицы наделены в системе языка. Однако приобретаемые в тексте характеристики доминируют: они обычно надстраиваются над внутрисистемными, но могут и отменять их (см. случаи изменения лексического или категориального значения слова). При этом возможны как антропоцентричные версии текстоцентричной теории (дискурс, когнитивистика), так и системоцентричные (лингвистика текста, формальная семантика) [Плунгян 2018]. Корпусная или же когнитивная лингвистика, считающиеся проявлениями антропоцентризма, — примеры удачной многомерной композиции словоцентризма и текстоцентризма.

Возвращаясь к очерченной вначале проблематике, отметим, что возможен достаточно широкий диапазон возможных теорий, основанных на той или иной комбинации внутри- и межуровневых подходов, каждый из которых может быть как антропоцентричным, так и системоцентричным. Есть ли необходимость в культивировании подобного многообразия, которое, конечно же, затрудняет взаимопонимание и увеличивает степень метаязыковой «вавилонизации»? Имеет смысл вспомнить, что с самого начала описание языка осуществлялось посредством разграниченных между собой дисциплин — риторики и грамматики, в которых нетрудно увидеть изначальное проявление слово- и тексто-; антропо- и системоцентризмов. Причина, как справедливо отмечал В. М. Алпатов, в несоизмеримости результатов, получаемых при том или ином подходе:

> Итак, к описанию языковой системы можно идти от интуиции носителя языка, проверяя ее в случае необходимости текстами, и от текстов, проверяя их данные интуицией. Результаты, как мы постарались показать, очень часто оказываются разными настолько, что трудно говорить об их соизмеримости. При этом каждый подход имеет свои плюсы и минусы. [Алпатов 1993: 25].

Это возвращает к уже давно известной, но все еще недостаточно осознанной проблеме дополнительности: как отмечал еще полвека назад А. М. Пятигорский (применительно к тексту), мы не можем рассматривать сигнал со стороны субъекта и объекта одновременно [Пятигорский 1962]. Поэтому *словоцентризм* и *несловоцентризм* неизбежно будут возникать в их различных проявлениях. Но при этом, во избежание излишнего *умножения сущностей*, антропоцентризм можно понимать как некоторый идеологический стержень, обязательный для претендующего на полноту лингвистического описания, тогда как применительно к методологии точнее было бы говорить об определенной ориентации на то, что считать исходным пунктом анализа (морфему, слово, предложение, текст или же межуровневые отношения).

5. «ОБРАЗ МИРА, В СЛОВЕ ЯВЛЕННЫЙ»: ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ИКОНИЧЕСКОЙ СЕМИОТИКИ

5.1

Вынесенный в заглавие стих Пастернака (приписанный им доктору Живаго) может служить формулой семиотики, основанной не на метонимической символизации (замещении), когда одно предстает вместо другого, а на метафорической (иконической) репрезентации, причем репрезентируемым оказывается некоторая целокупность (мир), а не композиция, складывающаяся путем прибавления новых компонентов. Такой подход требует переосмысления основных понятий семиотики начиная с самых основных — знака и знаковой системы[63]. Начнем с тривиальных тавтологий. Семиотика — это теория знаковых систем. Знаковая система — это система знаков. Однако выясняется, что возможны знаковые системы, в которых нет знаков как исходно заданных единиц алфавита (например, кинематограф, живопись, архитектура). Ранее мы попытались показать, что различные версии семиотики, как Соссюра, так и Пирса, основаны на таком понимании знака, которое можно назвать словоцентрическим [Золян 2013; 2015]. В этих теориях слово выступает как прототипическая сущность, предопределяющая характер семиотической теории. Но и применительно к лингвистике подобной словоцентрической теории могут быть предложены альтернативы — можно представить лингвистику, развивающуюся на основе описания инкорпорирующих языков, в которых выделение слова не может считаться интуитивно очевидной операцией. Однако для лингвистики такое изменение не было бы критическим — определяя язык как систему знаков, мы не сводим ее к системе слов. Между тем знаковые системы без знаков — это уже само по себе звучит как *contradictio in objecto*.

Тем не менее рассмотрим, каковой могла быть семиотика, если бы в качестве основной модели знака ее основоположники рассматривали не слово, а те случаи, когда выделение знака и знаковой системы далеко не однозначно, если вообще возможно. Например, если бы они основывались на живописи. Отличие между картиной и словом — это не только различие между символическим и иконическим семиозисом, как это представлено в традиционной семиотике. Но для конструирования подобной альтернативной семиотики понятие иконичности и подобия должно быть рассмотрено иначе, чем чувственно воспринимаемое и/или внешне выражаемое и наблюдаемое подобие.

[63] Безусловно, в данном случае пастернаковское «Слово» следует понимать как речь; в противном случае, сосредоточившись на иконичности отдельного слова, проблематика ограничится лишь звукосимволизмом — интересным, но никак не центральным для семиотики феноменом.

5.2

В свое время Лессинг в трактате «Лаокоон» [Лессинг 1953] поставил вопрос о двух типах семиозиса, двух типах «подражания». Различие между вербальным и изобразительным семиозисом основано не на различии символического и иконического обозначения, а на характере манифестации «подражания» — развертывается ли оно во времени («поэзия»), либо же это симультанная репрезентации в пространстве (живопись и скульптура). В семиотических терминах речь идет о членимости/нечленимости и линейности/нелинейности сообщения, что приводит к принципиально различным принципам семиозиса и внутренней организации сообщения. В одном случае сообщение есть соположенность в пространстве элементов, которые сами по себе могут и не являться знаками. Во втором сообщение организуется как следование знаков во времени. Слово «Пушкин» и портрет Пушкина — не просто различные формы (символическая vs иконическая) обозначения одного и того же референта, но и различные сообщения. Разумеется, можно вообразить некоторые гибридные формы — как, скажем составление портрета-фоторобота, когда портрет строится как синтагматическая последовательность комбинируемых компонентов (которые в данном случае действительно выступают как знаки, элементы некоторого алфавита). Однако в целом портрет человека не есть некоторая комбинация носа, подбородка, глаз и т. п. Между тем слово и само членимо на знаки (морфемы) и незначимые элементы (фонемы/звуки) и является компонентом знака более высокого уровня (словосочетания, предложения).

На это, кстати, было указано еще самим Лессингом, когда он на примерах из Гомера описывал отличия между описаниями «одного и того же» семиотически различными средствами: разрисованного щита Ахилла, гибели Лаокоона и изображающей этот эпизод статуи и т. д. Рассматривая описания посредством визуальных и вербальных знаков (текстов), Лессинг нащупывает те характеристики, которые не ограничиваются внешним сходством, а носят глубинный характер. Так, словесный знак оказывается действием, со-творением объекта, а не его описанием. Иконичность вербального знака, в отличие от картины, приобретает динамический характер, воспроизводит подобие не между предметом и его вербальным образом, а может относиться к процессу. В терминах Лессинга, это различие между *живописанием* и *изображением:*

Но я увлекся мелочами и, по-видимому, забыл о щите, о щите Ахилловом, об этой прославленной картине, создатель которой Гомер издавна считается великим учителем живописи. Но щит, могут мне сказать, есть единичный материальный предмет, подробное описание которого, если следовать вашему правилу, не может быть дозволено поэту... На это частное возражение я отве-

чу то, что уже ответил на него прежде. Гомер описывает щит не как вещь уже совсем готовую, законченную, но как вещь создавшуюся. Следовательно, он и здесь пользуется своим прославленным художественным приемом, а именно: превращает сосуществующее в пространстве в раскрывающееся во времени и из скучного живописания предмета создает живое изображение действия. Мы видим у него не щит, а бога-мастера, делающего щит [Лессинг 1953: 451, 460].

5.3

Подобный подход может быть развит, что дополнит принятые представления об иконичности. В приводимом Лессингом примере *изображается* именно действие, создание щита: «из скучного живописания предмета [Гомер] создает живое изображение действия». Между тем действие, в отличие от предмета, невозможно изобразить, это есть отношение между некоторыми объектами или ситуациями. Иконичность будет пониматься не как изначально существующее подобие между означаемым и означающим, а как операция, процесс установления подобия.

В свое время Сергей Вартазарян отметил, что подобие между означаемым и означающим есть семиотический конструкт, а не естественным образом заданное предусловие иконичности:

> Иконический знак не есть знак, основанный на *естественном* отношении подобия. Основным признаком его является конструктивность. Не просто отношение подобия между знаком и обозначаемым становится основой для существования иконического знака, но общность структур двух этих предметов... Эта общность еще должна стать предметом особого осознания, более того, отношение общности структур еще должно стать предметом особого конструирования... Не просто общность структур знака и денотата, а общность *устанавливаемая*, а зачастую и возникающая в практической деятельности субъекта — в этом естественное основание существования иконического знака [Вартазарян 1973: 114, 116].

«Очищение» отношения подобия от внешне наблюдаемых и чувственно воспринимаемых характеристик приводит к понятию изоморфизма — при множестве различных пониманий этого термина определяющим для всех них является подобие отношений внутри различных систем элементов, а не самих элементов. Подобие элементов будет лишь частным случаем — как, например, в случае звукоподражания. Частично такое понимание иконичности содержится в ставшей классикой статье Романа Якобсона. Он усматривает отношение иконичности в синтаксисе — устанавливается подобие не между объектами, а между такими абстрактными сущностями, как отношения. Например, порядок слов — отношение следования между членами предложения — есть отражение иерархии или значимости объектов, описываемых данным предложением. В этом Роман Якобсон опирается на произведенное Чарльзом Пирсом разграничение внутри иконов — на образы и диаграммы:

> Теория диаграмм занимает важное место в семиотических исследованиях Пирса; он отдает должное значительным достоинствам диаграмм, вытекающим из того, что они являются «поистине иконическими знаками, естественно аналогичными обозначаемому предмету». Рассмотрение различных множеств диаграмм приводит Пирса к утверждению, что «каждое алгебраическое уравнение является иконическим знаком, поскольку оно представляет с помощью алгебраических знаков (которые сами иконическими не являются) отношения соответствующих количеств». Любая алгебраическая формула оказывается иконическим знаком в силу правил коммутации, ассоциации и дистрибуции символов. Таким образом, «алгебра — лишь одна из разновидностей диаграммы», а «язык — лишь один из видов алгебры». Пирс отчетливо понимал, что, например, «аранжировка слов в предложении должна служить в качестве иконического знака, чтобы предложение могло быть понято» [Якобсон 1983: 108].

Однако Роман Якобсон стремится лишь расширить традиционное понимание иконичности, не подвергая его радикальному пересмотру. Так, он определяет икон (и в этом случае ссылаясь на Пирса) как основанный *на физическом* подобии: «Действие *иконического знака* основано на фактическом подобии означающего и означаемого, например рисунка какого-то животного и самого животного; первое заменяет второе «просто потому, что оно на него похоже» [Якобсон 1983: 104]; сферу действия икона, цитируя Пирса, Якобсон ограничивает прошедшим: «Бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту. Он существует только как образ в памяти» [Якобсон 1983: 116] — хотя почему нельзя представить чертеж дома, который будет построен, или фотографию человека, которого мы никогда не видели?

По-видимому, Якобсон, опять-таки опираясь на авторитет Пирса, был склонен в некотором смысле дезавуировать само разделение на эти три типа. Ведь если нет чистых типов и все знаки являются одновременно и иконами, и индексами, и символами, различие лишь в степени проявления этих характеристик, а идеальный знак — это знак, в равной мере их совмещающий, то возникает вопрос — а нужна ли сама эта классификация? Однако столь радикальных выводов Роман Якобсон не делает, что вполне правомерно — вопрос не в том, чтобы не замечать различие в отношениях между означаемым и означающим для различных типов знаков, а чтобы найти более адекватные критерии для их выделения.

Между тем, если трактовать иконичность как затрагивающую структуру отношений, а не их материализацию, то изменится сама трихотомия (символ, икон, индекс), основанная на рассмотрении соответствий между наблюдаемыми характеристиками означаемого и означающего:

> Поскольку не естественная общность структур, а общность, устанавливаемая самим субъектом знакового поведения, является основанием для существования иконического знака, то сфера возможных общих структур оказывается чрезвы-

чайно широкой. Так, скажем, общность может быть установлена между логической структурой категорического силлогизма и структурой соотношения некоторых геометрических форм. Но этот крайний случай показывает, что отношение иконичности не предполагает никакой мотивированности в смысле Соссюра [Вартазарян 1973: 115].

5.4

В этой связи имеет смысл прояснить это «очищенное» понятие подобия, обратившись к тому, что можно считать его истоком такого понимания. Помимо того, как это сделано Михаилом Ильиным [Ильин 2018а, б], под тем же углом можно по-новому трактовать хорошо известную семантическую теорию Витгенштейна и рассмотреть предоставляемые ею возможности для построения особой, иконической версии семиотики, которая будет отличаться от пирсовского понимания.

Предлагаемая версия лингвистической и семиотической теории будет основываться в качестве прототипических не на вербальных знаках (слове), а на изобразительных (образах/картинах). Лишенный «первородства», вербальный знак предстанет в таком случае не как символ, а как производный, как икон второго порядка. Эта теория была предложена в «Трактате» Л. Витгенштейна и получила название образной теории языка (точнее было ее назвать — «картинная» — поскольку в оригинале и в выверенном самим Витгенштейном английском переводе используются “Bild” и “picture”). Может показаться странным, но, несмотря на огромную известность, достаточно очевидное приложение этой теории в семиотике вряд ли можно считать реализованным. Видимо, это связано с укорененностью идущего с античных времен и ставшего основным в соссюрианской лингвистике и семиотике постулата об условной и немотивированной связи между означаемым и означающим.

5.4.1

Теория значения Витгенштейна не только не рассматривает слово как прототип знака для всех иных семиотических систем, более того — она отрицает за словом знаковый характер, способность что-либо значить взятое в отдельности слово вне контекста предложения:

> 3.144. …Имена подобны точкам, предложения — стрелкам, они имеют смысл.
>
> 3.3. Только предложение имеет смысл; только в контексте предложения имя обладает значением.
>
> 3.142. Только факты могут выражать смысл; класс имён этого делать не может.
>
> 4.23. Имя выступает в предложении только в контексте элементарного предложения[64].

[64] Цитаты приводятся по переводу [Витгенштейн 1958], для облегчения сверки с оригиналом и другими переводами приводятся также параграфы «Трактата».

Изображение на картине можно разбить на квадратики и в этом смысле утверждать, что картина состоит из квадратиков, однако они сами по себе не будут иметь ни самостоятельного значения, ни функции. Аналогично предложение разбивается на слова и в этом отношении состоит из слов, но сами по себе имена не обладают смыслом:

> 3.141. Предложение не является смесью слов. (Так же как музыкальная тема не является смесью звуков)…

Как видим, смысл могут иметь только факты и только предложения (об их соотношении — ниже), но не имена или объекты[65]. Разумеется, подобный ригоризм в дальнейшем был в дальнейшем значительно ослаблен в концепции позднего Витгенштейна, где значение связано уже не с фактами и предложениями, а с употреблением и правилами языковых игр — но лишь потому, что чистый иконизм в данном случае осложнен еще и прагматическими факторами и как таковой теряет свое центральное положение (напомним: «“Языковой игрой” я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен» [Витгенштейн 1994: 83 (§ 7)].

Поскольку подобие устанавливается — как будет показано ниже — не между объектами, а между отношениями, то для установления отношения подобия между отношениями требуется некоторая структура, и поэтому имя не может быть образом (как и не может быть символом). В рамках образной теории языка только предложение может быть знаком, поскольку только в предложении можно выделить некоторую структуру отношений[66].

В качестве минимального семантического (значимого) элемента в «образной» теории языка рассматривается предложение. Согласно Л. Витгенштейну, предложение есть образ, или изображение мира:

> 4.01. Предложение — образ действительности. Предложение — модель действительности, как мы ее себе мыслим.

Пропозиция или предложение есть репрезентация в знаках-символах языка некоторого «состояния дел», которое может быть представлено (воспринято) как некоторая «картина», «изображение»:

---

[65] Витгенштейн в некоторых случаях приписывает значение и именам, но только при соотнесении их с объектами внутри целого: «3.203 A name means an object. The object is its meaning».

[66] Заметим, что лингвистически это не совсем точно: Роман Якобсон справедливо усматривает иконичность в словообразовательной структуре слова, семантика слова в современных лингвистических описаниях предстает как свернутая структура предложения и т. п., то есть, слово также есть некоторая структура. Однако это не снимает основного роазличия между словом и предложения — безотносительно к его этимологии и морфологии слово есть воспроизводимая цельная единица словаря, предложение же есть конструируемое отображение факта.

4.012. Очевидно, что предложение формы “aRb” мы воспринимаем как образ. Здесь, очевидно, знак есть подобие обозначаемого.

Даже вторичная буквенная фиксация этой «картины» не снимает исходной иконической («иероглифической») сущности языкового знака:

4.016. Для того чтобы понять сущность предложения, вспомним иероглифическое письмо, изображающее факты, которые оно описывает. И из него, не теряя существа отображения, возникло буквенное письмо.

Возникает примечательная аберрация — буквенное письмо есть «подобие» звучащей речи, а не изображаемых посредством иероглифов «фактов». Но Витгенштейн имеет в виду *сущность репрезентации* (essence of the representation), ведь и в буквенной записи предложение представляет некоторое положение дел, а не фонетическую запись, транскрипцию звучащей речи (такая ситуация возможна только в специфических случаях: фонетические исследования, фонетический диктант для студентов-филологов и т. п., когда означаемым становятся не мир и его объекты, а звуки языка). Поэтому «ошибка» Витгенштейна — только кажущаяся, он в самом деле говорит не о формах выражения, а о функциональной сущности. По Витгенштейну, предложение даже в письменной (буквенной) фиксации остается «картиной», и поэтому, как то было бы при иероглифической записи или пиктограмме, именно «*показывает*» свой смысл, (и даже «говорит») — а не «заключает» или «скрывает» его, почему его не надо «выявлять»[67]; или же — если воспользоваться другой семиотической метафорой — «расшифровывать», «интерпретировать», «переводить»:

4.022. Предложение показывает свой смысл. Предложение показывает, как обстоит дело, если оно истинно. И оно говорит, что дело обстоит так.

5.4.2

Структура предложения отображает логическую структуру мира, поэтому подобие, по Витгенштейну, есть не подобие внешнего проявления, а подобие внутренней сущности, структуры. Так становится возможным преодоление «символизма» языка, а типографские знаки оказываются «картиной» — именно потому, что они репрезентируют предложение, то есть нечто, обладающее внутренней структурой:

4.011. На первый взгляд, по-видимому, предложение — например, как оно напечатано на бумаге — не является образом действительности, о которой оно

[67] Напомним, что одной из базисных метафор является представление о языковых выражениях как упаковке, контейнерах для значений (“Linguistic expressions are containers”) [Lakoff and Johnson 1980: 10].

говорит. Но ведь и ноты тоже не кажутся на первый взгляд образом музыки, и наши фонетические знаки (буквы) не кажутся образом нашей устной речи. И все же эти символики даже в обычном смысле слова оказываются образами того, что они изображают.

Не употребляя термин *изоморфизм*, Витгенштейн говорит о внутреннем изобразительном отношении (pictorial internal relation):

4.014. Граммофонная пластинка, музыкальная мысль, партитура, звуковые волны — все это стоит друг к другу в том же внутреннем образном отношении, какое существует между языком и миром. Все они имеют общую логическую структуру.

4.0141. В том, что есть общее правило, благодаря которому музыкант может извлекать из партитуры симфонию, благодаря которому можно воспроизвести симфонию из линий на граммофонной пластинке и — по первому правилу — снова воспроизвести партитуру, — в этом заключается внутреннее сходство этих, казалось бы, совершенно различных явлений. И это правило есть закон проекции, который проектирует симфонию в языке нот. Оно есть правило перевода языка нот в язык граммофонной пластинки.

В самом деле, лишь с большой натяжкой можно говорить о подобии между нотной записью и бороздками на граммофонной пластинке, тогда как использование понятия «*изоморфизм*» вполне естественно: оно и допускает точную формализацию, и в то же время соотносится с одной из древнейших мифопоэтических и философских традиций относительно глубинного тождества макро- и микрокосма. Однако здесь стоит уточнить — приводимые Витгенштейном примером разнородны, они относятся к различными типам перевода. Так, изоморфизм между нотной записью и ее исполнением — это интерпретация, которая помимо фиксированного кода (соответствие нотных знаков музыкальным звукам) имеет прагматическое измерение, в данном случае личность исполнителя. Между тем преобразование этого исполнения в запись на каком-либо носителе и ее последующее воспроизведение будет носить уже механический (автоматизированный) характер и определяться техническими параметрами каналов передачи (используемой аппаратуры). Кроме того, прямой «перевод *языка нот в язык граммофонной пластинки*» невозможен, хотя и возможно установить соответствия между ними. Как видим, возможны различные типы изоморфизма между данными текстами (ноты, бороздки, последовательность звуковых волн, последовательность электромагнитных колебаний и т. д.) и могут быть установлены различные правила соответствия. Их градация в определенной мере соотносится со степенью релевантности субстанции (плана выражения, физических характеристик текста). Семиотическая значимость физических соответствий и строгость и предсказуемость правил соответствия отступают по мере увеличения значи-

мости формы (плана содержания)[68]. Само установления соответствия, деавтоматизируясь, становится центральным компонентом создания значения — это процесс не перекодировки, а со-творения текста (воспользуемся глубокой интуицией Лессинга: исполнитель, в отличие от проигрывателя, воспроизводит нотный текст *не как вещь уже совсем готовую, законченную, но как вещь создающуюся*).

5.4.3

Столь необычный подход к образу требует уточнения — что же тогда изображает *образ?* По Витгенштейну, обозначаемым образа оказывается не объект, а некоторая абстракция, *смысл.* Каким образом это оказывается возможным? Простейший подход (опровергнутый, кстати, еще Лессингом), заключается в том, чтобы «пересказать» картину посредством синонимичного ей предложения. В частных случаях это вполне оправданная процедура: напр., нарисованный виноград в некоторых случаях можно свести к субституту символического обозначения (напр.: «В этой лавке продают виноград»). Однако в целом такой «логоцентризм» резко ограничивает методологический и дескриптивный потенциал семиотики — куда продуктивнее исходить из того, что «нарисованный виноград есть не символ действительного винограда, а кажущийся виноград» [Маркс 1959: 93].

Денотатом знака-икона выступает «кажущееся» — что лишь в частном случае может совпасть с фактически существующим (например, в интерпретации картины и фотографии предполагается, что имеет место «действительный», а не кажущийся референт). Это кажущееся и есть *«смысл»* образа — так можно понять мысль Витгенштейна о том, что

> 2.221. То, что образ изображает, есть его смысл.

При этом, в отличие от марксовского, витгенштейновское понимание образа предполагает его соотнесение с действительностью, почему и, помимо *смысла,* на образ распространяются также и такие семантические характеристики, как истинность и ложность:

> 2.222. Истинность или ложность образа состоит в соответствии или несоответствии его смысла действительности.
>
> 2.223. Чтобы узнать, истинен или ложен образ, мы должны сравнить его с действительностью.
>
> 2.224. Из образа самого по себе нельзя узнать, истинен он или ложен.

[68] Противопоставление формы и субстанции в данном случае понимается в смысле Ф. де Соссюра («Язык есть форма, а не субстанция»), что впоследствии было развито в глоссематике Л. Ельмслева.

Но при этом внимательное чтение показывает, что понятие образа у Витгенштейна соотносимо скорее с возможным, нежели с актуальным положением дел:

> 2.202. Образ изображает возможные положения вещей в логическом пространстве.
> 2.203. Образ содержит возможность того положения вещей, которое он изображает…
> 2.22. Образ изображает то, что он изображает, независимо от своей истинности или ложности, через форму отображения.

Если применительно к предложению Витгенштейн подчеркивает «изобразительные аспекты», то применительно к «картине» — логические. «Перемещение» референта образа из сферы действительного в сферу возможного приводит к его помещению в пространство логического, и подобие редуцируется до чистого отношения внутри некоторой структуры. В отличие от «кажущегося», «наглядность» образа есть не всегда внешне проявляемая репрезентация его логического (формального) изоморфизма с «формой действительности»:

> 2.11. Образ изображает факты в логическом пространстве, т. е. в пространстве существования или несуществования атомарных фактов. 2.18. То, что каждый образ, какой бы формы он ни был, должен иметь общим с действительностью, чтобы он вообще мог ее отображать — правильно или ложно, — есть логическая форма, т. е. форма действительности.
> 2.181. Если форма отображения является логической формой, то образ называется логическим.
> 2.182. Каждый образ есть *также* логический образ. (Напротив, не каждый образ есть, например, пространственный образ.)

Однако сама эта форма может быть выявлена лишь посредством другого образа:

> 2.172. Но свою форму отображения образ не может отображать. Он ее обнаруживает.

5.4.4

Вышеизложенное, а также ряд других не затронутых здесь аспектов «изобразительной» («картинной») теории языка, требует дальнейшей углубленной разработки. В первую очередь это касается рассмотрения тех возражений, которые были выдвинуты в рамках дискуссии об истинности и значении предложений. Представленная в более общем виде, образная теория языка есть лишь в иных терминах сформулированная корреспондентная теория истины и значения: предложение отражает некоторый факт, некоторое положение дел. Этот факт — также есть образ. Но есть ли такая сущность, как независимый от языка факт — ведь «факт» есть не что иное, как сформулированное средствами языка некоторое описание дел и вне языковых средств

невыразимое. Тем самым это не соответствие между некоторыми независимыми явлениями — предложением и фактом, а некоторая характеристика самого предложения, оно выделяет некоторое описание в качестве факта. Подобное возражение было выдвинуто Стросоном и впоследствии было поддержано и развито Джоном Серлем [Searle 1995, глава *Strawson's objections to the Correspondence Theory*]. В частности, Серль отмечает:

> Неслучайно, что корреспондентная теория истины идет рука об руку с образной теорией значения, теорией, согласно которой предложения имеют то значение, которое они имеют, поскольку они есть конвенционализированные картины фактов. Классическим утверждением этой концепции является «Трактат» Витгенштейна. Эта концепция корреспондентной теории наталкивается на хорошо известные проблемы. Например, даже если имеет смысл представлять тот факт, что кошка находится на коврике как некий комплекс, состоящий из кошки, коврика и отношения между ними, то как быть с фактом, что никакой кошки на коврике нет? Или с тем фактом, что не существует трехголовых кошек? Или с тем фактом, что если бы кошка была на коврике, то собака должна была бы быть на кухне? [Searle 1995: 204].

Действительно, следует особо рассмотреть возможность изобразительных средств для репрезентации отрицательных фактов (хотя Витгенштейн и отрицал само их существование) — например, легко представить картину, соответствующую предложению «Кошка на коврике», но как изобразить ситуацию, соответствующую отрицательным или условным предложениям?

Нам кажется, что подобные возражения были бы уместны, если бы понятие образа ограничивалось бы визуальными характеристиками — тогда как витгенштейновское понимание образности можно было бы распространить на вербальные знаки. В этом случае вербальные знаки предстают как продолжение изобразительных — как в вышеприведенном тезисе (4.016) Витгенштейна буквы рассматриваются как расширение иероглифов. Образом соответствующих негативных или модальных фактов становятся соответствующие предложения: «Кошки на коврике нет» или «Будь кошка на коврике, собака была бы на кухне», а не какие-либо картинки.

Хотя сам Витгенштейн постоянно иллюстрирует свои положения примерами изобразительного и пространственного характера, тем не менее в своем определении образа он очищает это понятие от *чувственно воспринимаемых* характеристик[69] и сводит его к формальным (структурным) отношениям. Образом оказывается не только само отображение, но и форма этого отображения:

[69] *Чувственно воспринимаемое* у Витгенштейна относится к плану выражения предложения, тогда как его смыслом явится правило отображения, «проекция»: Ср.: «3.1. Мысль в предложении выражается чувственно воспринимаемо. 3.11. Мы употребляем чувственно воспринимаемые знаки (звуковые или письменные и т. д.) предложения как проекцию возможного положения вещей. Метод проекции есть мышление смысла предложения».

2.15. То, что элементы образа соединяются друг с другом определенным способом, показывает, что так же соединяются друг с другом и вещи. Эта связь элементов образа называется его структурой, а возможность этой структуры — формой отображения этого образа.

2.151. Форма отображения есть возможность того, что предметы соединены друг с другом так же, как элементы *образа*...

2.1513. Согласно этому взгляду, образу принадлежит также отношение отображения, которое и делает его образом.

Стросон, безусловно, правильно отметил, что понятия «факт» и «предложение» взаимозависимы, но это было очевидно и для Витгенштейна:

2.1. Мы создаем для себя образы фактов. 2.141. Образ есть факт.

Факты и отображающие их образы (в первую очередь это пропозициональные знаки, предложения) обладают общей структурой, это в самом деле не отдельные сущности, а трансформации одного в другого, и здесь уместно воспользоваться метафорой, к которой по достаточно близкому поводу прибег сам Витгенштейн:

4.014. Все они имеют общую логическую структуру. (Как в сказке о двух юношах, их лошадях и их лилиях. Они все в некотором смысле одно и то же.)

Как видим, не все то «образ», что может быть нарисовано. Образ может отображать и то, что не существует, и то, что можно считать неким аналогом отрицательных или мнимых чисел. Отношение отсутствия или же контрфактические или кондициональные отношения — также отношения. Естественный язык раздвигает пределы выразительности — позволяя изобразить то, что невозможно изобразить в виде картины.

Безусловно, корреспондентная теория семантики не может охватить весь спектр семантических явлений и должна быть дополнена теориями, связывающими значение с контекстами и правилами употребления. Однако применительно к рассматриваемой проблеме, если придерживаться предложенного Витгенштейном логико-семантического понимания иконичности, вышеприведенные возражения не должны считаться принципиальными.

5.5

В заключение наметим, какие возможности предоставляет подобное понимание отношения между означаемым и означающим. В первую очередь, это возможность такой лингвистической (семиотической) теории, которая была бы основана не на символическом, а на иконическом понимании языка.

При этом это будет лингвистика и семиотика, где в качестве исходной единицы следует рассматривать не слово, а предложение (как, например, в различных версиях порождающей лингвистики). В таком случае не живопись, а естественный язык должен был бы рассматриваться как вторичная моделирующая система. Именно так Витгенштейн склонен понимать соотношение между иконом («картиной») и символом (пропозицией, пропозициональным знаком, предложением) — второе есть производное от первого и сохраняет его логическую структуру. В свою очередь, это даст возможность описания таких знаковых систем, в которых нет исходно заданного набора знаков (словаря, алфавита). Такие системы существуют и хорошо известны (кинематограф, живопись, скульптура), но их описание еще не привело к выработке соответствующего методологического инструментария. Попытки найти «исходные» элементы живописи приводит к таким незнаковым объектам, как линии и фигуры, или же цвет, что было зафиксировано в истории живописи и скульптуры.

Однако, как видим, вполне возможна семиотика, в которой в качестве знака будет выступать некоторый целостный комплекс («образ»), который есть одновременно и знак, и сообщение, и структура. При этом на иконические знаки могут быть распространены такие характеристики символических знаков, как интенциональность и конвенциональность, а отношение изоморфизма может быть осложнено также и каузальным отношением.

Хотя Витгенштейн говорит о предложении/пропозиции, эти идеи вполне могут быть использованы в семиотике текста — как описание принципов отображения (подобия), устанавливаемого между миром и текстом. Ведь если говорить об описании положения дел, то, очевидно, это должен быть текст (как некоторое полное описание состояния дел, конъюнкция атомарных предложений — возможный мир, согласно Рудольфу Карнапу). Введение модальностей также требует введения понятие комплекса предложений (вновь упомянем о модельной структуре С. Крипке [Крипке 1974], естественноязыковой репрезентацией которой может быть только упорядоченное в форме текстов множество пропозиций со стратифицированной областью референции). Но для Витгенштейна это не бесконечная или конечная последовательность предложений, а картина мира — со всеми предполагаемыми «изобразительными» коннотациями:

3.01. Совокупность всех истинных мыслей есть образ мира (Bild der Welt).

Продолжим: при этом мир не только может описываться посредством текста (текст как картина мира), но и сам выступает как картина самого себя, то есть как текст. Однако эти и другие вопросы требует особой углубленной проработки. Здесь же нам важно было показать, что возможно отойти от лежащего в основе семиотики понимания знака как дискретного и символиче-

ского явления, основанного на условной связи между означаемым и означающим. Вполне приемлемо в качестве основы для альтернативной семиотики и витгенштейновское понимание базисного знака — как картины, то есть некоторой целостной и состоящей из недискретных компонентов структуры и системы, которая не составляется из заранее заданных знаков-компонентов, а сама формирует внутри- и межтекстовые структуры. Тексты, которые являются знаками, но не состоят из знаков — это вовсе не некое экстравагантное отклонение, они вполне обычны: создания кинематографа и живописи не используют готовые знаки из заданного алфавита, а сами создают их в процессе функционирования в качестве текста. Соответственно, возможна подобная семиотика текста, в которой подобные явления будут рассматриваться как первичные: это будет недискретная (не предполагающая расчленение текста на единицы словаря) и/или иконическая, основанная не на догме об условности связи между означаемым и означающим, а на положении о допускающем различные проявления изоморфизме между ними. По всей видимости, основанная на подобном принципе семиотика явилась бы подобием предложенной более чем еще полвека назад идеи о тексте как о особом типе сигнала [Пятигорский 1962].

6. ТЕКСТ: СЕМАНТИКА И СЕМАНТИЗАЦИЯ

В данном разделе мы попытаемся показать, что при текстоцентричном подходе семантика текста допускает два различных типа описания — референциальный и когнитивный. Перед тем как перейти к непосредственному изложению рассматриваемой проблемы, считаем нужным очертить основные принципы текстоцентричного подхода.

Собственно говоря, это было сделано еще в 1969 г. Эмилем Бенвенистом в его хорошо известной статье «Семиология языка». Выше мы попытались предложить концептуальные и методологические ориентиры развития подобного подхода. В добавление к сказанному ранее отметим, что в свете достижений когнитивистики и прагматики естественный язык уже не может определяться исключительно как знаковая система, а скорее как ансамбль концептуальных и контекстуально-зависимых подсистем, для которого язык в традиционном понимании (как система знаков) есть лишь план выражения. Если ранее такой подход связывался исключительно с языком в поэтической функции и признавался лишь в поэтике, то сегодня становится очевидным, что и другие виды языковой деятельности носят динамический и творческий характер.

Разнообразие функций языка вытекает из его рассмотрения не как замкнутой системы знаков, а как упорядоченного множества (систем) операций, соположенных со структурами многообразной человеческой деятельности. Можно утверждать, что традиционное противопоставление поэтического употребления языка — как якобы единственной творческой сферы языковой деятельности — всем остальным «рутинным и стандартным» операциям устарело. Самое «обыденное» употребление языка требует как «языкотворчества», так и «мифотворчества» и «миротворчества» в смысле семантики возможных миров. Поэтому идеи и методы, выработанные в поэтической семантике, с их филигранной техникой анализа смысловых структур в соотнесенности с интертекстуальными и контекстуальными факторами, не только демонстрируют свою приложимость к моделированию языковой семантики, но и создать более адекватную лингвистическую теорию, позволяющую зримо увидеть и описать семантику языка в действии. Именно в поэтике (Р. Барт, Ю. М. Лотман) было выработано представление о тексте как о «генераторе» смыслов и значений, порождаемых в процессе функционирования текста. Текст характеризуется принципиальной множественностью смыслов и значений. Как при порождении текста, так и при его интерпретации оказываются задействованными несколько семиотических систем, и их смысловое взаимодействие приводит к динамическим смысловым трансформациям уже на уровне выражения. Текст характеризуется принципиальной множественностью смыслов и значений (в некоторых случаях — потенциального характера).

При рассмотрении практически любого аспекта семиотики и семантики текста, когда текст понимается как сложно организованный знак, возникает дихотомия между референциальными и когнитивными аспектами текста. Это дает основание разграничить семантику текста и его семантизацию. Это не только различные подходы к тексту, но и различные теории текста, которые исходят из различных представлений о природе знака и которые, вследствие этого различия, могут приводить к различным выводам. Вместе с тем нетрудно заметить, что разграничение семантики текста и его семантизации, с одной стороны, но и постоянное их смешение, с другой — неизбежная участь любой теории понимания. Последовательное разграничение возможно в теории, но оно проблематично на практике. Поэтому его не следует избегать как чего-то нежелательного — надо лишь зафиксировать это исходное различие и не подменять один подход другим на разных этапах анализа текста. Соотнесенность семантики и семантизации и вместе с тем их принципиальная несводимость друг к другу создают напряжение, обеспечивающее динамику смысловых приращений текста в процессе его функционирования.

Безусловно, при этом необходимо осознавать, что двойственное освещение получат и такие фундаментальные вопросы, как:

1) Что есть текст;

2) Что есть семантика текста;

3) Как рассматривать соотнесенность между смыслом, значением, пониманием и интерпретацией текста[70].

6.1. Что есть текст?

Как мы попытались обосновать выше, при обращении к тексту требуется кардинальное изменение методологии лингвистического описания, если не новая — текстоцентричная — теория языка, в которой, в отличие от словоцентричной, исходной единицей будет не слово, а текст. Это предполагает не просто изменение исходного объекта описания, но выработку иного подхода к семантике. В случае традиционной, словоцентричной, лингвистики существует набор исходных лексических единиц, обладающих закрепленной за ними соотнесенностью как с нелингвистическими объектами, так и набором внутрисистемных характеристик (словарь и грамматика языка). Эта система может быть рассмотрена безотносительно к ее функционированию, при полном игнорировании экстралингвистического контекста и языковой деятельности носителей языка.

В случае текста ситуация отлична. Лингвистические характеристики — лишь один из аспектов, определяющих некоторую композицию знаков как текст. В этом случае исходным оказывается не грамматика и словарь, а система функций, определяющих статус той или иной знаковой структуры.

[70] Каждое из этих понятий можно отождествить с семантикой текста, но мы предпочитаем рассматривать их как соответствующие семантические уровни текста (см.: [Золян 2014в]).

В частности, такая характеристика, как быть текстом или не быть текстом, уже перестает определяться лишь лингвистическими характеристиками, а становится комплексной функцией. Так, при определенных условиях белый лист бумаги может выступать как текст[71], и в то же время лингвистически правильно оформленная композиция предложений может как текст не рассматриваться[72]. Прагматические, контекстуальные и интертекстуальные характеристики оказываются (по крайней мере) не менее важны, нежели такие допускающие лингвистическую интерпретацию характеристики, как связность, целостность и единство текста[73]. Текст можно определить как комплексную функцию от трех переменных — где в вырожденных случаях один из аргументов может быть не определен или же отсутствовать[74]. Текст мно-

[71] Так, в феврале 1990 г. автор имел возможность наблюдать, как, видимо, на самой массовой в истории СССР демонстрации манифестанты несли плакаты с самыми разными лозунгами — от монархистских до анархистских. Один из манифестантов стоял на возвышении и держал развернутый белый ватман. Проходившие мимо выказывали знаки одобрения или аплодировали. В подобной ситуации отсутствие языкового текста компенсировалось контекстом (демонстрация против правящего режима) и интерстекстуальными связями (плакатами других манифестантов) и ясно прочитывалось, как «Уже все сказано». В отсутствие самого текста на белом листе могло быть прочитано все множество смыслов и потенциальных текстов, совместимых с идеологией этого митинга. Но для этого необходимо было множество плакатов вокруг, создававших контекст и интертекст. Отсутствие текста (молчание) всякий раз в зависимости от социокультурного контекста может быть интерпретировано и выражено посредством текста-комментария (молчание Христа, молчание Будды и др.)

[72] Например, текст без подписи, анонимка — в различные периоды истории СССР анонимки то подлежали, то не подлежали рассмотрению. Интересен статус черновиков — они являются текстами для исследователя, но не для читателя, которому предлагается уже «готовый» текст. Но возможна ситуация, когда текст существует как множество вариантов или же нет четкой границы между черновым вариантом и окончательным текстом (фольклор, стихи Хлебникова или Мандельштама).

[73] Ср.: «В той сфере, в которой данное высказывание выступает как текст (стихотворение не выступает как текст при определении научной, религиозной или правовой позиции коллектива и выступает как текст в сфере искусства), ему приписывается значение истинности… Ложный текст — такое же противоречие в терминах, как ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст, а разрушение текста...» [Лотман, Пятигорский, 1968: 77—78].

[74] Как нам кажется, такая концепция дана в одной из последних работ Юрия Лотмана: «Текст мыслится не как некоторый стабильный предмет, имеющий постоянные признаки, а в качестве функции; как текст может выступать и как отдельное произведение, и его часть, и композиционная группа, в конечном итоге — литература в целом. Дело здесь не в том, что в понятие текста вводится понятие расширения. Современная точка зрения опирается на представление о тексте как о пересечении точек зрения Создателя текста и аудитории. Третьим компонентом является наличие определенных структурных признаков, определяемых как сигналы текста. Пересечение этих трех элементов создает оптимальные условия для восприятия объекта в качестве текста. Однако резкая выраженность некоторых из этих элементов может сопровождаться редукцией других» [Лотман 1992б: 179].

голик — это и не членимый на части сигнал [ср.: Пятигорский 1962], и в то же время композиция сегментов, и многоуровневая многомерная структура, распадающаяся на субтексты, и целостная, но также и комбинируемая структура, сама становящаяся субтекстом некоторого иного текста. Поэтому наиболее адекватным решением представляется не фиксация того или иного аспекта как определяющего (например, целостности или связности), но рассмотрение текста как отношения, функции, зависимой от множества переменных (языковые конструкты, социолингвистические функции, адресат, автор, культура, история).

Второе кардинальное отличие текстоцентричной семиотики и лингвистики будет проистекать из отношения между текстом и языком. Любой текст на каком-либо естественном языке принадлежит данному языку, но не является его единицей. Имеет место ситуация, о которой еще полвека назад говорил Клод Леви-Стросс применительно к мифу: «Миф — это язык, но этот язык работает на самом высоком уровне, на котором смыслу удается, если можно так выразиться, *отделиться от* языковой основы, на которой он сложился» [Леви-Стросс 1983: 218]. Для структурных единиц мифа, по Леви-Строссу, языковые смыслы оказываются формами выражения некоторого независимого от конкретного языка содержания[75], почему для мифа и оказываются несущественными изменения, происходящие при переводе с одного языка на другой. При изучении ряда типов текстов возможно абстрагирование от конкретного языка (например, фольклорные тексты, варианты которых восходят к одному источнику, так называемые «бродячие сюжеты» и т. п.) и даже от характера семиотической системы (например, петербургский текст, формой выражения которого могут быть не только языковые тексты, но и архитектура, музыка, балет и даже становящиеся текстом такие несемиотические системы, как история, бытовое и ритуальное поведение и т. п.).

Поскольку, огрубляя, проблему текста можно свести к триаде: «автор — текст — читатель», то всякий раз возможны различные подходы к тому, что считать исходным и определяющим. Пожалуй, главный вопрос герменевтики и лингвистики текста — кто важнее: текст, его автор или же его актуальный или потенциальный читатель? Якобы очевидный подход, что автор создает текст, а адресат его использует («писатель пописывает, читатель почитывает») в действительности далеко не очевиден, и, кроме того, встречается не во все времена и не во всех культурах (ср. фольклор, искусство канона, средневековое понимание авторства и т. п.). Эта проблема не только теории, но и художественной практики. Так, она нашла предельно заостренное, доходящее до гротеска воплощение в стихотворении Бориса Пастернака «Шекспир»:

[75] Ср.: «1) как и всякий лингвистический объект, миф образован составляющими единицами; 2) эти составляющие единицы предполагают и наличие таких единиц, которые обычно входят в языковые структуры, а именно фонемы, морфемы и семантемы, но по отношению к этим последним они являются тем, чем сами семантемы являются по отношению к морфемам, а морфемы — по отношению к фонемам» [Леви-Стросс 1983: 218—219].

А меж тем у Шекспира
Острить пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом...
Сонет говорит ему: «Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, — ...
Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но сэр, но милорд, мы — в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

В начале прошлого века, когда было написано стихотворение Пастернака, такая постановка вопроса могла показаться достаточно экстравагантной. В конце века она уже утратила свою оригинальность. После знаменитого эссе Ролана Барта «Смерть автора» (1967) спорить о первородстве могли между собой уже только текст и адресат. Согласно не менее известному эссе Мишеля Фуко «Что есть автор» (1969), само имя Шекспир — это лишь некоторая функция организации и классификации корпуса текстов.

Как нам представляется, необходимо исходить из разнородности и множественности функций текста. Соответственно, могут меняться и подходы к нему. Так, одним из сущностных дифференциальных признаков текста является его телеологичность — всякий текст создается с определенной целью и используется для достижения какой-либо цели. Тем самым для говорящего текст выступает как инструмент для достижения некоторых целей. Однако возможен и противоположный подход — говорящий, автор или реципиент, выступает как такая функция текста, благодаря которой актуализируется его смысловой и коммуникативный потенциал, то есть как инструмент актуализации текста. Текст может быть рассмотрен и как самотождественная семиотическая единица (например, трагедия Еврипида тождественна себе безотносительно от места и времени ее актуализации) или же как комплексная функция от нескольких переменных (в таком случае семантика трагедий Еврипида будет варьироваться в зависимости от контекста). Также и при другой перспективе рассмотрения: иной окажется семантика текста, в зависимости от того, будем ли мы основываться на его референциальной силе или же на его когнитивном потенциале.

6.2. Семантика текста — референциальный подход

Семантику текста можно определить исключительно применительно к языку и миру (множеству возможных миров), безотносительно к адресату и адресанту. При этом, как и в общем случае, следует разграничить внутри-

лингвистическую и экстралингвистическую семантику — смысл текста и его возможные значения. Смысл текста понимается как некоторая интегрирующая композиционная функция от смысловых единиц текста (вышеупомянутых «семантем» Леви-Стросса или каких-либо иных), это переход от изолированных языковых смыслов к обусловленным языком семантическим структурам текста. При таком понимании смысл текста можно представить как упорядоченную текстовыми операторами-отношениями $<t_1...t_n>$ структуру языковых смыслов $<\varphi_1...\varphi_n>$. Под текстовыми операторами мы понимаем всевозможные формы связи между предложениями и ситуациями, что в то же время есть различные отношения достижимости между мирами. Это могут быть логические и квазилогические («и»; «если… то») или же их нарративные корреляты («вследствие», «по причине»…), собственно нарративные («до того… после того», «в это же время»), модальные (рассказ в рассказе, намерение, желаемое, долженствующее и т. д.). Их можно свести к сугубо синтаксическим — дав список возможных связей и связок между предложениями или внутри сложных предложений. Вероятно, однако, что не все из этих операторов могут быть сведены к синтаксическим: это, помимо модальных, такие типы связей, как ассоциативные, метафорические, тезаурусные и т. д.

Смысл текста T_{sense} есть результат текстовых операций над языковыми смыслами, что можно представить как результат операции соединения (конкатенации, проекции, отображения) последовательности текстовых операторов $<t_1...t_n>$ и структуры смыслов $< \varphi_1...\varphi_n >$. Эта операция X приводит к некоторой структуре, «смыслу текста»:

$$<t_1...t_n> X < \varphi_1... \varphi_n> \rightarrow T_{sense} <E^*_1...E^*_n>,$$

или, что то же самое,

$$T_{sense} <E_1...E_n>, \rightarrow <E^*_1...E^*_n>,$$

где T_{sense} — обобщенное представление текстовых операторов $<t_1...t_n>$; E — языковые выражения текста; E* — результат преобразования текстовыми операторами смыслов составляющих текст языковых выражений E или пропозиции, получаемые в результате сочетания текстовых операторов и смыслов языковых выражений.

Как видим, на первом этапе, при описании смысла текста, оказываются достаточными языковые смыслы и текстовые операторы. Однако переход от смысла текста к его значению потребует дополнительных параметров — должно быть задано также и множество возможных миров и контекстов, включающих адресата и адресанта. В такой прагмасемантической версии они вписаны в текст — как некоторые параметры возможных интерпретаций. Контекст зависит от текста — кто, где и как может создать или интерпретировать данный текст.

Переход от смысла текста к его значению можно представить как функцию:

$$T_{sense}$$

$$<E^*_1...E^*_n> \text{-------}\rightarrow T_{meaning};$$

или, в развернутой форме:

$$T_{sense}; <E^*_1...E^*_n>,; V \rightarrow T_{meaning}; \{W_0; \{W\}; R\},$$

где V — универсум возможных миров; а $\{\{W_0; \{W\}; R\}\}$ есть модельная структура С. Крипке: {W} — некоторое множество возможных миров, W_0 — входящий в это множество некоторый отмеченный мир, и R — заданное на множестве отношение достижимости [Крипке 1974: 28—29].

Из некоторого универсума возможных миров выбирается некоторый «отмеченный» мир (мир текста?) и множество достижимых из него миров. Смысл текста есть функция, которая, сополагаясь с предметной областью — неупорядоченным множеством миров (универсумом {V}), выделяет в этом универсуме {V} некоторую структуру миров или модельную структуру. Модельная структура — это множество связанных некоторыми отношениями достижимости миров, или — некоторый мир и заданные на нем отношения перехода к другим мирам.

Можно ввести различные прагмасемантические координаты, благодаря чему возможно введение новых контекстуально-обусловленных модельных структур. В таком случае языковые выражения текста $<E^*_1...E^*_n>$ будут посредством значения текста соотноситься не со смыслами, а с множеством возможных миров-моделей данного предложения, определенных применительно к некоторому контексту:

$$\{<E^*_1...E^*_n>\}; \{W_0; \{W\}; R\}, C \rightarrow \{T; F\}.$$

Это такая функция, которая, сополагаясь с фактуальной информацией о возможных мирах и контексте С, определяет истинностное значение — имеет место (T, “true”, «истинно») или не имеет место (F, “false”, «ложно») выраженная «е» пропозиция в рассматриваемом мире (последний необязательно должен быть актуальным миром или же миром контекста). Напомним, что условия истинности принято трактовать как смысл предложения.

Тем самым можно представить формальное описание текста в его взаимодействии с читателем, схематически описав, как взаимосвязаны между собой семантическая структура текста и его возможные прочтения. Тем самым текст анализируется как целокупность, включающая многомерную смысловую структуру, механизмы множественной интерпретации и референции, а также контекстно-зависимые прагмасемантические характеристики.

6.3. Пределы интерпретации — референциальный подход

При вышеописанном подходе к семантике текста, учитывая контекстуальную вариативность и принципиальную многозначность языковых выражений, область значений текста настолько широка что множество интерпретаций оказывается столь мощным, что не может быть перечислено. Вместе с тем существует нечто не зависящее (по крайней мере, при принятом подходе) от контекстов — это исходный набор языковых смысловых и текстовых операторов. Поэтому множество интерпретаций может быть задано лишь путем указания на некоторые предельные точки — то есть на те интерпретации, которые окажутся вне этого множества. Это может быть осуществлено двумя способами — посредством референции или перифразирования.

При первом подходе следует предусмотреть возможность описания того, как происходит расширение или сужение множества миров модельной структуры. При подобном описании модельную структуру целесообразно задавать не путем перечисления тех или иных интерпретаций, а посредством указания на предельные случаи — какие из миров оказываются вне модельной структуры, то есть не будут приемлемой интерпретацией перифразированных языковых выражений текста.

Во втором случае акцент переносится на правила перифразирования, и вопрос будет стоять так: до каких пределов перифраза может отдалиться от исходных языковых выражений текста, чтобы считаться неприемлемой. Однако сводить границы возможного перифразирования только к лингвистическим факторам было бы неверным, — здесь действуют и механизмы «цензуры» — некоторые лингвистически возможные перифразы отвергаются из-за их несоответствия принятым процедурам толкования текста. Например, предлагаемое в свое время А. Кручёных «сдвигологическое» прочтение Пушкинского «что в имени тебе моем» как: «что вымени тебе моем» — будучи фонетически верным, не будет считаться проявлением многозначности и, видимо, будет отвергнуто из-за его несоответствия нашему пониманию поэтики Пушкина.

6.4. Семантика текста — когнитивный подход

Ситуация меняется, если от референциальных версий семантики перейти к когнитивным, при которых текст может рассматриваться как переменная величина, а не как нечто данное и постоянное, хоть и видоизменяющееся в зависимости от контекстуальных правил, но тем не менее автономное от них. При таком подходе некоторая знаковая (или даже незнаковая, но становящаяся знаковой) структура рассматривается как текст — если (перефразируя определение знака Ч. Пирса) в данном контексте интерпретируется как текст. Языковая структура и его семантика (описанная выше) оказываются лишь одним из факторов семантизации текста. В некотором отношении эта языко-

вая структура не предшествует интерпретации, а следует после нее — как результат реализации определенной интенции, наделяющей некоторую композицию знаковых выражений признаками текста. Так текст обречен на постоянное воссоздание: после реализации авторской интенции он должен быть воссоздан уже как результат реализации интенции интерпретатора (будь то читатель, критик, переводчик, историк, жрец, политик и т. д.). Соответственно, текст не может рассматриваться как обладающий некоторой заданной семантикой, а должен быть подвержен постоянной семантизации.

Безусловно, такой подход исходит из принципиально иного понимания языкового знака, который при таком подходе не имеет референциального (денотативного) измерения, и потому его семантика определяется исключительно реципиентом. Подобная теория языка на сегодняшний день еще не сформировалась, но ее основной принцип уже достаточно четко выражен в теории Умберто Матураны:

> Но стоит признать, что язык коннотативен, а не денотативен, и что его функция состоит в том, чтобы ориентировать ориентируемого в его когнитивной области, не обращая внимания на когнитивную область ориентирующего, как становится очевидным, что никакой передачи информации через язык не происходит. Выбор того, куда ориентировать свою когнитивную область, совершается самим ориентируемым в результате независимой внутренней операции над собственным состоянием... Строго говоря, никакой передачи мысли между говорящим и его слушателем не происходит. Слушатель сам создает информацию, уменьшая неопределенность путем взаимодействий в собственной когнитивной области [Матурана 1995: 119].

Хотя подобный подход в лингвистике не сформировался, его можно считать достаточно последовательно представленным в поэтике — в первую очередь, в практиках постструктурализма и деконструктивизма, и, посредством поэтики, — в семиотике текста. К сожалению, методология подобного анализа фактически отсутствует, что лишает указанные практики доказательной силы, из-за чего собственно анализ текста подменяется более или менее удачной эссеистикой. Думается, что методологической основой анализа процессов семантизации, может стать прежде всего когнитивная лингвистика.

Однако следует отметить, что подобный подход к семантизации текста нельзя считать чем-то новым. Нортроп Фрай еще в 1947 г. сравнил прочтение художественного текста с пикником, на который автор приносит слова, а читатель — значения[76]. Несмотря на кажущуюся парадоксальность, этот подход вполне может быть основан на такой теории языкового знака, согласно которой само по себе слово не имеет значения, а приобретает его только в процессе семантизации. Прототип подобной теории можно найти у Льюиса Кэрролла, где подобный взгляд, как и все остальное в созданном им Зазеркалье,

[76] “It has been said of Boehme that his book is like a picnic to which author brings the words, and the reader the meaning. The remark may have been intended as at Boehme, but it is a description of all works of art without exception” [Frye 1947: 237—238].

доведено до своего логического предела — абсурда[77]. Однако сам подход имеет солидную основу, проблема лишь в том, что соответствующая теория все еще ждет своего последовательного воплощения.

Мысль кэрролловского Шалтай-Балтая вполне допускает и такое вышеприведенное респектабельное оформление, которое было предложено Луи Ельмслевом [Ельмслев 1960: 303—304]. Подобный подход стал основным в социальной семиотике подход: «Знаки не используются, а создаются "знаделателем" (sign-maker), который и вносит смысл в соответствии с подобающей формой, выбор оформляется в соответствии с его интересами, а они, в свою очередь, формируются окружением и обстоятельствами употребления знака» [Kress 2010: 62].

6.5. Есть ли пределы семантизации?

При референциальном подходе границы семантики текста, понимаемой как множество интерпретаций, могут быть заданы, поскольку есть нечто, что не зависит от коммуникативного контекста, — это смысл текста. При когнитивном подходе в случае семантизации подобных пределов установить невозможно — поскольку как исходное множество будут выступать потенциальные реципиенты текста, а текст возникает, если использовать в несколько иной связи вышеприведенное выражение Умберто Матураны, как «результат независимой внутренней операции над собственным состоянием», которая производится реципиентом («ориентируемым»). В таком случае границы семантизации если и могут определены, то во всяком случае это не может быть сделано методами лингвистики или семиотики. Но если любая семантизация текста возможна (иными словами, ни одна из интерпретаций не может быть исключена из рассмотрения), то теряется само понятие текста. В этом случае возможно отсутствие знакового текста (как, например, в вышеприведенном примере с белым ватманским листом), который может быть интерпретирован как угодно — как результат «внутренней операции над собственным состоянием».

[77] «Но "слава" совсем не значит: "разъяснил, как по полкам разложил!" — возразила Алиса.

— Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, — сказал Шалтай презрительно.

— Вопрос в том, подчинится ли оно вам, — сказала Алиса.

— Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, — сказал Шалтай-Болтай. — Вот в чем вопрос!» («Алиса в Зазеркалье», гл. «Шалтай-Болтай», пер. Н. М. Демуровой). Заметим, что в оригинале эта концепция выражена в более умеренной версии: "When I use a word,' Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, 'it means just what I choose it to mean — neither more nor less.' — 'The question is,' said Alice, 'whether you can make words mean so many different things.' — 'The question is,' said Humpty Dumpty, 'which is to be master — that's all." Master можно понимать и как «умелец», речь идет о возможности-умении использовать слово в различных значениях, а не о подчинении «хозяину».

Что мешает принять подобную точку зрения? Стоит идти от обратного и рассмотреть случаи, когда некоторые интерпретации тем не менее оказываются неприемлемыми. Когнитивный подход в лингвистике и поэтике по праву связывают с глубокими идеями Льва Выготского. Тем интереснее рассмотреть, как Выготский оценивает весьма похожие на современные деконструктивистские интерпретации [Кацис, Руднев 1999] психоаналитические этюды И. Д. Ермакова 1920-х гг.:

> Когда профессор Ермаков поясняет, что «Домик в Коломне» надо понимать, как домик колом мне, или что александрийский стих означает Александра, а Мавруша означает самого Пушкина, который происходит от мавра, — то во всем этом ничего, кроме нелепой натяжки и ничего не объясняющей претензии, при всем желании увидеть нельзя. Вот для примера сопоставление, делаемое автором между пророком и домиком. «Как труп в пустыне лежал **пророк**; вдова, увидев бреющуюся Маврушу, — «ах, ах» и шлепнулась... Упал измученный пророк — и нет серафима, упала вдова — и простыл след Мавруши... Бога глас взывает к пророку, заставляя его действовать: «Глаголом жги сердца людей!» Глас вдовы — «ах, ах» — вызывает постыдное бегство Мавруши. После своего преображения пророк обходит моря и земли и идет **к людям**; после того как открылся обман, Мавруше не остается ничего другого, как бежать за тридевять земель **от людей**»...
>
> ...когда он поясняет, что «Иван Никифорович близок к природе: — как велит природа — он Довгочхун, то есть долго чихает, Иван Иванович искусственен, он Перерепенко, он, может быть, вырос сверх репы», — он окончательно подрывает доверие к тому методу, который не может избавить нас от совершенно абсурдного истолкования двух фамилий, одной — в смысле близости к природе, другой — в смысле искусственности…
>
> Так изо всего можно вывести решительно все. Классическим образцом таких толкований останется навсегда толкование пушкинского стиха Передоновым в классе на уроке словесности:
>
> Встает заря во мгле холодной,
> На нивах шум работ умолк,
> С своей волчихою голодной
> Выходит на дорогу волк.
>
> — Постойте, — сказал Передонов, — это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят: волк с волчихою голодной. Волк — сытый, а она — голодная. Жена всегда после мужа должна есть. Жена во всем должна подчиняться мужу.
>
> Психологических оснований для такого толкования есть ровно столько же, сколько и у толкований Ермакова [Выготский 1968: 84—85].

Однако столь пространная цитата показывает, что, в самом деле, нравится нам та или иная интерпретация — но она при всей своей неприемлемости тем не менее возможна. В случае семантизации действует принцип: *«Из всего можно вывести все»*. Нет никакого теоретического обоснования для установления каких-либо пределов для процесса семантизации, а реальная прак-

тика (толкования профессора И. Д. Ермакова — лишь один из подобных случаев) показывает, что ум человеческий в состоянии предложить самые невообразимые толкования для, казалось бы, достаточно простых текстов. Придуманный Федором Сологубом преподаватель словесности Передонов мог бы сослаться на теорию иконичности (когнитивности?) синтаксических категорий Романа Якобсона:

> Субъект действия, обозначенного предикатом, воспринимается, в терминах Эдуарда Сепира, как «исходный пункт», «производитель действия», в противовес «конечному пункту», «объекту действия». Подлежащее, единственный независимый член предложения, выделяет то, о чем говорится в сообщении. Каков бы ни был истинный ранг деятеля, он с необходимостью выдвигается в герои сообщения, как только берет на себя роль подлежащего. The subordinate obeys the principal — «Подчиненный повинуется главному» [Якобсон 1983: 108].

А также и «сдвигологическое» прочтение Пушкина — если оно существует, следовательно, оно возможно.

6.6. Конфликт интерпретаций и поиск консенсуса

> Чтобы Пушкина славный товар не пошел по рукам дармоедов,
> Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов...
> *О. Мандельштам*

Как в случае референциального, так и когнитивного подхода текст понимается динамически, как находящийся в процессе постоянного воссоздания. Но при этом предельные точки семантического варьирования текста при когнитивном подходе, как уже было отмечено, не могут быть определены, что подрывает саму основу семиотического рассмотрения текста. Считать объект, который может не иметь означающего и при этом может быть соотнесен с любым означаемым, знаком — значит допустить противоречие в терминах. Поэтому теоретически пусть и не совсем последовательно, при «семантизирующем» подходе делаются определенные оговорки[78].

Например, множество непредсказуемых реальных читателей заменяется понятием идеального читателя, сверхчитателя, или надресата, который, в свою очередь, описывается как прагмасемантическая функция от текста [Золян 1990] или же как основанная на интенциях текста стратегия его прочтения [Eco 1990]. Как видим, и в этом случае возникает несколько завуалированный «возврат к тексту». Другой подход, социолингвистический, связан с

[78] Ср.: «To say that interpretation (as the basic feature of semiosis) is potentially unlimited does not mean that interpretation has no object and that it “river runs” merely for its own sake. To say that a text has potentially no end does not mean that every act of interpretation can have a happy end» [Eco 1990: 143].

дифференциацией — ничем не ограниченное множество потенциальных читателей разбивается на подмножества — на, воспользуемся удачным определением Стенли Фиша, интерпретативные сообщества (interpretative communities):

> The meaning are the property neither of fixed and stable text, nor of free and independent readers, but of interpretative communities that are responsible both for the shape of the readers activities and for the texts those activities produce [Fish 1980: 22).

Правда, и в этом случае просвечивает понятие семантики текста — хотя сам текст понимается как продукт, возникающий в результате деятельности интерпретативного сообщества, сами эти сообщества определяются на основе «интерпретативных стратегий», схожих для всех его членов, а «интерпретативные стратегии» есть результат некоторой авторской интенцией, которая зафиксирована в тексте. Кроме того, совокупность всех «интерпретативных стратегий» (или совокупность всех «интерпретативных сообществ») можно рассматривать как идеального читателя или сверхчитателя (или же наоборот).

Как видим, при когнитивном подходе возникает стремление каким-либо образом найти границы для семантизации, для чего и вводятся не совсем понятные конструкты типа «сверхчитатель», «интерпретативная стратегия» и т. п. Между тем у Умберто Матураны можно найти важное уточнение — коммуникация на естественном языке, если он понимается как коннотативная система, предполагает поведение, направленное на сотрудничество и достижение консенсуса. Безусловно, в этом случае интерпретация будет подчинена некоторой объединяющей социум цели — и цель эта может лежать как в самом тексте, так и вне его (например, в Средние века сам манускрипт, в котором были записаны поэтические молитвы армянского поэта-мистика IX в. Григора Нарекаци, так называемый «Нарек», использовался как магическое лечащее средство).

Если признать, что не все возможные интерпретации являются приемлемыми [Eco 1990], то из этого следует вывод, на который не отваживаются теоретики, но который напрашивается. Если у нас имеются критерии, согласно которым мы может отличить «хорошие» интерпретации от «плохих», как это предлагалось Умберто Эко, то возможно найти и наилучшую среди них. А также, используя механизмы цензуры, исключить из рассмотрения все «плохие» интерпретации и считать их «неинтерпретациями», проявлениями душевного расстройства (толкования Передонова), преднамеренного эпатажа («сдвигология» Кручёных) или просто академической глупости (интерпретации Ермакова).

Однако помимо упомянутых У. Матураной механизмов консенсуса действуют и существующие в обществе механизмы власти и принуждения. Следующий этап «конфликта интерпретаций» (используя высказанное в иной связи выражение Поля Рикёра) — это борьба за доминирующую интерпрета-

цию, которая претендует выступать не как результат той или иной интенции или интерпретационной стратегии, а как «истинная» семантика текста. Здесь происходит переход от семантики текста — к сфере дискурса, проблематика которого весьма часто, причем в различным направлениях исследования дискурса, понимается как вопрос власти и общества (М. Фуко, Р. Барт, Э. Лакло, Ш. Муфф. Т. ван Дейк, Р. Водак)[79]. Перефразируя Оруэлла, можно утверждать: «Кто контролирует интерпретацию, тот контролирует и текст».

Вспомним, что в традиционном обществе власть принадлежала тем, кто имел монополию на правильную интерпретацию сакральных текстов (брамины, жрецы). Доминирующая интерпретация может быть задана не только политической или религиозной властью, но и находящейся в оппозиции к ней интеллектуальными «властителями дум» (Вспомним начало Реформации, когда мятежный монах Лютер начал борьбу за «правильную» интерпретацию Библии и, в подтверждение своей стратегии, перевел ее на немецкий, или же ситуацию николаевской России, когда властителем интерпретации оказался мятежный критик Белинский).

Вопрос в том, какими методами и до какой степени осуществляется контроль над интерпретацией. Сам по себе тезис о бесконечности и незамкнутости интерпретаций остается в силе, однако он дополняется положением об относительной социальной детерминированности интерпретации. Интерпретация понимается не как любое возможное преобразование текста в другой текст о данном тексте (метатекст), а только такое, которое признается «хорошей» («правильной», «истинной» и т. п. интерпретацией). Под относительной детерминированностью мы понимаем следующее — возможны различные интерпретационные стратегии, при которых степень детерминированности колеблется — от предельно жестких, ограничивающих пределы интерпретации лишь одним из факторов (общеязыковая система, контекст создания текста, интенция автора, господствующая культура и идеология, религиозная догматика и т. п.) до предельно свободных, допускающих произвольную вариацию любого из коммуникативных факторов. В духе принятой по теории дискурса терминологии эти крайние формы интерпретативной стратегии можно назвать тоталитарными и анархистскими. На тоталитаризм традиционной герменевтики постмодернизм ответил анархической семантикой деконструктивизма. Введенное Стенли Фишем понятие «интерпретативного

[79] В современном обществе политическая власть осуществляет себя не столько через механизмы насилия, сколько через контроль над дискурсом. Определение власти как инструмента насилия — которое в свое время за Лениным и Троцким повторил и Макс Вебер — в практике и теории уступает место другому пониманию — как инструмента контроля над информационными потоками и как следствие этого — над общественным сознанием. Как определяет Т. ван Дейк, «власть есть контроль над публичным дискурсом» [Дейк 2013: 32], ибо «если дискурс управляет сознанием, а сознание управляет действиями, то для властных групп важным является контролировать прежде всего дискурс» [Дейк 2013: 28].

сообщества» оказывается хорошим описанием того, как образуются и функционируют различные религиозные общины, отличающиеся тем, как следует толковать священные книги.

Безусловно, в тоталитарном обществе может быть только одна единственно верная интерпретация. Это предполагает предельно жесткие и не допускающие многозначности правила интерпретации, регламентирующие все вплоть до лингвистических средств выражения. Только носитель верховной власти может предложить новое, отклоняющееся от принятого или буквального толкование[80]. В таком обществе конфликт интерпретаций не может перерасти в диалог и многоголосие, поскольку однозначно регламентированным оказывается весь язык, вплоть до знаков препинания[81]. История российского раскола началась с уточнения филологических вопросов: правильности написания имени (Iсус vs Iисус) и адекватности перевода с греческого на старославянский. Впрочем, именно в обществе, где установлен тоталитарный контроль над текстами, возникают особые механизмы интерпретации: Эзопов язык,

[80] Так, Сталин мог позволить себе «небуквально» понимать классиков марксизма и заявить, что язык не является ни базисом, ни надстройкой. Основанием для этого послужило «вольное» (в отличие от буквализма марристов) прочтение классиков: «Ссылаются на Маркса, цитируют одно место из его статьи "Святой Макс", где сказано, что у буржуа есть “свой язык”, что этот язык “есть продукт буржуазии”, что он проникнут духом меркантилизма и купли-продажи. Этой цитатой некоторые товарищи хотят доказать, что Маркс стоял будто бы за “классовость” языка, что он отрицал существование единого национального языка. Если бы эти товарищи отнеслись к делу объективно, они должны были бы привести и другую цитату из той же статьи “Святой Макс”, где Маркс, касаясь вопроса о путях образования единого национального языка, говорит о “концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленной экономической и политической концентрацией”. Следовательно, Маркс признавал необходимость единого национального языка как высшей формы, которой подчинены диалекты как низшие формы. Что же в таком случае может представлять язык буржуа, который, по словам Маркса, “есть продукт буржуазии”. Считал ли его Маркс таким же языком, как национальный язык, со своей особой языковой структурой? Мог ли он считать его таким языком? Конечно, нет! Маркс просто хотел сказать, что буржуа загадили единый национальный язык своим торгашеским лексиконом, что буржуа, стало быть, имеют свой торгашеский жаргон. Выходит, что эти товарищи исказили позицию Маркса. А исказили ее потому, что цитировали Маркса не как марксисты, а как начетчики, не вникая в существо дела» [Сталин 1950]. Аналогичным образом Сталин дезавуирует цитаты Ф. Энгельса и П. Лафарга.

[81] Ср. воспоминания акад. Ф. Т. Михайлова: «Хорошо помню семидневное партийно-комсомольское собрание философского факультета МГУ 50-х годов, посвященное разгромной партийной критике толкования проф. З. Я. Белецким запятой в одной из формулировок Ленина. В ней объективная истина и объективная реальность то ли разделялась запятой, то ли объединялась (как считал критикуемый профессор). Партийная критика логически завершилась... изгнанием З. Я. Белецкого с факультета» [Обсуждение…: 86].

аллюзии, чтение между строк. Так, в семидесятые годы Конституция СССР прочитывалась как диссидентский текст, была выработана такая процедура контекстуализации, когда практически любой текст мог быть прочитан как выражающий «запретные» мысли[82].

[82] Ср.: «Веселовский умел править так, чтобы не испортить текст. Это мастерство сродни умению бегать в ливень между струйками и оставаться сухим. Когда я придумал Евгения Сазонова и первые главы романа “Бурный поток”», он, восторженно приняв идею — создать типовой образ выдуманного советского писателя, — споткнулся о первую фразу: “Шли годы. Смеркалось”.

— Это на что намек? — спросил он. — На то, что у нас ничего не происходит?

Я промямлил:

— Ну почему? Просто сомкнулись два расхожих штампа.

— Мне-то не говори! — поднял голову Витя. — Я же понимаю, что тут не про штампы.

— С чего ты взял?

— Смеркалось — значит, становилось все темнее и темнее. Ежу понятно.

— Ну, не знаю... — попробовал я вяло протестовать. — Я не это имел в виду.

— Не это?.. Тогда что?

— “Смеркалось” означает одно — то, что, смеркалось. И ничего больше.

— А контекст? — спросил Веселовский.

— Нет у меня никакого контекста.

— Есть. Да еще с подтекстом.

— Где?.. В чем?.. Покажи.

— Да вот же, вот... “Шли годы”!.. Это есть контекст с подтекстом. Мол, на протяжении многих лет страна погружается во тьму. И скоро будет что?

— Что?

— Конец света. Полный мрак. Тьма-тьмущая. — Витя будто был рад этому обстоятельству. Его редакторский глаз горел.

— Это же... картина нашей жизни!

Притворяться было глупо, и я признал:

— Да, картина. И что — переделывать?..

— Нет. Попробую предложить. Авось проскочит.

Проскочило!..

Много лет спустя один мой товарищ сделал комплимент:

— В этой твоей фразе — весь период застоя. Как они не просекли?

— Веселовский просек, — сказал я и поведал товарищу другую байку про того же “людоведа и душелюба”.

После публикации романа “Бурный поток” Витя предложил мне публиковать так же по строчке в каждом номере биографию выдуманного мною писателя. Я тут же сочинил: “Евгений Сазонов родился в 1937 году. Продолжение следует”.

Витя улыбнулся и произнес:

— Не пройдет.

— Почему?

— 37-й год не пройдет, старичок. Надо заменять.

— Понял, — сказал я. — А 36-й можно?

— 36-й можно.

6.7. Когнитивная vs референциальная семантика: конфликт и симбиоз

> Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит.
>
> *Апостол Павел, 2Кор. 3:6*

Если говорить о современном обществе, то, видимо, есть определенное разграничение сфер: тех, где допустима семантизация текста, и тех, где действуют правила семантики, причем ориентированные на процедуры предельно однозначного толкования текста и его языковых выражений. В общественном сознании это связано скорее с типологией жанров и текстов — так, художественные тексты воспринимаются как предельно многозначные, тогда как научные или юридические — как однозначные. Безусловно, можно найти, например, особые средства создания многозначности в художественных текстах и, напротив, снятия многозначности в нехудожественных вплоть до использования иной семиотической системы (напр., латинский в медицине или биологии, искусственные языки химии, формальный язык в математике и т. д.). Разумеется, недопустима многозначность медицинского диагноза или рецепта, воинского приказа, закона или судебного приговора. Однако сам текст еще не обеспечивает ни однозначности, ни многозначности — это будет зависеть от процедур интерпретации. Сам Витгенштейн считал, что по крайней мере в «Трактате» он достиг максимальной четкости и ясности изложения. Тем не менее споры о том, как понимать и переводить те или иные предложения «Трактата» будут длиться, пока у «Трактата» есть читатели и интерпретаторы. Сам по себе выкрик «Огонь», как и любой перформатив, становится осмысленным и однозначным приказом только при наличии необходимых «удачных» условий. Но при наличии этих условий какие-либо иные интерпретации окажутся недопустимыми (это — нарушение воинского устава). Или, например, фотография вооруженного человека — она может служить уликой, однозначным доказательством совершенного преступления, но может быть воспринята и как произведение искусства, допускающим раз-

---

Я тут же исправил: “Евгений Сазонов родился в 1936 году. Продолжение следует”. Веселовский прочел и расхохотался.

— Это какое-такое “продолжение” будет в 37-м году?

— Не знаю. Ты сказал “можно” — я исправил.

— Ладно, — сказал Виктор, — попробую с 36-м. Авось не просекут.

— Но ты же просек!

— Я другое дело. Важно, чтобы ОНИ не просекли.

Они опять не просекли» (Розовский М. Шли годы. Смеркалось // Литературная газета. 2009. 22—28 апр. №17 (6221)).

личные интерпретации. Однако требуется не смешивать эти ситуации — трактовать улики как художественный текст[83] и, напротив, видеть в художественном тексте вещественное доказательство вины (ср. с существовавшим запретом на чтение и распространение текстов «нежелательных» авторов, безотносительно от их содержания — напр., лирики Мандельштама).

Можно говорить о многозначности/однозначности не столько самих текстов, сколько используемых процедур. Так, иллюзией является точка зрения, что юридические тексты однозначны. Другое дело, что существуют нормативные акты, строго регулирующие денотативное прочтение юридических документов вплоть до толкования союзов и запятых[84]. Однако даже при на-

[83] Так, относительно дела пятерых подростков, которые избили и довели до многомесячного состояния в коме санкт-петербургского школьника Тагира Керимова, эксперт Центра судебных экспертиз Елена Кирюхина в своем 10-страничном заключении пришла к выводу, что «фразы “Крысам — крысячья смерть”, “Россия для русских” в контексте дела не являются националистическими. Что касается публичных призывов “Убивай хача, мочи хача”, “Бей черных”, то данные фразы могли как иметь, так и не иметь ксенофобской направленности», что зависит «от мотивов, которыми руководствовались произносившие их». Призывы «убивать хачей» скорее носили «иронический» характер и молодые люди выкрикивали их «не всерьез». «Если мотив драки не имел отношения к национализму, то и смысл призыва не будет связан с ксенофобией. Перед дракой фраза “убивай хача” могла представлять призыв как к самому избиению, так и к его началу — боевой клич. В этом случае слова “хач”, “черных”, “хачей” обозначали того или тех, кого следует начать бить, т. е. указывали на объект агрессии. При этом агрессия могла быть связана с его инакостью по отношению к нападавшим (русским), а могла иметь другое происхождение», — говорилось в заключении лингвиста. Поэтому из отдела по расследованию особо важных дел СКП уголовное дело спустили в УВД по Санкт-Петербургу». URL: https://lenta.ru/news/2009/08/28/motto (дата обращения: 06.08.2021).

[84] В качестве примера приведем соответствующее положение Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г.: «Раздел 3: Толкование договоров. Статья 31. Общее правило толкования. 1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора. 2. Для целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста, включая преамбулу и приложения: a) любое соглашение, относящееся к договору, которое было достигнуто между всеми участниками в связи с заключением договора; b) любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи с заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа, относящегося к договору. 3. Наряду с контекстом учитываются: a) любое последующее соглашение между участниками относительно толкования договора или применения его положений; b) последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования; c) любые соответствующие нормы международного права, применяемые в отношениях между участниками. 4. Специальное значение придается термину в том случае, если установлено, что участники имели такое намерение. Статья 32. Дополнительные средства толкования. Возможно обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе к подготовленным материалам и к обстоятельствам заклю-

личии подобных метаправил интерпретации одного и того же юридического текста могут разниться, почему и требуются дополнительные комментарии и пояснения высшей судебной власти: в данном случае наглядно проявляется ситуация, когда власть реализуется как право на интерпретацию текста (рассуждения журналиста или политика о законе интерпретацией считаться не будут).

Однако в целом наряду с необходимым для функционирования общества умением однозначно интерпретировать текст в определенных ситуациях не менее важно, чтобы способность понимать текст не ограничивалась лишь умением или способностью перифразировать и интерпретировать текст, но и была дополнена способностью наряду с «собственной» предложить иные возможные интерпретации и перифразы. Не говоря о социальных аспектах этой компетенции, заметим, что ее можно рассматривать как проявление языковой способности. Так, в соответствии с новейшими представлениями о языковых компетенциях, наивысшим уровнем владения иностранным языком применительно к чтению считается не только: а) способность перифразировать и интерпретировать, но и б) осознание собственной системы перифразирования, некоторых правил наложения на текст текстовых операторов, в) осознание и владение другими кодами (системами операций и операторов) интерпретации и перифразирования [ср.: Aase et al. 2009].

Литература и искусство оказываются теми сферами, где вырабатываются новые стратегии интерпретации и, тем самым, механизмы создания новых смыслов. Именно поэтому власть, претендующая на контроль над обществом в первую очередь посредством образования, масс-медиа и массовой культуры стремится установить контроль над правилами интерпретации (так, в советской школе даже самые творческие задания — сочинения на темы литературы XIX в. — должны были быть пересказом статей Белинского или Добролюбова). Креативные процессы создания и воссоздания смысла подменяются дискурсивными практиками (которые, закостеневая, могут принимать и форму ритуала), а место автора занимает политик — носитель властных полномочий (он может выступать и как критик, идеолог, священнослужитель, философ и т. д.). Сам текст закостеневает — его языковые выражения становятся однозначно связаны с определенными и фиксированными смыслами, чтение из процесса понимания смысла становится распознаванием знаков, «букв», то есть тем, чем является чтение на низшем этапе развития языковой способности.

Текст оказывается полем перманентного поединка — битвы за контент чередуются с битвами за контекст. Когда сражение заканчивается и контент пребывает в мире с некоторым уже закрепленным за ним контекстом, не по-

чения договора, чтобы подтвердить значение, вытекающее из применения статьи 31, или определить значение, когда толкование в соответствии со статьей 31: a) оставляет значение двусмысленным или неясным; или b) приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или неразумными».

рождая новых значений, тогда текст становится «книгой» (некой конфигурацией знаков), его семантика и семантизация перестают различаться. Противодействием такому завершению смысловой жизни текста может быть возвращение к исходному пониманию семантики — как множеству возможных интерпретаций, многие из которых будут реализованы в некоторый момент истории, но большинство из них так и останется в латентном состоянии. Семантика и семантизация текста — это взаимосвязанные, но разнонаправленные и конфликтующие процессы осмысления, продуцируемые текстом. Но протекание этих процессов, сферы их применения и их регулирование — это уже вопрос социальной практики и политики.

7. СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕКСТА. «ГЛУБОКАЯ СЕМИОТИКА» И «СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА»

7.1. Культура как система осмысления и знаковой регуляции

Для животного мир, ориентация в этом мире, поведение в нем, реакции на него заданы априорно генетическим кодом. Именно генетический код делает мир «его миром». И адаптация к динамике окружающего мира реализуется за счет мутаций вида и естественного отбора результатов таких мутаций. Человек вырвался из зависимости от природных условий, вынеся механизм адаптации за биологические пределы. Не мутируя как вид, он адаптируется за счет изменения самой окружающей действительности, превращая натуру в культуру — систему порождения, отбора, хранения, воспроизводства и трансляции социального опыта. Именно в этом наиболее полно проявляется и выражается сущность человека как социального существа. Если опыт исторического человека рассматривать как специфический вид памяти, то особенность такой «памяти» отнюдь не в объемных характеристиках, а в качественно ином характере. От непосредственных запоминаний и удерживаний впечатлений человек переходит к опосредованным, с помощью социальных средств позволяющих ему регулировать и направлять свою память и опыт.

В узелке на память, в пирамиде, в книге, в дискете, в техническом инструменте, в научном приборе проявляется то глубинное и существенное, что отличает регуляцию деятельности и сознания человека как существа исторического. Ю. М. Лотман — один из авторитетнейших гуманитариев второй половины прошлого столетия — понимал культуру как систему внегенетического наследования информации о поведении [Лотман 2010]. С этой точки зрения, любое средство, предмет и продукт социальной жизнедеятельности, выступает средством освоения опредмеченного в нем социального опыта, регуляции этого опыта. Именно посредством такой вспомогательной системы детерминаций человек вырвался из зависимости от природных условий, обрел способность приспособления к среде не за счет эволюции *homo sapiens* как вида, а за счет «эволюции» самой системы стимулов и детерминаций своей жизнедеятельности. Причем делается это в историческом развитии все более осознанно, целенаправленно и дифференцированно.

Предметы быта и космические аппараты, книги и картины, инструменты и здания, любые артефакты, поступки и явления природы в контексте определенных культур, будучи связанными с определенными социально-культурными практиками, носят знаковый характер, отсылая к этим практикам, выступая их репрезентантами и посредниками, как своим значениям и смыслам. Поэтому, когда мы говорим о детерминации осмысления действительности с помощью знаков культуры, то имеем в виду регулирующую роль самой со-

циальной практики. Знаки, будучи связанными с программами социальной деятельности, служат средством фиксации, хранения и распространения социального опыта. Своим объектом воздействия они имеют человека, его сознание, а целью — изменение характера осмысления действительности и поведения.

В этом плане любая культура предстает как «семиосфера»[85] — семиотическая (знаковая) система, представляющая смысловую картину опыта конкретного социума[86]. Как писал У. Эко, знак — это «то, что на основе установленных обществе правил может быть понято как нечто, замещающее что-то еще» (Eco 1976: 16]. В этом плане, учитывая всеобщую взаимосвязь явлений, в мире нет ничего, что не могло бы быть знаком. И каждый такой знак представляет, замещает связи и отношения, в которых он возник и существует. Применительно к социальной реальности это опыт, и любой компонент опыта деятельности, поведения выступает его знаком. Поэтому глубоко прав был Л.С. Выготский, когда писал, что знаком оказывается «всякий искусственно созданный человеком условный стимул, являющийся средством овладения поведением — чужим или собственным» [Выготский 1960: 111—112].

Передача социального опыта осуществляется прежде всего путем прямого вовлечения в совместную деятельность. Поэтому первичными знаками выступали (и выступают сейчас в процессе индивидуального развития) непосредственно орудия и предметы социальной практики. Особую роль при этом играют орудия труда. Неосознанно выработанные, также неосознанно, путем подражания, передаваемые от одного индивида к другому, трудовые операции, опредмеченные в орудиях труда, были сначала эквивалентом знака, то есть способом социального воздействия на индивидуальное поведение. Точнее, орудия труда были и есть не эквиваленты знаков, а собственно первичные знаки, имеющие собственное предметное значение. Однако по мере усложнения и дифференциации социальных практик все меньше остается возможностей для непосредственной передачи социального опыта. Возникает необходимость в объектах-заместителях. Появляются знаки, по которым судят о других, находящихся с ними в причинной связи: жесты, признаки и т.п. Кроме этих — «индексных» — знаков, начинают использоваться также знаки «иконические», не имеющие реальной связи с обозначаемым, но внешне подобные им — рисунки, схемы, подражательные звуки.

Следует подчеркнуть, что изначально и индексные, и иконические знаки предназначались не только и не столько для целей коммуникации, сколько для целей ориентации и практического освоения мира, включая такие формы, как магические. С индексными и иконическими знаками связаны соответ-

[85] Предметом интересного и перспективного анализа может стать соотнесение понятий «семиосферы» у Ю.М. Лотмана и «ноосферы» у В.И. Вернадского.

[86] Заслуживает внимание развитие этих идей Ю.М. Лотмана и ряда отечественных культурологов в серии работ, представленных в материалах регулярных международных конференций «Семиозис и культура» на базе Сыктывкарского государственного университета им. П.А. Сорокина.

ствующие основные виды магии — контагиозная и гомеопатическая. Первая апеллирует к отношениям части и целого, причины и следствия. Например, когда пытаются, воздействуя на часть предмета или тела (осколок, ноготь, волос, пища), добиться определенных целей относительно самого предмета. Вторая апеллирует к отношению подобия, когда манипуляции с изображением, рисунком, фотографией предполагают воздействие на изображаемый предмет. В принципе эти фундаментальные отношения сохраняются и в современной науке. Так, прямым аналогом контагиозной магии является эксперимент, а моделирование — прямой аналог магии гомеопатической.

Полный разрыв замещаемого и замещающего происходит в языке, где эти стороны знака становятся «независимыми». Обусловлено это тем, что языковые знаки суть знаки вторичные, знаки знаков. Их функция состоит в передаче социального опыта без непосредственного обращения к средствам практики, уже осмысленным в деятельностном контексте, но эти значения «просвечивают» сквозь языковые знаки. Вещи, рассматриваемые как знаки определенных культур, обладают семиотичностью не меньшей, чем языковые тексты. Национальный костюм, постройки и утварь, в принципе — любые вещи обладают целым спектром значений (функций), определяемых видом деятельности, в котором они фигурируют [Богатырев 1971]. Словесный текст является лишь частным случаем реализации модели мира наряду с другими знаковыми системами — жилищами, орудиями труда, бытовыми предметами и т. д. Каждая вещь существует, указывая на другие вещи, с которыми она находится в реальном взаимодействии, и чем шире круг этих взаимодействий, тем она осмысленнее. Поэтому традиционное отождествление знака и языкового знака вряд ли является корректным. Оно обусловлено большей явностью, эксплицитностью соотношения означающего и означаемого в языке по сравнению с другими знаковыми системами. Эксплицитность эта предопределена несобственностью значения языковых знаков. Поэтому в определенном плане осмысление природы языкового знака является ключом к знаковому анализу в других сферах практики. Язык — русский, английский, японский, любой другой — как «путеводитель» по конкретной культуре — социализирует личность, задавая код, делающий мир «ее миром»[87]. И этот мир всегда — русский, японский, китайский… В силу этого язык и играет ключевую роль в формировании сознания и самосознания.

7.2. Две традиции теории знаков

Вполне вероятно, что Ч. У. Моррис был глубоко прав, когда утверждал, что «понятие знака может оказаться таким же фундаментальным для науки о человеке, как понятие атома для физики, химии, а понятие клетки для биоло-

[87] Платон, Аристотель, Г. В. Ф. Гегель, М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн — великие исследователи этой возможности языка. В русской культуре к такой работе приступил в свое время К. С. Аксаков, а в наше время — М. Н. Эпштейн.

гии» [Morris 1938: 42]. Действительно, семиотика (от греч. σημεῖον — «знак; признак») как общая теория знаков и знаковых систем обладает колоссальным потенциалом меж- и кроссдисциплинарности для гуманитарных и социальных наук. Она давно вышла за пределы анализа языковых феноменов, исследований «вторичных моделирующих систем» культуры. В последнее время она используется также в генетике [Золян, Жданов 2018] и нейрофизиологии мозга [Черниговская 2013]. Постепенно, но убедительно семиотика демонстрирует возможности междисциплинарной интеграции исследований широкого круга состояний и динамики социально-культурной действительности [Калинин 2009; Randviir 2004]. Тем не менее представляется важным обратить внимание на возможные перспективные расширения ее концептуального аппарата, на расширение потенциала семиотического анализа — заложенного как в традиционных концепциях семиотического «мейнстрима», так и в концепциях, выводящих семиотику в более широкий и глубокий контекст. Речь идет о систематизации смысловой структуры социального опыта, воспроизводимого и транслируемого с помощью знаковых систем.

Обычно выделяются две семиотические традиции — семиотика (semiotics), восходящая к американскому прагматизму Ч. С. Пирса и Ч. У. Морриса, и семиология, восходящая к Ф. де Соссюру и французскому структурализму. Развитые в рамках этих традиций концепции семиозиса существенно различны [Шатин 2015]. Эти различия не сводятся к типологии знаков (иконические, индексальные и символические у Ч. С. Пирса и акцентированность отношений означающего и означаемого у Ф. де Соссюра). Не менее важны и трактовки самого семиозиса. У американских аналитиков речь шла о трех его измерениях — синтаксисе (отношениях между знаками), семантике (отношении знака к обозначаемым предметам) и прагматике (отношении знака к практике его использования). В структуралистской парадигме акцент делался на синтагматических и парадигматических (ассоциативных) отношениях, и моделью для всей теории знаков стала лингвистика. Другими словами, если операционализация семиотического анализа обеспечивается объективистски (даже физикалистски), то в семиологии объектом анализа выступает только мыслимая реальность, выражаемая в языковых (речевых) конструкциях. В семиологической модели теория знаков — наука о языковых системах. Однако язык — хотя и наиболее развитая, но одна из многих знаковых систем. Поэтому Ч. Моррис писал о семиотике как об общей теории знаков и как о системе ее конкретных приложений к исследованию знаков в различных предметных областях, позволяющей говорить о семиотике медицины, семиотике искусства и т. д.

Можно сказать, что в этих различиях сказалась специфика двух до сих пор проявляющихся традиций гуманитаристики, особенно — в плане философии языка. В «англосаксонской» доминирует акцент на анализе проблемы значения, с опорой на методы логического анализа и обыденные практики. В «континентальной» (преимущественно — франко-германской) традиции доминанта — проблема понимания, с концептуальным аппаратом, включаю-

щим феноменологию, экзистенциализм и философскую герменевтику, отчасти — фрейдизм, связанные между собой не только интенсивной эволюцией (от Э. Гуссерля через М. Хайдеггера к Х.-Г. Гадамеру и далее), но и глубоким взаимным проникновением. Однако при всех различиях эти установки не только имеют общий источник (обе они восходят к идеям Г. Фреге, а еще ранее — Б. Больцано и Ф. Брентано), но и дополняют, предполагают друг друга, делая разные акценты при рассмотрении одного и того же комплекса: значение — это то, что понимается, а понимание — процедура постижения значения. Поэтому необходимость сближения и даже интеграции двух упомянутых традиций была неизбежна.

В этом плане тенденции развития теории знаковых систем в XX в. были весьма показательными. В США и Великобритании семиотический анализ применялся к широкому кругу символьных поведенческих практик — вплоть до жестов и «языка» животных. Интенсивное развитие получили логическая семантика, логический анализ языка, положившие начало аналитической философии. При исходном очевидном прагматическом импульсе анализ и обобщение семиотических практик выводили на уровень высокой степени абстрактных обобщений. В Европе, где доминировал структуралистский подход, семиотика развивалась преимущественно лингвистами и филологами, методология исследования языковых явлений переносилась в другие области — изобразительное искусство, этнографию, социологию, психологию. В структуральной парадигме сформировалась и внесшая существенный вклад в теорию знаковых систем Тартуско-Московская школа семиотики. Французские постструктуралисты уже использовали эти методы в анализе социальных и культурных явлений, психоанализе.

Основой сближения и интеграции традиционной семиотики и семиологии является их ориентация на выявление, анализ смысла в «готовых», уже данных знаковых системах. Даже социальная семиотика М. Хэллидея и его последователей [Halliday 1978; Hodge, Kress 1988; Leeuwen 2005] также ограничивается рассмотрением паттернов, фреймов социальных контекстов и соответствующих специфических языковых средств их описания. Но это же и ограничивает возможности анализа динамики развития знаковых систем, собственно самой процессуальности такого развития, что принципиально важно в изучении социально-культурных процессов и посредующей роли в них артефактов, воплощающих и транслирующих социальный опыт. И в этой связи, думается, возможности семиотики далеко не исчерпаны.

7.3. Потенциал расширения семиотического анализа

От экономики культурных индустрий и образовательных технологий до символической политики и информационных — постепенно, но убедительно социальная семиотика демонстрирует возможности междисциплинарной интеграции исследований широкого круга состояний и динамики социально-культурной действительности [Ю. М. Лотман и Тартуско-Московская… 1994;

Leeuwen 2005; Randviir 2004; Thibault 1991]. В этой связи хотелось бы обратить внимание на возможные перспективные расширения ее концептуального аппарата. Речь идет о систематизации смысловой структуры социального опыта, воспроизводимого и транслируемого с помощью знаковых систем.

Закрепление результатов тенденций сближения и интеграции семиотического анализа, выход семиотики на новый уровень реализации ее потенциала, как представляется, предполагают следующий шаг — выход за рамки сугубо синхронического видения знаковых систем. Такое расширение может быть связано с решением трех задач.

Во-первых, включение в контекст семиотического рассмотрения обстоятельства, которое в традиционной семиотике и семиологии выносится за скобки то ли как само собой разумеющееся, то ли как угроза структурной фокусировке. Речь идет о коммуникации. Знак становится знаком, то есть чем-то, несущим некую информацию только в процессах передачи этой информации. Однако, если под информацией, в духе классической теории информации К. Шеннона и Н. Винера, понимать просто меру разнообразия, то «значащую информацию» несет любое взаимодействие. В то же время знаковые системы посредуют не просто информацию как структурное разнообразие, измеряемое в битах, байтах, мега- и гигабайтах, а информацию содержательную, предполагающую некий закодированный и декодированный в информации контент. Именно интерпретация (кодировка и декодировка информации) и отличает коммуникацию от информационных процессов. И поскольку культура — набор не столько текстов, сколько коммуникативных практик, постольку семиотика имеет дело именно с коммуникацией, передачей кем-то и как-то осмысляемой информации.

Поэтому, во-вторых, семиотика как теория знаков и знаковых систем, несущих осмысленную содержательную информацию, оказывается связанной с процессами осмысления и смыслопорождения, лежащими в центре гуманитаристики. Смысл — порождение конечной системы, пытающейся отобразить и выразить бесконечное разнообразие мира и вынужденной (в силу своей конечности в пространстве и времени) делать это всегда только с какой-то позиции, в каком-то ракурсе, с какой-то точки зрения — в каком-то смысле, который выражает не только некое знание о реальности, но и практическое отношение к этой реальности.

И тогда, вследствие вышесказанного, в-третьих, в семиотике при рассмотрении процессов усвоения и порождения смыслового содержания опыта необходим учет роли личности как источника, средства и результата такой динамики.

Возможности решения этих задач расширения потенциала семиотического анализа могут быть связаны с рядом некоторых идей классиков упомянутых традиций, но нельзя не обратить внимание и на ряд идей и концепций, глубоко укорененных в европейской философии и гуманитаристике в целом. Назовем некоторые, представляющиеся ключевыми.

Так, для Ч. С. Пирса [Пирс 2000] сущность знака в событии репрезентации — действия, организующего взаимосвязь чувств и мотивации человеческих поступков. Поэтому ключевым аспектом семиозиса является «интерпретанта» — то, что производится в голове интерпретатора знака, а знаки должны быть интерпретированы — только в этом случае они являются собственно знаками, что и реализуется в интерпретанте как практике истолкования, объяснения, включая возможную реакцию на этот знак. Согласно Ч. С. Пирсу, поскольку знак может порождать сколь угодные версии интерпретанты, постольку процесс семиозиса бесконечен. Ч. Моррис конкретизировал три упоминавшихся измерения этого процесса семиогенеза (синтаксис, семантика, прагматика), но дальше указания на это обстоятельство основатели семиотики не пошли.

В основе логической семантики — наиболее формализованной части теории знаков — лежит различение Г. Фреге значения знака (Bedeutung, reference, обозначаемый предмет, предметная область) и его смысла (Sinn, meaning / sense, аспект рассмотрения предмета) [Frege 1892]. В дальнейшем это различение получило развитие в логической семантике Р. Карнапа (экстенсионал и интенсионал) в обосновании модальных логик, логического анализа неэкстенсиональных контекстов. В принципе это различение близко к различению объема и содержания понятия (множество предметов и существенные свойства, объединяющие предметы в множество). Логика, как известно, преимущественно строится как теория объемных (референциальных) отношений, содержание понятий важно лишь как предпосылка, выражаемая операцией определения понятий. Поэтому в собственно логической семантике смысловые отношения по возможности редуцировались к референциальным[88]. При этом в философской логике никогда не прекращались попытки построить теорию содержания понятий. Фактически одной из таких попыток стала феноменология Э. Гуссерля — ученика и некоторое время помощника Г. Фреге. В данной работе нет возможности и необходимости углубляться в изощренный концептуальный аппарат гуссерлианства. Главное — в нем предпринята развернутая попытка представить процесс познания как онтологию смыслообразования.

Параллельно в Европе не прерывалась традиция герменевтики как теории и практики интерпретации (толкования), целью которой является понимание. Если у Аристотеля (классическая работа которого так и называется — «Об истолковании»), отцов церкви, схоластов, юристов, литературоведов речь шла о методике толкования специальных текстов (трактатов, священных текстов, правовых актов, литературных памятников), выявлении идейного контекста, стиля написания, лексики, вплоть до вчувствования), то к началу XX в. сформировалась философская герменевтика — не как техника истолкования

[88] Например, модальные операторы (возможности, необходимости, веры, знания и т. п.) понимаются фактически как кванторы по множествам описаний состояния (возможных миров).

философских текстов, а как метод осмысления историко-культурной (В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, Э. Бетти), психической (П. Рикёр) и даже физической реальности [Hermeneutics… 1999]. Важно, что в этой нараставшей традиции все более отчетливо выявлялась роль культуральных факторов осмысления, опыта переживания и сопереживания. Даже на пике развития сайентизма, в рамках логики и методологии науки постпозитивизм нашел выражение в осознании не только краха логического эмпиризма и роли социально-культуральных факторов (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд), но и роли личностного фактора динамики научного познания [Полани 1985; Тулмин 1984; Холтон 1981].

Собственно, и в рамках классической филологии, особенно — австро-германской (В. фон Гумбольдт, А. Фосслер, А. Марти), сложилось понимание языка не как системы правил грамматики и лексики, зафиксированной в словарях, а как части культуры, развивающейся вместе с нею, как деятельности, порождающей определенный строй мысли и переживаний [Гумбольдт 2000]. Идеи В. фон Гумбольдта, как и всей германской постромантической гуманитаристики оказали серьезнейшее влияние на российское языкознание и филологию — от А. А. Потебни до М. М. Бахтина. Так, А. А. Потебня, уделявший много внимания роли народной культуры в становлении и развитии языка, предложил различать «ближайшее» (общее для всех носителей языка) и «дальнейшее» (связанное с индивидуальными ассоциациями) значение слов, выдвинул теорию «внутренней формы» слова как содержания, выражаемого во внешней звуковой форме, и как условия приобретения новых значений с помощью метафорических уподоблений. [Потебня 1976] Идеи А. А. Потебни оказали, в свою очередь, серьезное влияние на российскую гуманитаристику начала XX столетия. И тут самое время обозначить ее вклад в потенциал развития теории знаковых систем.

7.4. Российский вклад в теорию знаковых систем

Речь идет о комплексе идей, тесно взаимосвязанных и переплетенных в судьбах их авторов, из богатой идеями первой трети отечественной истории прошлого столетия, иногда называемой «русским ренессансом», креативный вклад которого в потенциал развития общей теории знаков представляется до сих пор не оцененным в своей полноте.

Примером могут служить идеи Г. Г. Шпета, которые, на первый взгляд, можно отнести целиком и полностью к континентальной традиции. Однако, будучи учеником Э. Гуссерля, сохранившим глубокий пиетет к учителю, глубокий аналитик и систематизатор герменевтики как теории и практики понимания и толкования («уразумения»), Г. Г. Шпет, особенно в трагически закончившийся послереволюционный период своего творчества, интересуется динамикой понимания, источниками зарождения, формирования и развития смысловых структур. Это относится к его трактовке внутренней формы слова, социального содержания психологии и природы сознания. Все эти идеи и

концепции объединяет представление о единстве социального и индивидуального опыта, транслируемых во внутренней форме артефактов культуры, которая формирует внутренний опыт индивида как члена определенного сообщества. Согласно Г.Г. Шпету, всякая «социальная вещь» может быть рассмотрена как «объективированная субъективность» (в истории культуры) и вместе — как «субъективированная объективность» (как предмет «социальной психологии») [Шпет 1927а: 178]. Автор непревзойденного герменевтического комментария к артефакту мировой классики [Шпет 1934], Г.Г. Шпет уделяет большое внимание в смыслообразовании переживанию конкретного жизненного опыта социальной практики.

Всячески подчеркивая роль языка (национального, профессионального, субкультурного) в освоении этого опыта[89], Г.Г. Шпет упреждает опасность абсолютизации значения языковых практик и обращает внимание на то, что язык — хотя и важнейшее, но — одно из условий понимания мира: используя вещи в целях общения, человек уже погружен в смысловую среду. Поэтому внутренняя форма пользуется внешней для выражения мыслимого предметного содержания — смысла, предстающего *sui generis* бытием социально-культурного типа [Шпет 1927б: 67]. Задача внутренней формы — раскрыть соответствующую организацию «смысла», проникнуть во внутренний мир человека, в его монаду, отражающую универсум в каком-то своем плане [Шпет 1927б: 141—163]. Тем самым формируется предпосылка возможности «созначения» знака в передаче социального опыта [Шпет 1927а].

Внутренняя форма предстает «живым понятием», переживанием смысла. Люди понимают друг друга не в силу тождественности их чувств, а потому что знаки ударяют по одной и той же «клавише», порождая в каждом индивиде, как «инструменте», соответствующие, но не тождественные предметные понятия, окрашенные переживаниями, которые раскрываются прежде всего и в конце концов как деятельная активность [Шпет 1916б: 164]. Деятельностная трактовка постижения предметности перекликается с идеями русского формализма, в первую очередь В.Б. Шкловского, о смысловом содержании вещи как ее сделанности [Шкловский 1925: 7—20][90].

Согласно Г.Г. Шпету, уразумение — это усилие, работа постижения разумного замысла и его воплощения. Это означает необходимость постичь и

[89] При этом Г.Г. Шпет обильно ссылается на предшественников и современников — Э.Э.К. Шефтсбери, И.И. Винкельмана, В. Гумбольдта, А. Марти, Г. Шухарта, О. Функе.

[90] Следует отметить, что рассмотрение понимания как выявления программы деятельности, связанной с данным предметом, имеет давнюю традицию — познания как обнаружения «скрытого схематизма» явления (Фр. Бэкон), комплекса связанных с ним практик (Р. Коллингвуд) и др. Человек понимает что-то, если он знает, как это сделано и может эту «сделанность» воспроизвести. Это проявляется на всех уровнях и во всех сферах жизни — от поведения ребенка, ломающего игрушку, чтобы понять, как она устроена, до конструктивистского обоснования математики с помощью идеи потенциальной алгоритмической осуществимости.

выразить жизнь вещи, единство многообразия ее отношений, во взаимодействии внешнего и внутреннего по отношению к человеку планов, и от этого взаимодействия смысловое содержание обогащается, прирастает. Поэтому необходимо допущение некоего «избытка», который стимулирует постоянную динамику, превращение, движение, самовыявление смыслов, некоего потенциала, который потенцирует, овозможнивает бытие. Таким «избытком» является наделенная сознанием личность. И если бытие есть бытие не вещей, а смыслов, то эти смысловые комплексы персонологичны, а история (в отличие от естествознания) развивается за счет все большей индивидуализации, а не обобщения [Шпет 1916а].

Такой подход был развит Г.Г. Шпетом применительно к искусству, где личностное переживание выступает источником творчества и содержанием рецепции его результатов, порождая практику особой сопричастности субъектов творчества и восприятия. Да и саму философию он понимает как мудрость конкретных переживаний, погружения в этот процесс [Шпет 1917]. Она предстает как уразумение (понимание) мира в его социально-культурной целостности, вхождение в него, переживание единства с ним [Шпет 1914: 212].

Самосознание личности как единство переживаний важно не как единство имярека само по себе, а как его включенность в общее смысловое поле, в котором оно занимает свое никем не заменимое место [Шпет 1916б: 163—166][91]. В этом рассуждение Г.Г. Шпета впрямую пересекается не только с идеями В.С. Соловьева, кн. С.Н. Трубецкого о соборности сознания, но и с бахтинской идеей самосознания, души как «оплотнения» другими смыслами (сознаниями) [Бахтин 1979: 88—161] и идеями других современных ему авторов. Переживание оказывается источником и средством, самим процессом смыслопорождения. Оно предстает самим бытием — интенционально содержательным, интонированным. Таким его представляли и современники Г.Г. Шпета: как «поступок», «участное мышление», «диалогическое взаимооплотнение смыслов» (братья Н.М. и М.М. Бахтины), *Dasein*, мотивационно окрашенное скукой, заботой, страхом (М. Хайдеггер), взаимопорождающий диалог Я и Других (М. Бубер, Э. Левинас).

Однако, пожалуй, именно в контексте «русского ренессанса» Серебряного века личностное переживание предстало ключевой идеей, условием не только усвоения, но и порождения социально-культурного опыта. Это выражалось в широком диапазоне обостренного интереса к чувственному опыту, включая

[91] Без понимания той роли, которую Г.Г. Шпет отводил переживанию, кажутся несколько странными его отступления (вплоть до цитирования пытошных листов) в личностный опыт мыслителей в его «Очерках развития русской философии», излишне дотошным выглядит его упоминавшийся герменевтический комментарий к «Посмертным запискам Пиквикского клуба», вышедшим в издательстве *Academia* третьим томом книги Ч. Диккенса, его пристальный интерес к фактам биографии А.И. Герцена, глубокое проникновение и сопричастность переживаниям сомневающегося, скептического разума. Новыми гранями раскрывается и судьба самого Г.Г. Шпета, открывая пока еще мало реализуемые перспективы понимания его творчества.

сексуальный, «слушанию музыки революции», опытам богоискательства и богостроительства. В этой связи представляется особенно интересным и важным феномен имяславия (ономатодоксии) — полузабытый, но оставивший со временем все четче проявляющийся глубокий след в отечественной философии и культуре.

Речь идет о движении, возникшем в Русской православной церкви после публикации книги в 1907 г. скимонаха (отшельника) Илариона «На горах Кавказа» с описанием духовного опыта Иисусовой молитвы. Книга стала популярной среди великоросских и малоросских монахов на Афоне, особая активность была проявлена Антонием Булатовичем, написавшим несколько книг. Имяславцы опирались на отцов церкви (Григорий Нисский, Григорий Палама), идеи Платона («Кратил»), неоплатонизма, утверждая, что, поскольку имена Саваоф, Иисус вызывают сущность Бога в мир, постольку, хотя Бог не есть имя, но имя есть Бог. В этой связи получило распространение название этого движения как «имябожничества». По мнению его представителей, имена воплощают сущность вещей подобно тому, как кузнец воплощает в изделии его сущность. Поэтому имена при их возникновении изначально правильны, неправильными их делают люди, и задачей науки и искусства является «исправление имен» (этимонлогон). Имяславцы резко отвергали конвенционализм, упрекая его в нигилизме, ничтожении бытия. Если звук — ничто, то все — ничто. Если И — ничто, В — ничто, А — ничто, Н — ничто, то и ИВАН — ничто. Каждый язык рождает свою, особую смысловую картину мира. Одно и то же понятие в разных языках понимается по-разному: искусство — в русском языке, в английском (Art), немецком (Kunst), греческом (τέχνη), польском (sztuka) языках означают одно и то же, но в совершенно разных смыслах. Применительно к Божественной сущности это означает, что Божественно не только содержание, но и форма.

Имяславскую формулу «имя есть Бог, но Бог не есть имя» критики имяславия часто извращали, не обращая внимание на ее вторую часть. При этом противники имяславцев тоже опирались на Отцов Церкви. Тот же Григорий Палама утверждал, что энергия не есть Бог, а Бóжество. Бог не имеет имен, так как имена — для различения, а Бог — универсальное единство. Поэтому всякое имя — только звук и связь его — условна. Как утверждал один из наиболее активных критиков имяславия, профессор Санкт-Петербургского духовного училища о. С. В. Троицкий, ни один предмет не нуждается в имени и может существовать без него — имена нужны для упорядочения психической деятельности. Таким образом, имя «Иисус Христос» изобретено людьми и не имеет Божественной энергии. Некоторые критики квалифицировали имяславие как ересь, разновидность хлыстовства.

В философском плане содержание спора об имяславии было проявлением спора об универсалиях — спора номинализма и реализма (платонизма). Российская философия с ее укорененностью в духовном опыте восточного христианства всегда тяготела к платонизму. И имяславие явилось ярким проявлением этого тяготения. Новым было акцентирование роли личностной со-

причастности Божественной сущности. В определенном смысле в имяславии была заложена реформа традиционного апофатизма, а возможно — и его преодоления: из ничто (меона) — имя как *rigid designator* вызывает сущность к жизни, привязывает ее к реальности в религиозном сознании.

Имяславие возникло не на пустом месте, у него были свои корни в духовных практиках (стригольники, хлысты, Стефаний Пермский), в политической истории самозванства. Да и проблема Об*О*жения в православии имела свою традицию — например, в споре иконославия и иконоборчества. В формировании имяславия свою роль сыграла и относительная независимость Афона от патриаршества Русской православной церкви и Константинополя. Но социально-политические факторы сыграли и против. Во внешнеполитическом плане — это неоднозначность отношений России и Греции с 1912 г., когда в ходе Балканских войн греческие войска заняли Афон и началось притеснение российских монахов (русские монастыри, получавшие немалую финансовую поддержку от царского правительства, были наиболее богатыми[92]), возник конфликт вокруг главы монастырей. А добило ситуацию привлечение противниками имяславия «административного ресурса».

В 1912 г. книга «На горах Кавказа» была запрещена[93], осуждена патриархом Афона Иоакимом III (хотя в 1907-м была им поддержана). В 1913 г. имяславие было осуждено комитментом преподобной Богословской школы на Халки, Константинопольским Синодом, Патриархом Германом V (как пантеизм) и заседанием российского Св. Синода, заслушавшим три содоклада и обращения монахов Оптиной Пустыни и Валаама. В июне — июле 1913 г. последовала высылка свыше 500 еретиков с привлечением трех пароходов нескольких рот солдат[94]. После допросов в Одессе 8 монахов возвратились на Афон, 40 — отправлены в тюрьму, остальные лишены сана и сосланы. Некоторые монахи сами уехали с Афона (часть на Камчатку). В 1914 г. последовала частичная реабилитация: в феврале 1914 г. некоторые имяславцы были приняты Николаем II, в мае 20 иноков были допущены к священнослужению, в том числе А. Булатович — священником в действующую армию[95]. В августе 1917 г. Всероссийский Поместный Собор собирался обсудить имяславие (к подготовке привлекался С. Булгаков), но не успел: в августе и осенью последовали известные события. В 1928 г. имяславцы вошли в катакомбную церковь, не согласную с соглашательством патриархов Тихона и Сергия с Советской властью.

Имяславие можно рассматривать как коррелят духовных исканий начала века и социальной смуты 1917—1918 гг. с их проективизмом, символизмом,

[92] Их финансирование из российской казны было прекращено в 1917 г. решением Временного правительства.

[93] После этого она впервые была переиздана только в 1988 г.

[94] См. рассказ архиепископа Никона (Рождественского), руководившего «спецоперацией». URL: http://www. blagogon. ru/biblio/862/ (дата обращения: 28.10.2021).

[95] В 1919 г. он вернулся в имение и был убит грабителями.

эсхатологизмом, верой — основным содержанием культуры Серебряного века. Можно сказать, что оно наметило неотрефлектированный потенциал новой формы православия с акцентом на опыт личностного переживания, в чем-то аналогичный протестантской Реформации, с креном в упрощенную версию мистического опыта.

Имяславию были близки видные фигуры российского общества — Иоанн Кронштадтский, Г. Распутин, по некоторым свидетельствам — царская семья… Но более интересно влияние имяславия на русских религиозных философов. П. А. Флоренский, выступивший в защиту имяславия, написавший предисловие к одной из книг Булатовича и также уделивший немалое внимание философии имени [Флоренский 1990: 264—287], отмечал, что любое имя соотносится с космосом конкретного языка, его стихией и энергией — безусловно, не конвенционально. С. Булгаков, как уже говорилось, входил в комиссию Поместного Собора и глубоко вникал в суть дискуссии. Как осмысление основ имяславческого движения им была задумана и написана в 1919—1923 гг. «Философия имени» [Булгаков 2008], представшая как обстоятельно разработанная концепция философии языка, в которой он рассматривал слово как мысль, как Логос. По мнению С. Булгакова звук творится смыслом, а не наоборот. И это подтверждается поэтическим творчеством. Бывший сторонником имяславия А. Ф. Лосев, начинавший научную деятельность в РАХН (ГАХН), одним из создателей которой был Г. Г. Шпет, разработал грандиозную по масштабу и неоплатонистскую в своих основаниях концепцию философии имени [Лосев 1997; 2009].

Имяславие, спор вокруг него, «силовое» решение оставило не афишируемый, но глубокий след в российской культуре. Примерами могут служить творчество О. Э. Мандельштама (как поэтическое, так и рефлексия над возможностями языка), отчасти Б. Л. Пастернака. У истоков всемирно признанной московской математической школы, к которой принадлежали такие выдающиеся ученые, как П. С. Новиков, М. В. Лаврентьев, П. С. Александров, Л. С. Понтрягин, А. Н. Колмогоров и др., стояли имяславец Д. Ф. Егоров (даже в ссылке творивший Иисусову молитву) и его ученик Н. Н. Лузин, находившийся под непосредственным идейным влиянием П. А. Флоренского [Graham, Kantor 2009; Нижников 2011; 2012]. Показательно и то, что на математическом факультете МГУ сохранилась не только устойчивая память об А. Ф. Лосеве, учившемся там, но и об его концептуальном наследии, о чем свидетельствует регулярное участие математиков в ежегодных Лосевских чтениях. Выдающийся математик, трансперсональный философ, автор вероятностной модели языка В. В. Налимов ввел идею семантического вакуума, при воздействии на который личностного сознания как некоей функции порождаются конкретные смысловые структуры [Налимов 1979; Налимов 2011].

Соотношение социального и индивидуального факторов в процессе формирования и развития личности было и в центре отечественной психологии, особенно в советский период. Л. С. Выготский, слушавший лекции С. Шпиль-

рейн, трактовал социализацию как «вращивание» в смысловое поле сознания личности социальных значений знаков как социальных программ социально-культурной деятельности. В развитии деятельностного подхода в психологии, выводящего анализ сознания за его пределы, в контекст реальных практик жизни субъекта, было введено различение значения и личностного смысла, то есть социально-исторического опыта жизнедеятельности социальной общности и индивидуально-специфического преломления этого опыта в индивидуальной жизнедеятельности [Леонтьев 1975]. Это различение стало ключевым в психологическом анализе социальных коммуникаций [Леонтьев 2001], российской школе экзистенциальной психологии с ее выходом к всестороннему анализу смысловой реальности — в сознании и деятельности человека, в структуре личности, в отношениях человека с миром, в межличностном взаимодействии, в артефактах искусства [Леонтьев 2007]. Неспроста отечественная психология обратилась к наследию Г. Г. Шпета [Зинченко 2000].

Подводя итог несколько затянувшемуся довольно беглому, но важному (в плане обозначения масштаба традиции акцентирования внимания на личностном факторе смыслообразования) рассмотрению, можно говорить о накопленном потенциале расширения концептуального содержания семиотики.

7.5. Смысловая структура социального опыта

Знаковые механизмы, средства и детерминации познания и осмысления являются выражением и результатом конкретной динамики социальных и личностных факторов развития человеческого познания и опыта. Поэтому простое различение в знаковой структуре означающего и означаемого (а именно на этом останавливаются адепты постструктурализма) при всей своей эвристичности нуждается в дальнейшей детализации и уточнении.

В предыдущих работах [Тульчинский 1986; 2005; 2019] была предложена экстракция инварианта упомянутых выше идей Г. Фреге, Ф. де Соссюра, В. фон Гумбольдта, Г. Г. Шпета, П. А. Флоренского, А. Н. Леонтьева и других авторов относительно содержания смысловой структуры и уровней осмысления. Исходным может являться различение в любом элементе культуры, рассматриваемом как знак, двух сторон: означаемого, то есть содержания той деятельности, того опыта, с которым связан и к которому отсылает данный знак, а также означающего — собственно материальной формы знака, с помощью которой он выполняет свою знаковую функцию. Такой формой может быть материал, из которого изготовлен предмет, пятна краски, звук, телодвижения, электромагнитная запись и т. д.

В структуре означаемого, в свою очередь, можно вычленить два основных компонента: во-первых, социальное значение — собственно социально-культурную программу, инвариант социального опыта и, во-вторых, личностный смысл, значение этого социального значения для конкретной лично-

сти. Если воспользоваться метафорой, предложенной в несколько другом контексте П. А. Флоренским, то соотношение материальной формы знака, социального значения и личностного смысла подобно соотношению двух треугольников, образованных от пересечения двух отрезков (рис. 3).

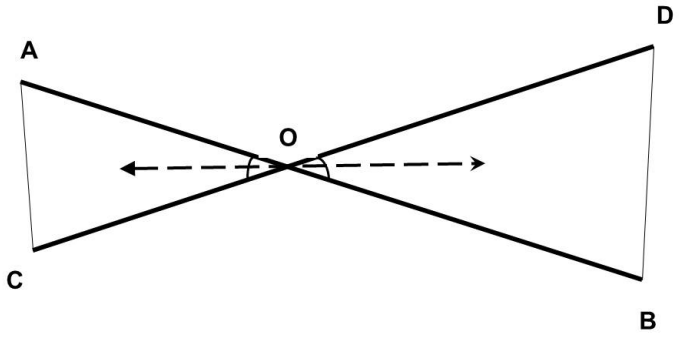

Рис. 3. Соотношение материальной формы знака, социального значения и личностного смысла

Эти два треугольника могут отличаться конфигурацией, площадью, но у них имеются две принципиально общие характеристики — общая вершина в точке пересечения отрезков и размеры углов при этой вершине. Личностный смысл подобен этим треугольникам. Люди общаются ради смыслов. Но возможно это только при двух условиях — наличии материальной формы знака (общей вершины) и инварианта социального осмысления — социального значения (общей величины угла при общей вершине). Например, слово «лето» у каждого вызовет свой поток ассоциаций и воспоминаний (личностный смысл): у кого-то это будет отдых на море, у кого-то — лес, грибы, ягоды, а у кого-то — огород, огород, огород... Но все понимают, что речь идет о некоем инварианте социального значения, самом теплом времени года в северном полушарии.

В социальном значении можно вычленить также два аспекта: предметное значение — предметное содержание опыта, и функциональное социальное значение — собственно технологическое содержание программы социальной практики[96]. В общем случае предметное социальное значение может быть собственным, отсылая к материальной форме знака (например, стол имеет самого себя в качестве предметного значения), и несобственным (например, слово «стол»). Языковые знаки в своем обычном употреблении имеют несобственные предметные значения. Эту систематизацию можно представить в виде схемы (рис. 4).

[96] В принципе различение предметного и функционального социального значения соответствует различению объема и содержания понятия — эти логические характеристики являются точным концептуальным выражением данного различения.

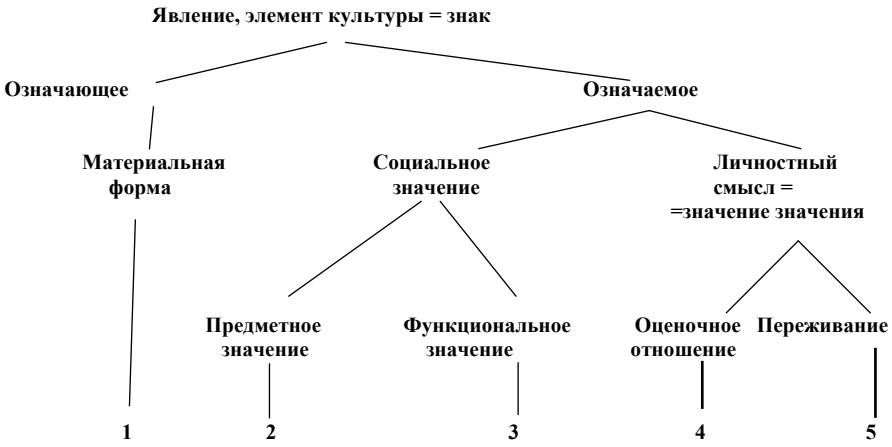

Рис. 4. Смысловая структура социального опыта

Эти компоненты могут быть выстроены в структуру последовательных «вложений», подобную детской «матрешке» (рис. 5):

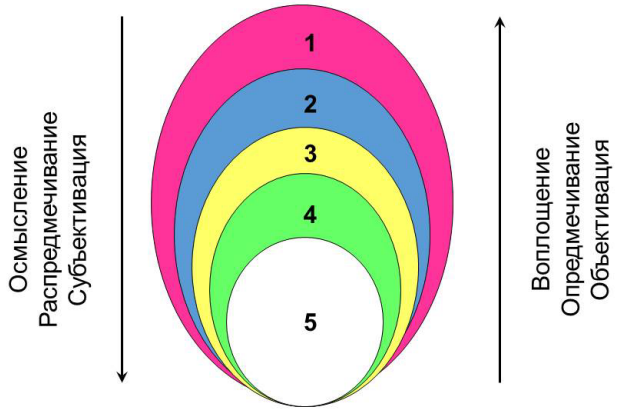

Рис. 5. Опредмечивание и распредмечивание смыслового содержания социального опыта

Речь идет не просто о компонентах смыслового содержания социального опыта, а о системе из взаимосвязи и взаимообусловленности. Переход от материальной формы знака к предметному и функциональному социальному значению и далее к личностному смыслу вплоть до переживания — демонстрирует процесс усвоения социального опыта, его субъективацию, распредмечивание, понимание. В этом плане компоненты смысловой структуры предстают также уровнями герменевтического осмысления — идентификацией, референцией, интерпретацией, оценкой и эмпатией (сопереживанием, вчувство-

ванием). Встречное прохождение этого ряда — от переживания, выражения отношения к социальному значению и его воплощению в материальной форме — демонстрирует объективацию, опредмечивание опыта.

Выделенные компоненты фактически подчеркивают единую деятельностную природу смыслового содержания опыта: предмет деятельности (предметное значение), способ деятельности (функциональное смысловое значение), отношение к этой деятельности (оценка) и ее переживание. Причем в переживании как форме осмысления ключевую роль играют повторы, в которых повторяются, возвращаются «моменты живого ощущения деятельности, активности… в напряжении души и тела» [Бахтин 1975: 64]. Такое единство есть единство личностного переживания деятельности. Поэтому оказываются так важны практики, обеспечивающие повторные переживания, связанные с природными ритмами, ритуалами, календарными праздниками, организацией трудового процесса, ритмами в поэтической речи, в изобразительном, пластическом искусстве. В этой связи, очевидно, можно говорить о фундаментальной смыслообразующей функции повторов — именно с их помощью закрепляются нейронные сети, формируя память, которая, в свою очередь, — почти эвфемизм сознания, вменяемости.

Социальные значения несводимы ни к собственно предмету или обозначаемому другому предмету, ни к ментальному образу этого предмета. Они — и здесь ведущую роль играют функциональные смысловые социальные значения — суть характеристики способов деятельности с данной вещью, система связей и функций предмета. Эта система и воссоздается в процессе и в результате осмысления, которое, по сути дела, есть процесс создания и воссоздания программ социально-практической деятельности, выявления и осознания идеи «сделанности» предмета. Причем сам предмет выступает как единство значения и его воплощения.

Осмысление и смыслообразование имеют деятельностно-практическую природу и определяются ценностно-целевым контекстом соответствующих видов социально-культурных практик. И ключевая роль в смысловой структуре и в осмыслении, которую играет функциональное социальное значение, обусловлена тем, что оно задается соответствующими видами нормативно-ценностных систем культуры, паттернами, фреймами социальных практик в быту, в экономических отношениях, в управлении, в политике, науке, искусстве, религии. Собственно, любая культура как система порождения, хранения и трансляции социального опыта является «механизмом осмысления» и представляет собой систему нормативно-ценностных систем (НЦС). Каждый из видов таких систем задает соответствующие блоки осмысления. В плане смыслообразования социальных значений можно выделить несколько основных групп НЦС — НЦС, связанных с непосредственной практикой с вещами, предметами; НЦС, связанных с технологиями и стоящим за ними конструктивным знанием; НЦС художественного осмысления действительности и, наконец, НЦС символических практик. Каждая из этих групп НЦС формирует соответствующие группы социальных значений (рис. 6).

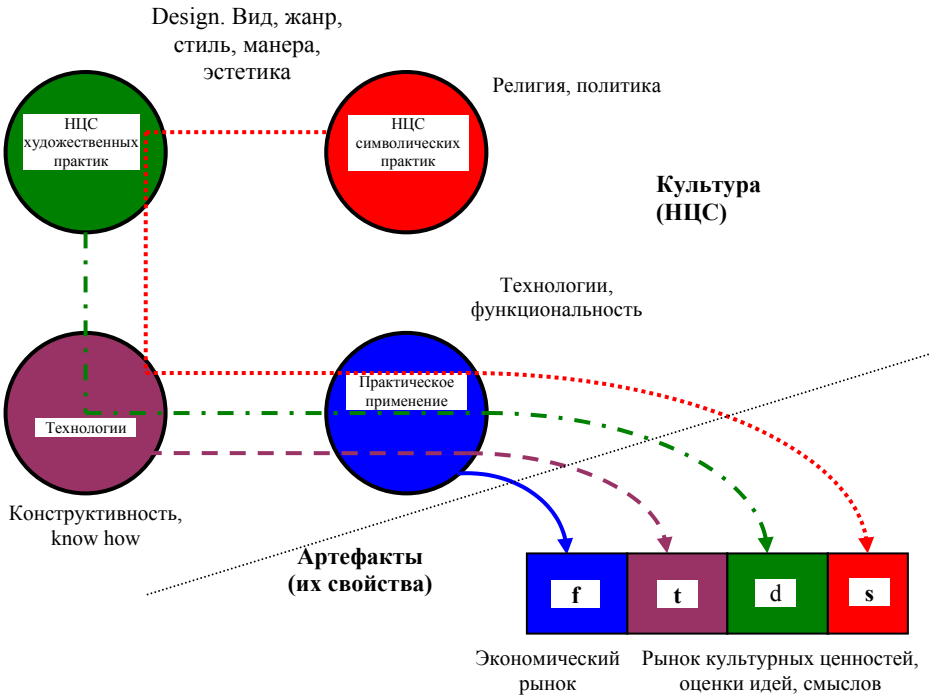

Рис. 6. Социальные значения как социально-культурные ценности артефактов культуры

Один и тот же элемент культуры может иметь функционально инвариантные смысловые характеристики. Например, топор должен состоять из топорища и топора с лезвием и обухом), может иметь различные конструктивные исполнения (топор может быть металлический, каменный и т. д.), выполняться в различном стиле и иметь различные символические характеристики (например, обусловленные использованием в ритуалах).

В НЦС сопрягаются функционально-деятельностные, гносеологические (эпистемологические) и социальные (организационные и личностные) факторы формирования и развития социального опыта и осмысляющего его знания. Специфической НЦС является язык, реализующийся в целях обслуживания других НЦС, в том числе и самого себя. В идее НЦС находит свое выражение понимание рациональности как механизма социальной детерминации познания, представляющего собой устойчивую систему правил, норм и эталонов, принятых конкретным социумом для достижения социально значимых целей. Более того, концепт НЦС позволяет рассматривать динамику институционализации смысловых структур как переход от личностного знания к знанию, с одной стороны — все более распределенному, а с другой — форми-

рующему общности единомышленников, вплоть до социальных институтов. Основой динамики институционализации выступает регулярность и интенсивность коммуникации.

Перенос осмысляемого в иной контекст осмысления, рассмотрение его в несобственной НЦС, расшатывание привычных представлений и деструкция старой смысловой структуры обобщает хорошо известные представления о роли в осмыслении удивления (Платон, немецкие романтики), остранения (В. Б. Шкловский), лиминальности (В. Тернер), деконструкции (Ж. Деррида), которые дополняются построением нового смыслового ряда из остраненных смыслов (монтаж, реагрегация). При этом стадия остранения не может быть самоцелью. В таком качестве оно выступает, пожалуй, только в нонсенсе и абсурде, где становится не средством, а собственно содержанием, предметом творчества. Но даже в творческом нонсенсе оно тем не менее предполагает конструктивную деятельность сознания по выстраиванию новых смысловых конструкций.

7.6. Глубокая семиотика: персонологическое измерение смыслообразования

Структура смыслового содержания социального опыта, динамика осмысления и смыслообразования показывают принципиальную роль личностного сознания, выступающего источником, средством и результатом осмысления, в том числе — трансцендирования в иное. Поэтому традиционный семиотический анализ (семантика, синтаксис и прагматика) должен подкрепляться персонологическим вектором (измерением). Личность не только и не столько пассивный реципиент «вращивания» смысловых структур. Смысл принципиально есть порождение конечной системы, каковой является человек, стремящейся постичь бесконечное разнообразие мира и вынужденной делать это всегда с какой-то позиции, точки зрения, ракурса — в каком-то смысле. Вне человека, наделенного сознанием, смыслы не существуют. Именно личностные переживания, их эмоционально-оценочная окраска — первичная среда смыслообразования и осмысления [Анкерсмит 2003; 2014], формирования сознания и самосознания [Дамасио 2018]. Р. Инглхарт подчеркивает, что эмоции первичны по отношению к рационально-когнитивным факторам, которые суть поздняя рационализация эмоционально окрашенных переживаний и реакций [Инглхарт 2018: 42—45].

Для семиотики важен учет всей полноты компонентов смыслового содержания опыта. Особенно в ее применениях к социальной реальности при анализе эффективности социальной коммуникации, особенностей осмысления действительности в научном познании и в искусстве, политической деятельности и юриспруденции, различных форм религиозности. Очевидны и источники трудностей некоторых концепций и подходов, связанные с абсолютизацией акцента на отдельных компонентах смысловой структуры. Если

общесемиотические и аналитические построения связаны с акцентированием материальной формы и предметных значений, то феноменология и герменевтика в духе философии жизни акцентуируют роль неповторимых феноменов индивидуального сознания. Обе крайности совпадают в главном — они в частностях ищут целое, тогда как конкретное живое осмысление предполагает актуализацию полной смысловой структуры опыта. Нет проблемы выбора между интуитивизмом, растворяющим смысл и осмысление в индивидуальной психике, и трансцендентализмом, превращающим смысл в самодовлеющую сущность. Скорее имеются два полюса — предметно-вещный и индивидуально-феноменологический, между которыми реализуется процесс опредмечивания социального опыта.

Смысловая структура в своей полноте предстает как бы направленной вглубь ее содержания, выражая соотношение социального и индивидуального в динамике реализации опредмеченного социального опыта и осмысления. Таким образом раскрывается роль личностного смысла и персонификации. Не случайно слово *subject* означает и тему, предмет суждения и сообщения, но и их актора. Поскольку же речь идет о поле сугубо человеческого, личностного самоопределения, и именно личность, ее сознание является источником, средством и результатом смыслопорождения, то это измерение может называться также личностным (персонологическим). Так или иначе такой подход придает анализу глубину, уходя к корням и источникам смыслопорождения, получая возможность рассмотрения его динамики (рис. 7).

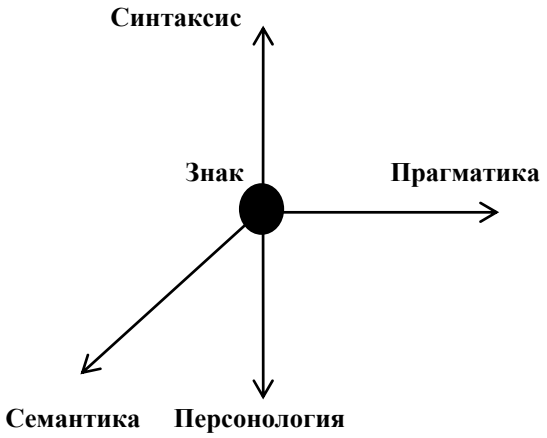

Рис. 7. Персонологическое измерение теории знаков

Поэтому рассмотренное выше расширение анализа смысловой структуры может пониматься как «глубокая семиотика» (deep semiotics). В дополнение и развитие традиционной теории знаков и знаковых систем «глубокая семиотика» позволяет перейти от синхронического анализа к анализу диахронии, динамики развития знаковых систем. В некотором смысле такой подход анало-

гичен переходу в физике от кинематики, прослеживающей траектории движения к динамике, рассматривающей порождающие это движение силы. Поэтому такой подход можно было бы назвать «семиодинамикой». Однако использование подобного термина требует дополнительных уточнений и обобщений. Поэтому применительно к кругу рассматриваемых в данной работе вопросов предпочтительнее называть такой подход все-таки «глубокой семиотикой»[97] — это третья традиция теории и философии знаков, восходящая к В. фон Гумбольдту, В. Вундту, А. Фосслеру, А. Марти и продолженная в работах М. М. Бахтина, Г. Г. Шпета, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, подчеркивавших особую роль личности и ее сознания в формировании и развитии знаковых систем и смысловых структур. Без персонологического измерения невозможно приращение смысла, его расширение, реализующееся как трансцендирование в иное. Очевидно, неспроста для Х.-Г. Гадамера и большинства прочих читателей текстов Ж. Деррида остается загадкой — почему понимание и чтение с пониманием Деррида называет метафизикой [Тягло, Воропай 1999: 114]. Понимание — смыслопорождение, а смысл — всегда инобытие, связан с прорывом к трансцендентному. Как писал Г. С. Померанц, «бытие коренится в душе человеческой».

Расширение семиотического концептуального аппарата в плане «глубокой семиотики» позволяет интегрировать в междисциплинарные возможности такого анализа, и что особенно важно, открыть перспективу расширения анализа смысла до процессов его воплощения в материальные формы. Это дает возможность сделать важный шаг в конкретизации «Интерпретанты» Ч. С. Пирса. Так, с этих позиций важно, что личностный смысл не просто наслаивается на социальное значение, выражая отношение индивидуального сознания к надындивидуальному значению. Содержанием как оценки, так и переживания являются оба основных компонента социального значения (предметный и смысловой) — как ценностное отношение к деятельности и ее предмету, а также как переживание этой деятельности. Поэтому точнее будет сказать, что систематизация смысловых компонентов может быть представлена в различных моделях — в зависимости от целей анализа, включая контексты цифровизации и электронной коммерции [French 2002]. С позиций анализа уровней опредмечивания и распредмечивания социального опыта достаточна упомянутая модель. С позиций теоретико-познавательного и логико-семантического анализа центральным звеном является предметное значение, на которое наслаиваются смысловое значение и компоненты личностного смысла. С позиций психологического анализа центральным моментом

[97] В плане динамики развития смысловых структур и их институционализации термин *deep semiotics* напоминает *deep play*, используемый Дж. Бентамом в его *Theory of legislation*, когда он говорит о процессе порождения законодательства. Однако это совпадение случайно и предлагаемая концепция «глубокой семиотики» не зависит от бентамовской интуиции — так же, как и от ультрасовременных отечественных интуиций «глубинного народа» и «глубинной власти».

становятся феномены и диспозиции сознания — компоненты личностного смысла, рассмотрение которых приводит к выявлению в них деятельностно-предметного содержания.

При этом ценностно-нормативный анализ открывает возможность обоснования семантики практических рассуждений и перформативов — оценочных, нормативных, императивных. Действительно, помимо истинности (как соответствия неким фактам) возможны иные семантические оценки, соотнесение утверждения с другими ценностными рядами (добро, красота, необходимость, возможность, реализуемость…), что позволяет расширить применения семантического аппарата и аппарата модальной логики. Ранее [Тульчинский 2000] на примере логико-семантического анализа содержания идеи сущности и существенного признака был раскрыт механизм ценностно-нормативного синтеза знания в «стереометрическом» соотнесении описания реальности (истинное знание) с описаниями должного (знание необходимого) и возможного (знание реализуемого). Эти соображения были сведены в концепции «стереометрической» семантики, частью которой является традиционная логическая семантика. С этой точки зрения основной формой осмысления является идея как синтез знания реальности (истины), ценности или цели (оценки) и программы ее реализации (нормы). Этот синтез может быть отрефлектирован (в научных формах знания), но может быть и синкретичным в обыденном опыте [Тульчинский 2001].

Если воспользоваться приведенным выше различением двух основных традиций европейской философии, то можно сказать, что аналитическая философия, разрабатывая содержание социального значения, пыталась выстроить эффективный аппарат выявления и фиксации некоего инвариантного предметного и смыслового его аспектов в языковых играх, речевых актах и т. д. Феноменолого-герменевтическая же традиция концентрировалась на анализе личностного содержания смыслового содержания опыта — его интенциональности, эмпатии, переживании. При этом показательно, что обе традиции в конечном счете пришли к одному и тому же результату. В аналитической философии все уперлось в вопрос о «способах применения» знака и гарантиях правил применения. Феноменология и герменевтика также пришли к проблеме нормативно-ценностной идентичности, к попыткам закрепиться в этосе конкретных культур. По обоим векторам «языковой поворот» привел, с одной стороны, к пониманию, что в рамках самого языка мы оказываемся в ситуации сведения любого предмета рассмотрения к способам его языкового выражения и описания, задаваемым в конечном счете нормами культуры, а с другой — к пониманию, что осмысление реализуется в синтезе социально-культурного и личностного опыта, а ключевым моментом такого синтеза (точкой склейки «ленты Мёбиуса» социального и индивидуального планов) оказывается опыт переживания.

Рассмотренные предпосылки и ряд идей, важных для развития глубокой семиотики, позволяют трактовать ее как прерванную традицию теории и философии знаков, дополняющую традиционную семиотику и семиологию. Си-

стематическое представление этой традиции принципиально важно для развития теории знаковых систем как аппарата анализа прежде всего социально-культурной реальности и роли личности в развитии социально-культурного опыта. Личность как источник, средство и результат осмысления, поле, на котором (и ради которого, по крайней мере — до последнего времени) разыгрывались социально-культурные практики смыслообразования, участвует в этих практиках, относится к ним, влияет на их динамику.

7.7. Нормативно-ценностный синтез осмысленного знания: идея и стереометрическая семантика

Постигаемые свойства вещей не порождены человеком, но их выявление возможно лишь в контексте конкретной деятельности, преследующей определенные цели и располагающей конкретными возможностями их реализации. Описания (и соответствующие утверждения или отрицания) в определенных контекстах становятся нормативными или оценочными, так же как нормы и оценки могут рассматриваться дескриптивно [Ивин 2016]. В этой связи деятельностный контекст открывает возможности раскрытия синкретичного содержания смысла.

Познание предмета связано с раскрытием его объективных свойств, что определяет характер и содержание полученного знания, осознание «скрытого схематизма», «сделанности» предмета. Только следуя логике этого схематизма, сознание способно к формированию идеи — наиболее зрелой и развитой формы осмысления, в которой соединяются в едином интегральном синтезе знание, представление об идеальном (нормативном) образце и программа его реализации [Тульчинский 2001].

Идея — не только установление адекватных описаний действительности, но и соответствие конкретным целям социальной деятельности, возможностям ее реализации. Поэтому изучение идеи предполагает средства, дающие возможность вести анализ не только в терминах соответствия знания реальности, но также в терминах должного, возможного и нормативного. По крайней мере можно предположить, что в логико-гносеологическом плане такой анализ есть прежде всего осмысление как единство фактов, оценки и нормативного предписания. Так, идея либерализма или коммунизма — это и конкретное теоретическое представление о социальной реальности, и представления о целях общественного развития, и представления о путях и способах достижения этих целей (программе преобразования реальности для достижения целей на основе имеющихся знаний об этой реальности). Идея квантовой механики — это и научные теории, и нормативно-ценностное содержание соответствующей парадигмы (норм, образцов, программ научной деятельности). В принципе аналогично содержание не только политических, научных, экономических или технических идей. Таково содержание также и идей художественных, религиозных и т. д.

Более того, можно утверждать, что человек вообще познает мир именно в идеях. Идеи — первичные формы осмысления. Так, ребенок постигает окружающие его вещи именно как идеи: стул для него это и вот эта реальная вещь, и ее предназначенность, и программа действий (игры) с ним. Выраженный в идее синтез представлений об истинном, должном и возможном может быть как синкретично-целостным, так и теоретически отрефлектированным, вплоть до аналитического вычленения каждого из модусов. С этой точки зрения понятие как знание о свойствах предметов и процессов является лишь одним из аспектов идеи, абстрагированным от оценочного контекста, от модусов возможности и необходимости.

В этой связи можно отметить вызревание новой ориентации в теории познания. Традиционно главная проблема эпистемологии (гносеологии), логики и методологии науки есть вопрос о гарантиях и регулятивах получения истинного знания. Соотношения знания и действительности при этом рассматриваются «однонаправленно» — от действительности к знанию, как представленность действительности в формах знания. Но познание одновременно — и активное воспроизведение действительности, обусловленное целями практической деятельности. Анализ знания как знания осмысленного ставит перед гносеологией, логикой и методологией комплекс проблем, связанных не только с обеспечением адекватной «представленности» действительности в определенных формах знания или обеспечением непротиворечивости этих форм, но и с ее встречным движением — от знания к предмету, то есть с воплощением определенных знаний и идей в продуктах социальной деятельности по преобразованию мира.

Подобная ориентация принципиально важна для анализа философских и методологических проблем технического знания, изучающего не столько предметы и явления в их «естественном» бытии, сколько возможности их преобразования. Техническое знание преимущественно выступает как представления о необходимом конечном (деловом) продукте (вещи, энергии, информации и т. п.), а также о средствах и способах его получения, каждое из которых уточняется в терминах реальных возможностей. Иначе говоря, мы имеем дело с интегрированным единством знания о целях и средствах их реализации в процессе деятельности, упорядоченной на основе этого знания. В принципе подобную структуру имеет любое «технологическое» знание, связанное с обоснованием преобразовательной деятельности человека, преобразования им природы, общества и себя самого. Логические основания анализа такого знания принципиально важны для уяснения логико-методологического статуса наук об «искусственном» вообще [Саймон 2009], построения теории творчества, эвристики как науки о творческом, конструктивном мышлении применительно к теориям, машинам, проектам, программам и планам.

Смысловая структура идеи как синтеза описаний, целей и предписаний, аналогична структуре целевой программы. Можно утверждать, что логическая структура целевых программ дает исключительные возможности представления и анализа осмысленного и существенного знания. В этой связи

вполне обоснованно ставить вопрос об общенаучном статусе программно-целевого (конструкционно-алгоритмического) подхода наравне с другими междисциплинарными стратегиями познания — функциональным, структурным, системным, комплексным подходами [Ладенко, Тульчинский 1988]. Такой подход есть обобщение и развитие теоретического и методологического потенциала указанных подходов, использует их как свою предпосылку и основание.

Трактовка знания одновременно в модусах истинности (потенциальной осуществимости), практической целесообразности и фактической реализуемости есть, по сути дела, переход от двумерной, «плоскостной» семантики, «прикалывающей» знание к реальности (рассматривая знание только в терминах «истинно — ложно», к «стереометрической семантике»). Семантическое обоснование практического рассуждения и содержания идеи «стереометрично» в том смысле, что задается не одной, а как минимум — тремя проекциями, каждая из которых есть установление определенного вида соответствия (оценки).

Выступая прескриптивной гипотезой, знанием, интегрирующим информацию о необходимых ресурсах и условиях достижения целей, идея выражает в конечном итоге предписания по реализации этих целей. В этом плане многомерная («стереометрическая») семантика реализует представления об оптимизирующей роли нормативно-ценностных регуляторах познания. Оптимизация состоит в обеспечении логического синтеза, рациональности осмысленного знания. Осмысленность, существенность знания, фиксированного в идее, является выражением единства анализа и синтеза, выявления расчлененности предмета познания, описания этой расчлененности («сделанности») и программы воссоздания в новом единстве, задаваемом целями практической деятельности. Истинность же достигается за счет включения нормативно-ценностных факторов образования и функционирования знания в единую систему критериев, а не за счет абстрагирования от них, отказа от их учета.

Установление трех видов соответствия перекликается с видами эффективности целенаправленной деятельности как отношений: 1) выбираемых целей к потребностям (ценностным нормам); 2) результата к целям; 3) результата к затратам ресурсов. Перекличка понятий неслучайна. Она свидетельствует о глубокой фундаментальной общности управленческих и познавательных процессов, выражающейся в их обусловленности практической деятельностью. Так же как интегральным выражением эффективности является отношение потребностей к имеющимся возможностям и ресурсам, так и интегральным выражением идеи является логический синтез знания об «истинном стремлении» [Аристотель 1983; Ивин 1970; Лобовиков 1988], представляющий содержание идеи как программу эффективного, то есть реализуемого и результативного действия.

Существенность, как и смысл, имеет место только в целеустремленных системах. Именно преследование определенных целей обусловливает харак-

тер и содержание концептуализации «в том или ином смысле». Поэтому осмысленность и существенность человеческого знания фактически есть выражение великого многообразия явных и неявных, в том числе и крайне сложно опосредованных целей, задающих контекст смысловых связей и ассоциаций.

Традиционно главная проблема теории познания, логики и методологии науки есть вопрос о гарантиях и регулятивах получения истинного знания. Соотношения знания и действительности при этом рассматриваются «однонаправленно» — от действительности к знанию, как представленность действительности в формах знания. Но познание — одновременно и активное воспроизведение действительности, обусловленное целями практической деятельности. Анализ знания как знания осмысленного ставит перед гносеологией, логикой и методологией комплекс проблем, связанных не только с обеспечением адекватной «представленности» действительности в определенных формах знания или обеспечением непротиворечивости этих форм, но и с ее встречным движением — от знания к предмету, то есть с воплощением определенных знаний и идей в продуктах социальной деятельности по преобразованию мира.

Рассмотренный круг вопросов ставит проблему возможности логико-семантического анализа, строящегося не только на традиционных критериях непротиворечивости адекватного описания действительности, но и на критериях целесообразности. Познание объективных закономерностей в указанных сферах предполагает не только установление адекватных описаний действительности, но и соответствие конкретным целям социальной деятельности данных теорий, машин, проектов, программ и планов.

Поэтому обоснование указанных сфер познания нуждается в специальных средствах анализа. Эти средства должны давать возможность вести анализ не только в терминах соответствия знания реальности, но также в терминах должного, возможного и нормативного. По крайней мере, можно предположить, что в логико-гносеологическом плане такой анализ есть прежде всего осмысление существенности как единства фактов, оценки и нормативного предписания.

Структура осмысленной существенности как синтеза описаний, целей и предписаний аналогична структуре целевой программы. Можно утверждать, что логическая структура целевых программ дает исключительные возможности представления и анализа осмысленного и существенного знания. Познание предмета связано с раскрытием его объективных свойств, его сущности, что определяет характер и содержание полученного знания. Именно раскрытие сущности предмета определяет осознание его «сделанности» как центрального момента познания и осмысления. Только следуя логике этой сущности, человеческое сознание способно к формированию идеи — наиболее зрелой и развитой формы осмысления, в которой соединяются в едином интегральном синтезе знание, представление об идеальном (нормативном) образце и программа его реализации. С развиваемой точки зрения идея сущности смысла предстает как синтез знания истины, должного и возможного.

Но какова логическая природа этого синтеза? Являются ли отношения указанных сторон осмысленного знания логическими? Если нет, то анализ творческой деятельности, аргументация, управление и планирование и ряд других сфер научной и практической деятельности лишаются логических оснований. Если да, то каков может быть аппарат такого анализа? Достаточен для этих целей аппарат обычной логики или необходимо построение специальных формализмов? И самое главное — каковы семантические основания логического анализа указанного синтеза. Разумеется, привлекательным выглядит тезис, что логика может быть использована не только для выяснения того, что имеет место, но и для указания на то, что мы должны делать, но его правомерность этого суждения должна быть обоснована и раскрыта.

Трактовка логики как науки о получении истинных следствий из истинных посылок постепенно уступает место более широкой концепции, связанной либо с обобщением понятия следования, основанного на традиционной истинностной оценке и на практических рассуждениях, либо — с введением для последних специальных аналогов истинности и ложности (как соответствия, например, идеалам добра, целям субъекта и т. д.).

Разработка такой концепции — один из наиболее острых вопросов философии логики. В свое время отказ неопозитивизма от учета нормативно-ценностных факторов познания и ограничение последнего исключительно критериями логической непротиворечивости и эмпирической верификации привели ориентированную подобным образом логику науки в методологические тупики. Не менее опасна и другая крайность — абсолютизация ценностных аспектов, поглощение ими идеала истинного знания как адекватного осмысления реального мира. Такая крайность ведет к полному релятивизму. Проявлением той же тенденции является и прагматическое толкование истины как целесообразности, соответствия целям субъекта.

Задача, как представляется, заключается не в сведении оценок и норм к описаниям, построении «новой теории истины», изгнании аксиологии из гносеологии или построении аксиологической теории познания. Отправную точку решения проблемы можно найти у того же Аристотеля [Аристотель 1983: 173—175].

Оценочные и нормативные суждения выступают как истинные или ложные в силу их соответствия или несоответствия определенным критериям и требованиям. В этом смысле проверка оценочного или нормативного суждения на истинность осуществляется соотнесением его не с эмпирическим фактом, а с нормативно-ценностными установками (образцами, целями и т. п.), определяющими осмысление этих суждений. Такая трактовка семантической оценки нуждается в уточнении, поскольку истинность в этом случае получает излишне расширительное толкование.

Цели как вид знания оцениваются не с точки зрения их истинности или ложности как соответствия или несоответствия объективной реальности, а с точки зрения их правильности или неправильности, то есть соответствия или несоответствия социально и интерсубъективно значимым образцам. Любая

оценка означает наличие у предмета свойств, приближающих его к некоторому нормативному образцу. Так, выражение «хорошая земля» выражает способность почвы давать высокий урожай, «хороший друг» — свойства человека, на которого можно положиться.

Значение оборота «хороший» сливается со значением оборота «соответствующий достижению такой-то цели» или «соответствующий такому-то образцу или стандарту». Во всех этих случаях речь идет о соответствии определенного типа. Но если истинность — установление соответствия сущему, то нормативно-ценностная оценка есть установление соответствия потребностям и целям социального субъекта, то есть должному, необходимому.

Так же как истина является метапредикатом, применимым к любому знанию, соответствующему реальности, и выражает общую семантическую схему этого соответствия, так и оценочное выражение «хороший» является по сути дела «омонимом» (Аристотель), «псевдопредикатом» (Е. Холл), «метапредикатом» (Дж. Мур), «универсальным аксиологическим квантором» (Р. Гартман). Конкретный ответ на вопрос: «Что есть добро (хороший)?», как и на вопрос: «что есть истина?», зависит от предмета анализа и выбора методологии.

Указание целевого (нормативно-ценностного) соответствия по своему семантическому содержанию и механизму аналогично установлению истинности, что также является морфологичным и предикативным, так как свойства цели (образца, стандарта) могут описываться вполне определенными предикатами. Так о конкретном ноже можно говорить как о «хорошем» тогда и только тогда, когда он имеет характеристики, требуемые стандартом и, главное, этим стандартом заданные. Семантика и описания, и оценки связана с отсылкой к некоторым образцам, имеющим нормативный характер. Для описаний это соответствие предметному значению, задаваемое с помощью единства описательной и нормативно-указательной идентификации. Например, «красный автомобиль» истинно тогда и только тогда, когда цвет описываемого автомобиля соответствует традициям именования его как красного. Для оценок — это также соответствие нормативному образцу: «хороший автомобиль» истинно тогда и только тогда, когда автомобиль обладает определенным набором свойств.

В этой связи становится ясным общий характер перехода от описания к оценке и от описания к норме. В первом случае речь идет о задании (описании) свойств реального или идеального образца и установлении степени соответствия этим свойствам конкретных анализируемых вещей. Во-вторых, на основании того же описания формируются требования («хороший нож должен быть острым», «хороший доклад должен быть кратким и ясным»), которые могут участвовать в оценке.

Итак, оценки, нормы и фактологические описания, будучи различными по семантической природе, едины в их механизме семантического оценивания — все они суть установления определенных соответствий. Описания дескриптивны и объективны (суть описания объективной реальности), нормы и

оценки — дескриптивны и субъективны (суть соответствия описываемой реальности описаниям образцов и целей). «Истинностная» и «целевая (нормативно-ценностная)» оценки оказываются двумя полюсами — объективным и субъективным — в установлении смысла знания.

Однако, в какой бы степени ни соответствовала бы идея целям и потребностям, как бы она ни была в этом плане «хороша», если она нереализуема, то остается утопией и фантазией. Знание, интегрируемое в идее, не будет отличаться от представлений о чуде как о желаемом преобразовании сущего в должное вне учета реальных возможностей такого преобразования. Поэтому знание, содержащееся в идее существенного, должно пройти оценку не только на истинность как соответствие реальности. В этом случае оно не выходит за рамки потенциальной осуществимости, реализации идеи «в принципе». Интегрируемое в идее сущности знание должно пройти проверку и на возможность фактической реализации идеи, на соответствие имеющимся в наличии средствам.

Правомерной постановкой вопроса о логико-семантической природе синтеза осмысленного знания представляется не сведение друг к другу различных видов семантического соответствия, а их совмещение в едином семантическом схематизме.

Следует различать как минимум три вида семантического соответствия:

1. Адекватность целям, которая оценивается как соответствие данного описания описанию желаемого результата, нормативного образа (нормативно-ценностная оценка и соответствие);

2. Адекватность реальности как истинность или ложность описания (истинностная оценка и соответствие);

3. Адекватность имеющимся средствам и возможностям (оценка на реализуемость).

В принципе можно выделить также четвертый вид соответствия — установление адекватности реализованной идеи предполагавшейся ценностной форме (результативная оценка).

Каждый из видов семантического соответствия (оценивания) соотносит знание, содержащееся в идее, с различными видами реальности. Для анализа этих соответствий вполне применим (с несущественными модификациями) обычный семантический аппарат в духе теории А. Тарского или ее развития С. Крипке и в «рефлексивной» семантике [Тульчинский 1986]. Различие — в характере действительности, соответствие с которой устанавливается. В первом случае это реальность целей (ценностных норм). Во втором — непосредственно материальная действительность. В третьем — реальные возможности, которыми мы располагаем.

Синтез этих трех оценок-соответствий позволяет говорить об идее как не просто об истинном знании, а о знании, выражающем Аристотелево «истинное стремление», то есть знании, берущемся в единстве модусов (абстракций) потенциальной осуществимости, практической целесообразности и фактической реализуемости.

Каждый из семантических аспектов (соответствий) идеи может быть связан со стадиями ее зрелости и воплощения:

1. Формирование цели как образа желаемого результата есть этап осознания потребности и формирования представления о должном и необходимом. Однако должное и необходимое может быть и принципиально неосуществимым в действительности (как в случае сказочных образов ковра-самолета, скатерти-самобранки и т. п.);

2. Установление принципиальной (потенциальной) осуществимости цели на основе объективного истинного знания. Однако истинное знание может быть еще нереализуемым, поскольку средства его воплощения пока не созданы в силу низкого уровня развития производственных сил. Это уровень научной идеи, художественного замысла и т. п. Ряд образов научной фантастики основан на таком знании потенциальной осуществимости;

3. Установление путей и средств реализации идеи.

Предложенная семантическая трактовка знания одновременно в модусах истинности (потенциальной осуществимости), практической целесообразности и фактической реализуемости есть, по сути дела, переход от двумерной, «плоскостной» семантики, рассматривающей знание только в терминах «истинно — ложно», к семантике «стереометрической (стереоскопической)».

Семантическое обоснование практического рассуждения и содержание идеи сущности «стереометрично (стереоскопично)» в том смысле, что задается не одной, а как минимум — тремя проекциями, каждая из которых есть установление определенного вида соответствия (оценки).

Воспользуемся традиционным для логической семантики представлением содержания знания в виде некоторого множества описаний состояния («возможных миров»), непротиворечиво описывающих некоторую предметную область. Среди описаний состояния выбирается одно — соответствующее реальному состоянию предметной области (выделенный «реальный мир»). Остальное — описания его непротиворечиво возможных состояний. В терминах описаний состояния вводятся и определяются понятия выполнимости, логической истинности (выполнимости во всех описаниях состояния — «возможных мирах»), логического следования, доказуемости, формализуемости и т. д. С точки зрения этого логико-семантического аппарата обоснование содержания идеи существенности будет выражаться в последовательном вычеркивании описаний состояния («возможных миров»), не соответствующих реальности (семантическая оценка в терминах «истинно — ложно»), цели или нормативному образцу (оценка в нормативно-ценностной проекции «хорошо — плохо»), имеющимся средством (оценка в проекции реализуемости: «реализуемо — нереализуемо»). Каждое из вычеркиваний есть результат установления соответствия (несоответствия), проекции набора описаний на плоскости соответствующих характеристик-критериев. В результате такой стереометрической процедуры оценивания происходит вычеркивание знания о нереальном, ненужном и невозможном в данных условиях, то есть о несущест-

венном. Оставшийся набор описаний состояния дает представление о содержании знания, осмысленного и существенного с точки зрения не только его истинности, но и целей и возможностей практики.

Предложенный подход оставляет анализ в рамках семантики, что, однако, не исключает возможность специальных прагматических построений, примером которых могут служить концепции Р. Монтегю и Р. Столнейкера [Монтегю 1981; Столнейкер 1985]. Если в концепции Монтегю прагматический контекст совместно с системой «возможных миров» детерминирует значение истинности утверждений, то согласно Столнейкеру, эта детерминация поэтапна: прагматический контекст определяет концептуальные системы, а те уже имеют определенные значения истинности или ложности. По крайней мере представляется заслуживающим внимания отнесение Р. Монтегю понятия «смысл» к сфере прагматики, а не семантики, которую он связывает исключительно с понятиями истинности и выполнимости.

Логический анализ и синтез осмысленного существенного знания на подобной семантической основе в принципе может осуществляться двумя способами. Так, каждое соответствие может рассматриваться как введение некоторого оператора над описанием. Пусть ***T*** — оператор соответствия реальности, ***G*** — оператор соответствия целям, а ***R*** — оператор соответствия практическим возможностям. Тогда выражение ***TGRp*** будет означать не только истинность ***p***, но и его целесообразность и практическую реализуемость. Каждый оператор дает выражению соответствующую модальную квалификацию, поэтому логический анализ и синтез идеи в этом случае может строиться на основе комбинирования модальных операторов. С точки зрения семантики «возможных миров» это означает, что операторы ***T, G, R*** и вводят соответствующие каждому из них системы описания состояния («возможные миры»). Знание, представленное в каждой из этих систем, выражает соответствующие составляющие содержания идеи.

Последняя предстает как инвариант преобразований систем описаний состояния, вводимых модальными операторами. Такой подход можно назвать «модальным». Он делает акцент на формальной стороне дела и предполагает построение специальных логических систем, исследующих отношения между модальными операторами, и последующую семантическую интерпретацию этих систем.

Другой подход, назовем его «семантическим», наоборот, строится на предварительном установлении соответствий (вычеркиваний описаний состояния) и лишь последующей формализации инвариантного знания. В этом случае для логического анализа и синтеза осмысленного знания (соответствующего и реальному, и должному, и реализуемому), то есть содержания идеи, программы и т. п., вполне достаточен обычный аппарат логики предикатов.

Если допустить возможность противоречивых описаний состояния («невозможных возможных миров»), то логический переход от целей к средствам аналогичен релевантному следованию, когда импликация $A \supset B$ приемлема,

если мы используем именно ***A*** для достижения ***B***. Более естественным, однако, является использование обычной логической дедукции в ее стандартном выражении или с некоторыми модификациями, например в духе теории резолюции [Чень, Ли 1983]. Возможна также интерпретация построения и анализа в рамках теоретико-игровой семантики, когда анализ рассматривается в виде диалогической игры, участники которой защищают или оспаривают некий тезис.

Переход знания в идее или целевой программе из модуса практической целесообразности в модус физической реализуемости подобен решению задачи, когда предполагается существование неизвестного ***(x)***, удовлетворяющего условиям, то есть делающего их истинными. В этом случае решение задачи может быть ориентировано «на нахождение» — поиск предмета, удовлетворяющего некоторому описанию, либо «на доказательство» — поиск непротиворечивого описания этого предмета. Однако логический строй плана решения один — разрешение противоречия между возможным (идеальным) и действительным (реальным). Допущение о существовании цели (неизвестного) в случае установления непротиворечивости плана решения устанавливает и реальный статус неизвестного. Аналогично и в техническом творчестве имеются два основных класса проблем — перехода от известного предмета к возможностям его использования и от представления о возможном назначении (свойствах и параметрах) — к предмету, его реализующему. Первая проблема сводится к задаче «на доказательство», вторая — «на нахождение».

Выражая единство анализа и синтеза, непротиворечивого описания и построения, логический анализ идеи сущности смысла развертывается и как единство необходимого и возможного. Пронизывая и интегрируя различные модусы знания в рамках идеи, плана решения или целевой программы, он развертывается в одной плоскости «как бы реального». Логический анализ выражает само существо вопроса о семантическом обосновании идеи существенности. Выступая прескриптивной гипотезой, знанием, интегрирующим информацию о необходимых ресурсах и условиях достижения целей, идея существенного выражает в конечном итоге предписания по реализации этих целей. Важно, что, как и любой план решения, представления о сущности могут проверяться и корректироваться только на основе их выполнения. Однако нелепо корректировать программу после ее выполнения. Поэтому в качестве проверки идей широко используются методы имитации и моделирования. Но именно подобного рода моделированием и выступает логико-семантический синтез знания. Он дает знание о непротиворечивом единстве знания истинного, должного и возможного, то есть непротиворечивую, «работающую» модель. Логический формализм предоставляет информацию как о «скрытом схематизме», так и о его возможном развитии. Логическое единство задач «на нахождение» и «на доказательство» есть единство описательного и операционального компонентов модели: первый снабжает нас знанием о структуре явления, второй — о множестве актов преобразования и построения этой

структуры. Поэтому неверно, что «логическое следование зависит от понимания» [Stroud 1979: 190]. Логическое следование есть упорядоченная структура концептуализированного (уже понятого и осмысленного) знания.

В современной логической семантике необходимость и возможность трактуются фактически как квантификация по описаниям состояния («возможным мирам»): необходимо то, что истинно во всех описаниях состояния, а возможно — то, что истинно в некоторых, хотя бы и в одном из описаний состояния. Такой подход, применяемый, например, в семантическом обосновании систем модальной и интенсиональной логики, по сути дела, является сведением содержания идей необходимого и возможного к идеям общего и особенного [Ивлев 1985; Слинин 1976]. Однако необходимость — это не только проявление универсальной общности (всегда и везде сущего), но и долженствование удовлетворения некоторой потребности, достижения цели. Возможность, в свою очередь, выступает как способность реализации этой цели, допустимость этой реализации. При этом речь идет не о возможных «вообще» описаниях, а об описаниях, возможных относительно необходимых целей при определенных условиях, когда мы получаем перспективу логического анализа знания существенного (необходимого). Осмысленное знание как знание существенного выражается в синтезе знания, взятого в модусах истинности, целесообразности и реализуемости. И в этом плане предложенная многомерная («стереометрическая») семантика реализует идею об оптимизирующей роли нормативно-ценностных регуляторов познания. Оптимизация состоит в обеспечении логического синтеза, рациональности осмысленного знания.

Существенность является выражением единства анализа и синтеза, выявления расчлененности предмета познания, описания этой расчлененности («сделанности») и программы воссоздания в новом единстве, задаваемом целями практической деятельности. Истинность же достигается за счет включения нормативно-ценностных факторов образования и функционирования знания в единую систему критериев, а не за счет абстрагирования от них, отказа от их учета.

Предложенная модель семантического оценивания как установления трех видов соответствия перекликается с видами эффективности целенаправленной деятельности как отношений: (1) выбираемых целей к потребностям (ценностным нормам); (2) результата к целям; (3) результата к затратам ресурсов [Ладенко, Тульчинский 1988]. Перекличка понятий неслучайна. Она свидетельствует о глубокой фундаментальной общности управленческих и познавательных процессов, выражающейся в их обусловленности практической деятельностью. Так же как интегральным выражением эффективности является отношение потребностей к имеющимся возможностям и ресурсам, так и интегральным выражением идеи сущности смысла является рассмотренный логический синтез знания об «истинном стремлении», представляющий содержание идеи осмысленной существенности как программу эффективного, то есть реализуемого и результативного действия.

8. ОТ СМЫСЛА ДЕЙСТВИЯ К «СМЫСЛУ КАК ТАКОВОМУ»: КОНЦЕПЦИИ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ ВЕБЕРА И ЛУМАНА В СЕМИОТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

В данном разделе предметом рассмотрения будет соотношение лингвистических системных и социальных контекстуальных факторов. Как было заявлено во введении, формирование смыслов понимается как соположение языковых и экстралингвистических системных факторов в процессе коммуникации и социального взаимодействия. Семантика языковых структур формируется как динамическая, контекстно-зависимая производная от лингвистических, социальных, когнитивных и референциальных характеристик. Динамический подход позволяет отразить «способность» высказывания порождать новые смыслы в процессе его функционирования. Семантическая интерпретация не ограничивается операциями над лексемами и предложениями, но основывается также на конвенциональных фреймах и моделях социального поведения и взаимодействия.

Подобный подход делает возможным трансдисциплинарный синтез осуществляемых в различных гуманитарных науках описаний семантических аспектов человеческой деятельности. Однако необходимо прояснить — а что же объединяет эти столь различные «смыслы смысла», или «значения значения» (в первую очередь, это различие между пониманием смысла как сущности, функции, цели некоторого объекта или явления и смысла как семиотической характеристики знака или текста). Более того, само наличие этой объединяющей сферы еще требует обоснования.

В этом отношении чрезвычайно важным оказывается уяснение того, как возможно соотнести то понимание смысла, которое используется в социологии, с тем, которое наличествует в дисциплинах, сосредоточенных на описании смысла как знакового отношения. Соответственно, возникает необходимость уяснения, в каком отношении конгруэнтны подходы, выработанные в социологии, с теми, которыми оперируют лингвистика и социальная семиотика. В то же самое время это есть и уяснение взаимосвязанности лингвистических и поведенческих аспектов смыслоформирования. Эта проблема ниже будет рассмотрена как теоретическая (насколько понятие смысла в социологических концепциях Макса Вебера и Никласа Лумана совместимо с понятием смысла в лингвистике и социальной семиотике), а затем выработанные и изложенные в предыдущих разделах методы будут продемонстрированы на примере описания таких лингвистических единиц, семантика которых в наиболее явной форме демонстрирует взаимодействие лингвистических и социальных смыслов и контекстов (индекса «мой» и экспрессивов).

8.1. К проблеме смысла в социальной семиотике: Макс Вебер сегодня

8.1.1

Если воспользоваться определением социологии Макса Вебера — Лумана (см. ниже), то можно увидеть основы трансдисциплинарного симбиоза вокруг изучения проблемы смыслов и их манифестации: предмет социологии — изучение самой системы «конституирования смыслов» и ее механизмов, тогда как изучение смыслов и их конструирования станет уделом лингвистической семантики, семиотики культуры и социальной семиотики. Разумеется, здесь требуется как дифференциация, так и учет того, что между этими дисциплинами будет множество пересекающихся исследовательских сфер. В данном случае может оказаться плодотворной лотмановская концепция семиосферы, предполагающая взаимодействие и пересечение различных подобластей и языков [Лотман 1984]. Исходным может стать положение о семиотическом компоненте как необходимой составляющей человеческой деятельности: «Сигнификативная структура (связанная с активным употреблением знаков)», является «общим законом построения высших форм поведения» [Выготский 1999 [1934]: 125]. При этом очевидно, что из всех семиотических систем, на основе которых осуществляется деятельность и коммуникация, языку принадлежит особое место. Помимо наиболее явной функции быть средством коммуникации язык является важнейшим компонентом личной и коллективной идентичности, он имеет огромное символическое значение во всех социальных и культурных процессах, а также создает основу для социальной солидарности и взаимопонимания внутри общества. По меткому выражению Майкла Хэллидея, язык и есть социальная семиотика, в которой общество описывает себя и конституирующие его смыслы (constitutive meanings) [Hallyday 1978: 2]. Это, несомненно, находит свой отклик в теории автореферентных (самоописывающих) систем Н. Лумана: общество рассматривается как система, конституирующая смыслы. Раскрыть этот потенциал языка и коммуникации можно будет только в том случае, если рассматривать проблему комплексно и в трансдисциплинарном ключе. И наоборот — без лингво-семиотического инструментария процессы формирования и передачи смысла в социуме оказываются без должной экспликации.

В этом отношении особо значимым представляется рассмотрение возможностей синтеза лингво-семиотического понимания смысла, основанного на операциях над знаками и знаковыми системами, с тем пониманием, которое характерно для социологии. Социальная семиотика, в особенности в ее мультимодальной версии, представляется той дисциплиной, в которой социальная и лингвистическая теория должны дополнять друг друга. Однако в социальной же семиотике связь с теоретической социологией практически отсутствует; заявленные исследовательские декларации[98] в большинстве сво-

[98] Ср.: «То же самое относится к термину “социальная” в социальной семиотике. Он может стать самим собой только когда социальная семиотика будет полностью связана с социальной теорией. Такая междисциплинарность является абсолютно необходимой характеристикой социальной семиотики» [Leeuwen 2005: 2].

ем осталась лишь благим пожеланием, а сама она свелась к изучению кейсов. Возможной причиной была неразработанность именно ключевого вопроса соотношения между языковыми и социальными смыслами. Именно этот вопрос станет предметом нашего рассмотрения: будет предложена возможная лингвистическая интерпретация веберовского понимания смысла как основания социально интерпретируемого действия[99]. Определив «социальное действие» как такое, смысл которого направлен и ориентирован на *другого,* Вебер, по сути, сделал вклад в рассмотрение понятие коммуникации: межличностное взаимодействие предполагает передачу некоторого смысла. Можно продолжить: следовательно, модели коммуникации и модели социального (взаимо)действия могут быть сведены друг к другу. Например, если рассматривать возникающие при коммуникации процессы трансформации и генерации смысла. И если применительно к языковому поведению уже имеются глубоко разработанные теории, описывающие его как социальное поведение (теории перформативов Остина, речевых актов Серля, максим и импликатур Грайса), то обратное — описание социальных действий как семиотических операций — все еще остается в стадии становления и может стать основой новой версии социальной семиотики[100].

8.1.2

Понятие «смысла» является основополагающим в социологической теории Макса Вебера, а сам предмет социологии определяется им как *истолкование и понимание* «социального действия», то есть приписывание поведению некоторой осмысленной интерпретации»:

> Социология… есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие. «Действием» мы называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внеш-

[99] Другим перспективным направлением, при котором возможен синтез социальной и лингво-семиотической теории, но с опорой на языковые структуры и правила их употребления, в философии языка является теория перформативов и речевых актов Джона Остина и затем Джона Серля, в особенности разработанная им в дальнейшем теория институциональных фактов [Searle 1995]. Само употребление языка справедливо рассматривается как социальное действие, а возникающие социальные институты и нормы описываются как семиотические объекты. Однако применительно к рассматриваемой проблеме все эти аспекты могут быть оставлены без внимания, поскольку в данном случае направление анализа оказывается противоположным: в теории Остина — Серля требуется определить языковой акт в терминах социального действия, тогда как в нашем случае мы пытаемся найти лингвистический коррелят для социализированных поведенческих актов, в том числе и невербальных.

[100] Контуры подобной, к сожалению, не до конца доведенной версии социальной семиотики были обрисованы в работах представителей Тартуско-Московской школы (Ю. М. Лотман, А. М. Пятигорский, Б. А. Успенский, И. А. Чернов и др.); подробнее см.: [Золян 2018].

ний или внутренний характер, сводится к невмешательству или терпеливому принятию), если и поскольку действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный *смысл*. «Социальным» мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием *других* людей и ориентируется на него [Вебер 1990: 602—603].

«Мотивом» называется некое смысловое единство, представляющееся действующему лицу или наблюдателю достаточной причиной для определенного действия [Вебер 1990: 611].

Крайне важным считаем то положение, что, по Веберу, в объяснении поведения смысл предшествует действию — нечто становится действием только потому, что с ним связывается определенный смысл. Как видим, первичным оказывается не нечто наблюдаемое (действие), а смысл, который с ним связывают действующие индивиды. Однако возникает вопрос — откуда индивид черпает эти смыслы? Говоря о смыслах, смысловых связях и единствах, классик социологии, видимо, считал это само собой разумеющимся и не утруждал себя определениями того, что́ есть смысл и как он возникает. Смысл — это то, с чем агент действия связывает свое действие и что обусловлено *мотивом* — некоторым *смысловым единством,* что, очевидно, также должно быть рассмотрено как смысл, но более высокого уровня — как смысл-комплекс, объединяющих отдельные ситуации на основе некоторой смысловой *связи.* Последнее же выделяется как то*,* что соотносит это единство (мотив) с субъективным смыслом действия. Очевидна тавтологичность подобных определений, но она же есть свидетельство рекурсивности *смысла поведения* — осмысленность *смысла поведения* определяется относительно некоторого единства и некоторой связи, но эти мотивы и связи выводятся («объясняются») наблюдателем на основании *доступного непосредственному пониманию действию.* Но при этом названное *смысловое единство* предшествует самому действию — и логически, поскольку именно оно наделяет нечто субъективным смыслом и тем самым делает его действием, и каузально — поскольку оно представляется причиной действия, и, видимо, хронологически — причина должна существовать до следствия. Забегая вперед, заметим, что представляется возможным дополнить схему Вебера введенным уже Луманом механизмами повторного вхождения одного и того же элемента [Луман 2004: 45—62], при котором оно может менять смысл. Так, *доступное непосредственному пониманию действие* обречено изменить свой смысл при соотнесении с опосредующими его мотивами, при которых неизбежно изменятся конституирующие его связи (так, один и тот же сам по себе лишенный значения жест — махать рукой — становится действием, уже будучи связан с некоторой ситуацией, в которой ему может быть приписан смысл — «прощаться», «выражать свое эмоциональное состояние», «выражать уважение», или же «пытаться остановить поезд», «запретить нечто». Непосредственное действие — «махание рукой» — в последующих описаниях будет заменено

его смысловым коррелятом). Однако таким образом неявным образом в схему Вебера проникают знаковые отношения, которые будут усложняться при переходе от простейших поведенческих актов к сложным структурам[101].

Нет никаких резонов считать, что под смыслом поведения Вебер понимал некоторый семиотический объект, соотносящий «означающее» («действие») и означаемое (скажем, *каузальное объяснение его процесса и воздействия*). Однако нет и никаких методологических препятствий для такой лингвосемиотической экспликации. В этом случае «субъективный смысл» может быть отождествлен со смыслом лингвистического выражения, посредством которого может быть описано действие агента применительно к некоторому тексту (мотиву) и логико-лингвистических средств связи данного выражения с выражениями текста. Заметим, что языковые смыслы — видимо, ввиду их очевидности — не замечаются Вебером. С этой точки зрения крайне примечательно, что, приводя дисциплины, изучающие смысл, Вебер не упоминает лингвистику:

> Слово «смысл» имеет здесь два значения. Он может быть: а) смыслом, действительно субъективно предполагаемым действующим лицом в данной исторической ситуации, или приближенным, средним смыслом, субъективно предполагаемым действующими лицами в определенном числе ситуаций; б) теоретически конструированным чистым типом смысла, субъективно предполагаемым гипотетическим действующим лицом или действующими лицами в данной ситуации. Здесь вообще не идет речь о каком-либо объективно «правильном» или метафизически постигнутом «истинном» смысле. Этим эмпирические науки о действии — социология и история — отличаются от всех догматических наук — юриспруденции, логики, этики, — которые стремятся обнаружить в своих объектах «правильный», «значимый» смысл [Вебер 1990: 603].

В самом деле, лингвистическое понимание смысла есть некоторое знаковое отношение *замещения* знаком физического или мыслимого объекта, тогда как для Вебера — это некоторое *каузальное* отношение между действием и его мотивом — *смысловым единством.* Языковые смыслы не вмещаются в дихотомию *субъективное — объективное*[102]. Они, они с одной стороны, вполне могут быть определены как «конструированный чистый тип смысла, субъективно предполагаемый гипотетическим действующим лицом или действующими лицами в данной ситуации» [Вебер 1990: 603] — мы опустили

[101] Ср.: «Согласно нашему определению, всякий искусственно созданный человеком условный стимул, являющийся средством овладения поведением — чужим или собственным, — есть знак» [Выготский 1983: 77].

[102] Ср.: «Уже Гумбольдт в своем тонком анализе разрабатывал как объективный, так и субъективный характер языка. Согласно этому, говорящий должен выбирать объективную форму и отказываться от своей собственности на произнесенное слово, следствием чего является то, что в языковой коммуникации никто из ее участников как раз и не думает о том, что думает другой. Язык как форма получает самостоятельность относительно своих творцов» [Луман 2004: 114]

слово «теоретически», но и оно может быть восстановлено, поскольку любое семантическое описание языковых смыслов уже основано на некоторой теоретической модели[103]. С другой стороны, языковой смысл в процессе оперирования им вполне может быть определен и как субъективный — то есть быть *приближенным, средним смыслом, субъективно предполагаемым действующими лицами в определенном числе ситуаций,* то есть опять-таки конструктом, но не научным, а языковым. С такой точки зрения, если воспользоваться разграничением Луи Ельмслева, разница между этими смыслами сводится к различию между двумя метасемиотиками — научной и ненаучной [Ельмслев 1960]. Другое дело, что в обоих случаях «правильность» будет определяться не как отношение «истинности», а как адекватность одной модели другой — насколько адекватно научная метасемиотика описывает модели ненаучной.

8.1.3

Говоря об объективности и субъективности, Вебер вводит еще одно измерение. Помимо вышеуказанного разграничения между изучающими наблюдаемые действия эмпирическими дисциплинами (история, социология) и претендующими на раскрытие *какого-либо объективно «правильного» или метафизически постигнутого «истинного» смысла догматическими науками (юриспруденции, логики, этики),* это разграничение может относиться и к степени адекватности. Тогда *объективность* будет выступать как степень конгруэнтности между смыслом, полагаемым агентом действия, и тем смыслом, который может быть приписан этому действию наблюдателем. Процесс понимания поведения выступает в данном случае как экспликация изначального субъективного смысла:

> В науке, предметом которой является смысл поведения, «объяснить» означает постигнуть смысловую связь, в которую по своему субъективному смыслу входит доступное непосредственному пониманию действие... Во всех этих случаях, в том числе и тех, где действуют аффекты, мы будем определять субъективный смысл событий, а также и смысловые связи как предполагаемый смысл (выходя тем самым за рамки обычного словоупотребления, где о «предположении» в таком понимании говорят только при рациональном или целенаправленном поведении) [Вебер 1990: 608].

Однако выясняется, что этот предполагаемый смысл может не совпадать с неким «подлинным» смыслом, который «на самом деле» определяет действия агента:

> Предполагаемый смысл» реального поведения в подавляющем большинстве случаев сознается смутно или вообще не сознается. Действующий индивид лишь

[103] Заметим, что подобное определение Вебера очень точно можно соотнести с таким принятым в когнитивистике метаописанием семантики языка, как представление смысла языковых выражений в виде фрейма или прототипических сценариев.

> неопределённо «ощущает» этот смысл, а отнюдь не знает его, «ясно его себе не представляет»; в своем поведении он в большинстве случаев руководствуется инстинктом или привычкой. Очень редко люди, а при массово-однородном поведении лишь отдельные индивиды отчетливо осознают его (рациональный или иррациональный) смысл. В реальной действительности подлинно эффективное, то есть полностью осознанное и ясное по своему смыслу, поведение — всегда лишь пограничный случай [Вебер 1990: 624].

И тут возникает серьезное осложнение — в какой степени объективен данный субъективный смысл, вкладываемый агентом в свое действие. Помимо того, что наблюдатель вполне может приписать совсем иные смыслы, сам агент может и не сознавать «истинных» мотивов своего действия:

> Каждое толкование стремится, конечно, к ясности. Однако сколь бы ясным по своему смыслу ни было толкование, оно тем самым еще не может претендовать на каузальную значимость и всегда остается лишь наиболее вероятной гипотезой. «Мотивы», которые данный индивид приводит, и те, которые он «подавляет» (то есть скрытые мотивы), часто настолько маскируют — даже в сознании самого действующего лица — подлинную связь его действий, что и субъективно искренние свидетельства имеют лишь относительную ценность [Вебер 1990: 609].

Поэтому происходит определенная замена понятий — место «субъективного» смысла, которым — как ему самому кажется — руководствуется агент действия, замещает некий «объективный», точнее объективированный, смысл, который ему приписывает наблюдатель-социолог:

> В этом случае задача социологии — выявить связь между отдельными мотивами и посредством истолкования установить ее подлинный характер, невзирая на то, что она обычно (или большей частью) не может считаться полностью конкретно предполагаемой, осознанной индивидом [Вебер 1990: 609].

В результате эмпирическая методология социологии приближается к методологии «догматических» наук, оперирующих некоторыми идеализированными типами:

> Конструированные социологические понятия идеально-типичны не только в применении к внешним событиям, но и к явлениям внутренней жизни людей [Вебер 1990: 624].

Как видим, эти конструкты («идеальные типы») стремятся заменить «субъективные смыслы» реально действующих агентов. Заявленный «эмпиризм» Вебера противоположен эмпиризму бихевиоризма, в котором исчезает непосредственно ненаблюдаемое понятие смысла, а каузальная связь заменяется отношением «стимул — реакция». Между тем у Вебера, конструкты, а не психические состояния оказываются как предметом, так и инструментом описания. Поэтому такой подход открывает дорогу не только собственно социологическому, но и лингво-семиотическому описанию — если для социологического описания приемлемы веберовские (или какие-либо другие) идеализированные модели описания, то социальная семиотика может опираться

на лингвистические и культурологические модели. Например, в качестве таковых могут выступать как зафиксированные в языке относящиеся к поведению фреймы, так и другие моделирующие системы (литература, религия, ритуал, драматургия, исторические описания и т. д.), также предоставляющие некоторые идеализированные поведенческие типы.

Что касается вопроса об объективности / субъективности «субъективного смысла» (в веберовском понимании), то, как представляется, целесообразно его перевести в иную плоскость, рассматривая как проблему соотношения между самоописанием и иноописанием. Она достаточно хорошо известна и в семиотике, и в социологии, к ней неоднократно обращался Юрий Лотман, а Никлас Луман сделал ее одной из центральных для своей социологической теории. «Объективность» в этом случае получает совсем иную трактовку — как адекватность тех или иных описаний и метаописаний. Именно в такой плоскости вопрос — насколько объективно описание «субъективных» смыслов, то есть насколько сделанное наблюдателем описание поведения может совпадать или не совпадать с самоописанием агента, частично он был нами рассмотрен ранее совместно с Игорем Черновым, где было отмечено, что сама идентификация смыслов и мотивов есть уже есть метаязыковый акт и факт. Индивид и его поведение, предстающие перед чужим (или отстраненным) сознанием, требуют перевода на некий метаязык, который может выступать как некий эталон. Представление об этом было отчетливо сформулировано достаточно давно, например, в Посланиях апостола Павла: «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования» (1 Кор. 14:13). Там же отмечалось и несоответствие самоописания реальности — «Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно» (Ин 5:31) [Золян, Чернов 1977].

Это евангельское высказывание воспроизводит дихотомию, которая позднее воплотится в веберовском подходе: приведенную выше противоречивую ситуацию применительно к адекватному описанию «субъективного» смысла. Что надлежит считать «подлинным» — тот смысл, который связывает со своим действием его агент, или же идеализированный смысл-конструкт, приписываемый этому действию наблюдателем-социологом? Подобная логика применительно к евангельской максиме приводит к противоречию: если только я не лгу, мое свидетельство о себе (вкладываемый мною в мое действие мой субъективный смысл) истинно и не может быть неистинно именно в силу соответствующей рекурсии, поскольку описанию подлежит именно тот смысл, который я вкладываю в свое действие в соответствии с некоторым смысловым единством (мотивом). Но наблюдатель может связать это же действие уже с другим мотивом, и ему может быть приписан уже иной смысл. Тем самым евангельская максима требует, чтобы агент действия встал на позицию наблюдателя, что согласуется с продолжением этого эпизода:

> Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне (Ин 5:32).

Как видим, при подобной процедуре самоотстранения для оценки истинности нужен еще один наблюдатель, чтобы можно было бы оценить адекватность свидетельства. Это согласуется с общими принципами метаязыкового описания: в корреспондентной теории истины она не может быть установлена высказываниями на языке-объекте, а требует обращения к метаязыку. Само «свидетельство» есть уже некоторое публичное описание, то есть действие, переводящее агента действия в автора описания, наблюдателя. Учет публичного (то есть обращенного на других) и экстериоризированного (то есть эксплицитно выраженного в вербальной форме) характера свидетельства снимает указанное противоречие: свидетельство о себе может быть как истинным, так и не истинным, и истинным становится в случае совпадения само- и иноописаний. Говоря словами Вебера, «все это — понятные нам смысловые связи, понимание их мы рассматриваем как объяснение фактического действия» [Вебер 1990: 608].

Примечательно, что указанное возможное понимание высказанного Христом как противоречия, было отмечено Отцами Церкви, в частности в Толковании Иоанна Златоуста. Противоречие это не могло быть незамеченным и потому, что в том же Евангелии от Иоанна Христос утверждает прямо противоположное:

> Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду (Ин 8:14).

Пояснения Иоанна Златоуста, как бы предвосхищая и теорию истины Альфреда Тарского, и теорию автометаописаний Никласа Лумана, сводятся именно к тому, что в первом случае Христос занимает позицию внешнего наблюдателя, почему и требуется еще одно, «эталонное» описание (в данном случае — Иоанна Крестителя). Во втором же случае единственным наблюдателем может быть сам субъект высказывания, почему истинность в данном случае и оказывается рекурсивным (автореферентным) отношением: свидетельствующая о себе (описывающая себя) истина есть истина, поскольку именно она и есть истина. Различие между двумя противоречащими фрагментами Евангелия, согласно Златоусту, кажущееся, оно объясняется различием между словесными выражениями, а не выражаемыми смыслами. Требуется учесть не только сами смыслы слов, но и воздействующие на их осмысление контекстуальные прагмасемантические факторы[104], и в таком случае оба высказывания выражают одно и тоже положение дел[105].

---

[104] «Много внимательности нужно нам иметь или, лучше, благодати Божией, чтобы не останавливаться на одних словах: потому и еретики заблуждаются, что не обращают внимания ни на цель говорящего, ни на свойства слушателей. Итак, если мы не вникаем в это, а также и в другие обстоятельства, как то: время, место, дух слушателя, то может произойти много нелепостей» [Творения святого отца… 1902: 152].

[105] «Где мы найдем истину, если сама Истина говорит: свидетельство Мое несть истинно? И не это только противоречие здесь представляется, а еще и другое, не мень-

Экстериоризация высказывания приводит к тому, что субъект высказывания выступает с позиции наблюдателя, почему и должен соотнести свое высказывание с позицией адресата и другого наблюдателя. Поэтому и в социологии, и в какой-либо иной системе описания, например в теории речевых актов, агент действия может «не знать» «подлинных», то есть приписываемых ему внешним наблюдателем смыслов своих действий. Для наблюдателя он выступает как внешний объект, своего рода «черный ящик», и адекватность описания определяется не внутренними состояниями этого объекта, а параметрами описывающей системы (упрощая — соответствием исходных и конечных характеристик, «входа» и «выхода»). Когда же речь идет о собственно описании намерений и ожиданий субъекта, то его описание при всех возможных вариациях смысла в новых контекстах, не может не быть единственным *подлинным*: только он может знать, *«откуда он пришел и куда идет»*. По этой причине и предлагаемые гуманитарными дисциплинами описания не могут претендовать на то, что они в состоянии эксплицировать «подлинное», неведомое самому субъекту смысловое содержание его действий. Они не вправе заменить те субъективные смыслы, которые агент соотносит со своими действиями, на некоторые идеализированные конструкты, они могут только его репрезентировать — то есть пытаться не конструировать, а ре-конструировать его, объективировать в той или иной принятой социумом знаковой форме. Раскрытие смысла поведения — своего и чужого — это не только проблема гуманитарных наук, это прежде всего проблема интерперсонального взаимодействия, повседневной деятельности и коммуникации. В качестве языков и метаязыков описания, которыми пользуются члены социума для описания себя и другого, выступают не исследовательские конструкты и идеальные типы, а некоторые общезначимые для общества знаковые системы смыслов.

шее. Он говорит далее: аще Аз свидетельствую о Себе, истинно есть свидетельство Мое (8, 14). Что же, скажешь, нам принять? Которое из этих двух изречений считать не истинным? Если мы примем эти слова просто так, как они сказаны, не обращая внимания ни на лицо, ни на причину, ни на что другое, — в таком случае и то и другое будет ложно. Если вообще свидетельство Его не истинно, то и эти самые слова не истинны, — не только последние, но и первые. Что же означают эти изречения?.. Иудеи намеревались возразить Ему: Ты о Себе Сам свидетельствуеши: свидетельство Твое несть истинно; а Он, предупреждая их, и сказал это, как бы так говоря: вы, конечно, скажете Мне: мы не веруем Тебе потому, что между людьми никто, свидетельствующий о самом себе, никогда не заслуживает веры. Потому выражение: свидетельство Мое несть истинно надобно разуметь не просто, а приспособительно к понятию иудеев, то есть: для вас не истинно. Таким образом, Он сказал эти слова не вопреки достоинству Своему, а приспособительно к их мнению. Итак, когда Он говорит: свидетельство Мое несть истинно, — этим обличает их мысли и преднамеренное с их стороны возражение Ему; а когда говорит: аще Аз свидетельствую о Себе, истинно есть свидетельство Мое, — этим показывает самую сущность дела, то есть что Его, как Бога, следует почитать достойным веры и тогда, как Он говорит о Самом Себе» [Творения святого отца… 1902: 151—152].

8.1.4

В приведенных определениях Вебера отсутствует понятие более широкой системы, относительно которой может быть определена *категория того, что имеет смысл,* а именно — культура. Как бы уточняя и расширяя подходы «понимающей социологии», Юрий Лотман указал ту область, откуда черпаются смыслы:

> Культура в семиотическом аспекте предстает как некоторый континуум языков, которыми пользуется самосознающее мышление человека, а действия, как вербальные, так и совершаемые с помощью разнообразных поступков, могут быть истолкованы как тексты на некоторых языках. Понять смысл исторических поступков людей, их поведения и их сочинений означает овладеть языками их культур [Лотман 2008: 510].

«Язык культуры» связывается с пониманием смысла человеческих действий, но до этого следует рассмотреть роль естественного языка, на котором пишутся тексты и метатексты поведения. Как было отмечено нами ранее, «конструирование метаязыкового самоописания является “эпифеноменом” любого поведенческого акта. Относительно любого временного среза поведения индивиду может быть задан вопрос “что ты делаешь?”. Предполагается, что метаязыковая экспликация (хотя бы в общей форме) не вызовет затруднений, поскольку поведение предполагает (имплицирует) возможность его метаязыкового представления» [Золян, Чернов 1977: 152].

Это положение может быть конкретизировано следующим образом. Язык предоставляет как бы набор простейших метаязыковых шаблонов (класс местоименных слов и каузальных коннекторов), позволяющих выделить «субъективный» смысл действия — *делать, кто, что, для чего, для того, почему, потому, зачем* и пр. Так, все описания наблюдаемого поведения, предполагающего экспликацию субъективного смысла некоторого действия, могут быть представлены как конкретизация схемы:

X делает У (Из-за того, что было А, для того чтобы стало В),

где предполагается, что действие У способно каузировать переход от состояния А к состоянию В. На эту шаблонную формулу могут накладываться операторы пропозициональных установок (*хотеть, думать, верить*) и модальные операторы (*возможно, должно*, *желательно, необходимо, запрещено и т. п.*). Безусловно, эти шаблоны могут усложняться, комбинироваться, редуцироваться и т. п., но основная схема остается той же. В подтверждение можно привести столь же шаблонные модели, направленные на объяснение непонятного поведения — тех случаев, когда становится неясной причина или цель действия («мотив», по Веберу): «*Почему ты это делаешь? Для чего ты это делаешь?*». Наконец, можно предусмотреть и шаблон, эксплицирующий

социализацию смысла: «*Для кого ты это делаешь?*». Это может быть не только бенефициарий, но и потенциальный толкователь данного действия — тот, который способен понять и должным образом описать субъективный смысл данного действия. Так, в случае пожертвования бенефициарий (например, больница) и адресат (избиратели) могут не совпадать.

Все эти простейшие формы, будучи «правильно» заполнены лексическими единицами, вполне могут рассматриваться как вербальные репрезентации смыслов действий: смысл описывающих действие предложений можно считать моделью смысла самих действий. Безусловно, это упрощение: возможны как многозначные предложения, так и действия, допускающие различные описания, могут быть различные «единства» (мотивы), относительно которых интерпретируется действие и т. п. Встречаются и другие переходные случаи, когда подобная экспликация вызовет трудности, но она связана не с самой лингвистической процедурой, а с идентификацией самих поведенческих актов. Однако семантические возможности языка вполне достаточны, чтобы моделировать не только простейшие, но и достаточно сложные, в том числе и принципиально не допускающие однозначной интерпретации, смысловые структуры (ср. с возможностями поэтического языка). Усложненным структурам социального смысла социального опыта можно найти соответствия в сложных языковых формах его текстуализации[106].

С этой точки зрения представляется целесообразным говорить не столько о субъективных и объективных смыслах, сколько об их субъективации и объективации. Агент, совершающий действие, и Агент, описывающий свое же действие, даже будучи одним и тем же индивидом, выступают в разных ипостасях. В одном случае смысл объективируется — свой субъективный смысл агент объективирует, сделав его языковым выражением. Однако, с другой стороны, некоторые объективно существующие смыслы (смыслы выражений русского языка) этот же агент субъективирует, делая его *субъективно предполагаемым действующими лицами в определенном числе ситуаций* (вновь воспользуемся прекрасной дефиницией Вебера). При этом мотив — некоторое смысловое единство — становится описывающим данное единство нарративом. Тем самым становится понятным, на каких основаниях в социальной семиотике можно совместить оба вышеприведенных понимания смысла — веберовскую каузальную интерпретацию и лингво-семиотическую. Вторая есть знаковая репрезентация первой — языковая или какая-либо иная модель действия, которая заменяет саму ситуацию действия. Действие остается как память о событии в его вербальной или мультимодальной форме, как его иконическое воспроизведение (рисунок, видеосъемка). При этом текстуализация действия или события неизбежно привносит каузальные отношения и тем самым — смысл в веберовском понимании. *Смысл, субъективно предпола-*

[106] Текстуализация в данном случае по Хэллидею — как социальное событие, процесс обмена конституирующими общество смысловыми структурами [Halliday 1978: 128—153].

гаемый действующим лицом в данной исторической ситуации, заменяется теми смыслами, которые объективно (то есть на основании некоторого приемлемого режима прочтения и стратегии интерпретации) могут быть выведены из описания данной ситуации. Но данная объективность в свою очередь носит опосредованный характер — в зависимости от того, как описана, при помощи каких языковых средств. Так, в российской историографии победителем при Бородине считается Кутузов, и описание его поведения дано как последовательность приведших к победе действий. Но во французской историографии победителем признается Наполеон. И та и другая позиция может быть одинаково успешно выражена лингвистически, но лингвистические смыслы в данном случае суть только средство выражения иных, в данном случае — идеологических, которые, в свою очередь, потребуют своего знакового воплощения. Даже если в самом действии не было смысла, оно приобретает его в процессе интерпретации.

8.1.5

Заключая, можно отметить следующее. Поднятые вопросы вытекали из рассмотрения возможности соотнесения понятия смысла поведения в социологической теории Вебера как каузальной связи, с лингво-семиотическим его пониманием как знакового отношения между означающим и означаемым. Они получают решение уже в рамках не собственно лингвистики, а социальной семиотики и семиотики культуры, когда формирование смысла трактуется как результат взаимодействия языковой и внелингвистических систем в процессе коммуникации. Однако, несмотря на различные сферы приложения и используемые методы, и в лингвистике, и в семиотике, по сути, объектом семантического анализа оказывается некий единый принцип — механизм структурирования смысловых структур, начиная с уровня субтекстовых структур и прослеживая формирование смысловых структур текста в процессе их соотнесения с интертекстуальными (множество текстов), прагмасемантическими (множество коммуникативных контекстов функционирования данного текста) и экстралингвистическими структурами значения (стратифицированными областями интерпретации, мирами).

Основная проблема семиотики поведения заключается в том, каким образом поведение может быть рассмотрено как знаковая система (язык) и каким образом оно может быть описано посредством языка, который будет выступать уже как метаязык. Любое действие может быть зафиксировано, связно интерпретировано и рационально объяснено, только будучи оформлено в лингвистических структурах и получив вербальное объяснение. Поведение можно рассматривать как текст, объяснение, и интерпретация его возможна только на уровне, более глубинном, чем само непосредственно наблюдаемое поведение (это уровень концептуальных структур, предполагающих целеполагание и оценку). Поведение можно рассматривать на различных уровнях, но его объяснение и оценка могут быть достигнуты только при обращении к

ненаблюдаемым концептуальным уровням, которые надстраиваются над семантическим уровнем языка. Это дополнительные по отношению к языку социокультурные коды, принятые и функционирующие в данном социуме. Эти концептуальные модели также должны быть зафиксированы в некоторой символической форме, но уже как метаязыковые тексты. Поведение субъекта предполагает постоянную рефлексию как над самим поведением (текстом), так и над описывающим его метаязыком. Интерпретация и объяснение поведенческого факта могут быть описаны как правила соответствия между дескриптивным текстом поведения и используемым метаязыком (система норм, адекватность поставленным результатам и т. д.). Взаимодействие, понимание и сотрудничество между различными субъектами достигается не потому, что они пользуются единым (мета-) языком, а благодаря множественности и переводимости кодов, равно как и благодаря поведенческому многоязычию членов социума.

8.2. Смысл и языковой знак в системной теории Никласа Лумана

8.2.1. Язык в системной теории Никласа Лумана[107]

В конце XX в. понятия смысла и коммуникации становятся стержнем социологической концепции Никласа Лумана. Хотя он и полемизирует с Вебером, считая невозможным выводить понятие смысла из предполагаемых намерений и действий агентов [Luhmann 1990: 42], это скорее отношение между опытом и действием. За смысл «ответственно» общество в целом: «Общество — это система, конституирующая смысл», — утверждает он [Луман 2004: 54]. Поскольку понятие смысла для Лумана — одно из базовых, его соотнесению с другими аспектами Лумановой теории социальных систем посвящены отдельные главы практически во всех трудах. Разумеется, при этом не могла не быть затронута и проблематика, связанная с языком. Однако язык и смысл в концепции Лумана оказываются разъединены. Семантика рассматривается как часть культуры [Луман 2007а: 224—225], а не языка, а сам Язык связывается Луманом не столько с формированием смысла, сколько с коммуникацией. Признавая важную роль языка в формировании смысла, Луман тем не менее считает, что она преувеличена. Без языка объективация опыта и осмысление мира были бы крайне примитивными [Luhmann 1990: 51]. Сама возможность лгать и отрицать демонстрирует, что благодаря языку присутствуют все возможности. Однако язык только описывает их, он не в состоянии определить условия возможности:

> …один только язык не способен установить значение: для этого требуются, в дополнение, системы, чьи специальные структуры определяют более узкие условия возможности, то есть дополнительные границы внутри области лингвистически возможного [Luhmann 1990: 52].

[107] Лингвистическая концепция Никласа Лумана и потенциал его системной теории для развития методологии языкознания рассмотрен нами в: [Золян 2020; 2021].

Как видим, Луман как философ и социолог резонно устанавливает границы между языком, с одной стороны, и опытом и деятельностью — с другой. Эта граница может быть передвинута благодаря лингвистической прагматике и модальной семантике, которые Луманом никак не учитываются, а условия возможности явно могут быть соотнесены с концепцией понимания как знания условий истинности. Другие исследователи, обращаясь к проблеме смысла, также обходят стороной собственно лингвистические аспекты, хотя сам Луман весьма довольно часто обращается к ним (из этих работ отметим: [Антоновский 2007; Дойчман 2018; Жуков 2019: 82—91; Maurer 2010; Stäheli 2012; Tóth 2015; Zeige 2015]).

Подобная ситуация представляется неслучайной. Сам Луман, кажется, подчас сознательно воздвигал барьеры между лингвистикой и социальной теорией, выдвигая абсолютно неприемлемые для лингвиста положения. Так, для него язык не только не является коммуникативной системой (поскольку формирование смысла подчинено собственной логике, описанной им уже в системной теории, оно основано на операции различения и не требует обращения ни к лингвистическим, ни к социологическим понятиям):

> Смысл — это актуальность, окруженная возможностями. Структура смысла — это структура этого различия. Смысл — это связь между действительным и возможным, но это ни то, ни другое [Luhmann 1990: 52].
>
> Не связан смысл и со знаком: знак не нуждается в смысле, он понимается как возникающее внутри системы такое отличие между означаемым и означающим, которому во «внешнем» мире может ничего не соответствовать [Ibid.: 48].

Учитывая сложность самой концепции Лумана, дискуссионным может считаться уже сам вопрос о возможности совместить характеристики смысла в социальных и семиотических системах, равно как и применительно к вербальным конструкциям и поведенческим моделям, — насколько можно судить, эта возможность Луманом не рассматривается. В целом он крайне скептичен относительно эффективности междисциплинарного подхода, считая его скорее рекомбинацией известного, нежели созданием нового:

> Классики есть классики, потому что они классики; они удостоверяют себя в сегодняшнем употреблении посредством самореференции. В таком случае ориентация на великие имена и специализация на таковых могут выдаваться за теоретическое исследование. На более абстрактном уровне отсюда возникают такие «синдромы теории», как теория действия, теория систем, интеракционизм, теория коммуникации, структурализм, диалектический материализм, — вот краткие формулы для комплексов имен и идей. Тогда новое можно ожидать от комбинаций... Теория действия реконструируется в качестве теории структуры, теория структуры — в качестве теории языка, теория языка — как теория текста, теория текста — в качестве теории действия [Луман 2007а: 16].

Между тем столь иронично изложенная программа соположения теории языка, текста, структуры и действия представляется нам весьма перспективной для интегрированного описания вербального и невербального поведения, позволяющего совместить, с одной стороны, акциональную семантику вербальных структур, а с другой — семиотические репрезентации невербальных поведенческих актов. В самом деле, возникает некоторое подобие ленты Мёбиуса. Начало этой ленты есть действие, которое, пройдя через этапы структурирования, вербализации и текстуализации (нарративизации), вновь генерирует действие, которое, пройдя через соответствующие этапы, породит новое действие, и т. д. Очевидно, что понятие смысла должно послужить тем «золотым эталоном», благодаря которому может быть обеспечена конвертация действия в структуру, речевой акт, текст и новое действие. Но для этого в гуманитарных науках должны быть выработаны сопоставимые понятия и процедуры описания этих пусть разнородных, но перетекающих друг в друга и взаимомотивирующих смысловых комплексов. Однако Луман, как видим, не только проходит мимо этой возможности, но и пародирует ее, видимо, считая такой подход очевидным, если не тривиальным. Это может по крайней мере стать предметом дискуссии.

Теория Лумана создает возможность нового взгляда на такой кардинальный вопрос лингвистической теории, как функционирование языковой системы в ее связи с коммуникацией и сознанием, а его динамическое понимание системности, вопреки вышеприведенному утверждению Лумана, может существенно углубить понимание языка как системы, но не знаков, а отношений и операций (знаки выступают как их результат). «Основополагающий медиум коммуникации, гарантирующий регулярный, развертывающий себя как продолжающийся аутопойэзис общества — это язык» [Луман 2011, 2: 222], — так начинается глава «Язык». При всей «почтительности» этой формулировки по отношению к языку в теории Лумана она означает, что язык — это лишь медиум коммуникации, а в этой функции могут выступать письмо, книга, электронные медиа. Каждому из этих медиумов присущ свой вид оперирования с формой — информацией. Заметим, что, отказывая языку в самостоятельной системности и понимая под языком некоторый медиум коммуникации, то есть условия ее возможности, в ряде случаев ученый приравнивает собственно язык как систему к форме его актуализации. При этом подчеркнута ценность рассмотрения языка как самой возможности коммуникации — это основополагающий медиум, хотя обычно Луман старается избегать каких-либо онтологических допущений. Осознавая вытекающую из этого масштабность проблемы описания языка, Луман предпочел обозначить кардинальное отличие своего понимания от господствующих в лингвистике представлений:

> Мы лишь укажем на то, что наш подход противоречит основным предпосылкам лингвистики де Соссюра: мы утверждаем, что языку не присущ никакой собственный тип оперирования; что он должен осуществляться либо как мышле-

ние, либо как коммуникация; что язык, следовательно, не является настоящей системой. Он был и остается зависимым от того, что системы сознания, с одной стороны, и система коммуникации общества, с другой стороны, продолжают свой собственный аутопойэзис в виде совершенно закрытых операций [Луман 2011, 1: 114].

8.2.2. Смысл и языковой знак: Луман vs Соссюр

Само рассмотрение смысла как каким-либо образом связанного со знаковым отношением, для Лумана нехарактерно. Возможность знаков, не имеющих референта, подвигает ученого на предвидение такой теории знака, в которой они не «отягощены» отношением референции к миру: это был бы «не конец теории знака, а ее начало» [Luhmann 1999: 47]. Парадоксальным образом проблемы смысла и значения и проблемы знака как отношения между означаемым и означающим оказываются разделены. Знак есть форма, а форма есть различие и одновременно форма различия между означаемым и означающим — к этому можно свести суть предложенной Луманом теории. В этом он апеллирует к Соссюру, к его пониманию знака как отношения между означаемым и означающим, хотя интерпретирует его по-своему:

> Соссюр уже пришел к такому заключению. Согласно его теории, означаемое и означающее являются необходимыми компонентами языковой единицы, то есть знака. Они различаются не ввиду их природы или сущности, а исключительно как компоненты подобного различения. Одно не может существовать без другого [Luhmann 1999: 50].

Луман вносит важное уточнение: первичным признается отношение различия между означающим и означаемым, а не они сами. Он крайне своеобразно трактует понятие значимости (см. ниже), так что при этом теряется крайне важное для теории Соссюра разграничение между значением и значимостью знака (внесистемным и внутрисистемным отношением знака)[108]. Со-

[108] Заметим, что это неразграничение Луман приписывает Соссюру: «Если пользоваться языком, то не обойтись без знаков, которые, как учит Соссюр, не открывают нам доступа к вещам, но только выражают существующие между собой различия» [Луман 2007б: 108]. Это верно только относительно понятия значимости знака и не учитывает такую важнейшую, по Соссюру, характеристику отношения между знаком и его значением вне системы, как произвольность. Возможно, осознавая это, Луман оспаривает понятие произвольности знака, сводя его к недетерминированности и к энтропии: «Произвольность как таковая не существует, она появляется только при изолированном рассмотрении знака как формы — то есть как отношения отличия между означающим и означаемым» [Luhmann 1999: 54]. В другой связи Луман, оспаривая соссюровское понимание — опять же в своей интерпретации — предлагает свести его к взаимодействию традиции и произвольности: «Обычно, следуя Соссюру (l'arbitraire du signe), говорят о произвольности знакового установления. Однако это

гласно Луману, знаки языка позволяют различать смыслы, но сами по себе эти смыслы выражать не могут. Так, различие между профессором и студентом — это различие между двумя лексемами, и нет возможности установить, какие отличия соответствуют им во внешнем мире, есть лишь диктуемое языком требование отличать их друг от друга [Luhmann 2006: 39]. Референция языкового знака ограничивается отношением между означаемым и означающим и поглощается им:

> В отношении означающего к означаемому выражена референтность: означающее означает означаемое. Сама же форма (и только ее следует называть знаком), напротив, не имеет никакого референта; она функционирует лишь как различение и лишь тогда, когда она фактически используется в этом качестве. То есть знаки — это структуры для (повторяемых) операций, которые не нуждаются в контакте с внешним миром. Вопреки распространенному предположению, они не служат «репрезентации» фактов внешнего мира внутри системы. Напротив, различение между означающим и означаемым является внутренним различением, которое не предполагает, что обозначаемое существует во внешнем мире [Луман 2011, 2: 224].

Смысл (Sinn) для Лумана есть и операция, и продукт операции, почему и не есть свойство какого-либо объекта (знака):

> Смысл существует исключительно как смысл использующих его операций, а значит, лишь в тот момент, когда он этими операциями определяется — не раньше и не позже. Поэтому смысл — это продукт операций, использующих смысл, а не какое-то свойство мира, обязанное своим происхождением какому-либо творению, учреждению или источнику [Луман 2011, 1: 46].

Подобное операциональное понимание смысла принципиально отличается также и от соссюровской значимости как совокупности отношений, в которые вступает знак внутри системы и которая с синхронной точки зрения является постоянной и контекстно-независимой величиной. Смысл связан не со знаками, а, в зависимости от формы его процессирования, либо с сознанием, либо с коммуникацией. Но и они не являются «носителями» смысла:

заблуждение… Произвольность имеет место только в отношении означающего и означаемого. Она выступает условием изоляции употребления знаков. Сами же знаки (как форма этого различения), однако, являются зависимыми от традиции и от высокой степени избыточности в их способности примыкания друг к другу. Если бы их следовало постоянно производить заново, было бы невозможно ни научиться им, ни их использовать. Произвольность и традиция не исключают друг друга, напротив: они взаимно обуславливают друг друга — как медиум и форма» [Луман 2011, 2: 243]. Ср. с противоположной, куда более обоснованной критикой Бенвениста: произвольность есть отношение между знаком и референтом, и оно неприложимо к отношению между означающим и означаемым, в этом случае связь является необходимой [Бенвенист 1974: 90—93].

> Ошибочно вообще искать «носителя» смысла. Смысл несет себя сам тем, что самореферентно обеспечивает собственную репродукцию. И лишь ее формы дифференцируют психические и социальные структуры. Носителем, если уж сохранять это выражение, является различие в смысловых отсылках [Луман 2007а: 144].

Поскольку нет носителей смысла, соответственно, вне какого-либо операционального смысла-контекста знаки не в состоянии его породить[109], почему и вполне логичным выглядит то, что с употреблением знаков как таковых Луман связывает не смысл, а его отсутствие. Только благодаря неосмысленным действиям со знаками можно породить бессмысленное, которое в таком качестве неизбежно приобретет смысл: «Различение смысл / бессмысленное в самый момент его употребления приобретает смысл и, благодаря этому, воспроизводит смысл как медиум всех формообразований» [Луман 2011, 1: 53]. В ряде случаев вследствие сложности и своеобразия лумановской терминологии трудно проследить влияние идей Соссюра в его концепции. Так, если бы не прямая отсылка, то вряд ли можно было бы догадаться, что понятие значимости Соссюра было преобразовано Луманом в комплексную операцию: «Секвенцирование, разложение компактного смысла на некое одно-за-другим, следует своему собственному порядку. Здесь достаточно четким образом нужно уметь различать и обозначать, чтобы мочь производить подсоединения» [Луман 2016: 157][110].

Такая трансформация весьма интересна и может получить перспективное развитие в семиотике, но данная без каких-либо пояснений не столько развивает мысль Соссюра, сколько показывает, насколько замысловатой оказывается траектория его идей в теории Лумана.

8.2.3. Принцип дифференциации Соссюра как основа системной теории Лумана

Луман неоднократно упоминает Соссюра, но, как правило, отмечая отличие своих представлений о языке от соссюрианской лингвистики или же приписывая ему собственное понимание. В первую очередь это касается понятия знака. Но то, что в своем подходе к языковому знаку сам Соссюр недостаточно последователен и в этом смысле он недостаточно соссюрианец, было показано еще Луи Ельмслевом [1960: 307—316] и Эмилем Бенвенистом [1974: 90—97].

---

[109] Ср.: «Ни смысл как таковой не является знаком, ни знаковая техника языка не объясняет, какой отбор знаков будет успешен в процессе коммуникации» [Луман 2007а: 222]; «Смысл может быть понят лишь в контексте, а в качестве такового для каждого работает прежде всего то, что дают восприятие и память» [Луман 2007а: 219].

[110] «Речь идет о много обсуждающейся влиятельной идее языковой теории Соссюра» [Луман 2016: 182], ссылке Лумана в русском издании соответствует: [Соссюр 1977: 149].

Важнее не эти, пусть и достаточно существенные различия, а общность метода. Тот единственный пункт, в котором Луман солидаризируется с Соссюром и что берется им за основу — это метод дифференциации, знаменитый тезис Соссюра о том, что в языке нет ничего, кроме отличий. Именно на это положение Соссюра указывает Луман (правда, не в основном тексте, а в сноске) как на один из источников своей методологии[111]:

> На этом основании для упорядочения различий вводят такие идентичности, как слова, типы, понятия. Они служат зондами для прощупывания того, что именно проявляется как отличие от другого; и тогда, конечно, — чтобы удерживать и воспроизводить проявившееся… Одним из источников такого понимания является, как известно, Соссюр, согласно которому понятия «чисто дифференциальны», т. е. определяются не положительно — своим содержанием, но отрицательно — своим отношением к прочим членам системы. Их наиболее точная характеристика сводится к следующему: быть тем, чем не являются другие [Луман 2007а: 117].

Уместно процитировать первоисточник: «В применении к единице принцип дифференциации может быть сформулирован так: отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей. В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу» [Соссюр 1977: 154]. Другое ключевое положение Соссюра — о том, что «язык есть форма, а не субстанция» — получает в теории систем Лумана несколько иное продолжение: форма противостоит не инертной субстанции, а медиуму, разница между которыми подвижна и определяется не различием их составляющих, а степенью внутренней организованности: «Мы делаем это при помощи различения свободного и жесткого сцепления моментов. Медиум состоит из свободно связанных элементов, форма же, напротив, жестко сопрягает те же самые элементы» [Луман 2011: 211]; «Медиум собирается — и снова распадается. Без медиума нет формы, а без формы нет медиума. Во времени же оказывается возможным постоянное воспроизводство этой дифференции» [Там же: 212]. Разграничение медиума и формы углубляет соссюровское разграничение субстанции и формы, от которого, как нам представляется, отталкивается Луман. Разумеется, само разграничение восходит к Античности (в частности, к Аристотелю), но его понимание Луманом у лингвистов может ассоциироваться с хрестоматийным рисунком Соссюра (рис. 8).

[111] В одной из лекций Соссюр также упомянут как предшественник методологии, основанной на понятии различения, но представленной крайне упрощенно: «Одним из предшественников был Фердинанд де Соссюр… Он выдвинул тезис о том, что язык — это различие между разными словами или, если сформулировать теорию в терминах сентенциальных структур, различных пропозиций, а не разница между словами и вещами, как это воображала классическая семиология, или семиотика» [Luhmann 2006: 39].

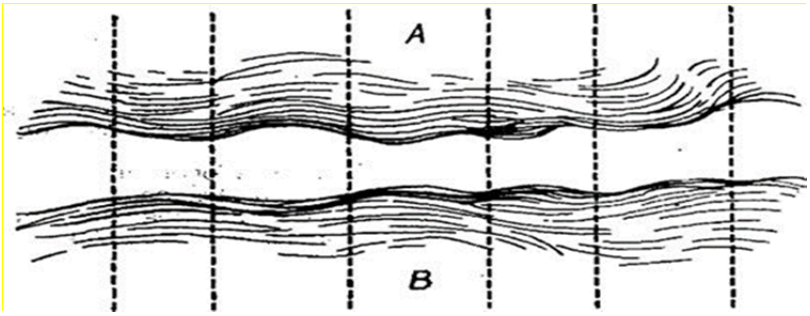

Рис. 8. Рисунок Соссюра [Соссюр 1977: 145]

Соссюр так поясняет рисунок:

> В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от выражения его словами, представляет собою аморфную, нерасчлененную массу. Философы и лингвисты всегда сходились в том, что без помощи знаков мы не могли бы с достаточной ясностью и постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Предустановленных понятий нет, равным образом как нет никаких различений до появления языка. Но быть может, в отличие от этой расплывчатой области мысли расчлененными с самого начала сущностями являются звуки как таковые? Ничуть не бывало! Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это — не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы можем изобразить язык во всей его совокупности в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий (А), так и в столь же неопределенном плане звучаний (В) [Соссюр 1977: 114—115].

Столь обширная цитата призвана показать, что воздействие идей Соссюра куда значительнее. Луман воспроизводит не только дихотомию «форма — субстанция», но и идею о посредническом (то есть медиумном) характере языка — расширяя и уточняя ее. Другое уточнение связано с пересмотром понятия «субстанции» — вместо соссюровского представления о субстанции как об аморфной (неорганизованной) среде Луман предлагает куда более адекватное разграничение между слабо- и строго- организованными комплексами. В самом деле, уже на рисунке Соссюра можно найти определенную организацию и применительно к субстанции. Можно предположить, что Луман, при его исключительной эрудиции, мог быть осведомлен и о том полемическом продолжении, которое получила схема Соссюра у Ельмслева:

> Но этот педагогический прием, как бы блестяще он ни был выполнен, не имеет смысла, и сам Соссюр должен был прийти к этому выводу. В науке, избе-

> гающей лишних постулатов, нет основания для предположения, что субстанция содержания (мысль) и субстанция выражения (поток звуков) предшествует языку во времени или в иерархическом ряду, или наоборот. Если мы сохраним терминологию Соссюра — и будем исходить именно из его предположений, — станет ясным, что субстанция зависит от формы в такой степени, что существует исключительно благодаря ей и никоим образом не имеет независимого существования [Ельмслев 1960: 308].

Как видим, Луи Ельмслев вводит уточнения: вместо заимствуемых из других сфер противопоставлений (мышление и звуковая субстанция, как у Соссюра) он «внедряет» их в язык: уже в самом языке он разграничивает план содержания и план выражения, а внутри каждого из них воспроизводится разграничение между формой и субстанцией [Ельмслев 1960: 310][112].

У Лумана этот подход получает дальнейшее развитие: на каждом из новых уровней (планов) продолжают воспроизводиться разграничение между медиумом и формой. При этом медиум — соссюровская субстанция — также организован, а форма налагает на него новые ограничения, что приводит к увеличению степени его сложности. С увеличением степени комплексности и ограничений происходит переход от более свободных систем к более организованным. Эти операции различения, или отграничения, порождают новые смыслы и отношения, которые отсутствовали на прежнем уровне. Можно показать это на примере основной единицы языка — слова. Слово по отношению к предыдущим уровням есть структурная единица, оформленная в понятийном и акустическом плане, оно имеет смысл и само по себе. Но в предложении оно выражает куда более ограниченное и более определенное ситуативное значение — лексическое значение выступает только как медиум для его употребления в предложении. (Возможно, поэтому смыслом у Лумана обладают не собственно знаки, а их «соединения» и «вхождения» — то есть знаки в составе предложения высказывания.) Наиболее явно это проявляется на примере дейктических слов. Например, «я» в конкретном высказывании может относиться только к тому, кто именно произносит (или пишет) данное слово, «здесь» — к месту произнесения и т. д.

Что касается основной функции языка (по Луману) — связывать друг с другом сознание и коммуникацию, это, по сути, воспроизводит соссюровское понимание, но выводя его за пределы языка в коммуникацию: у Соссюра — это посредствующее звено между мыслью и звуком[113], тогда как у Лумана

[112] Заметим, что в этом вопросе Ельмслев, а впоследствии и Луман вполне могли бы сослаться на Соссюра: «Материальная единица существует лишь в силу наличия у нее смысла, в силу той функции, которой она облечена. И наоборот… смысл, функция существуют лишь благодаря тому, что они опираются на какую-то материальную форму» [Соссюр 1977: 172].

[113] Ср.: «Специфическая роль языка в отношении мысли заключается не в создании материальных звуковых средств для выражения понятий, а в том, чтобы служить посредствующим звеном между мыслью и звуком, и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц» [Соссюр 1977: 114].

язык есть средство связать мысль (сознание) с коммуникацией. Как видим, полемизируя с Соссюром, Луман повторяет основные постулаты соссюрианской лингвистики, но, безусловно, наделяя их новыми характеристиками. Что парадоксально, Соссюра в истории лингвистики принято относить к представителям социологической школы, но для Лумана его теория важна только вследствие ее системности. При этом само понятие «общество» описывается Луманом так же, как могла быть описана языковая система[114]: те концепты, которые традиционно рассматривались как социальные (индивиды, государства, институты), Луман относит не к системе, а к окружающей среде. Между тем сама теория Соссюра асоциальна — язык, в отличие от речи, признается социальным институтом, но описывается как определяемая исключительно внутренними отношениями система. Это наиболее существенная точка соприкосновения между двумя теориями, описывающими свой объект как некоторую упорядоченную систему семиотических операций: у Соссюра — сегментаций и синтагматических и парадигматических («ассоциативных») отношений, у Лумана — последовательных рекурсий и различений.

Парадоксальный стиль Лумана, позволяющий соединить, казалось бы, несоединимые подходы, проявляется и здесь. Согласно его теории, язык вовсе не порождает новые когнитивные и репрезентативные структуры, его роль скорее в том, чтобы быть фильтром. Язык хоть и навязывает смысловые структуры (и здесь можно увидеть перекличку с неогумбольдтианской теорией лингвистической относительности), но его роль — быть скорее цензором, нежели редактором и тем более соавтором. Выполняемая языком функция различения, отбора, селекции весьма близка к той концепции, которую Соссюр выразил в своем хрестоматийном рисунке — это вычленение из аморфных (с точки зрения данного языка) звуковых и ментальных потоков некоторых структурных корреляций («сегментаций»), которые и составляют систему данного языка. Развитием подобной точки зрения оказывается подход Лумана: функция языка в обществе — не только канал коммуникации, но и цензор, контролирующий этот канал и редуцирующий его содержание:

> Язык изолирует общество почти от всех событий окружающей среды физического, химического рода или событий, формирующих образ жизни, за исключением единственного возбуждения импульсами сознания. Подобно мозгу, который за счет исключительно малой способности глаз и ушей к резонансу почти полностью изолирован по отношению ко всему, что происходит в окружающей среде, общественная система почти полностью изолирована от всего, что происходит в мире, с помощью узких путей для раздражения, которые канализируются сознанием. Так же, как в случае мозга, эта почти полная изоляция общества является условием оперативной закрытости и возможностью построения высокой собственной сложности [Луман 1994].

[114] Ср.: «Общество является всеобъемлющей системой всех коммуникаций, воспроизводящих себя аутопойэтически, в то время как она производит все новые (и все время другие) коммуникации в рекурсивной сети коммуникации» [Луман 1994]; как видится, термин «общество» вполне может быть заменен на «язык».

Именно эта высокая степень сложности («комплексности») позволяет языку не просто отсекать фрагменты реальности, но и заменять ее собственными схемами, паттернами: «Система отгораживается от шума восприятий посредством собственных рекурсий, допуская лишь те возбуждения, которые могут перерабатываться ее собственным языком» [Луман 2011, 2: 227]. Это дает возможность совместить соссюрианское понимание языка с гумбольдтианским. Правда, для этого вводится еще один медиум — культура, и только ее, а не язык, Луман наделяет семантикой:

> Следовательно, необходимо нечто промежуточное, примиряющее интеракцию и язык — своего рода запас возможных тем, имеющихся наготове для быстрого и сразу же ясного начала конкретных коммуникативных процессов. Мы называем этот тематический запас культурой, а если он сохраняется специально для целей коммуникации, то — семантикой. Следовательно, серьезная, достойная сохранения семантика является частью культуры благодаря тому, что передает нам историю понятий и идей. Культура не является с необходимостью нормативным смысловым содержанием, она является, пожалуй, установлением смысла (редукцией), способствующим различию в тематических коммуникациях подходящих и неподходящих выступлений, либо корректного или некорректного использования тем [Луман 2007a: 224—225].

Язык как автономная система может выступать и как система наблюдения (описания), и как его (трансцендентальный) субъект. Это предоставляемая теорией Лумана интересная возможность внести динамизм также и в семиотику знака (что не предусмотрено ни у Соссюра, ни у Пирса):

> Мы сохраняем верность лингвистическому повороту (linguistic turn), ставящему язык… на место трансцендентального субъекта. В собственном поведении общества как системы коммуникации стабилизируется то воображаемое пространство значений, которое не разрушается, а как раз устанавливается в рекурсивном применении коммуникации к коммуникации… Язык возникает в своего рода self-fulfilling prophecy [Луман 2011, 2: 233].

Языковая картина мира при таком подходе не есть нечто заданное, а всякий раз воссоздаваемое применительно к контексту коммуникации и подлежащее тем рекурсивным трансформациям, благодаря которым происходит приспособление языковых структур к изменяющимся условиям и результатам коммуникации, почему и язык может выступать как самореализуемое описание и пред-писание (пророчество). Безусловно, к месту вспомнить знаменитый тезис Гумбольдта: язык не эргон, а энергия. Само понятие языкового знака как некоторой закрепленной связи между означаемым и означающим преобразуется Луманом в динамическую операцию соположения коммуникативных и когнитивных характеристик, но основные смысловые характеристики выявляются уже в предложениях, а точнее, в текстуальных структурах.

В случае языка «коммуникация может заниматься сама собой» [Луман 1994]. Язык описывает и себя, свои операции в форме грамматики и окружающую среду в форме словаря (тезаурусных онтологий), и даже формы взаи-

модействия («соединения», «коммуникации») между системой и средой (контекстом) — это дейктика, прагматический аппарат высказывания, то, что Бенвенист прозорливо назвал «человеком в языке»: человек как элемент окружающей среды, говорящий в процессе коммуникации, обречен стать элементом языковой системы, местоимением «я»[115].

8.2.4. Смысл как таковой… — условия эмерджентции (аутопойэзиса) смысла

Смысл и язык в теории Лумана парадоксальным образом выступают раздельно: языковые и знаковые системы не являются определяющими для порождения смысла. Таковы для Лумана широко понимаемые понятия *коммуникация* и *сознание*, необходимым условием и результатом их деятельности и организации является смыслопорождение, а смысл рождается «как бы сам собой»:

> Смысл — в качестве универсального медиума всех психических и социальных систем, а также всех систем, оперирующих в виде сознания или в виде коммуникации, — регенерирует вместе с аутопойэзисом этих систем без напряжения и как бы сам собой [Луман 2011, 1: 27].

В качестве основы для теории смысла Лумана выступают положения, выработанные в несколько иных областях знания, чем лингвистика и семиотика, — это феноменология Гуссерля, а также, возможно, «кибернетика второго уровня» австрийского математика Хайнца Фёрстера (Heinz von Foerster) (ср.: [Toth 2015]). В качестве модели смыслопорождения Луман приводит математическую теорию форм Спенсера-Брауна, почему и смысл оказывается лишен какой-либо семантической содержательности и объектности (равно как и субъектности и интенциональности):

> Восприятие смысла как универсального медиума заведомо исключает какое-либо содержание, смысл есть форма, структура, операция. Таким образом, смысл является всеобщей формой самореферентной установки на комплексность, которую невозможно охарактеризовать через какое-либо определенное содержание

[115] Вероятно, это явление имелось в виду Луманом, когда он, исключая индивидуумов из понятия общества, писал: «Конечно, остается возможность того, что индивидуум представляет общество, и что коммуникация в первую очередь использует личностей в качестве адресатов и в качестве тем. Но тогда следовало бы говорить не об индивидуумах (людях, сознании, субъектах и так далее), а о личностях в точном античном смысле слова. Имена и местоимения, которые употребляются в коммуникации, не имеют ни малейшего сходства с тем, что они обозначают. Каждый не есть “я” точно также, как слово “яблоко” не является яблоком» [Луман 1994]. Очевидно сходство этого положения с тем, что ранее было высказано Бенвенистом: «Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только язык придает реальность, свою реальность, которая есть свойство быть, — понятию “Ego” — “мое я”… Тот есть “ego”, кто говорит “ego”. Мы находим здесь самое основание “субъективности”, определяемой языковым статусом “лица”» [1974: 293—294].

(исключая при этом другое). Обозначенную тем самым структуру в более ранних общественных системах понимали иначе, последствия чего ощутимы вплоть до сегодняшней дискуссии о понятии смысла [Луман 2007а: 110].

Общество рассматривается как система, конституирующая смыслы, которые могут иметь любое предметное содержание:

На методологическом уровне такое понятие смысла исключает тезис об особой методологии в отношении смысловых предметных содержаний. Для систем, конституирующих смысл, все имеет смысл; *для них* нет бессмысленных предметов. Законы Ньютона и Лиссабонское землетрясение, движения планет и ошибки астрологов, морозоустойчивость плодовых деревьев и требования фермеров о компенсации убытков — все имеет смысл. Лишь в сфере смысла, т. е. в мире, системы, конституирующие смысл, способны различать, имеют они дело с системами, для которых справедливо то же самое, либо с системами, реагирующими на себя и свой окружающий мир «бессмысленно». Таким образом, прежде всего нет оснований требовать для смысловых предметов особой методологии. Лишь в осмысленно организованном мире социальное измерение *всякого* смысла направляет внимание на то, что *некоторые другие* системы обладают осмысленным переживанием, а некоторые — нет [Там же: 101].

Остается открытым вопрос: как и кем эти смыслы порождаются, до того как быть конституированными? Хотя в томе «Самоописания» Луман приводит конкретные примеры смыслопорождения, но в теоретической части смысл предстает как аутопойэтическая система, воспроизводящая новые смыслы для своего функционирования:

Системы, связанные со смыслом, не могут переживать и действовать без смысла. Они не могут подрывать указания от смысла к смыслу, откуда они сами вытекают неисключаемым образом. В самореферентно-смысловой организации мира существует возможность отрицания, но она может быть использована, со своей стороны, лишь осмысленно. Отрицания также обладают смыслом, лишь поэтому они являются присоединимыми. Таким образом, всякая попытка отрицания смысла вообще вновь предполагала бы смысл, должна была бы совершаться в мире. Следовательно, смысл является неотрицаемой категорией, не содержащей различий. Ее уничтожение было бы в самом строгом смысле слова «аннигиляцией» — делом рук внешней инстанции, которую невозможно помыслить [Там же].

Бессмысленность, по Луману, есть некоторое состояние системы, при котором различаются нечто, принадлежащее системе, и то, что из нее исключается. Тем не менее остается маленькая лазейка и для бессмысленности. Подход Лумана и здесь полемичен и парадоксален: любая совокупность объектов обладает смыслом, но не любая последовательность знаков будет осмысленной. Поэтому

«бессмысленность» никогда не может быть получена через отрицание осмысленности. Бессмысленность есть особый феномен, вообще возможный лишь среди

знаков и заключающийся в их беспорядке. Беспорядок же объектов никогда не бывает бессмысленным. Например, груда развалин тотчас узнается как таковая; и чаще всего сразу видно, что она возникла из-за древности, землетрясения или «вражеских действий» [Луман 2007а: 102].

Это, вероятно, следует понимать так. Недолжное (*беспорядочное* — видимо, нарушающее нормы синтаксиса данной знаковой системы) употребление знаков может вызвать эффект бессмыслицы. Например, произвольная последовательность букв, слов или предложений смысла содержать не может. Между тем сами объекты (референты знаков) в любой комбинации суть результат некоторого предшествующего состояния или действия (как в приводимом примере), что и придает осмысленность этой комбинации. Как можно понять из сказанного, груда развалин приобретает смысл, будучи связана каузальным отношением — как и почему она возникла. Можно предложить и эстетическую форму осмысления — например, на фоне ландшафта, или же метафорическую — груда развалин как свидетельство бренности сущего. Хотим заметить, что при всех подобных интерпретациях «груда камней» заменяется некоторыми знаками, которые и придают осмысленность увиденному. Что же касается «беспорядка» знаков, то, видимо, Луман имеет в виду некоторый синтаксически не упорядоченный набор знаков. На первый взгляд можно возразить, приведя в пример многочисленные тексты, состоящие из разбросанных на листе бумаги в беспорядке слов, или же тексты, похожие на стихи на карточках Рубинштейна (это были в случайном порядке вытаскиваемые случайным образом составленные предложения). Однако именно эти примеры показывают правильность наблюдения Лумана: в этих отклоняющихся случаях знаки функционируют именно как некие объекты, вещи, и операции с ними осуществляются именно как операции с вещами. Это сделанное, казалось бы, мимоходом замечание опирается на фундаментальную, по Луману, характеристику смысла, которая одновременно есть и характеристика мира:

Закрытость самореферентного порядка отождествляется здесь с *бесконечной открытостью мира.* Последняя конституируется и непрерывно реактуализируется именно благодаря самореферентности смысла. Смысл вновь и вновь указывает на смысл и никогда не отсылает за пределы осмысленного [Там же: 101].

Как видим, в отличие от, казалось бы, очевидного отношения между осмысленным и бессмысленным как результата внесения некоторого смысла в то, что само по себе смыслом не обладает, Луман придерживается противоположного подхода: бессмысленность не предшествует смыслу, а последует ему, это есть результат некоторой вторичной операции (расширения) того, что уже обладает смыслом:

«Бессмыслица» может мыслиться и коммуницироваться лишь в медиуме смысла, лишь как форма смысла. Всякое исключение потенциализирует и тем самым сохраняет то, что оно эксплицитно отрицает [Луман 2004: 50].

Эту проблему можно проследить на примере опытов «искусства nonsense». Производство бессмысленного возможно лишь в том случае, если мы образуем более узкое понятие осмысленного (к примеру, повседневно-обыденного или ожидаемого), а затем отличим от него бессмысленное. Аналогично происходит и тогда, когда мы с большим напряжением пытаемся произвести нечто особенно «осмысленное», а затем, возможно, начинаем ощущать бессмысленность всех этих усилий. Во всеобщий, не поддающийся отрицанию медиум смысла можно, таким образом, вносить вторичные разметки позитивного / негативного; это, однако, неизбежно влечет за собой то, что подобное различение — как различение — в свою очередь, имеет смысл и воспроизводит его [Там же].

Что касается возможности осмысленности отрицания, то это положение, которое достаточно проблематично в теориях, основывающихся на корреспондентном понимании истинности (начиная с «Трактата» Витгенштейна), в концепции Лумана является одним из фундирующих и определяющих. Внутреннее развитие знаковых форм, как и всех других коммуникативных медиумов, Луман связывает с возможностью их обособления (дифференциации) от мира, почему и важнейшей особенностью языка оказывается возможность порождать отрицательные суждения — о несуществовании тех или иных положений дел:

Как известно, у отрицания нет коррелята во внешнем мире. Оно возникло исключительно для внутреннего употребления. И тем более это верно по отношению к языковому коду [Луман 2005а: 59].

В самом деле, какое состояние дел соответствует предложению «На этом коврике нет кошки» или «Флогистон не существует»? Кроме того, что эти высказывания, если они истинны, свидетельствуют о ложности антонимичных им, и наоборот. Тем самым взятые сами по себе, они не имеют какого-либо иного смысла, кроме некоторого лингвистического отношения между синтаксическими формами отрицания и утверждения, или, опускаясь на уровень семантического синтаксиса, между соответствующими трансформами некоторой глубинной структуры.

Поскольку понятие смысла рассматривается Луманом как универсальный медиум, то оно не нуждается в знаковой форме. Тем не менее в процессе коммуникации возникает необходимость его знаковой манифестации. Но и в этом случае смыслы рассматриваются не как порождение некоторой абстрактной системы, а как аутопойэзис сознания:

В переводе на язык наших понятий «выражение» означает не что иное, как аутопойэзис сознания, а «смысл» или «значение» — необходимость приобретения структуры для этого в форме интенционального отношения к чему-либо. Согласно этому, существуют знаки с выразительной ценностью и знаки без таковой, бывают выражения с использованием знаков и без такового (последнее в случае просто-напросто «одинокой душевной жизни», внутренней речи). *Лишь в случае коммуникации то и другое с необходимостью совпадают* [Луман 2007а: 202].

Как видим, *знаки как таковые* и *смыслы как таковые* тем не менее совпадают (или воссоединяются) в процессе коммуникации. В противоположность существующей традиции понятие смысла у Лумана не выводится из знака; напротив, скорее знак возникает из уже порожденного смысла:

> Мы не можем разрабатывать здесь следствия для понятия и теории языка. Понятие символической генерализации самоотнесения смысла заменяет понятие знака, до сих пор господствующего в теоретической традиции. Бесспорно, что слова (как и вещи) могут использоваться как знаки, т. е. как ссылка на нечто, существующее независимо от языка. Однако сам язык не следует понимать как голое сшивание знаков, так как он ни в коем случае не обладает (даже преимущественно) лишь функцией указания на нечто существующее. Язык также не есть лишь средство коммуникации, так как он функционирует в психических системах и без коммуникации. Его подлинная функция заключается в генерализации смысла с помощью символов, которые — в отличие от обозначения *чего-либо иного — сами являются* тем, что они обеспечивают. Лишь в функции посредника[116] коммуникации, что с эволюционной точки зрения, видимо, есть его изначальная функция, язык связан с кодированием, т. е. с акустическими либо оптическими знаками для смысла [Там же: 140].

Как можно понять из вышеприведенного, генерализация смыслов посредством символов — вот основная функция языка, хотя для его порождения она не является определяющей: это обеспечение рекурсивности при осуществлении бесконечно разнообразных операций (само)наблюдения и (само)описания. Это становится возможным, поскольку удостоверяющие рекурсивность слова языка могут считаться идентичными:

> В той мере, в какой рекурсии указывают на прошлое (на удостоверенный, известный смысл), они указывают лишь на случайные операции, результатами которых можно распоряжаться лишь в момент операции наблюдения, но не на фундирующие истоки. В той мере, в какой рекурсии указывают на будущее, они указывают на бесконечно разнообразные возможности наблюдения, а значит, на мир как виртуальную реальность, относительно которой еще нет совершенно никаких сведений, будет ли она когда-либо вводиться в системы (и в какие?) посредством операций наблюдения. Поэтому смысл — это исключительно историческая форма операций, и лишь ее применение связывает в единый узел случайное возникновение и неопределенность будущих применений. Этот медиум должен использоваться во всех констатациях, и все, что входит в этот медиум, не имеет никакой иной причины, кроме своей рекурсивно удостоверенной фактичности. В коммуникативном порождении смысла эта рекурсивность обеспечивается, прежде всего благодаря словам языка, которые в некотором множестве ситуаций могут использоваться как одни и те же [Луман 2004: 48].

[116] В других русских переводах используется термин «медиум», что нам представляется предпочтительнее ввиду его более широкого значения: «медиум» у Лумана — это и посредник, и канал, и структура для организуемой при ее посредстве формы.

Слова языка — это скорее пунктиры, позволяющие удостоверить рекурсивность различных вхождений смысла. При этом знаки (стало быть, и слова) вследствие исходной асимметрии означаемого и означающего наделены смыслом, но сам смысл, вновь противореча лингвистической очевидности, не может быть знаком:

> Отношение к миру, внутренне присущее всякому смыслу, исключает определение нами смысла как знака. Следует четко различать структуру указаний и знаковую структуру. Функция знака всегда требует указания на нечто определенное при исключении самореференции. Она требует асимметризирования базальной, рекурсивной самореференции. Иначе говоря, не существует ни знака мира, ни знака, обозначающего себя. Однако то и другое, универсальность и самореференция, есть обязательные свойства смысла. Поэтому смысл является основополагающим предметным содержанием: чтобы выполнять свою функцию, знак должен иметь смысл, но смысл не есть знак. Смысл образует контекст любого обозначения, conditio sine qua non его асимметризирования, однако в качестве знака смысл понимался бы лишь как знак самого себя, т. е. как знак неисполнения функции знака [Луман 2007а: 111].

Само понятие языкового знака как некоторой закрепленной связи между означаемым и означающим преобразуется Луманом в динамическую операцию соположения коммуникативных и когнитивных характеристик:

> В качестве сопряжения систем сознания и систем коммуникации символ означает лишь наличие дифференции, которая, будучи рассмотренной с обеих сторон, может пониматься как тождественная. В этом смысле символическое использование языковых обобщений (= воспроизводимых способов употреблений) предполагает знаковый характер языка, что означает: способность отличать означающее (слова) от означаемого (вещи) в сознании и в коммуникации [Луман, 2004: 116].

Как видим, Луман придерживается дофрегеанского понимания семантики словесного знака: у него отсутствует дихотомия смысла и значения (Sinn vs Bedeutung), — означаемым знака у Лумана именуется не смысл (Sinn), а вещь, то есть значение, референт, денотат, экстенсионал (это разные переводы фрегеанского термина *Bedeutung*). Впрочем, уже само рассмотрение смысла как каким-либо образом связанного со знаковым отношением для Лумана нехарактерно. Он даже проходит мимо соссюровского разграничения между значением и значимостью знака (внесистемным и внутрисистемным отношениями знака)[117]. Точнее, он трактует его на свой лад:

[117] Ср.: «Если пользоваться языком, то не обойтись без знаков, которые, как учит Соссюр, не открывают нам доступа к вещам, но только выражают существующие между собой различия» [Луман 2007в]. Это верно только относительно понятия значимости знака и не учитывает такую важнейшую, по Соссюру, характеристику, как его произвольность. Логично, что Луман приходит к отрицанию понятия произвольности [Luhmann 1999: 54; Луман 2011, 2: 243]. Подробнее о нелинейном преломлении идей Соссюра в системной теории Лумана и их возможном «возвращении» в семиотику и лингвистику см.: [Золян 2020; 2021].

> Знаки также являются формами, т. е. маркированными различениями. Согласно Соссюру, означающее (signifiant) следует отличать от означаемого (signifié), в форме знака, т. е. в отношении означающего к означаемому, выражена референтность: означающее означает означаемое. Сама же форма (и только ее следует называть знаком), напротив, не имеет никакого референта; она функционирует лишь как различение и лишь тогда, когда она фактически используется в этом качестве [Луман 2005б: 224].

Понятие знака Луман преобразует в понятие формы, или знаковой формы: это чисто реляционный конструкт, определяемый жестким сцеплением элементов, в отличие от мягкого сцепления этих же элементов, которые образуют медиум. Луман приспосабливает к своей концепции и определение интерпретанта Пирса:

> Интерпретант определяет себя на основе идентифицирующей функции означающего путем интерпретации этой функции как отношения (или репрезентации) означающего к означаемому. Интерпретант есть репрезентация репрезентации. По Пирсу, интерпретант есть как смысл знака, так и, следовательно, его прагматическая референция в динамическом контексте [Luhmann 1999: 51].

Тем самым понятия смысла и знака как разграничения означаемого и означающего оказываются у Лумана понятиями не только различными, но и разнопорядковыми. Смысл для него есть операция и продукт операции, почему и не есть свойство какого-либо объекта (знака). Смысл существует исключительно как смысл использующих его операций, а значит, лишь в тот момент, когда он этими операциями определяется, — не раньше и не позже. Поэтому смысл — это *продукт* операций, использующих смысл, а не какое-то свойство мира, обязанное своим происхождением какому-либо творению, учреждению или источнику [Луман 2004: 46]. Подобное операциональное понимание смысла принципиально отличается от соссюровской значимости — как совокупности отношений, в которые вступает знак внутри системы, которое с синхронной точки зрения является постоянной и контекстно независимой величиной. Соответственно, вне какого-либо операционального смысла-контекста знаки не в состоянии его породить[118], почему и вполне логично выглядит то, что с употреблением *знаков как таковых* Луман связывает не смысл, а его отсутствие (см. выше: в *качестве знака смысл понимался бы лишь как знак самого себя, т. е. как знак неисполнения функции знака*). Своеобразие лумановского подхода к языковому знаку можно объяснить также и

[118] Ср.: «Ни смысл как таковой не является знаком, ни знаковая техника языка не объясняет, какой отбор знаков будет успешен в процессе коммуникации» [Луман 2007а: 222]. «Смысл может быть понят лишь в контексте, а в качестве такового для каждого работает прежде всего то, что дают восприятие и память. Кроме того... понимание всегда включает в себя и непонимание, и эта составляющая, если нет возможности опереться на специальные условия, становится столь высокой, что продолжение коммуникации делается невероятным» [Там же: 219].

тем, что для него смысловой единицей оказывается предложение — допредложенческий уровень языка есть тот медиум или форма, которая служит для более сложно организованных форм — предложений:

> При помощи того, что уже является формой, — собственно, при помощи слов языка, может быть образован новый медиальный субстрат: весьма обширное, связанное только свободным образом множество таких слов, которые затем, в свою очередь, объединяются в жестко связанные формы, собственно — в предложения, причем во всех связываниях медиальный субстрат не расходуется, но через само словоупотребление всякий раз возобновляется. Таким образом, каждое предложение состоит из многократнопроизвольно употребляемых компонентов, причем в текущем процессе образования предложений словарный состав языка регенерируется, смысл слов сгущается, но вместе с тем более не употребляемые слова придаются забвению. В рекурсивной сети языковой коммуникации способностью подсоединения обладают лишь предложения: они могут предвосхищаться в виде смутной словесной структуры и вспоминаться в виде фиксированного смысла. Они могут цитироваться, перетолковываться, подтверждаться или опровергаться; и они транспортируют в этом смысле аутопойэзис системы через сцепливание / расцепливание словарного состава. Они образуют эмерджентный уровень коммуникативного конструирования смысла, и эта эмерджентность есть не что иное, как аутопойэзис языковой коммуникации, творящей для себя собственный медиальный субстрат [Луман 2004: 39].

Безусловно, здесь Луман повторяет хорошо известное положение функциональной системной лингвистики: единицей коммуникации является предложение (а точнее, апеллируя уже к Дж. Серлю, — речевой акт). Можно продолжить, следуя логике функциональной лингвистики Майкла Хэллидея[119]: сами «подсоединяемые» предложения в своей совокупности образуют «медиальный субстрат» для такой структуры, как текст, и только с текстом может быть связано смыслопорождение: «эмерджентность и аутопойэзис языковой коммуникации». Правда, сам Луман, говоря о языковых структурах, ограничивается уровнем предложения. Думаем, целесообразно расширить языковые структуры до уровня текстовых, тем более что именно с текстом (правда, понимаемым скорее метафорически), связывает Луман создание смысла:

[119] Ср.: “Obviously one cannot quarrel with the use of the term “text” to refer to a string of sentences, that realize a text, but it is important to stress that the sentences are, in fact, the realization of text rather that constituting the text itself. <…> In its most general significance, a text is a sociological event, a semiotic encounter through which the meanings that constitute the social system are exchanged. The individual member is, by virtue of his membership, a ‘meaner’, one who means. By this act of meaning, and those of other individual meaners, the social reality is created, maintained in good order, and continuously shaped and modified. <…> Text is the primary channel for transmission of culture, and it is this aspect — text as the semantic process of social dynamics — that more than anything else shaped the semantic system” [Halliday 1978: 135, 139, 141].

> Если мы переживаем мир в смысловом плане... то мы переживаем его как «текст», и тогда смысл имеет нечто общее с «интерпретацией», с тем что мы сами создаем смысл, отталкиваясь от какого-то смысла. При этом текст — это необязательно книга. Можно мыслить мир как текст и в этом случае говорить, что герменевтики интерпретируют мир [Луман 2007б: 244].

Знаковый характер коммуникации и роль языковых структур как посредника между сознанием и коммуникацией приводит к воссозданию «реальной реальности» только при условии, когда можно установить дифференциацию между ней и семиотической реальностью:

> Через это возникает новая, эмерджентная дифференциация, а именно дифференциация реальной реальности и семиотической реальности (вместо семиотической реальности мы также могли бы говорить о воображаемой, воображающей, конструирующей и т. д. реальности). И лишь тогда и вообще может возникнуть реальный мир, поскольку лишь тогда может получить обозначение как реальность, то есть быть отличена. Однако это вовсе не значит, что реальность — лишь фикция и что она, как некогда полагали, «не существует в действительности». Но это значит, что разграничение реальной реальности и семиотической реальности как раз необходимо ввести в мир, чтобы нечто — будь это даже и сама семиотическая реальность — могло быть обозначено как реальное [Луман 2005б: 38].

Как видим, и здесь Луман, с одной стороны, воспроизводит достаточно известное разграничение двух типов реальности — «реальной» и «семиотической». Однако, с другой — он дает этой дихотомии совершенно новое обоснование: они отличны не потому, что семиотическая реальность есть либо воспроизведение «реальной», либо полный «отрыв» от нее. В первом случае семиотическая реальность не будет представлять самостоятельной ценности, она есть лишь воспроизведение в знаковой форме «настоящей», и ее ценность будет именно в том, чтобы не отличаться от реальной (как в наивных представлениях о «реализме»). Во втором случае, являясь самостоятельной сферой, семиотическая реальность живет самостоятельной жизнью и в соотнесении с «реальной» не нуждается. Между тем, по Луману, удвоение реальностей основано не на воспроизведении, а на *отличении,* поэтому они и не могут быть обособлены друг от друга. Их соположение и отличение создает смысловое напряжение. Примечательно также, что у Лумана семиотической противостоит не физическая или материальная, а нечто тавтологическое — *реальная реальность*, своего рода *масло* масляное. *«Реальность»* не задается, а создается путем разграничения, результат этой операции становится реальным, независимо от того, воплощен он в символической или материальной субстанции. Означаемое знака так же реально, как и означающее, и оба они продолжают быть реальными, пока существует знак — отношение (или операция) их соположения и различения.

9. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СОЦИАЛЬНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ СМЫСЛОВ: ОПЫТ ГИБРИДНОЙ СЕМАНТИКИ[120]

В данном разделе мы продемонстрируем возможности описания, исходящего из ранее предложенного подхода. Этот подход настаивает на том, что смысл понимается как результат сопряжения лингвистических и нелингвистических систем в процессе коммуникации и иных форм межличностного взаимодействия. Это будет опытом приложения и вышеприведенной идеи Никласа Лумана о том, что «один только язык не способен установить значение: для этого требуются, в дополнение, системы, чьи специальные структуры определяют более узкие условия возможности, то есть дополнительные границы внутри области лингвистически возможного» [Luhmann 1990: 52]. Мы продемонстрируем, каким образом эта идея может быть не только продекларирована теоретически, но и реализована в конкретном описании.

9.1. О семантике местоимения «мой»

9.1.1

Продемонстрируем вышеприведенный тезис о том, что значение языковой единицы есть результат соположения языковой и внелингвистических систем в процессе коммуникации, на примере семантики притяжательного местоимения «мой», описав ее как «языковую игру», основанную на социальных конвенциях и их контекстуализации. Его языковая семантика — это некоторое неуточненное отношение между говорящим и некоторым объектом, как это и толкуется обычно в словарях. Это отношение может получать различную конкретизацию в зависимости от его типа — является ли это отношением собственности, зависимости, привязанности, любви и т. п. Этот список возможных конкретизаций является открытым, и одно отношение не может быть заменено другим. Так, *моя квартира* — это квартира, в которой я постоянно живу. *Моя гостиница* — это, как правило, гостиница, в которой я остановился в данный момент (поскольку слушатели предполагают, что я не являюсь владельцем гостиницы). *Моя жена* — это предполагает определенный социальный институт, отличающийся от отношений, которые связывают меня с *моей девушкой*. *Моя секретарша* и *мой начальник* — эти отношения являются функциональными относительно только места работы и никак не должны трактоваться как отношение собственности.

[120] Термин «гибридная семантика» был предложен при описании экспрессивов, с целью показать каким образом *the methods of truth-conditional semantics could be extended to cover use-coditional aspects of meaning* (Gutzmann 2015: 6).

Возможная неоднозначность связана с возможностью различных отношений, устанавливаемых между «Я» и упоминаемым объектом. Так, моя остановка — это остановка, где мне надо выходить, причем это может быть нечто постоянное — это там, где я нахожусь постоянно; либо же нечто окказиональное, если я еду по определенному маршруту. Мои книги — это книги, находящиеся в моей собственности, но если я писатель, то это будут уже написанные мной книги. Моя любимая книга — это не некоторый материальный томик в моей библиотеке, а произведение. *Моя статья* — интерпретация этого выражения будет разниться в зависимости от того, кто это высказывает — ученый или уголовник, но в данном случае неоднозначность объясняется еще и лексической многозначностью слова «статья».

В некоторых случаях требуются специальные тексты (они же — институциональные акты), определяющие и удостоверяющие характер данного отношения. Так, отношение «моя жена» должно быть подтверждено соответствующими записями и документами, как и отношение на ценные объекты, как, например, *мой дом*, в отличие от, скажем, *мой блокнот,* права на который подтверждения не требует. Как видим, практически всякий раз, в зависимости от того, кто является «я» и по отношению к чему определяется «мое», смысл всякий раз будет отличным, и это можно зафиксировать путем перифразы слова «мой». Что является существенным: при всем этом эти различающиеся смыслы в каждом случае могут быть однозначно определены носителями языка, их социальный опыт позволяет им однозначно определить, какой именно перифразой можно передать данное контекстуальное значение слова «мой», но только если они обладают достаточной информацией о контексте. Так, в зависимости от того, кто является говорящим, выражение «моя гостиница» может быть перифразировано и как «гостиница, где я остановился», и как «гостиница, где я работаю», и как «гостиница, которая принадлежит мне». Возможны и более специфические случаи: гостиница, которую я спроектировал; гостиница, за которой я наблюдаю; гостиница, куда я поставляю продукты, и т. п. Знание о том, что такое гостиница, сополагается с информацией о говорящем, что и позволяет найти правильную перифразу.

Отсутствие достаточной информации может привести к неоднозначной интерпретации. Так, *мои книги* многозначно, если не знать, кем является говорящий — писателем или читателем. Мой университет — это может быть университет, который я окончил, но если речь идет о профессоре, то это, скорее всего, будет университет, где говорящий работает. В некоторых случаях неоднозначными оказываются сами социальные институты. Так, *моя родина* при наличии информации о месте рождения говорящего толкуется однозначно, тогда как «моя страна», «мое государство» в условиях возможности получить новое гражданство может получить неоднозначную интерпретацию. Так и возможность работать одновременно в нескольких местах может привести к неоднозначности выражения «мой университет». Выражение *мои женщины* будет перефразировано различным образом в зависимости от многозначности слова «*женщина*» — имеются ли в виду домочадцы или же женщины, с кото-

рыми говорящий имел или имеет внебрачную связь (то же относится и к выражению «мои мужчины»). В отличие от *женщин*, множественные «*мои жены*» могут быть поняты только в диахронической перспективе, если только речь не идет о мусульманском или каком-либо ином полигамном обществе.

Возможны различные типы наложения лексической многозначности и контекстуальной неоднозначности. Так, возможна неоднозначность, обусловленная исключительно лексической многозначностью — например, *мои наушники* — означают ли они надеваемые на уши наушники или же работающих на меня осведомителей. Как и любое языковое выражение, возможны и переносные значения. Например, *Мои университеты* Максима Горького, — знание о том, что Горький не имел формального высшего образования, приводит к тому, что это выражение может пониматься только в переносном смысле. Если же это выражение было бы высказано, скажем, Андреем Белым, то оно одновременно выражало как прямое, так и переносное значение. Многозначное слово «роман» в сочетании «мои романы» перестает быть многозначным, если говорящий не является автором романов (например, романы Пушкина), в противоположность романам Достоевского.

Возможна ситуация, когда правильность употребления выражения «мой X», в зависимости от того, что в данном случае является X, будет определяться крайне жесткими институализированными критериями. Так, правильное употребление выражения «*мой избиратель*» предполагает, что говорящий — это выборное лицо (депутат, президент, губернатор и т п). В противном случае это выражение будет иметь смысл, но не иметь значения (референта). «Мой президент» — употребление этого выражения предполагает, что говорящий живет в стране, где глава государства является президентом (или работает в организации, управляемой президентом). *Мой пациент, мой подзащитный* — это выражения также предполагают за говорящим наличие определенного социального статуса (врача, адвоката).

Подобные примеры (а они могут быть продолжены) лишь подтверждают, что смысл оказывается сочленением лингвистической и нелингвистической (социальной) информации: отсутствие, недостаточность или многозначность как лингвистической, так и социальной информации влечет неоднозначность перифразирования.

Сказанное позволяет мотивировать выбор в качестве примера местоимения «мой», деривата от «Я». В этом случае оказывается обеспечена однозначность референта. Тем самым становится очевидным, что возможная неоднозначность или многозначность возникает за счет дополнительных факторов. Крайне существенным оказывается, во-первых, чем является объект X — это физический объект или же социальный конструкт. В первом случае смысловое варьирование при возможных перифразах отсутствует — как правило, в подобных выражениях «мой» обозначает отношение принадлежности: *мой стол, моя нога, мое яблоко*. Чем в большей степени является социальным конструктом тот объект, который обозначается существительным, тем дифференцированнее становятся отношения (ср.: моя квартира, мой директор,

мои права, мой патиент, мой избиратель и т. п.). Одновременно, это предполагает и дифференциацию говорящего — кем является «Я». Это может быть как любой человек («моя рука»), так и только тот, кто обладает некоторым специфическим социальным статусом («мой избиратель», «мой пациент», «мой подзащитный», «мой студент», «моя секретарша» и т. п.).

9.1.2

Обычное словарное толкование не может отразить все многообразие возможных значений местоимения «мой». Эти значения могут быть заданы, но не каким-либо даже очень подробным списком, а некоторым правилом, позволяющим их вычислять (или порождать). Обобщить множество возможных смыслов, выражаемых этим местоимением в выражениях «*мой X*», можно, если рассматривать это многообразие как двойную функцию от аргументов «*Я*» и «*X*». Эту функцию можно считать лингвистическим смыслом местоимения *мой,* а значения, получаемые в результате ее приложения к различным переменным «*Я*» и «*X*», — социальными смыслами. Знание носителем языка этих смыслов и значений можно соотнести с его способностью вычислить соответствующее приемлемое значение на основании некоторого общего для данного социума знания о социальных нормах и конвенциях.

Лингвистический смысл выражения *мой X* — это констатация некоторого неуточненного отношения между X и говорящим агентом A. Однако оно недостаточно и должно быть дополнено правилами употребления, то есть особой «языковой игрой», основанной на конвенциях о том, что́, в каком контексте и при каких обстоятельствах является «моим». Это является уже не лингвистическим знанием, а социальным, оформляемым в языковых формах знании об агенте A и объекте X. Знание об A и X есть некоторый фрейм, причем, что важно отметить, в данном случае не лексические переменные помещаются в структуру фрейма, а, напротив, сами фреймы оказываются переменными, выстраиваемыми вокруг A и X. Возможный характер обозначаемых местоимением «мой» отношений между A и X определяют, какой именно фрейм окажется более подходящим для выражения отношений между этими актантами.

Это позволяет уточнить характер функции, посредством которой может быть представлена лингвистическая семантика местоимения *мой* — как функция от выражения «*мой X*» к объектам и мирам (если использовать логико-семантические модели) или от выражения «*мой X*» к фреймам, описывающим X (если описывать эту семантику посредством когнитивных моделей). При этом следует разграничивать уровни семантизации[121]: уровень собственно языковых смыслов, уровень выражения, уровень предложения, интенсионалов, в данном случае социальных смыслов, и уровень высказывания, то

[121] Обоснование разграничения между семантикой выражения, предложения и высказывания было дано нами в: [Золян 2014].

есть референции. Так, на уровне выражения «моя родина» — отношение между говорящим и страной, в которой он родился, без какого-либо уточнения. На уровне предложения — это отношение предстает так: в любом из миров, в котором высказывается это выражение, оно обозначает ту страну, в которой родился говорящий. Наконец, на уровне высказывания, если это высказано автором данной статьи, — это Армения. Первый уровень требует знания о языке, второй — о языке и мире, третий — о языке, мире, а также контексте и обстоятельствах говорения[122].

Такое понимание можно представить в следующем формализованном виде. Сочетание «Мой + Имя существительное» есть обозначение некоторого неуточненного отношения между говорящим (*Я*) и некоторым обозначаемым именем «*X*» объектом (именно такое толкование дается в словарях). Это отношение подлежит конкретизации посредством операций контекстуализации, соотносящих выражение Е1 с возможными социально обусловленными смыслами. В результате этих операций возникает новое значение, которое может быть описано новым выражением Е2 — оно будет синонимичной перифразой первому, но только применительно к некоторому контексту и заданным обстоятельствам:

Выражение Е1 «МОЙ Х» (Язык, Мир, Контекст, Обстоятельства) →

→ СМЫСЛ Е → Выражение Е2.

Так, в выражении «моя родина» отношение «мой» будет интерпретировано как «место рождения», а синонимичной перифразой будет Армения, если говорящий — Сурен Золян.

Итак, контекстно-зависимое значение выражения «МОЙ Х» предполагает, что должно быть определено:

1) кто является «Я» применительно к данному коммуникативному контексту;

2) на основе фреймовой семантики Х и знания о говорящем должно быть уточнено, каким может быть отношение между любым Х и любым, кто может говорящим в каком-либо из контекстов;

3) каким образом следует экстраполировать это отношение на отношение между «Х» и тем, кто обозначается как «Я» в данном контексте.

Например, выражение *моя Родина* => та страна, где родился тот, кто называет себя «Я» => «страна, где родился Сурен Золян» => Армения

Моя гостиница => гостиница, где остановился, кто называет себя «Я» => «гостиница, где остановился Сурен Золян применительно к определенному месту и времени» => гостиница «Академическая», г. Москва.

[122] В целях дифференцированного описания различных влияющих на семантизацию языковых выражений факторов принято разграничивать контексты высказывания — коммуникативный контекст, включающий коммуникантов и место / время коммуникации, и обстоятельства, то есть условия, в которых и применительно к которым протекает коммуникация.

Как видим, на каждом шагу происходит изменение смысла, почему и требуются различные выражения, синонимичные применительно только и только к данному контексту. Так, *родина*, в отличие от *государства*, уникальна и не подлежит изменению (это условие можно записать «в любом контексте выражению “Моя родина” применительно к одному и тому же говорящему будет соответствовать только и только одна страна», или же на следующем шаге «*в любом контексте, если говорящий — Сурен Золян, то выражение “моя родина” означает “Армения”»)*. Между тем в зависимости от места и времени выражению «моя гостиница» будут соответствовать различные объекты. Вышеописанные первые два шага подобной конкретизации не требуют, но на третьем смысл и значения должны быть доведены до уровня референции.

Таким образом, выражения и их смыслы выступают как некоторые константные функции от контекстов и обстоятельств к новым контекстуальным смыслам и референциальным значениям. В данном случае двойная функция от «Я» и «Х» соотносит с этой парой аргументов некоторое новое выражение — значение этой функции: *Моя («Я», «родина») => Армения.* Двойная зависимость семантики подобных выражений обусловлена тем, что к контекстной зависимости (знание о контексте говорения: то, что говорящий — Сурен Золян) добавляется и обстоятельственная зависимость (знание о мире: то, что говорящий Сурен Золян родился в Армении).

9.1.3

Рассмотрение экстенсиональной семантики выражений «мой Х» и синонимичных ему выражений показывает их отличие от других языковых форм выделения экстенсионалов. Разумеется, речь идет не о самих экстенсионалах (объектах мира), а способах их выделения. Как было показано выше, происходят следующие преобразования-перифразы:

1. «Мой» (Контекст, Обстоятельства) → Ас в контексте (Ас — говорящий применительно к данному контексте Cnt)

2. «Мой Х» (Контекст, Обстоятельства) → объект или множество объектов, которые применительно к данному контексту Cnt и данным обстоятельствам Crc удовлетворяют описанию «Х: Ас» (дейктическое отношение «Х: Я» заменяется контекстно-независимым выражением этого отношения: «Х: Ас» в английском это выражения формы “A’s X” или “X of A’s”, в русском — Номинатив + генитив: родина Сурена), и т. д.

Однако такая перифраза еще не является окончательной экспликацией. Выражение «Х» также должно быть перифразировано применительно к данному контексту и миру (обстоятельствам), что может быть отражено путем перифразы:

3. X => (X + s) — выражение «Х» заменяется конструкцией: «Х и придаточное атрибутивное предложение», «Х, такой, что A R X...», где R — некоторое отношение, выражаемое соответствующим предикатом («Х» — гости-

ница. Говорящий А живет в гостинице). Семантика этого предложения — метаязыковое толкование данного Х, но опять-таки применительно к данному контексту и обстоятельствам.

Поясним сказанное. Очевидно, что объект или множество объектов, обозначаемых выражением «Х: Ас», является подмножеством объектов, обозначаемых выражением «Х», как это имеет место при любом атрибутивном отношении («моя гостиница» — это некоторое подмножество от всех гостиниц). Однако есть весьма существенное отличие. Обычно атрибутивное выражение выделяет некоторое подмножество на основании некоторых свойств, которые характеризуют данный объект. Например, трехзвездочная гостиница, многоэтажная, комфортабельная, и т. п. Использование конструкции «моя» меняет принцип выделения этого подмножества: «моя гостиница» скорее есть характеристика «Я», что отражено в вышеприведенной схеме семантизации. Поэтому оказывается существенным статус говорящего — является ли он владельцем, служащим или постояльцем гостиницы, Если обычно атрибутивное сочетание перифразируется посредством тавтологического выражения («комфортабельная гостиница — гостиница, в которой комфортно»), то выражения «мой Х» будут в зависимости от контекста и обстоятельств переводиться иными выражениями (*моя гостиница* — обычно это: *где я остановился;* однако это может быть также и: *гостиница, которая принадлежит мне; в которой я работаю,* и т. д.). Как видим, в данном случае требуется некоторая дополнительная информация, и правила перифразирования определяются знанием о социальных институтах и конвенциях, а не собственно лингвистическими лексико-семантическими правилами.

Необходимость разграничения экстенсиональной и интенсиональной семантики обусловлена тем, что возможно несовпадение перифраз и, соответственно, интенсиональных и экстенсиональных объектов. Так, возможна ситуация, когда одно и то же выражение «мой Х» в зависимости от фактора говорящего А будет интерпретировано различным образом на интенсиональном и экстенсиональном уровнях. Например, выражение «мои преподаватели» в устах студента будет обозначать тех преподавателей, которые ему преподают, а в устах декана — преподавателей, которые работают на руководимом им факультете. Как видим, фактор говорящего приведет к изменению смыслов. Однако возможно, что в некоторых контекстах и студент, и декан имеют в виду одних и тех же преподавателей (если студент и декан с одного факультета). В этом случае экстенсионал выражения может быть тем же, однако способ указания на него (фрегевский смысл) оказывается отличным.

9.2. Между словом и действием: о семантике и прагматике экспрессивов

9.2.1. Проблема экспрессивов в общем языкознании и философии языка

Другим показательным случаем описания соотношения между языковыми и контекстуальными факторами являются экспрессивы. Более того, их непосредственная связь с поведенческими актами позволяет непосредственно наблюдать соотнесенность «слова и дела», высказывания как поступка. Меж-

ду тем проблематика, связанная с семантикой и прагматикой экспрессивов, лежит на периферии лингвистической теории, хотя и давно известна. Выделявший экспрессивную как одну из трех основных функций языка Карл Бюлер понимал под этим выражение внутреннего состояния отправителя. Для него эта функция актуализировалась не изолированно, а в семантической триаде:

> Множество линий символизирует семантические функции (сложного) языкового знака. Это символ в силу своей соотнесенности с предметами и положением дел; это симптом (примета, индекс) в силу своей зависимости от отправителя, внутреннее состояние которого он выражает, и сигнал в силу своего обращения к слушателю, чьим внешним поведением или внутренним состоянием он управляет так же, как и другие коммуникативные знаки [Бюлер 1993: 34].

Важно отметить, что, как подчеркивал К. Бюлер, эти три функции знака выступают в комплексе, при этом каждая из них может стать доминантной, почему и формирует особую область лингвистического исследования:

> Мы имеем дело с явлениями доминантности, в которых на первый план выступает то одна, то другая из трех основных функций звукового языка. Решающая научная верификация нашей конституирующей формулы, модели языка как органона достигает цели, если обнаруживается, что каждое из трех отношений, каждая из трех смысловых функций языкового знака открывает и тематизирует свою область лингвистических феноменов и фактов [Бюлер 1993: 37].

Данное обстоятельство заслуживает особого внимания, поскольку оно указывает на критерий, по которому экспрессивы могут отличаться от сходных явлений — например, от звукоподражаний, крика, плача и т. п.; это то, что экспрессивная функция может быть реализована только при наличии двух других, в противном случае действие перестает носить знаковый характер и не подлежит лингвистической интерпретации. Продолживший и углубивший теорию функций Роман Якобсон ввел ряд новых функций, но сохранил экспрессивную, по сути, повторив Бюлера, — понимая под ней установку на говорящего. Но при этом Якобсон, судя по приводимым примерам, крайне сужает радиус ее действия, сводя ее к выражению эмоций и расположению на границе, разделяющей языковое и неязыковое поведение:

> Так называемая эмотивная, или экспрессивная, функция, сосредоточенная на адресанте, имеет своей целью прямое выражение отношения говорящего к тому, о чем он говорит. Она связана со стремлением произвести впечатление наличия определенных эмоций, подлинных или притворных... Эмотивная функция, проявляющаяся в междометиях в чистом виде, окрашивает в известной степени все наши высказывания — на звуковом, грамматическом и лексическом уровнях. Анализируя язык с точки зрения передаваемой им информации, мы не должны ограничивать понятие информации когнитивным (познавательно-логическим) аспектом языка. Когда человек пользуется экспрессивными элементами, чтобы выразить гнев или иронию, он, безусловно, передает информацию. Очевидно, что подобное речевое поведение нельзя сопоставлять с такой несемиотической дея-

тельностью, как, например, процесс поглощения пищи — «поедание грейпфрута» (вопреки смелому сравнению Чатмена). Тезис С. Сапорты о том, что эмотивные различия являются внеязыковыми и «характеризуют способ передачи сообщения, а не само сообщение», произвольно уменьшает информационную емкость сообщения [Якобсон 1975: 198—199].

Такое понимание можно считать наиболее принятым — изучение экспрессивной функции было предложено отнести к сфере стилистики (в Большой советской энциклопедии); в другом случае как область ее манифестации рассматривались междометия или же лексические единицы с преимущественно оценочной и выветренной, если не пустой денотативной семантикой.

Новый импульс к изучению экспрессивов придала ставшая широко используемой теория речевых актов в версии Джона Серля. Основываясь на перформативной теории Джона Остина, Серль выделяет экспрессивы как особый тип речевых актов, отличающийся от других скорее «бессодержательностью» и служащих для выражения психологических состояний говорящего и некоторых социально принятых отношений:

Экспрессивы имеют цель выразить определенное психологическое состояние (реакцию) говорящего, вызываемое положением вещей, определенным в рамках пропозиционального содержания.... Психологическое состояние может быть различным (чувство благодарности, сожаления, вины, оправдания и т. д.) Для экспрессивов характерны перформативные этикетные глаголы и выражения, отражающие ритуалы общения между людьми, особенно фразеологизированные клише, специфичные для каждого языка: извините, простите, спасибо, благодарю, поздравляю, сочувствую, сожалею, приветствую, желаю успеха и др. Иначе их называют неинформативными актами речи, поскольку служат для установления речевого контакта или обозначения того, что между собеседниками существуют определенные социальные отношения: ср. «Алло! Как дела? Как здоровье? Привет!» [Серль 1986: 183].

Вместе с тем у Дж. Серля указано, каким именно образом возможно связать экспрессивы с выражением пропозициональной семантики — Серль выносит ее в пресуппозицию речевого акта-экспрессива:

Они следуют за действиями и не имеют направления приспособления, поскольку положение дел, служащее поводом для экспрессивов, составляет не основное их содержание, а пресуппозицию (предпосылку). Пропозициональное содержание экспрессивов заключается в приписывании некоторого предиката субъекту, которым может быть говорящий или слушающий: так, в «Простите за опоздание» субъектом пропозиции является говорящий, который совершил опоздание, а в «Спасибо за помощь» — слушающий, который совершил помощь [Серль 1986: 183].

В дальнейшем возникла необходимость разграничения стандартных этикетных действий от выражения психологических состояний (см. обзорные

статьи: [Трофимова 2013; Foolen 2015]), однако подобные уточнения никак не затрагивают понимание экспрессивов как явления с точки зрения коммуникативных процессов периферийного и сопутствующего.

Принципиально с тех же позиций рассматриваются экспрессивы и в когнитивной парадигме — как нечто лишенное дескриптивного содержания:

> To some extent, every instance of language use (and every linguistic unit) has conceptual import involving four dimensions: descriptive, expressive/emotive, interactive, and discursive… Expressive/emotive import is internal to the interlocutors, being conveyed but not described. An example would be the expression of pain, e. g. *Ouch* or *Ow!, differing in intensity of the pain experienced. These are conventional units of* English which express an experience, rather than putting it on stage as a focused object of description [Langacker 2012: 100].

9.2.2. Экспрессивы и поведенческие акты

Между тем возможен и другой подход, при котором экспрессивы будут рассмотрены не как маргинальное, а как в определенном отношении прототипическое явление. Если вернуться к послужившей основой для выделения экспрессивов теории Бюлера, то к ней можно подойти с иной стороны, увидев в ней в первую очередь подход к языку как к социальному инструменту (органону), а к речи — как к социально значимому действию (поступку). Задолго до Остина, Бюлер говорит о том, как *можно* действовать *словом*:

> Мы приблизимся к цели, слегка сместив акцент с судьбы человека на сами слова. Каждое фразеологическое и нефразеологическое выражение можно интерпретировать как человеческий поступок, ведь каждое конкретное высказывание связано с другими сознательными действиями данного человека. Оно стоит в одном ряду с поступками и само является поступком» [Бюлер 1993: 53].

Можно попытаться развить подобный подход, основываясь также на высказанном Бодуэном де Куртенэ положении о триединой сущности языка:

> Если язык следует считать особого рода *знанием*, то он вместе с тем может представляться, с одной стороны, *действием, делом*, с другой — *вещью, предметом* внешнего мира [Бодуэн де Куртенэ 1904а: 536].

Имеет смысл вернуться и к теории перформативов в той форме, которая изначально была предложена Дж. Остином. Хотя он не выделял экспрессивы, но весьма близкий к ним класс перформативов был охарактеризован им как «бехабитивы» (behabitives). По словам Дж. Остина, это наиболее разнородный из выделенных им классов[123]. Это перформативы, «связанные в той или

[123] «Четвертый класс — бехабитивы — очень смешанная группа, связанная с общественным поведением и взаимоотношениями людей. Примеры: извинение, поздравление, похвала, соболезнование, ругань и вызов (на состязание, дуэль и т. п.)» [Остин 1986: 119].

иной мере с реакциями на поведение и с поведением по отношению к другим людям и предназначенные выражать межличностные отношения и чувства» [Остин 1986: 77]. Остин связывает их скорее с этикетными высказываниями, нежели с собственно выражением эмоций. Вместе с тем, согласно Остину, «эти фразы больше других подвержены переходу в чистые перформативы, когда действие, подкрепляющее слова, само является чисто ритуальной акцией, например невербальным актом поклона (“Я приветствую Вас”) или вербальным ритуалом “Браво” (“Я аплодирую”)». Бехабитивы могут сливаться с самим поступком и обходиться без языковых форм выражения. Вместе с тем Остин указывает на очень существенную черту, отличающую бехабитивы / экспрессив, скажем, от поедания грейпфрута: «...бехабитивы, как это обычно подразумевается, обязывают нас не к реальному поведению, а к подобию его» [Остин 1986: 125].

Это сделанное мимоходом замечание может стать ключом к пониманию соотнесенности между вербальными и невербальными компонентами языкового поведения. В самом деле, можно представить общество, в котором поедание грейпфрута (вспомним пример Якобсона и Чэтмена) станет проявлением солидарности (как в русском этикете — откушать хлеб-соль). Но для этого оно должно приобрести конвенциональное значение, то есть поедание грейпфрута должно стать подобием самого себя (так, при приеме высоким гостям полагается лишь откусить от хлеба, но не съедать весь поднесенный каравай). Или же выделение слюны вынуждает плевать, но семиотически значимым плевок становится тогда, когда он перестает быть самим собой и лишь символизирует плевок, для чего куда удобнее использовать междометие «тьфу». Между тем, чихание остается чисто физиологическим процессом и не несет какого-либо смысла. Русское «Ап-чхи» есть звукоподражание, иконическое воспроизведение непроизвольного действия, не имеющее какого-либо иного смысла.

Дж. Остин, как следует из самого наименования этого класса, склонен его связывать именно с поведенческими моделями. Выражение и описание эмоций может быть связано с этими моделями, но это не является основным:

> Бехабитивы включают в себя понятие реакции на поведение других людей и повороты их судьбы. Они включают также отношение к чьему-то поведению в прошлом или в будущем и эксплицитное выражение этого отношения. Хотя бехабитивы обнаруживают очевидную связь как с утверждением или описанием наших чувств, так и с их выражением (в смысле излияния эмоций), они все же отличаются и от тех и от других [Остин 1986: 126].

Как видим, Дж. Серль представив идеи Остина в систематизированном виде, тем не менее прошел мимо собственно поведенческих аспектов. Между тем именно они, не укладывающиеся в стройную версию теории речевых актов по Дж. Серлю, могут оказаться тем мостом, который свяжет теорию перформативов с теорией социального смысла, в частности с возможной лингви-

стической интерпретацией веберовского понимания смысла как основания социально интерпретируемого действия (о возможности подобной интерпретации говорилось выше). Напомним, что в основе «понимающей социологии» М. Вебера лежит понятие социального действия: это

> такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием *других* людей и ориентируется на него [Вебер 1990: 603].

Очевидна связь между этим определением социального смысла и вышеприведенным определением бехабитива. Безусловно, Остин предложил чрезмерно широкое определение, но в нем отражены прототипические черты речевого акта в целом — как единства слова и действия. Важным представляется также и необходимость семиотического «удвоения» — чтобы оно могло быть наделено смыслом, оно должно быть репрезентировано как некоторое знаковое образование (слово, предложение, текст). В развитие этого подхода можно предположить, что значение является результатом сочетания языковых и внелингвистических систем в процессе социального взаимодействия и общения. Вербализация ментальных репрезентаций, а также невербальные и вербальные (речевые акты) действия — взаимно влияющие друг на друга процессы; они не ограничиваются операциями над знаками и текстами, но регулируются также моделями поведения и межличностного взаимодействия. В этом случае кардинально меняется понимание функциональной и семантической значимости экспрессивов. Таким образом становится возможным связать логические и семантические характеристики с когнитивными и прагматическими.

9.2.3. Дэвид Каплан о гибридной семантике экспрессивов

Экспрессивы можно рассматривать не как маргинальные явления, а как прототипический образец прагмасемантики в действии. Они наиболее тесно связаны с поведенческими паттернами, ситуациями и действиями, в этом отношении они являются прототипической манифестацией витгенштейновского понимания языка как игры, управляемой определенными правилами. Неопределенность языковой семантики экспрессивов и ее ситуативно зависимый характер предстают как непосредственная манифестация другого фундаментального положения Л. Витгенштейна о значении как употреблении и его контекстуальной обусловленности.

В таком случае при описании экспрессивов могут быть продемонстрированы новые подходы и методы прагмасемантики, перформативный компонент экспрессивов соотносится с их дескриптивным содержанием. В частности, Дэвид Каплан [Kaplan 1999] предложил принципиально новый подход к перформативам, который в дальнейшем был формализован Дэниэлом Гютцманом и назван им гибридной семантикой, когда предполагается, что методы

основанной на условиях истинности семантики могут быть расширены с тем, чтобы быть распространены и на условия употребления *(*"*use-conditional aspects of meaning*") [Gutzmann, 2013; 2015].

Дэвид Каплан в своей лекции, которую он так и не удосужился опубликовать, предложил принципиально иной подход к семантике перформативов, отличающий его и от подхода Серля, и от Якобсона, о которых он и не упоминает. Скорее, в качестве аналогии можно было бы указать именно на первоисточник, К. Бюлера, отмечающего, что языковой знак одновременно и репрезентирует нечто отличное от него, и выражает внутреннее состояние отправителя (хотя Каплан не упоминает и Бюлера). Д. Каплан говорит о том, что выражение описывает то, что есть или чего нет, и выражает или являет некоторое состояние, если говорящий в самом деле находится в этом состоянии[124]. В качестве узкого определения можно взять предложенное в развитие идей Д. Каплана: "I refer to as *expressives in the narrow sense, i.e. expressions* that express some emotional and evaluative attitude with a high degree of affect" [Gutzmann 2015: 4—5], с оговоркой, что мы не видим смысла настаивать на «высокой степени аффекта» (кстати, у самого Каплана об этом нет и речи, в дальнейшем об этом не упоминается и в: [Gutzmann, Henderson 2019].

Рассматривая междометия, Д. Каплан связывает их семантику (наличие значения) не с референцией, а с уместностью или неуместностью употребления. Если местоимение можно употребить ненадлежащим образом или даже в переносном смысле, (например, сказать *oops* при землетрясении), то, следовательно, у него должно быть и прямое значение. Д. Каплан вводит крайне существенное дополнение — экспрессивы отсылают не к самому референту языкового выражения, а к множеству контекстов, в которых употребление данного выражения уместно. Так, для восклицания «Ооооой» это будет множество контекстов, в которых агент испытывает состояние боли:

> What is the semantic information in the word "ouch" on this analysis? The semantic information in the word "ouch" is — more accurately, is *represented by — **the set of*** **those contexts at which the word "ouch" is *expressively correct (since it contains no*** descriptive information), namely, the set of those contexts at which the agent is in pain. That set of contexts represents the semantic information contained in the word "ouch" [Kaplan 1999: 15—16].

[124] "A descriptive is an expression which describes something which either is or is not the case. Let us call an expression an expressive if it expresses or displays something which either is or is not the case. I say that an expression is descriptively correct if what it describes is the case, and I say that an expression is expressively correct if what it expresses or displays is the case (or, if we take what it expresses or displays to be a state, if the agent indeed is in that state). You need to take account of the context for most of the expressives, because they usually express something about the agent — about the utterer, if you are an utterance-theory type" [Kaplan 1999: 4—5].

Если агент боли не испытывает, то это восклицание будет хоть и неуместным, но тем не менее информативным — оно, пусть и необоснованно, однако связывает данный контекст с теми, в которых агент испытывает боль. Предлагаемый Д. Капланом путь аналогичен тому, который в 1980-х гг. был предложен им, а также с некоторыми вариациями Столнейкером и Д. Льюизом для описания индексикалов: их семантика рассматривается как функция от контекстов, позволяющая установить значения данного индексикала применительно к конкретному контексту (например, семантика «я» есть функция, определяющая, кто именно «я» в данном контексте). Этот подход может быть развит и экстраполирован на описание экспрессивов выражений как скрытых поведенческих паттернов (фреймов) с социально определенными значениями (прецедентная, или парадигматическая структура). Соответственно, высказывания, содержащие экспрессивы, могут быть описаны как осмысленные действия, основанные на этих фреймах, и получают свой ситуационный смысл посредством отсылки к ним. Экспрессивы следует рассматривать не просто как выражение эмоциональных состояний и установок, но также как потенциальное действие, которое должно иметь определенное социально определенное и конвенционально принятое прототипическое значение. Попытаемся развить данный подход, связав его с вышеприведенным пониманием смысла как ориентированного на другого действия.

9.2.4. Экспрессивы как ситуационная модель поведения и поступок

Перефразируя тонкое наблюдение Дж. Остина, можно сделать следующее уточнение: экспрессивы сами не выражают ни эмоций, ни какого-либо иных отношений, они обозначают, а, точнее, *изображают* эту ситуацию и *выражают* отношение говорящего к этой ситуации. Говоря «тьфу», говорящий определенным образом выражает свою оценку данной ему ситуации, и вовсе не обязательно, чтобы он при этом испытывал сильные эмоции. Это принятый в данном обществе способ выражения некоторого отношения, и оцениваться оно будет не относительно эмоционального состояния говорящего, а по тому, насколько данная ситуация достойна подобного отношения. В то же время реальные сильные эмоции могут привести к удушью или кашлю, но это не будет иметь какого-либо символического значения.

Как это подчеркивалось Д. Капланом, любое произнесение экспрессива должно быть соотнесено с некоторой прецедентной ситуаций:

> I take it that “oops” is an expressive and that it expresses the fact that the agent has just observed a minor mishap [Kaplan 1999: 12].

Экспрессивы могут быть рассмотрены как латентные поведенческие паттерны, наделенные социально детерминированным смыслом. Этот смысл заключается в отсылке к некоторому закрепленному прецедентному фрейму

или ситуационной парадигме. Соответственно, содержащие экспрессивы высказывания могут быть описаны как осмысленные действия, основанные на этих паттернах и получающие свое ситуативное значение посредством отсылке к этому фрейму (парадигме). Тем самым данное действие (высказывание экспрессива) классифицируется и оценивается в соответствии с данной парадигмой: что это действие может значить, насколько оно уместно и т. д.; то есть подводится под некоторый тип поведения. Исходя из этого, экспрессивы должны рассматриваться в более общей перспективе, нежели только выражение эмоциональных состояний и установок говорящего[125], но и как некоторое актуальное или потенциальное действие, которое должно обладать некоторым социально принятым определенным или вычисляемым смыслом. При таком подходе становится возможным идентифицировать источник дескриптивного значения экспрессивов, что тесно связано с тем, как это значение возникает применительно к данному речевому акту и как приемлемость (или успешность) высказывания экспрессива может быть оценена.

Всякое употребление некоторого экспрессива должно быть выводимо из определенного принятого фрейма, который служит как модель (тип, образец) для его контекстуально-зависимых реализаций (токенов, копий). Предлагаемое принятие прецедентной рамки (фрейма) позволяет развить также и предложенное Д. Капланом разграничение между объективными и субъективными экспрессивами [Kaplan 1999: 12].

Различия в их семантике основываются на различии процедур, устанавливающих совместимость социально принятых практик их употребления. В случае субъективных экспрессивов (*ouch)* только говорящий наделен способностью определять, соответствует ли его высказывание прецедентной ситуации. В случае объективных экспрессивов, например *“oops”,* все участники, наблюдающие данную ситуацию, могут судить, является ли ситуация, в которой произнесен этот экспрессив, небольшой неприятностью.

Другим важным дополнением к концепции Д. Каплана может стать разграничение степеней семантической неопределенности экспрессивов и их контекстуальной обусловленности. Так, для приводимых Д. Капланом экспрессивов их как дескриптивное, так и эмотивное значения в достаточной мере определены и сохраняются во всех контекстах. Именно это позволяет Д. Каплану говорить о переносных и неприемлемых употреблениях (например, в косвенной речи, при цитации, ироническое употребление, неискреннее и даже сардоническое — употребление *oops* в случае катастрофы). Все эти

[125] Ср.: “The distinctions I have tried to make, between descriptives and expressives, and between descriptive content and expressive content, is not that between characterizations of the world and expressions of emotion —an echo of the old distinction between cognitive meaning and emotive meaning. The mode of expression — descriptive vs. expressive — does not correlate with the nature of the semantic information — objective vs. subjective. This is the important lesson of “oops” [Kaplan 1999: 28].

употребления имеют в качестве отправной точки стандартную и в достаточной мере фиксированную семантику. Однако значительное число экспрессивов, в частности междометий, имеют крайне неопределенный дескриптивный компонент и очень подвижную контекстуальную семантику. Например, английское междометие «Ха» или русское «Ну» может выражать любую эмоцию, их значение автореференциально, оно выражает ту эмоцию или тот экспрессивный смысл, которые говорящий считает уместным выразить в данной ситуации (и ждет того же от слушающего). На следующем шаге значение междометия может специфицироваться — напр., «Ха-Ха» вместо «Ха» есть выражение того, ситуация представляется смешной и не заслуживающей серьезного отношения, «Ну-Ну» — что говорящий ждет продолжения, а «Ну и ну» — степень удивления и имплицитного несогласия.

Семантика как экспрессивов, так и крылатых выражений и поговорок (см. ниже) может быть рассмотрена как функция (операция) от некоторой модельной ситуации к ситуации, в которой данный экспрессив высказывается. Напр., в случае *oops*:

> Модельная ситуация (имеет место небольшая неудача) ===*oops*==> актуальная ситуация (кто-то разбил стакан).

То значение, которое Д. Каплан называет *дескриптивным*, есть скорее результат аккомодации вышеуказанного прецедентного фрейма (или схемы) к контексту и одновременно его характеризация (кто-то разбил стакан => имеет место небольшая неудача).

Как видим, экспрессив соотнесен не столько с некоторой эмоцией, сколько с ситуацией в целом, почему и его дескриптивное содержание выражается как пропозиция (напр., «Небольшая неприятность имеет место»). Это проясняет то, что, в отличие от лексических единиц, по своей лингвистической форме экспрессивы должны быть соотнесены со структурами уровня предложения или текста. Даже если это не отдельное восклицание, то есть некоторое слово-предложение, а, например, встроенный в предложение эпитет или аппозиция, экспрессив есть трансформ некоторой пропозиции. Так, Д. Каплан предлагает рассматривать высказывание "*That damn Kaplan was promoted"* как подлежащее двоякой — собственно экспрессивной и дескриптивной — характеризации:

> "That damn Kaplan was promoted" is going to be expressively correct just in case the speaker has a derogatory attitude toward Kaplan, and descriptively correct just in case Kaplan was promoted [Kaplan 1999: 6].

Можно сделать описание более эксплицитным: например, рассмотрев как контаминацию двух пропозиций (в вольном переводе): Говорящий утверждает: «Каплан — негодяй» и «Этого <негодяя Каплана> повысили».

С учетом сказанного экспрессивы могут быть соотнесены с поговорками и крылатыми выражениями. Во всех этих случаях для характеристики ситуации используются некоторые стандартные выражения, которые полагаются быть высказанными при некоторых условиях: когда данная ситуация понимается и представляется в соответствии с некоторой ситуацией-моделью, описываемой некоторым прецедентным высказыванием.

Рассмотрим приводимое К. Бюлером *Alea jacta est,* которое рассматривается им как пример высказывания-поступка. Бюлер пишет:

> Я не знаю, действительно ли Цезарь сказал однажды Alea jacta est.... Плутарх рассказывает об остановке Цезаря у реки Рубикон и внутреннем колебании полководца. Далее цитирую: «Наконец, как бы отбросив размышления и отважно устремляясь навстречу будущему, он произнес слова, обычные для людей, вступающих в отважное предприятие, исход которого сомнителен «Пусть будет брошен жребий!» — и двинулся к переходу». Таким образом, Цезарь не проявил изобретательности, он употребил «обычный призыв», который с тех пор ассоциируется у всех латинистов со смелостью Цезаря. Какой же должна быть лингвистика речи, если принять во внимание, что высказывания Цезаря и Лютера занимают определенное место в этой системе? [Бюлер 1993: 52].

Безусловно, адекватный ответ может быть дан по мере развития особой лингвистики речи, которая все еще остается в стадии проецирования (сошлемся на ставшую лебединой песнью Т. М. Николаевой статью, где речь рассматривается как особая система, а не только как некоторая актуализация системы языка [Николаева 2015]). Здесь же рассмотрим те характеристики, которые позволят путем сопоставления выявить значимые для высказываний-поступков (бехабитивов?) характеристики.

Используя выражение «Жребий брошен!», Цезарь повторил слова Плавта, однако семантика этого выражения связывается не с матримониальными переживаниями персонажей Менандра Плавта, а с походом Цезаря на Рим. Можно выделить следующие уровни значения:

1) Интертекстуальный — для Цезаря это была идентификация с героями Плавта и их высказываниями, после Цезаря — с самим Цезарем и заданной им моделью поведения в драматической ситуации;

2) Прецедентный — повторяя за Цезарем и другими данное высказывание, говорящий тем самым квалифицирует его как имеющее прецедент, и это прецедентное значение актуализируется в данном речевом акте;

3) Интенсиональный — это контекстно-независимое значение этого выражения, это его соотнесенность с Цезарем и застывшей семантикой именно того, что было сказано им при переходе через Рубикон. Это значение можно назвать «вечным» в смысле «вечных предложений» У. Куайна — это предложения с фиксированными контекстными координатами (напр., «Сократ сейчас сидит» + время и место высказывания, в отличие от «Сократ сидит», истинность или ложность которого будет зависеть от того, когда и где это высказывание произносится);

4) Фразеологический (внутрисистемный) — набор независимых от контекста перифраз («сделать решительный выбор в ситуации с неясным исходом», «или пан, или пропал», «или грудь в крестах, или голова в кустах»);

5) Референциальный — в конкретной ситуации говорящий таким образом обозначает свое намерение совершить некоторый поступок, и именно это и станет референтом данного экспрессива применительно к данной ситуации (напр.: жениться, подать в отставку, уехать и т. п.);

6) Перформативный — посредством высказывания-экспрессива говорящий выражает намерение действовать, тем самым совершая определенное действие и одновременно вербализируя (выражая) его смысл;

7) Наконец, можно выделить собственно экспрессивное значение: это выражение позиции говорящего, его оценка ситуации, декларирование претензий и намерений.

К. Бюлер видел в крылатых выражениях синтез слова и поступка:

> Крылатое выражение имеет речевой характер независимо от того, является ли оно вокабулой, предложением, идиомой или пословицей. Мы приблизимся к цели, слегка сместив акцент с судьбы человека на сами слова. Каждое фразеологическое и нефразеологическое выражение можно интерпретировать как человеческий *поступок,* ведь каждое конкретное высказывание связано с другими сознательными действиями данного человека. Оно стоит в одном ряду с поступками и само является поступком [Бюлер 1993: 53—54].

Нетрудно заметить, что выделенные значения в той или иной упрощенной форме присутствуют при употреблении экспрессивов. Экспрессивы являются наиболее простыми и непосредственно выражаемыми формами сопряжения слова и действия. Хотя, в отличие от крылатых выражений, они не отсылают к конкретному событию или тексту, место конкретного прецедента место занимает дескриптивное содержание (или, используя другой термин Каплана, семантическая информация). Таким образом могут быть описаны прототипические контексты анонимных высказываний. Вместо исходного прецедентного контекста или ситуации ему может быть приписана некоторая каузальная цепочка употреблений и отсылок (референций): от прототипического контекста к контекстам происходящего речевого действия / поведенческого акта. Здесь уместным будет уточнить определение Каплана. Совпадение двух множеств, контекстов и ситуаций — это не результат взаимно однозначного соответствия между их элементами, а следствие того, что контекст высказывания-экспрессива с необходимостью совпадает с обстоятельствами ситуации, применительно к которой он высказывается. Контекст и ситуация сливаются. Конкретная ситуация, в которой нечто имеет место, — это и контекст, в котором экспрессив, уместный применительно к данной ситуации, может быть выражен как экспрессивно правильное высказывание. И наоборот, сам факт выражения экспрессива становится основанием для того, чтобы

ситуация рассматривалась как подходящий контекст для его произнесения. Таким образом, кругообразность определений экспрессивной и дескриптивной правильности экспрессивов вытекает из их автореферентности и перформативности.

Соответственно, высказывания-экспрессивы можно описать как значимые действия, основанные на поведенческих фреймах, и они получают свое ситуативное значение, отсылая к ним. Экспрессивы следует рассматривать не только как выражение эмоциональных состояний и отношений, но и как потенциальное действие, которое должно иметь некоторое социально значимое и интерпретируемое прототипическое значение. Например, назвать кого-нибудь мерзавцем — это, как правило, выражение позиции говорящего. Но это может стать социальным действием, в некоторых случаях даже наказуемое как преступление (например, если это сказано о лидере страны и публично).

9.2.5. «Осмысляя событие...»

Чтобы избежать возможного логического круга, следует дополнить наблюдение Каплана о взаимосвязи между экспрессивными дескриптивными компонентами высказывания-экспрессива. Расплывчатое понятие «множество контекстов» может быть конкретизировано посредством указания на прототипические контексты и ситуации. Можно предложить следующее описание того, что подразумевается под поведенческими прототипическими (прецедентными) фреймами. Поведенческий фрейм можно понимать так, как это было предложено выдающимся социологом Ирвингом Гофманом [Goffman 1974: 10]: «фреймы (рамки) понимания, принятые в нашем обществе для осмысления событий» (frameworks of understanding available in our society for making sense out of events)[126]. Подобное понимание хорошо согласуется с определениями фрейма в когнитивной семантике[127].

Как можно убедиться, экспрессивы связаны не столько с некоторой эмоцией, сколько с некоторой ситуацией в целом, когда дескриптивное содержание экспрессива может быть выражено пропозицией (например, «oops» — «Имеет место небольшая неудача, оплошность» или же в эксплицитной фор-

[126] Ср.: “I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which govern events — at least social ones — and our subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify” [Goffman 1974: 10—11].

[127] Ср.: “A language has both interactional frames and cognitive or conceptual frames... The interactional frames amount to a categorization of the distinguishable contexts of interaction in which speakers of a language can expect to find themselves, together with information about the appropriate linguistic choices relevant to these interactions. One simple example is the greeting frame… A part of knowing a language is knowing or recognizing a large number of such frames, and knowing what linguistic choices are relevant for each of them” [Fillmore 1976: 26].

ме: «Говорящий заявляет: *Я только что заметил, что имеет место небольшая неудача*»). Данное обстоятельство демонстрирует то, что, в отличие от лексических единиц, экспрессивы должны соотноситься со структурами на сентенциальном или текстовом уровне, что и было отмечено Капланом[128].

Экспрессив должен содержать характеристики высказывания от первого лица, что и проявляется при преобразовании экспрессива в предложения. Даже если это не отдельное восклицание, а, например, встроенный в предложение эпитет, он может быть соотнесен с некоторым пропозициональным трансформом. Прецедентный фрейм есть производная от подобных сентенциональных трансформаций, благодаря чему эксплицируется его смысл. Этот смысл прецедентного фрейма может быть зафиксирован как лексическое содержание экспрессивного компонента значения, как это обычно описывается в словарях. Как уже было замечено П. Крёгером [Kroeger 2018: 28], словари, как правило, описывают выразительно правильные контексты[129].

Можно, вслед за Капланом, охарактеризовать множество контекстов произнесения «oops» как множество ситуаций, в которых имеет место незначительное нежелательное происшествие. Имеющиеся описания семантики фреймов английского языка, представленные в наиболее авторитетном корпусе *Framenet*, показывают, что интуиция Каплана была верна. Фрейм *'mishap'* «неудача» описывается как унаследованный от фрейма *catastrophe*, «катастрофа». Во *Framenet-е* дано следующее образом: «Слова в этом фрейме включают нежелательное событие, которое негативно влияет на пациенса. Вовлечение какого-либо агента не требуется»[130]. Поскольку фрейм не содержит позиции агента, это событие не подразумевает преднамеренных действий.

Уже наиболее схематичное описание фрейма '*Mishap'* «неудача» выявляет условия, при которых высказывание «*oops*» является экспрессивно уместным: это ситуации, когда на пациенса воздействует нежелательное непреднамеренное событие, но причиняя незначительный ущерб. Аккомодация фрейма происходит посредством совмещения протекающего нежелательного инцидента с событием произнесения «oops», а пациенс первого фрейма, как правило, становится агентом второго события. Экспрессив, если он является

[128] Ср.: "If what is displayed is to either be or not be the case, it must have sentential form. Thus instead of saying that my shriek displays fear, I shall say that it displays the fact (if sincere) that I am in fear… Note also the importance of the availability of the first person in transforming what is displayed into sentential form" [Kaplan 1999: 6].

[129] Ср.: "For example, most dictionaries do not attempt to paraphrase the meaning of *oops*, but rather "define" it by describing the contexts in which it is normally used: a. "used typically to express mild apology, surprise, or dismay" http://www. merriam-webster. com; b. "an exclamation of surprise or of apology as when someone drops something or makes a mistake" — Collins English Dictionary — [Kroeger 2018: 28].

[130] См.: Annotation. Mishap. n. URL: https://framenet2.icsi.berkeley.edu/fnReports/data/lu/lu2313.xml?mode=annotation (дата обращения: 07.08.2021).

экспрессивно правильным, употребляется как перформативная функция[131]; благодаря ему устанавливается соответствие между данной конкретной ситуацией и прототипической ситуацией, которая может быть представлена посредством прецедентного фрейма. При этом происходит соотнесение агента события-контекста высказывания с пациенсом ситуации-нежелательного события. Так называемое описательное значение экспрессивов можно рассматривать как результат аккомодации данного прецедентного фрейма к некоторой реальной ситуации. Семантику высказываний и выражений можно рассматривать как функцию от некоторой модельной ситуации к ситуации, в которой используются эти выражения. В случае «oops» общее правило соответствия может быть представлено как характеризующая (или классифицирующая) функция:

Ситуация-модель (неожиданное нежелательноемалозначимое событие) →

→ *Актуальная ситуация (Некто разбил стакан).*

Класс ситуаций, при которых восклицание «oops» является экспрессивно правильным, совпадает с классом событий, которые могут быть охарактеризованы как «незначительная неудача», что и будет их дескриптивным содержанием. Однако такое описание не является полным. Между классами «незначительная неудача» и «oops» есть существенная разница. Лексические единицы описываются через фреймы ситуаций, которые они обозначают. Между тем, семантика контекстно-приемлемых (use-conditional) единиц определяется рекурсивно — путем указания на условия, в которых они используются. Следовательно, говорящий «oops» должен быть одновременно и участником (или свидетелем) описываемого события. Поэтому необходимо эксплицитно указать эти ориентированные на говорящего и зависящие от контекста семантические и контекстные переменные: кто произносит «oops», в каком контексте, при каких обстоятельствах и в какой ситуации (мире).

В качестве модели можно использовать упрощенную версию той, что была предложена Поттсом (Potts 2007) и Гютцманом (Gutzmann 2015; 2019):

$$\{\textit{“oops”}\} \text{ в } (s;\ t;\ c;\ l) = cA;$$

где *Ac* — говорящий/агент в *c*; Ps —пациенс в *s*; *s* — ситуация; *t* — time; *c* — context; *l* — place;

$$Tc = T_{s+1},\ Lc - Ls;\ cA = sP.$$

Контекстно-зависимое экспрессивное значение высказывания «oops» (выделение того / той, кто есть «я» применительно к данному контексту и соотнесение с некоторой ситуацией «S») сочетается с его контекстно-зависимым дескриптивным значением. Для говорящего можно предусмотреть две воз-

[131] Ср.: “I do believe that the performative function is over and above the semantic expressive function” [Kaplan 1999: 12].

можности: либо семантическую роль пациенса, если ситуация *S* негативно воздействует на него, либо роль наблюдателя-арбитра. Вторая возможность представляется производной от первой, поскольку говорящий выражает свою солидарность с потерпевшим и ведет себя так, как если бы он пострадал в результате произошедшего с другим инцидента.

Подобную контекстуализацию, дополняя предыдущую схему, можно представить следующим образом:

Ситуация-модель (неожиданное нежелательное малозначимое событие) →

→ *Высказывая "oops" в (s; t; c; l)* →

→ *Актуальная ситуация (Некто разбил стакан).*

Условиями дескриптивной и экспрессивной правильности высказывание *"oops"* будут:

1) Ac = Ps;
2) Tc = Ts +1;
3) Lc = Ls;
4) cA = sP;
5) $S_{t, l}$ каузирует акт высказывания *"oops"* в (*s*; *t* = 1; *c*; *l*).

Такая характеристика, как *негативное воздействие*, может рассматриваться как встроенный в модельную ситуации компонент, унаследованный от фрейма "mishap" «неудача», и поэтому его не следует дублировать в семантическом описании рассматриваемого экспрессивного. Понятие прецедентного фрейма можно использовать и для переформулирования различия между объективными и субъективными экспрессивами (Kaplan 1999: 12). Различие в их семантике основано на различных процедурах соотнесения с социально принятыми практиками их использования: в случае субъективных экспрессивов ('*ouch'* «*ай*») никто, кроме говорящего, не может принять решение о соответствии высказывания прецедентной ситуации; для объективных выражений («*oops*c») все наблюдатели имеют равное право решать, можно ли классифицировать ту или иную ситуацию как незначительный несчастный случай или нет. Это наблюдение может быть детализировано: экспрессивы субъективны, если говорящий агент совпадает с субъектом-экспериенциером из фрейма-описания события, и объективным, если в фрейме он выступает либо в роли либо наблюдателя, либо пациенса.

9.2.6. Выводы

Анализ экспрессивов позволяет показать, каким образом в процессе социального взаимодействия и коммуникации генерируются значения. Они возникают как результат сопряжения языковых и экстралингвистических систем. Наивысшая степень контекстной зависимости экспрессивов предоставляет возможность выявить обусловленность их концептуализации и контекстуализации непосредственно обстоятельствами их высказывания. Экспрессивы

тесно связаны с моделями поведения, ситуациями и поступками; в этом отношении они являются наглядной манифестацией понятия языка как множества регулируемых правилами игр.

Предложенный нами подход может соединить три вышеупомянутые концепции экспрессивов (условно их можно назвать концепциями Бюлера, Остина — Серля и Каплана). Имеет смысл вновь вернуться к тем принципам, на основе которых они были выделены К. Бюлером и — применительно к бехабитивам — Дж. Остином. Они наиболее тесно связаны с поведенческими паттернами, ситуациями и действиями, в этом отношении, при инструменталистском подходе к языку, они являются прототипической манифестацией его семантики. Напомним, что К. Бюлер, выделяя функции языка, отсылает к концепции Платона — язык есть органон, то есть инструмент. При этом непременным условием для актуализации экспрессивов как семиотического феномена необходима актуализация и двух других выделенных К. Бюлером функций — референтной и апеллятивной.

Схожий подход лежит в основе философии языка позднего Витгенштейна: «Язык есть инструмент, все его понятия суть инструменты» (Language is an instrument. Its concepts are instruments [Wittgenstein 1958: 291 (569)]), — что находит соответствие в концепции языковых игр, под которыми Витгенштейн понимал комплекс (язык и правила его употребления), который в дальнейшем получит развитие в теориях речевых актов и перформативов (Дж. Остин, Дж. Серль), описавших в том числе и пути синтеза вербальных и акциональных аспектов семантики экспрессивов (бехабитивов).

Прагмасемантика экспрессивов не может быть ограничена исключительно референциальными или интенциональными аспектами высказывания, они всегда переплетены с прагматическими (контекстными и внетекстовыми) переменными. К экспрессивам следует подходить не как к маргинальному казусу, лежащему практически за пределами языковой системы, а как к непосредственному и наглядному проявлению прагмасемантики в действии. Семантику экспрессивов можно рассматривать как особую языковую игру, основанную на социальных конвенциях и механизмах контекстуализации. Их можно описать как набор правил, регулирующих операции с социальными и лингвистическими структурами и контекстами, что в некотором отношении делает их похожими на конвенциональные импликатуры и прагматические пресуппозиции [Potts 2005; 2007; Lasersohn 2005; 2007].

Способность говорящего определять соответствующие контекстные значения лексических элементов основана на общих знаниях социальных норм и конвенций. Получающийся в результате блендинг языковых и лингвистических и социально детерминированных определенных и общепринятых контекстно-зависимых значений можно описать как комбинацию поведенческих [Hoffman, 1974] и концептуальных [Fillmore, 1976; FrameNet] фреймов. В целом подобные эксплицитно или имплицитно выраженные индексальные значения могут быть представлены как постоянная функция от лингвистически и социально задаваемых переменных. Это двойная зависимая функция: она за-

висит не только от контекста, но и от обстоятельств. Возможно, этот регулярно проявляющийся, но не унифицированный, зависимый как от обстоятельств высказывания, так и от контекста говорящего семантический операциональный компонент высказывания может быть хотя бы частично отождествлен с социальными значениями, как их определял Макс Вебер. Экспрессивы являют простейшие формы отношения между словом и действием, что делает их особо удобным объектом для изучения этой проблемы. Основываясь на идеях и аппарате гибридной семантики [Kaplan 1999; Potts 2007; Gutzmann, 2013; 2015; 2019], возможно описание семантики экспрессивов как латентных поведенческих паттернов (фреймов), наделенных социально фиксированными смыслами (прецедентная или парадигматическая структура). Акционализация речевого поведения (перформативный компонент экспрессивов) находит аналог в вербализации действия (дескриптивный компонент). Соответственно, высказывания, содержащие экспрессивы, могут быть описаны как осмысленные действия, основанные на этих фреймах, и получают свой ситуационный смысл посредством отсылки к ним. Экспрессивы можно рассматривать не только как выражение эмоциональных состояний и установок (Р. Якобсон, Дж. Серль) или же как высказывания с многомерной (гибридной) семантикой (Д. Каплан, Д. Гютцман), но в первую очередь это актуальное или потенциальное действие, наделенное конвенциональным смыслом-прототипом.

Заключая, заметим, что экспрессивы следует рассматривать не как маргинальные явления, а как прототипический образец прагмасемантики в действии. Имеет смысл вновь вернуться к тем принципам, на основе которых они были выделены К. Бюлером и — применительно к бехабитивам — Дж. Остином. Они наиболее тесно связаны с поведенческими паттернами, ситуациями и действиями, в этом отношении, при инструменталистском подходе к языку, они являются прототипической манифестацией его семантики. При этом непременным условием для актуализации экспрессивов как семиотического феномена необходима актуализация и двух других выделенных К. Бюлером функций — референтной и апеллятивной.

Предложенные описания позволяют уяснить механизмы как формирования социальных смыслов, так и их социальной контекстуализации и концептуализации.

10. ФАКТОРЫ И ЛОГИКИ РЕКОНСТРУИРОВАНИЯ СМЫСЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В УСЛОВИЯХ КОГНИТИВНОЙ И ИНТЕРПРЕТАТИВНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Любой политический текст (в расширенном его понимании) представляет сложный конструкт, включающий несколько смысловых и знаковых слоев и конструируемый как для обозначения субъектом своей позиции в политическом пространстве, так и с расчетом на оказание определенного социального эффекта в различных группах. Однако с точки зрения политической социологии и социальной семиотики собственно политический текст — только одно из звеньев многоуровневого процесса политической коммуникации, включающего в себя и уже упомянутый процесс конструирования текста, и «медиа» — средство передачи сообщения, и конечную целевую аудиторию, расшифровывающую данное сообщение в зависимости от своих установок и предпочтений, а также характеристик и автора, и медиа. Ситуация осложняется тем, что реконструируемый и считываемый смысл сильно зависит от множества как структурных, так и ситуативных факторов, составляющих крайне сложный контекст восприятия, и даже аудитория-реципиент не всегда тождественна «целевой аудитории» (а как правило, практически никогда) — в расшифровку смыслов вовлекаются и те группы, которым это сообщение изначально не предназначалось, и они также активно вступают в политическую коммуникацию, обмен смыслами и согласование содержания текста, в ходе которого этот смысл и значение политического текста может (в зависимости от структурного баланса социальных и политических групп, культурно-символического пространства, состава участников коммуникации, а также имеющихся у них социально-политических ресурсов) кардинальным образом меняться, вплоть до смены модальности публичного дискурса в течение относительно короткого промежутка времени. По сути, можно говорить о том, что однажды созданный политический текст становится частью относительно бесконечного процесса политической коммуникации между различными социально-политическими субъектами.

В силу сложности этого феномена существующие модели зачастую концентрируются на процессе собственно конструирования смысла автором текста и его реконструирования реципиентом, иногда включая в это «уравнение» средство политической коммуникации, причем часто в подобных моделях изначальный замысел конструктора текста воспринимается как нечто чистое и объективное, что подвергается различного рода подстройкам и искажениям, во-первых, в ходе формулирования текста и «приспособления» его к особенностям медиа и целевой аудитории, а во-вторых, в ходе восприятия и осмысления текста уже самой аудиторией, которая «искажает» изначальный смысл.

Нам же, напротив, представляется, что в силу ряда важных фундаментальных особенностей социальной коммуникации и автор, и реципиенты текста находятся в ситуации постоянной когнитивной и интерпретативной неопределенности, и различные ситуативные факторы не только не искажают, но и всячески способствуют конструированию смысла, а также его последующей интерпретации, создают для этого необходимую опору.

Тем не менее мы не утверждаем, что политическая коммуникация носит исключительно ситуативный характер — наоборот, она подчиняется довольно строгой логике (точнее — логикам), которые создают мотив и основу политической коммуникации, а также структурируют процесс интерпретации и реинтерпретации смысла текста. Именно это взаимодействие логик, структуры участников, их ресурсов и контекста политической коммуникации представляется нам наименее изученным и поэтому помещено в центр нашего анализа.

В данной статье предлагается рассмотреть конструирование политического текста и последующее реконструирование его смысла как активный процесс согласования значения собственно текста и его культурного, социального, структурного, прагматического, политического контекста, осуществляемый субъектами в условиях неопределенности.

10.1. Неопределенность и политическая коммуникация

Неопределенность (как непознаваемость и непредсказуемость реальности человека) — имманентное свойство любой коммуникации между социальными субъектами, в силу недетерминированности человеческого поведения и его непредсказуемости для других [Гирц 2004: 86—90]. Для управления неопределенностью человеческие сообщества вырабатывают сложные устройства согласования восприятия реальности и координации поведения [Фидря 2011: 108—109], порождающие вторичную неопределенность, возникающую в социальном пространстве и регулируемую социальными отношениями, подчиняющими неопределенность конкретным логикам, связанным с распределением социально признанных и оформленных благ (капиталов), служащих одновременно и ресурсом в социальной борьбе, и ключевой наградой [Бурдье 2004; 2005].

Жизнедеятельность социальных субъектов и, в частности, коммуникация предполагают столкновение с различными типами неопределенности [Dequech 2003], имеющими различную природу, в зависимости от того, какого типа благ они касаются — средств и условий существования, распределения дефицитных ресурсов, власти, знания и пр. Любая коммуникация предполагает существование когнитивной и интерпретативной (символической) неопределенности, где первая касается неопределенности познания окружающей среды и предсказания происходящих событий (с последующей выработкой успешных адаптивных стратегий), а вторая — достоверности полученного

знания и его релевантности ситуации. Причем необходимо учитывать, что в ситуации неопределенности находятся и автор, и реципиент текста: обоим необходимо в условиях принципиально ограниченной информации учитывать структурное положение друг друга, характеристики медиа (в широком смысле — как посредника коммуникации), актуальный информационный и культурно-символический контекст, причем не только в момент конструирования текста, но и в динамике его восприятия.

В ситуации политической коммуникации к когнитивной и интерпретативной неопределенности добавляются как минимум политическая (неопределенность относительно мобилизации и координации коллективных интересов и воли, а также коллективной идентификации и репрезентации коллективных интересов), а чаще еще и административная (неопределенность установления контроля над ограниченными благами и действиями других).

Каждый из указанных типов неопределенности порождает специфический тип проблемы и логику ее решения, а также определенный набор социальных устройств (объектов, институтов, организаций, капиталов), которые обеспечивают регулирование неопределенности, категоризируя ее, объективируя, преобразуя из неопределенности в просчитываемый риск. Каждый из этих типов отношений подчиняется и определенной логике, поскольку «каждая форма координации позволяет акторам справляться с конкретным видом неопределенности» [Thevenot 2002: 193].

10.2. Расширенная модель коммуникации

Британский социолог, теоретик культуры Стюарт Холл предложил в 1980 г. доработанную версию собственной модели коммуникации, воспользовавшись концепцией кодирования (encoding) и декодирования (decoding) текста [Hall 1980]. Согласно этой модели, «кодирование» включает в себя производство сообщения, представляющего собой систему закодированных смыслов, а для этого автор сообщения сначала должен представлять себе, каким образом целевая аудитория воспринимает мир. Тогда автор сможет с помощью вербальных (читай — текстовых, включая визуальные документы) и невербальных (жесты, мимика, голос) символов сконструировать свое сообщение, ориентируясь в том числе и на цель сообщения (в том же смысле, как и классическое веберовское «социальное действие»). Декодирование сообщения подразумевает его восприятие аудиторией и реконструирование смысла членом этой аудитории в соответствии с собственными представлениями, то есть расшифровку смыслов путем присвоения значений символам и интерпретации сообщения в целом. При этом, разумеется, не гарантируется совпадение кодируемого и декодируемого смысла.

Вместо критикуемой «традиционной» линейной модели массовой коммуникации (отправитель — сообщение — получатель) Холл предложил рассматривать обмен смыслами как дискурсивную цепочку, включенную в социальные отношения и включающую четыре основные фазы — производство,

циркуляцию, распространение / потребление и воспроизведение [Hall 1980: 91]. Каждая из этих фаз не просто нелинейна, а автономна, и осуществляется социальными субъектами, связанными между собой соответствующими отношениями и социальными практиками, что также оказывает влияние на процесс обращения смыслов. На каждой из этих фаз, в зависимости от социальных отношений и практик участников коммуникации, а также ее инструментов, сообщение будет подвергнуто обработке. После того, как сложится дискурс, он транслируется в социальные практики.

На фазе производства текста автор принимает в расчет доминирующие в обществе идеи, убеждения и ценности (необязательно следуя им напрямую), а также разнообразные социальные и технические аспекты — принятые способы и формы конструирования текстов, собственные профессиональные навыки и установки, представления о целевой аудитории, а также «чужие» влияния — повестку, темы, определения ситуации и образы аудитории.

Как мы видим, уже на этапе конструирования текста и его смысла в процессе участвует не только сам автор, но и множество других субъектов коммуникации, в том числе непосредственно не принимающих участие в создании и передаче конкретно данного текста, но участвующих в общем поле производства и воспроизводства смыслов — прежде всего в политических текстах. Кроме этого социального контекста (в нашем случае это в первую очередь политики, журналисты и целевая аудитория, которые при этом неоднородны и находятся в структурных отношениях между собой), существует информационный, событийный, материальный и технический аспект. Любое значимое в данном поле событие повлияет на то, как изменится политический дискурс участников этого поля, любое заметное информационное освещение данного события повлияет на то, как участники коммуникации будут конструировать свои интерпретации этого события и чужих интерпретаций, любое высказывание или действие политического субъекта, а также его интерпретации повлияют на последующие интерпретации и т. д.

Согласно Холлу [Hall 1980: 134], интерпретируемые знаки имеют полисемантическое (но не плюралистическое) значение в зависимости от кодов, с помощью которых они расшифровываются: знаки помещаются в дискурсивные сферы, которые находятся между собой в иерархических отношениях, отражая модели институционального, политического и идеологического порядка, и хотя существует множество дискурсивных сфер, есть «доминирующий культурный порядок», и, соответственно, «предпочтительное прочтение» и интерпретация «предпочтительных смыслов». Снова подчеркнем, что это не означает одностороннего характера коммуникации и прочтения текста — скорее, речь идет о довольно творческом (без кавычек) акте интерпретации и связывания значения текста с доминирующим дискурсом и его понятиями и категориями [Hall 1980: 135]. Таким образом, процесс коммуникации представляет собой два отдельных акта — кодирования и декодирования, где на

первом автор задает определенные рамки, но не определяет код, с помощью которого текст будет расшифрован на этапе декодирования, так что между этими двумя актами есть некоторое соответствие, но оно не является естественным, а конструируется в ходе коммуникации [Hall 1980: 136].

В конечном итоге Холл выделяет три возможные позиции декодирования: доминирующая (восприятие смысла осуществляется так, как и было задумано автором), согласованная (доминирующие определения в целом принимаются, однако интерпретация привязывается к локальному контексту и ситуативным правилам) и оппозиционная (определения и смыслы отвергаются и создается собственная интерпретация). Несмотря на удобство данной типологии и ее широкое применение в эмпирических исследованиях, она нечетко определяет ситуацию «оппозиционной» трактовки — имеется ли в виду оппозиция по отношению к доминирующему коду, к конкретному СМИ или к смыслу текста, который может быть воспроизведен оппозиционными медиа?

Интересно, что сам Холл фактически оставляет только один возможный вариант кодирования — доминирующее, рассматривая в качестве переменных только позиции декодирования. Однако очевидно, что СМИ не конструируют сообщения согласно единой идеологии. Свен Росс [Ross 2011] предложил свою расширенную версию данной модели, которая предполагает два набора из девяти возможных комбинаций позиций кодирования и декодирования. Первый относится к восприятию идеологических позиций:

		Позиции кодирования		
		Доминирующая	**Согласованная**	**Оппозиционная**
Позиции декодирования (по отношению к идеологии)	**Доминирующая**	Доминирующее прочтение доминирующего текста	Доминирующее прочтение согласованного текста = Нейтрализация	Доминирующее прочтение оппозиционного текста = Нейтрализация
	Согласованная	Согласованное прочтение доминирующего текста	Согласованное прочтение согласованного текста	Согласованное прочтение оппозиционного текста
	Оппозиционная	Оппозиционное прочтение доминирующего текста	Оппозиционное прочтение согласованного текста = Усиление критики	Оппозиционное прочтение оппозиционного текста = Согласие

Как мы видим, здесь и медиа могут занимать различные идеологические позиции (например, при конструировании политического сообщения), и аудитория может воспринимать сообщение, исходя из различных политических установок — таким образом, критичный сюжет в оппозиционном медиа, «прочитанный» с доминирующей точки зрения, будет нейтрализован, а прочтение оппозиционного текста «оппозиционными» глазами подразумевает согласие с ним и принятие общей оппозиционной идеологии.

Второй набор комбинаций относится к восприятию непосредственно текста:

		Позиции кодирования		
		Доминирующая		**Доминирующая**
Позиции декодирования (по отношению к тексту)	**Принятие текста**	**Позиции декодирования (по отношению к тексту)**	**Принятие текста**	Согласие с оппозиционным текстом
	Согласование текста		**Согласование текста**	Согласование оппозиционного текста
	Оппозиция тексту		**Оппозиция тексту**	Оппозиция оппозиционному тексту = Нейтрализация

Здесь уже рассматривается отношение непосредственно к содержанию текста, а не общая идеологическая установка реципиента сообщения. Таким образом, «оппозиционное» прочтение оппозиционного текста в данном смысле означает несогласие именно с содержанием текста и нейтрализацию его смысла.

От чего же зависит принятие той или иной идеологической позиции аудиторией и каким логикам подчиняется процесс конструирования и реконструирования смысла политического текста? На что опираются участники коммуникации при кодировании и декодировании, что составляет тот самый «контекст» для акта коммуникации? Что определяет представления об «идеологии» участников коммуникации? Ответы на эти вопросы подразумевают скорее более детальный анализ социально-структурного контекста, чем собственно коммуникации, и для этого мы обратимся здесь к концепции социального пространства, связанным с ними понятиям множественных форм капитала, логик неопределенности и соответствующих диспозитивов.

10.3. Политическая коммуникация в социальном пространстве

Все социальные субъекты, все участники коммуникации находятся в социальном пространстве, которое составляет активный контекст конструирования сообщений, обмена ими и реконструирования смыслов сообщений. Под «активным контекстом» в данном случае подразумевается, что социальное пространство не просто фон для осуществления коммуникации самостоятельными индивидами, оно обусловливает осуществление и содержание коммуникации. В целом социальное пространство составляют различные социальные поля, образованные вокруг распределения дефицитных ресурсов (капиталов) и борьбы за них, отличающиеся характерными для себя принципами распределения ресурсов и влияния в данном поле, и структура этих полей (и всего социального пространства) зависит от принципов распределения данных капиталов, наличия их у социальных агентов, и отношений между

участниками «борьбы за капиталы» в рамках данного поля. В зависимости от обладания ресурсом, определяющим «расстановку сил» внутри данного поля, и возможности задавать его конфигурацию, все участники этой борьбы находятся между собой в иерархических отношениях. Разумеется, все социальные агенты одновременно пребывают в различных полях, и в их «портфель капиталов» входят разнообразные ресурсы, которые применяются ими в социальных взаимодействиях и составляют объем их потенциальной «власти» в различных полях.

Отдельное внимание П. Бурдье [Бурдье 2007] уделял символическому капиталу (как легитимному, то есть официально признанному праву на производство мнений и утверждения видения социального мира) и отношениям, связанным с его распределением между социальными агентами, в полярном варианте сводимым к двум стратегиям [Бурдье 2007: 28] — «официальной номинации» и «оскорблению», где первое является «актом символического внушения», осуществляемым лицом, наделенным государством правом на символическое насилие, а второе — попыткой частного лица внушить собственное мнение. Как мы видим, эти символические стратегии сходны с понятиями «доминирующего» и «оппозиционного» кодирования С. Холла, при этом не только не исключая промежуточных стратегий «согласования», но и показывая, как агенты коммуникации могут манипулировать своими символическими признаками, увеличивая или сокращая дистанцию от «официальной» позиции [Бурдье 2007: 30—31] и тем самым либо подчеркивая свое право на осуществление символического насилия, либо дистанцируясь от официальных институтов и демонстрируя свою независимость и объективность. В первом случае социальные агенты прибегают к «официальным номинациям» — дипломам, званиям, степеням, должностям в государственных структурах и пр., то есть институционализированным и формализованным признакам «официального» признания. Во втором случае агенты пытаются подчеркнуть дистанцию, отказываясь от государственных премий и постов в официальных структурах, определяя себя через более «общие» группы (например, «эксперт», «политолог», «политический обозреватель»). При этом агенты стараются выдержать баланс таким образом, чтобы обобщенный класс, к которому они себя относят, имел более высокий статус, чем их конкретная номинация — например, позиция «политического обозревателя» в поле публичной политики выглядит престижнее, чем «журналиста газеты N». Более высокое положение, занимаемое в конкретном поле, дает агентам больше возможностей участвовать в переопределении так называемых легитимных принципов деления поля — то есть, оставаясь внутри поля, подчиняясь его общей логике, принимая правила игры и конечный «приз» (тот или иной капитал, за который идет борьба), пытаться переопределить принципы распределения капитала таким образом, чтобы занять более высокое положение и навязать свое видение мира.

Особенность политической коммуникации состоит еще и в том, что в этом субполе символического производства агенты не просто воспроизводят

или трансформируют категории восприятия социального мира, а фактически борются за номинации социально-политических групп, и потенциально — за их репрезентацию и мобилизацию. Как утверждает Бурдье, гомологичные (однородные) позиции в социальном пространстве порождают у социальных агентов общие предрасположенности восприятия, оценивания и действия (то есть габитус). Не являясь абстрактной номинацией, класс предстает «как совокупность агентов, занимающих сходную позицию, которые, будучи помещены в сходные условия и подчинены сходным обстоятельствам, имеют все шансы обладать сходными диспозициями и интересами и, следовательно, производить сходные практики и занимать сходные позиции» [Бурдье 2007: 17]. Таким образом, группы социальных агентов со схожими позициями в социальном пространстве не представляют собой «реальные» социальные классы, но могут быть сконструированы как таковые в ходе политической коммуникации и мобилизованы к коллективному действию — и следовательно, любой политический текст решает в том числе и эту задачу по номинации социальной группы, апелляции к ее диспозициям и интересам (претензия на их репрезентацию) и мобилизации ее на действие (политическое действие или высказывание). При этом подчеркнем, что такие «мобилизованные» социальные группы «не существуют как реальные группы, несмотря на то что они объясняют вероятность своей организации в практические группы, семьи, ассоциации и даже профсоюзные или политические “движения”» [Бурдье 2007: 18].

Суммируя содержание двух последних разделов, можно заключить, что в ходе политической коммуникации и автор политического текста, и его реципиенты так или иначе обращаются к доминирующему дискурсу, либо утверждая его, либо пытаясь «подорвать», либо согласовывая с более локальным контекстом — и таким образом осуществляют работу по символическому воспроизводству социального мира. В случае с доминирующим кодом социальные агенты, обладающие большим объемом символического капитала и владеющие «официальным» правом на осуществление символического насилия, пользуясь своим символическим ресурсом, выполняют работу по легитимации доминирующего дискурса и видения социального мира, а в случае успеха обеспечивают воспроизводство своего доминирующего положения в поле символического производства. Агенты, занимающие подчиненное положение в поле символического производства, находятся в оппозиции по отношению к доминирующей идеологии, и при помощи оппозиционной стратегии и дискурса «независимости», «правды» и «объективности» подрывают «официальное» видение социального мира, пытаясь утвердить свою картину и тем самым увеличить объем собственного символического капитала, занять доминирующее положение в поле символического производства.

Хорошей иллюстрацией этой символической драматургии выступают те политические ток-шоу, где в студии присутствуют одновременно представители и доминирующего, и оппозиционного дискурса, обладающие всеми характерными признаками, позволяющими распознать их как таковых. В ходе дискуссии за право на символическое определение конкретной ситуации или

утверждение позиции по определенному вопросу обе стороны разворачивают свою аргументацию для массового зрителя / слушателя, и в ходе по возможности острого символического конфликта с однозначным исходом происходит легитимация символического видения социального мира. Отдельный интерес в таком формате представляют технические детали — инструменты легитимации и репрезентации аудитории, такие как реакция на отдельные сообщения зрителей в студии (аплодисменты или неодобрительный гул), интерактивное голосование за конкурирующие позиции или субъектов, их персонализирующих, появление в режиме онлайн комментариев зрителей или слушателей. Эти детали подчеркивают постоянное присутствие в символическом поле и живую реакцию тех, на кого эта символическая борьба и направлена.

В реальности аудитория также воспринимает и «прочитывает» предъявленный политический текст неоднородно — в зависимости от положения социальных агентов в социальном пространстве, и те социальные агенты, позиция которых в своих полях и субполях гомологична (структурно сходна) позиции субъектов символического производства, склонны («предрасположены», если следовать терминологии П. Бурдье) воспринимать и интерпретировать политический текст «буквально», как соответствующий собственной принятой символической конструкции социального мира, и отвергать либо подвергать критике символические конструкты, производимые «структурными оппонентами». Каким образом осуществляется «разметка» и декодирование текста с точки зрения влияния положения воспринимающих агентов в социальном пространстве и располагаемых ими социальных ресурсов (капиталов), мы рассмотрим далее.

10.4. Логики и капиталы в политической коммуникации

Как мы показали выше, политическая коммуникация в основном касается структуры поля власти и поля символического производства и распределения между участниками этого процесса политического и символического капитала. Кроме того, и «авторы», и «реципиенты» (если рассматривать процесс коммуникации схематично) политического текста приобретают в случае легитимации своей картины социального порядка и некоторый культурный капитал (как способность вырабатывать успешные социальные адаптивные стратегии), не говоря уже о возможностях конвертации полученных ресурсов в экономический и социальный капиталы.

Однако легитимация символического представления социального порядка возможна только при условии того, что представленный текст будет интерпретирован и воспринят в соответствии с той логикой, в которой он сконструирован (и далее будет подвергнут интерпретации в соответствии с доминирующим, согласованным или оппозиционным кодом). Между тем, как мы писали в первом разделе, конструирование и реконструирование смысла политического текста всегда осуществляется в условиях когнитивной и интерпретативной неопределенности — иными словами, помимо неопределенно-

сти относительно массы социальных условий производства смысла, все участники коммуникации изначально не знают, какой логике подчиняется тот или иной текст, следует ли его интерпретировать как политический, символический, социальный?.. Нацелен ли он на трансформацию или легитимацию социального порядка, трансформацию баланса власти, мобилизацию или перераспределение коллективной воли, подчеркивает ли он выражение коллективного интереса и принадлежность субъекта к той или иной социальной группе? Как проявляют себя различные логики и каким образом субъекты коммуникации квалифицируют тексты?

Концепция порядков обоснования ценности (Л. Болтански и Л. Тевено) подразумевает, что люди осуществляют координацию своих действий и взаимодействуют друг с другом путем различных режимов обоснования, опираясь на некие общие принципы, легитимные формы оценки сложных ситуаций и действий [Thevenot 2002]. Каждый объект, человек или действие могут быть рассмотрены, оценены и подвергнуты критике с точки зрения этих общих принципов, и каждый из этих наборов объектов, связанных с различными высшими общими принципами (общеизвестными и общепризнанными), образует связный и самодостаточный мир [Boltanski, Thevenot 2006: 40]. Болтански и Тевено выделяют шесть таких «миров» (рыночный, домашний, индустриальный, гражданский, вдохновения и известности), причем каждый из них структурируется и систематизируется на основе специфической логики и порядка обоснования ценности. Так, в «рыночном» мире люди рассматриваются как индивиды фактически атомизированные, стремящиеся удовлетворить свои желания и вступающие для этого в деловые отношения для обладания дефицитными благами. Субъекты этого мира не вовлечены в эмоциональные отношения с другими, ориентируются на достижение личной выгоды в текущих обстоятельствах и вступают для этого в конкурентные отношения с другими, а ведущим критерием оценки становится цена и богатство.

В «домашнем» мире все вовлечены в процесс создания асимметричных взаимозависимостей с другими акторами, и таким образом люди оцениваются исходя из их места в определенной иерархии и приверженности традициям. Отношения в такой логике носят обязательно персонализированный характер, объем, ценность и уникальность потенциально мобилизуемых обязательств (социального капитала) определяют место индивида в иерархии, а приверженность традициям фактически определяет степень «лояльности» и регулирует неопределенность относительно предсказуемости поведения и его соответствия нормативным образцам.

Логика «гражданского» мира, наоборот, оценивает людей безотносительно их личных качеств, с точки зрения защиты и обеспечения общего блага — это логика коллектива, а не межличностных связей. Как пишут Болтански и Тевено, «отношения эквивалентности могут быть установлены между индивидами постольку, поскольку они все принадлежат к одному коллективу, который включает и превосходит (transcend) их» [Boltanski, Thevenot 2006: 185]. Коллектив рассматривает себя как нечто единое, действует как нечто единое

и оценивает каждого члена коллектива с точки зрения коллективной сущности: «принципиальный режим отношений в этом мире — это связь, которая позволяет превратить множество индивидов в единую личность» [Boltanski, Thevenot 2006: 191]. Это возможно, когда все члены коллектива убеждены в приоритетности общего блага и действуют с точки зрения коллективной воли и общих интересов, подчиняя им свои личные.

Таким образом, отношения между людьми в рамках гражданской логики должны быть равными, предпочтение одного члена коллектива другому на основе личных отношений недопустимо, даже если их связывают дружеские или родственные отношения. В таких деперсонализированных отношениях доверие и взаимные обязательства как бы равномерно распределены по всему коллективу — следовательно, каждый из его членов имеет обязательства по отношению к нему.

Как мы видим, логически отношения между этими двумя логиками — гражданской и домашней — противоречивы. В то время как «гражданская» логика — уравнительная, обезличенная и непредвзятая, «домашняя» оценивает отдельных индивидов, носит персонализирующий характер и направлена на создание межличностных взаимозависимостей.

Невозможно квалифицировать ситуацию, действие или текст с точки зрения обеих логик одновременно. Болтански и Тевено описывают антагонизм между этими логиками, демонстрируя ту критику, которой одна логика подвергается с позиций другой. В частности, с точки зрения домашней логики гражданская может быть раскритикована за недостаток личной ответственности, персонализации, преобладание ассоциативных связей в ущерб теплоте и близости личных отношений. В свою очередь, с точки зрения гражданской логики домашняя может быть раскритикована за патернализм, авторитарность и пренебрежение общим благом в угоду «семейственности», а рыночная — за поощрение погони за личной корыстью в ущерб общим коллективным интересам.

Именно на гражданской логике основывается политический капитал — и политический текст. Квалификация ситуации или текста с точки зрения политического предполагает оценку его с точки зрения репрезентации коллективных интересов, действия в интересах общего блага и мобилизации коллективной воли.

Согласно П. Бурдье, любой капитал может находиться в трех состояниях — инкорпорированном, объективированном и институционализированном [Бурдье 2004]. В инкорпорированном состоянии капитал имеет форму «длительных диспозиций ума и тела», то есть «встроенных», усвоенных устойчивых предрасположенностей восприятия, оценивания и действия. Объективированное состояние подразумевает принятие капиталом «материальных», вещественных форм, доступных наблюдению, отчуждению и передаче. Институционализированное состояние капитала включает в себя объективированные формы «признания» обществом капитала ресурсом.

Гражданская логика порождает особый вид капитала: в своей инкорпорированной форме этот «общественный капитал» предстает в виде способности подчинять личную волю коллективным интересам и общей воле и действовать в качестве члена коллективной сущности. Он также проявляется в таких диспозициях, как непредвзятость, бескорыстность, честность, общественная полезность, ответственность, альтруизм, и (в пределе) самопожертвование — другими словами, готовность рассматривать других акторов (и индивидов, и коллективы) как членов одной коллективной сущности и действовать в интересах этой сущности.

Общественный капитал объективируется (то есть наблюдается и передается) в форме социальных и правовых статусов, которые закрепляют отношения индивида к коллективной сущности (степень его вовлеченности в общественную жизнь и защиту общественных интересов) и предоставляет определенный набор общественных благ, зависящих от этих отношений. Примерами этих статусов могут служить гражданство, членство в общественных организациях, пенсионный статус, государственные награды и пр.

Наконец, в институционализированной форме общественный капитал существует в виде различных общественных прав. Зачастую они формализованы в нормативных актах, но это не является обязательным условием, поскольку многие подобные блага считаются сообществом естественными. Чем большими правами наделен индивид или группа, тем больше объем их «общественного капитала», который может быть конвертирован в различные общественные блага (то есть в производство и воспроизводство прочих видов капитала) — пособия, стипендии (экономический), бесплатное образование (культурный), медицинское обеспечение (физиологический), право голоса (политический) и т. д.

Таким образом, общественный капитал регулирует неопределенность достижения коллективного блага и поэтому базируется на гражданской логике, которая уравнивает всех членов коллективной сущности в их обязательствах преследования общего интереса и подчинения себя общей воле. Этот капитал должен отделяться от социального, поскольку основан на совершенно иной (даже антагонистической) логике.

Наконец, в контексте рассматриваемого вопроса наиболее интересной нам представляется еще одна форма капитала — капитал политический. Он также основан на гражданской логике и отвечает на вторичную (производную) неопределенность, касающуюся отношений между коллективными сущностями. Поскольку коллективные сущности не могут взаимодействовать друг с другом непосредственно, возникает неопределенность относительно того, как коллективные интересы и воля будут представлены, рассмотрены, обсуждены и реализованы. Более того, даже для членов одного коллектива репрезентация его интересов и воли представляет проблему — чтобы эти интересы стали доступны для «коллективной саморефлексии» и самоидентификации, требуется адекватное их воплощение и представление. Именно через политический капитал данная проблема получает решение.

Сам термин «политический капитал» можно найти в нескольких работах Бурдье (напр., [Bourdieu 1991]) и В. В. Радаева [Радаев 2003]. Бурдье не дает четкого определения политического капитала, связывая его с монополией на пользование объективированными инструментами власти (закон, армия, полиция и пр.), которая основана на монополизации права производства правил структурирования социального мира. Политические субъекты могут получить это право от больших групп, многочисленные члены которых «узнают себя» в этих политических субъектах и признают за ними право представлять интересы этих групп. И сила политических субъектов, действующих в политическом поле, зависит не от ценности их политической программы, а от мобилизующего эффекта, который они могут произвести.

Политический капитал подчиняется той же гражданской логике, что и общественный капитал, поскольку политические субъекты должны подчинять свои интересы и волю коллективу, чьи интересы и волю они выражают. Указание на эту мысль можно найти в работе Болтански и Тевено «On Justification»: «Репрезентация дает власть внутри организации и наделяет возможностью осуществлять власть» [Boltanski, Thevenot 2006: 186], и хотя здесь авторы рассматривают организации, а не большие группы, данная логика может быть распространена и за пределы организаций. Для того чтобы получить политический капитал, накапливать и воспроизводить его, субъект должен следовать логике равенства и справедливости, преследовать коллективные интересы в ущерб личным. Любой инцидент, в котором политический субъект действует в интересах другого индивида или малой группы (то есть действует в логике межличностных обязательств и личной пользы) в ущерб коллективу, который наделил его политическим капиталом, серьезно подрывает признанное право на представление коллективного интереса. Напротив, чем больше политический субъект воспринимается как типичный представитель большой социальной группы, чем ближе его образ по своим характеристикам к образу представляемой группы («один из нас») — то есть чем больше он «равен» представляемой группе, тем больше объем его политического капитала. В свою очередь, политический капитал может быть конвертирован в другие формы — например, в административный, который позволяет распределять ресурсы, которыми обладает представляемая группа, определять нормы допустимого поведения и пр. Таким образом, политический капитал может быть определен как мобилизация коллективного действия и репрезентация коллективных интересов.

В своей инкорпорированной форме политический капитал предстает как индивидуальная способность представлять и защищать коллективные интересы и волю. Индивидуальные диспозиции политического капитала проявляются в лидерстве, внешних и поведенческих признаках сходства с представляемой группой.

Объективированной формой политического капитала, его «материальным» воплощением должны быть наблюдаемые, измеримые и частично передаваемые формы. Политический капитал часто ассоциируется с конкретным

лидером или небольшой группой, демонстрирующей релевантные диспозиции и качества, так что его передача затруднена. Однако можно уверенно предположить, что политический капитал объективируется в политических партиях, социальных движениях, массовых собраниях, региональных филиалах и прочих «объектах», которые позволяют «увидеть» объем политического влияния и «представительность» политического субъекта. Кроме того, в принципе возможна передача формального руководства партией или общественной организацией, а также, например, части голосов более успешному кандидату, прошедшему во второй тур.

Институционализированная форма капитала предполагает его признание как ресурса в некоей объективной форме. Следовательно, институционализированная форма политического капитала включает в себя различные формы измерения мобилизации коллективного действия и репрезентации коллективных интересов. В частности, сюда можно включить политические рейтинги, проценты полученных голосов, отражающие признанную измеримую репрезентацию коллективных интересов, а также число людей, принявших участие в политическом событии — то есть мобилизованных для коллективного действия. Эти формы политического капитала институционально признаны как выражение реальной мощности политического субъекта и неслучайно именно за эти цифры и их легитимацию зачастую идет наиболее ожесточенная символическая борьба.

Таким образом, политический капитал — это социальный ресурс, позволяющий группе «аккумулировать» свою коллективную волю и интересы и «персонализировать» их в некоем политическом субъекте (индивидуальном или групповом). Политический капитал позволяет решить проблему неопределенности мобилизации коллективных действий и репрезентации коллективных интересов — как для репрезентирующего субъекта, так и для представляемого коллектива. Он наделяет субъект властью, достаточной для оказания влияния на конституирующие принципы социальной реальности, в противном случае невозможного, и таким образом позволяет «сублимировать гражданскую войну» [Bourdieu 1991: 181] — переводит противоречивые интересы социальных групп в форму символической борьбы в общественном пространстве, где каждый член коллектива может наделить политический субъект правом выражать свои интересы, структурируя поле власти и символического производства в соответствии с доминирующей волей и интересами.

10.5. Диспозитив и управление когнитивной неопределенностью

Каким образом субъекты квалифицируют ситуации, определяя, какую логику применять для анализа ситуации и реконструирования смысла текста, а затем и для обоснования своего видения в том случае, когда между принципами квалификации возникает конфликт?

Согласно теории конвенций, субъекты при идентификации ситуации и ее компонентов опираются на «диспозитивы» — своеобразный набор объектов,

которые могут образовывать сложные ансамбли, находиться во взаимосвязи с субъектами и образовывать вместе с ними согласованные ситуации [Болтански, Тевено 2013: 225—226], тем самым способствуя квалификации участников и компонентов коммуникации и идентификации релевантного принципа оценивания. В данном случае под компонентами диспозитивов подразумеваются не только материальные, но и нематериальные объекты, как объективированные, так и инкорпорированные — главное, чтобы они позволяли квалифицировать ситуации.

Р. Келлер, рассматривая понятие диспозитива в своей работе, посвященной приложению социологии знания к анализу дискурсов, указывает, что диспозитив сочетает в себе «институциональную основу, сумму всей материальной, практической, персональной, когнитивной и нормативной инфраструктуры производства дискурса, а также инфраструктуры реализации (implementations), возникающие из дискурсивно конфигурированных проблематизаций в поле практики» [Keller 2012: 65]. Институциональную часть диспозитива образуют, в частности, агенты, производящие и легитимирующие определенные символические конструкты и принципы видения мира — эксперты, спикеры, журналисты, исследовательские центры и ученые, издающие и распространяющие свои заявления, печатные материалы, статьи и пр. «Инфраструктура реализации», в свою очередь, будет включать нормативные акты, формализованные процедуры, технологии и специализированные объекты, нормы и санкции, а также сами поведенческие практики, которым субъекты могут следовать или не следовать. Таким образом, диспозитив связывает дискурс и поле практики, позволяя производить обоснованные квалификации ситуаций, извлекать из этого прагматический смысл и осуществлять практические действия.

В случае политической коммуникации, которая подчиняется гражданской логике, принципам независимости, коллективности и беспристрастности, выражения коллективного интереса и мобилизации коллективной воли, компонентами диспозитива, позволяющими «узнать» соответствующую логику и оценить коммуникацию как «политическую», выступают коллективные лица (или их представители) — органы управления общественных и политических организаций, партии, общественные группы и движения, секции, представительства, бюро и комитеты, наконец, персонально депутаты, делегаты, члены партий, организаций и движений, активисты. Наличие указания на подобный статус у одного из объектов коммуникации (визитка, представление, указание статуса субъекта в СМИ) позволяет квалифицировать его прежде всего как политического актора и проводить коммуникацию, осуществлять реконструирование ее смыслов в логике политического текста.

Квалифицировать ситуацию также помогают и сопутствующие институциональные формы гражданского мира («законные формы»), обеспечивающие признание и узнавание общественного и политического — права, законодательство, формальные акты и указы, формальности, процедуры и протокол, электоральные права, кодексы, избирательные округа и списки, полити-

ческие программы, политический курс, а также материальные, объективированные формы «гражданского мира» — политические плакаты, брошюры, листовки, лозунги, бюллетени, штаб-квартиры кандидатов и партий, общественные приемные, членские билеты. Политический смысл может быть присвоен и изначально «неполитическому» объекту, ставшему частью политического текста, ассоциированному с каким-то конкретным политическим субъектом или ситуацией и поэтому «наделенного правом» означать эту ситуацию или субъект. Инвестиция политического смысла в яркий и узнаваемый (достаточно универсальный) символ часто используется в информационных кампаниях и в организации массовых действий, поскольку позволяет моментально идентифицировать сторонников, обеспечить взаимное узнавание и контекста, и участников коммуникации, и таким образом способствует выполнению двух важнейших функций политического капитала — репрезентации группы и мобилизации ее коллективной воли.

«Политический» формат представления политического текста также существенно упрощает задачу его идентификации — особенно в тех случаях, когда сам субъект не ассоциируется с политическим полем (например, актер или спортсмен) либо обладает множественной идентичностью. Представление текста в форме воззвания, манифеста, общественной или политической инициативы, не говоря уже о постановлениях, распоряжениях, протоколах, положениях и прочих формализованных инструментах, правом издавать которые наделены далеко не все, позволяет легко идентифицировать текст, призванный мобилизовать, репрезентировать группу или закрепить ее статус. Нужно учитывать и формат «площадки», платформы коммуникации, социально оформленного места действия — конгресс, саммит, сессия, собрание, конференция, форум, демонстрация, митинг и пр.

Наконец, имеет значение и сама риторика, применяемая в тексте: темы сплочения, мобилизации, объединения, исключения, вступления и присоединения, демонстрации группы и репрезентации ее интересов в конкретной политической сущности, а также доказательство либо оспаривание эффективности выполнения этой сущностью своих политических функций — преследует ли субъект свои личные или узкогрупповые интересы либо же защищает интересы всей группы, которую он представляет, является ли он выразителем интересов данной группы или же не имеет права (по каким-то своим качествам и взглядам) претендовать на то, чтобы стать ее воплощением, — однозначно указывают на политический характер коммуникации.

10.6. Конструирование политического текста и реконструирование его смысла

Конструирование политического текста выполняет три основные функции: конструирование (структурирование) социального порядка, демаркация социального пространства, чьи интересы представляет политический субъект (необязательно речь идет об обозначении «своей» области социального про-

странства, таким же образом можно произвести атаку на границы политической репрезентации другого субъекта), мобилизация коллективной воли для осуществления определенного действия.

Публичное представление политического текста может осуществляться как самим политическим субъектом (политиком, коллективным актором или его представителем), так и субъектом символического производства — журналистом, идеологом, ученым, общественным деятелем, деятелем культуры.

Согласно модели коммуникации С. Холла и его последователей, кодирование политического текста может осуществляться с позиций так называемой доминирующей идеологии, оппозиционной или согласованной, и точно таким же образом декодирование (реконструкция смысла) текста может производиться с позиций доминирующей, согласованной или оппозиционной идеологии.

Восприятие любого текста осуществляется субъектами в условиях когнитивной неопределенности. «Узнавание» текста как политического, распознавание его идеологии, прочтение смысла и содержание осуществляется участниками коммуникации в контексте соответствующего диспозитива, который становится основой для квалификации субъекта производства текста, выбора релевантной логики его интерпретации и реконструирования смысла. При этом участники коммуникации опираются на характеристики и статусы субъекта производства текста, институциональные характеристики площадки для представления текста (признание ее в качестве политической платформы или общественного пространства), формат и специфическую риторику, знаки и символы (в том числе взятые из актуального контекста).

Важнейшее значение для конструирования и реконструирования смысла текста имеет структурное положение участников коммуникации — не только их позиция в поле символического производства (и связанный с этим символический капитал), но и связь субъекта с полем власти, его непосредственная интеграция в отношения власти (например, прямая поддержка конкретной политической силы или занятие политического поста) либо знаки, позволяющие судить о поддержке определенной идеологии (например, формат кодирования — доминирующий, согласованный или оппозиционный). Важно учитывать, что вовлечение субъекта производства смыслов в отношения власти существенно ограничивает долю людей, которые признают за ним право на символическое определение и объяснение социального порядка, однако возможна и взаимная конвертация этих капиталов (например, бывший государственный деятель может стать авторитетным экспертом, а популярный журналист — войти во власть, получив большую часть голосов). В той или иной степени политическая или идеологическая идентификация текста и субъекта его производства необходима для формирования достаточного интерпретативного контекста и апелляции к характеристикам и интересам репрезентуемой группы.

Реконструируя смысл текста, участники коммуникации не только интерпретируют его «непосредственное» значение, но и прочитывают стратегии

«автора» (здесь имеется в виду собственно политический субъект, индивидуальный или групповой) по установлению своего символического порядка и изменению структуры поля власти, опираясь на собственные диспозиции восприятия, обусловленные их положением в этом поле, и учитывая возможные изменения структуры и угрозу собственному положению. Создаваемый участниками политической коммуникации корпус интерпретаций также воспроизводится при помощи доступных площадок и каналов коммуникации, обеспечивает воспроизводство собственного символического представления социального порядка, позволяет реализовывать различные коммуникативные стратегии — поставить под сомнение конкурирующие представления, обесценить их значение, подвергнуть сомнению выбранную логику обоснования, извлечь наиболее яркий символ и поместить его в обесценивающий или иной смысловой контекст и пр. Кроме того, будучи произведенным, текст становится доступным для обращения не только в актуальном событийном контексте, но может быть «извлечен» и реинтерпретирован в том случае, когда происходит новое событие, укрепляющее или подрывающее символическую картину обосновываемого социального порядка, делая процесс реконструирования, реинтерпретации и ремедиации политического текста практически бесконечным.

Таким образом, субъекты политической коммуникации — и производящие, и интерпретирующие, и осуществляющие ответное действие (коммуникативное или политическое) одновременно погружены в структурный контекст (отношений власти и символического производства), событийный, и при интерпретации текста и выработке последующих действий следуют своим коммуникативным стратегиям, направленным на утверждение своего символического порядка, права на репрезентацию какой-то части социального пространства, мобилизацию коллективного действия и, соответственно, предотвращение или оспаривание аналогичных действий конкурирующих субъектов.

11. НАРРАЦИЯ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР

11.1. Событийные нарративы: роль и модель

Содержание нарративов определяют описываемые в них события — главный элемент смысловой картины мира, ее онтологического основания. Неслучайно термином «событие» оперируют различные науки — и гуманитарные, и естественные, и точные. Это понятие имеет множество определений. События можно охарактеризовать по-разному, в зависимости от того, в каком предметном поле они рассматриваются, а также — от того, какой их функционал берется во внимание. В данной работе нас будут интересовать прежде всего события как явление социальной жизни, которая развивается на основе событий, выступающих импульсами и маркерами этого развития. Это относится как к историческому процессу, анализу состояния социума, развитию конкретных сторон жизни социума, так и к социальной коммуникации, формированию нематериальных активов — все эти сферы прирастают событиями, которые привлекают внимание, формируют память, закрепляют картину мира. В этом плане событие может быть явлением и бытовым, и научным, и политическим, и религиозным. Отвлекаясь от такой социальной обрисовки, нас интересует феномен социального события в управленческом контексте, что позволяет не ограничиваться в рассмотрении описаниями, но вести его в контексте возможностей конструктивного преобразования реальности.

В этой связи события выступают даже как специфическая практика и даже дисциплина «менеджмента событий», а точнее — менеджмента специальных событий (special events). Существует даже специальный рынок услуг, на котором действуют профессионалы-«ивентщики» и ивент-агентства, обслуживающие бизнес, политику, некоммерческую сферу, культурные индустрии, спорт и т. д. Речь идет о достаточно специфической особенности современного информационного общества, в котором не столько события освещаются потому, что они происходят, сколько они происходят для того, чтобы о них сообщалось. Функции таких событий достаточно разнообразны — от создания новостных поводов и формирования медийного пространства до рекламы, стимулирования продаж в маркетинге и реализации внутренней и внешней позиции. Можно говорить уже о сложившейся индустрии специальных событий и социальных мероприятий.

Однако за всей этой многогранной деятельностью стоит важнейшее значение событий не просто как части социальной реальности, а как фактора ее формирования, что ставит события в фокус не только управленческого, но и философского осмысления. Причем, как мы постараемся показать, такое осмысление оказывается принципиально важным и для практики организации событий.

Дело в том, что обычно события описываются статично, как некие факты. Между тем принципиально важна возможность анализа их динамической природы. Поэтому необходимо попытаться решить три задачи. Во-первых, это проблема возможности динамического описания природы событий. Во-вторых, — выработки математического аппарата, позволяющего выражать эту динамику. В-третьих, нужно попытаться верифицировать предлагаемую модель и обозначить некоторые возможности ее применения для создания возможной таксономии специальных событий[132].

В этом контексте события предстают как процесс, который регистрируется наблюдателем по изменениям некоторого параметра или группы параметров (характеристик, определений) денотата во времени. Тогда можно говорить о том, что событие — это некоторая сущность, которая описывает изменение других сущностей по какой-то оси координат (например, по времени). С этой точки зрения события как явления во времени, формирующие опыт, рассматривал А. Бергсон [Bergson 1946]. С точки зрения А. Н. Уайтхеда, события являются основным элементом строительства реальности: он понимал их как пространственно-временные происшествия [Whitehead 1947]. Они имеют свои имена, уникальность, значения и, в аристотелевском понимании, — сущность. Б. Спиноза утверждал, что события — это причинно-следственная основа пантеизма, и в этом мире нет такой реальности, форм, элементов и единиц, которые не были бы событийны [Спиноза 1999]. М. Хайдеггер описывает событие как базовый элемент, род первоначального различия, которое описывает являемость бытия [Хайдеггер 1997]. Как и Бергсон через понятие *durée* (протяженность, длительность), Хайдеггер определяет событие как уникальное явление, которое не привязано к пространственно-временным координатам, а составляет вот-бытие или здесь-бытие, через понятие *Dasein*. При этом оба эти понятия связаны через событие. Как понятие, развязанное (не имеющее привязки) со временем и пространством в трактовке Бергсона, использует событие и А. Бадью:

> Событие не принадлежит к порядку реальности. Мысль здесь ориентируется на отличие события от его текущей имитации, которую можно назвать фактом... Событие есть то, чего недостает фактам, и то, что задает этим фактам истинность» [Бадью 2005: 53—54].

В этой связи оказывается полезным вспомнить введенное Аристотелем понятие модальности, как способа бытия какого-либо объекта или протекания какого-либо явления, события [Аристотель 2006]. При этом событие при-

[132] К сожалению, за рамками такого рассмотрения остается множество актуальных тем, связанных с различными методологическими возможностями работы со специальными событиями. Эти темы, связанные с операционализацией, прикладными технологиями, различными системами автоматического и ручного управления, многовекторной оптимизации, как и многие другие, вероятно, составляют предмет дальнейшего направления изучения заявленной темы.

обретало модальность, потому что ему придавалось значение управляемого процесса, которое готовили, проводили, завершали, ждали и т. д. Действительно, если уподобить событие сигналу, то оно будет определяться передачей некоторой системы знаков, которые регистрируются каким-нибудь одним или несколькими органами чувств, непосредственно или опосредованно, через различные приборы, несущие информацию о каком-либо событии, состоянии объекта либо передающие команды управления. Таким сигналом может быть выстрел, кодовое слово, знак, начало движения или остановка, жест, изменение температуры, давления, радиации. Все что угодно попадает под описание события как сигнала. В этом смысле событие — разновидность процесса, так что все события являются подмножеством множества процессов и выделяются из этого множества своим свойством внесения изменения в систему. Существует одно необходимое и достаточное условие — отличие события от фонового изменения, называемого «шум»: этот сигнал должен получить наблюдатель или регистратор, которому он адресован. Подразумевается наличие у такого наблюдателя возможности для приема сигнала, дешифровки и системы анализа, заданной заранее, до начала события. В технике сигнал — всегда событие, то есть изменение состояния системы или любого ее компонента, опознаваемое логикой системы как значимое. Событие, не опознаваемое системой наблюдателя, его логической или технической системами отношений как значимое, сигналом не является. Событие в рамках данного исследования — это значимое для системы изменение предыдущего состояния. Данное определение необходимо и достаточно для построения модели события. В дальнейшем понятие специального события будет пониматься как спланированная заранее и регламентируемая во времени коммуникация двух или более групп в социальной реальности. Выделяя специальные события во множестве событий, мы будем говорить об определении именно социальной реальности в общем событийном пространстве. Однако для непосредственного перехода к такой модели требуется одно важное методологическое уточнение.

В настоящее время сложилось доминирующее представление о социальных науках, включая социологию, экономику, политологию, как об исследованиях с опорой на эмпирические данные, с их обработкой качественными и количественными методами, что позволяет строить индуктивные обобщения, а также аргументированно представлять следствия из этих обобщений. При этом ключевым моментом объяснения оказывается подведение предмета рассмотрения под некую общую категорию — как на стадии определения предметной области, так и на стадии формулировки итогов проведенного анализа. Главной становится возможность операционализации качеств (свойств), задающих данную категорию, без чего исследование не может обратиться к таким процедурам, как наблюдение, измерение, что лишает исследование эмпирического содержания. Эта классическая модель гипотетико-дедуктивного метода [Hempel 2000] (на которой построена вся позитивистская методоло-

гия) дает возможность обработки эмпирических данных, прослеживания зависимостей между ними, возможность предлагать различные модели, формулировать гипотезы, подтверждать и опровергать их.

Вместе с тем реализация позитивистской методологической программы применительно к социальным наукам выявила как минимум два класса проблемных издержек — оценочную категоризацию и элиминацию социального субъекта [Тульчинский 2017: 76—98]. Научное объяснение предстает сведением разнообразия к некоей общей теоретической рамке и все более тщательной детализации предзаданного паззла в этой рамке. При этом «эмпирика» оказывается зависящей от теоретически заданных представлений относительно того, что есть «факт», а сама «теоретическая рамка», определяющая такие представления о реальности, уже зависит от используемого метода.

В результате позитивистская парадигма позволяет строить все более детализированные характеристики настоящего, но оказывается в затруднении при объяснении реальной динамики происходящего, реальных социальных сил, обусловливающих эту динамику как равнодействующую столкновения их воль. Это убедительно показали не только нашумевшие истории с провалом прогнозов относительно президентских выборов в США, Brexit-голосование, но и тупики с объяснением развития российской экономики, перспектив мультикультуральной толерантности в Европе, феномена постсекулярности, природы исламского радикализма.

Оба вектора проблем — и издержки подведения под общую категорию, и элиминация вменяемого социального актора — указывают на возможную фокусировку их решения. Речь идет об учете конструктивного (порождающего) характера человеческой активности, и научного познания — в том числе. И такая фокусировка оказывается в тренде общей методологической рефлексии последних полутора столетий, начиная с попыток решения проблемы оснований математики (Д. Гильбертом и далее — Л. Брауэром, А. Гейтингом, А. Марковым, Н. Шаниным) и выявления зависимости представлений о реальности от используемых средств и методов (соотношения неопределенностей В. Гейзенберга, принцип дополнительности Н. Бора) в физике — до вышедших на первый план дигитализации, алгоритмизации, программирования. Анализ смещается на процессы, порождающие предмет знания. Объяснение становится не подведением под известное общее, а указанием порождающей процедуры. Эту познавательную установку Фр. Бэкон, основатель методологии опытного знания и индуктивной логики, называл выявлением «скрытого схематизма» явления, а применительно к истории Р. Коллингвуд и применительно к теории литературы В. Шкловский — «сделанностью» вещи. Никакое знание теории не научит человека плавать или водить машину.

Технически, технологически ориентированная эпистемология распространяется на все большее число областей науки. Примерами такого распространения являются «дискурсивный поворот», общее смещение внимания к языковым, коммуникативным практикам, [Habermas 2001; Dijk 1998; McClos-

key 1998] неоинституционализм, ориентирующий на процесс порождения и развития социальных, правовых институтов [North 2005; Acemoglu 2012], когда институты предстают не только и не столько результатом коммуникативных процессов, сколько самими процессами устойчивой коммуникации.

Отмеченный тренд хорошо прослеживается на примере маркетинга — как практики и теории преобразования социальной реальности, представшего системообразующим принципом деловой активности, включающим в себя анализ ситуации, выработку идеи продукта и его производства, продвижение (коммуникацию, рекламу, специальные события) и реализацию (сбыт). Уже к середине прошлого столетия маркетинг стал эффективной технологией не только бизнеса, но и формирования определенного образа жизни.

Этим трендам соответствует модель науки Й. Галтунга [Galtung 1977: 41—71], согласно которой развитие социальной науки происходит в постоянном движении между тремя образующими треугольник «полюсами» — данными, теорией и ценностями. Осмысление эмпирических данных с ценностных позиций реализует критицизм («критическая компетентность»). Синтез теории и эмпирических данных реализует эмпирицизм с его попытками объяснения и предвидения развития. Синтез теории и ценностей дает конструктивизм — как возможность построения образа желаемого, предпочтительного будущего. Конструктивистский анализ возможности достижения предпочтительного мира открывает возможность выработки предложений по проведению изменений, воплощению новой или исправлению старой реальности.

Смысловая структура научной идеи представляет собой синтез знания описаний (как их соответствия реальности), оценок (соответствия реальности цели, образу желаемого будущего) и нормы (как возможности, пути достижения цели) [Тульчинский 2001]. И в этом плане она аналогична структуре целевой программы — каковой, собственно, и является любое научное исследование. В этой связи вполне обоснованно ставить вопрос об общенаучном статусе конструкционистского (технологического, «программно-целевого») подхода наравне с другими междисциплинарными стратегиями познания — функциональным, структурным, системным, комплексным подходами. Более того, конструкционизм выступает их развитием и дополнением, использует их как свою предпосылку и основание: структурный подход раскрывает «сделанность» предмета как состоящего их некоего набора компонентов и их связей; функциональный подход объясняет, что́ порождает структуру; комплексный подход разъясняет уже ряд функций; системный подход — что́ интегрирует комплекс функций; конструктивно-технологический подход — что́ задает целостность системы, ее «назначение». В этом плане конструкционистско-технологический подход предстает как обобщение и развитие теоретического и методологического потенциала других указанных подходов.

Тем самым можно говорить о складывающихся предпосылках перехода парадигмы социального знания от статико-структурных констелляций к анализу процессов изменения и развития. Такой переход сродни переходу в физике от статики и кинематики — к динамике.

В этой связи событие предстает важнейшим примером конструктивного порождения реальности. Но не как со-бытиЯ, как «существования рядом», как включенности в некий общий контекст, а именно — как включения в процесс порождения реальности.

Рассмотрим место события в системе генерации реальности. Существует N субкультур. Отличительное свойство субкультуры — наличие своего языка, своего мира как системы описания, семантики, системы предикатов. Соответственно, существует N+ систем знаков (десигнаторов, «означающих»), определяющих однозначно связь событий и их толкование. Закрепим алгоритм создания семантики произвольной системы: событие — анализ — синтез — закрепленное значение, десигнатор. При общем алгоритме получим уникальную и оригинальную модальную систему для конкретной субкультуры. Более того, наличие данного алгоритма в реальной системе присутствует у всех и их объединяет, потому что является единственным антропологическим свойством перцепции. В рамках этого алгоритма появляется уникальность и оригинальность, определяющая идентичность, например подпись, логотип, клеймо, товарный знак, бренд.

Если допустить, что денотаты («означаемые») у всех субкультурных миров (в основном) одинаковые, а десигнаторы (как особенности культуры) — разные, то можно говорить о том, что у всех миров разные условия или функции в рамках общих алгоритмов создания десигнаторов. Работа алгоритма по генерации десигнаторов — функция, зависящая от уровня развития. Здесь надо обратить внимание на то, что различие культур не измеряется достижением ими технологического прогресса, а только наличием той переменной, которая в силу внешних средовых условий более развита. Так, например, в англоязычной среде констатируется большее разнообразие терминологии технологического характера, по сравнению с языком зулу. Но в языке зулу существуют уникальные знаки (слова), описывающие более 35 оттенков зеленого листа, а в языках народов Крайнего Севера — более 80 оттенков описания снега.

Язык как система функций находится в двух состояниях:

(1) Генерация десигнаторов. Это явление, описывающее коллективное действие, попытку договориться об описании окружающего мира с помощью изображений, знаков, жестов, звуков голоса. Это является коммуникацией в чистом виде. Одним из наиболее распространенных направлений в генерации является исправление ранее принятых значений и смыслов события. Исправление происходит по мере развития общего уровня образования и просвещения социума. В этом процессе происходит исправление ошибок старой генерации и прихода к новой общей семантической системе. Наиболее эффективно процесс исправления происходит при кросскультурном обсуждении событий в социальной или публичной коммуникации. Скорость и качество процесса генерации и регенерации смыслов и значений событий тормозится личной, субкультурной и общекультурной унификацией. Каждый человек, как и сообщества людей, воздвигает барьеры на пути кросскультурного дискурса,

пытаясь сохранить свою идентичность и уникальность. В истории борьба унификации против уникальности ведется давно и с переменным успехом. Создаются и распадаются империи, меняются культурные стили, но по-прежнему актуально сопротивление персонального восприятия коллективному — «всех под одну гребенку», «прокрустово ложе». Могут загореться костры инквизиции.

(2) Замораживание обсуждения — создание словарей, закрепление ликвидация в алгоритме «Событие — анализ — синтез — закрепление значения знаком» анализа и синтеза. Этот процесс редуцируется до алгоритма: «событие — знак, совет: *Идет дождь — возьми зонт*». При этом игнорируется рассуждение. Вот ход, например, стандартного генерирующего алгоритма, опущенного в упрощенном виде: *Идет дождь — можно намокнуть — нужна защита — нужно взять зонт*. Одной из форм замораживания или фиксации отношения к событию служит формирование табу — запрещенных тем. Рассмотрим в качестве примера такое событие, как восход Солнца над горизонтом. В системе до Галилея Солнце восходит над горизонтом, и это событие описывается как «восход» и «истинное». Но в системе после Галилея движения Солнца нет. Земля поворачивается, и наблюдатель видит появление Солнца. Интуитивно сформировалось табу, запрет на изменение описания, осуждение автора. Спустя много лет восприятие реальности по-прежнему рисует нам реальность «до Галилея», несмотря на всеобщую информированность.

В любом сообществе происходит эргономический процесс сокращения рассуждения до стереотипической реакции. Это хорошо, потому что экономит время, экономит ресурсы человека. Как бы мы затормозились бы, если бы размышляли каждый раз как нам переставлять ноги при ходьбе или пользоваться ложкой во время еды. Но в этом наблюдается и явный негативный процесс, который сводит обучение человека к системе реакций на внешние события. «Пробежала кошка — плюнь через плечо». Рождается в субкультуре группа ленивых, которая «канонизирует» связь «событие — десигнатор». Появляются скрепы, «святое», добавляются групповые переживания и так далее. Более того система примет инструкций к жизни вошла в систему образования. Она строится на знании — умении — навыках по использованию предыдущего наследия в большинстве, и на обучении анализировать в меньшинстве.

Полученные множества А, состоящие из событий, сопоставляются множеству В — социальных реакций на эти события. В случае, когда появляются новые события, а в множестве В нет соответствующих реакций, логично было бы предположить новый виток анализа и синтеза. К сожалению, так происходит не всегда, чаще методом перебора человек пытается «пристроить» существующие десигнаторы новым событиям или предметам. В случае, когда это удается, мы имеем использование одного знака для двух событий или двух толкований, как в хрестоматийном семантическом треугольнике: разные денотаты собака Шарик и маленькая сфера имеют одинаковый десигнат.

Каждое событие по определению наблюдаемо, регистрируемо. А вот с интерпретацией по-прежнему проблема. Эта проблема заключается в том, что, наблюдая одинаковое или одно событие, зрители могут описать, означить его по-разному и придать ему различный смысл, в соответствии со своим мировосприятием. Можно научить интерпретировать «правильно». Но откуда кто знает, как правильно? Что правильно, а что — нет? Необходимо создание модели, которая описывала бы модальные логики и системы события в рамках этих модальностей. Так модельная основа события может стать основой целого семейства типовых событий, происходящих при похожих условиях.

Процесс описания денотатов первичных (по Аристотелю) сущностей с помощью системы предикатов порождает вторичные сущности. Событие является функцией, описывающей не сами сущности первого рода, а изменение этих сущностей, то есть сущностью второго рода.

Любое изменение в системе описания состояний (миров), состоящих из сущностей, предикатов и логических союзов можно описать с помощью системы событий. А если можно говорить о системе действий, то можно воспользоваться для ее описания математической семантикой, определить событие (или систему связанных событий) как величину, описывающую состояние изменения системы. Математическая семантика позволит моделировать реальные события, создаст описание, которое позволит определить тождественность события в возможных мирах. Сложность возникает при рассмотрении события как инструмента создания реальности, с одной стороны, и как анализа созданной системы — с другой.

Каждое событие уникально и никогда нельзя сказать, что произошло то же событие в силу того, что у события существует координаты и время, которые, в частности, делают событие уникальным. Кроме этого, существует система причинно-следственных связей, которая расставит события в зависимости от их порядка в общей истории. Также невозможно говорить и о том, что для человека события могут повториться. На каждое последующее событие человек смотрит с точки зрения своего предыдущего опыта.

Несмотря на это, можно утверждать, что если мы введем в употребление модель события, в которой наблюдатель может пренебречь несуществующими для исследования деталями, в первую очередь временем и координатами, то можно говорить о возможности совпадения различных родовых свойств у разных событий в разных системах. Очевидна закономерность: чем грубее модель, чем больше в ней погрешностей и допущений, тем больше семейство или множество событий, которые она может представлять. Верно и обратное свойство — чем точнее модель, чем больше в ней параметров и свойств, тем связанное с моделью событие более уникально. Тем не менее можно выделить общие свойства у всех событий и описать их языком математического моделирования.

В этом смысле мы вправе допустить, что событие, непосредственно привязанное к предметной области, является индивидной или первичной сущно-

стью, а модели или собирательные образы с родовыми признаками — общей сущностью или сущностью второго рода. С точки зрения взаимной связи первичных и вторичных сущностей Аристотель утверждал, что указать сущность явления (события) — это определить его через род и видовое отличие. При этом он отмечал, что индивидные сущности единичны в отличие от общих сущностей; кроме того, существуют, видимо переходные сущности, которые объединяются в рода по одному или нескольким свойствам. В этом смысле стоит обратить внимание на дифференциально-интегральные идеи Лейбница, утверждавшего, в частности, что сущности достаточно одного из ее определений (общего предиката) для идентификации. Спор о существовании различных сущностей продолжается с античных времен, достигая своего апогея в средневековом противостоянии реалистов и номиналистов, и представляет собой важную основу современного дискурса. Несмотря на очевидную схоластику при постановке проблемы и путях ее аргументации, в определении универсалий, в разное время к дискуссии реалистов и номиналистов подключались такие авторы как Т. Гоббс, Дж. Локк, Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Беркли, Д. Юм, Г.В. Лейбниц, Х. Вольф, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте. Можно утверждать, что вопрос об определении сущности лежит в предметном поле феноменологов и экзистенциалистов М. Хайдеггера, Э. Гуссерля, М. Шелера и Ж.-П. Сартра. Конструктивистская установка, о которой говорилось выше, позволяет избежать спора об универсалиях в духе концептуализма П. Абеляра, подчеркивавшего посредничающую конструктивную роль мышления.

Для формирования модели специального события как производной от изменения системы предикатов, воспользуемся методикой Лейбница, изложенной им в 1684 г. как «Новый метод максимумов и минимумов». Лейбниц проводит анализ связи между изменениями в области определения и изменении области значения на основе теории бесконечно малых величин. Он связывает декартовы координаты (по оси абсцисс и ординат) в понятие функции и применяет их к анализу в работе о дифференциальном исчислении в 1692 г. В современном виде мы их получили в редакции его ученика Г.Ф. Лопиталя, который опубликовал систему дифференциального исчисления в работе «Анализ бесконечно малых» [Лопиталь 1935], ввел в нее понятие движения неизвестной (X). Саму функцию позже привел к современному виду Л. Эйлер как аналитическое выражение переменного количества, составленное каким-либо образом из этого количества и чисел или постоянных количеств [Эйлер 1961].

Опишем систему, в которой отсутствует событие. Создадим функцию описания системы как $y = f(x)$, где x — денотат, y — десигнатор, f — предикат. В условиях, когда система не изменяется, находится в состоянии покоя, либо движется (развивается или деградирует) равномерно и прямолинейно, мы можем говорить о том, что события не существует. Система стабильна и постоянна во времени. В случае изменения системы, нам потребуется производная от $y = f(x)$ или y'.

Если аргумент функции находится в области денотатов, то изменение состояния системы можно описать следующим образом. Допустим, существует x_0 — свойство денотата, n — количественная величина изменения этого свойства. Рассматриваемое свойство денотата (x) и изменение (x_0) (то есть регистрацию наблюдателем его нового состояния) какого-то выбранного параметра можно записать как $\Delta x = x - x_0$. Теперь надо проследить, как изменилось значение функции от этого изменения. Общее значение измененной функции (нового десигнатора) обозначается как $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ по свойству x. Так мы можем записать эффект от изменения приращения аргумента как $\Delta y = \Delta f(x)$.

Теперь можно описать событие по всем стадиям — от отсутствия события до его максимального эффекта и обратно до статиса — следующей формулой:

$$y'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Эта формула содержит предел (lim). Лимит означает, что значение переменной по оси абсцисс может вызывать неоднозначные величины в значениях функции при большом лаге. Например, возьмем приращение функции по времени. Берем лаг в год, и рассматриваем событие в рамках этого лага ($x - x_0$). За год в области определения функции произошло несколько событий, возможно искомое событие размыто на их фоне, и мы не можем выделить его в общем событийном ряду в этой модели. Поэтому мы сокращаем время на оси абсцисс до 0, чтобы узнать значение функции в моменте тогда, когда до этого было в прошлом, а в следующий момент будет будущим. Именно это моментальное значение будет использоваться при преобразовании модели в событие с помощью интегрирования или составления «суммы Римана». Зная моментальные значения производной, можно знать значение функции в любом ее месте. Данная формула описывает события как предел отношения изменения десигнатора к изменению аргумента, при стремлении самого аргумента к нулю.

Если производная равна 0, то это означает, что событие не происходит. При изменении аргумента отсутствует изменение в предикате, то $\Delta x = 0$, $\Delta f(x) = 0$. Это означает, что событие не происходит в области определения. При этом мы должны взять как ограничение, что если событие, например извержение вулкана, длится неопределенно долго, то с точки зрения модели это уже не событие, а постоянный фон.

1) Если производная больше 0, то событие развивается, если меньше 0 то затухает;

2) Если производная равна 0 и до этого было положительное значение, а после отрицательное то это экстремум — «максимум», если было падение, а после прохождения 0 рост, то это «минимум»;

3) В случае если были отрицательные значения до и отрицательные значения после, то это перегиб при затухании. И если были положительные значения, которые после прохождения 0 снова стали положительными, то это перегиб во время роста.

Непрерывная функция — это функция, у которой малые изменения аргумента приводят к малым изменениям значения функции.

Возьмем для примера событие — землетрясение. На нашей планете происходит большое количество микроземлетрясений в каждый момент. То есть вибрации в Земле происходят непрерывно. Как определить в какой момент обычный фон становится важным событием? Для этого специалисты договорились, какое регистрируемое значение колебаний Земли по амплитуде будет считаться за 1 балл землетрясения. В реальности много событий происходит плавно, без ярко выраженных скачков, и наступление их — предмет для коллективного выяснения и определения порога, за которым событие считается отличимым от внешнего фона.

Согласно методике Лейбница, касающейся бесконечно малых величин, необходим порог, который, как знак, определяет, наступило событие или нет. Этот порог является результатом коллективного обсуждения. В случае с двумя непрерывными переменными это значение переменной, которая определяет порог наступления события, и переменная, которая определяет количество определяющих это пороговое событие. Получается система из двух уравнений, одно или оба из которых могут быть дифференциальными. Переменная, определяющая количество людей, означающих пороговое значение, в частном случае может быть равна 0. В этой точке система не определена, потому что при нулевом значении функции, определяющей значение пороговой функции самого события, сама пороговая функция не существует. В остальном в отношении функций количества, определяющих порог значения наступления события, действуют простые распределения, связанные с вероятностной логикой и системными решениями К. Гаусса, и производными его метода, например хорошо известной кривой распределения Гаусса.

Из этой системы уравнений следует частный вывод для системы, но важный для метода: некоторые системы событий и единичные события существуют только при наличии означающего. Другими словами, в отсутствие регистрирующего изменение события неопределенно, то есть тождественно отсутствию события.

Системы недифференцируемых событий — также частный случай общей системы. Например, события с заложенным пороговым значением. События, существующие в рамках пороговых функций — например, событие существует слева от x0 и не существует справа. Также пороговой функцией можно назвать модели, в которых переходными процессами между «да, существует» и «нет, не существует» можно пренебречь. Например, включение света в комнате обычным включателем — это пороговая функция события, а с помощью

диммера или реостата, который может плавно включить свет и отрегулировать его яркость — дифференцируемая непрерывная. В случае непрерывной функции мы снова окажемся зависимыми от означающих: включен свет или еще нет? О проблеме непрерывного и порогового значения функции пишут многие исследователи, много лет существует дуальность квантово-дискретной и волновой теории. Проблему взаимосвязи и порога дискретного и непрерывного хорошо иллюстрирует знаменитый парадокс «кота Шрёдингера», разрешение которого предполагает установку порога регистрации события в минимальном значении, без субъективного участия означающего.

С точки зрения событий и их управления в социальных системах интерес представляют события с участием человека как элемента события, его кванта. Кроме этого, интерес представляют события с участием человека как создателя модальной логики события, с последующей генерацией событий формированием семиотики и описания мира. В подобном мире событие наступает в ожидаемом пространстве, с ожидаемой функцией, подчинено логике системы, может быть в ней принято и расшифровано.

В частном случае, когда событие описывается гармонической функцией с явной периодичностью, можно наблюдать трансформацию события из явного сигнала, в общий фон. Это свойство определяется наблюдателем. В первый раз, регистрируя изменение показателей в системе, допустим, это будет восход Солнца, он регистрирует его как событие. Это и есть событие с точки зрения наблюдателя, находящегося на поверхности планеты, но периодичность превращает ежедневные рассветы в элемент фона или «шума», на фоне которого существенным событием будет затмение. Другими словами, денотаты остаются прежними — мы видим трансформацию десигнатора, описывающего событие.

Описав событие как пороговую функцию, можно заметить, что в тот момент, когда сумма изменений системы подходит к ее пороговому значению, событие выполняет роль критического изменения системы, после которого произойдет переход из состояния «А», например, в состояние «не А». Подобно тому можно спровоцировать снежную лавину в горах точным выстрелом. В этом значении событие играет роль той самой соломинки, которая сломала спину верблюда.

Для реализации роли спускового механизма необходимо регистрировать состояние системы на всем протяжении подготовки к событию. Событие становится управляющей функцией, когда сумма накопленных изменений в системе отличается от критической на величину значения функции события. Особенно ярко в социальной среде проявляется использование события в реализации протестного потенциала группы людей. Если состояние протеста уже перегревает систему, то достаточно любого по своей сущности импульса, который реализует накопленное напряжение в системе. В радиотехнике широко описаны и применяются слаботочные системы управления большими

мощностями. Такую функцию выполняет изменение напряжения на базе биполярного или на затворе полевого транзистора, на сетке вакуумной лампы, расположенной между анодом и катодом. Та же логика работает в тиристорах, реле и прочих усилителях сигналов. Событие может служить таким управляющим компонентом в системе. Такие события известны как протесты, митинги, забастовки и т. д.

Событие может выполнять и обратную функцию в том случае, если значение события вычитается из «перегретой» и готовой на срыв системе. В технике эту роль выполняют шунты различной конструкции, клапаны сброса лишнего давления и так далее. Или поток, грозящий устроить наводнение, направляется по приготовленному водосбросу. В политике известно много способов событийной разрядки в обществе. В Средние века решению этой задачи служили карнавалы. Аналогично сублимации реализуются в современной индустрии развлечений: спорт, шоу, массовые праздники и т. п.

Роль события как функции управления находится в области переключения потоков и потенциалов. Переключения с одного пути развития событий на другой. Роль переключателя, триггера играют такие события как спортивные игры, перенесение участников в фантазийные пространства и нереальные системы миров, компьютерные сетевые пространства, где они и реализуют свой потенциал.

Система событий может выполнять функции по возбуждению создания субкультур, генерации новых реальностей с новыми системами предикатов, новыми семантиками. Таким образом, при правильном структурировании задачи событие в социуме может выстраивать любые модальности и логики, выступая инструментом социально-культурного инжиниринга.

В процессе создания производной функции специального события по методике Лейбница теряется уникальность по многим показателям, и чем более общая модель, тем больше индивидуальных характеристик она теряет. Первыми уходят функции времени и координат, потом особенности национальных культур. При обратном переходе используется процесс интегрирования функции. При этом интеграл функции приводится к реальности методом отождествления подынтегральной функции некому стандарту с появлением большого количества С-констант, постоянных деталей, которые были осознанно потеряны при дифференцировании. Это означает, что модель можно экстраполировать с помощью интегрирования в существующую или добавленную (включая фантазии) реальность с точностью элементарных функций. И в этих реальностях можно задать время, координаты:

1) Определить мир, состояние, задать коллективные признаки априорной перцепции, с учетом возможных идентификаторов;

2) Построить семантику мира, язык, систему предикатов, задающих описание и логические союзы.

Модель события можно реализовать при схожих ситуациях, ее можно тиражировать, сочетать с другими моделями и событиями, управлять отдельно взятой территорией его реализации. При этом нельзя говорить о том, что это тождественное событие — просто у этих событий одна модель, один источник.

Говоря о процессе реализации модели в конкретной реальности, необходимо помнить, что речь идет не о спонтанных процессах, а о событиях искусственных, созданных людьми специально в целях манипуляции другими людьми [Герасимов 2015: 34].

Для успешного составления алгоритма необходимо моделировать и исследовать систему, и если в системе есть неоднородность, напряжение разной этиологии, то точечным нажатием в нужном месте в нужное время можно проделать гигантскую работу. Хорошим кейсом служит ситуация с Трампом в США и с *Brexit* в Великобритании.

В международной практике поиски и реализация точечных событий, меняющих или переворачивающих всю систему, называют «черным лебедем». Под черным лебедем понимают ситуации, вероятность возникновения которых без точного моделирования бесконечно мала. Термин принадлежит Насиму Талебу, американскому экономисту и трейдеру [Taleb 2007]. Для успешной реализации модели необходимо исследовать систему на наличие напряженных участков с большим потенциалом протестных или иных настроений. В условиях реального процесса, вероятностная политическая модель должна быть проверена на праймериз. У Трампа из 80 праймериз математические модели дали правильный прогноз для 76 случаев. В работе психометрических алгоритмов использовалось протестное настроение части американского общества. Реализация, интегрирование модели «Трамп» в реальность основывалась на детализацию с использованием баз данных, технологий психометрии (компьютерного моделирования, сбора и обработки информации, называемого за рубежом *Big Data*). Точно так же использовалось интегрирование модели в работе по созданию *Brexit*. И в том и другом случае точкой напряжения в системе стало недовольство населения поведением элит. В случае «Трампа» население увидело победу белого англосаксонского протестанта (WASP), среднего класса, в США над различными меньшинствами.

В Великобритании недовольство элитами выразилось в программе *Brexit*, которая использовала стремление британцев к свободе от обязательств перед относительно бедными государствами, такими как Греция и страны Восточной Европы, куда, по мнению британцев, уходили все их материальные блага. Именно формирование вокруг этого *Brexit* протестных гражданских движений обеспечило выход королевства из Евросоюза.

Хорошим примером вживления модели в реальность служит опыт компании *Cambridge Analytica*, которая прямо декларирует, что занимается изменением поведения больших групп с использованием активных методов. Девиз компании: «Мы не добываем, а понимаем данные». *Cambridge Analytica* вы-

ступает подписчиком данных у всех основных брокеров данных (как, например, *Acxiom*, аккумулирующий сведения о более чем миллиарде жителей планеты по 150 параметрам), а также у *Google*, *Facebook*, бюро кредитных историй и т. д. Используя собственные психометрические алгоритмы, *Cambridge Analytica* составляет на основе этих данных психологические профили групп и отдельных граждан, регистрируя их уязвимые точки, черты характера, мотивацию и т. п.[133]

Процесс точного моделирования потребовал большие ресурсы вычислительной техники. К работе по проекту «Трамп» был привлечен Стив Бэннон и его аналитическое агентство *Breitbart Embassy* с самым мощным в США компьютерным центром, стоимостью 1,3 млрд долларов, командой из 200 ведущих аналитиков, которые повернули предвыборную кампанию в президенты США. Подобный маркетинг с использованием *Big Data* дает новые возможности управления поведением в духе технологии подталкивания (nudge), о которой много писал и говорил ставший нобелевским лауреатом Р. Талер [Thaler, Sunstein 2008] и в которой события играют ключевую роль.

Таким образом, система событий имеет возможность создавать реальности, регламентировать в них все процессы, управлять их скоростью, провоцировать изменения состояний, разрушать реальности.

Динамика возникновения и развития события может моделироваться с использованием математического аппарата.

Обращение к опыту современного маркетинга (включая политический маркетинг) показывает возможности успешного управления развитиями событий, формирующих новую социальную реальность.

С точки зрения конструирования генерации реальности, события имеют в области определения набор денотатов, у которых появляется набор предикатов, которые в свою очередь фиксируют предметно понятийными связями с помощью десигнаторов. Вся эта система эволюционирует в реальном мире, создает на базе десигнаторов описываемые миры, культуру и систему коммуникаций, в которой происходит избирательный подход в выборе денотатов. Чем больше развивается язык, система описания, аксиология, культура, тем избирательнее идет процесс отбора. Так происходит поэтапный отрыв от одной реальности и генерирование новой реальности. В новой реальности цикл повторяется, и события будут определять саму систему и избирательность ее описания. В этом цикле развивается дихотомия между осознанным и ответственным управлением реальностью и осознанием социального субъекта (наблюдателя, политика, группы) себя результатом или следствием событийной инженерии.

[133] Ларина Е. Козыри Трампа (ч. 2). 2017. URL: http://aurora. network/articles/155-otstavki-i-naznachenija/29172-kozyri-trampa-ch-2 (дата обращения: 28.10.2021).

11.2. Оценочно-эмоциональные факторы смыслообразования: нормативно-ценностные паттерны нарративов культуры

Многие исследователи и неоднократно обращали внимание на то, что набор механизмов наррации ограничен и поддается систематизации. Более того, эти схемы наррации оказываются универсальными для смыслообразования, практически, в любых сферах социально-культурной деятельности. Так, выявленные В. Я. Проппом на материале афанасьевского корпуса русских сказок чуть больше 30 элементов сюжетосложения (названных им «функциями») [Пропп 1998], оказались релевантными для моделирования искусственного интеллекта. Традиционные жанры эпоса были применены В. Цымбурским для описания специфики культурно-цивилизационных идентичностей [Цымбурский 2011]. Обобщение этого круга идей позволяет выявить некий экстракт — своеобразное пространство смыслообразования (рис. 9).

Исходной идеей этой модели является роль смысла в попытках конструктивного преодоления неопределенности, порождающей экзистенциальный и когнитивный дискомфорт. Выстраивая осмысляющие нормативы, человек преодолевает эти дискомфорты, связанные с ними неоднозначности, тревоги, страхи. При этом факторы личного опыта и эмоций, связанных с переживанием этого опыта, например угроз выживанию, предшествуют факторам рационально-когнитивным [Инглхарт 2018: 42—45].

В строящихся нарративах объяснения вторичны, играют роль поздней (или защитной) рационализации эмоционально окрашенных переживаний. Дети до трех лет, как и домашние животные, не очень понимая референциональность, реагируют на интонации. С этой оценочно окрашенной эмоциональности (= интенциональности) и начинается осмысление. Как в сказе про Алису: сначала появляется улыбка Чеширского кота, потом к улыбке прорисовывается кот. Потом кот исчезает, а улыбка некоторое время остается. Впрочем, и у стариков то же самое — сначала угасает референциональность, последней — интонация.

Без эмоций нет и не может быть решений, стремлений и их реализации. Без человека мир амбивалентен, лишен смысла, который возникает только с человеком как носителем сознания и свободы. В. В. Налимов говорил о мире как семантическом вакууме, проводя аналогию с моделью строения материи как физического вакуума, при энергетическом воздействии на который возникают элементарные частицы. Так и семантический вакуум порождает смысловые структуры при воздействии на него человека (μ-функции В. В. Налимова), энергетикой своей жизни порождающего смыслы [Налимов 1979; 2011]. Будучи, как уже отмечалось, существом конечным, он, помещая себя в этот смысловой континуум, позиционирует себя в нем, относится к нему, оценивает его, действует в нем, пытается изменить существующее, увиденное, что невозможно без эмоций.

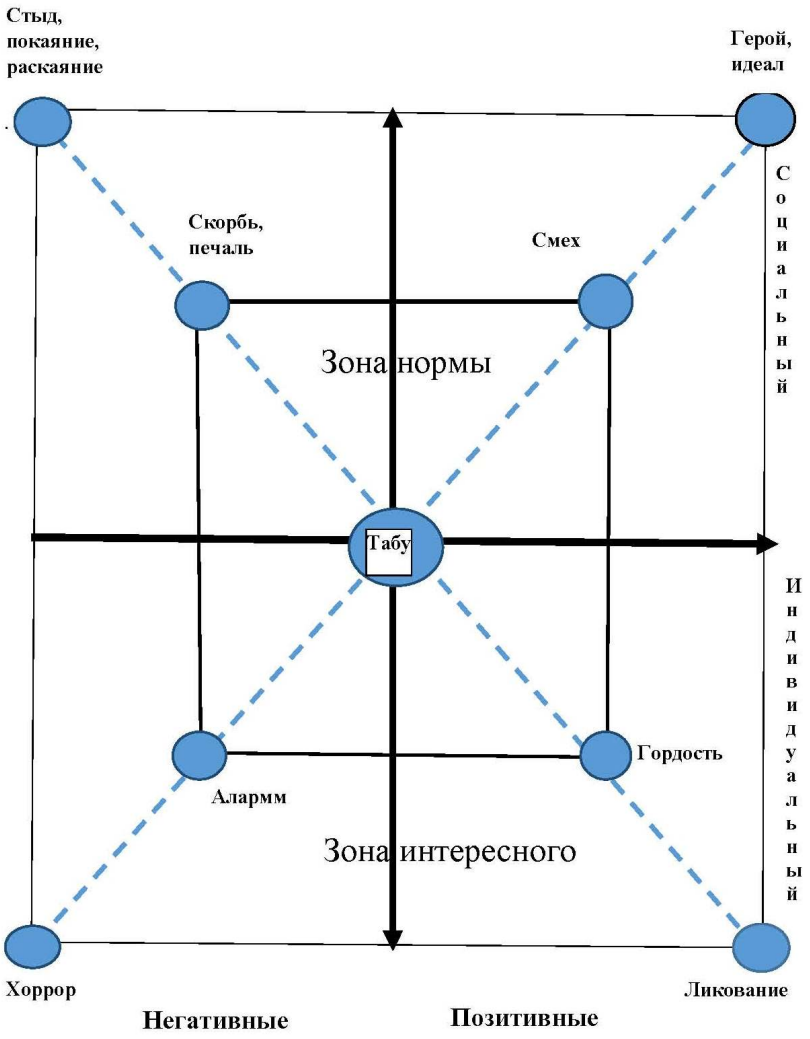

Рис. 9. Ценностно-нормативная модель нарративного смыслообразования

В искусстве русского авангарда истоком творческой деятельности также полагалась эмоция, чувственная аффектация переживаний автора, передаваемая через художественную форму. Так, применительно к живописи — через совмещение фигуры и цвета, различные комбинации которых порождают определенные типы эмоциональных реакций зрителей. В этой связи даже предпринимались попытки разработать эмпирически обоснованную своего рода грамматику чувственности [Кандинский 2003].

Важно подчеркнуть, что модель представлена в виде не диаграммы, а именно пространства, определяемого двумя осями, это пространство задающими, что позволяет квалифицировать сюжетосложение, прослеживать его динамику. Горизонтальная ось представленной модели связана с ключевой ролью эмоционально-оценочных факторов смыслообразования. Согласно известной концепции П. В. Симонова [Симонов 1998], качество и сила эмоций (Э) зависят от потребности решить некую проблему (П) и разности информационного (знаниевого) потенциала — между имеющейся информацией (Ии) и информацией, необходимой для решения проблемы, снимающей неопределенность (Ин):

Э = П (Ии – Ин).

Чем сильнее потребность, тем сильнее эмоциональное переживание. И если имеющегося знания достаточно, то эмоция положительна, а если — недостаточно, то эмоция негативна (от дискомфорта и тревожности до страха, ужаса и паники).

Вертикальная ось связана с соотношением индивидуального и социально-группового уровня оценки и переживания.

В свою очередь диагонали позволяют прослеживать перформативные установки наррации. Диагональ «левый низ — правый верх» представляет «когнитивную» линию установки на противостояние неопределенности, борьбу с нею, крайним проявлением чего является насилие. Герой-защитник в этом противостоянии способен проявить сверхнормативное насилие. Другой — разрушительной крайностью выступает хоррор, ужас бессилия перед разрушительной силой. Крайние точки этой диагонали демонстрируют отношение к такому сверхнормативному насилию: позитивно-конструктивному со стороны героя и негативно-разрушительному со стороны стихии или врага. Диагональ «левый верх — правый низ» прослеживает моральные установки на выражение ответственности социализированной личности: от стыда и раскаяния до гордости за торжество желаемого должного и ликующей сопричастности.

Выделенные в модели узлы позволяют обозначить определенные формы наррации, их основную тематику, а также зону нормативности (внутренний квадрат) — свою для каждой конкретной культуры, сферы деятельности и связанного с ними социума. Одновременно фиксируется и «зона интересного» — наррации, порождающих повышенный интерес (новости, слухи, эпатаж), поскольку их тематизация выходит за рамки нормативного, которое обычно интерес не вызывает.

Как координатные оси, так и диагонали пересекаются в точке отсчета любой культуры — системы запретов. Ограничения, табуирование задают первичное социальное нормирование, свойственное культуре как определенному способу жизни конкретного социума, отличающее его от других. Эмоционально негативные отклонения от нормы связаны с переживаниями и соответствующими нарративами на социальном уровне — от скорби и печали до

стыда и покаяния, а на индивидуальном — от тревоги до ужаса. Позитивные эмоции связаны с торжеством разделяемых представлений о желаемом должном: на социальном уровне от смеховой радости этого торжества до прославления идеального героя, а на индивидуальном — до гордости за сопричастность.

Главное же в данном контексте то, что представленная модель увязывает в целостной картине традиционные культурно-исторические темы, определяющие осмысление социальной реальности, историческое наследие и культурную идентичность. Более того, данная модель открывает возможности построения аналитических профилей нарративных практик различного уровня и масштаба: национальных, этнических, профессиональных культур и субкультур, их сопоставления. Действительно, традиционные тематические компоненты культурных идентичностей, исторической памяти хорошо известны — отцы-основатели, герои, жертвы, события и места, с ними связанные, важные для памяти гордости и скорби. Связанные с ними нарративы занимают свои вполне определенные места в пространстве предложенной модели.

Так, уже предварительные исследования показывают, что российской культуре, осмыслению ее истории в большей степени свойственны торжествующие исторические наррации, чем наррации скорби, печали раскаяния [Тульчинский 2016; Эткинд 2016], чем, например, германской [Ассман 2014], что требует обоснования анализа выявления факторов такой акцентуации. В первом приближении за такой акцентуацией стоит исторический опыт выживания в критических ситуациях, требующего экстраординарных усилий: героическое и сакральное сверхнормативно. В этом плане нравственный максимализм и страстотерпение в применении к власти приводят к ультрапарадоксальному единству взаимоисключающих характеристик. Профанные нормы не распространяются на власть. Поэтому, с одной стороны, она непререкаемо сакральна, а с другой — ее можно обманывать, не выполнять обязательства, красть. Не случайно на Руси самодержец — предмет искреннего поклонения, помазанник Божий, отец родной и почти одновременно — проклинаемый всеми злодей, а то и Антихрист. Как писал С. С. Аверинцев,

> Сама по себе власть, по крайней мере власть самодержавная, — это нечто, находящееся либо вне человеческого мира, либо ниже его, но во всяком случае в него как бы и не входящее. Благословение здесь очень трудно отделить от проклятия [Аверинцев 1988: 215].

11.3. Нарративы символической политики: уровни и диахрония

Политика как деятельность, связанная с формированием, удержанием, передачей власти, обеспечивающая целостность социума, внутренние и внешние условия его существования и развития, предполагает активное использование символических ресурсов. О возможностях такого рода технологий говорят политические и государственные деятели самого высокого уровня.

В большинстве политологических исследований эта проблематика рассматривается как «мягкая сила» (soft power, smart power), «символическая политика» (как *symbolic politics*, так и *symbolic policy*), «символическая власть», или даже сводится к пропаганде и манипулированию общественным сознанием[134], причем в синкретичном формате — преимущественно как некий смысловой контент, транслируемый элитами, которые располагают медийными ресурсами. Такая модель «игры в одни ворота» или, в лучшем случае, как двусторонний процесс (символическая политика «сверху» и снизу») сильно упрощает дело. За рамками рассмотрения оказываются специфика форм, каналов трансляции (презентации) символического (смыслового) содержания, многоуровневый характер структурирования и предъявления этого содержания. В результате сам механизм символической политики («мягкой силы») предстает чем-то вроде «черного ящика» вне объяснения как трансформаций в самом этом механизме, так и факторов этих трансформаций. Поэтому, на наш взгляд, требуется более конкретный подход, позволяющий различать специфические практики политического использования символических ресурсов. Можно выделить несколько направлений.

Во-первых, это различение видов (уровней) символической презентации. Речь идет преимущественно о символической наррации — нарративных практиках, используемых в дискурсивных способах презентации символов и их интерпретаций. Такой подход представляется оправданным не только в силу ограниченного объема статьи, но и по причине того, что даже визуальная презентация символики так или иначе (в связи с ее интерпретацией) предполагает дискурсию, без которой невозможны анализ, объяснение, да и понимание тоже. Затем, во-вторых, это возможности систематизации по типам символизации содержания в таких презентациях и формам этих презентаций. Такие конкретизации позволяют, в-третьих, говорить о диахронии символической политики, то есть о различиях скорости динамики символизации на различных уровнях ее презентации. При этом, если первые два направления практически разработаны и проблема заключается в их систематическом представлении, то третье видится наиболее важным, если не ключевым — в выявлении и осмыслении практических следствий реализации современных практик символической политики.

Особое внимание мы предполагаем уделить ситуации, складывающейся в современном цивилизационном опыте в связи с новыми возможностями символизации.

Символическая политика как деятельность, связанная с производством определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование [Малинова 2012], связана не только с выстраиванием приоритетов в балансе интересов социальных сил, но и с формированием картины мира в головах носителей этих интересов, которая, в свою очередь, определяет сценарии их поведения.

[134] Обзор концепций и понятийного аппарата этих обсуждений см.: [Малинова 2015].

Практически любые (если не все!) феномены социальной реальности (события, тексты, изображения, личности, природные объекты и катаклизмы, артефакты культуры etc. etc.) могут выступать предметами (и инструментами) символической политики. Таковыми они становятся при двух условиях:

(A) Они выступают в качестве предмета публичного дискурса — обсуждений, дискуссий, интерпретаций в публичном коммуникативном пространстве, прежде всего в медиа. Вне публичного пространства они могут быть предметом спецопераций, кулуарных действий, которые, впрочем, в случае огласки тоже становятся инструментом символической политики.

(B) В этих спорах и интерпретациях упомянутые феномены социальной реальности связываются с современным контекстом (проблемами, целями).

Второе условие втягивает в символическую политику прошлое (историю, исторические факты), образы будущего, которые тоже становятся средством символической политики. Наука, включая точные науки, количественные методы, будучи втянутой в дискуссии о насущных проблемах развития социума, также выступает как часть (средства и технологии) символической политики.

Но в любом случае ключевую роль играет первое условие: чтобы сформировалось чувство единства личности с другими людьми, ее принадлежности конкретному социуму (нации, этносу, политической группе), важна возможность ее включения в разворачивающийся во времени сюжет, в котором данной общности отводится главная и позитивная роль [Bell 2003]. Поэтому в символической презентации ключевую роль играют нарративы.

Особая роль при этом достается истории, которая нередко и формируется, и развивается в качестве нарратологии по преимуществу: конкретный рассказ и заложенная в нем интерпретация [Уайт 2002]. Неслучайно именно на примере истории была предложена первая типология символической наррации, развертываемой на трех уровнях — информации, опосредованной воображением историка, собранной им из источников; риторики убеждения аудитории в правдоподобности предложенной смысловой схемы; политико-идеологических установок автора нарратива [Topolski 1999]. Такая схема вполне адекватна и уместна применительно к позиционированию исторического исследования. Однако круг акторов символической наррации существенно шире. В этом процессе активно участвует практически весь политический класс — от высшего государственного руководства до местных депутатов и чиновников, ведущих журналистов и экспертов. Выступления и программы, нормативные акты, государственная символика, официальные ритуалы, церемонии, содержание учебников и учебных программ, памятные даты и праздники — далеко не полный перечень целенаправленного использования символической политики. Важную роль играют СМИ обыденный опыт, практики и коммуникации: от раннего детства и семейного общения до фольклора и межличностных коммуникаций в быту, коммуникаций на работе и в свободное время.

К роли этих «групп влияния» мы еще вернемся, а пока стоит отметить, что с учетом этой многофакторности и «многоакторности» практик презентации (трансляции) символического содержания наррация предстает системой, реализующейся как минимум на трех уровнях [Тульчинский 2015а]:

(1) Демонстрация, череда событий, персонажей, документов, артефактов, формирующая фактологическую базу;

(2) Агрегация этих фактов в хронологические и каузальные связи, образующие основу сюжетики;

(3) Толкование этого целого, рефлексия над ним, выявляющая направленность процесса развития к финалу как «точке сборки» нарратива, раскрывающей смысл, а иногда и замысел происходившего.

Для пояснения можно использовать аналогию с наррацией кинотекста, также реализующегося на трех уровнях. Во-первых, как просто череда образов и сцен, формирующая узнавание, идентификацию (типичная нарративность видового, домашнего, иногда — документального кино, сюжетов *Facebook*, *Instagram*). Во-вторых, как монтаж этих сцен, выстраивающий последовательность, сюжет как пазл, в котором могут быть каузальные нестыковки целого. В-третьих, это нарратив в духе итогового рассказа Э. Пуаро или мисс Марпл в финале, достраивающего осмысление до выявления мотиваций персонажей, их ответственности за происшедшее. Иногда такую роль играет закадровый голос главного героя или автора. В иных случаях функцию толкования выполняет сама публика (зрители, критики, журналисты).

Подобно кинотексту символическая наррация также не всегда реализуется на всех трех уровнях, однако для полноты осмысления третий уровень необходим. Именно наличие определенного изначально известного нарратору завершения приводит все сюжетные линии к одному смысловому фокусу. Поэтому очередной этап развития общества ведет к «сдвигу финала», открывая двери перманентному переформатированию смысловой картины.

О некотором совпадении с моделью Е. Топольски, однако, можно говорить только относительно первого уровня — эмпирической фактологии. Второй уровень в нашей модели не сводится к риторическим приемам убеждения. Это именно смысловое построение, суть которого состоит в выработке объяснения как выявления детерминаций, причинно-следственных связей, каузальности. Третий уровень тоже строит объяснение, но уже не каузальности («почему?»), а телеологичности, целесообразности («зачем?») — он предполагает выявление некоего замысла, целей, намерений, мотивации, порождающей или использующей каузальность. Более того, существует и обратная связь: уже на фактологическом уровне явным или неявным образом, но участвует нарратив третьего уровня, сказываясь на самом отборе фактов, критериях такого отбора, включая даже само их распознавание.

Конечно, для исследования практик символической презентации важно понимать ее многоуровневость, явное или неявное присутствие нарратива третьего уровня. Однако простого различения уровней наррации, возможностей их взаимодействия и сочетания недостаточно. Важно различать также сами способы и группы способов наррации на каждом из уровней.

Как уже отмечалось выше, наиболее систематизированы (и давно) представления о содержании предъявляемых и транслируемых нарративов символического. Важно, что такое содержание формируется не произвольно. Для его формирования, развития, наращивания необходимы устойчивые смысловые и знаковые структуры, обеспечивающие кумулятивное приращение символических нарративов. Речь идет о мифах — фундаментальных метафорах, с помощью которых новое неизвестное уподобляется знакомому, делая непонятное понятным. Прирост знания, переход от незнания к знанию обеспечивается именно с помощью систематического уподобления, «зашнуровывающего» неизвестное с помощью известного [Лакофф, Джонсон 2004; Тульчинский 1995]. В принципе такие метафоры лежат в основе любого научного понятия (поле, сила, частица, напряжение, черные дыры, абсолютно твердое тело и др.). В этом плане с полным основанием можно говорить о научной мифологии.

Миф как инструмент осмысления человеком действительности, с помощью которого действительность структурируется, снимает неопределенность, неизвестность — в этом смысле он то, что стоит за реальностью, делая реальность реальной, понятной, осмысленной. Будучи эмоционально окрашенными нарративами, мифы, редуцирующие действительность к удобным для восприятия образам, стереотипам, задают устойчивые схемы (рамки, фреймы) восприятия, понимания и репрезентации действительности [Неклюдов 2015]. Человек — существо конечное в пространстве и во времени — не может жить в неупорядоченном мире, парализующем отсутствием ориентиров, непредсказуемостью, иллюзорностью, — он стремится найти некую структуру, порядок, устойчивость, закон, смысл, постоянно наполняя окружающий мир смыслами. Именно в этом заключена роль любой мифологии (обыденной, религиозной, политической, научной), задающей метареальность, открывающую человеку «бóльшую реальность, чем сама реальность».

Только осмысленный мир существует реально, имеет подлинное бытие, которого так жаждет человек. Каждый социум существует внутри своей системы мифов вне зависимости от того, сознается это или нет. Этнографами был неоднократно и на разном материале зафиксирован факт, когда разрушение культовых объектов и сооружений вело к тяжелой депрессии, охватывавшей все племя [Элиаде 1994: 17]. А в ситуации неопределенности возникает обостренный запрос на миф, восстанавливающий связность, понятность и осмысленность действительности, происходящего.

Существует великое множество концепций, теорий мифа и мифологического сознания. Не меньше и попыток их систематизации, теоретических интерпретаций самих таких систематизаций (одну из наиболее полных попыток систематизации см.: [Segal 1999]). Для нашего рассмотрения важно, что мифология постиндустриального общества массового потребления выстроена радикально иначе, чем в традиционной культуре, ищущей трансцендентное обоснование реальности в «иерофании» сакрального. Это культура мифа «здесь и сейчас» — едва ли не первая в истории человечества культурная

формация, лишенная какой бы то ни было апофатичности, а полностью и исключительно катафатичная [Тульчинский 2013]. Однако миф, как и транслирующее его общественное мнение, остается условием осмысления действительности, определяющим понимание, оценки, мотивацию, решения, поступки. Тем самым мифическое сохраняет свою роль. Сохраняется и типовой набор мифов, используемых в символической политике в качестве смысловых фреймов наррации. Укажем основные из них.

Миф основания — история о начале данного социума, оттуда «есть пошла наша земля». Вокруг этого мифа может идти нешуточная политическая борьба. Так, исторической колыбелью армянского народа и его культуры является Арцах, тогда как колыбелью азербайджанского этноса является Араратская долина. Исторической родиной сербского этноса является Косово. А сколько интифад начиналось в Израиле из-за мусульманских святынь на Храмовой горе — святыне иудеев и отчасти христиан тоже!

Миф происхождения — непосредственно примыкающая к мифу основания история об историческом моменте, с которого начинается отсчет истории социума. Так, в советской школе учебники отечественной истории начинались с государства Урарту, про которое нынешние школьники не знают ничего, полагая, что Русь началась с крещения Владимира — великого князя киевского. Правда, на эту точку отсчета претендует теперь и Украина.

Главными персонажами исторического мифа являются прежде всего *«отцы — основатели», исторические деятели*, сыгравшие ключевую роль в формировании и развитии этноса. К ним примыкают *герои*, которым мы обязаны своим существованием, и которые являются образцами нравственного и поведенческого подражания. В «пантеон» исторической наррации входят также деятели культуры, искусства, замечательные труженики, спортсмены.

События, важнейшие в истории. Среди них особую роль играет «великая-историческая-победа-над-смертельным-врагом». В случае крупного конфликта срабатывает его структурирование по модели «Герой-Враг-Жертва». Герой борется с Врагом, чтобы спасти Жертву, а сама Жертва может предстать в двух ипостасях: как victim — жертва-от-чего (кого)-то, и как sacrifice — жертва-во-имя-чего(кого)-то [Цымбурский 2011: 349—353; Эткинд 2016: 228]. С такими событиями связываются *места*, а также *даты*, позволяющие праздновать эти события, отмечать их юбилеи, приобщаться к ним.

Перечень мифологем исторический наррации дополняют изделия рук человеческих — как предмет особой гордости: от артефактов традиционных и этнографических искусств и ремесел — до достижений современной технологии. В принципе мифологический «контент» достаточно стандартен и хорошо известен этнографам, специалистам по культурной идентичности и туристическому легендированию и брендингу стран и регионов [Ширинкин 2014].

Специального внимания заслуживает систематизация форм символической презентации. Наиболее очевидны они на втором и третьем уровнях наррации, когда речь идет именно об интерпретационных (герменевтических)

практиках истолкования. Разные исследователи уделяют им разное внимание, делая акцент на учебниках и учебных программах [Историческая политика… 2012], литературе, других видах искусства [Эткинд 2016], традициях, массовых мероприятиях, ритуалах, праздниках [The invention…1983], прессе и прочих медиа, публичных спорах специалистов и журналистов [Андерсон 2001]. По выражению А. Эткинда, они образуют *«мягкую» (software)* форму презентации, в отличие от *«жестких» (hardware)* такой презентации, к которым он относит музеефикацию, монументы, мемориалы, памятные знаки, архитектурные памятники, места исторических событий, связанные с жизнью замечательных людей [Эткинд 2016: 225—228].

Тот же автор справедливо подчеркивает особую роль «жестких» форм презентации, задающих ориентиры в пространстве страны, регионов и поселений — маркеры привязки презентаций и нарративов к реальному чувственному опыту[135]. Действительно, любая мифология не только повествует, но и предполагает выходы мифического в мир с помощью специальных практик презентации, реализующих сопричастность мифическому, — ритуалы, празднования, церемонии, реконструкции, инсталляции, перформансы, хэппенинги, игры. Поэтому представляется важным дополнить типологию А. Эткинда третьей формой — *хронотопом, событиями (special events)*, происходящими в специальное время в специальных местах и обеспечивающими возможность практической сопричастности — вплоть до интерактивных телесных практик [Герасимов 2016].

Показательно, что выделенные три формы презентации символического («мягкая» — интерпретационная; «жесткая» — материализованная в объектах; «хронотопная» — событийная) в принципе соответствуют трем кантовским априорным формам чувственности — пространству, времени и разуму — рамкам, условиям самой возможности фактичности, распознавания чего-то в качестве факта и ориентации в окружающем мире. В этом ракурсе, теория и практика символической политики обретают перспективу серьезного эпистемического, антропологического и онтологического основания. Однако это интересное и важное соответствие выходит за рамки данного рассмотрения.

Заслуживает внимания предложенная Х. Уайтом и продолженная В. Цымбурским модель выстраивания наррации в соответствии с литературными жанрами [Цымбурский 2011). Эта модель представляется чрезвычайно перспективной для анализа наррации третьего и отчасти второго уровней. Однако в рамках данного рассмотрения важным представляется акцент на новых цивилизационных возможностях символической презентации, открывающихся на всех уровнях наррации. Современные информационно-коммуникативные технологии порождают неоднозначные ситуации восприятия и достоверности на каждом из этих уровней.

В первую очередь это относится к фактологическому уровню. В обществе модерна человек все меньше готов верить в подлинность того, что отличается

[135] О роли современных публичных пространств см.: [Лопатина, Тульчинский 2015].

от привычного ему. Доверие собственному восприятию вытеснило доверие умозрительным концепциям, преданиям, легендам, религиозным текстам. Однако такое секуляристское «разволшебствление мира» рано или поздно порождает дефицит массово мыслимого достоверным, потребность в обретении доподлинно настоящего, данного в восприятии (прежде всего — визуально): мимесиса и предметности в искусстве, фактологических (протокольных) описаний в экспериментальной науке уже оказывается недостаточно.

Такие возможности открывают новые технологии запечатления окружающей действительности, прежде всего — экранные формы, вариации которых получили развитие начиная с фотографии и кино, и формы которых множатся и множатся благодаря компьютерным технологиям, Интернету и мобильной связи: *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, фотосессии, селфи… Полная и преумноженная запечатленность реальности. Мир факторизирующейся и фрактализирующейся реальности с документальной подпиткой мифотворчества. Документальность понимается как, собственно, правда жизни и реальности, как гарант достоверности отображения действительности и истории. При этом произвольный монтаж этих осколков реальности предстает как погружение в достоверность и углубление ее понимания. В современном кинематографе, на ТВ и в других СМИ (как традиционных, так и сетевых) немало такого рода «удостоверяющих» жанров: репортаж, хроника, интервью, документальное кино, документальная драма, историческая реконструкция, мокьюментари, семидокумьентари, реалити-шоу [Сальникова 2014]. В ход идут фото- и видеоматериалы неважно какого происхождения, компьютерное моделирование, костюмированные реконструкции.

Немаловажно и то, что массовое общество в сочетании с интенсификацией коммуникации имеет следствием глубокую вовлеченность практически всего населения земли в происходящее на планете — если не непосредственно, то через СМИ, через web 2.0. и web 3.0. Фотография, кино, медиа, особенно телевидение и Интернет, визуализируют происходящее в разных концах мира, позволяя чувствовать себя виртуальным участником войн, революций, перекраивания границ, катастроф, массовых убийств, этнических чисток.

Это делает современные технологии символической наррации чрезвычайно удобными для политических режимов в идеологическом обосновании и оправдании их действий и даже легитимности [Gill 2013]. Нарративы символической политики при должной настойчивости и последовательности элиты рано или поздно становятся частью актуальной картины мира. Если не нынешнего поколения, то следующего — при наличии политической воли и социальной базы в лице пассионарного меньшинства, при нынешних средствах коммуникации это происходит стремительно, буквально на глазах [Сидоров 2015]. Такое впечатление легкости, однако, довольно обманчиво.

Символические наррации транслируются не только на различных уровнях и в различных формах, но и в разных символических пространствах («полях») с различным временным лагом возможных изменений содержания, что в конечном счете и определяет результаты символической политики. Одно

дело динамичная презентация символических нарративов в СМИ, транслирующих реакцию политического класса на текущие проблемы, интерпретацию этих проблем, их источники и возможные решения. Другое — нарративы, транслируемые системой образования, которая инерционна по самой своей природе, а попытки в образовании угнаться за динамикой медийных трансляций чреваты сбоями и противоречиями — иногда трагикомичными. Но в обществе существуют и еще более инерционные, довольно устойчивые режимы трансляции и воспроизводства мифологии. И с этими «режимами» символической презентации работают разные акторы.

Как уже отмечалось, главными акторами символической политики являются элиты, располагающие символическим и паблицитным (известностью и узнаваемостью) капиталами, авторитеты общественного мнения, имеющие доступ к медийным ресурсам: политики, журналисты, религиозные деятели, публичные интеллектуалы, гуманитарии, деятели искусства. Именно они обеспечивают наиболее динамичный режим символической презентации — прежде всего на третьем уровне его наррации.

Тем не менее нельзя отрицать относительную устойчивость того, что К. Юнг называл «архетипическим» — мифофреймами, возникшими на заре антропогенеза. Между архетипами и современными мифами лежит пласт традиционной культуральной мифологии, отражающей и выражающей исторический опыт народов. Это не пресловутая ментальность, а именно ценностно-нормативное содержание исторического опыта, образующего культурный код, обладающий большой исторической инерцией воспроизводства. Именно он сказывается в проблемах класса «культура тоже имеет значение» [Культура… 2002; Харрисон 2014] или «культура как ресурс и барьер модернизации».

Воспроизводство ценностно-нормативного содержания конкретной культуры осуществляется в узком кругу тех, кто участвует в формировании этнического и кланового самосознания. Это семья, родные, близкие, друзья — акторы «сплачивающего доверия» [Веселов 2011], радиус которого меньше, чем у институционального доверия, «наводящего мосты», но который более значим для базовой идентичности личности. И такая мифология является более долговременной, устойчивой, инерционной, чем транслируемая медийными средствами символической политики.

Промежуточную позицию между относительно устойчивой, инерционной мифологией и динамичностью медийной символической политики занимают нарративы, транслируемые системой образования, подвижность которой относительно ограничена.

Конечно, СМИ играют свою роль, особенно телевидение, которое в фильмах, сериалах, ток-шоу моделирует реакцию на события, погружая их в бытовые ситуации, дискурсию известных узнаваемых людей. Важнейшую роль выполняют при этом новости, сам отбор которых, комментарии, интонации транслируют, визуализируют символические нарративы. В XX столетии к средствам массовой мобилизации общественного сознания добавился спорт. Победы страны на эстрадных подмостках и спортивных аренах граж-

дане видят по телевизору и — исполняются гордости. Затем на том же телеэкране им показывают другую победу, одержанную в ходе операции, которая (в телевизоре же) выглядела как еще одно успешное выступление наших в такой красивой форме *military style*. «Война кажется телерепортажем, а то и компьютерной игрой, где у нас в запасе 10 жизней» (Левинсон А. Война как спорт на ТВ // Ведомости. 2015. 28 апр. С. 6).

Если человек, сформировавшийся в книжной культуре линейного чтения, выстраивания нарративов, прослеживания сюжетных линий, способен понимать достаточно сложные смысловые построения, то человек экранной цифровой культуры оперирует только смыслами «твиттерного» формата и не может работать со сложными знаковыми и смысловыми структурами. Источники информации воспринимаются им как блюда на «шведском столе», с которого он набирает произвольные наборы по своему усмотрению.

В мозаичном, клиповом сознании мифология и выражающие ее нарративы менее устойчивы, осмысление оказывается неглубоким и «коротким», неспособным на «длинные мысли». Такое сознание оказывается неспособным не только на выявление причинно-следственных связей, но и на простое прослеживание хроникальной последовательности событий. Прошлое каждый раз перевоссоздается как новое — под сиюминутное настоящее.

Такое сознание, имеющее дело с реальностью в духе телевизионного zapping'а, если и способно к эмпатии, то непродолжительной, неустойчивой, вспышками приходящей и быстро уходящей, забываемой. Социализация заведомо оказывается неполной. Недаром в электронных социальных сетях образуются видимости сообществ, между которыми доминируют негативные агрессивные отношения.

Тенденции накопления различных интерпретаций усиливаются процессами демократизации, доступности информации, что делает возможным не только широкий диалог, но и артикуляцию различных версий, их оценок. Тем самым активируются, стимулируются процессы формирования этнического, расового, конфессионального, гендерного самосознания, которые, в свою очередь, усиливают наращивание различных нарративов. Получается система с положительной обратной связью по дифференциации и дивергенции форм группового сознания, идентичностей. Культивирование эклектизма мультикультуральности и толерантности уже привело к созданию не столько некоего нового единства, сколько к нарастанию многовекторного конфликтного разнообразия — в Европе, Азии, Америке.

В этой связи небезосновательными выглядят характерные для начала XXI столетия оценки происходящего как «конца идеологий», распада «больших нарративов», определявших политическую картину мира на протяжении XIX—XX столетий [Копосов, 2013]. Это подтверждают и результаты попыток выработки «национальной идеи» России, ставшие притчей во языцех. Ускоренный режим презентаций в символической политике чреват неоднозначными следствиями.

Так, в России с начала 2000-х гг. установился курс на построение и продвижение официального нарратива «тысячелетней России» (в любую эпоху и в любых границах) как особой цивилизации, что потребовало соединения трех ценностно-символических комплексов — дореволюционного, советского и постсоветского [Малинова 2015: 175—184]. Такая принципиальная эклектика (сочетание в геральдике и другой государственной символике наследия царской России и СССР; празднование советских, досоветских и постсоветских праздников; использование наград и регалий различных эпох и т. п.) развязывала руки для маневрирования, построения удобных нарративов, удовлетворявших соответствующие возрастные, этнические, профессиональные группы населения.

В результате возникли разрывы между уровнями и формами символической презентации прошлого. Идея возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку обсуждалась на серьезном уровне, и московские коммунисты, собрав необходимое количество подписей, решили пока отложить инициирование референдума за восстановление памятника. При этом чрезвычайно трудным оказался вопрос о памятнике жертвам сталинских репрессий в Москве: на той же Лубянке лежит соловецкий камень, однако идею полномасштабного мемориального комплекса лишь недавно удалось сдвинуть с мертвой точки. В Грозном в 1992-м поставили памятник жертвам репрессий, но в 2008-м он перенесен из центра на окраину, а инициатива создания памятника Н. С. Хрущеву как «освободителю чеченского народа» сошла на нет. Излишняя динамика сказывается на «жестких» формах, приводя к переименованиям улиц, городов, разрушению памятников, что вступает в достаточно острое противоречие с долговременной культурной памятью. Все это показывает, что для внятной символической политики пригоден не всякий исторический материал, даже, на первый взгляд, достаточно убедительный.

В 2014 г. в связи со столетием начала Первой мировой войны была предпринята добросовестная попытка вернуть эту великую драму, ключевую для понимания истории XX в., в актуальную символическую политику. По стране прокатилась волна социальной рекламы, были сняты фильмы, поставлены спектакли, прошла серия специальных событий, тематических мероприятий, были поставлены монументы в память безымянных героев. Но существенного, серьезного общественного резонанса эта символическая презентация важнейшей и трагической страницы отечественной истории не вызвала. Думается, по причине затруднения выстроить нарратив третьего уровня — вписать тему Первой мировой в контекст мифа Тысячелетнего Государства России, государственной идеологии с акцентом на порядок, силу, властную вертикаль. В той войне не было недостатка в массовой самоотверженности, солдатском героизме, подвигах, талантливейших полководцах… Но не только не было победы, а само российское государство рухнуло. И даже возникновение в результате этой катастрофы и Гражданской войны новой советской импе-

рии не компенсирует этого главного несоответствия. На фоне активного формирования государственнического нарратива уже мало актуальна и запоздалая идея примирения «красных» и «белых» [Сидоров 2015].

В 2015 г. в России появился официальный документ, в котором перечислены традиционные духовно-нравственные ценности страны. Распоряжением Правительства РФ была утверждена стратегия воспитания в РФ до 2025 г. «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством», — говорится в документе. Кроме того, в одном из разделов стратегии говорится о «развитии в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности»[136].

Тем не менее до сих пор остается нерешенным главный вопрос о культурном позиционировании России в системе координат Восток — Запад. Трудности с продвижением модернизационных реформ и недостаток признания со стороны условного Запада, очевидная неспособность отвечать западным стандартам в политике, правовой культуре и экономике подтолкнули российскую элиту навстречу давно созревавшему запросу «жить своей жизнью». При этом необходимость сохранять и поддерживать международный статус, межгосударственные отношения, включенность в мировую экономику вынуждают поддерживать хотя бы формальную видимость свободы, демократии, прав человека и т. д. Между уровнями символической презентации, реализующимися в разном режиме, не складывается полноценная связная коммуникация. В терминологии, предложенной в свое время А. С. Ахиезером [Ахиезер 1998], это оставляет Россию в пространстве маятниковых инверсивных шараханий, вновь делая актуальной проблему выработки медиативного пути [Медиация… 2013—2014].

Такие конфликты «памятей» начинают принимать международный характер. И дело уже не столько в «конфликте культур» (в духе С. Хантингтона), который сам по себе стал опытом нарративной реконструкции, сколько в реалиях «проснувшегося ислама», довольно неожиданном всплеске православного фундаментализма в России, не поддающегося объяснению исключительно практикой пропагандистского манипулирования.

Всплески антимодернизационных настроений широкой общественности в таких странах, как Алжир, Мексика, Турция, Россия, где относительно малочисленная элита разделяет и транслирует новые смыслы и ценности постиндустриального общества, тогда как собственно многочисленное население руководствуется памятью культурной традиции, — наглядные тому примеры. Пример России в этом плане особенно примечателен. В стране за полтора

[136] Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://government.ru/docs/18312/ (дата обращения 12.02.2019).

столетия не только радикально, но и по историческим меркам — мгновенно менялась собственность, каждый новый политический режим начинал с отрицания сделанного предыдущим. Символические нарративы менялись настолько быстро и радикально (с переписыванием учебников, переименованием улиц и городов, выносом трупов), что к их сменам выработался не только иммунитет, но уже, похоже и идиосинкразия.

Не исключено, что нестыковки между обеспеченным традиционной мифическим содержанием сознанием и современной, непрерывно меняющейся, склонной к дивергенции мифологией перерастают в противоречие. Похоже, мы вступаем в разгорающийся конфликт между двумя типами мифологий и символизаций. Речь идет о нуждающемся в осмыслении запросе на наррацию третьего уровня, выходящую за пределы сиюминутного политического контекста. Уже в последнее десятилетие XX столетия ситуация технологически (Интернет), политически (кризис либерализма), социально (расслоение и радикализация среднего класса), культурально (активизация фундаментализма) стала переформатироваться. Активно формируется социально-культурная и технологическая платформа для смены политических реалий.

Поэтому важна упорядоченная, систематическая коммуникация, в несколько этапов (по мере интенсивности социальной коммуникации и ее организационных форм), ведущая к закреплению традиций — вплоть до их полной институционализации в организационно-правовые формы, воплощения в материальной среде [Тульчинский 2010]. Такие стадии проходят любые ценностно-нормативные системы — не только в политике, но и в бизнесе, науке, искусстве, религии. Также и формирование повестки дня в символической политике должно своевременно дополняться созданием инфраструктуры для воплощения транслируемых смыслов, образов, когда коммуникация дополняется материальными артефактами (hardware) и событиями, в которых смыслы оседают новым культурным слоем для последующих поколений, входят в их образ жизни.

В этой связи, особенно перспективными представляются исследования диахронического плана, которые могут уточнить соотношение и эффективность взаимодействия долговременных символических нарративов, зависящих от текущего политического момента медийных нарративов и нарративов «среднего времени», транслируемых в образовательных программах, сфере искусства.

11.4. Информационные войны как конфликты смысловой наррации

Концепты и технологии символической политики, осуществляемой посредством массовых публичных коммуникаций, не только обеспечивают влияние, «мягкую силу». Они также открывают теоретические возможности, дают новые инструменты анализа социальной реальности в конфликтологии, прикладной политологии, социологии и социальной психологии. Более того, сами эти исследования (модели, аналитики, опросы, статистические данные,

их обработка и т. д.), в свою очередь становятся компонентами символической политики, потому что предлагают определенные интерпретации, объяснения социальной реальности. Особую роль при этом играет их включение в медийное пространство.

Ярким примером такой технологии, предстающей одновременно и теоретической моделью интерпретации, являются «информационные (смысловые) войны» [Бухарин, Цыганов 2007; Власенко, Кирьянов 2011; Волконский 2003]. Ранее было проведено сопоставление известных толкований таких терминов, как «информационная война», «политическая манипуляция», «пропаганда», «слухи», «идеологическая диверсия», «психологическая война» [Глазунова, Тульчинский 2012]. Если однонаправленные информационные атаки, действия типа пропаганды, манипуляции и слухов имеют целью убеждения, мнения, то смысловые информационные войны второго рода преследуют кратковременные практические цели, стимулируя определенные действия, необходимые для решения конкретной проблемы. Специфика таких «войн» в том, что нельзя однозначно идентифицировать их акторов, их мотивацию, полученные результаты. При желании за любой новостью, за любым событием можно проследить мотивационную цепочку, «коварный замысел», который можно приписать неким «врагам».

Социально-политическая реальность является результатом взаимодействия, столкновения, конкуренции таких проектов и кампаний. Именно это имеется в виду, когда историю понимают как «равнодействующую воль». Тем не менее акторы «информационных войн» во многом оказываются продуктами интерпретаций, дискурсивных практик, которые, в свою очередь, тоже могут рассматриваться как «информационные войны». Тем самым сам феномен смысловой информационной войны переводится не то что в дискурсивную практику мифотворчества, а в игру ума аналитиков и политтехнологов — кто кого «переинтерпретирует». Это не только и не столько собственно осуществляемые взаимные информационные, пропагандистские, манипулятивные атаки, сколько именно *конфликт интерпретаций* этих действий. Интерпретаций, в которых (и за которыми) обозначаются противоборствующие стороны, инициаторы этих атак, а также их мотивация, стоящие за ними интересы.

Более того, подобная смысловая информационная война предстает конфликтом, представленным в информационном пространстве, имеющим целью активизировать некоего «Третьего» (группу влияния, инстанцию, лиц, принимающих решение), который обладает ресурсами и полномочиями решить конфликт, стоящую за ним проблему. Именно к этому «Третьему» фактически апеллируют обе стороны конфликта, обосновывают свои действия («не мы первые начали»), собирают аргументы неправоты противников и оппонентов [Tulchinskii 2013]. Речь идет не столько о доказательствах, сколько о *привлечении внимания и побуждении к необратимым действиям*.

Используемые средства при этом могут быть самыми различными, включая весь набор манипулятивно-пропагандистских технологий. В результате

интенсивности и концентрации подачи информации становится неприлично, несправедливо оставлять фактам статус «полуправды», слухов, игнорировать их. Обнародование фактов придает им такую степень *publicity*, когда не просто «все говорят», а когда «нельзя замолчать», когда уже «надо действовать».

В плане наличия мотивации акторов по воздействию на адресатов символическая политика может трактоваться как манипулирование общественным сознанием. Правда, в случаях не состоявшейся или не успешной манипуляции, а также в случае ее разоблачения, манипуляция перестает быть таковой и становится предметом анализа. И в этом «лишенном манипулятивности» качестве она может стать предметом символической политики — опять же, при соблюдении указанных выше условий **А** и **В**.

В этом плане особый интерес представляет такой фактор исторической памяти, как геноцид — чрезвычайно острая тема, о которой трудно (наверное, и невозможно) говорить бесстрастно. Тем более что это отнюдь не просто тема исторической памяти, не только история. Это и отчаянная борьба за признание исторических фактов, их интерпретацию, осмысление и переосмысление. При этом важно понимать, что в объяснении этого чудовищного явления главное — это понять, что геноцид не просто насилие, и даже не просто массовые убийства. В геноциде главное — его мотивация, оправдание этих действий, имеющих целью уничтожение целого народа, стирание его с лица земли, лишение возможности жить, любить, рожать детей, продолжать культуру… Другими словами, геноцид начинается, коренится в определенном состоянии общественного сознания, находящего нравственные основания для массового уничтожения людей потому, что они не просто «какие-то не такие», а заслуживающие вычеркивания из жизни, из истории человеческого рода.

В этой связи нельзя не признать, что геноцид есть проявление слабости, обвинение других в своих собственных бедах и проблемах, возложение на них ответственности за эти проблемы. Именно поэтому геноцид столь привлекателен для безответственных политиков, склонных к пропагандистской манипуляции. Как говорил Й. Геббельс, пропаганда — это когда широким массам предлагаются простые ответы на сложные вопросы. А что может быть проще обвинения в своих проблемах некоего злокозненного врага, указание на него и призыва к его уничтожению?! Это слишком большое искушение, чтобы властолюбцы отказывались от него.

Дело еще и в том, что источником этой мотивации является не просто злая воля безответственных политиков. Их пропагандистские приемы находят благодарный отклик по одной простой причине — они отвечают на существующий массовый запрос на эти «простые ответы на сложные вопросы». Аргументы и призывы ложатся в благодатную почву, чтобы прорасти массовым одобрением геноцида и даже массовым участием в нем, как это было с массовым участием в «акциях» по уничтожению евреев в Восточной Европе или с участием курдов в этнических чистках армян в Турции и Ираке.

Итак, (1) питательной средой геноцида является массовое недовольство положением дел. Это недовольство направляется в определенное русло с помощью (2) — формирования образа Врага, виновного в этих бедах. Подпиткой ненависти к этому Врагу является (3) демонстрация его «злодеяний», фактов и жертв этих «злодеяний» посредством привлечения внимания широкой общественности к специфически интерпретированным реальным событиям или организованным провокациям и прочим *special events*. И тогда дело остается за малым — (4) спусковым крючком, запуском геноцида становится призыв к массовому насилию, (5) сами акты насилия, совершаемые при (6) попустительстве, поддержке или при прямой организации органами власти.

Именно эти шесть условий образуют комплекс причин геноцида, своевременное разоблачение каждого из которых может рассматриваться как профилактика и предупреждение практики геноцида: (1) указание реальных причин сложившегося положения дел; (2) разоблачение слабости власти и пропаганды, сводящей весь комплекс причин недовольства, фокусирующей его на конкретной, но обезличенной общности «врагов»; (3) объективное расследование конкретных причин трагедий; (4) разоблачение провокационных призывов, их возможных последствий; (5) пресечение актов насилия; (6) демонстрация и реализация властной воли по пресечению насилия и наказанию его инициаторов.

Важно понимать также, что совершённый, реализованный геноцид играет особую роль в исторической памяти его жертв. Это не только глубокая травма конкретного социума, но и мощный фактор формирования национального самосознания. Парадоксально, но механизм действия этого фактора фактически тот же. Прежде всего это образ Большого Врага, осуществлявшего попытки уничтожения данного народа. Ничто так не консолидирует социум, как наличие общей опасности и противостояние общему врагу — внешнему или внутреннему. Безопасность — базовая ценность социогенеза, лежащая в основе формирования любой общности: вместе легче противостоять опасностям, неопределенности, фобиям… Особую роль играют Герои, противостоящие Врагу и являющие примеры победительности. Не меньшую роль в формировании осознания общности и принадлежности этой общности (идентичности с нею) является и образ Великой Жертвы, героев как безвинных жертв (victims) злодеяний Врага. В этой связи можно говорить о геноциде как мощном факторе этнической и национальной идентичности.

Так, очевидно, именно наличие геноцида в исторической памяти армянского и еврейского народов объясняет феномен этих народов, прошедших через многие столетия, сохранив свою культуру и идентичность. А поскольку эти народы имели государственность, потеряв ее (в том числе и в результате неоднократного геноцида), смогли ее вновь обрести уже в Новейшее время, можно говорить об их многовековой национальной идентичности. Можно предположить, что многовековые преследования цыган также сыграли свою роль в сохранении этого народа и соответствующей этнической идентичности.

Более того, можно привести примеры попыток апелляции к отмеченной роли геноцида. Так, политическая элита курдского социума в борьбе за собственную государственность активно апеллирует к злодеяниям Врага в лице турецких и иракских властей. Арабское население Палестины, испытывая вот уже многолетние проблемы с формированием государственности, отчаянно апеллирует к злодеяниям Израиля, культивируя уже не в одном поколении палестинцев образ Великого Врага, интерпретируя любые меры по пресечению собственного насилия, как злодеяния этого врага и жертвы этих злодеяний. Показательна и ситуация в Украине, вступившей в решающую фазу буржуазной национальной революции, и испытывающей серьезнейшие экономические проблемы. Образ Врага в лице России и русских был сформирован за считаные месяцы. Правда, следует признать, что некоторые действия России весьма поспособствовали этому. А в качестве исторической памяти геноцида активно используется и даже культивируется «голодомор» 1930-х. Аргументы, что инициированные сталинской верхушкой действия, приведшие к массовым голодным смертям, унесли многие жизни не только украинцев, но и русских, татар, евреев, захватили также другие регионы страны, отбрасываются и замалчиваются.

Возможно, роль геноцида в исторической памяти как эффективного средства формирования национального самосознания объясняет некоторые проблемы с формированием российского самосознания и идентичности. Так, образ Великого Врага в отечественной истории носит «блуждающий», несфокусированный характер. Более того, вчерашний враг неоднократно становился другом, и — наоборот. Так, в образе такого «друга-врага» побывали Германия, Франция, Австрия, Англия, США, евреи, «лица кавказской национальности»… Проблема и с Великой Жертвой. Точнее, сама эта Жертва была, и неоднократно… Татаро-монгольское иго — это жертва, принесенная во имя защиты европейских народов или это был синтез Руси и Орды? Великая Отечественная война — несомненно, великая жертва, великая Победа народа, присвоенная режимом… Большевистская революция, Гражданская война, советский эксперимент, сталинский террор — Великая жертва. Но и тут возникают проблемы с ее осмыслением: во имя чего и кому она принесена.

Проведенное рассмотрение отнюдь не уравнивает жертв и инициаторов геноцида. Одно дело — пережитый геноцид. И другое — инициированный, пусть даже и в целях консолидации нации. Главный урок геноцида совпадает с главным уроком истории — цель не может оправдывать средства. Цели сами по себе не подсудны — никто не желает зла, все стремятся к добру. Подсудны используемые средства. Построить собственное счастье на могилах тысяч и миллионов людей невозможно. Неспроста акты публичных покаяний, извинений, принесенных руководителями Германии, Польши, Литвы, стали актами политической ответственности. Мир изменился. Решать проблемы одного народа за счет захвата территорий, вытеснения, переселений других народов, этнических чисток становится все труднее, если вообще возможно.

Еще одним итогом проведенного рассмотрения является задача понимания причин геноцида, опасности безответственных квалификаций и призывов, выработка общественного иммунитета по отношению к ним. А главное — ответственности, не только политиков, но и историков, других гуманитариев, деятелей культуры и искусства, журналистов.

Тесная взаимосвязь и даже взаимодополнительность массовых публичных коммуникации и символической политики создают качественно новый характер современной цивилизации, предстающей насыщенным и даже перенасыщенным символическим пространством. Это пространство имманентно и самодостаточно. [Тульчинский 2013]. В такой ситуации поиск нового опыта, трансцендирование в иное заменяются фрактализацией настоящего и прошлого, утрачивается образ будущего. Более того, возникает аларм по отношению к будущему, его нежелание, страх перед ним. Место научной фантастики заняло фэнтези с его средневековой стилистикой. Характерна ситуация в искусстве, в котором на первый план выходят сиквелы, приквелы, пародии, когда происходит накопление разнообразия без приращения нового.

Лавинообразный рост интерпретаций интерпретаций интерпретаций даже порождает идею жесткой регламентации символов[137]. Введение символического регламента вряд ли поможет, но возрождение интереса к религии (как традиционным формам, так и альтернативным) — явление именно этого порядка.

Немаловажно и то, что массовое общество в сочетании с интенсификацией коммуникации имеет следствием глубокую вовлеченность практически всего человечества в происходящее на планете — если не непосредственно, то через СМИ. Войны, революции, перекраивание границ, катастрофы, массовые убийства, этнические чистки затронули миллионы людей. Такая массовая вовлеченность ведет к «историзации» массового сознания, к тому, что история становится значимой частью личного опыта миллионов, оседает в их памяти [Winter 2008]. Фотография, кино, медиа — особенно телевидение и Интернет визуализируют происходящее в разных концах мира, позволяя чувствовать себя виртуальным участником. А массовое образование, социально-культурные практики от праздников до компьютерных игр закрепляют этот опыт. Особую роль играют новые «мнемонические технологии», дополнившие обычные технологии музеефикации, мемориалов, книгопечатания широчайшими мультимедийными возможностями [Memory… 2004].

Отдельной проблемой является распознавание фейков, пропагандистских нарративов и способность противостоять им. Особенностью современной пропаганды, которую Г.Г. Почепцов называет «пропагандой 2.0», является новый формат новостных потоков в СМИ. [Почепцов 2015]. Если обычные новости отражают события физического мира, то фейковые новости (пропаганда 2.0) прямо транслируют создаваемый ими виртуальный мир, подавая его как мир физический. Обычные новости допускают альтернативную точку

[137] Синицын А. Сакральный регламент // Ведомости. 2015. №3823. С. 1—6.

зрения, поскольку за ними стоит некая реальность, которая может оцениваться с разных позиций. Пропаганде 2.0 не может быть альтернативы — она сама претендует на статус физической реальности. Тем самым современные пропагандистские нарративы изначально создаются так, чтобы быть нераспознаваемыми.

Это делает распознавание фейков делом сложным. У широких слоев населения нет ни знаний, ни навыков, ни времени, ни желания, необходимых для анализа. Человек массового информационного общества чувствует себя гораздо комфортнее в ситуации готового ответа, чем дискуссии (особенно, если рассматриваемая проблема не входит в круг его особых интересов). Он просто принимает информацию как данность.

Тем не менее определенный инструментарий для распознавания пропагандистских нарративов возможен, поскольку они выстраиваются по определенным правилам. Поэтому иммунитет к фейковой пропаганде 2.0 вырабатывается в случае медиапросвещения, переводящего слушателя, зрителя в контекст, на метауровень, в позицию «вненаходимости» (М. Бахтин), без которой невозможно осмысление происходящего.

Г.Г. Почепцов составил свод пропагандистских приемов, в котором были обобщены идеи Лассуэла, Э. Бернейса, У. Липпмана, высказанные еще в первой половине XX в. Получился базовый свод пропагандистских приемов, практикуемых и в наше время.

Первый уровень распознавания пропагандистских нарративов:

— перенос вины за конфликт, войну на врага;

— усиление веры людей в то, что враг несет ответственность за войну примерами порочности врага;

— акцент на единство и победу во имя истории и сакральных целей;

— формулировка четких целей войны;

— навязывание веры, что неблагоприятные новости являются вражеской ложью;

— сопровождение всего этого ужасными историями;

— усиление морального единства собственной страны;

— ослабление морали врага;

— выигрыш в области поддержки со стороны нейтральных стран.

Второй уровень — проверка фактов по альтернативным источникам — действенен только для активной и образованной части населения.

Третий уровень — наличие цензурирования: если о каком-то факте умалчивают, а значимость его веска, это может служить доказательством его правдивости.

Четвертый — доверие конкретным лидерам мнений, доказавшим свою правдивость ранее.

Пятый — доверие авторитетным нейтральным источникам.

Шестой — хорошим признаком является отсутствие эмоциональных перекосов в освещении. Завышенный градус подачи материала и полемики с большой вероятностью выдает пропагандистский материал.

Седьмой — доверие знакомым нам очевидцам событий. Это могут быть родственники, коллеги, их знакомые — очень часто их свидетельства отличаются от того, как трактуют события СМИ.

Восьмой. Внезапное начало и окончание информационной кампании (или ее четких этапов). Вход и выход из кампании происходит стремительно, поскольку подчиняется не информационным, а совершенно иным законам.

Девятый — ограниченное число спикеров на ТВ, которых зовут все телеканалы, также выдает специально организованную информационную кампанию.

Десятый — негативная подача информации по отношению к целой стране, народу, этнической группе сразу сигнализирует о пропагандистских целях.

Пропаганда пользуется специфическим языком и аргументацией: фальшивые факты, некорректная аргументация, лексика разделения и противопоставления («мы против них»), дегуманизирующие оппонентов метафоры («нелюди», «убийцы», «фашисты» и т. п.).

Сила пропаганды 2.0 еще и в возможностях бесконечного повторения ее нарративов.

11.5. Нарративы исторической памяти: наследие и образование

Что может рассматриваться в качестве исторического наследия? Любые архивные данные? Любые предметы и артефакты прошлого? Эти вопросы имеют особое значение применительно к современному российскому обществу, с его поисками самоопределения, позиционирования в современном мире, а главное — собственного внутреннего самоопределения, которое невозможно без осмысления исторического прошлого. Проблема осложняется еще и тем, что речь идет не просто об исторических фактах, «белых» или «черных» пятнах в отечественной истории, а о выборе тех фактов, которые представляются важнейшими, существенными для понимания настоящего, перспектив развития общества, фактически — того символического наследия, без которого невозможно построение будущего и которое важно для выявления и понимания перспектив этого будущего.

На прошедшей в конце апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге международной научной конференции «О пользе и вреде культурного наследия для жизни» в результате довольно бурной дискуссии большинство участников пришло к выводу, что в качестве культурного наследия может рассматриваться не весь тот багаж прошлого, который осел в архивах, музейных фондах, стал предметом исследований, а только то, что включается в оборот социальной жизни, продолжает традиции. Другими словами, то, что составляет актуальную историческую память социума, то есть общепринятые представления о прошлом страны, нации, ходе их развития, которые транслируются, обсуждаются в публичном пространстве, формируя социально-культурные идентичности, способствуя осознанию общих проблем, целей, консолидируя и мобилизуя представителей различных поколений на достижение этих целей.

В этом плане историческая память выступает социально-политическим институтом, реализуемым в различных формах и различными социально-культурными технологиями: от образования, исторической науки и искусства до массовых праздников и средств массовой информации. И активное обсуждение тематики «политического использования истории», «исторической политики», «политики прошлого», «политики памяти», «коллективной общественной памяти», «исторической памяти», «режимов памяти», «культуры памяти» и т. д. стало предметом интересов широкого круга историков, социологов, философов, политологов, психологов, культурологов и других специалистов [Малинова 2015; Историческая политика… 2012; Васильев 2012].

Роль общей исторической памяти социума сродни роли памяти в формировании и в самом факте существования индивидуального сознания. Объем и качество памяти — достаточно точные критерии интеллектуального и нравственного развития личности, ее уровня образования и профессиональной подготовки. Сам факт самосознания, свидетельство вменяемости личности выражается в способности вспомнить далекое и недавнее прошлое, имена и даты, собственную биографию, своих близких, отношения с ними, рассказать об этом… Недаром подавляющее большинство практик самопознания (исповеди, дневники, автобиографии, воспоминания, «истории по жизни» и т. п.), так или иначе, но связаны с практиками воспроизводства памяти, рефлексии над ее содержанием в виде рассказов, дискурсивного развертывания. Аналогично и с исторической памятью социума. «Чтобы сформировать… чувство единства с другими людьми, принадлежащими к той же нации, необходимо, чтобы индивид мог отождествлять себя с разворачивающимся во времени нарративом», в котором данной нации «отводится центральная и позитивная роль» [Bell 2003: 65].

Нарратив — дискурсивная практика повествования, разворачивания событий в некоей осмысленной последовательности, имеющей начало, сюжетику развития и развязку, финал. Причем ключевую роль играет именно финал, завершающий повествование и осмысление всего его сюжета. Рассказчик, собственно, тем и отличается как от героев своего рассказа, так и от слушателей, что он знает, чем завершилась рассказываемая история. Именно наличие определенного «завершения», конца, изначально известного нарратору, создает своего рода силовое поле, приводящее все сюжетные линии к одному смысловому фокусу. Знание финала выступает аналогом аттрактора, поэтому понимание истории делает ее телеологической дисциплиной вполне в гегелевском смысле, открывая двери ее перманентному переформатированию — в соответствии с очередным «сдвигом финала», то есть очередным этапом развития общества.

В практиках осмысляющей наррации особую роль играет история, которая нередко и конституируется (Т. М. Гуд, А. Данто, Д. Каллер, А. Карр, Ф. Кермоуд, А. Тойнби, П. Рикёр, Х. Уайт и др.) в качестве нарратологии по преимуществу. В рамках нарративного понимания истории, события, сам исторический процесс трактуется не как некий объективный процесс развития, а

как всегда возникающие в контексте конкретного рассказа и заложенной в нем интерпретации. Такой рассказ в исторических сочинениях использует широкий спектр концептуализаций: от специфически выстроенной хроники, определенного типа построения сюжета до идеологического подтекста или даже социального заказа. В качестве теоретической дисциплины история выступает не описанием реальности, а скорее инструкцией по ее формированию, построению, а историк предстает коммуникатором, медиумом, который отбирает из исторических источников отдельные фрагменты, складывая их в определенную историческую картину, которая транслируется далее в научных статьях, учебниках, популяризациях, СМИ.

По словам Ж. Эллюля: «Сегодня факт — это то, что переведено в слова или представления; очень немногие люди могут непосредственно испытывать на себе то, что оказалось переработанным и приняло характер общезначимости, поэтому фактом является то, что передано широкому кругу людей средствами коммуникации, и то, чему был придан определенный оттенок, не обязательно воспринимавшийся очевидцами события. Все эти черты соединены вместе и конституируют те абстрактные факты, на которых строится общественное мнение» [Ellul 1973]. Иначе говоря, фактом становится не то, что произошло, а то, о чем рассказали, и как рассказали.

Исследования показывают наличие трех уровней реализации исторической памяти, каждому из которых свойствен свой временной ресурс динамики [Тульчинский 2016]. Во-первых, это оперативный режим, реализуемый медийными технологиями, индустриями культуры и искусства. В этом режиме содержание исторической памяти наиболее подвижно (с лагом до 3 лет) — в зависимости от текущей внешней и внутренней ситуации, политического курса и т. п. Во-вторых, это образование — режим более инерционный (лаг 15—20 лет), обеспечивающий воспроизводство более устойчивого содержания исторической памяти. В-третьих, это собственно культурная память, режим наиболее устойчивый, поскольку задает культурную идентичность. Поэтому его лаг составляет 30—50 лет, не менее 2—3 поколений.

Переоценка коллективного прошлого в зависимости от изменения контекста — задача, конечно же, необходимая. Меняется ситуация, расклад политических сил, какие-то интересы сменяют другие. Как и жизнь личности, жизнь социума переосмысляется с каждым пережитым этапом. Практически весь политический класс — от высшего государственного руководства до местных депутатов и чиновников, ведущих журналистов и экспертов — не только апеллирует к прошлому, участвует в его интерпретации, но и имеет возможность прямого регулирования воспроизводства исторической памяти. Изменения государственной символики, официальных ритуалов, содержания учебников и учебных программ, календаря памятных дат, отмена и учреждение общенациональных праздников — все это далеко не полный перечень политического использования истории, а то и его целенаправленной составляющей в качестве «исторической политики» [Историческая политика… 2012]. Прошлое становится не только одним из риторических ресурсов леги-

тимации власти, пропаганды, но частью самой политики. В ряде исследований О. Ю. Малиновой детально показано, как строится дискурсивная практика переосмысления исторической памяти в нормативных документах и выступлениях политических руководителей РФ за последнюю четверть века [Малинова 2015].

Переосмысляется и личный, семейный опыт. Неизбежно переписываются учебники, пересматриваются образовательные программы. Поэтому принципиальную роль играет согласование содержания исторической памяти на каждом уровне. Их рассогласование порождает социумы с «разорванной» исторической и культурной памятью. До недавнего времени примерами таких обществ были Мексика, Алжир, Турция, Россия — общества, в которых элитами транслировались представления о целях и путях развития, резко отличающиеся от культурной памяти социума, а то и отрицающие само содержание этой памяти. Неслучайно в таких обществах предлагаемые элитой реформы и программы развития сталкиваются с серьезными проблемами и сопротивлением, предполагая дополнительные сверхусилия по консолидации общества, что сопровождается социальными конфликтами и даже насилием. Только общая историческая память обеспечивает доверие широкого радиуса, выступая основой консолидации общества. Почти как в известной мудрости: гармония в душе — гармония в семье, гармония в семье — гармония в делах, гармония в делах — гармония в стране, и наоборот: гармония в стране — гармония в делах, гармония в делах — гармония в семье, гармония в семье — гармония в душе.

В этой связи весьма показательна динамика современной российской символической политики исторической памяти, когда примерно с 2012 существенно изменилась оперативная символическая политика «сверху». Политическая элита заговорила на языке культурной памяти включая советский опыт (что оказалось довольно неожиданно для академической (научно-образовательной среды), и, одновременно, поддержала идею гражданской идентичности, что оказалось не менее неожиданно для обыденного этнического понимания наций и сторонников этнофедерализма. Такая динамика тем более порождает необходимость соотнесения символических презентаций прошлого на каждом уровне, других направлений работы с содержанием исторической памяти, ее систематизации.

Подобные попытки могут быть связаны с различением жанров исторической памяти [Цымбурский 2011], что позволяет наметить логику такого осмысления и такой систематизации.

Прежде всего это триумф — торжество социума: слава героев-победителей, несостоятельность врагов, вызовов. Но не менее важны и скорбь, траур — травмы социума. Как показывает опыт некоторых наций, страдания соединяют в большей степени, чем радости [Тульчинский 2015б]. Именно с ними связаны память о героических (активных) жертвах «во имя» (sacrifice) и о трагических (пассивных) жертвах, мучениках «от» (victim). Показательно,

что одним из уроков прошлого столетия стали практики стыда, покаяния. Ряд глав современных государств принесли публичные покаяния за трагедии Холокоста (Шоа).

К практикам стыда и покаяния примыкают практики забвения, которые очень важны для формирования национального самосознания, вообще культурной идентичности. Как писал Ф. Ницше, без забвения нет ни жизни, ни счастья, ни будущего, ни спокойной совести [Ницше 1990: 441—442]. А Э. Ренан в своем знаменитом сорбоннском докладе «Что такое нация?» (1882) подчеркивал, что нация — это общность людей, у которых много общего и которые вместе многое забыли [Ренан 1902: 91—92]. Действительно, как в истории каждой семьи есть свои «скелеты в шкафу», так и в истории народов есть обстоятельства, о которых не хотелось бы вспоминать. Но забвение не может сводиться к простому замалчиванию неприятных фактов истории. Остаются исторические факты, документальные архивы, свидетельства и память очевидцев, хранителями которых являются или сами очевидцы, или их потомки. Наконец, эти факты и обстоятельства могут храниться в исторической памяти других народов, входить как исторические травмы в их память и идентичность.

Именно следствием замалчиваний, педалированием собственного героизма и являются конфликты и войны исторической памяти. Не будучи включенными в историческую память, не осмысленные ею, эти темы образуют незалеченные травмы общественного сознания, его «невротичность», обусловленную невозможностью дистанцироваться от прошлого, зафиксировать его, уверенно жить дальше. Такое прошлое постоянно присутствует, вызывая навязчивые повторы. Это проявляется не только на уровне искусства и СМИ, в радикальных пересмотрах учебников и учебных программ, но и в переименованиях городов и улиц, разрушении памятников, охранных зон, даже на уровне вынужденно замалчиваемых тем семейной памяти. В не столь давнем советском прошлом дело доходило до уничтожения и фальсификации документов — например, дат и причин смерти репрессированных.

Ряд исследователей отмечает «этический поворот», произошедший после Второй мировой войны, и связанный с трагедией Холокоста [Ассман 2014: 123—124, 304]. Произошла глобализация памяти народов и человечества. Формируется общечеловеческая культура скорби и ответственности. Основной тренд конструктивной эволюции национальной памяти связан не только и не столько с триумфальной или оскорбленной честью. Он включает и совместную память исторических травм — скорбь и признание общей ответственности, а также меморизацию трагедии.

Переживания исторической травмы [Welzer 2005] включают в себя следующие этапы: выявление Жертвы; молчание (шок, дистанцирование, завороженность трагедией); осмысление; преодоление; меморизация. Осознание Жертвы и дистанцирование — естественны и объективны. А осмысление, преодоление и меморизация предполагают достаточно напряженную работу и усилия. Такие практики конструктивного забвения достаточно хорошо из-

вестны. Можно только предложить их некоторую систематизацию. Во-первых, это изживание прошлого на уровне научного осмысления: исторические и социологические исследования, их последующее архивирование, а также включение их результата в образовательные программы высокого уровня. В начальных классах и в средней школе знакомить детей с деталями трагедий необязательно — достаточно общего представления. Во-вторых, это символические презентации этой памяти, связанные с глубокой рефлексией (скорби, печали). Без такой рефлексии исторические травмы предстают как нечто, достойное сожаления, но не более того. А неизжитые травмы постоянно возвращаются, порождая конфликты.

Двадцатый век — один из наиболее трагических, если не самый трагический, в отечественной истории. Фактически за период жизни одного поколения российское общество несколько Великих Травм, отношение к которым до сих пор раскалывает наше общество. Великая Отечественная война — неспроста Победа стала главным праздником. Эта великая травма глубоко и широко осмыслена обществом и его элитами. Но остались травмы исторической и культурной памяти. В то же время попытка отметить 100-летие трагедии Первой мировой войны фактически потерпела неудачу. Общество оказалось неготовым к осмыслению и включению этой трагедии в свою историческую память. Требуется дополнительная работа по осмыслению этой ключевой для понимания всего столетия трагедии, ее героев, жертв-во-имя и меморизации. То же самое можно сказать и о Гражданской войне — требуется признание общей ответственности и меморизация трагедии.

Не менее важно и осмысление трагедии Репрессий. Их трагичность признана, но требуется осмысление «жертвы во-имя», «жертвы-от», констатация источника трагедии, признание общей ответственности и меморизация. В этой связи последние решения об увековечении памяти жертв сталинских репрессий в Москве являются важным шагом в конструктивном направлении.

Наконец, Распад СССР — травма, коренным образом изменившая судьбу страны и ее граждан, требует осмысления жертвы «во-имя» и «от», признания общей ответственности и меморизации.

Широкое внимание привлекло расследование Денисом Карагодиным обстоятельств расстрела в 1938 г. его прадеда Степана Карагодина. Правнуком была документально прослежена вся цепочка решений и исполнения: от решений, подписанных руководством страны, до лиц, подписавших приговор и приведших его в исполнение. И одним из результатов публикации материалов этого расследования в сети стало письмо внучки Николая Зырянова (палача С. Карагодина), только за один день 21 января 1938 г. расстрелявшего 36 человек:

> Умом понимаю, что я не виновата в происшедшем, но чувства, которые я испытываю, не передать словами… Отца моей бабушки (маминой мамы), моего прадеда, забрали из дому, по доносу, в те же годы, что и Вашего прадедушку, и домой он больше не вернулся, а дома остались 4 дочки, моя бабушка была млад-

> шей… Вот так сейчас и выяснилось, что в одной семье и жертвы, и палачи... Очень горько это осознавать, очень больно. Но я никогда не стану открещиваться от истории своей семьи, какой бы она ни была [Фомина, Рачева 2016].

Особенно важной представляется роль образования, реализующего промежуточный, медианный уровень формирования исторической памяти, связь оперативной исторической памяти и инерционной культурной идентичности.

На прошедшем 30 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге IV Конгрессе учителей общественных дисциплин активно работала секция «Историческая политика и историческая память: как уроки по истории трансформировать в уроки истории». Материалы секции продемонстрировали, что коллективами школ, отдельными учителями накоплен богатый опыт работы в этом направлении, затрагивающий урочное и внеурочное время. Широко используется игровой формат, театрализация, возможности, которые дают современные информационно-коммуникативные технологии: базы данных, возможности контактов. Школьники с большим интересом участвуют в изучении конкретных фактов, событий, связанных с их городом, селом, местными жителями, их семьями. По итогам таких исследований, специальных поездок, экскурсий проводятся конференции, выставки, нередко организуются публикации. Эти материалы выкладываются на сайтах школ, в социальных сетях. И для школьников очень важно, чтобы такая практика заканчивалась реальным результатом — выставкой, публикацией.

Учителя ищут не только новые формы, но и стараются уйти от избитых тем, вовлекая семейный опыт, семейные архивы, личный опыт близких и знакомых людей. Тем самым достигается бóльшая вовлеченность и сопричастность детей историческому опыту, сопереживание ему, понимание прошлого своего села, города, страны, а главное — своей семьи, свой собственной предыстории, всего того, что так важно для самосознания и самоопределения.

Этот опыт, как и упомянутая история потомков С. Карагодина и его палача, дает наглядный урок конструктивной практики забвения. Бои за прошлое, его реконструкция, разумеется, важны. Но это только первый шаг к консолидации социума. Как самоцель они — способ не заниматься будущим. Главное — дать покой мертвым, успокоить память живых и вместе строить жизнь дальше, достигая упомянутой выше гармонии в душах, семьях и делах.

12. ФОРМИРОВАНИЕ НАРРАТИВА ИЗ ПЕРФОРМАТИВА В ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

12.1. Соотношение нарративов и перформативов

В первую очередь необходимо рассмотреть возможные варианты соотношения нарративов и перформативов. Они возможны как минимум в трех вариантах. Во-первых, это отношение несовместимости и тогда они оба не имеют общих элементов, но включены в родовое понятие речевого акта. Во-вторых, возможно, перформатив — это разновидность нарратива. В этом случае достаточно доказать, что все перформативы — это нарративы, но некоторые нарративы суть перформативы. В-третьих, возможно, что перформатив составляет основу любого нарратива и не существует такого нарратива, в котором в явной или скрытой форме не присутствует подталкивание к какому-нибудь действию или бездействию. В этом случае связь нарратива и перформатива можно определить как парное, или N-множество, в объеме понятия речевой акт, в котором каждому нарративу соответствует не менее одного перформатива.

Перформатив как феномен языка (речевой акт) присутствует в различных формах коммуникации, которые необходимо рассмотреть в процессе выявления взаимосвязи наррации и перформативов. В данном случае наиболее общим является понятие публичной коммуникации, под которой далее понимается множество вербальных коммуникаций между людьми в социуме при условии, что каждый имеющий желание может участвовать в любой подобной коммуникации в качестве автора, комментатора, слушателя, исследователя и т. д. В этом смысле публичная коммуникация не только противопоставляется коммуникациям в межличностном пространстве (private vs public), но и отделяется от более специализированных форм коммуникаций: учебных, производственных, служебных и других.

Публичные коммуникации во многом определяют форму и содержание социальной реальности — социально-культурной сферы, политики, сферы деловых коммуникаций, научной и других практических сфер, составляющих цивилизацию. Этот феномен имеет специфические проекции на разные направления фундаментальных и практических исследований в естественных, гуманитарных и точных науках. Очевидно, что в силу универсальности, генерации смыслов и даже смысловых и нормативно-ценностных систем пространство публичных коммуникаций содержит наибольшее количество нарративов. В пространстве социальной философии, философии искусства, логики и методологии гуманитарного знания, нарративы представляют собой большое пространство для исследований, выявления связей и создания возможных моделей.

Феномен публичных коммуникаций опредмечивается в различных формах и направлениях нарративов: официальные и оппозиционные, явные и архетипично-подсознательные, мифологические, культовые, фольклорные и многие другие. Таким образом, наррация представляет собой и предмет, и метод исследования системы социальной реальности, создаваемой в процессе публичных коммуникаций. Современные процессы, связанные с переходом социума от постиндустриального к информационному обществу, требуют установления причин формирования новых нарративных практик публичных коммуникаций. Новые условия существования социума связаны непосредственно с возникновением и распространением цифровых технологий, формированием новых коммуникационных каналов, созданием новой цифровой культуры социальных, деловых, политических и научных коммуникаций.

Для выяснения генезиса современных нарративов необходимо определить роль коммуникационных процессов в стратифицированном социуме. При этом в качестве важного направления научного поиска необходимо отметить консолидирующие и разделяющие конструкции, используемые в публичных коммуникациях, выявить факторы, влияющие на процессы формирования социального партнерства и гражданского общества.

Понимание логики соотношения естественных и искусственных причин возникновения перформативов и нарративов в современном тексте публичных коммуникаций формирует возможности для моделирования, унификации и сквозной десигнации в процессе нарративного описания множества возможных реальностей, представляет поступательное движение, напрямую связанное с особенностями функционирования большинства сфер общественной жизни.

Система формирования различных нарративов публичных коммуникаций может быть рассмотрена как эффективный инструмент в конструировании многообразных социальных реальностей, в условиях сплита реальностей и кроссреального серфинга. Общая стратегия изучения развития пространства публичных коммуникаций может быть актуализирована в области конвергентного междисциплинарного рассмотрения коммуникационных процессов с учетом остенсивных особенностей российской действительности на основе нарративных практик.

Событийная методология (технология) определения качественных и количественных характеристик даст возможность определить основные тренды развития стратифицированного социума, выявить векторы развития концептов индивидуальной и коллективной реальностей. Конструктивное событийное моделирование публичных коммуникаций и последующая верификация моделей позволят конструировать когнитивные технологии применительно к теоретическим задачам, связанным с лингвокультуральным переносом [Проскурин 2017], семантическим трансфером [Blank 1999], локализацией смысловых конструкций [Зинкевич 2018], а также применительно к прикладным отраслям научного знания, таким как символическая политика, формирование форсайта, брендинг и прочим.

Рассмотрим первый вариант взаимного соотношения множества нарративов и перформативов как отношение несовместимости. Согласно этой версии оба множества не могут иметь общих элементов.

Существует мнение, что на противопоставлении, и даже конфликте нарративов и перформативов строится драматическая ситуация в литературе [Агеева 2015]. Исследователи склонны разделять и противопоставлять эти понятия применительно к драматическим текстам [Тюпа 2010]. Французская школа нарратологии утверждает, что противопоставление описания и декларации, нарратива и перформатива проявилось как оппозиция понятий диегезиса и мимесиса еще в Античности [Женетт 1998].

Для того чтобы опровергнуть первый тезис, сформулировано много аргументов. Приведем два из них.

Аргумент первый. В случаях сочетания долженствования и бытия в одном тексте часто ссылаются на принцип Юма, или «вилку Юма»: «Невозможно вывести долженствование из бытия; никакое собрание фактов, сколько бы всеобъемлющими оно не было, не влечет за собой ценностного вывода» [Уэст 2015]. Другими словами, из того, что есть (нарратив), не следует то, что должно быть (перформатив), смена модальностей недопустима. Из любого описания не следует императив, а повелительное наклонение, вытекающее из наррации в виде морали, неуместно.

Но если посмотреть «Трактат о человеческой природе» Д. Юма, то там дословно сказано следующее:

> Всякое вероятное рассуждение не что иное, как род чувствования. Не только в поэзии и музыке, но и в философии мы должны следовать своему вкусу и чувству. Когда я убежден в каком-либо принципе, это значит только, что известная идея особенно сильно действует на меня. Когда я отдаю преимущество одной цепи аргументов перед другой, я только решаю на основании чувства, какая из них имеет более сильное влияние на меня. Между объектами нет доступной нашему наблюдению связи; и только при помощи действующей на воображение привычки, а не какого-то иного принципа мы можем вывести из явления одного объекта заключение о существовании другого [Юм 1996: 159].

Из трактата Юма можно сделать несколько выводов.

1. «Когда мы говорим “А является причиной В”, все, что мы имеем право сказать, — это то, что в прошлом опыте А и В появлялись вместе часто в быстрой последовательности и не наблюдалось ни одного примера, когда В не следовало бы за А или не сопровождало его» [Рассел 2001: 781].

2. Однако как бы много примеров совпадения А и В мы ни наблюдали, это не дает основания ожидать, что они будут совпадать в будущем.

Д. Юм отрицает любую операцию необходимого логического следования из А в В, но не отрицает возможного наступления такого следования (с присущей ему иронией шотландский мыслитель отмечает, что это относится и к

его собственному принципу). Переводя утверждение Юма в нарративно-перформативное пространство, можно «утверждать», что не из каждого нарратива может следовать перформатив, но такое может быть.

Аргумент второй. Некоторые жанры художественной литературы состоят из двух частей (нарративной и перформативной) и в ином виде не могут существовать. Например, басня, в которой выводится мораль, или сказка, в которой перформатив создается по алгоритму «сказка — ложь, да в ней намек, добру молодцу урок».

На основании этих двух аргументов можно предположить не только то, что какая-то часть перформативов связана с нарративами, но и то, что перформатив в явной или в скрытой форме может составлять существенный признак некоторых классов наррации. Нарратив в некоторых языковых формах неизбежно связан в перформативом. Другими словами, существует множество, отличное от пустого, в котором нарративы и перформативы связаны друг с другом.

Из того что нарративы и перформативы в широком пространстве публичных коммуникаций имеют область пересечения, возможно, следует и их взаимное пересечение в более узкоспециальных областях коммуникаций. Например, в музыкальной или нотной записи, кроме символьного описания тона, длительности звуков и последовательности их звучания, присутствуют советы-указания о том, как играть то или иное музыкальное произведение: *adagio, andante, allegro* и т. д.

В ЕСКД (Единой системе конструкторской документации) перформативы присутствуют в различных текстах, чередуясь с описательной, нарративной частью документации. Такую же картину можно наблюдать и в текстах, связанных с функционированием организаций в условиях, ограниченных по времени, например в армии. В армии существует необходимость однозначного и необсуждаемого побуждения к действию в условиях ограниченных ресурсов. Кроме армии подобный сплав нарративов и перформативов присутствует в инструкциях МЧС, при работе со сложной техникой, в условиях повышенного риска наступления обстоятельств непреодолимой силы и т. д. В публичных коммуникациях иногда генезис перформатива из нарратива неочевиден, но в профессиональном языке область пересечения представляет собой большую часть текстов. Это можно объяснить множеством причин, например особой чувствительностью пространства публичных коммуникаций к манипулятивным приемам [Герасимов 2015].

Рассмотрим второй тезис. Перформативы и нарративы соотносится как понятия соподчиненные, при этом перформатив — это множество в объеме понятия «нарратив». В этом случае достаточно доказать, что все перформативы — это нарративы, но только некоторые нарративы есть перформативы.

Как написал В. В. Маяковский, «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?». Существуют ли нарративы, в которых «в чистом» виде присутствует описание реальности без какой-либо скрытой / явной мотивации?

12.2. Интенциональность

Нарративы представляют собой информационный массив, состоящий из различных сюжетов, описывающих сущности и события, протекающие во времени. Сложность исследования наррации заключается в том, что каждый автор и каждый получатель нарративного послания относится к тексту нарратива избирательно, пропуская через собственную фильерную пластину, систему фильтров, прокрустово ложе, габитус (по Бурдье). В процессе взаимодействия нарратива и человека влияние на порождение, перенос и восприятие смыслов [Тульчинский 2018] оказывают различные свойства человека, например его когнитивные способности. В зависимости от нормативно-ценностных установок, полученных в процессе воспитания и обучения, человек вносит свою оценку в этапы наррации. Все сказанное справедливо по отношению не только к отдельным персонажам, но также и к социальным группам. Нарративы не только оценочно описывают реальности, но и формируют условия последующей оценочной наррации.

Получаемый замкнутый круг можно описать как систему с обратной связью. Результат работы системы влияет на систему таким образом, что система учитывает его в качестве входящего сигнала. Подобная система обратной связи, в которой оценочное описание может спровоцировать усиление значения незначимых или малозначимых событий, влияет на всю систему оценки реальности как человека, так и социума. В случае положительной обратной связи (ПОС) система после многократного повторения самовозбуждается и переходит к автогенерации нарративов, иногда слабо связанных с реальностью. Это наблюдается на примере лавинообразного возникновения и распространения сплетен, слухов, страшилок и т. д. Процесс автогенерации может вызвать разрушение смысловой и нормативно-ценностной основ нарративов. При этом разрушается и ПОС, нарративы создаются заново. Подобное действие периодически происходит в результате войн, революций и т. д.

В противоположном случае наблюдается эффект отрицательной обратной связи (ООС). ООС — система связи результатов работы системы с входящим сигналом, при которой выходной сигнала уменьшает значение входного. Применительно к наррации наблюдается процесс уменьшения ощущения значимости возможной угрозы потери от события, пренебрежение жизнью своей и жизнями окружающих, героизацию страданий «во имя…». Такого рода обратная связь вырабатывается как защитный механизм привыкания, адаптации к любым, даже самым острым проблемам, возникающим в публичной коммуникации. Подобный сюжет использован в басне Эзопа «Лгун», когда мальчик кричал «волки!». При этом алармизация и хорроризация текстов нарративов приводит сначала к возбуждению системы (нарастающий отклик), а потом к игнорированию (затухающий отклик) новостного потенциала последующих «кошмарных» новостей. Нарративный поток способен сформировать у человека мотивацию, которая будет сильнее, чем естественные инстинкты к здо-

ровью, сну, еде, комфорту, жизни и другим, но при постоянном давлении человек перестает реагировать соответственно тексту и даже может выдать противоположную реакцию.

Рассматривая нарративы с точки зрения исследований Э. Гуссерля в балансе между «объективностью и субъективностью процесса познания (Erkenntnis)» [Гуссерль 2011], как человек, так и общество не может быть свободным от внесения своего личного понимания, переживания в ткань нарратива. Автор (или авторы) под воздействием интенциональности производит отбор ключевых героев и событий, стремится указать на них слушателям, читателям или зрителям, пытается использовать нарратив как инструкцию по выходу из тревожной, драматической ситуации, создать образец для подражания, перформатив. Читатель или зритель, находясь в системе описания событий нарратива, отличающихся по месту и времени от времени действительности, существует одновременно в двух реальностях, переходя и сравнивая эти реальности в соответствии со своими убеждениями, желаниями, ощущениями удовольствия, страха, тревоги и т. д. Согласно Гуссерлю, автор имеет возможность выбирать предполагаемые обстоятельства для сюжетов. Читатель может выбирать между текстами, между реальностями.

В силу интенциональности не только текст, но и коммуникация имеет свои мотивы, скрытую или явную перформативность. Возможно, в общем множестве нарративных сюжетов встречаются тексты без интенциональной основы, следовательно — без скрытого перформатизма. В этом случае всегда можно задать вопрос: «Зачем создан такой текст?». Подобного мнения придерживается один из исследователей социального конструкционизма К. Герген, который утверждает, что перформативен весь язык, который сочетает описания, с реализацией конвенциональных социально осмысленных действий в системе публичных коммуникаций. «Слова сами по себе не описывают мир, но поскольку они функционируют успешно в рамках ритуала, основанного на отношениях, они начинают служить в качестве “описаний” в рамках правил данной игры» [Gergen 1997].

В силу приведенных выше аргументов можно утверждать, что нарративы и перформативы составляют парные множества в понятии речевого акта, при этом каждому нарративу множества соответствует не менее одного перформатива.

Обращают на себя внимание непрерывность нарратива и дискретность перформатива. Нарративы как массивы описаний, связанные большим количеством связей как между отдельными сюжетами, так и с различными реальностями, формируют у человека и у человечества непрерывность и связанность концепции реальности. Д. С. Лихачев описывает свойства концепта следующим образом:

> Концепты возникают в сознании человека не только как «намеки на возможные значения», «алгебраическое их выражение», но и как отклики на предшествующий языковой опыт человека в целом — поэтический, прозаический, научный, социальный, исторический и т. д. [Лихачев 1999: 152].

Человеку необходимо связывать события и сущности в единую непротиворечивую картину. В этом процессе фактически человеческое восприятие достаточно дискретно, если бы не нарративы.

Траектория познания человека проходит через последовательность событий, в результате которых он расширяет горизонты познаваемого. Человеку свойственно следовать за нарративом. Единственный способ сбить его с этого пути — предоставить ему альтернативное пространство развития события. В реальности в случаях, когда приходится выбирать траектории развития сюжета, между депрессивным вариантом, без *happy ending*, и неизвестным, человек склонен следовать известному злу более, чем неизвестности.

Неизвестность — источник страхов, ужасов, стресса. В этом ракурсе нарратив, описывая даже самое жуткое и кошмарное событие, снимает страх неопределенности, определяя как пространство до события, само событие и связывая событие с будущим. При этом необходимо отдать должное тому факту, что и красоту и восторг нарратив редуцирует и из полета человеческого сознания в предметные образы. В остальных случаях пишут, например, про красоту — «ни в сказке сказать, ни пером описать». Для снятия стресса неопределенности, помимо прочего, пишут аннотации, силлабусы, путеводители, краткие содержания, снимают трейлеры в кино.

Нарратив делает из дискретного эвристического сознания плавную траекторию, по которой человек познает, воспринимает мир. Наррация упаковывает реальность в непротиворечивую картину. Сшивая разрозненные сюжеты в единую ткань, нарративы служат одним из важнейших инструментов культурогенеза (по М. Ю. Лотману). В отличие от интерактивной действительности, нарративная реальность лишена вариантов и альтернатив развития сюжета. Она допускает параллельность сюжетных веток, но ограничена предполагаемыми обстоятельствами. Непрерывность (неопределенность) интерактивной действительности отлична от случившейся непрерывности нарратива законами жанра и индивидуальной интенциональностью автора.

В силу непрерывности и взаимосвязанности массива нарративов у авторов перформатива появляется возможность изменять формы нарративов вплоть до маскирования перформатива под другие речевые акты. Так, например, вопросы «Будете ли Вы выходить на следующей остановке?», «Девушка, Вы танцуете?» представляют собой перформативы, один — побуждающий уступить дорогу, другой — согласие на танец. Надпись «Не прислоняться» или «Выхода нет» подразумевает запрет на облокачивание на поверхность двери и направление движения в метро. Непрерывность и повторяемость нарративов формирует контекстуальные возможности для скрытой манипуляции поведенческими паттернами человека, например решением о покупке. Другими словами, язык подразумевает некоторую договоренность или конвенциональность между автором и читателями в отношении разных речевых актов. При этом конвенциональность не отражается непосредственно в тексте, а подразумевается как неписаное правило понимания и интерпретации.

За рамками этого раздела остается большое пространство интегрированных друг в друга нарративов и перформативов, которые образуют пространство правил и поведенческих паттернов, не входящих в объемы текстов, но очень чутко воспринимаемых как авторами, так и читателями. Можно рассматривать баланс писаных и неписаных нормативно-ценностных систем через рамку социальной семиотики.

12.3. Алгоритмы генезиса перформативов и нарративов

Для выяснения генезиса перформативов в наррации необходимо рассмотреть процесс создания нарративов. Генерация нарративов — это явление, происходящее в социальной среде, описывающее коллективное действие, попытку договориться о дескриптивном определении окружающего мира с помощью непротиворечивых повествований. В тех случаях, когда законы действительности не позволяют сочетать и объяснять события и сущности, нарратив переходит в фэнтазийную, мифологическую, религиозную, трансцендентную или иную реальности. Дальше, после процессов селекции, множественных повторов, коллективное описание реальности может предстать в виде сжатых поучительных историй — примеров поведения в той или иной ситуации (былин, священных писаний, сказок и так далее). При этом нарративы могут притянуть в себя и модные обороты речи, сюжеты, героев. Существует и обратный эргономический процесс — отбрасывания всего несущественного. В результате длительной селекции и выдержки формируется текст как инструмент для обучения и воспитания на примере другого.

Условия, при которых социумом принимаются нарративы — результат публичных коммуникаций, общественного одобрения и соглашения. Во многих культурах присутствует технология «голосования ногами». Зритель или слушатель может прийти, послушать, похвалить рассказчика, менестреля, коробейника. А может уйти, проигнорировать, обозвать, выгнать и так далее. Голосование ногами — процесс естественного отбора нарративов социумом. Параллельно с созданием нарративного описания реальности, формируются и ее идентификаторы и уникальность. Каждый нарратив имеет свою логику, свои десигнаторы. В каждом нарративе описываются свои события, артефакты и персонажи. Зрители и (или) слушатели внимательно контролируют идентификаторы. Стоит рассказчику изменить поведенческие паттерны героев, логику пространства, как формировалась реакция в виде различного «недоверия», насмешек или обвинений во лжи автора или рассказчика.

После того как нарратив принят и одобрен в пространстве публичных коммуникаций, он переходит в форму образца для подражания, инструмента для воспитания детей, выполняет функции лингвокультурального трансфера, культурной трансмиссии при попытках перенести смыслы на другой язык, в другую культуру, при пересечении культурных барьеров или разделенных, например, религиозной наррацией постсекулярных коммуникаций. Процесс принятия в повседневное использование того или иного нарратива означает замораживание обсуждения о его форме и содержании. Нарратив становится

классикой, каноном. Из него со временем начинают вытаскивать перформативы: инструкции, указания, заповеди, законы, мораль и т. д. Нарратогенез можно представить в виде алгоритма «событие — анализ — синтез — нарратив / создание нового / коррекция старого описания» [Герасимов 2017]. В алгоритме создания перформатива редуцируется процесс нарратогенеза до алгоритма: «событие» — соотнесение с «готовым сюжетом-советом». «Идет дождь — возьми зонт». Игнорируется рассуждение, есть пример и императив. Вот ход, например, стандартного генерирующего алгоритма в упрощенном виде: «Идет дождь — можно намокнуть — нужна защита — Вася взял зонт» для нарратива трансформируется в прямое указание для Васи: «Идет дождь — возьми зонт». В любом сообществе происходит эргономический процесс сокращения рассуждения, отжим текста до стереотипической реакции. В этом процессе выпадения в осадок наблюдается негативный процесс, который сводит обучение человека к системе реакций на внешние события. «Пробежала кошка — плюнь через плечо». Таким образом, многие нарративы трансформируются в перформатив и там уже не могут трансформироваться под постоянно меняющуюся среду и ее макрофакторы, являют собой постоянно отстающий и требующий усилий для изменения корпус правил. С другой стороны, эргономика перформатива экономит время, экономит ресурсы человека. Как бы мы затормозились, если бы размышляли каждый раз, как нам переставлять ноги при ходьбе или пользоваться ложкой во время еды. Эффективность перформатива в дидактической или технологической литературе сложно переоценить. В этом процессе рождается сообщество или группа «ленивых» или консерваторов, которая «канонизирует» нарратив и стремится перевести его в перформатив «событие — нарратив». Появляются скрепы, «святое», нарратив сакрализуется, шлифуется как жемчужина в раковине, превращаясь в перформатив.

Система перформативов — «инструкций к жизни» вошла в систему образования. Она строится на знании — умении — навыках по использованию предыдущего наследия в большинстве и на обучении анализировать в меньшинстве. Полученные множества А, состоящие из событий, сопоставляются с множеством В — указаниями на реакцию на эти события. В случае, когда появляются новые события, а в множестве В нет соответствующих сюжетов, логично было бы предположить новый виток анализа и синтеза, нового описания, исследования, изучения, получения нарратива.

К сожалению, ренарратизация происходит не всегда, чаще методом перебора человек пытается «пристроить» существующие старые объяснения новым событиям или предметам. В случае, когда это удается, мы имеем использование одного знака для двух событий или двух толкований, как слово «шарик», описывающее и сферу, и маленькую собачку в примере Г. Фреге. В результате этого возникают полисемичные слова, тексты, возникает двусмысленность, как в классических творениях Гомера, И. А. Крылова и других авторов, для создания эффекта «вау-узнавания» используются двусмысленные нарративы.

Перформатив не представляется без нарратива. Перформатив — это результат процессов, проходящих в нарратогенезе, часто цель такого процесса. В отличие от нарратива — перформатив интуитивно неудобен человеку, в силу содержащейся там манипуляции, воспринимается им как чужеродное, но иногда необходимое лекарство. При этой своей чужеродности он как ограничитель поступков — неизбежен. В противоположность ему нарратив может все то, что недоступно перформативу и часто не регистрируется человеком как насилие и манипуляция: сослагательное наклонение, возможность мечтать, сочинять, творить. Конечное место для смысловой траектории нарратива, перешедшего в перформатив, может заканчиваться на территории табу — запрещенных тем (см. пример с восприятием восхода солнца до и после Галилея в разделе 11.1).

Исправлять ошибки и особенности наррации (например, культурной, представленной в ментальном поле, объединяющей людей одной или нескольких этнической группы) и приходить к общей метанаррации (религиозной, научной) в идеальном случае можно только путем кросскультурных обменов — переговоров. В реальности этого не происходит с желаемой скоростью, потому что не все захотят потерять свою идентичность и стать унифицированными персонажами. Поэтому часто создание устойчивой метанаррации — результат катаклизмов и потрясений основных норм и ценностей социума. В истории борьба унификации против уникальности ведется давно и с переменным успехом. Создаются и распадаются империи, меняются культурные стили, но по-прежнему актуальны протесты.

Нарратив представляет собой не только реакцию на события, но и «ловушку событий». Он готовит слушателя к любым событиям и дает перформативы — инструкции как поступить в том или ином пространстве, в том или ином случае. Этим объясняется успех таких видов нарративной культуры, как кино и литература. Они оба представляют собой тренировочный полигон для обкатки возможных вариантов социального поведения для зрителей / читателей. Можно также утверждать, что получатель информации требует от автора сложных, драматических ситуаций, в которых герою необходимо принимать не менее сложные решения. Покупатель (потребитель) часто требует от автора определенного объема историй и советов.

В одном случае читатель совмещает свое описание реальности с пространством нарратива, отсутствующего у него в доступной реальности: другие страны, другие социальные слои, другие культуры и так далее. В иных случаях читатель ставит себя на место героя и переживает процессы принятия собственных решений в предполагаемых обстоятельствах созданных реальностей. Вместе с героем он проходит процессы принятия решений, ощущает радость от совпадения и горечь от различия принятых решений. Описание событий, героев, их реакции и решения — это постоянный тренажер для человека. Погружая себя в различные предлагаемые обстоятельства, человек тренирует свои реакции, возможные поступки. В результате такой игры он становится готов к любым событиям, знает, что делать в каждой ситуации.

Поводом для наррации становятся события. Многие из событий заставляют человека и общество реагировать, выступают в качестве побуждающего к действию или бездействию фактора. При описании события автор отражает и описание, и побуждение, и авторское отношение. Все они получают эмоциональную окраску в силу важности для человека и социума. Чем больше событие повлияет на будущее, чем значительнее будет его возникновение в пространстве публичных коммуникаций, тем больший эффект он произведет, тем дольше останется в коллективной памяти. При этом оценка события — это функция, связанная с когнитивными способностями человека и общества. Одно и то же событие может вызывать у разных людей противоположные эмоции и оценки. События, генерируемые различными источниками (судьбой, Богом, человеком), попадают в пространство публичных коммуникаций, и там их «принимает» массив или система нарративов, в которой есть все реакции на все произошедшие в прошлом события. В этом пространстве происходит оценка общественным мнением события, оценка события представителями властей, при этом может возникнуть дистанцирование населения от власти [Петухов 2012].

Как было рассмотрено ранее, нарративы формируют восприятие реальности у человека. Они также способны трансформировать и сами реальности. Пространство, создаваемое нарративами, представляет собой набор алгоритмов, правил, законов, которые связывают предметы и события между собой в единую непротиворечивую реальность в сознании индивидуумов, групп людей и всей цивилизации. Благодаря глобализации человеческое сообщество стало интегральной системой, объединенной связями между всеми. Эта сеть публичных коммуникаций позволяет взаимодействовать всем участникам человеческой цивилизации как одному организму. Любое событие, имеющее новостной потенциал, ретранслируется в современном информационном обществе фактически мгновенно.

Система связанных нарративов разных культур выступает в нескольких ролях: как источник новостей, как описание реакции, как хранилище полезных и вредных опытов человечества. Другими словами, информационное нарративное пространство представляет собой источник новостей, получателя новостей, социальную публичную память.

Событийное пространство — постоянный источник рефлексий стороны нарративного поля. Информация формирует общественное мнение, правила, вкусы, делит воспринимаемый мир на «важное» и «второстепенное». Сформированное общественное мнение, отфильтрованное и зафиксированное в нарративах, в свою очередь определяет новостной потенциал события, голосуя своим вниманием к проблеме или игнорированием. Таким образом, события определяют наррацию, которая определяет события, замыкая круг. В XXI в. события не происходят спонтанно, их вбрасывают в поле генерации нарративов; более того, нарративы провоцируют события, создают целые событий-

ные кампании. Систему ограничивают рамки безопасности коллективного существования, врожденные рефлексы, которые указывают обществу место опасного предела, границу, переход за которую будет иметь необратимые последствия. Именно поэтому в нарративах всегда были и будут элементы общественной цензуры. В этом смысле публичные коммуникации напоминают собой единый организм с инстинктом самосохранения. В нем содержится отрицательная и положительная историческая память. С одной стороны, память о войнах, геноциде, катастрофах, фатальных ошибках человечества предохраняет от повторения таких событий или сводит к минимуму возможный риск. С другой — положительная память об открытиях, изобретениях, достижениях, победах в борьбе против природных и антропогенных катастроф позволяет человечеству развиваться и эволюционировать.

В результате анализа выяснены алгоритмы построения нарративов, связь нарратива с перформативом через интенциональность, некоторые возможности и свойства нарративов. Теоретически можно утверждать, что все связано с нарративами в той или иной форме, поскольку нарратив — уникальный инструмент генерации и передачи смыслов. В предельном обобщении текстов все есть нарратив или все можно описать через нарратив. Мы описываем реальность и тем придаем смысл сущностям и событиям, воспринимаем и обрабатываем информацию. В этом утверждении отчасти присутствует концепция холизма и детерминизма. Но существует разрыв между нарративом и реальностью, который выражается в разрыве времени, интенциональном восприятии автора. В конечном итоге мы никогда не говорим в нарративе о реальности как таковой, а имеем дело с ее описанием. В восприятии реальности через нарратив он играет роль фильтра с независимым от зрителя или читателя фокусом. У человека появляется выбор — следовать восприятию через наррацию или взять нарратив как эталон, относительно которого формировать свой концепт реальности с заранее заданными свойствами. Это условие представляется особенно интересным в процессах переноса смысла. Меняя фокус и форму нарратива от предельного объема к предельному содержанию понятий, мы можем использовать нарратив как посредник при работе с различными целевыми аудиториями. Проецируя наррацию на другие социальные слои или культуры, переводя нарративы на другие языки, мы можем по проекции представить объем недоступных авторам понятий, принадлежащих другим культурам. В этом качестве нарратив выполняет функцию смыслового зонда, провоцируя комплекс реакций на события или персонажей, отличный от множества реакций в культуре автора. Вопрос переноса смыслов реализуется при переносе нарратива из одного жанра в другой, из одного типа медиа в другой.

Таким образом, обобщая:

1. Нарративы и перформативы, несмотря на то что интуитивно ощущаются понятиями противоположными, как описание и указание, фактически

находятся в связи порождения одного через другое. При анализе трех возможных вариантов взаимодействия установлено, что перформативы находятся в основании любой наррации, таким образом, что каждому нарративу соответствует не менее одного перформатива.

2. В любой наррации содержится тайное или явное манипулирование, которое необходимо иметь в фокусе внимания при рассмотрении маркетинговых, политических, религиозных текстов. Спектр подобного манипулирования широк — от агитации и пропаганды к рекламным и PR-текстам, к УМП (уникальным маркетинговым предложениям). В него попадают тексты, содержащие в себе элементы логической, фонетической, идиоматической суггестии, НЛП.

3. Присутствие перформативов не всегда несет в себе отрицательное значение. Например, в текстах классической художественной литературы подобные приемы содействуют практикам по воспитанию и обучению детей.

13. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

13.1. Парадокс прогресса

Фиксирование значительных изменений, произошедших в политическом дискурсе[138] постиндустриального общества за последние полтора десятилетия, сегодня является общим местом научных исследований в различных смежных обществоведческих дисциплинах — в политологии, социологии, политической лингвистике и социальной психологии. Многие авторы наблюдают и описывают существенные и во многом идентичные по сути (вне зависимости от той или иной наблюдаемой страны — от Западной Европы до Латинской Америки) изменения концепций[139] участия в политическом дискурсе (ПД) его основных акторов, указывают на очевидные проблемы взаимодействия в политической коммуникации между политиками и избирателями. В частности, подчеркивается критический рост склонности граждан к позитивному восприятию очевидного популизма (подчас в самых крайних его проявлениях [Кузнецова, Химшиашвили 2017]), отсутствие адекватного ответа на сущностные политические характеристики и качества действующих или потенциальных лидеров, а также возрастающую предпочтительность электоратом либо внесистемных, либо — как с иронией называли журналисты и политологи одного из недавно избранных в Западной Европе президентов, — синтетических лидеров.

Действительно, принятая и понятная до недавнего времени классическая концепция (концепции) продуцирования эффективного (априорно рассчитанного на определенную — хочется сказать, традиционно-конвенциональную оценку избирателей), в каком-то смысле — профессионального ПД, с одной стороны, и система измерения общественного мнения — с другой стали давать в современных обществах серьезные сбои, самым значительным из которых можно считать историю с фиаско Хиллари Клинтон в контексте безусловной (почти что непрерывно фиксируемой различными авторитетными ор-

[138] Во избежание разночтений и перманентных оговорок по ходу изложения материала, определим, что наше понимание этого термина имеет в своей основе определение дискурса, данное С. Т. Золяном: комплексный объект, который есть взаимопроекция правил языка и поведения, социального взаимодействия [Золян 2016б: 50]. Соответственно, политический дискурс есть взаимопроекция конвенциональных для социума правил политического языка, «политического поведения» и социально-политического взаимодействия.

[139] Под термином «концепция» здесь понимается совокупность форм и моделей участия в политическом дискурсе.

ганизациями на всем протяжении избирательной кампании 2016 г.) социологической победы над Дональдом Трампом. При этом, как известно, эта «американская трагедия» стала всего лишь вершинным моментом, венцом десятилетия политических сюрпризов. Упомянутые метаморфозы и происходящие вследствие этого исторические события еще задолго до последних президентских выборов в США уже успели сотрясти основы традиционных политических систем разных стран. Это и так называемый *Brexit*, и победа «безгалстучного популиста» Алексиса Ципраса в Греции, и успех партии «Пять звезд» комика Джузеппе Грилло в Италии [Нестеров 2016: 291], испанской партии «Подемос» («Мы можем») и ее тридцатисемилетнего лидера-телеведущего Пабло Турриона и т. д.

В этом контексте примечательны практически все европейские электоральные процессы 2017 г. — парламентские выборы в Нидерландах (15 марта), президентские выборы во Франции (в два тура, 23 апреля и 7 мая), выборы в германский Бундестаг (24 сентября), парламентские выборы в Австрии (15 октября), парламентские выборы в Чехии (21 октября); как известно, по результатам всех этих выборов был зарегистрирован ряд политических рекордов и сюрпризов [Бершидский 2016; Желтов 2017; Карцев 2017; Строганова 2017].

Существует множество предположений и гипотез относительно того, в чем причина происходящего; расширяющаяся география и масштаб возникших проблем естественным образом стал перемещать их в центр внимания как политиков, так и ведущих политологов и социологов разных стран. Ряд авторов (в частности, Ал. Громыко [2016], В. Ачкасов [2011], Н. Баранов [2015], Д. Зегерт [2009], К. Вейланд [Weyland 2013], С. Левитски и Дж. Локстон [Levitsky, Loxton 2012], О. Варенцова [2014] и др.) видят в основе генезиса наблюдаемых процессов коллапс партийной системы, имеющий место в некоторых странах; кризис госуправления, присущий переходным периодам отдельных государств; экономические проблемы; недовольство результатами интеграционных процессов (в частности, евроинтеграции); недовольство глобализационными процессами, которые подстегивают националистические настроения и создают наиболее благоприятные условия для разворачивания популистскими лидерами псевдоборьбы за независимость и суверенитет своих стран; неоднозначные результаты многолетних реформ, плоды которых оказались «сладкими» лишь для части населения развивающихся стран, и т. д.

Еще одна гипотеза выдвинута в шестом по счету аналитическом докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции: парадокс прогресса» [Global Trends: The Paradox of Progress], который готовился широким кругом специалистов различных профессий на протяжении четырех лет (2012—2016) и представляет тенденции мирового развития на ближайшие годы. Авторы доклада заявляют о том, что сегодня мы являемся свидетелями парадокса: *достижения научно-технического и информационного прогресса формируют во многом более опасный мир* и в то же время открывают гораздо больше возможностей для его развития. Специалисты НРС под-

черкивают, что, с одной стороны, наблюдается процесс объединения различных групп людей, расширение их прав и возможностей, повышение уровня жизни. Однако этот же прогресс вызывает такие потрясения, как мировой финансовый кризис 2008 г., «арабская весна», *глобальный рост популистской, антиинституциональной политики*. Эти потрясения демонстрируют всю хрупкость достижений прогресса и одновременно подчеркивают необходимость глубоких изменений в картине мира, что предсказывает нам туманное и непростое будущее. Кроме того, по мнению экспертов НРС, «материальная сила», хотя и сохранит свое значение в решении вопросов на геополитическом и государственном уровнях, *наиболее влиятельные акторы в целях как конкурентной борьбы, так и кооперации будут делать акцент на сетевую и информационную сферу, так же как и на область общественных отношений*.

Имеющее место в данном докладе акцентирование информационно-коммуникативных аспектов в объяснении наблюдаемых перемен в политическом бытии современных обществ в целом и в ПД в частности, видится нам совершенно оправданным. Ведь, по сути, значительная часть тех беспрецедентных изменений, которые вошли в нашу жизнь вместе с научно-технической революцией начала XXI в.[140] в первую очередь коснулась именно сферы публичного взаимодействия — межличностной и публичной коммуникации, что уже само по себе является поводом для предположений относительно причин представленных выше изменений в ПД развитых обществ. Очевидно, что драматические изменения в общественной коммуникации привели к не меньшим изменениям в человеческой и социальной психологии, чем те, которые имели место в результате изобретения книгопечатания [Маклюэн 2018: 207]. Как отмечает главный редактор российского журнала «Власть» А. Лапшин, «социокультурная образующая цивилизации оказалась неспособной адаптировать современного человека к прессу компьютерно-сетевых отношений» [Лапшин 2017: 16]. Именно поэтому наряду с исследованиями экономического и институционально-политологического характера одним из наиболее перспективных направлений исследований для выявления генезиса обозначенных проблем, на наш взгляд, может быть комплексное трансдисциплинарное изучение политического дискурса досовременного и современного (с 2007 г.) постиндустриального общества, с акцентированием внимания на произошедших в результате наступления определенных кондиций современности *трансформациях символического универсума ПД* как «матрицы всех социально объективированных и субъективно реальных значений» политики [Бергер, Лукман 1995: 66], а также с параллельным исследованием *трансформаций публичного пространства*, в котором, в силу хранимых им определенных «условий мира», смыслы данной матрицы обретают конвенциональное для участников политической коммуникации значение и которое является легитимным и единственно возможным пространством для символического обмена в рамках ПД.

[140] Ее называют также «Четвертой информационной революцией».

13.2. Сущностные характеристики ПД

Для того чтобы выявить основные причины и проанализировать генезис трансформаций политического дискурса, а также в наиболее полном масштабе продемонстрировать компаративную картину различий между досовременным и современным ПД, на наш взгляд, следует в первую очередь обратиться к вопросам, касающимся его онтологии и представить некоторые сущностные характеристики ПД до настоящего времени, обозначить «исходные позиции» ПД до того момента, когда этот дискурс начал подвергаться трансформациям в силу наступивших кондиций современности. Конкретнее, следует представить механизмы продуцирования ПД; выделить некоторые особенности «политического языка» как основного инструмента продуцирования ПД, представить систему смыслов ПД, некоторые аспекты конвенциональности этих смыслов и структурированные в социуме механизмы их экстериоризации и оценки. Такая методика исследования видится нам наиболее эвристичной в плане решения затрагиваемых научных задач. Ведь, говоря об эпохе современности мы, как понятно из вышесказанного, имеем в виду не очередной этап эволюционного развития общества, а переживаемый сегодня период так называемого исторического «разрыва», который отделяет как современные социальные институты от традиционных социальных порядков в целом [Гидденс 2011: 117], так и ряд современных политических практик от релевантных до недавнего времени традиций осуществления политической деятельности в частности.

Наличие такого «разрыва» в политической жизни сегодняшнего общества и в ПД очевидно. Например, практика неопосредованного, информативного по характеру и неритуального, при этом самостоятельно организованного ежедневного общения политического или государственного лидера с гражданами (отметим хотя бы те же периодические записи президента Трампа в своем личном аккаунте в *Twitter*), по целому ряду признаков не имеет аналогов в прошлом и, в силу некоторых характеристик, значительным образом девальвирует традиционные ритуалы и существующие практики подобного общения. Похожих примеров большое множество: формы и виды современной политической коммуникации со временем все меньше и меньше соотносятся с палитрой средств публичности традиционной политики. Соответственно, с учетом этих реалий, видится необходимым создание нужного компаративного контекста, базиса для представления трансформаций и процесса метаморфоз традиционного ПД; в обратном случае, на наш взгляд, истинная природа произошедших изменений останется неясной.

В первую очередь обратимся к двум аспектам «политического языка» (речь идет *и* о естественном языке, используемом в той или иной политической модальности, *и* о символическом универсуме политики в целом, включающем в себя несколько «языков» [Ильин 2002: 12]: «язык тела» — напр., публичное аутодафе, сидячую забастовку и т. д.; или «язык жестов» — напр.,

поднятые вверх указательный и средний пальцы, образующие латинскую букву V; поднятый кулак; вскинутая ладонь; рука, прижатая к сердцу и т. д.; или «язык локуса» — напр., дворцовый балкон, с которого обычно выступает правитель; зал заседаний парламента; площадь, на которой обычно проходят массовые митинги; некий адрес, по которому расположена чья-то резиденция, и т. д.). Во-первых, определим, что ПД в силу ряда функциональных характеристик обладает статусом институционального / профессионального дискурса. Знаки «политических языков», способы «говорения» их посредством, как и те или иные сочетания знаков (от простых жестов и лозунгов до сложных текстов или дискурсивных фреймов), которые осмысливаются и становятся «культурными самоочевидностями» (Хабермас) в разного рода политически маркированных ситуациях, понимаются индивидами в достаточной для обеспечения успешной коммуникации мере и являются для них социальными *данностями* [Searle 1995: 8], посредством которых в обществе перманентно осуществляется политическая коммуникация.

В то же время следует проводить разграничение между знанием системы этого языка и умением *понимать* его в полной мере и тем более *использовать* его в тех или иных политических целях; продуцирование ПД и участие в нем стратифицировано в силу многоуровневости этого дискурса, в котором каждый следующий уровень предполагает более подготовленное и профессиональное участие. Определить наступление коммуникативной «ситуации политики», как и маршировать на митинге, умеют многие; другое дело, если индивид хочет правильно интерпретировать некую политическую ситуацию и выявить ее истинный смысл, предугадать последствия этой ситуации или же принимает решение стать субъектом политики и намечает для себя достижение неких политических целей. Понятно, что в этих случаях приходится задействовать универсум «языка политики» в наиболее полном объеме, что требует намного большего, чем просто владение политическим «алфавитом»; это уже сфера деятельности профессиональных политологов и политиков. Если провести аналогию между универсумом смыслов ПД и филлморовской «библиотекой фреймов», то, в данном случае, речь идет о том, в какой мере индивид и профессиональный политик / политолог владеют «пакетами знаний, дающих описание типовых объектов и событий» [Демьянков 1996: 190]. Уже в силу такой взаимосвязанности степеней политической активности с уровнями сложности понимаемого и используемого «политического языка» символический универсум ПД можно отнести к разряду профессиональных языков / символических систем — наподобие латыни в медицине или метаязыка программирования. Генезис такого статуса, помимо ряда исторических причин, очевидно находится в сложности интерпретации ПД в плане корреляции с его референтами в объективной действительности.

Во-вторых, подчеркнем институциональную, конституирующую роль «языка локуса» в ПД. По сути, объекты-знаки политического локуса обнаруживаются индивидами как данности в качестве «институциональных местоположений» (Фуко), которые являются *легитимными пространствами про-*

дуцирования ПД. Совершенный вне этих местоположений политический акт может расцениваться обществом (оговоримся — мог расцениваться досовременным обществом) в качестве нелегитимного или, по крайней мере, неудачного; и наоборот — их актуализация в ПД в целом ряде случаев не просто легитимизирует тот или иной акт политики или акт политической коммуникации, но и обеспечивает удачные условия для реализации политических и властных перформативов. Можно с уверенностью утверждать, что именно трансформации политического локуса, разрушение его обособленности в публичном пространстве и слияние с ним, девальвация его значения в плане источника *origine légitime* политики и легитимного публичного пространства для продуцирования ПД привели к революционным трансформациям этого дискурса.

Отметим наличествование еще одной сущностной характеристики ПД, которая остается константной, несмотря на все «разрывы» современности, и играет значительную роль в эвалюации членами социума феномена ПД и политической деятельности как таковой; мы упомянули о ней только что. Это априорно объективируемые и периодически подтверждаемые социально-политическими практиками воображаемые представления о *характере политики* в плане сомнительной отнесенности (или не-отнесенности вообще) к объективной действительности ее речевых актов и иных актов политической коммуникации, проще говоря — о ее лживости. Сомнения по поводу истинности любых намерений политиков, декларируемых ими, являются постоянными спутниками любого ПД в любом обществе по той понятной причине, что референциональная пустота ПД является неизменным и общеизвестным «логическим атрибутом» (Делёз) политического языка, сущностным свойством политики. «В отличие от обычного референтного высказывания, критерием (политического высказывания. — *В. С.*) оказывается не истинность / ложность высказывания, а его успешность… Истинностная оценка высказывания оказывается либо невозможной… либо нерелевантной… Это — Речь как действие (а не просто описание действия), смыслом и значением этого действия станут не столько смысл и значение сказанных слов, сколько имевшие место последствия сказанного», — отмечает С. Золян [Золян 2016б: 51]. Именно этим обусловлена ограниченность формулировок политического языка, повторяемость фраз в ПД, неоднозначность высказываемых мыслей — в точном подобии со знаменитым оруэлловским *doublespeak*; ведь, по сути, один из самых важных моментов в «профессиональной» политической риторике — по возможности не создавать отсылок к абсолютно точному референту, при этом сохранить иллокутивную силу речи и добиться конкретных перлокутивных результатов.

В работе «О популистском разуме» Э. Лакло, рассматривая механизм популизма как способ понимания онтологического строения политической сферы в целом, в качестве одной из ключевых категорий для анализа популизма указывает так называемое «плавающее означающее», которое появляется по

причине необходимости назвать объект, который одновременно невозможен и необходим [Laclau 2005: 72]. Лакло также указывает и на константную, онтологическую тропологичность ПД: «Если репрезентация чего-то нерепрезентируемого является собственно условием репрезентации как таковой, это означает, что (искаженная) репрезентация этого условия включает в себя *субституцию* (курсив автора. — *В. С.*) — являясь, таким образом, тропологической по своей природе» [Laclau 2014: 158]. «Существует искусственный семиозис вербального языка, который либо показывает себя недостаточным для того, чтобы отдавать отчет о реальности, либо хитроумно используется для того, чтобы замаскировать ее, практически всегда в политических целях», — пишет об этом У. Эко [Эко 2016: 466]. Определение постоянно актуальной коммуникационной дилеммы *истина — ложь* в ПД изначально не является предметом опыта, а познается контекстуально (объективируется как логический атрибут политики) и актуализуется сразу же, как только актуализуется ПД; эта дилемма как бы обрамляет этот дискурс и является его эксплицитной и конвенционально принятой сущностной характеристикой. При процессировании ПД ответы на вопросы по поводу истинности / ложности в силу объективных причин являются отложенными во времени, и в силу этого аспекта внимание адресатов к продуцируемым в ПД смыслам ослаблено и более направлено ко внеязыковым (паралингвистическим) атрибутам ПД, которые могут создавать определенные ожидания в плане отнесенности к действительности референтов отдельных актов ПД. Кроме того, ПД благодаря ряду правил политического языка / речи (яркий пример — «плавающее означающее» Лакло) имеет внутреннюю «саморазрушающую» силу — этот дискурс в подавляющем большинстве случаев устремлен к презентированию в качестве не-этого-дискурса; он часто «маскируется» под другой, неполитический дискурс.

Скажем несколько слов и об аспектах смыслообразования в ПД. Здесь особого внимания заслуживает аспект соотнесенности «мира» политики с феноменом *конечной области значений*[141] — то есть сферой коммуникативно-символической социальной деятельности, находящейся вне окружающей «высшей реальности» и являющейся анклавом иной действительности, отмеченным характерными для него значениями и специфическими способами восприятия [Бергер, Лукман 1995: 20].

[141] Интересен целостный отрывок из произведения Шюца, впервые представившего это понятие: «Именно значение наших переживаний, а не онтологическая структура объектов, конституирует реальность. Каждая область значения − верховный мир реальных объектов и событий, в который мы можем встраиваться своими действиями, мир воображений и фантазмов, как, например, игровой мир ребенка, мир сумасшедшего, а также мир искусства, мир сновидений, мир научного созерцания − обладает своим особым когнитивным стилем. И именно этот особый стиль, характеризующий некоторую совокупность наших переживаний, конституирует их как конечную область значения» [Шюц 2004: 510].

> Блестящая иллюстрация (феномена конечной области значения. — *В. С.*) — театр. Переход из одной реальности в другую отмечен тем, что поднимается и опускается занавес. Когда занавес поднимается, зритель «переносится» в другой мир со своими собственными значениями и устройством, не имеющими ничего или, напротив, много общего с устройством повседневной жизни. Когда занавес опускается, зритель «возвращается к реальности», вернее, к высшей реальности повседневной жизни, по сравнению с которой реальность, представленная на сцене, теперь кажется незначительной и эфемерной, сколь бы живым ни было представление несколько минут назад.
>
> Эстетический и религиозный опыт богат такого рода переходами, поскольку искусство и религия создают конечные области значений [Бергер, Лукман 1995: 20].

Соотнесенность этого феномена с ПД и политической деятельностью в целом кажется очевидной: «занавесом», начинающим актуализацию политически маркированной ситуации в публичном дискурсе, может быть, например, некий конвенциональный «стартовый» элемент политической риторики, обычно используемый субъектами дискурса (“My fellow americans”, «Братья и сестры», «Дорогие сограждане» и т. п.); на политической «сцене» на протяжении конкретного временного отрезка может происходить некое действо, тем или иным образом в своих конституирующих элементах подпадающее под конвенциональные для социума категории «разрешенных» или легитимных действий для разворачивания политического «спектакля» (выступления, дебаты, безмолвные акты с использованием «языка тела» и др.); политически активные граждане («присутствующая публика») могут принимать участие в этом действе через выражение одобрения / порицания; наконец, вместе с окончанием «спектакля», «публика» перестанет быть таковой (сочувствующими, партийными активистами, избирателями, митингующими и т. д.) и вернется в категорию высшей реальности — в категорию граждан-обывателей, более или менее смыслящих в политике и пассивно «переживающих навязываемые трансценденции Природы и Общества» [Шюц 2004: 501].

Понятно, что ряд таких аналогий можно продолжать очень долго (например, отдавая дань моде, сравнить политический процесс с телесериалом), что лишь подтверждает высказанное выше предположение об указанном характере «мира политики». Так, конечные области значений, согласно определениям А. Шюца, характеризуются особой напряженностью сознания (более или менее постоянным процессом потребления индивидом политически значимой информации на политически значимом временном отрезке), особой временно́й перспективой (политический кризис, предвыборный этап, поствыборный этап), особой формой самопереживания индивида (я — гражданин, я — патриот, я — демократ) и, наконец, специфической формой социальности (участие во временных конъюнктурных группах поддержки и др.) [Шюц 2004: 510].

Если «мир» политики, имеющий «рамку потенциальностей» и ограниченный «диапазон всех возможностей» деятельности в этом «мире» [Шюц 2004: 501] есть конечная область значений, то политический дискурс, будучи единственным инструментом «творения» этого «мира», соответственно, «спосо-

бен» (или «имеет право») продуцировать лишь те смыслы, которые не выходят (не должны выходить) за некие конвенциональные рамки; иными словами, в политике не должно совершаться некое действие, смысл которого выходит за рамки признанного обществом универсума политических смыслов; точно так же, как и на сцене театра не должно происходить нечто, что не присуще театральному искусству. Контроль за таким порядком по умолчанию устанавливает само общество посредством различных социальных институтов, этических норм и законодательных механизмов. «Я полагаю, что в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых — нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события», — отмечает по этому поводу М. Фуко [Фуко 1996: 21]. «Общество на всех стадиях своего развития… исключает действие в виде свободного поступка. Его место занимает поведение, которое в различных по обстоятельствам формах общества ожидается от всех его членов и для которого оно предписывает бесчисленные правила, все сводящиеся к тому, чтобы социально нормировать индивидов, сделать их социабельными и воспрепятствовать спонтанному действию», — пишет Х. Арендт [Арендт 2017: 55].

Здесь перед нами вырисовывается известный *комплекс рестрикций*, запретных установлений общества, призванных сохранить конечную область значений ПД в конвенциональном виде и социальный институт политики, скажем так, в надлежащем и приемлемом (закрепленном в социальной воображаемости данного социума) состоянии. Это, например, задействование всякого рода цензов, только при строгом соответствии которым индивид получает доступ к конвенциональным локусам политики и возможность легитимного продуцирования ПД: возрастной ценз, образовательный ценз, ценз оседлости, гражданства, ценз так называемой «карьерной (партийной, номенклатурной) проходимости» и др. Здесь важно отметить, что контроль за «соблюдением жанра», над смыслами ПД имеет два уровня: *контроль по допуску к пространству* — это регулирование права использования легитимного авторитетного пространства-сцены, политического локуса (имеется в виду ряд указанных выше цензов, а также различных процедур инициации); *контроль над совершением действий и продуцированием смыслов* в уже достигнутом пространстве, по сути — это контроль над политическим языком («художественная цензура»); центральными механизмами здесь, безусловно, являются политическая этика и так называемая «политкорректность».

В контексте логики сказанного возникает необходимость сформулировать следующий вопрос: а можно ли вывести некую, хотя бы условно конечную гамму, оформленный и конечный репертуар смыслов политического дискурса? Или (если вывести вопрос к более высокому уровню обобщений): можно ли редуцировать политическую деятельность как таковую к «производству» ограниченного количества политических смыслов и оперированию ими в публичном пространстве?

В силу очевидной действенности целого ряда вышеперечисленных факторов, ответ может быть однозначно утвердительным. Как мы убедились из предыдущего анализа, репертуар результатов политической деятельности объективно ограничен, известен из надындивидуального опыта и закреплен в социальной воображаемости. Все, что бы ни делали политики, укладывается для акторов — адресантов и адресатов — ПД в рамки уже известных ожиданий и, одновременно, исторических сюжетов. Так, в свете «Уотергейта» практически любой скандал с участием политиков получает в публичном дискурсе название-заголовок с окончанием *-гейт* и создает определенные ожидания в плане логики развития событий; более того — заверения политиков об их непричастности к конкретным событиям, связанным с нарушением действующих законов, так или иначе рассматриваются преимущественно в контексте истории с президентом Никсоном. Или любой поствыборный митинговый «марафон» с целью оспаривания результатов подтасованных (в кавычках или без) выборов создает ожидания по всему известному спектру развития событий — от постепенного угасания или жестокого подавления волнений до «оранжевой революции» с бескровной сменой власти или вооруженного восстания; при этом, в любом случае действующие лица автоматически ассоциируются в публичном дискурсе с наиболее известными в данном конкретном плане «персонажами» — Че Гевара, Горбачев, Саакашвили и т. д.

В этом контексте интересно вспомнить об одном из наблюдений Ю. М. Лотмана относительно особенностей *линейного времени культурного сознания*: «Лежащие в основе миропорядка “первые” события не переходят в призрачное бытие воспоминаний — они существуют в своей реальности вечно. Каждое новое событие такого рода не есть нечто отдельное от “первого” его прообраза — оно лишь представляет собой обновление и рост этого вечного «столбового» события. Каждое убийство братом брата не представляет собой какого-либо нового и отдельного поступка, а является лишь обновлением каинова греха, который сам по себе вечен» [Лотман 1992а: 108]. Фактически мы наблюдаем *этернизацию значений политических событий* (отдельных актов ПД или целостных политических «сюжетов») в восприятии общества. Напомним, явление *этернизации истинностного значения предложений* описывалось У. Куайном для тех случаев, когда то или иное предложение (напр., «Дверь его комнаты была открыта всю ночь») релятивировалось с его контекстом и становилось «вечным» — условия его истинности, «поглотившие» его контекст, становились контекстно-независимыми. В этих случаях, согласно У. Куайну, пропозицию выражает не предложение «Дверь открыта», а *вечное* предложение «Такая-то дверь в такой-то момент открыта» [Золян 2014в: 43].

В плане политической деятельности фактически *этернизируется целостное политическое событие вкупе с ситуацией, в которой оно произошло, и результатами, к которым оно привело*. Соответственно, уже постольку можно полагать, что ПД сводится к некоему ограниченному универсуму смыслов-сюжетов и можно свести любой фрагмент политического дискурса к од-

ному из известных из социального опыта «вечных» смыслов, а дискурс как таковой — к «жонглированию» этими смыслами в публичной сфере. Неслучайно комментирование, интерпретация политических событий (редуцирование их «частных смыслов» к некоему глобальному политическому смыслу или известному сюжету) при помощи инструментов политологической герменевтики является одной из самых распространенных политических и политологических практик и основной функцией так называемой «объяснительной политологии» — самого популярного жанра в новостных масс-медиа.

Кроме того, на поставленные вопросы позволяет ответить утвердительно и структура семантики естественного языка (как понятно, этот аспект акцентируется нами с учетом преимущественно языкового характера ПД). «Говоря о разных способах выражения одной и той же мысли или о семантическом тождестве внешне различных высказываний, мы имеем в виду, что существует некий не данный нам в прямом наблюдении семантический язык, или “язык мысли”. Если допустить существование такого языка, то производство осмысленного предложения можно представить как перевод с семантического языка на естественный, а понимание предложения — как перевод с естественного языка на семантический. Значение слова в общем случае не является элементарной семантической единицей; оно делимо на более элементарные смыслы. Небольшое число элементарных смыслов дает большое число возможных комбинаций» [Апресян 1966: 253], — отмечает Ю. Апресян.

На наш взгляд, именно из элементарных смыслов политического дискурса состоит инструментарий ПД. При этом, каждый из этих элементарных смыслов политики в процессе дискурсивного «развертывания» становится одной из парадигм продуцирования ПД в пределах возможностей экстериоризации политики в публичном пространстве. Так, элементарные смыслы «быть», «мочь», «долженствовать», «уметь» и «желать», использующиеся в качестве ансамбля (эксплицитно или имплицитно, в прямых или коннотативных значениях), являются основами внутриполитического дискурса, как минимум — при регулировании властных отношений: «Эта власть не может управлять страной»; «В стране фактическое безвластие»; «Президент здоров и у него сильное рукопожатие»; «В это сложное время никто не смог бы управлять страной лучше нас»; «Мы сможем вывести страну из кризиса»; «Это тот лидер, который нужен нам сейчас»; «Сегодняшняя власть нелегитимна»; «Он не сумел уберечь страну от потрясений»; «Власть не желает работать во благо народа»; «Власти должны решить этот вопрос»; «Мы не хотим, чтобы он сидел в президентском кресле» и т. д. В то же время складывающиеся из различных комбинаций этих смыслов «молекулы» значений, как видим, во множестве случаев являются креаторами конкретной политической позиции в зависимости от того, используются ли они теми или иными акторами в положительных или отрицательных значениях.

В данном контексте интересно также заметить, что транслируемые участниками ПД смыслы (практически в любых актах, которые можно продуцировать в границах этого дискурса, в том числе — неязыковых) по выполняемым

ими функциям в дискурсе совпадают с четырьмя типами отношений, участвующими в логико-синтаксической организации нарративного предложения [Арутюнова 1976: 357]: это *экзистенция* (утверждение / демонстрирование существования), *номинация* (называние / именование и / или эвалюация посредством называния), *идентификация* (утверждение тождества; дифференциация; обособление или включение) и *предикация* (характеризация).

В ПД подтверждениями *экзистенции* актора-субъекта (напр., носителя власти) являются различного рода ритуалы (с озвучиваемыми в процессе текстами или без) — посещение памятных мест, присутствие на массовых парадах и шествиях, на публичных мероприятиях и т. д. Заявления на данную тему, как понятно, затрагивают вопрос «существования», «присутствия» власти в стране в плане ее дееспособности («Такое ощущение, как будто у нас в стране нет ни президента, ни правительства»; «Президент прервал отпуск и вернулся в столицу»). Актами *номинации* и одновременной *эвалюации* является, например, использование собственных имен в их так называемой «событийной» или исторической интерпретации («Товарищ Сталин — это Александр Невский наших дней»). «Страна начала разваливаться именно при Горбачеве» или «Именно благодаря его усилиям сегодня мы не находимся в состоянии войны, а занимаемся мирным строительством» — примеры отношения *идентификации* в ПД.

Здесь важно отметить, что идентификация в актах ПД может иметь различный характер в зависимости от поставленной перед отправителем сообщения цели. Это может быть либо прямое утверждение самотождества («Я как истинный патриот своей страны»), либо разнонаправленная индивидуализация: отмежевание от некоей социальной/политической группы («Я не люблю коммунистов, но я и не маккартист»), обособление среди «других» («Только он понимал ошибочность выбранного пути»), указание на принадлежность к некоей социальной или политической группе («Я был одним из первых, кто записался добровольцем и ушел на фронт»; «Будучи парнем из простой рабочей семьи, он сумел выбиться в люди») и т. д.

Наконец, *характеризацией* является любое очередное действие актора ПД или же символическое представление этого действия в ПД; по сути, это вся остальная деятельность актора ПД вне трех вышеперечисленных отношений. «Отношения характеризации, — отмечает Арутюнова, — семантически многообразны и допускают бесконечное количество реализаций» [Арутюнова 1976: 367]. В то же время те или иные действия актора ПД, обобщаясь в диахронии, могут влиять на его существующую номинацию, порождать для него иные эвалюации, как и менять характеристики его идентификации.

13.3. Медиажизнь

Говоря о кондициях современности, в силу которых самым кардинальным образом изменились правила взаимодействия в публичном пространстве, мы имеем в виду перемены, произошедшие за последнее десятилетие в самой

публичной сфере развитых обществ, которая является основным пространством осуществления политической деятельности. Эти перемены, по сути, в первую очередь касаются скорости, качества / количества и унификации символического обмена в публичной сфере, которая при этом уже лишь отчасти принадлежит какому-либо отдельно взятому обществу — это во многом публичная сфера глобализированного мира (отсюда и возникла потребность унификации, некоего приспособления знаковых систем к наиболее общим коммуникативным конвенциям разных обществ). Тотальное распространение Интернета и смартфонов, подключенных к социальным сетям, с возможностью получения / транслирования видео- / телевизионного сигнала в любой момент и в любом месте, как и получения *push-up* сообщений от информационных медиа (можно называть это явление «стихийным информированием»), как понятно, в разы повысили значение коммуникативного аспекта в жизни социума, придав этому аспекту принципиально новые характеристики и наделив его особой важностью. Если ранее сфера публичной коммуникации являлась параллельным реальному «лучшим» миром, локусом для *origine légitime* публичного дискурса, для попадания в который индивиду нужно было получить основанный на общепризнанном авторитете (политическом, культурном, научном и др.) или личностных достижениях особый доступ (при этом в случае потери оснований доступа публичная среда выталкивала, как бы низводила индивида в непубличную среду), то сегодня публичная коммуникация — это естественная среда жизни развитого общества, не отделенная границей в буквальном и переносном смысле этого слова от повседневного «жизненного мира».

Инструментарий (язык и иные знаковые системы), как и навыки вхождения в опосредованную Сетью межличностную и полностью открытую общественную коммуникацию, из области факультативных знаний перешли в область обязательных (с точки зрения социализации индивида), кроме того — что наиболее важно в контексте интересующих нас вопросов — деятельность в публичной сфере более не является результатом привилегированного доступа, а есть один из естественных видов повседневной деятельности индивида, живущего в современном обществе.

В наши дни феномен *социального измерения* как критерий детерминирования общественных действий человека практически утратил свою функциональность: действия членов сегодняшних развитых обществ в той или иной мере, тем или иным образом, но все же предполагают некую интеракцию и / или есть следствие некоей интеракции. Так, например, феномен фотографии из инструмента памяти трансформировался в инструмент коммуникации, и сам акт фотографирования сегодня направлен на предстоящее демонстрирование результатов Другим по различным каналам коммуникации, при этом различные модусы фотографирования в подавляющем большинстве случаев есть результат предыдущих известных в публичной сфере интеракций посредством фотографии и учитывает аспекты их успеха (трендовости, так называемой «хайповости», модности и др.).

Все это в наиболее полной мере и, может быть, в первую очередь повлияло на политику: традиционные акторы ПД, обладающие привилегированным доступом и своеобразным правом наделения таким доступом новых «заслуженных» акторов, потеряли свою эксклюзивность, а публичная сфера утратила сакральность. Вследствие этого значение коммуникативных аспектов в осуществлении политической деятельности в обществе изменилось самым значительным образом, что оказало столь же значительное воздействие на характер феномена политики как таковой. Всего один пример: в современном развитом обществе политический процесс стал практически полностью совпадать со своей экстериоризацией. Политического процесса вне публичного дискурса сегодня практически не существует — «частность» политики (в терминах ван Дейка — «кабинетные встречи» [Дейк 2013: 31]) все больше и все чаще становится достоянием публичного. Если в предыдущую эпоху политический процесс в рамках общепризнанной рациональности должен был экстериоризироваться в привилегированных моментах, и такой *modus operandi* был одним из важных конституирующих элементов его морфологии, прерогативой апологетов политики, то теперь не существует не только такого модуса, но и, пожалуй, такой возможности: какое-угодно-мгновение политической жизни потенциально экстериоризируется, (нередко вне зависимости от интенции возможного адресанта) и тем самым становится элементом и креатором политического процесса.

Достаточно изучить информационную картину политического процесса в любом современном развитом обществе, и мы увидим, каким образом перед нами — в синхронии или диахронии — будет поступательно вырисовываться актуальный политический процесс в чуть ли не каждом (значимом или нет в политическом смысле) действии каждого из субъектов данного процесса, в целом с достаточной степенью точности отражая его суть. При этом следует заметить, что, изучая, мы будем наблюдать разнонаправленный в плане интенций адресантов процесс распространения информации; то есть, наряду с действиями «постановочного» характера (изначально направленного на опубликование) в равной или даже большей мере информационную картину будут составлять сообщения, появляющиеся помимо желания (в кавычках или без) политиков. Нетрудно представить, насколько это обстоятельство меняет один из базовых интерфейсов политики — образ политического лидера.

Сегодняшнему политическому лидеру необходимо обладать своего рода синкретическими качествами — политика, шоумена, блогера, селебрити и т. д. (здесь уместно вспомнить описанных Дж. Фрэзером в «Золотой ветви» царей-жрецов, одновременно обладавших практическими навыками руководителя и аморфными способностями служителя культа [Фрэзер 1980: 72]). В то же время шоуменам, селебрити и блогерам открыта дорога в политику в силу обладания навыками деятельности в публичной сфере, с одной стороны, и в силу размытости границ между «просто публичной» и политически значимой деятельностью — с другой; ведь экстериоризация из средства превратилась в одну из возможных целей продуцирования ПД.

В современных условиях теневой или не особо жалующий публичность лидер, наделенный сильными управленческими качествами, в зависимости от конкретных политических обстоятельств может быть обречен на поражение в политической борьбе с кандидатом, умеющим в полной мере использовать современные технологии экстериоризации — вне зависимости от своих управленческих навыков, опыта и знаний. Кажется, уже в этом контексте засилье популизма в современном ПД и его популярность в электоральной среде вполне может расцениваться как прямое следствие произошедших перемен в системе символического обмена в публичном пространстве.

13.4. Конфликт интерпретаций

Мы уже писали о том, что в силу целого ряда вызванных современностью изменений в системе общества и, конкретно, в ее коммуникативной системе, исторически закрепленная конвенциональность по поводу отдельных знаков «языка» политики оказалась утерянной; однако множество интеракций в рамках ПД, в частности — дискурса власти, продолжает в наши дни осуществляться при помощи тех же знаков так, как будто никаких изменений не происходило.

Наиболеее ощутимым следствием этого стало то, что закладываемые политиками и властью в те или иные акты публичности смыслы оказались непонятными для адресатов (либо их интерпретация изменилась самым существенным образом), и фактически ряд актов публичности политики / власти трансформировался в череду коммуникативных несоответствий [Согомонян 2016: 137]. Так, например, сообщения о зарубежных визитах главы того или иного государства и политических результатах этих визитов продолжают традиционно транслироваться многими администрациями глав разных государств через СМИ как важные, порой — ключевые события в политической жизни страны. Но в условиях доступности глобальных транснациональных медиа, которые ежедневно демонстрируют репортажи о двух-трех визитах разных глав государств с разных континентов (тем самым рутинизируя данный фрейм публичности), в контексте неоднозначности политических результатов этих визитов для современных обывателей (если не произошло ничего экстраординарного — адресаты сообщения могут и не уловить сути этих результатов), в контексте слабой с точки зрения событийности (в современном понимании) и значимости темы, а также типичности подобных событий благодаря созданному множеству популярных исторических материалов (легкодоступных в любой момент в Интернете), зарубежный визит главы государства (сообщения о нем в рамках ПД) в подавляющем большинстве случаев декодируется адресатом не как нечто важное, а лишь как утверждение экзистенции власти и простой факт ее дееспособности, при этом — лишь в той или иной мере, в зависимости от эмоциональной окраски визита и характера оценок наиболее популярных комментаторов в СМИ и социальных сетях.

Так, сообщения о выступлении политического деятеля перед той или иной аудиторией на конкретную заданную тему с затрагиванием наиболее актуальных вопросов политики прежде являлось одним из наиболее действенных механизмов экстериоризации, одним из самых распространенных инструментов осуществления политики в публичной сфере. При желании, можно без сомнений назвать этот жанр (или *форму реализации публичности* [Согомонян 2013: 60]) — устное выступление лидера перед народом — политическим архетипом. При задействовании этого жанра его адресанты до сих пор предполагают актуализацию сразу нескольких традиционных интерпретативных аспектов.

Во-первых, как предполагается, должен актуализоваться аспект важности происходящего, важности события, которое синхронизировано как исторический момент со временем и уже в силу такой синхронности имеет особое значение для адресатов: предполагается, что у них возникнет желание хотя бы опосредованно присоединиться к этому, в некотором смысле сакральному, собранию; присоединиться еще и по той причине, что собравшаяся аудитория, с одной стороны, есть репрезентация всей аудитории данной страны, ее микромодель, с другой — она все же имеет конкретный количественный состав, предполагающий наличие у каждого из присутствующих неких позитивных качеств и тем самым — доступа, и хотя бы опосредованное (медийное) присоединение к этой аудитории (вплоть до подражания ей — аплодирования, одобрения жестами и т. п.) должно быть естественным желанием политически активного индивида.

Во-вторых, предполагается, что в условиях подобного вовлечения и сосредоточения адресанты будут интерпретировать транслируемые в выступлении смыслы (и их автора) в нужном адресанту позитивном ключе, фиксируя при этом ряд личностных преимуществ выступающего: ораторское мастерство, непосредственность, стиль одежды, умение общаться с людьми и др.

В результате, как предполагается, должна возникнуть ситуация, в которой адресат этого акта публичности должен соответствующим образом, то есть — позитивно, оценить адресанта вкупе с транслируемыми им смыслами и принять (начать принимать) соответствующие электоральные решения. Однако сегодня «выступление политика перед аудиторией» как традиционный акт взаимодействия в рамках ПД имеет абсолютно иную оценочную базу и, соответственно, интерпретируется и понимается его потребителями совершенно иначе. Во-первых, синхронический аспект события более не имеет никакого значения — выступление можно будет посмотреть в любой день и в любой удобный момент времени в Интернете. Ситуация с моделированием эффекта присутствия при историческом событии, таким образом, теряет свою эффективность. Кроме того, в условиях новой культуры потребления информации — назовем ее «культурой highlights» — просматривание всего материала может быть для очень значительной части аудитории пустой тратой времени: всего

через несколько минут в Сети появятся тезисы выступления с наиболее интересными его видеоотрывками, а многочисленные сайты, работающие в жанре *explanatory journalism*, неоднократно разъяснят и переразъяснят смысл сказанного политиком. Во-вторых, сегодняшний адресант данного акта публичности изначально зафиксирует условность, скажем так — постановочность ситуации с выступлением, так как в условиях современности любой политик мог бы донести свои мысли до любой аудитории, скажем, через тот же *Twitter*, или записав так называемый *self-tape* и распространив его в *YouTube* или *Facebook*. Почему же надо было собирать людей в зале? Или лететь в другой город и выступать перед людьми на площади, заставляя их стоять и слушать? Наконец, в-третьих, сам жанр подобного выступления с задействованием всей инфраструктуры для его организации с одной стороны, и с пониманием возможности достижения права (привилегированного доступа) самому быть в такой ситуации — с другой, — значительно девальвирован в силу большой степени доступности самоорганизации овнешнения в этом жанре если не для каждого, то для многих: оказаться в роли выступающего перед «народом» (некоей аудиторией) и получить профессиональную съемку этого события сегодня намного проще, чем когда бы то ни было. Соответственно, адресат данного акта декодирует его в совершенно ином ключе, чем это предполагается практиками досовременного ПД; кроме того, если вдруг во время данного выступления произойдет нечто экстраординарное — кто-то упадет в обморок, испортится микрофон, через зал пройдет кошка и т. п., — можно быть уверенным, что это микрособытие, разойдясь на мемы, перекроет по медийной значимости сущностную часть всего мероприятия.

Подобных примеров с несоответствием конвенционально закрепленной иллокутивной цели актора ПД и реального перлокутивного результата в современной политической жизни более, чем достаточно: она изобилует ими. Политически безупречная и мастерски оформленная с точки зрения художественности речь кандидата в президенты какой-либо страны по поводу, скажем, недопустимости расовой сегрегации может значительно уступить в степени событийной важности (и электоральному рейтингу) какому-нибудь оригинальному селфи (шутке, мему, небольшому инциденту и др.) другого кандидата, так и не обозначившего свои взгляды на эту важную для своей страны проблему. Или эффектные, но очень общие по содержанию слоганы, не подкрепляемые осуществимой программой («Другая Европа с Ципрасом», «Время изменить Рим», «Сделаем Америку вновь великой» и др.) могут привлечь бóльшую массу избирателей, чем глубоко продуманные и классические по форме политические лозунги опытных политиков — вот типичная картина сегодняшней политической действительности.

В условиях «безразличия к содержанию» [Бодрийяр 1995], обесценивания и смешения смыслов, сущностные характеристики политиков и их действия, демонстрируемые в ПД, очевидно девальвируются, а взамен обретает иную,

гораздо большую ценность инструментарий популизма — инструментарий, позволяющий в условиях упраздненности всевозможных цензов транслировать любые смыслы в публичном пространстве в качестве политически значимых. И на этом фоне простые и несложные для интерпретации и понимания действия — пусть и не очень искушенных в политике публичных деятелей — действительно могут с успехом заполнить «святое место» сугубо политических и общественно значимых интеракций.

13.5. Выводы

Таким образом, основной вопрос, который формулируется в контексте вышесказанного — в чем причина и каков генезис наблюдаемых метаморфоз в политическом бытии современных обществ? — на наш взгляд, может иметь следующие два ответа, который мы попытались обосновать в этой статье: а) кардинальное *изменение системы и правил взаимодействия в публичном пространстве* в силу наступления определенных кондиций современности, в результате чего ПД современных обществ претерпел существенные изменения; и б) наблюдаемый в наши дни *конфликт интерпретаций* (Рикёр), или *перманентная неадекватность семиозиса*, происходящего в процессе политической коммуникации в современном развитом обществе; иными словами, непонимание обществом / электоратом *традиционных* смыслов ПД, транслируемых *профессиональными политиками*, со всеми вытекающими из этого последствиями.

В терминах прагматики сказанное означает, что высказывания, продуцируемые политиками в рамках ПД, по тем или иным причинам утратили иллокутивные функции и не приводят к конвенционально ожидаемым результатам. По сути, это разрушение традиционных конвенций относительно знаков «языка» политики в частности и смыслов политических интеракций в целом. При этом, что очень важно, речь в полной мере может идти о разрушении значительного числа конвенций *относительно смыслов социальных интеракций вообще*; именно поэтому роль коммуникативных аспектов в кардинальных переменах ПД и — шире — политического бытия современного развитого общества, видится нам ключевой. Ведь представленные выше проблемы, связанные, по сути, с *пониманием* в публичном дискурсе, оказывают существенное воздействие на ключевые для социологии и политологии институты, дефиниции которых представляют коммуникацию (и ее ожидаемый результат — *понимание*) в качестве базового конституирующего элемента взаимоотношений индивидов внутри общества, как и существования самого общества.

Правильное интерпретирование и понимание участниками социальной коммуникации субъективно подразумеваемых и одновременно конвенционально закрепленных в социальном узусе смыслов, выражаемых через действия, за которыми стоит ценностный выбор каждого члена общества, как в клас-

сической, так и в современной социологии постулируется в качестве залога существования общества как такового, так как общество не может существовать без интеракций (подразумевается — успешных в плане взаимопонимания), как и интеракция — без общества [Луман 2011: 527]. «Общество использует коммуникацию, и все, что ни приводило бы коммуникацию в действие — есть общество. Общество конституирует элементарные единства (коммуникации), из которых состоит; и что бы ни было конституировано таким образом, становится обществом, становится моментом самого процесса конституирования» [Луман 2011: 540]. «Правильная причинная интерпретация конкретного действия предполагает, что как внешний ход его, так и мотивы установлены правильно, а также что их связь друг с другом *"поддается пониманию" (understandable)* (курсив мой. — *В. С.*). Социальные отношения, следовательно, большей частью, а может быть и исключительно заключаются в вероятности того, что при определенных обстоятельствах действия становятся предсказуемыми, независимо от того, на чем основана эта вероятность» [Парсонс. О структуре…], — отмечает Т. Парсонс, комментируя постулаты Вебера.

В свете сказанного заслуживает отдельного упоминания социологическая парадигма символического интеракционизма (Дж. Мид, Ч. Кули, Г. Блумер, И. Гофман). Напомним, это одна из так называемых интерпретирующих микросоциологических парадигм, в которых поведение людей в обществе *par excellence* предстает как социальное действие, требующее коммуникации, интерпретации и взаимопонимания [Шульга 2012: 115]. Она основывается на том, что все формы взаимодействия людей в обществе подразумевают общение, базирующееся на определенных социальных символах — языке, телодвижениях, жестах, культурных символах и т. д. Люди, согласно Дж. Миду, американскому социологу, одному из основателей данной школы, не реагируют на внешний мир и других людей непосредственно, а осмысливают реальность в неких символах и соответственно продуцируют эти символы в ходе общения.

Само существование общества сводится в этой парадигме к совокупности процессов коммуникации и обмена информацией, формирующих необходимую для совместной деятельности «общую собственность» всех людей на более или менее *одинаково понимаемые* цели, взгляды, ожидания и т. п. [Ковалев 2000: 8].

> Символический интеракционизм выдвигает идею, согласно которой социальный мир людей может быть представлен как бесконечное множество разнообразных символов. Символы придают значимость человеческой жизни и создают тем самым основу для интеракции — взаимодействия людей друг с другом в процессе коммуникации. Но символ не просто обозначает какой-то предмет или событие. Символ описывает эти события особым образом — он опосредует и одновременно определяет реакцию на него. Это направляет восприятие человека на постижение значений тех общепринятых символов, которые обеспечивают интеракцию.

> Для осуществления интеракции каждый, кто вовлечен в коммуникативный процесс, должен распознавать и одновременно интерпретировать намерения других людей. Такой процесс обеспечивается благодаря «принятию роли», которая примиряет одного человека с другим в процессе общения; и эти роли могут меняться местами в процессе коммуникации [Шульга 2012: 114—115].

Эта идея, лежащая в основе парадигмы символического интеракционизма, достойна отдельного, более подробного исследования: кажется очевидным, что с учетом сегодняшних реалий, она приобрела намного большую ценность, чем в период своего зарождения — в 1920—1930-х гг.

Без определенного контекста (который, надеемся, нам удалось обозначить выше), ключевое значение феномена *понимания* в функционировании общества и продуцировании ПД может показаться тривиальным и самоочевидным. Разумеется, функционирование общества неразрывно связано с пониманием смыслов социального действия и стандартизации поведенческих моделей индивидов в обществе. Именно коммуникация и ее ожидаемый продукт — понимание, продуцируют интерпретацию или толкование поведения Других в обществе, что порождает феномен социального действия в различных его разновидностях: в нормативных действиях, которые полностью основаны на принятых нормах / конвенциях (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ю. Хабермас); в драматургических действиях, в основе которого лежит самовыражение / самопрезентация человека, предполагающее понимание членами общества соответствующей воле актора идентификации его личности (И. Гофман); тем более — в коммуникативных действиях, в основе которых лежит взаимодействие как минимум двух субъектов, которые стремятся к взаимопониманию и достижению согласия по поводу самой ситуации действия (Дж. Мид, Ч. Кули, Г. Гарфинкель).

Именно аспект успешной коммуникации и понимания, по сути, лежит в основе *логического действия*, представленного В. Парето: «...Мы будем называть “логическими действиями” операции, которые логически соединены со своей целью не только по отношению к субъекту, выполняющему эти операции, но и для тех, кто обладает более широкими познаниями» (цит. по: [Волков и др. 1999]); то есть те действия индивида, смысл которых может быть однозначно интерпретирован и понят любым внешним наблюдателем и адресатом. Однако, тривиальность и самоочевидность феномена понимания как ключевого аспекта социальных интеракций базируется прежде всего на ранее незыблемой данности о существовании конвенций, совместных смыслов, из которых состоит общий «жизненный мир» людей. Но дело именно в том, что столь необходимая для успешной коммуникации в обществе система совместных смыслов, как видим, подверглась серьезным изменениям.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что разные части общества, в зависимости от степени вовлеченности в деятельность в публичной сфере с использованием современных инструментов и каналов коммуника-

ции, с каждым днем все больше увеличивают интерпретационный разрыв между смыслами, которые должны были быть общими при осуществлении публичных интеракций. Взаимодействуя в публичном пространстве, они действуют как бы в параллельных мирах и могут рассчитывать лишь на относительное взаимопонимание.

Завершая, нам хотелось бы в двух словах обозначить перспективы дальнейшего исследования затронутых вопросов. На наш взгляд, для выявления наиболее полной картины произошедших метаморфоз и понимания их генезиса, следует обратить особое внимание на особенности когнитивного механизма ПД с демонстрацией тех критических воздействий, которым подвергся в этом плане ПД за прошедшее десятилетие и вследствие которых обрел дефиниции, которые значительно отличают ПД современности от ПД предыдущего периода.

14. СИМВОЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И СЕМИОЗИС ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Результатом слияния традиционных публичных медийных пространств с новыми и образования современной (хочется сказать — тотальной) публичной сферы, вопреки гипотетическим ожиданиям, стало не поглощение традиционных медиапространств новыми, а, наоборот, их математическое приплюсование друг к другу с установлением *by default* новых правил продуцирования коммуникации в качестве «общих». В итоге, с одной стороны, печатные издания, информационные агентства, радио и телевидение, с их традиционными формами и форматами транслирования информации, в полной мере сохранили статус легитимных и релевантных публичных пространств, вне зависимости от обстоятельства их взаимопроникновения с Сетью. С другой — тот же статус приобрели и новые медиа, успешно внедрившие в обиход целый ряд новых форм и способов неопосредованного распространения информации — от коротких текстовых сообщений до медиафайлов и проведения прямых видеотрансляций. Акторам публичного дискурса и, в частности, ПД в условиях сложившейся беспрецедентной ситуации *избыточности пространств распространения и потребления информации* по отношению к продуцируемому «обычному» объему политической информации, с учетом лишь фрагментарно совпадающих многомиллионных аудиторий различных традиционных и новых медиа, как и необходимости соответствования модерным условиям продуцирования коммуникации, пришлось параллельно использовать значительное количество из предлагаемых различными медиа разнообразных возможностей; лишь немногие из более или менее видных общественных деятелей и политиков провели для себя «медийную сегрегацию», остановив свой выбор на каком-нибудь одном сегменте.

В свою очередь, использование новых возможностей экстериоризации, как и значительное расширение репертуара возможных и допустимых в плане информирования общества действий, совершаемых, в частности, носителями власти в публичном пространстве, привело к возникновению явления *избыточности информации*[142]. Кроме того, результатом диверсифицированной медийной деятельности адресантов ПД стала еще и *избыточность сообщений псевдоинформационного характера* в публичном пространстве: речь идет

[142] Здесь интересно обратиться к наблюдению У. Эко в работе «От древа к лабиринту: исторические исследования знака и интерпретации»: «Если уже при Фемистокле и Цицероне существовал страх избытка информации, то с изобретением печати эта проблема будет все больше и больше возрастать, ведь печать не только предоставляет огромное количество текстуального материала, но и облегчает любому человеку доступ к информации» [Эко 2016: 82].

о значительном количестве сообщений, которые, по сути, неинформативны в плане субъекта или явления, к которому принадлежат, как и в плане объекта или феномена-экстенсионала, о котором сообщают, однако в силу тождественности ряда формальных и содержательных характеристик фигурируют в различных медиа именно в качестве информационных сообщений и наряду с ними.

Теперь обратимся к рассмотрению аспекта, имеющего онтологическую взаимосвязь с этим рядом явлений с общей характеристикой избыточности. Речь идет о *многократном увеличении «тиража»* символических комплексов массовой культуры (МК) за прошедшее десятилетие. В условиях умножения количества медийных пространств, каналов транслирования медиапродукции, как и в условиях разграничения физического пространства и времени потребления «продуктов» МК — по точной аналогии с рассмотренным выше модусом потребления общественно-политической информации — диверсифицированная и разножанровая представленность в публичной сфере, как и частота демонстрируемости символических комплексов МК[143] в медиапространстве многократно увеличилась. В результате герои и сюжеты (или концепты, если речь идет об интернет-культуре как сегменте МК) наиболее популярных произведений МК представлены сегодня в публичной сфере беспрецедентно широким образом.

На наш взгляд, данный аспект может стать предметом отдельного политологического исследования (трансдисциплинарного характера, с использованиям инструментария и методов лингвистики, семиотики и социальной психологии) прежде всего в свете вызванных им к жизни двух явлений — *увеличения миметической составляющей в социальных действиях индивидов* и *формирования унифицированного конвенционального эмотивного «языка»*, так как их актуализация оказывает значительное влияние на характер продуцирования и потребления ПД.

Попробуем показать, каким образом это происходит.

Функционирование в обществе основанных на подражании героям МК различных субкультур (например, так называемой субкультуры «косплея»[144]) — одна из наиболее ярких форм проявления мимезиса в социальном действии; по сути, это перманентное коллективное социальное действие, содержащее элементы подражательной ролевой игры. Так, «косплей» подразумевает, во-первых, перевоплощение индивида в персонажей различных фильмов, комиксов, аниме, а также типичных представителей той или иной национальной культуры (рыцарей, гейш, императриц и др.) [Самойлова 2012]. «Первостепенную роль в отождествлении себя со своим персонажем, несомненно, играет костюм, подражание манере поведения и жестам. Косплееры, которые полностью соотносят себя с персонажем, стараются воспроизвести все, до мельчайших деталей, включая и особенности мира, где действует персонаж» [Са-

[143] Вкупе — «тираж» символических комплексов МК.
[144] Сокр. от англ. “costume play”.

мойлова 2012: 168]. Последователи этой субкультуры, перевоплощаясь, перенимают и нормы / особенности поведения объектов подражания. «Знать, как ведет себя персонаж не менее важно, чем сшить хороший костюм (имеется в виду — похожий на костюм конкретного героя. — *В. С.*). Некоторых героев без правильной подачи не узнать» [Аташева 2018]. Мимезис здесь, таким образом, выражается через форму полного подражания тем или иным героям МК посредством всестороннего уподобления (через стиль одежды, говорения, полноценного повторения или имитации повторения отдельных поступков и др.). Как отмечает один из исследователей «косплея», человек, становящийся приверженцем этой субкультуры, более не отягощает себя мыслями о том, как прожить данный отрезок жизни: что отвечать, во что одеться, как себя вести, потому что все это уже придумано создателями образа [Черникова 2013]. Во-вторых, «косплей» подразумевает совершение индивидом направленных на социум публичных действий в выбранном образе, с тем чтобы подтвердить реальное существование персонажа, создать для него возможность «перцептивного присутствия» в объективном мире. «Персонаж словно перестает быть вымышленным героем и мыслится как реальный, контакт с которым возможен. Таким образом, косплей становится своеобразным "мостом" между реальным и ирреальным мирами» [Самойлова 2012: 168].

Видится очевидным, что трансформирование того или иного образа МК в объект «косплея» или иной подобной ему миметической субкультуры прежде всего обусловлено массовой популярностью представляющих его символических комплексов МК, существованием конвенционального культурного и оценочного контекста в обществе по отношению к этим произведениям, наличием общих и общедоступных знаний об особенностях конкретных объектов подражания и т. п. Соответственно, трансформация какого-либо образа или концепта МК в объект так называемого «фэндома»[145] или «косплея» практически невозможна без обеспечения больших тиражей распространения: анализ генезиса этих субкультур выявляет аспект массового знания о конкретном герое МК и его характеристиках в качестве основного[146].

Именно этим, на наш взгляд, объясняется тот факт, что в XX в. (с его ограниченными по сравнению с современным периодом медийными возможностями) единственными общепризнанными объектами «косплея» были персонажи переведенного на многие языки мира и опубликованного даже в СССР произведения английского писателя Джона Толкина «Властелин Колец», несмотря на очевидность существования и иных, больших или малых (наподобие дворовых игр в Робина Гуда), локальных или транснациональных фэндом-движений. Тогда как за последнее десятилетие, вместе с увеличением

[145] От англ. "fandom" — «сообщество фанатов».

[146] В качестве примера можно рассмотреть TOP-10 за 2016 г. сайта IMDB — профессиональной организации по присуждению рейтингов художественным фильмам. URL: https://www.imdb.com/best-of/top-movies-of-2016/ls066361114/?mode=desktop&ref=m_ft_dsk

количества символических комплексов МК и их «тиража» в медиапространстве, ансамбль объектов «косплея» многократно расширился и продолжает расширяться, охватывая героев не только кинофильмов или комиксов, но и мультфильмов (таких, например, как «Холодное сердце» студии *Disney*), и компьютерных игр (“Lineage”, “Ragnarok”, “Assassin’s Creed” и др.) [Самойлова 2012]. Более того: на фоне широкой распространенности «косплея» в современном мире и формирования обслуживающих его коммерческих инфраструктур, с учетом обусловленной рыночными требованиями художественной «выверенности» продуцируемых крупными медиа- и кинокомпаниями символических комплексов МК, как и расширяющей свои границы благодаря возможностям Интернет-торговли «героической индустрии» (символика, одежда, игрушки, атрибутика и т. п.), практически любое произведение МК имеет шанс на трансформирование своих героев в объект «фэндома». Уже только в силу этих обстоятельств увеличение миметической составляющей в социальных действиях индивидов в современном обществе должно выглядеть естественным.

Однако следует учитывать еще и массовые «тиражи» другого, нового сегмента МК — концептов интернет-культуры (например — типичных гримас, наподобие известной «дакфейс»; фотографирования еды; различных челленджей; эмотивных стикеров и т. д.), где мимезис является единственным смыслом символического взаимодействия; в этом сегменте аспект тиража имеет безусловно доминирующее значение в ущерб как художественному содержанию (или содержанию вообще), так и гипотетической включенности концепта в общепринятую систему ценностей того или иного общества. *В общем итоге следует констатировать, что в наши дни «культура подражания» из специфического проявления общества превратилась в элемент повседневных — межличностных и публичных — интеракций*.

Обратимся также и к процессу формирования унифицированного конвенционального «языка» эмоций в системе современных коммуникаций. Поясним: речь идет об аутопойэтическом, вызванном новыми кондициями публичного символического взаимодействия процессе «перевода в знаки», стандартизации и структурирования в иконические знаковые системы универсума человеческих эмоций, иными словами — о формировании стандартизированного и визуализированного эмотивного «языка», имеющего собственный «словарь», «слова» которого при переводе на любой из национальных языков будут обозначать аналогичные эмоции. Самым простым примером здесь, безусловно, может стать тот же язык «эмоджи», представляющий из себя именно такую знаковую систему с указанными только что характеристиками, наднациональная конвенциональность которой была обеспечена вновь при помощи массового тиража[147] — как известно, этим языком оснащены все современные операционные системы, устанавливаемые на смартфонах и гаджетах.

[147] Интересно отметить, что кинокомпания “Pixar” сняла анимационный фильм о персонажах «эмоджи», который пользуется большой популярностью.

В качестве примера можно привести и «иконизацию» в серии мемов и «стикеров» отдельных антропологических качеств, чувств и ощущений, или — в терминах Ж. Делёза — «ощущений-вещей» и сущностей [Делёз 2016: 119]; это такие общеизвестные серии, как “Pokerface” (качество невозмутимости), “Like a boss” (качество вальяжности), «Склонивший голову персонаж» (чувство грусти), “No words” (чувство бессилия перед обстоятельствами), «Раненый персонаж» (ощущение боли), «Заткнувший уши персонаж» (ощущение невыносимого шума или нежелания слушать) и т. д.

Однако рассматриваемый процесс имеет и гораздо более сложные проявления, заслуживающие, на наш взгляд, особого внимания. В условиях беспрецедентно массовых тиражей концептов МК, как и с учетом их транснационального характера, в многоплановые объекты «иконизации» и образного унифицирования автоматически трансформируются как различные социальные институты, так и разные социальные роли. «Каждый современный человек западной культуры знает, как выглядит, например, идеальная семья. Эти коды заложены в сознание человека и создаются с помощью медиа: кинематографом, ток-шоу, телевидением, рекламой. Поэтому, когда в рекламе папа, мама и сын, обедающие за круглым столом, первое сообщение, которое декодируется потребителем, — перед ним идеальная семья», — отмечает Ю. Белоусова в статье «Медийный образ как средство коммуникации» [2012: 28].

Современное медийное пространство изобилует подобными комплексными «иконическими» объектами (из социальных институтов — «семья», «коллектив» «друзья»; из социальных ролей — «мать-одиночка», «честный полицейский», «современная женщина», «приверженец здорового образа жизни» и т. д.); они распознаются индивидами-адресатами в силу их растиражированности и частой встречаемости в более или менее унифицированных вариациях в различных символических комплексах / концептах МК. Эти объекты (назовем их *ингениумами*[148]), по сути, представляют собой полностью оформленные и практически законченные сложные образы, наделенные уже «придуманными» своеобразными нормами поведения, собственным стилем говорения, особой манерой одеваться, а также собственной «судьбой»: наиболее распространенные и повторяющиеся сюжетные структуры МК очерчивают определенные границы «прошлого» и «будущего» этих образов. Кстати, возвращаясь к явлению увеличения миметической составляющей в социальных действиях и перефразируя уже приведенную выше цитату, отметим, что человек, уподобляющийся одному из ингениумов, может более не отягощать себя мыслями о том, как прожить данный отрезок жизни — все уже придумано создателями образа. Здесь уместно вспомнить идею К. Леви-Стросса о том, что на самом деле не люди мыслят в мифах, а мифы мыслят в людях без их ведома (люди лишь частично и не непосредственно осознают их структуру и способ действия) [Леви-Стросс 2006: 20].

[148] От многозначного лат. *ingenium* — характер, талант, дар, природное свойство, знания.

Каким же образом продемонстрированные выше явления, вызванные к жизни аспектом увеличения «тиража» символических комплексов МК, влияют на продуцирование и потребление ПД в современном обществе?

«Извлекаемые из социального опыта нормы поведения, которые и З. Фрейд (в понятии *суперэго*), и Э. Дюркгейм (в понятии *коллективного сознания*) считали составной частью личности, должны считаться и частью социальной системы» [Парсонс. Системы действия…], — отмечает Т. Парсонс. Особенности транслируемых в публичном пространстве образцов и норм поведения, которые перенимаются индивидами для миметического продуцирования социальных действий, таким образом, становятся определителями сущностных характеристик конкретного социума в целом, тем более, если речь идет о беспрецедентных объемах «тиражей» и аспект наиболее полного охвата аудитории не вызывает споров. Постулат К. Юнга о том, что при попытке понять какой-либо символ мы сталкиваемся не только с самим символом, но и с целостностью индивида, воспроизводящего эти символы [Юнг 1991: 207], в данном контексте должен прочитываться в том плане, что анализ образов популярных героев современной МК и наиболее популярных ингениумов может открыть целостный образ того или иного общества, массово «воспроизводящего» этих героев и уподобляющегося им. Соответственно, модус продуцирования реально эффективного ПД в современном обществе не может не учитывать тиражируемые МК образцы поведения и особенности унификации социальных институтов / ролей, а потребление ПД в плане семиозиса его отдельных актов в социуме будет неизбежно коррелировать со структурными особенностями сюжетов МК (преображаемых через коллективный мимезис в определенные последовательности социальных действий).

15. СМЫСЛООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕДИАОБРАЗОВ: РОССИЯ НА ОБЛОЖКАХ ПОЛЬСКИХ ЖУРНАЛОВ

> Образ или слово таят в себе магическую силу, позволяющую проникать в сущность вещи.
>
> *Э. Кассирер*

15.1. Вопросы терминологии и подходы к реконструированию медиаобразов

Исследователи проблемы отмечают, что медиаобраз — это понятие, мало исследованное не только в российской, но и мировой гуманитарной науке [Галинская 2013: 92; Балалуева 2014: 87], терминологически и методологически недостаточно осмысленное, поэтому мы видим необходимость исследовать его более подробно[149].

Сложность и смысловая многогранность изучаемого понятия «образ» / «имидж» имплицирует формулирование все новых дефиниций, которые могли бы полноценно раскрыть его сущность. В английском же языке, по словам Г. М. Кормишиной, лексема *image* имеет, как минимум, пять значений: ‘образ’ (основное значение), ‘статуя (идол)’, ‘подобие’, ‘метафора’, ‘икона’ [Кормишина 2011: 73]. В русском же языке лексема ‘образ’ имеет широкий спектр значений: внешний вид, облик; наружность, внешность; наглядное представление о ком-/чем-либо, возникающее в воображении кого-либо; обобщенное художественное восприятие действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления; характер, склад, направление чего-либо; способ, средство [Большой толковый словарь русского языка 1998: 682] и разнородный синонимический ряд: *имидж, образ, фигура, стиль, продукт, оболочка, внешний вид, статус, репутация* [https://text.ru/synonym/имидж]. Закономерно возникает вопрос об отличительной сущности понятий имиджа и образа в сфере медийной коммуникации[150].

В современных исследованиях, посвященных изучению имиджа территорий или персоналий, наиболее востребованными оказываются частично синонимичные, однако различающиеся по объему и содержанию понятия —

[149] Подробнее о разграничении понятий «образ», «имидж» и смежных с ними см. в статье [Сладкевич 2019в].

[150] Детальный анализ этимонов лексемы образ и семантически близких ей понятий паттерн, облик, идея и эйдос, икона, форма и морфа, имидж, схема, фигура и тип представлен в статьях М. В. Ильина [2018а; 2018б].

имидж и образ[151]. К. Губер определяет образ как многослойное творение, являющееся совокупностью наблюдений и ощущений за фрагментом действительности, в которых мы проецируем наше эго [Huber 1994: 26]. Человек регистрирует определенные данные, которые затем обрабатывает. Его подсознание дает им смысл, связывает эту информацию, картины действительности с более или менее четким воображением о них. В результате появляется конгломерат, состоящий из чувств, мнений, взглядов, фактов, определяющий природу образа и объясняющий появление множественных разнородных имиджевых характеристик одного и того же предмета или явления у разных индивидов или в различных дискурсивных пространствах.

И. В. Сидорская справедливо разграничивает понятия *образ* и *имидж* по критерию стихийности / сознательности их формирования, отмечая, что образ — это «продукт стихийно сложившегося восприятия, к которому не применялись целенаправленные усилия того или иного объекта» [Сидорская 2016: 66], то есть некий продукт отражения. В противоположность ему имидж, как и антиимидж, конструируется в соответствии с четко сформулированными целями и задачами воздействия на группу адресатов [Сидорская: там же][152]. В этой связи имидж отличается некоторой степенью стереотипизации, схематичности и упрощенности по сравнению с его носителем: он представляет собой «наиболее экономный способ порождения и распознавания сложной социальной действительности» [Почепцов 2001: 188], а в отношении персонального имиджа функционирует как «знаковый заменитель, отражающий основные черты человека» [Почепцов 2006: 54]. Семиотический характер личностного имиджа в качестве «заменителя человека» эксплицирован в анализе этимона данной лексемы: «Бесспорно, что это латинское слово произошло от общеиталийского этимона ***imāgō*** связано с индоевропейским корнем ***im***. Тот, в свою очередь, восходит к еще более глубокому индоевропейскому этимону ***$h_2$eim-***, который по смыслу связан с идеей копирования и дублирования. От это же корня произошли также широко распространенные во многих языках, включая русский, слова *имитировать* и *имитация*» [Ильин 2018а: 16]. Исследователи отмечают, что об имидже уместно говорить лишь тогда, когда он становится «публичным», то есть когда появляются субъекты его восприятия [Wiktorowski 2013: 363; Романова 2009: 109].

[151] Отметим, что в польском языке лексема “wizerunek” семантически является более объемным и амбивалентным понятием, включающим в себя значение как имиджа, так и образа.

[152] Ср., напр., определение лексемы ‘имидж’ в словарях: «целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п. <…> Имидж политика специально формируется в результате целенаправленных усилий как его самого, так и его команды» [Политология. Словарь]; «определенный образ известной личности или вещи, создаваемый средствами массовой информации, литературой или самим индивидом» [Словарь иностранных слов русского языка].

Имидж не тождественен образу, это сознательно сконструированный и эмоционально окрашенный образ себя или другого, апеллирующий не только к мышлению реципиента, но и к его эмоциональной сфере и соответствующий некоторым параметрам: способен вызывать сильную эмоциональную реакцию; демонстрирует не все качества объекта / личности одновременно, а максимум 3—4 основных, подтверждающихся всей системой средств выразительности; должен быть правдивым и понятным для целевого реципиента, то есть соответствовать сложившемуся мнению и ожиданиям аудитории; имиджу требуется регулярное подтверждение, поскольку эмоции забываются, если их не «подкармливать» [Быстрова 2011]. Имиджевые характеристики проецируемого в публичное пространство образа передаются с помощью определенного набора языковых средств персуазивного назначения, что превращает их в медийные технологии[153].

В гуманитарных исследованиях интересующее нас понятие медиаобраза[154] чаще всего определяется как «особый образ реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией» [Богдан 2007: 124], как «совокупность эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, получаемой из СМИ» [Марущак 2012: 95], как «обобщенная проекция в общественном мнении» (ogólny obraz w oczach opinii publicznej) [Pisarek 2006: 228]. Т. Н. Галинская различает узкую и широкую трактовку рассматриваемого понятия [Галинская 2013: 91]. В узком значении «медиаобраз» — это фрагменты реальности, описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также психологические качества; в широком значении «медиаобраз» — это образ реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве (профессиональными журналистами, блогерами, интернет-пользователями и т. д.). Если в узком значении «медиаобраз» создается в процессе специального конструирования фрагментов реальности журналистом, то в широком значении «медиаобраз» предполагает спонтанное и хаотичное созидание реальности в рамках двустороннего процесса интернет-общения.

[153] Отметим, что некоторые исследователи трактуют имидж узко и ограничивают сферу применения данного понятия исключительно личностным пространством («образ субъекта, создаваемый в процессе интерсубъектного взаимодействия» при значимой активности субъекта — прообраза имиджа, инициирующего создание своего образа для социального окружения [Перелыгина 2005: 34; Шепель 2005]. Такой подход исключает существование имиджа неодушевленного объекта и не предоставляет возможности рассматривать надличностный имидж организации, государства, отдельной территории.

[154] По мнению Мажены Тихож, «образ» можно трактовать в трех категориях: как 1) политический продукт, предлагаемый потребителям политического дискурса; 2) политический ресурс, находящийся в распоряжении группы или самого политического лидера, способный превратиться в капитал при наличии спроса на рынке; 3) капитал, функционирующий на политическом рынке и приносящий прибыль [Cichosz 2004: 81].

Медиаобраз как некая медийная модель, альтернативная объективной действительности, является одним из ключевых инструментов воздействия на общественное мнение, определяющим характер рефлексии современного потребителя информационного продукта, и становится важнее своего реального содержания (не интерпретируемого СМИ). Он выполняет функцию управления социумом через связь «От СМИ — к обществу» [Балалуева 2014: 87], заключающуюся в производстве смыслов, которые ретранслируются аудитории посредством медийных технологий. Журналисты конструируют медиаобразы на основе собственных представлений о значимости медиасобытия и придает ему эмоциональную окраску, обусловленную рядом сознательных и неосознаваемых установок, стереотипов и ментальных схем, определяемых в новейшей литературе предмета как социообраз. Под данным термином понимается «совокупность эмоциональных, рациональных, архетипных и приобретенных в процессе социальной деятельности представлений широких слоев населения, почерпнутых из собственных и коллективных витальных практик» [Балалуева 2014: 87]. Социообразу, кристаллизованному в массовом сознании в виде норм, свойств и качеств, приписываемых определенному объекту или ситуации, присущи следующие признаки: авторитарность (неоспоримость социообраза внутри социальной группы), статичность (слабая подверженность изменениям в связи с опорой на традиции, коллективное сознательное и бессознательное начало), стереотипность, воспроизводимость, повторяемость и одновременно спонтанность (социообраз может создаваться стихийно под влиянием событий извне). Будучи сотканным из функционирующих внутри социальной группы устойчивых представлений об определенном фрагменте действительности, социообраз реализует функцию управления СМИ через противоположный, центростремительный, коммуникационный вектор «от общества — к СМИ».

В исследованиях практикуются разнообразные методики изучения и реконструирования медиаобразов. Т. Н. Галинская, рассмотрев научные публикации последних лет по данной проблеме, выявила три различных подхода, детерминированных анализируемым языковым материалом [Галинская 2013: 92—93]:

1) Медиаобраз как публичных персон (политиков, религиозных деятелей, звезд шоу-бизнеса), так и актуальных социальных-политических проблем изучается на материале медиатекстов, созданных только профессиональными репортерами. В этой группе отмечаются многочисленные работы, посвященные воссозданию образа России на основе лингвистического анализа медийных текстов. Такие исследования позволяют моделировать медиаобразы отдельных фрагментов действительности, базирующиеся на мнении профессиональных журналистов, что, несомненно, сопряжено с высокой степенью субъективизма полученных результатов.

2) Изучение медийного образа социально значимого явления / субъекта на базе речевых продуктов, полученных в результате работы фокус-групп. Такой подход к реконструкции медийного образа заключается в интеграции

изучения разнородных источников информации об изучаемом явлении: контент-аналитическому исследованию (частотный, компонентный, полевый, лингвориторический анализ) подвергаются не только тексты из электронных и печатных СМИ, но и мнения реципиентов этих медиатекстов (с применением методики анкетирования), что повышает уровень объективности и достоверности полученных результатов.

3) Реконструкция медиаобразов по материалам спонтанных речевых произведений интернет-пользователей, спонтанно обсуждающих то или иное явление в социальных сетях, блогах, на сайтах медиаизданий, — наиболее перспективное, по мнению исследователя, направление в исследовании медийного образа, позволяющее реконструировать продукт сознания коллективной языковой личности массового реципиента медиаинформации.

15.2. Образ России в публикациях последних лет

Серьезные социально-политические трансформации конца XX — начала XXI столетия, потрясшие мировое сообщество (изменение геополитической конфигурации Европы, распад СССР, неослабевающее напряжение на международной арене, длительное господство Владимира Путина на политической сцене, конфликты в Грузии, Украине, Сирии, санкции против России и другие события) усилили интерес исследователей к процессам управления жизнедеятельностью и умонастроениями масс в России, а также формированию общественного мнения о данной стране в общем информационном пространстве посредством креации ее медийного образа на основе сложившихся стереотипов, убеждений и предубеждений, а также ожиданий целевой аудитории. Образ / имидж страны относится к области нематериальных ресурсов, чрезвычайно значимых как для формирования национальной идентичности ее граждан, так и для функционирования данного государства в международном пространстве и оптимального ведения им внешней политики.

Ежегодно проводятся научные семинары и конференции, посвященные имиджу России и ее президента, русофобии и русофилии, акцентированию опасений и надежд, связанных с этим влиятельным государством и приводимой его правительством внутренней и международной политикой[155]. По ука-

[155] Конференция «Современный образ России: перспективы развития» (31.12.2008, Московский государственный университет); международная научная конференция «Образ России в зарубежном политическом дискурсе: стереотипы, мифы и метафоры» (13—17.09.2010, Уральский государственный педагогический университет); всероссийская научная конференция «Образы будущего России: желаемое — возможное — необходимое» (8—9.06.2016, Московский педагогический государственный университет); международная научная конференция “The Image of Russia in the Balkans” (7—9.11.2011, Варшавский университет); конференция «Образ России и россиян в публичной сфере — политическая мысль, СМИ, международное общественное мнение» (18—19.05.2010, Люблин); международная научная конференция “Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI

занной проблематике пишутся монографии и защищаются магистерские, кандидатские и докторские диссертации по разным гуманитарным дисциплинам [Галумов 2004; Борисенко 2008; Безотосный 2011; Цилюрик 2013; Рябов 2016]; см. также собирательный перечень [Гравер 2012].

В рамках исследовательских проектов появляются сборники или тематические номера журналов, посвященные исследованию терминологических вопросов, связанных с определением понятий образ и имиджа [«Метод: Московский ежегодник из обществоведческих наук», 2018, Вып. 8: Образ и образность. От образования Вселенной до образования ее исследователя, с. 12—24; «Слово.ру: балтийский акцент», 2018, Т. 9, №2], и эмпирических реконструкций конкретных образов. Так, редактируемый мной номер польского журнала «Русское обозрение»[156] был посвящен креации образа современной России в политическом, медийном, поэтическом, маркетинговом, дидактическом дискурсе в ракурсе национальной и межкультурной коммуникации. Указанный номер (2016, №4) состоит из десяти статей, объединенных общим заглавием — «Образ современной России в языке и культуре» — и посвященных 1) формированию общественного мнения на тему России в российском и мировом публичном пространстве (тексты А. Пстыги, А. Яскульского, О. Косовой, Я. Садовского и В. Мокиенко), 2) креации и реконструкции медийного и маркетингового образа президента России Владимира Путина (тексты Э. Гутовской-Козельской, Ж. Сладкевич, У. Патоцкой-Сигловы и А. Беловодской), а также 3) восприятию русского языка и русской культуры в стране и за рубежом сквозь призму политических событий последних десятилетий (текст С. Золяна).

Так, текст А. Пстыги «Русскоязычные вкрапления в медийных сообщениях польских зарубежных корреспондентов» [Pstyga 2016] посвящен лингвистическому анализу медийных сообщений зарубежных корреспондентов из Польши, которые, находясь в России, представляют, интерпретируют и оценивают происходящие события и обсуждаемые обществом проблемы. Источником экземплификации послужили медийные тексты Вацлава Радзивиновича — зарубежного корреспондента газеты *Gazeta Wyborcza* в Москве. Профессор Пстыга отмечает, что восприятие России в Польше по-прежнему в

wieku" / «Между русофобией и русофилией. Взгляды, мнения и реализации в польской литературе от XIX до XXI века» (19.09.2014, Гданьский университет); международная научная конференция «Образ / имидж как категория теории коммуникации, антропологии культуры и семиотики текста» (26—28.06.2019, Ольштын) и т. д.

[156] Przegląd Rusycystyczny / под ред. Ż. Sładkiewicz. 2016. №4 (156). Index 371866, ISSN 0137-298X. Научный квартальник «Przegląd Rusycystyczny» («Русское обозрение») был основан Польским обществом русистов в 1967 г. В журнале на русском, польском или английском языках печатаются статьи, научные полемики, обзоры и рецензии на работы по современной русистике. *Przegląd Rusycystyczny* входит в научную базу *European Research Index in the Humanities*. Высокий стандарт журнала гарантирует коллектив редакционной коллегии и рецензентов, состоящий из видных специалистов польских и зарубежных научных центров.

значительной степени обусловлено стереотипами, чему подтверждением служат обложки и передовые статьи влиятельных журналов (“Wprost”, 2011, №4; “Polityka”, 2010, №49; 2016, №5 и др.). В креации медиаобраза чрезвычайно важным является подход и идеологическая позиция самого журналиста, определяющие стратегии текстообразования и отбор пишущим языковых средств. В данном случае — на фоне процесса декодирования, двойного кодирования информации либо формулирования мысли на языке определенного *locum* и интерпретации действительности с учетом польского получателя — значительной представляется проблема русскоязычных вкраплений в польских медийных текстах.

В англоязычной статье «Неожиданная романтика. Владимир Путин как воплощение (консервативный вариант) американской мечты» Э. Гутовска-Козельска представляет позицию, которую занимает Владимир Путин как медиарепрезентант России в риторике американских консерваторов [Gutowska-Kozielska 2016]. Способ изображения президента России в консервативных массмедиа существенно отличается от образа, конструируемого в средствах массовой информации основного течения. В медийном республиканском дискурсе лидер крупнейшего в мире государства исполняет роль ключевого идеографа, необходимого для реализации оппозиции МЫ — ОНИ. Примечательно то, что он не олицетворяет там врага, а скорее представляет собой образец правителя, близкого концепции осуществления президентской власти, пропагандируемой республиканцами.

Основным предметом исследования в тексте А. Беловодской «К вопросу о методике анализа медиаобраза (на примере анализа корпуса интернет-мемов, эксплицирующих медиаконцепт “Путин”)» [2016] являются интернет-мемы, рассматриваемые как гипертекст. Статья посвящена описанию механизмов формирования медиаобраза и предлагает методику анализа, основанную на широком понимании этого термина, что подразумевает включение в корпус анализируемого материала не только профессионально созданных, но и спонтанно появившихся в медиапространстве текстов. Основным материалом анализа стали интернет-мемы, получившие в современных исследованиях статус основной структурной единицы медиапространства. При этом корпус интернет-мемов, репрезентирующих медиаобраз президента России Владимира Путина, рассматривается как единый гипертекст, что позволяет не только выделить и описать различные аспекты репрезентируемого медиаобраза, но и понять принципы структурирования соответствующих медиаконцептов, а также выявить их связи с другими фрагментами коллективного когнитивного пространства[157].

В рамках проекта «Механизмы смыслообразования и текстуализации в нарративных и перформативных дискурсах и практиках» нами был осу-

[157] Подробнее обзор тематического номера журнала представлен в статье [Сладкевич 2018б].

ществлен детальный анализ механизмов конструирования медиаобраза России на обложках ведущих польских общественно-политических журналов в контексте категории угрозы.

15.3. *Осторожно — Россия*: конструирование медиаобраза РФ в контексте категории угрозы (интерсемиотический анализ обложек польских общественно-политических журналов)[158]

В креации медиаобраза России в Польше основополагающей становится роль общественного мнения, понимаемого как «своеобразный способ существования и проявления массового сознания, посредством которого выражается духовное или духовно-практическое отношение народного большинства к актуальным для него фактам, событиям, явлениям и процессам действительности» [Богдан 2007: 124—125].

В рамках данного исследования под «медиаобразом России» понимается некое суммарное представление о стране, формируемое польскими средствами массовой информации в результате отражения в журналистских материалах тех или иных ее черт, существенных для жизнедеятельности Польши и ее граждан.

Специфика генерирования текстов в национальных масс-медиа напрямую коррелирует с актуальной конфигурацией коммуникативных детерминант языкового сообщества, а также сложившимися медиашаблонами и читательскими ожиданиями. В этом аспекте целесообразным представляется рассмотрение способов креации медийного образа России в вербально-визуальном комплексе обложек ряда современных польских общественно-политических журналов общегосударственного и регионального масштаба. Нашей задачей является интерсемиотический анализ взаимодействия словесного и иконического кодов при конструировании заданного образа на обложке, с учетом таких категорий, как выдвижение, напряжение, ретроспекция, проспекция, модальность, интертекстуальность и интериконичность. С этой целью нами были рассмотрены обложки следующих общественно-политических журналов: *Polityka*, *Wprost*, *Newsweek* (польская версия американского еженедельника *Newsweek* по лицензии Newsweek Inc.), *Do Rzeczy*, *Uważam Rze*, *wSieci*, *Głos Polonii*, непосредственно отсылающие к денотату «Россия» или «президент Российской Федерации» (общий корпус экземплификации составил 53 обложки за период с 2010 по 2018 г.[159]). Выбор журналов, хоть и не отражает всей палитры польских масс-медиа, неслучаен: во-первых, бóльшая часть указанных изданий является прессой, формирующей общественное мнение, о чем свидетельствуют хотя бы рейтинги продаж, публикуемые на сайте www.

[158] Полный текст исследования представлен в статье [Сладкевич 2019а].

[159] Отметим, что ведущим методом в данном обзоре является качественный, а не количественный анализ. Квантитативный подход представляется целесообразным для более масштабных проектов.

wirtualnemedia.pl[160]; во-вторых, нашей задачей является беспристрастный обзор печатных изданий разного политического направления — от левого до правого крыла, с целью выявления доминирующих смыслообразовательных механизмов конструирования образа России в интерсемиотической перспективе.

Для выполнения поставленных задач рассмотрим особенности современной коммуникативной парадигмы, определяющей параметры креации образов в медиапространстве, после чего опишем словесный и графический ракурс обложек, анонсирующих российскую тему. Смыслообразовательные механизмы современного общественно-политического дискурса определяются рядом тенденций, из которых наиболее существенными представляются следующие: усиление роли фатики в журналистском тексте и иконизация медийной семиосферы.

Ведущими функциями вербально-визуального комплекса обложки общественно-политического журнала (изображение, заголовок, лид, метаграфическое оформление) являются:

— аттрактивная (привлечение внимания адресата) и фатическая (контактоустанавливающая);

— фасцинативная (увлечение, пробуждение заинтересованности читателя);

— информативная (сообщение о резонансном политическом событии или высказывание субъекта власти, то есть анонсирование социально значимой темы);

— интерпретационная / суггестивная (оценочные установки и медиареагирование на реферируемый контент, распространение и укоренение определенного взгляда на событие);

— прогностическая (домысел читателя относительно содержания текста, анонсированного обложкой).

Следовательно, в публицистических медиатекстах, помимо информативной, на первый план выходят персуазивная (речевоздействующая) и регулятивная (формирующая общественное мнение и моделирующая поведение масс) функции. Функциональный-прагматический фактор обусловливает подбор изображений, который в общественно-политических еженедельниках носит не фактуально-документирующий (‘*именно так все и произошло*’), а фасцинативно-персуазивный характер. В этой связи редколлегией журнала используются не только и не столько документальные фотографии с места события, но и аранжированные снимки, карикатуры, коллажи и фотомонтаж.

Медиальная креация образа России в польской прессе во многом обусловлена сложившимися стереотипами, имеющими глубокую историческую подоплеку. Восточный сосед на протяжении длительного времени воспринимался и в свете событий последних лет по-прежнему воспринимается как потенциальный агрессор, угроза для государственной безопасности и территориальной независимости Польши. Вербально-визуальные комплексы номе-

[160] Согласно этим рейтингам, журналы *Polityka*, *Newsweek*, *wSieci* и *Do Rzeczy* в 2017—2018 гг. заняли соответственно со второго по пятое место, уступив лидирующую позицию лишь еженедельнику *Gość Niedzieln*у.

ров, посвященных российской тематике, в определенной степени коррелируют с плакатом Войцеха Коркуцы под заголовком «Осторожно Россия!», появившимся в 2014 г. не только в городском пространстве, но и на передовице *Gazety Polskiej* [Lisiewicz 2014]. Рисунок представляет собой желтый предупредительный знак, на котором изображено лицо Путина и черными буквами написано предостережение "Achtung Russia!", причем две буквы «s» в слове Russia стилизованы под символ нацистских войск СС. И вербальный, и иконический ряд плаката сигнализируют о возможной угрозе со стороны соседнего государства.

В этой связи справедливым представляется наблюдение Е. Артемовой [2002], которая выделила 4 вида пресуппозиций, детерминирующих понимание реципиентом смысла сообщения: экстралингвистическая (знания в области науки, культуры, социальных отношений); политическая (знание политических событий, визуальное опознавание политических субъектов, партий и символики); логическая (представление о естественных отношениях между событиями); лингвистическая (знание особенностей языка, средств, актуальных для порождения, выражения и восприятия имплицитной информации). Заданный ракурс восприятия реципиентом информации обложки журнала обеспечивается коммуникативным фоном, позволяющим интерпретировать входящий концептуальный контент.

Отметим, что в абсолютном большинстве текстов рассмотренных обложек медиарепрезентантом России является ее президент — Владимир Путин. Елена Шейгал [2001] указывает на то, что в политическом дискурсе политик становится знаком, семиотическая сущность которого проявляется в двух аспектах: а) политик как представитель группы, как метонимический знак, ее замещающий (персонализация политических партий и движений), символ определенных политических взглядов; б) политик как актер, исполнитель роли, создающий свой имидж: царь, оракул, строптивец, серый кардинал, тень, деспот, выдвиженец или тиран. Путин как субъект верховной политической власти России олицетворяет собой определенный тип политипического лидера и ассоциируется с жесткой линией ведения внешней политики. Помимо действующего президента, рассмотренные нами обложки отражают стереотипные персонификации, неизменно соотносимые с Россией (медведя и, в меньшей степени, матрешку), других значимых политиков (Медведева, Жириновского, Лаврова), а также символы государственной власти (стены Кремля), милитаризма (военных, оружие), финансово-экономического давления (трубы газопровода). Присмотримся ближе к вербальной и визуальной составляющей конструируемого медиаобраза России.

Словесный ряд

Вербальная структура заголовочного комплекса обложек, соотносимых с денотатом «Россия и ее президент», подчинена разворачиванию доминантных в публицистике метафорических моделей, коннотированных резко отрицательно:

— милитарной: “Wojna polsko-ruska pod flaga biało-czerwoną” (Польско-русская война под бело-красным флагом) [*Wprost*, 2011, № 4], “Krymska wojna Putina. W co gra Rosja? Co grozi Polsce?” (Крымская война Путина. Во что играет Путин? Что угрожает Польше?) [*Polityka*, 2014, № 10], в том числе шпионаж и прослушка: “Raport specjalny Cezarego Gmyza. Oczy i uszy Kremla” (Специальный доклад Цезаря Гмыза. Глаза и уши Кремля) [*Do Rzeczy*, № 23/174, 06—12.06.2016], “Szpiedzy Putina złapani w Polsce! Rosyjscy agenci buszują po naszym kraju” (Путинские шпионы пойманы в Польше! Российские агенты бушуют в нашей стране) [Portal *Niezalezna. pl*, 15.10.2015];

— пенитенциарной (криминальной): “Zbrodniarz bez kary” (Безнаказанный преступник) [*Wprost*, 21—27.07.2014]; “Od tupolewa do boeinga. Seryjny zamachowiec” (От Туполева до Боинга. Серийный убийца) [*Gazeta Polska*, sierpień 2014]; “Lichwa platformersko-kremlowska” (Платформерно-кремлевское ростовщичество) [*wSieci*, 27.04.2015];

— демонической: “Imperium Zła kontratakuje” (Империя Зла контратакует) [*Wprost*, 12—15.10.2015]; “Bestie Putina mordują na Ukrainie” (Звери Путина убивают на Украине) [*Gazeta Polska*, 20.08.2014]; “Długi cień Stalina. Putin i jego koledzy z KGB obudzili demony sowieckiego imperium” (Длинная тень Сталина. Путин и его коллеги из КГБ разбудили демонов Советской империи) [*Newsweek Historia*, 2014, № 10];

— анималистической, причем роль хозяина, дрессировщика в этой модели отводится Путину: “Na smyczy Putina” (На поводке у Путина) [*wSieci*, 30.10.2016]; “Miedźwiedź. Rosja prezydenta Miedwiediewa chce złagodzić swój wizerunek” (Медведь. Россия Медведева хочет смягчить свой имидж) [*Polityka*, 2010, № 49].

Словесный ряд таких комплексов нередко апеллирует к сильным негативным эмоциям человека — страху, ненависти, отвращению. Так, в номере журнала *Newsweek*, посвященном миграции и озаглавленном “Żegnaj Polsko” (Прощай, Польша) одна из верхних рубрик гласит: “Rosjanie w Polsce: Dlaczego nas tak nienawidzicie?” (Русские в Польше: Почему вы нас так ненавидите?) [*Newsweek*, 13/2014]; или “Superszpieg Marian Zacharski: To Rosja powinna się bać” (Супершпион Мариан Захарский: Это Россия должна бояться) [*Do Rzeczy*, 28/2014].

Категория выдвижения

Проект обложки журнала напрямую связан с категорией выдвижения, понимаемой как «способ формальной организации текста, фокусирующий внимание читателя на определенных элементах сообщения и устанавливающий семантически релевантные отношения между элементами данного или чаще разных уровней» [Арнольд 1991: 61]. Резонансная социально-политическая тема выдвигается на первый план, и визуально-вербальная презентация тща-

тельно прорабатывается адресантом. В этой связи один и тот же снимок (сделанный в определенном ракурсе, способный в сопровождении комментария вызывать заданные эмоционально-поведенческие реакции у адресата) может стать одновременно базой для нескольких обложек. На обложке еженедельника *Wprost* (2014) фотография Путина с красной траекторией самолета MH17 отсылает к центральному материалу номера "Putin wypowiedział nam wojnę" [Путин объявил нам войну], посвященному ситуации с катастрофой малазийского «Боинга» над Донецкой областью. Тот же снимок российского президента, холодно смотрящего в сторону, послужил образной основой номера *wSieci* (2016), где заголовок "Na smyczy Putina" (На поводке у Путина) расширен оценочным лидом:

> Dotarliśmy do kilkudziesięciu szyfrogramów dotyczących katastrofy smoleńskiej. Po raz pierwszy możemy zajrzeć za kulisy rozmów na najwyższym szczeblu. To, co ustalali Tusk, Sikorski, Komorowski, Bahr, Klich, Borusewicz z Putinem, Miedwiediewem i Ławrowem, po prostu przeraża (Мы открыли десятки шифрограмм о Смоленской катастрофе. Впервые мы можем заглянуть за кулисы переговоров на самом высоком уровне. То, что согласовывали Туск, Сикорский, Коморовский, Бахр, Клих, Борусевич с Путиным, Медведевым и Лавровым, просто ужасает).

Категория напряженности

Вышеприведенные примеры показывают, что обложка общественно-политического журнала в гипертрофированной форме выражает такое свойство медиатекста, как напряженность [Авросин 1986], что обусловлено необходимостью привлечь реципиента и заинтересовать его содержанием номера. Для этого используются различные стилистические способы создания и сохранения интриги. Напряженность наблюдается в формулировке заголовков, лидов и подборе иконической составляющей. Так, созданная благодаря «сгущению» содержания новостного сообщения, парцелляции конструкции и военной метафоре напряженность в заголовке "Atak na konsulat. Putin prowokuje Polskę. Kolejny etap rosyjskiego planu wymierzonego w nasz kraj" [*Wprost*, 03—09.04.2017] усиливается за счет метаграфического варьирования шрифтов и колористики текста, а также иконической составляющей. Передний план рисунка представляет идущего (на Польшу?) Путина в камуфляжной форме с угрожающим выражением лица, несущего на плече оружие, на котором перечеркнут украинский флаг и нарисован российский; на заднем плане сгущаются тучи. В обложке *Wprost* [2008, №37] напряженность к заголовку "Partnerstwo dla pokoju. Czy Europa jest kolonią Rosji?" вносит иконический элемент, представляющий акт физической агрессии: Путин «по-отечески» наказывает непослушного президента Франции Николя Саркози. В терминологии Гражины Хабрайской и Алексея Авдеева публицист осуществляет аксиологическую персуазию, целью которой является модификация ценностной ориентации и оценочной перспективы адресата [Habrajska 2005: 114].

Темпорально-событийные категории

Для анализа поликодового текста обложки общественно-политического журнала значимыми представляются когнитивные и прагматические смыслообразующие категории ретроспекции и проспекции. В медийном тексте «категория проспекции реализуется через экспликацию для медиапользователя последовательности поступления и анонсирования новых сообщений и указанием на их новизну, а ретроспекции — с экспликацией напоминания о том, что может быть известно аудитории или уже сообщалось по данному новостному поводу» [Дускаева 2014: 180]. Способы выражения категорий проспекции и ретроспекции различны. Ретроспекция в публицистическом издании проявляется за счет ссылок, которые даются на прошлые материалы газеты, а также на опубликованные факты, знания, мнения по данной теме. Ретроспекция в креолизованном тексте обложки может быть представлена через визуальную и вербальную аллюзию на представителей прежнего политического режима, столкновения во фразе глаголов прошедшего и настоящего времени. Так, обложка номера *UwazamRze* (21.03.2014) характеризуется взаимным наложением нескольких отрицательных модусов: заголовок «Владимир Грозный», отсылающий к тяжелому периоду правления Ивана Грозного, сопровождается лидом, вводящим семантику тревоги: «С кем и за что воюет Россия уже сотню лет». Иконический элемент представляет собой аранжированный монохромный снимок президента Путина с добавленным цветным элементом — торчащими из рта золотыми клыками, усиливающими сему опасности и угрозы. В материале, к которому отсылает обложка, речь идет о том, что нынешняя России ничем не отличается от красной советской империи, ее экономика неэффективна, олигархическая элита, качая нефть и газ, сдерживает развитие других отраслей производства, в результате чего Россия будет приговорена к истощению природных ресурсов. На иллюстрации в журнале *Głos Polonii*[161] и словесный, и иконический ряд вводят сопоставление Владимира Путина с Адольфом Гитлером, эксплицируя стремление обоих к установлению мировой гегемонии путем военной агрессии.

В реализации категории темпорально-событийной проспекции принципиальной становится семантика будущего времени, передающая анонсирование событий. В выражении проспекции и прогнозирования важно отметить введение временной компрессии, которая должна усилить чувство тревожности и приблизить ощущение надвигающейся опасности. Этот механизм вписыва-

[161] № 9—10 за 28 ноября 2014 г. (S. 25). Этот и некоторые другие рисунки размещены на страницах выпуска, в значительной степени посвященного России, ее политическим субъектам и проводимой ими политике. На наш взгляд, данные фрагменты представляют собой вербально-визуальные комплексы, иллюстрирующие рассматриваемый нами механизм креации образа России и ее представителей власти в аспекте категории потенциальной угрозы.

ется в рамки глобальной стратегии проксимизации (proximization), суть которой заключается в представлении событий таким образом, чтобы подчеркнуть непосредственное участие и ангажированность в них не только отправителя, но и получателя сообщения. Эффект проксимизации может быть пространственным, временным или аксиологическим [Cap 2008].

В вербально-визуальной структуре текста обложки польских еженедельников Россия выступает как агент угрозы, что эксплицируется в наборе предикатов и темпоральных маркеров: “Szantaż. Rosja grozi atomem” [*Głos Polonii*, № 9—10, 28.11.2014]; “Imperium Zła. Jeśli świat nie powstrzyma Putina teraz, za chwilę może być za późno” (Империя зла. Если мир не сдержит Путина прямо сейчас, через минуту может быть уже поздно); “Żyrinowski grozi Polsce. Los krajów Bałtyckich i Polski jest przesądzony. Zostaną zmiecione. Nic tam nie pozostanie” (Жириновский угрожает Польше. Судьба прибалтийских стран и Польши предрешена. Они будут сметены. Ничего там не останется); “Moskwa rozpocznie wojnę jądrową? Putin: W dwa dni mogę wprowadzić wojska do Warszawy, Wilna i Bukaresztu” (Москва начнет ядерную войну? Путин: В течение двух дней я могу ввести армию в Варшаву, Вильнюс и Бухарест). Иконический компонент усиливает отрицательную модальность текста: несменяемый и агрессивный Путин в смирительной рубашке или брызжущий слюной и покрытый шерстью Жириновский, напоминающий бешеную собаку Путина с ракетой-дубинкой в руке на апокалиптическом фоне Кремля.

Итак, целостность поликодового текста обложки журнала задается коммуникативно-когнитивной установкой адресанта (журналиста, графика, редактора), социально значимой темой, раскрываемой вербальными и визуальными средствами. Средства интегративности текста (связности) обусловлены его креолизованным характером, то есть взаимодействием вербального и иконического компонентов. Если иконическая часть поликодового текста воспринимается в первом порядке и практически симультанно, то соотношение рисунка с текстом не происходит единовременно, а понимание и адекватная перцепция обеих частей наступает только после прочтения вербального ряда. Более того, исследователи подчеркивают важность временного интервала «между квазисимультанным восприятием изобразительной составляющей и линейно-градуальным восприятием вербального текста» [Сонин 2006], отмечая, что именно изображение задает исходную базовую структуру ментальной репрезентации содержания поликодового текста, а вербальная составляющая модулирует запущенные механизмы понимания.

Категория модальности

Между вербальными и иконическими знаками поликодового текста в модальном аспекте выделяются следующие основные типы отношений [Есильбаева 2011]:

1. Модальные ключи вербальных и иконических средств совпадают, «гармонируют» друг с другом: экспрессивный заголовок “Szantaż. Rosja grozi

atomem!" (Шантаж. Россия угрожает атомом!) вводит элемент тревожности и осуждения, что соответствует иконической части, представляющей Путина, с саркастической улыбкой нажимающего на красную кнопку, а на дальнем плане в темной тональности изображен взрыв, горящая земля и клубы черного дыма.

2. Модальные ключи вербальных и иконических средств различаются градуальностью, при этом вербальные средства «смягчают» или делают более «жесткой» оценочность иконического компонента. Так, рисунок в № 34 журнала *Newsweek* за 2017 г. изображает отплясывающих танец представителей польской политической элиты во главе с Ярославом Качиньским, в русских народных костюмах, под нейтральным заголовком *Na Wschód* (На Восток), в котором обращает на себя внимание графодеривация, то есть соединение в одной фразе латиничных и кирилличных (первая и последняя буква) элементов. Отрицательная модальность эксплицитно выражена в лиде: "Kaczyński coraz bardziej naśladuje Putina. Dla Polski może to skończyć się katastrofą — wyjściem z Unii Europejskiej i wpadnięciem w objęcia Rosji" (На Восток. Качиньский все больше подражает Путину. Для Польши это может обернуться катастрофой — выходом из Евросоюза и падением в объятия России).

3. Модальные ключи вербальных и иконических средств контрастируют друг с другом. Так, например, положительная оценочность вербального компонента обложки «перекрывается», опровергается отрицательной оценочностью иконического компонента в центральной статье журнала. Обложка журнала *Polityka* (№ 5 за 2016 г.) с портретом улыбающегося Путина анонсирует аналитическую статью Славомира Сераковского под заглавием с транслитерированной русской лексемой «молодец» и частицей «ну»: "Nu, Kaczyński, maładiec!" Конструкция заголовка напоминает прецедентную фразу «Ну, заяц, погоди!» из известного полякам советского мультфильма, имплицирующую угрозу расправы в недалеком будущем, и перекликается с лидом: "Jarosławowi Kaczyńskiemu, i jego zwolennikom, wydaje się, że uczyni teraz z Polski podmiot polityki europejskiej. Faktycznie jednak jest pionkiem w grze, która może skończyć się nową żelazną kurtyną dzielącą Europę na Zachód i satelitów Rosji" (Ярославу Качиньскому и его сторонникам кажется, что, теперь он сделает Польшу предметом европейской политики. Фактически, однако, он пешка в игре, которая может закончиться новым железным занавесом, разделяющим Европу на Запад и спутников России). Иконический элемент, представляющий собой стереотипного агрессивного русского медведя [Lazari, Riabow & Żakowska, 2013; Sładkiewicz, 2014; 2016] и занимающий значительную часть газетной страницы, вводит выразительную модальность тревоги и осуждения. На обложке 31-го номера журнала *Newsweek* (2018) за Россией в образе исполинского медведя, отдавшего команду «За мной!» (русская фраза записана в транслитерации без перевода, что вводит элемент чуждости), покорно шагают президенты Дональд Трамп и Ярослав Качиньский, согласно заголовочному комплексу, вводящий путинскую модель власти ("Kaczyński wprowadza Putinowski model władzy").

Категории интертекстуальности и интериконичности

Одним из важнейших приемов формирования заголовка и лида на обложке, а также «упаковки» в него содержательно-концептуальной информации является интертекстуальная насыщенность. Визуальный опыт в значительной степени «колонизирован» существующими текстами культуры, которые обусловливают наше пространственно-временное самоопределение, формируют национальную идентичность и контролируют индивидуальную и коллективную память [Ogonowska 2012: 57]. Так, на обложке журнала *wSieci* (23.03.2014) Даниэль Ольбрыхский в роли Анджея Кмитица на фоне московского Кремля. Изображение сопровождает заголовок “Kmicice Kremla w odwrocie», дополненный лидом «Zaskakująca wolta. Olbrychski krytykuje Putina. Czy inni też się przebudzą?” (Кмитицы Кремля. Удивительный поворот. Ольбрыхский критикует Путина. Проснутся ли другие?). Без фоновых знаний польской литературы и кинематографии смысл заголовка не будет понятен.

Важную роль в смыслообразовании играют различные формы не только словесной, но и визуальной интертекстуальности — интериконичности [Maliszewski 2017: 29]. На обложке под заголовком “Imperium zła kontratakuje. Putin wars” (Империя Зла контратакует. Путинские войны) (*Wprost*, 12—15.10.2015) заметна концентрация выразительных знаков-артефактов: на заднем плане видны военные миноносцы и ракеты, на переднем изображен Путин в костюме Дарта Вейдера — центрального персонажа киноэпопеи «Звездные войны», с геральдическим двуглавым орлом на шлеме. Обращает на себя внимание характерная мимика президента, напоминающая звериный оскал. К фильму отсылает и подзаголовок — *Putin wars*. Отметим, что *Gazeta Polska* в 2014 г. более 10 раз размещала фотографии Владимира Путина на своих обложках. Самым резонансным стало изображение лидера России с маской серийного убийцы Ганнибала Лектора — героя романов Томаса Харриса, сопровожденное заголовком «Звери Путина убивают на Украине» [Эволюция Путина 2015]. Обложка 10-го номера журнала *Polityka* за 2014 г. представляет собой модификацию советского плаката 1939 г., что является распространенным приемом креации визуальной составляющей публицистических журналов. Интересным в контексте интериконичности представляется рисунок в польской еженедельной газете *Polska Niepodlegla* (28.07.2014), которая использовала известный портрет Владимира Путина и поместила его на обложку, добавив кровь у рта и густо-красную подпись *Bloodymir*, являющуюся сращением английской лексемы *blood* — ‘кровь’ и имени *Vladimir*. В 2007 г. этот же снимок, сделанный Платоном Антониу, был размещен в британском издании *The Times*, где Путин был назван человеком года.

Выводы

Таким образом, обложку общественно-политического журнала можно определить как символически организованное пространство, в котором интерпретатор имеет дело со знаками различных семиотических систем, и в

этом знаковом пространстве ему приходится оперировать культурными смыслами и конвенциями, заданными в словесной, иконической и метаграфической форме. Изображение оживляет содержание, позволяет наглядно представить абстракцию, может убеждать и служить аргументации, придавая ей драматизм и усиливая ее путем обращения к укоренившимся в культуре образам и общепонятным символам [Kampka 2011: 16], к которым в польском общественном дискурсе можно отнести опасение перед угрозой со стороны восточного соседа.

Проведенный анализ показал, что конструирование вербально-визуального медиаобраза России на обложках польских общественно-политических журналов соответствует сложившимся медиаклише и, главным образом, реализуется в контексте категории угрозы и потенциальной опасности. Особенности медиаобраза РФ в польских публикациях определяются стремлением журналистов выявить потенциально небезопасные векторы проведения внешней политики и возможные последствия для польского гражданина и государства в целом. Медиаобраз России, выявленный в вербально-визуальном комплексе обложек ведущих польских журналов, включает в себя значительное число негативных оценок. Чаще всего они связаны с политическим и социально-этическим аспектом российской политики и ее лидирующего субъекта — президента России. Значительная часть текстов собранного корпуса относится к периоду глобальных политических потрясений и растущего международного напряжения, что отражают обложки рассмотренных журналов, особенно за 2014—2015 гг. Россия (преимущественно в лице ее президента, выстраивающего определенную линию внешней политики) соотносится с образом хищного медведя, террориста или же диктатора и военного агрессора прошлого — Гитлера, Сталина, Ивана Грозного. Исследовательский интерес вызывает конфигурация интерсемиотических средств формирования общественного представления о референтируемом объекте, благодаря которой вербальная экспрессия и семиотика графико-визуальных ресурсов — посредством продуманной реализации категорий выдвижения, ретроспекции и проспекции, создания напряжения, интертекстуальности, соотношения модальных ключей — вызывают ожидаемые мыслительные и поведенческие реакции читателя.

16. МЕХАНИЗМЫ СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИАПРАКТИКАХ (НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ)[162]

С одной стороны, это удар по общественной морали, да и просто по хорошему вкусу, а с другой — уникальный эффект воздействия.
С. Б. Пашутин [2007: 71]

16.1. Особенности современной медиакоммуникации. Реклама как часть медиадискурса

Рассмотрев смыслообразовательный инструментарий, задействованный в креации медиаобразов, которые функционируют в печатном и цифровом медийном пространстве, обратимся к анализу некоторых механизмов конструирования «наружных» медиасообщений, прежде всего — к социальной рекламе.

Рассматриваемый жанр является частью широко понимаемого медиадискурса, вбирающего в себя другие типы дискурсов (политический, рекламный, интернет-дискурс). Его характерными признаками являются: сфокусированность на социально резонансных фактах и открытая социальная оценочность [Солганик 2000], «политико-идеологический модус» информационного контента [Клушина 2008: 36], прагматическая направленность передачи информации, жестко ориентированная на получение адекватного эффекта [Олянич 2004: 59] и вытекающее отсюда «интерстилевое тонирование изложения» [Сметанина 2002: 160—161], обусловленное вариативностью целевого адресата, коммуникативной ситуации и глобальной коммуникативной интенции. По словам А. В. Полонского [2012], «массмедийный дискурс нацелен на “вписывание” текущей многообразной социальной практики человека, творческой динамики актуальной социальной мысли, отражающей особенности когнитивного и коммуникативного опыта человека, его волю и характер притязаний, в тексты культуры». К таким текстам современной культуры, ставшим неотъемлемым элементом жизни каждого человека, можно отнести рекламу, которая, «позиционируя индивида в бесчисленных ситуациях… снабжает информацией о принятых в данном обществе правилах поведения, моральных нормах, образе жизни» [Кромптон 1998: 247]. Традиционные рекламные сюжеты и их герои — красивый ребенок, заботливая ухоженная мама, пожилая супружеская чета — «помещают потребителя рекламы в некую социологическую рамку, позволяя ему непосредственно ориентироваться и опознавать себя как личность, живущую в упорядоченном, кодифицированном, одним словом, нормальном обществе» [Барт 2003: 238].

[162] Полный текст исследования был опубликован в монографии: [Сладкевич 2019].

Реклама вписана в нашу повседневность — в виде билл-, биг- и супербордов, кронштейнов на фонарных столбах и светодиодных экранов на улице; коммуникативных блоков в интервалах радио- и телепередач; потоков спам-сообщений на электронную почту или «всплывающих» окон при просмотре веб-сайтов.

В нарастающем информационном шуме адресат рекламного текста утрачивает концентрацию и «чувствительность» к ее содержанию. Согласно статистике, за последние 30 лет произведено больше информации, чем за предшествующие 5 тысячелетий; к 18 годам каждый ребенок в США просматривает около 140 тыс. телевизионных рекламных роликов; в большинстве развитых стран на одного человека в среднем приходится от одной до двух тысяч рекламных обращений в день [Зуляр 2006: 319]. Неизбежным становится ощущение апатии и усталости от льющейся потоками стандартизированной рекламы, определяемое термином *wear out* [Wolek-Kocur 2013: 66].

16.2. Шок, эпатаж и провокация как аттрактивные сильнодействующие приемы

В целях привлечения внимания аудитории в перенасыщенном информационном пространстве, вызова оживленной и неоднозначной реакции публики рекламисты все чаще прибегают к ломке стереотипов[163] восприятия посредством эпатирующих приемов. Вместо «успокоительной образности» традиционных сюжетов, о которых писал Р. Барт, и положительной эмоциональной ауры реклама все чаще ориентируется на совершенно иные творческие парадигмы, вызывая у целевой аудитории страх, негодование или брезгливость [Шомова 2011]. Комплекс таких «негативных» приемов получил название шоковых. Их применение в последнее время настолько интенсифицировалось[164], так что представляется уместным говорить о культурном шоке[165], то есть конфликте старой и новой культурных парадигм на уровне сознания современного потребителя рекламного продукта.

Шок в рекламе[166] — это сознательное и нарочитое «нарушение табу[167], создание текстов или иллюстраций, вызывающих оторопь или возмущение у

[163] В 1982 г. француз Ж.-М. Дрю (Jean-Marie Dru) разработал технологию создания резонансной рекламы, которую определил как *disruption* (разрыв). Метод основан на ломке стереотипов восприятия и предполагает триединство последовательных этапов: поиск стереотипа — его слом (разрыв) — видение, то есть формирование нового образа бренда [Дрю 1995].

[164] Н. В. Рубцова подчеркивает, что изощренная эпатажная реклама не только гарантированно выделяется среди «пресных» ее образцов, но и способна привлечь внимание общественности в короткий срок при скромном бюджете [Рубцова 2009: 79—81].

[165] Термин ввел в оборот американский антрополог К. Оберг [Oberg 1960].

[166] Англ. *shockvertising* — термин образован путем сложения слов *shock* ‘шок’ и *advertising* ‘реклама’ [Wolek-Kocur 2013: 69].

рядового представителя той или иной культуры» [Шомова 2011]. Любые попытки нарушить табу вызывают острый культурно-когнитивный диссонанс в мироощущении человека. Согласно З. Фрейду, в бессознательном имеется сильная склонность к совершению запрещенного действия — табу способно «раздразнить амбивалентность человека и разбудить в нем искушение преступить запрет» [2004: 58]. При этом отметим, что шоковые приемы из года в год становятся все более изощренными, поскольку искушенный реципиент XXI в. воспринимает некие табуированные в прошлом мотивы (эротика, брутальность и агрессия) как необходимый элемент рекламного креатива. Более того, по наблюдению Конегена [2010], гедонистическая потребительская культура имплицирует «голод» по острым ощущениям: «чем больше общество благоденствует, тем выше у него потребность в эмоциональной встряске. Таким образом внешний, искусственно вызванный шок становится неотъемлемой частью постиндустриальной культуры».

А. Ванова и И. Палагина [2011: 25] указывают, что шок, эпатаж и провокация часто используются в рекламных сообщениях, поскольку в условиях перенасыщенности медиапространства привлекают *непроизвольное внимание* адресата. Согласно мнению исследователей, ощущения воспринимающего шоковую рекламу сродни эмоциональному состоянию при просмотре фильма ужасов — возникает «эффект саспенс» (suspence), то есть чувство тревоги, страха и мучительного ожидания чего-то ужасного; в то время как целенаправленный эпатаж в большей степени использует приемы, характерные для PR, а вызываемые им ощущения сопоставимы с эмоциональной гаммой при просмотре триллера [Ванова, Палагина 2011: 26—29]. Для провокации же, нацеленной на вызов ответной реакции провоцируемого субъекта, в большей степени свойственны инсинуации, намеки, недосказанность и двусмысленность (как в российской радиорекламе КАСКО под лозунгом «*А у тебя большой?»*).

Перлокутивный эффект от эпатажной рекламы обусловлен конфигурацией ряда параметров: неожиданность, сила, новизна раздражителя, движущиеся предметы, контрастность предметов или явлений. Фундаментальной особенностью работы человеческого мозга является склонность структурировать события согласно их эмоциональной насыщенности: «Те события, которые вызвали сильную эмоцию, долго остаются на поверхности “актуального подсознания”, выскакивая в сознание, как чертик из табакерки… Сильные эмоции являются основой для долговременного запоминания» [Ценев 2003: 94].

А. В. Завадская [2013: 58] выделяет следующие виды рекламного эпатажа:

1) визуальный, предполагающий использование нестандартного визуального ряда и нейтрального текста (напр. рекламные кампании марок «Sisley» или «Tinkoff», рис. 10);

[167] Табу — запрет, налагаемый на какое-либо действие, слово, предмет, употребление или упоминание которых неминуемо карается сверхъестественной силой [Ожегов, Шведова 1999: 786].

Рис. 10. Blender. *Концепция мясного магазина*. Турция

Примечание: URL: http://www.b17.ru/article/48863/

2) текстовый, основанный на использовании эпатажного словесного ряда при нейтральном визуальном фоне. Так, реклама батончика «Сникерс» обыгрывает грубо-просторечные выражения и лексемы: *Поцелуй меня в пачку*; *Не тормози, сникерсни!*, как и рекламный слоган сухариков «Хрусteam», восходящий к вульгаризму: *Живи охрустенно!*

3) поведенческий, предполагающий совершение действий, противоречащих общественным нормам. В целях саморекламы его используют многие звезды эстрады, как, например, певица Мадонна, Леди Гага или на российской сцене Жанна Агузарова; можно упомянуть перформансные рекламные акции магазина «Евросеть», когда желающие получить телефон определенной модели должны были прилюдно раздеться догола, или игровую рекламу по защите окружающей среды по слоганом: *Оставляя мусор в лесу, не забудьте хрюкнуть*;

4) комбинированный, использующий сочетаний различных типов эпатажа. В качестве примера комбинированного эпатажа можно назвать провальную интернет-рекламу энергетического напитка *Tiger*, появившуюся в польском Инстаграме в 73-ю годовщину Варшавского восстания. *Dzień pamięci. Chrzanić to, co było. Ważne to, co będzie!* — фоном для этого лозунга послужила рука, демонстрирующая средний палец с повязанным на нем красным бантиком. После разразившегося скандала пост был удален, а через два дня на официальном сайте *Tiger* появилась лаконичная запись с извинением [Skandaliczna „reklama” Tigera 2017].

Эпатаж сегодня часто используется в коммерческой рекламе с целью выделения бренда / продукта / услуги из сотен других. Достаточно упомянуть о

скандальных рекламных кампаниях фирмы *Diesel* или *Calvin Clein*. По «креативности» от западных не отстают и российские рекламисты. Широкую публику шокировали эпатажные «шедевры» сети «Эльдорадо», представляющие пылесос со слоганом *Сосу за копейки*; реклама магазина «Евросеть» под лозунгом: *Евросеть — цены просто о…еть*; скандальные рекламы ЦУМа (2007): *Кто не prada — тот лох*; *Вот я и в школу. Теперь меня интересуют только шмотки, а вы — два старых урода мне больше не нужны*; слоган бренда *Crazy Cola*: *Замочи эту скуку* и т. п.

Не менее репрезентативны эпатажные приемы в социальной рекламе, причем специалисты отмечают более терпимое отношение реципиентов к шокирующим обращениям социального характера, чем к аналогичным по подаче коммерческим рекламам. Такая толерантность связана как с естественной склонностью человека к состраданию и сопереживанию, так и с «человечным» характером самой рекламы.

16.3. Социальная реклама

Высокий статус социальной рекламы определяется ее коммуникативной природой, а именно — широкими возможностями распространения духовно-нравственных, социальных и эстетических ценностей, изменения поведенческой модели общества. Социальная реклама (в западной терминологии — *public service advertising*, *public service announcement*), появившаяся вместе с возникновением государственной политики и политической рекламы [Паршенцева 2009], выполняет ряд важных функций — информативную, идеологическую, коммуникативную, воспитательную, социоинтегративную, имидж-формирующую [Дмитриева 2009: 15—16]. Она не только преследует краткосрочные цели, как привлечение внимания широкой общественности к социально значимой проблеме и активизация действий по их решению, формирование положительного имиджа государственных служб и укрепление социально значимых институтов [Николайшвили 2008: 12], но и рассчитана на пролонгированное действие — создание новой поведенческой модели общества, новых социальных ценностей, а в долгосрочной перспективе — формирование качественно нового общества [Сладкевич 2018а].

Привлечь внимание людей к социальным вопросам, «продать» им проблемы невероятно сложно, поскольку натурально каждый из нас выстраивает психологические блоки против того, что мешает спокойно и комфортно жить. Удержать взгляд адресата на таком сообщении и заставить поверить, что распространяющиеся инфекции, аварии на дорогах, теракты, вымирающие животные должны его живо интересовать, помогают шоковые методы.

Принцип трех «С» в социальной рекламе

Анализируя тексты, посвященные резонансной рекламной коммуникации, можно заключить, что при условии грамотного учета всех коммуникативных переменных (участники коммуникации, каналы, сообщения, знаковые систе-

мы и коды, стратегии и тактики, шумы) формула «трех С» — секс, смерть, смех — обеспечивает успех рекламной кампании. Современная культура переполнена, с одной стороны, эротизмом, экспонированием тела и сексуальностью, а с другой — смертью, агрессией и насилием. Однако их глубинное постижение и серьезное обсуждение все еще табуировано. Вальдемар Кулиговски и Пётр Звежховски, исследуя тексты современности, разграничивают смерть как норму и смерть как скандал: "Śmierć staje się normą, kiedy zamieniona zostaje w spektakl… kiedy dzieje się na niby w umownym środowisku telewizji, wideo, ringów, stadionów, sieci internetowej, gier RPG. Śmierć uznana za część życia prywatnego, wypchnięta została z teatru życia publicznego, stała się małą, wstydliwą, nic nie znaczącą tajemnicą pojedynczego człowieka albo małego kręgu rodzinnego" [Kuligowski, Zwierzchowski 2004: 9].

Как своеобразный индикатор социальных проблем, социальная реклама по преимуществу сосредоточена вокруг двух крупных тематических блоков, восходящих к дихотомическим категориям — Эросу (персонификация жизненной силы и сексуальности, либидо в концепции З. Фрейда) и Танатосу (инстинкт смерти, влечение к агрессии и насилию): «секс» — профилактика ВИЧ-заражений, импотенции, половых расстройств (также как популярный обертон в рекламе всевозможных товаров и услуг); «смерть» — профилактика наркотической, никотиновой и алкогольной зависимости, профилактика абортов, СПИДа, преступности, соблюдение бытовой и дорожно-транспортной безопасности, защита экосистемы, защиты детей и женщин.

Согласно психоанализу, борьба Эроса и Танатоса идет с переменным успехом, но исход ее, предопределенный природой вещей, может быть только один — в итоге побеждает Танатос [Эрос и Танатос в рекламе]. Зачастую два указанных начала в диалектическом единстве присутствуют в эпатажной рекламе, смысл сообщения сводится к предупреждению, о том, что беспечность и слепое следование принципу удовольствия ускоряют продвижение человека в сторону Танатоса.

Отметим, что в социальной рекламе, как правило, сила воздействия строится на сильных отрицательных эмоциях, поскольку главной коммуникативной интенцией является не создание позитивного образа продукта, а пробуждение чувства тревоги, сострадания, рефлексия о превентивных мерах. Шок от просмотра рекламы нередко вызывает именно способ демонстрации идеи сообщения. А. Ванова и И. Палагина указывают, что «натуралистичность (физиологическая откровенность) — один из спусковых механизмов шока, реакция на который близка к ужасу» [2011: 26].

В социальной рекламе телесная любовь обычно вписана в коммуникативную ситуацию угрозы и опасности. Оптимально это положение иллюстрируют рекламные щиты и ролики по профилактике СПИДа [Drzał-Sierocka 2012; Pawlak-Sobczak 2015]. Визуальный ряд большинства таких обращений удручает: одному из партнеров на ногу вешается бирка как покойнику в морге; мужской орган приобретает жало змеи; в ванной сексом занимаются два мужских тела без голов; тело одного из любовников оплетают многочислен-

ные руки — «бывшие» его партнеры (рис. 11); один из партнеров заменяется скорпионом или пауком; любовная сцена разыгрывается в свежевырытой могиле; истощенная СПИДом женщина умирает под капельницей; партнером девушки становится один из вошедших в историю тиранов — Гитлер, Сталин или Хусейн (рис. 12); покрытое белыми простынями ложе молодой пары, которое выносят четверо мужчин, до боли напоминает гроб (рис. 13).

Рис. 11. *Каждый раз, когда ты спишь с кем-нибудь, ты также спишь с его прошлым.* Канада

Рис. 12. *СПИД — массовый убийца.* Германия

Рис. 13. *Защити себя.* Франция

Отметим, что апелляция к страху перед смертью, концептуализация понятий «вред», «угроза», «опасность» воспринимаются разработчиками реклам-

ных сообщений как наиболее эффективное средство воздействия на целевые сегменты: только напугав, эксплицировав ужасающие последствия предосудительных действий, можно добиться необходимых в социальной практике результатов. В то же время некоторые рекламные тексты, избавленные от брутальной физиологии и демонстрации нагого тела, пугают не меньше, благодаря приему недосказанности, позволяющему реципиенту «допрогнозировать» исход показанной сцены. Так, агентство *McCann Erickson* в Индонезии запустило кампанию *Play Safe Tonight* (*За безопасную игру ночью*) в поддержку всемирного дня борьбы со СПИДом. Использование в рекламе пугающих образов всегда производит наибольший эффект. Проекция летального исхода от случайного ВИЧ-инфицирования реализована с помощью смятой простыни: гроба пока нет, но он легко может материализоваться из мятых белых простыней (рис. 14).

Рис. 14. *За безопасную игру ночью.* Индонезия

О. Н. Горбачева [2014] указывает на появление гибридного типа рекламы как нового ее вида, детерминированного экспансией социальной рекламы в каждую область рекламной деятельности, прежде всего коммерческую рекламу. Ставку на такой тип маркетинговых текстов, называемых сегодня «классикой жанра» в области шоковой рекламы, сделала компания *Benetton*, производящая молодежную одежду и получившая широкую известность благодаря знаменитым провокационным обращениям Оливьеро Тоскани. Фотограф использовал шок как художественный прием, позволяющий совместить коммерческую рекламу и острую социальную проблематику (см. подробнее: [Toscani 1997]).

Созданные им образы целующихся представителей католической церкви (священника и монахини); заключенных в камеры смертников; перемазанной нефтью умирающей птицы; рыдающей семьи у кровати умершего от СПИДа Девида Кирби; малолетних детей, работающих на стройке в Азии; перепачканного кровью новорожденного с еще не отрезанной пуповиной; убитого в Боснии солдата в окровавленной одежде — не только затрагивают чувствительные табуированные зоны *sacrum*, секса и смерти, но и отражают реальных людей и действительно имевшие место события. Несмотря на то что рекламные снимки Тоскани сопровождались бурными скандалами и многочисленными судами, все же прибыль компании увеличилась десятикратно.

С(мерть)-элемент определяет образность социальной рекламы по профилактике бытовых и дорожно-транспортных трагедий. Ситуации с превышением скорости, появлением ребенка на дороге без присмотра, отсутствием ремней безопасности, нарушением техники безопасности на производстве или дома — это базовый набор сюжетов, ориентирующих поведение человека относительно ценности обеспечения безопасности себе и окружению. Так, проблема беспечности за рулем приобретает реалистичный облик благодаря натурализму подачи, контрастности ситуации и субъективности изложения в российском ролике от ГИБДД [Данилина 2008].

Главная героиня — молодая девушка, рассказывающая о своем парне в прошедшем времени: *Он всегда говорил: «Я везучий как черт»*. Зрители видят, как парень успевает вбежать в закрывающийся лифт, где его ждет девушка. Затем трогательные картины счастья вдвоем: взявшись за руки, они бегут куда-то, едут в машине. Она улыбается: *Помнишь, как мы любили? Как встретились? Как спешили жить и всегда успевали…* Не сбавляя скорости, парень проезжает на красный свет, и в этот момент происходит столкновение с грузовиком. Машина несколько раз переворачивается. *Тебе повезло: ты умер сразу*, — резюмирует девушка, которая, как теперь видит зритель, сидит в инвалидном кресле.

Менее щадящие шоковые приемы задействованы в ролике от ГИБДД под слоганом: *Пристегнитесь, или пристегнут вас*, который был признан в России самой жесткой социальной рекламой последнего времени [Данилина 2008].

Маленькая девочка прижимает к груди игрушечную собачку. Скрежет тормозов, взрыв и вой сирены. На экране окровавленные тела родителей за разбитым лобовым стеклом. Девочка на заднем сиденье осталась в живых, она закрывает лицо руками. *Пристегнись, или пристегнут вас*, — произносит голос, когда медики закрепляют на носилках кровавые простыни с останками погибших в автокатастрофе.

Использование шокирующих, агрессивных сцен, по мнению некоторых специалистов[168], оправдано коммуникативной сущностью социальной рекла-

[168] Сергей Скороход, руководитель интернет-ресурса Marketing.by: «Социальная реклама должна будоражить сознание и, может быть, даже шокировать, потому что только так можно вызвать ответную эмоцию и заставить людей обратить внимание на ту или иную проблему» [Листопадов 2011].

мы — привлечь внимание к острой социальной проблеме, всколыхнуть сознание целевой аудитории, побудить к социальному действию. Равнодушным адресата не могут оставить следы насилия, оформляющие сферу Танатос: кровь (рис. 15), следы побоев (резонансная польская кампания под лозунгом *Bo zupa była za słona*), поломанные и окровавленные игрушки (британская акция под лозунгом *don't lose control / не теряйте контроль*), разбитые ноги или лица детей, превратившихся в фарфоровые игрушки (*вы можете потерять больше, чем контроль*), обтянутое целлофановым мешком лицо плачущего ребенка (российская реклама против пассивного курения: *Помни!!! Вдыхая сигаретный дым — ты убиваешь себя, выдыхая — других*), неподвижные окровавленные панды, покрывающие палубу корабля (австралийская реклама: *Когда видишь тунца, представляй панду* или сдавленные шеи животных, как в бельгийской рекламе *Пластиковые пакеты убивают* (рис. 16)).

Рис. 15. *Не разговаривай по телефону за рулем*. Индия

Рис. 16. *Пластиковые пакеты убивают.* Бельгия

Мотив «смерти» может присутствовать и в социальной рекламе патетического характера, не вызывая внутреннего шока и отторжения. Так, в 2014 г.

Министерство обороны Республики Беларусь заказало военному информационному агентству «Ваяр» и компании *RGB Production* ролик, озаглавленный «Помощь обязательно придет». В кадре — реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны. События в ролике развиваются в двух временных плоскостях: на помощь офицерам образца 1941 г. спешат бойцы нынешнего состава Вооруженных Сил. Реклама, призванная повысить авторитет службы в Вооруженных Силах страны, основана на идее преемственности поколений защитников: «Память о народном подвиге по-прежнему живет в наших сердцах. Мы хотели показать, что сегодняшний состав Вооруженных Сил — наследники традиций тех бойцов, которые ценой собственной жизни вернули на нашу землю свободу и независимость»[169].

Следует отметить, что шоковый эффект может быть достигнут благодаря креативным техническим решениям, как трехмерные плакаты с выступающими за рамки билборда элементами 3D (рис. 17, в защиту китов), надписи типа *day&night, sun&rain* (щит от дорожной службы Новой Зеландии начинает «кровоточить», когда идет дождь, см. рис. 18), творческое использование объектов городского пространства, элементов интерьера и экстерьера транспортных средств, утилитарных предметов.

Рис. 17. *Отвратительно, не так ли?* Австралия

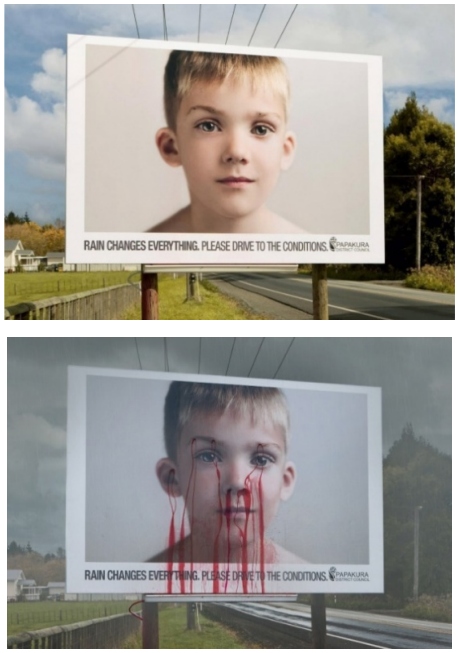

Рис. 18. *Дождь меняет все. Пожалуйста, учитывайте условия*. Новая Зеландия

[169] Социальные рекламы, которые «рвут» Интернет. URL: https://www.sb.by/articles/provereno-deystvuet-168092.html (дата обращения: 01.12.2021).

Одним из лучших образцов наружной социальной рекламы последних лет признана серия работ под слоганом *Это происходит не здесь, но сейчас* (*It's Not Happening Here. But It Is Happening Now*) от *Amnesty International*, разработанная швейцарским агентством *Walker Werbeagentur* (рис. 19—21). Выдернуть людей из иллюзий сытой европейской действительности призваны щиты, размещенные на городских остановках. На щитах фотографии «вписаны» в городской пейзаж, что создает эффект прозрачности и подлинности происходящего. Плакаты сопровождают лаконичные надписи на английском, итальянском, немецком и французском языках. На Каннском фестивале агентство *Walker Werbeagentur* за эту акцию заняло первое место в номинации «Внешняя реклама».

Рис. 19. *Это происходит не здесь, но сейчас*. Швейцария

Третьим элементом, способным эффективно привлечь внимание реципиента, является СМЕХ, который в случае социальной рекламы правильнее определить как черный юмор. Эксплуатация темы смерти в такого типа рекламы вызывает не только испуг, но и улыбку. Так, в Беларуси на трассе Гродно — Минск рядом с ограничением скоростного режима до 150 км / ч можно встретить фигуру «смерти с косой» с надписью *Лихач, жду тебя! Организация похорон «Дом скорби»* (рис. 20). А в ГАИ Гродненщины решили «пошутить» и поставить на пешеходном переходе знак *Пешеход, умирая на пешеходном переходе, гордись: ты был прав!!!*

Рис. 20. *Лихач, жду тебя*. Беларусь

В 2014 г. в Интернете был запущен вирусный ролик под слоганом *Вечная память нетрезвым купальщикам*. Он представлял собой снятый «вживую» сотрудниками МЧС Беларуси материал. Заметив на пляже популярной у жителей Минска реки Цнянки компанию отдыхающих с алкоголем, спасатели не прервали «праздник», а дождались момента, когда основательно «зарядившийся» мужчина полез в воду. Шок и стремительное протрезвление купальщика вызвал похоронный марш, исполненный работниками МЧС в форме, и похоронный венок, преподнесенный вынырнувшим из воды водолазом, в задачи которого входит вылавливание утонувших белорусов.

В социальной рекламе, адресованной молодой аудитории, зачастую используются игровые текстообразующие приемы, рифмовка, шутливая тональность, единицы нижнего стилистического регистра: *Nie bądź sknerą, podziel się nerą*. Под таким слоганом в 2007 г. развернулась социальная кампания, посвященная трансплантологии. Вокруг рекламы начались общественные дискуссии: несмотря на то что языковой инструментарий отбирался с учетом характеристик целевой аудитории, общий посыл все же шокировал утилитарной трактовкой человеческого тела [Szewczyk 2009].

Юмор в эпатажной рекламе может быть буквально черным, то есть основанным на расовых или этнических стереотипах, как в скандальной пермской рекламе 2010 г., спровоцировавшей несколько судебных разбирательств. Провисевший два месяца на фасаде торгово-развлекательного комплекса «Колизей-Синема» баннер компании «Автороллы» со слоганом *Хочешь черного?* представлял темнокожего мужчину, подающего суши из черного риса (рис. 21). Такой же мотив лег в основу образности рекламы резиново-технических деталей для автомобиля, которые, согласно лозунгу, *будут работать как негры* (рис. 22).

Рис. 21. *Хочешь черного?* Россия

Рис. 22. *Они будут работать как негры*. Россия

Искусная разработка эпатажного рекламного образа в смеховом ключе может привести к огромному успеху социальной рекламы, как в случае запущенного в 2010 г. в Интернете антиалкогольного ролика *Адская белочка*. Образ был выбран неслучайно: злоупотребление алкоголем может привести к алкогольному делирию, известному в народе как «белая горячка» или «бе-

лочка». В ролике потрепанная белка пропитым голосом описывает симптомы алкогольного психоза — рассказывает, как они с другом ловили паучков со стен, отстреливали «кудяпликов» и хотели убить жену собутыльника, которая показалась им дьяволом. В конце анимации белка обещает навестить любителей выпивки: *Бухаете? Тогда я иду к вам!* Реклама мгновенно стала резонансной, за неделю число ее просмотров превысило миллион, а неологизм «кудяплики» стал интернет-мемом. В итоге ролик, созданный Министерством здравоохранения и социального развития РФ, стал лучшим вирусным роликом 2010 г. [Макаренков].

Таким образом, социальная реклама может быть действенным инструментом по интеграции и гуманизации общества, способствуя поддержанию единства в социально одобряемых моделях поведения и установках. Эпатажная социальная реклама запоминается легко, вызывая не только внутренний протест и диссонанс из-за вычурной идеи или неэстетичной формы, но и восхищение креативной смелостью ее создателей. Она привлекает внимание, как некая назойливая муха, чей образ лег в основу российской премии для эпатажной рекламы «Позолоченная муха». Конкурсные работы должны соответствовать основным параметрам эпатажности — быть «на грани фола», но при этом отличаться изысканностью, нестандартностью и эффективностью[170]. Следует отметить, что неумелая эксплуатация ценностно значимых табуированных тем в рекламных обращениях способна привести к прямо противоположным результатам, вызвать у аудитории культурный шок и отторжение. Действенной шоковой рекламе, созданной с использованием допустимого в публичной коммуникации смыслообразовательного инструментария, должны быть свойственны контрастность, одноразовость, демонстративность, правильный выбор темы, наличие концептуальной идеи, способность к иносказанию (обрисовка проблемы без экспонирования ее атрибутов) и умение «пройти по тонкому льду» в смыслообмене с целевым адресатом.

[170] В Москве стартовал конкурс эпатажной рекламы «Позолоченная муха». 2004. URL: http://www.dela.ru/news/other/2449/ (дата обращения: 28.10.2021).

17. МЕДИАОБРАЗ САН-ЭСКОБАРА В ПРОСТРАСТВЕ ВЫМЫШЛЕННЫХ МИРОВ[171]

17.1. Понятие контекста в дискурсивных исследованиях

Значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста.

А. Ф. Лосев

Понимание дискурса как «речи, погруженной в жизнь» [Арутюнова 1990], как «текста в неразрывной связи с ситуативным контекстом» [Чернявская 2003: 54] отражает новую глобальную языковедческую перспективу — анализ языковых процессов в их связи с «околоязыковым контекстом» [Bartmiński 2001: 33]. Понятие контекста является ключевым для «контекстоцентричной» лингвистики, прежде всего прагматики, дискурсологии, социальной семиотики. В синтетическом анализе эволюции понятия «контекст» в лингвистике Анна Душак выделяет три этапа: 1) протодискурсивный (грамматический), 2) предискурсивный (текстовый, текстуальный) и 3) собственно дискурсивный, или интердискурсивный [Duszak 2014: 228 и далее (перевод с польского здесь и далее мой. — *Ж. С.*)], отмечая при этом, что такая парадигма обусловлена не столько хронологией (хоть временные рамки имеют значение), сколько дифференциацией на когнитивном, социальном и семиотическом уровнях.

Для первого этапа, представленного прежде всего работами основателя системно-функциональной грамматики Майкла Хэллидея (Halliday 1967; 1978; 1985), контекст трактуется как соседний текст (*co-text*), вербальное окружение анализируемого предложения. В другом значении контекст понимается как нечто внешнее по отношению к языку, то есть ситуация, в которой порождается текст [Halliday 1978: 122].

На втором этапе, текстуальном (этот термин представляется оптимальным, так как коррелирует с понятием процессуальности), отмеченном в 1980-х — начале 1990-х гг. сильным влиянием прагматического и когнитивистического мышления о языке [Searle 1969; Grice 1975; van Dijk 1980], текст функционирует не только как продукт, но и как процесс, вовлеченный в натуральный ход вербализации, текстуализации значений и коммуникативных действий, дающий эффект полифонии всех языковых сообщений — письменных и устных. Контекст же как в прагмалингвистическом, так и дискурсивном исследовательском русле функционирует как понятие, соотносимое скорее с планом пресуппозиции, чем выраженным *explicite* фрагментом текста, является

[171] Полная версия текста представлена в статье [Сладкевич 2019б].

неотъемлемым элементом коммуникации. Контекст представляет собой интерпретационную рамку, структуру знаний, необходимых для определения языкового значения, восприятия высказывания в ситуации его использования или выбора оптимальной коммуникативной стратегии.

Модели дискурса основаны на пространственной визуализации взаимоотношений языка и контекста как взаимосвязанных и одновременно самостоятельных категорий. Это положение наглядно иллюстрирует системно-функциональная грамматика Хэллидея (1978), развитая в трудах Эггинса и Мартина [Eggins, Martin 2001]. Язык и контекст представляют собой соприкасающиеся поля, где меньшее из них символизирует язык. Хэллидей дифференцирует контекст ситуации (*context of situation*) и контекст культуры (*context of culture*), причем первый из них представлен тремя социосемиотическими измерениями: поле (*field*), система социальных ролей (*tenor*) и медиаканал (*mode*). Такая парадигма коррелирует с тремя метафункциями языка — идеационной (*ideational*), межличностной (*interpersonal*) и текстовой (*textual*)[172] (рис. 23).

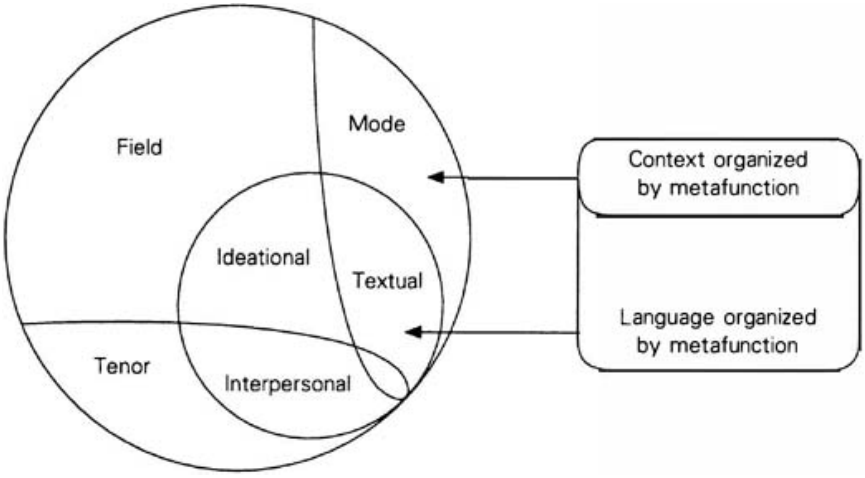

Рис. 23. Соотношение языка и контекста в функционально-систематической модели [Eggins, Martin 2001: 166]

[172] Отправной точкой в коммуникативной грамматике является блок интенций, который определяет намерение вербализовать конкретный контент, то есть когнитивную мотивацию. Этот контент в исходной форме существует в сознании говорящего в виде двухчастного когнитивного представления, состоящего из *идеационного образа*, отражающего конкретный фрагмент реальности (что говорящий хочет сказать), и *прагматического намерения*, которое собирается осуществить говорящий (зачем он это говорит). Формы и способы вербализации идеационного контента с учетом коммуникативного намерения адресанта раскрываются на *текстовом уровне* (см.: [Awdiejew, Habrajska 2004: 28]).

Третий этап, интердискурсивный, представленный взаимосвязанными направлениями системно-функционального дискурс-анализа, социальной семиотики, мультимодального анализа текстов [Martin 1992; Searle 1995; 2010; Iedema 2003; Kress, Leeuwen 2001; Fairclough 2003; Kress 2010; Wang, Liu 2015]. В указанных исследовательских перспективах наступает расширение понятия «контекст» путем включения в него сфер, характеризующихся возрастанием абстрактности и удаленностью от языка, — жанра и идеологии. Уровень жанра коррелирует с понятием сообщества, его ценностей, норм поведения, то есть культурного контекста, а более абстрактный уровень идеологии связан с социальными отношениями власти, предпочтениями и предрассудками, которые участники привносят в общение и которые находят отражение в текстах. Эту парадигму иллюстрирует схема, предложенная Джеймсом Мартином (рис. 24; [см. также: Fairclough 1989: 25]).

Рис. 24. Язык и его семиотическое окружение [Martin 1992: 496]

Выделение уровней контекста более высокого порядка является следствием возрастающей роли *socium* в экспликации коммуникативных явлений. Наряду со знанием культуры усиливается значение контекстно-ориентированных социальных практик, что знаменует собой новое направление мышления и новый исследовательский подход [Duszak 2014: 236]. На рубеже XX—XXI столетий можно отметить некоторое изменение оптики понимания соотношения языка и контекста. В отличие от указанного выше образа языка в контексте (рис. 26), представляющего собой многослойную конструкцию,

стала уже классической трехмерная модель дискурса, рассматриваемого в свете социокультурных практик, предложенная Норманом Фэркло и углубленная его последователями (рис. 25).

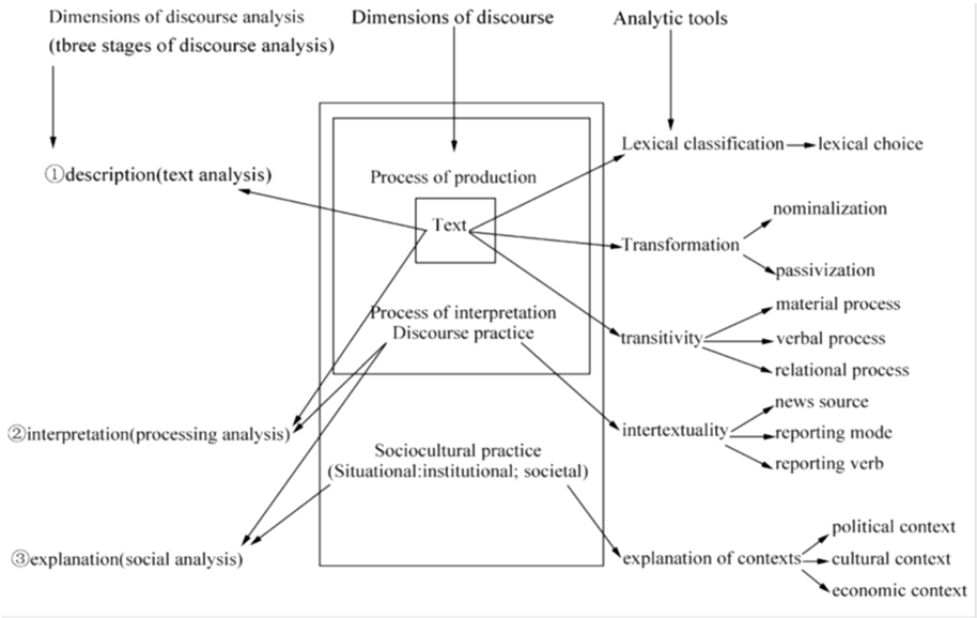

Рис. 25. Проекция, объединяющая трехмерную модель Fairclough и положения системно-функциональной грамматики [Wang, Liu 2015: 3]

Трехмерная парадигма акцентирует необходимость исследования смыслообразования в дискурсе не только в строго лингвистической перспективе, но и с учетом таких параметров, как интердискурсивность, интертекстуальность, транзитивность (степень соотношения между текстом, социальной практикой, иллюстрируемой этим текстом, и его адресатом), а также социальная матрица дискурса, понимаемая как широкий социальный, политический и экономический контекст, в котором происходят и развиваются конкретные коммуникативные события.

В связи с вышеизложенным в современных кодифицированных источниках можно найти разнообразные толкования рассматриваемого термина — от узких, собственно лингвистических дефиниций контекста, как в словарях А. А. Князева, М. А. Можейко или В. Н. Ярцевой[173], до широких, включаю-

[173] Контекст (от лат. contextus — соединение, связь) — фрагмент текста, включающий избранную для анализа единицу, необходимый и достаточный для определения значения этой единицы, являющегося непротиворечивым по отношению к общему смыслу данного текста. Другими словами, это полноценный фрагмент текста, позволяющий понять изначальное значение содержания включенной в этот фрагмент еди-

щих социальную, культурную, историческую среду генерирования текста: «набор характеристик, которые уточняют условия существования данного феномена, подлежащего изучению, то есть локализуют события и процессы в пространстве и времени… набор особых условий, в рамках которых происходят описываемые события или действия» [Зерчанинова 2006]; «окружение единицы, языковая или внеязыковая (экстралингвистическая) среда ее функционирования» [Kiklewicz 2012: 112].

Типологии контекстов также многообразны. Так, А. А. Вербицкий выделяет внешний по отношению к речи контекст (физическое окружение) и внутренний, собственно речевой, а также социальный и субъективно-психологический контексты [Вербицкий 1991: 118][174]. Выделение типов контекста, оптимальных для анализа медиаобраза фиктивного государства, соотносится с двумя классификациями, предложенными польскими учеными. Так, А. К. Киклевич разграничивает пять типов широко понимаемого контекста [2012: 127 и далее]:

1) *культурный*, в том числе идеологический контекст, включающий знания о мире, убеждения, верования и ориентиры;

2) *ситуационный* контекст — конфигурация коммуникативной ситуации (участники, наблюдатели, сцена, атрибуты);

3) *социальный* контекст, то есть межличностные отношения в речевых актах (равенство, дружба, партнерство, подчинение и т. п.);

4) *интенсиональный* контекст, отражающий намерения сокоммуникантов, проецирующий последовательность коммуникативных шагов и их эффекты;

5) *литературный* контекст — сфера интертекстуальных связей.

Йоланта Мацькевич по отношению к анализу медиатекстов контекст понимает в следующих аспектах: 1) общий ситуативный фон, в том числе контекст масс-медиум как его разновидность; 2) культурно-познавательный контекст; 3) непосредственное знаковое окружение сообщения и 4) многоплановые отношения между анализируемым и другими текстами [Maćkiewicz 2016a: 32—33].

Таким образом, можно заключить, что любой текст является продуктом, порожденным определенным контекстом, отвечающим на языковые ожидания партнеров общения и призванным реализовать конкретные коммуникативные задачи. В этом плане появление новых понятий, концептов и образов

ницы [Князев 2002]; квазитекстовый компонент, порождаемый эффектом системности текста как экспрессивно-семантической целостности и состоящий в супераддитивности смысла и значения текста по отношению к смыслу и значению составляющих его языковых единиц [Можейко 2001]. Отметим, что супераддитивность можно трактовать как несводимость свойств и значения текста к сумме свойств его компонентов. См. также: [Ярцева 2002: 473].

[174] В классификации В. Я. Мыркина подвидами коммуникативного контекста являются: 1) лингвистический, 2) паралингвистический, 3) ситуативный, 4) психологический, а также 5) контекст культуры [1978: 97].

является своеобразной коммуникативной реакцией на динамику социального-политического и культурно-языкового контекстов, отражает мироощущение и мировоззрение определенного сообщества на данном историческом срезе.

17.2. Медийный и ситуативный контексты. Мем как базовая единица глобального медиадискурса

Появление Интернета как нового масс-медийного пространства, развитие телекоммуникационной инфраструктуры привели к экспансии экранно-визуальной культуры и иконизации семиосферы [Skudrzyk 2005: 47]. Новые технологии способствуют «сжатию» временной и пространственной дистанции: виртуальное пространство обеспечивает доступ ко всем пользователям независимо от их местонахождения и позволяет передавать информацию практически мгновенно [Słobodzian 2011]. Интернет создает особые возможности естественной коммуникации, фактически не подлежащей контролю. Форумы, блоги, соцсети позволяют спонтанно обмениваться информацией без темпорально-локальных ограничений, что превращает их в мощный инструмент общественной коммуникации, а сам социум уменьшается до размеров «глобальной деревни» с племенным костром — всемирной сетью [McLuhan 2001: 178—179], в которой каждый может стать участником всеобщего диалога, *wreader*-ом (контаминация англ. *writer* и *reader*), то есть активным пользователем цифровых гипермедиа, являющимся одновременно адресатом и адресантом, читающим и пишущим [Szpunar 2010: 256; http://ru.amp.dictionary.education/english/dictionary/wreader].

Именно благодаря такой конфигурации коммуникативных ресурсов стало возможным быстрое и масштабное распространение информации о событии, которое произошло на другом полушарии и попало в фокус нашего исследования.

Исключительный резонанс в польском публичном дискурсе вызвало заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского в интервью, взятом у него репортерами в Нью-Йорке во время Совета Безопасности ООН 10 января 2017 г. Министр упомянул о встрече с дипломатами разных государств, в том числе Сан-Эскобара:

> Mamy okazję do prawie 20 spotkań z różnymi ministrami. Z niektórymi, jak np. na Karaibach po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji. Na przykład z takimi krajami jak San Escobar albo Belize.
>
> У нас есть возможность почти 20 встреч с различными министрами. С некоторыми, как, например, в Карибском бассейне в первый раз, вероятно, в истории нашей дипломатии. К примеру, с такими странами, как Сан-Эскобар или Белиз [http://www.newsweek.pl/polska/san-escobar-z-kim-rozmawial-witold-waszczykowski-wpadka-szefa-msz,artykuly,403328,1.html]

В тот же день в Твиттере и на Фейсбуке появилось несколько коротких постов, заголовочная часть которых включает лексему Сан-Эскобар, а на сле-

дующий день их прочло более двух миллионов человек [http://wyborcza.pl/7,75398,21230101,sam-escobar-jest-jez-wszedzie-o-nowym-sojuszniku-polski-od.html, дата обращения: 09.08.2018]. Иными словами, оговорка (так указанную часть выступления министра несколько часов спустя в Твиттере прокомментировала пресс-секретарь МИД Польши Иоанна Вайда[175]) в считанные часы приобрела дискурсивный характер и черты перформативного акта речи[176]: В. Ващиковский «учредил» новое государство-фантом, а его детали, атрибутику и символику разработали интернавты, профессиональные журналисты и картографы. Такого рода воздействие на мир посредством речевых актов, позволяющее создавать новые состояния дел, можно охарактеризовать словами Джона Серля как «социальную магию» [Searle 1995: 34]. Рассматриваемое высказывание широко комментировалось в Польше и за границей (*The New York Times*, *BBC, The Washington Post*[177]), стало импульсом для масштабного сетевого креатива на тему Сан-Эскобара, превратившегося в гиперпопулярный мем.

В настоящее время интернет-мем, долгое время рассматривавшийся как феномен игрового плана, получил статус «основной структурной единицы современного медиапространства» [Квят 2013], отличающейся лаконичностью и смыслоемкостью (что соответствует клиповому мышлению современной аудитории); мобильностью (способностью легко передаваться от потребителя к потребителю); валентностью (способностью вступать в связи с другими мемами).

В эпоху тотальной «интернетизации» массового коммуникативного пространства мем как его структурная единица соответствует нескольким общим тенденциям. Во-первых, в условиях мгновенного обмена информацией и вытекающего закона экономии речевых ресурсов можно говорить о визуальном повороте, отвечающем стремлению современного общества увеличить информативность через редукцию средств [Химик 2004]. В этом плане реализация мема многомодусна (мем, как правило, разворачивается не только в вербальной перспективе). Во-вторых, коммуникативная природа мема соответствует смеховой карнавальной стихии [Загибалова 2008: 3—21], общему «ду-

[175] И. Вайда объяснила, что речь шла о встрече министра с представителями Федерации Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves) — государства, расположенного в бассейне Карибского моря.

[176] М. В. Ильин расширяет понятие перформатива не только на высказывания, но и на символические действия, отмечая, что в практике перформативы разворачиваются во времени. В этой связи исследователь представляет политические процессы как цепь последующих звеньев: перформативное высказывание — перформативный акт — перформативное событие [Ильин 2016: 267—268]. В анализируемом случае ошибочное высказывание дипломата повлекло за собой сетевую полифонию, то есть серию актов по креации образа фиктивного государства и превратилось в перформативное событие, интенсивно развивавшееся несколько месяцев, все еще актуальное и коммуникативно значимое.

[177] Так, статья Адама Тейлора в *Washington Post* изобилует многочисленными анекдотами на тему призванной к жизни фейковой страны [Taylor 2017].

ху травестирования и пародийного отстранения» [Айзенберг 1997: 214], раскрепощенности и игровому характеру сетевого общения. При этом для понимания интернет-мема необходимо соблюдение следующих условий: наличие общих фоновых знаний у коммуникантов; способность коммуниканта увидеть все культурные знаки, заложенные в интернет-меме; способность выстроить ассоциативные связи, соединяющие репрезентируемый мемом концепт с другими элементами коллективного когнитивного пространства [Беловодская 2016: 123—124].

Благодаря возможностям сетевой коммуникации сообщение о неудаче Ващиковского могло запустить сложные и многоуровневые процессы рецепции и передачи информации. По мере структуризации медиаобраза Эскобара получатель, чтобы стать отправителем, должен был понять сообщение, действующее уже на нескольких уровнях: примарном, представленном высказыванием главы польской дипломатии, и надстроенными над ним уровнями высказываний других участников коммуникационного события [Badyda, Warda-Radys 2017: 96]. Остроумное комментирование оговорки министра стало своего рода забавой, запустившей / активизировавшей креативность интернавтов и эволюционировавшей от разговоров о самом медиаинциденте до комментирования различных областей польской социально-политической, нравственной и культурной действительности. Эта интерактивная игра (спонтанная и стимулированная администраторами веб-сайтов[178]) заключалась в том, что пользователи Интернета заполняли пустое пространство вымышленного Сан-Эскобара различными объектами, которые соответствовали ему и сложившимся стереотипам мышления данного социума.

17.3. Культурно-познавательный и литературный контексты

Культурно-познавательный ракурс можно охарактеризовать как своего рода когнитивное столкновение информации, прозвучавшей из уст отправителя, министра Ващиковского, с внеязыковыми компетенциями аудитории. После саммита ООН шеф польской дипломатии, занимающий лидирующую позицию в общественной иерархии, а соответственно имеющий высокий ранг как адресат в пространстве общественной коммуникации, сообщил об уста-

[178] К примеру, на сайте телеканала TVN 24 http://kontakt24.tvn24.pl/czas-na-nawiazanie-stosunkow-dyplomatycznych-z-szuflandia-internauci-o-wpadce-ministra-waszczykowski,1267,gt (18.08.2018) появилось приглашение к диалогу и совместной креации образа Эскобара: Internauci już dzielą się pomysłami, gdzie może leżeć tajemniczy San Escobar. Jedna z internautek napisała, że to “wspaniałe i piękne miejsce na emeryturę — podobnie do Nibylandii”, inna zaznacza, że “San Escobar może leżeć koło Hogwartu” / Интернавты уже делятся идеями, где может находиться загадочный Сан-Эскобар. Одна из пользовательниц написала, что это «великолепное и прекрасное место для выхода на пенсию — похоже на Нетландию», другая отмечает, что «Сан-Эскобар может лежать вблизи Хогвартса».

новлении реальных дипломатических отношений с несуществующим государством. Отсутствие компетенций в базовой для этого адресанта сфере было отмечено адресатом, внеязыковые компетенции которого позволили констатировать, что Сан-Эскобар не только не является членом ООН, но и вообще не фигурирует на карте мира. Соединение несоединимого [Желтухина 2000: 7], «отклонение от когнитивного и языкового стереотипа» [Панина 1996: 11] не только вызвали закономерный комический эффект, понимаемый как «неожиданность, резко превращающаяся в понимание» [М. Войнаровский, цит. по: Глинка 2018], но и активизировали в воображении реципиентов представление об иных вымышленных мирах.

Сформировавшиеся в мировых культурах образы вымышленных миров можно разделить на несколько групп:

1) Условные «государственные» образования, не признанные официально, как Эсперантуйо — идеальная страна эсперантистов, существующая временно, как правило, в период их конгрессов. Эсперантисты обсуждали также вопрос о своем флаге (белый квадрат с зеленой звездой на зеленом полотнище), о гимне, выпуске почтовых марок и наличии консульств Эсперантуйо в других странах [см. Агеева 1990]. К подобным локусам можно отнести Христианию (страну, находящуюся в Копенгагене и объявившую о своей независимости 26 сентября 1971 г. с населением ок. 850 человек) или княжество Хатт-Ривер в Австралии, основанное фермером Л. Кэсли в 1970 г. в ответ на повышение налога на пшеницу. В государстве появились свои титулы, почтовые марки, валюта. По данным за 2011 г. в нем постоянно проживает около 30 человек, в то время как число обладателей паспортов княжества за его пределами составляет ок. 14 тыс. [http://www.off-the-path. com/en/the-unknown-country-within-australia]. Спустя десятилетие после образования княжества официальные власти Австралии смирились с его существованием и разрешили не платить налоги [см. Бочкарева 2016].

2) Затонувшие или исчезнувшие, но, согласно преданиям и поверьям, существовавшие земли. Зачатком креации локусов в этом направлении было описание Атлантиды в диалогах Платона, развитое позднее в работах последователей. Так, в научно-популярной книге «Атлантиды пяти океанов» [1987] А. М. Кондратов деонимизировавшейся лексемой «атлантида» называет любую не существующую ныне землю: Пацифида — затонувшие острова-«мосты» в Тихом океане; Полинезида, Маорида, Азорида; в книге «Атлантиды ищите на шельфе» [Кондратов 1988] появляются Охотия (суша на дне Охотского моря), Ниппонида (в Японском море; погибшая из-за тектонических процессов), Сунда (затопленный материк в Юго-Восточной Азии) и др. Известны и другие историко-географические гипотезы: Берингия — предполагаемый древний мост в Беринговом проливе между Азией и Северной Америкой; Лемурия — мифический затонувший континент в Индийском океане, название которого связано с именем мадагаскарских приматов лемуров, больше нигде не встречающихся, на чем и основана гипотеза о Мадагаскаре

как части затонувшего ныне континента; Земля Санникова — остров-призрак в Северном Ледовитом океане, который якобы видели некоторые исследователи к северу от Новосибирских островов.

3) К третьей группе следует отнести фигурирующие в легендах и мифах локусы, отражающие представления людей о земном рае, земле обетованной. Они связаны с космогоническими представлениями народов древности, когда страна мыслилась как центр модели космоса. Таковы социально-утопическое воображение об Эдеме (в Средневековье связанном с Азией), Офире — упоминаемой в Библии в «Книге Царств» сказочно богатой стране, из которой мореплаватели, рабы царя Соломона, привезли ему золото для постройки храма, а также великое множество драгоценных камней и сандалового дерева. В России это представления о стране Беловодье (легендарной стране свободы, ассоциирующейся с Ирием — древнеславянским раем, к которому восходит образ молочных рек в русских сказках), в буддийской мифологии — о стране Шамбале, в Античности — о блаженных островах и саде Гесперид с молодильными золотыми яблоками, в древнегреческой мифологии — о Гиперборее (легендарная северная страна, место обитания счастливого народа гипербореев), в мифах индейского племени алгонкинов — о Королевстве Сагеней (страна в Северной Америке, изобилующая золотом, серебром и мехом). Согласно Л. А. Ельницкому, происхождение утопических идей, связанных с географическими представлениями, коренится в культе божеств плодородия, в частности греческого Кроноса и римского Сатурна, почитавшихся царями потустороннего царства блаженных и царями «золотого века» [Ельницкий 1962: 76]. В Средние века создавалось много легенд о диковинных богатых и прекрасных землях, например, стране Пресвитера Иоанна (Джона) или стране Эльдорадо, в которой золото лежит грудами и на поиски которой отправлялись целые экспедиции экспертов[179]. В фольклоре средневековой Европы «у народной Утопии множество имен, она фигурирует под разными образами. Это и английская страна Кокейн, и французская Кокань. Это и Помора и Горная Бразилия, Гора Венеры и Страна Юности. Это и Люберланд и Шларафенланд, Рай бедняка и Леденцовая гора» [Мортон 1956: 18]. К приме-

[179] Отметим, что фиктивные «райские» локусы были стержневым элементом крупных финансовых афер, одной из которых является нашумевшая история Грегора МакГрегора. Уроженец Шотландии, генерал и аферист, в 1920-х гг. объявил себя «касиком» земли Пояис, расположенной вдоль Черной реки в Гондурасе. Нарисованная им картина экзотической, райской новой жизни за рубежом, резко контрастировавшая с дождливым климатом Шотландии и его каменистой почвой, привлекла сотни рискованных людей, пожелавших семьями отправиться на поиски счастья за океаном. МакГрегору за колоссальные по тем временам суммы удалось отправить несколько кораблей к берегам Южной Америки (многие из переселенцев от болезней и лишений погибли), прежде чем его афера раскрылась (подробнее: Страна которой не было. Пояис: самая дерзкая афера в истории. URL: http://thejizn.com/2016/03/29/poyais/; Крупнейшая афера в истории. URL: https://chert-poberi.ru/interestnoe/krupneyshaya-afera-v-istorii.html).

ру, Шларафенланд (нем. *Schlaraffenland* ‘страна ленивых обезьян’) в немецких сказках — страна молочных рек и кисельных берегов, в которой звери бегают и летают жареными, дома сделаны из пряников, вместо камней повсюду лежит сыр. В этой стране не надо трудиться, ведь богатство ее неисчерпаемо, а главной добродетелью ее жителей являются наслаждения и отдых. В Кокани также сказочное изобилие еды и питья, прекрасные природные условия, позволяющие собирать по четыре урожая в год, не прекращаются праздники, а все жители здоровы и молоды. Утопические представления об идеальном, не искаженном цивилизацией мире, проявляются и в современной поп-культуре (напр., планета Пандора в фильме «Аватар» 2009 г.)

4) Тартар, кристаллизировавший представления о загробном мире; страна Зазеркалья, то есть представления о жизни «по ту сторону», в русском фольклоре — тридевятое царство, тридесятое государство, попасть в которое можно, только преодолев море, огненную реку, пропасть, непроходимый лес. Герой сказки направляется туда за похищенной красавицей, чудом, молодильными яблоками или исцеляющей водой [Пропп 1986: 281]. Близок к вышеупомянутым и образ Лукоморья (от *лук моря* — ‘изгиб морского берега’) — заповедного места на краю мира, где стоит мировое древо — ось мира, по которому можно попасть в другие миры, так как его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней.

5) Антиутопические образы стран[180], в которых господствует диктатура, самодурство, отсталость и дикие нравы[181]. Детализированный интернавтами образ Сан-Эскобара наиболее приближен к типу «банановой республики» — страны Латинской Америки, в которой отмечается политическая нестабильность, отсталая инфраструктура, инфляция и т. п. Образ банановой диктатуры является одним из наиболее востребованных в западной поп-культуре, кинематографе, беллетристике. Приведем несколько примеров. Самой известной, пожалуй, является вымышленная испаноговорящая страна Вальверде, схожая с Кубой или Никарагуа, используемая создателями голливудских фильмов, когда по сценарию им требуется показать некое проблемное южно- или центральноамериканское государство. Вальверде фигурирует в ряде известных кинолент: «Коммандо» / “Commando” (1985), «Хищник» / “Predator” (1987), сериале «Суперавианосец» / “Supercarrier” (1988), «Крепкий орешек 2» / “Die Hard 2” (1990) и др.

[180] Описать все богатство литературы не представляется возможным, можно лишь упомянуть великолепные описания Лилипутии и Блефуску в «Путешествии Гулливера» Джонатана Свифта, мира чудес и зазеркалья в «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, земель удивительной страны Оз из серии книг Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», Земноморья из шестикнижия Урсулы Ле Гуин, мира Ведьмака польского писателя Анджея Сапковского или Этории из цикла произведений современного российского фантаста Михаила Костина.

[181] К этой группе примыкают образы стран, олицетворяющих определенные фобии, страхи или наказания за пороки, как, например, Страна невыученных уроков (Л. Гераскиной), Страна дураков (А. Н. Толстого), Страна лжецов (Дж. Родари) и т. п.

Западная социально-антиутопическая проекция отсталых и опасных стран отражена также в вымышленных локусах комиксов *Marvel*, сконцентрированных в Восточной Европе, Азии и Африке. Назовем некоторые из них: Латверия — расположенная между Венгрией, Трансильванией и Сербией зажиточная страна с полумиллионным населением, возглавляемая Виктором фон Думом, диктатором, узурпировавшим престол и не терпящим инакомыслия. Союзница Латверии — обнищавшая Симкария, через которую пролегает наркотрафик между Западом и Восточной Европой. Недалеко от Латверии и Симкарии располагается Заковия, которая после падения СССР погрязла в междоусобицах и коррупции. Ее население страдает от голода, нищеты и болезней, во многих регионах в дефиците даже питьевая вода. Из африканских локусов внимания заслуживает Ваканда, находящаяся рядом с Угандой, Кенией и Эфиопией. Здесь высокие технологии, современные города и небоскребы соседствуют с древними религиями и ветхими руинами. Своим богатством Ваканда обязана залежам вибраниума, редкого и ценного металла внеземного происхождения (см. подробнее: [Ионов 2018]).

Список отсталых псевдодемократических республик, иллюстрирующих «западный» фокус мировидения, можно продолжать. На рубеже XIX—XX вв. английский писатель Энтони Хоуп создал образ Руритании — своего рода отсталой австро-венгерской провинции, в которой происходит действие романа «Узник Зенды». Руритания в англоязычном мире превратилась в нарицательное имя для обозначения типичной косной и застойной центральноевропейской страны. В межвоенный период в бельгийском комиксе о Тинтине появилась Бордурия — вымышленное государство на Балканах с фашистской формой правления. Позднее в поп-культуре возникли Молвания (страна из насмешливой серии путеводителей по фантастическим странам *Jetlag*), Элбония (государство из комикса «Дилберт» Скотта Адамса), Кракожия (вымышленная славяноязычная страна Восточной Европы в фильме «Терминал» (2004) Стивена Спилберга); в компьютерных играх, к примеру, сербоязычная Эдония (Resident Evil 6) и постсоветская республика Чернороссия (ArmA 2), а также масса других запомнившихся фиктивных топонимов.

Как известно, восприятие напрямую зависит от уже имеющихся установок и стереотипов относительно объектов, информацию о которых мы получаем [Коноплева 2013]. Иначе говоря, любая попавшая в фокус внимания новость соотносится с уже имеющимися и хранящимися в памяти знаниями относительно данного объекта или события, со стереотипными представлениями о каком-либо фрагменте действительного или фиктивного мира, чему подтверждением является и образ Сан-Эскобара, постепенно кристаллизировавшийся благодаря творческой активности пользователей Интернета.

В Твиттере и на Фейсбуке появились аккаунты «Демократической республики Сан-Эскобар» [https://facebook. com/sanescobarcountry/; https://twitter. com/sanescobartimes; https://www. wykop. pl/tag/sanescobar/]. На этих профилях можно не только ознакомиться с символикой государства и его картой (рис. 26), которая является важным концептуальным элементом этого поня-

тия. В легенде к карте указано, что она была разработана на основе постов на сайте www.facebook.com/sanescobarcountry и тысяч комментариев, написанных пользователями в период 10—16 января 2017 г.

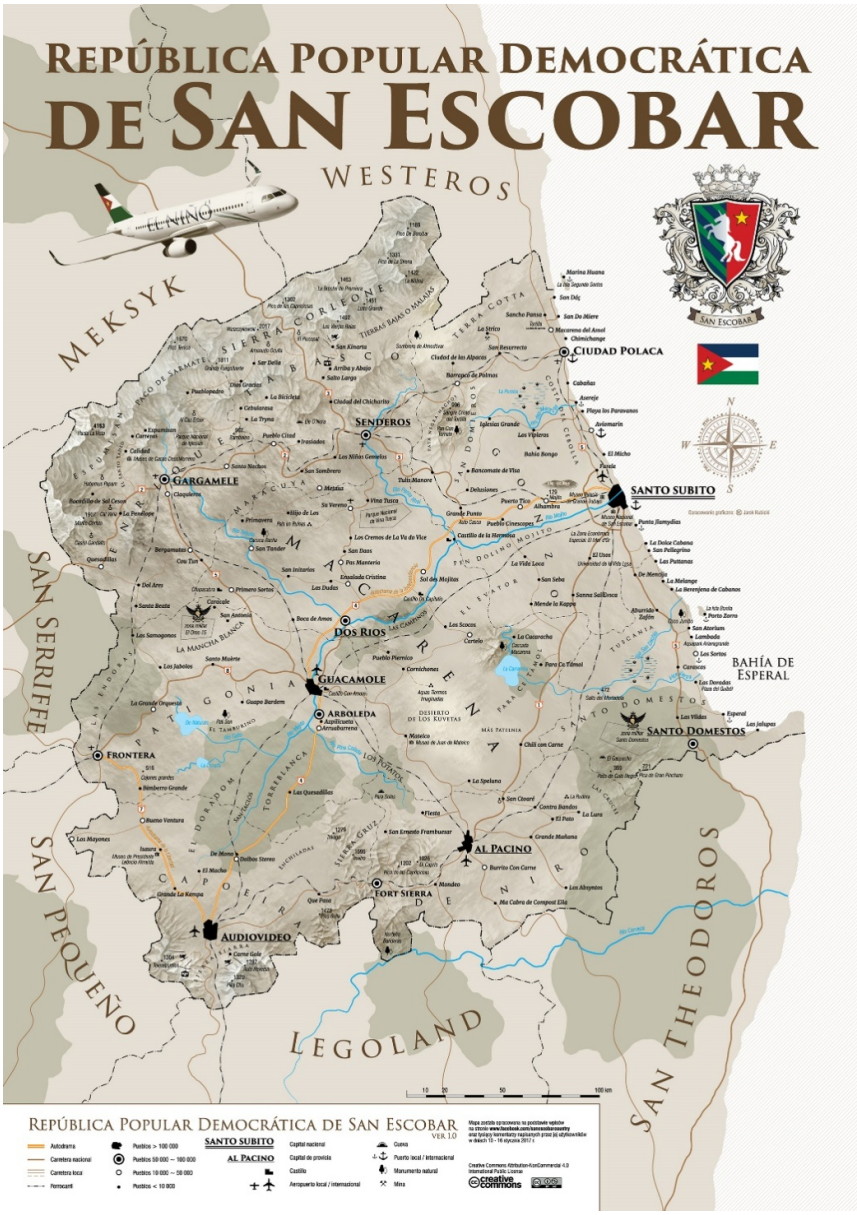

Рис. 26. Географическая карта демократической республики Сан-Эскобар

Примечание: https://www.polityka.pl/multimedia/_resource/res/20122854

Согласно карте, площадь поверхности Сан-Эскобара составляет 92 тыс. км^2, а граничит он с шестью государствами, из которых реальным является лишь Мексика. Указанные по соседству государства отсылают к семиотическому пространству иных фиктивных миров, знакомых польскому интернавту: Вестерос / Westeros — один из континентов вымышленного мира Джорджа Мартина в саге «Песнь Льда и Пламени» и экранизации «Игра престолов» [15 великолепных карт несуществующих миров]; Сан-Теодорос / San Theodoros — фиктивное латиноамериканское государство, известное в Европе благодаря комиксу о приключениях Тинтина бельгийца Жоржа Реми; Сан-Сериффе / San Serriffe — маленькая республика, расположенная в Индийском океане, вымышленная в 1977 г. редакторами британской газеты *The Guardian* в качестве первоапрельского розыгрыша и опубликованная как семистраничное приложение с описанием географии и культуры двух ее главных островов — *Upper Caisse* и *Lower Caisse*. Успех мистификации был колоссальный: телефоны редакции звучали весь день, и лишь немногие заметили, что все данные об острове были названы в честь терминологии принтера [https://sergeytsvetkov.livejournal.com/113825.html], Сан-Пекено / San Pequeño (досл. исп. ‘маленький святой’) — вымышленная страна, родина медсестры Джины Куэвас из американского ситкома «Медсестры» / “Nurses” (1991—1994).

Анализируя визуальную и языковую структуру гипертекста о Сан-Эскобаре, представленного комментариями, карикатурами, демотиваторами, видеороликами, можно узнать, что долгое время страну возглавляла президентская пара — Леонсио и Изаура (герои популярного бразильского сериала 1980-х гг.), а пост министра обороны занимает Хосе Аркадио Моралес, сыгранный Цезари Пазурой в фильме “Kilerów 2-óch”. Столицей новоиспеченной республики является город Санто-Субито, в котором вознесен большой памятник первооткрывателю страны — Витольду Ващиковскому[182]. Страна имеет собственную валюту — «пабло» (аллюзия к образу Пабло Эскобара — колумбийского наркобарона и политического деятеля 1990-х гг.), причем на лицевой стороне банкноты в десять пабло изображен польский политик Ярослав Качиньский. В эскобарской сети книжных магазинов *Los Empicos de San Escobar* хитом является книга, обложка которой представляет собой копию пакета какао *DecoMorrena*[183], а в эскобарской прессе появляется информация, что Польша может заменить французские вертолеты эскобарскими «десперадос», вооруженными ракетами «халапеньо» [Szczerek 2017].

[182] Прообразом послужил памятник Филиппу II в столице Македонии, г. Скопье.

[183] В 2016 г. на одном из интернет-форумов появилась фотография пачки какао этой популярной марки, а к ней вопрос: «…может, кто-нибудь знает больше книг этого автора?» Тема была мгновенно подхвачена пользователями, которые в течение нескольких часов написали ок. 400 отзывов о «книге» и из производителя какао сделали всемирно известного писателя бестселлеров, последним хитом которого является “Najwyższa jakość” / «Высочайшее качество», а в ближайшее время выйдут следующие тома трилогии — “Największa Przyjemność” / «Величайшее удовольствие» и “Najlepszy Smak” / «Наилучший вкус» (см. все отзывы: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/306961/najwyzsza-jakosc).

Таким образом, Сан-Эскобар начал жить «собственной жизнью» и стал очередным функционирующим в поп-культуре вымышленным государством. Интернавты соотнесли Сан-Эскобар с такими фиктивными местами, как Нарния из цикла книг для детей К. С. Льюиса, Средиземье, Гондор и Мордор[184] в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», галактическая империя «Звездных войн», таинственный Хогвартс из цикла книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг, остров Нетландия (Небыляндия, Нетинебудет) из произведения Д. Барри о Питере Пэне и т. п. В мемах интернет-пользователи предлагали министру Вощиковскому в следующей раз отправить дипломатов профессору Дамблдору из Хогвартса, ко льву Аслану из Нарнии или галактическому императору. В значительной степени именно благодаря широкой интертекстуальной матрице кристаллизировалась легенда Сан-Эскобара как фиктивного, но социально и контекстуально значимого топонима.

17.4. Языковой контекст

Министр Вощиковский в своем знаменитом высказывании определил местоположение Сан-Эскобара в бассейне Карибского моря, недалеко от соседствующего с Мексикой Белиза, задав тем самым направление языковой креации и вызвав ассоциации с латиноамериканской культурой и испаноязычной коммуникацией. Представленная на рисунке 28 географическая карта страны, конденсировавшая эффекты сетевого творчества за 10—16 января 2017 г., не только стала материальным «свидетельством» существования Эскобара в конкретном месте на нашей планете, но и стимулом для дальнейшей забавы, развивающей структуру этого понятия. Карта, насчитывающая ок. 300 онимов, «репортажи», наррация «путешественников» в Эскобар и другие материалы позволяют сделать обзор языкового контекста анализируемого образа.

Из информации, размещенной в глобальной сети, можно собрать детали географии Сан-Эскобара, его крупнейших городов и туристических достопримечательностей: *Аль Пачино* — столица района *ДеНиро*, долина *Пан Кон Томате*, река *Бандерас*, пляж *Эсперал*, горы *Хаста-Ла-Виста* и *Сьерра-Корлеоне* или гоночный трек *Тортилла* (рис. 27—29).

Топографическое пространство Эскобара коррелирует с названиями известных латиноамериканских и испанских блюд, продуктов и приправ: *Burito Con Carne, Chilli con Carne, Enchilladas, Cuacamolle, Marakuya, Santo Nachos, Tabasco, Tortilla, Quesadillas*; напитков: *Metaxa, Rio Mojito, Rio Cerveza*; названиями песен: *Asereje, Bamboleo, La Cucaracha, Macarena*; боевых искус-

[184] Данный фиктивный локус весьма продуктивен в публицистике для характеристики российско-украинских политических отношений, например: «Украина давно напоминает мне Шир, родину хоббитов: в ней практически нет государства, зато это теплый, плодородный край, населенный в основном добродушным, прижимистым и здравомыслящим народом. По сравнению с ней Россия, особенно Москва, — конечно, Мордор. Тут и климат жестче, и орки встречаются на каждом шагу» [Бершидский 2013].

ств: *Capoeira*; фамилиями актеров: *Banderas, Bardem*; футболистов: *Chicharito, Arboleda, Azpilicueta, Arrubarrena, Maradona*; певцов и музыкантов: *Carreras, Iglesias* (см.: [Badyda, Warda-Radys 2017: 98—102]).

Рис. 27. Долина Norteño Banderas (исп. ‘северные флаги’) в районе Huevos Divorciados (исп. ‘яичница-глазунья’)

Рис. 28. Аль Пачино — это столица эскобарского района де Ниро

Рис. 29. Пан Кон Томате — живописная долина в районе Пата Негро Начос. Топоним связан с красным цветом гор, напоминающих хлеб с помидорами

Примечание: URL: http://buzz.gazeta.pl/buzz/56,156947,21229575,san-escobar-to-piekny-kraj-nie-wierzycie-jest-tam-nawet-pomnik.html

Значимым представляется факт, что созвучие топонима Сан-Эскобар с фамилией колумбийского наркобарона Пабло Эскобара способствовало сопряжению образа конструируемой страны с американским телесериалом «Нарко» (2015), представляющем жизнь и деятельность Пабло Эскобара, и его визуальной стороной (лицо бразильского актера Вагнера Моура, исполнившего главную роль в фильме, фигурирует во многих мемах о Сан-Эскобаре). Ошибочная трансонимизация усилила цепь ассоциаций, отсылающих к стереотипному мышлению о латиноамериканском мире: наркотрафик, колумбийская (и не только) мафия, отмывание денег и т. п. Об этом свидетельствуют названия эскобарских топонимов: *Cartelo* ‘наркотиковый’, *Marina Huana* 'марихуана’, *Contra Bandos* ‘контрабанда’, *Pico de Vito Corleone* ‘пик Вито Корлеоне’, *Sierro Corleone* ‘горная цепь Вито Корлеоне’ (Дон Вито Корлеоне — главный герой романа Марио Пьюзо «Крестный отец», возглавляю-

щий сицилийскую мафию). Значительная часть мемов, представляющих эскобарскую кухню, досуг, экономику или польских политиков, отсылает к мотиву наркотиков.

Кроме того, появились профили эскобарских политических партий: *Anarquistas de San Escobar, El Partio Verde de San Escobar, El Frente Comunista de San Escobar, Moderno — Partido Liberal de San Escobar* и *Partido Juntos Somos de San Escobar*. Согласно наррации интернавтов, в Польше уже действуют посольство Сан-Эскобар, как и организация Сан-Эскобар-Полония, а в Варшаве на кольце де Голля стоит пальма — подарок властей Сан-Эскобара [Zwierzchowski 2017].

Пеструю языковую структуру гипертекста о Сан-Эскобаре можно рассматривать и как своеобразную мозаику, отражающую элементы современной польской действительности. Наряду с экзотизмами часть эскобарских онимов представляет собой комические трансформации польских лексем — собственных (*Vasch Chico Ski* ‘Ващиковский’; Tuscania Тускания, Земля Дональда Туска) и нарицательных (*San Kinarty* = sanki i narty ‘санки и лыжи’), а также интернационализмов (*Pen Dolino* Mojito ‘Пендолино[185] Мохито’, *El Tamburino* ‘тамбурин’, *Terra Cotta* ‘терракота’, *El Doradom* ‘Эльдорадо’, *Audiovideo* ‘аудиовидео’), лекарственных средств (*Espumisan* ‘эспумизан’, *Para Ce Tamol* ‘парацетамол’).

17.5. Интенсиональный контекст

Интенсиональный контекст связан с состояниями и намерениями партнеров по коммуникации, запрограммированными эффектами инициированных коммуникативных действий [Kiklewicz 2012: 127]. При интерпретации интенсионального контекста существенны положения модальной семантики, в которой значение соотносится не столько с референтом, сколько с модальной рамкой (модально-оценочным модусом), и лингвистической прагматики, ключевым положением которой является интенциональность высказывания: речевой акт понимается как действие по реализации коммуникативного намерения адресанта по отношению к адресату. Проблему значений языковых выражений сквозь призму модальности и истинности финский логик Хинтикка связывает с теорией возможных миров [Hintikka 1992: 158]. В рассматриваемом нами случае сетевой полифонии на тему Сан-Эскобара ее участники условно приняли исходную пропозицию: «Если бы Сан-Эскобар существовал, то…», что позволило не только детально структурировать образа фиктивного топонима, но и включить его в нарративную практику на тему окружающей реальности.

В общей смеховой модальной рамке гипертекста о Сан-Эскобаре можно отметить некоторую эволюцию — от шутливого комментирования неудачно-

[185] Pendolino / Пендолино — торговая марка, объединяющая серию скоростных электропоездов, производимых компанией *Alstom*.

го высказывания главы МИДа Польши до юмористического и сатирического осмеяния некоторых актов польской социально-политической действительности. Поскольку наш корпус текстов составляют респонсивные, комические по своей тональности, поликодовые тексты, в которых значимой является визуальная составляющая, типичных модальных операторов, дискурсивных слов, эксплицирующих модус, в них мы не обнаружим (эпистемических: *знать, считать, полагать, верить, думать, предполагать, хотеть, сомневаться*, и сенсорных: *видеть, слышать, чувствовать*). Ключевой интенцией авторов мемов о Сан-Эскобаре является критика и осмеяния низкой профессиональной и эпистемической компетенции министра Ващиковского, а также других значимых фигурантов политической сцены, деятельность которых, в оценке адресантов, деструктивна.

Значительная часть изображает представителей правящей партии и ее лидера — Ярослава Качиньского. Так, мем в виде анонса сериала “Jarcos” восходит к названию американского сериала “Narcos” / «Нарко». С помощью фотомонтажа лицо актера, исполнившего роль наркобарона Пабло Эскобара, заменено портретом Я. Качиньского и сопровождено подписью: *Based on the true story of El Presidente of República Popular Democrática de San Escobar Jarcos Potarro*[186] *bodaciously portrayed by Antonio Banderas / На основе реальной истории Эль Президента Народно-демократической республики Сан-Эскобар Яркоса Потарро в исполнении Антонио Бандераса.*

Абсолютным лидером по частотности появлений в эскобаровских текстах является сам Витольд Ващиковский, который в 2017 г. стал победителем плебисцита «Серебряные уста», с 1992 г. отличающего общественных деятелей за резонансные высказывания. В мемах он удивляется отсутствию данных об Эскобаре, ведь он уже закупил для них вертолеты; сообщает Я. Качиньскому о том, что обеспечил ему политическое убежище в Сан-Эскобаре; информирует прессу об установлении дипломатических отношений с Эскобаром, после чего займется Средиземьем или же собирается бросить все и уехать в Сан-Эскобар.

Мемы представляют премьеров Беату Шидло и Витольда Ващиковского на фоне заснеженных гор с подписью *Pico de la Idiotismo / Norte San Escobar* (‘Пик идиотизма’); политиков В. Ващиковского, Я. Качиньского, Р. Терлецкого и А. Мацеревича как «индейцев Сан-Эскобара»; удобно рассевшегося на заднем сиденье роскошного автомобиля о. Тадеуша Рыдзыка, влиятельного католического духовного лица, поддерживавшего правящую партию ПиС, как *Padre Hostiá de la Renta / Dictator Más Grande Radio San Escobar* ‘Крупнейший диктатор Радио[187] Сан-Эскобар’. Комически модифицированные антропонимы в мемах отсылают также к другим важным политическим деяте-

[186] Одно из популярных просторечных прозвищ Ярослава Качиньского, производное от фамилии Kaczyński — Kaczor ‘селезень’, по-испански *pato*.

[187] Тадеуш Рыдзык является учредителем и директором влиятельного католического Радио Мария.

лям: *Las Dudas* ‘президент Анджей Дуда’, *Sanna Sal Evska* ‘Анна Залевска, министр образования’, *Grande La Kempa* ‘депутат Беата Кемпа’, *Vina Tusca*, *Tuscania* ‘Дональд Туск, председатель Европейского совета’. Иные топонимы являются аллюзией на дискуссионные политические и экономические темы: *Caracale* (лексема восходит к названию французских вертолетов, выигравших при Д. Туске тендер на закупку для польской армии, однако этот тендер был аннулирован Министерством обороны при новом правительстве), *Los Scocos* (топоним отсылает к названию сберкасс SKOK — *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa*, ряд филиалов которых обанкротился, несмотря на поддержку ПиС).

В ряде креолизованных «эскобаровских» текстов можно увидеть намеки на иные социальные пороки или моральные нормы, как, например, пристрастие к алкогольным напиткам: *Los Jabolos, Los Samogonos, Bimberro Grande*, безнравственность: *Costa del Cebolla*, *Cebularasa* (*cebulak* — пейоративное определение завистливого и скупого человека) или недостойное поведение на пляжах — высмеиваемое в обществе желание отгородить себе побольше места: *Playa Los Paravanos* (подробнее см.: [Badyda, Warda-Radys 2017: 103—104]).

17.6. Социально-маркетинговый контекст

Итак, вымышленный Сан-Эскобар материализовался и получил свое знаковое оформление в поп-культуре и публичной коммуникации. Были спеты песни, посвященные новоиспеченной стране, и поставлены юмористические номера: Паулина Млынарска и Юлия Хмельник в качестве вокалисток эфемерного ансамбля “Chicas de San Escobar” записали хит “Słodki presidente”, группа “Big Cyc” на антенне *Radio Gdańsk* исполнила гимн “Viva San Escobar”. Темой второй серии юмористической программы “Kabaret na żywo”, транслированной в марте 2017 г., были «Олимпийские игры в Сан-Эскобар», в городах Ополе и Свидница появились ресторан и пивная под вывеской *San Escobar*, а в Гданьске и Катовицах даже курсировали трамваи по указанному маршруту.

Предприниматели мгновенно ухватили популярный тренд: уже в январе 2017 г. была заявлена регистрация товарного знака в более чем 10 классах товаров и услуг в текстильной, пищевой, алкогольной, гостиничной, гастрономической и фармацевтической отраслях [Wikariak 2017; Sieńko 2017]; во многих пиццериях в меню вошла одноименная пицца; в сетевых магазинах появился эскобарский ассортимент на любой вкус: майки, футболки, толстовки с принтами на тему Сан-Эскобара, а также чашки, кружки, сумки, носки, часы с эскобарской символикой, на интернет-аукционах типа *Allegro* можно купить продукты (кофе, какао, орехи, сухофрукты) с логотипом Сан-Эскобара, а также плакаты и картины с живописными уголками фиктивной страны. В продаже появились глобусы фирмы *FunnyGifts*, созданные совместно с продюсерами комедийно-политического сериала “Ucho Prezesa” («Ухо пред-

седателя партии»)[188]. На глобусе Польша подсвечивается, что позволяет, по словам производителей, «наслаждаться ее величием даже ночью». Дополнительным бонусом к глобусу являются две наклейки с островом Сан-Эскобар, которые можно разместить на модели земного шара согласно собственным представлениям. Более того, в сети желающие могут разгадывать кроссворды и участвовать в викторине на тему этого государства [Ile wiesz o San Escobar? 2017], а компьютерные игры, как *Realpolitiks*, дают возможность виртуально установить дипломатические отношения с Сан-Эскобаром [Realpolitiks: San Escobar wchodzi do gry 2017].

Подводя итоги, отметим, что благодаря специфической конфигурации современного коммуникативного пространства бурная и многоголосая реакция социума на неудачное высказывание высокопоставленного чиновника не только привела к детальной структуризации образа несуществующего на карте государства, но и позволила ему в определенной форме материализоваться. В аспекте механизмов смыслообразования в нарративных медиапрактиках можно прийти к выводу, что произошла своеобразная реконтекстуализация мысли Михаила Бахтина (1986) о полифонической натуре языка.

[188] *Ucho Prezesa* — польская политическая многосерийная комедия, транслируемая на *YouTube*, *Showmax* и на телевидении WP. Сюжет сериала относится к актуальной политической ситуации в Польше, а большинство сцен разворачивается в варшавском кабинете лидера правящей партии «Право и Справедливость».

18. СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ И ПРАКТИК: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

18.1

Вера Аксакова, дочь Сергея Тимофеевича, реагируя на события Крымской войны, писала своей ближайшей подруге и кузине, Марии Карташевской, в Петербург 28 марта 1855 г.:

> Ты не можешь, конечно, себе представить, мой милый друг, живучи в Петерб<урге>, какая разительная перемена совершилась в продолжение этих двух лет в простом народе… Ум, участие и знание русского народа были заключены до сих пор в тесных пределах их быта, их собственных нужд, но все эти события, эта война, вопросы о защите веры, поднятые ею, до такой степени потрясли его, возбудили его участие, его любознательность, расширили его знания, что мы истинно бываем часто поражены их вопросами, рассуждениями, их знанием подробным и верным всех настоящих обстоятельств; конечно, я могу тебе говорить только об окружных крестьянах, но и в них прежде этого не было. *Крестьяне, которые ездят в Москву, нарочно ходят в иные трактиры, где им читают ведомости, а где есть грамотные, то достают прочитанные газеты и привозят к себе в деревню, где и бабы слушают и все знают* (курсив мой. — *А. Т.*) [Крымская война… 2016: 133].

Этот рядовой текст показателен тем, что на ранних стадиях показывает изменения, сделавшиеся очевидными два десятилетия спустя:

— во-первых, быстро идет формирование новой, публичной сферы — что в рамках славянофильской лексики в начале 1860-х гг. Иван Аксаков зафиксирует как появление «общества», придавая ему новое, отличное от ранее бытовавшего в языке, значения. Если ранее мы видим один ряд связанных словесных форм, через которые легко уловить значение ключевого понятия — «хорошее общество», «светское общество», «свет», «быть в обществе», то теперь значение меняется — новое «общество» не может быть увидено «лицом к лицу», круг лиц, участвующих в публичной коммуникации, неопределен;

— во-вторых, стремительно расширяется круг вовлеченных в обсуждение «общественных» вопросов и тех, кто так или иначе испытывает к ним интерес. Правда, применительно к «народу» (в значении «простонародья») это в большинстве ситуаций не относится — однако именно 1855 год впервые меняет ситуацию. На долгое время этот опыт так и будет оставаться единичным и не получит своего осмысления — вполне закономерно, поскольку в после-

дующие годы ситуация вернется в привычные границы: крестьянский мир в подавляющем своем большинстве окажется вновь за пределами «большой информационной повестки», реагируя лишь на новости, связанные с аграрными реформами и налоговыми обязательствами.

Лишь в ситуации 1876—1878 гг., на новом уровне повторившей предшествующую, сложится новый тип поведения — появится новый тип читателя и новая, большая читающая аудитория — крестьянская и низовая городская (между ними нельзя будет провести четкого разграничения, поскольку большая часть городских фабричных и заводских работников, как и многих служащих в мелких лавках и т. п. будут сезонными работниками, а даже в случае, когда их работа будет становиться постоянной, они на протяжении десятилетий сохранят свои связи с деревней).

Появление первых заметных черт этой новой аудитории в 1855 г. связано с формированием ополчения — если до этого момента, до 1854 г., война воспринималась весьма схоже с предшествующими конфликтами, кто к осени того же года ситуация изменилась.

Следует отметить, что для первой половины XIX в. для Российской империи — как и для Великобритании (и как и для всех европейских стран в XVIII в.) — война была состоянием, не изымающим «из обычного порядка вещей», не противоположным повседневности, а ее частью (за исключением Отечественной войны 1812 г.). Войны велись профессиональными армиями, солдаты набирались через рекрутские наборы — то есть для офицеров и их семей это было именно тем, ради чего офицеры и жили — войне радовались и в том смысле, что она изымала из рутины провинциальной жизни, и в том, что давала шансы на продвижение и карьеру, поднимала достаток — как за счет увеличенного походного содержания, так и за счет ослабления контроля по распоряжению средствами отряда, изымая из-под бдительности казначейства и ревизоров и т. д. Для подавляющего же большинства — тех, кто являлся поставщиком рекрутов, — следить за военными действиями не было интереса, поскольку эти события оказывались не связаны с их жизнью, за исключением разве что возможности усиленного рекрутского набора: попадая в армию, рекрут оказывался практически навсегда изъят из своей семейной среды — и, соответственно, потерян для последней.

Ополчение, созыв которого был объявлен в 1854 г., принципиально меняло ситуацию — ополченцы призывались лишь на время, они были зачастую уже людьми семейными — для крестьян теперь следить за происходящими событиями становилось непосредственно связанным с их интересами (тем более что ходили слухи, что ополченцев затем освободят от крепостной зависимости). Военные действия, дипломатические переговоры, правительственные заявления переплелись с заботами повседневности.

Здесь следует оговориться о двойном значении понятия «повседневности» при характеристике восприятия войны в первой половине XIX в., употребляемом выше. Во-первых, само положение империи в состоянии войны или мира не воспринималось как два прямо противоположных порядка, меняющих реальность (поскольку войны того времени не только были регулярны, но и практически не

прекращались). Напомним, что только с Османской империей Российская империя с 1800 г. была в состоянии войны с 1806 по 1812 и с 1828 по 1829 г., в 1833 г. оказав, напротив, активное военное содействие Порте в ее конфликте с Египетским хедивом; с Персией Россия воевала в этот же период с 1804 по 1813 и с 1826 по 1828 г. Вторая четверть XIX в. для Европы была периодом мира — после длинной черты Наполеоновских войн, из которых Россия принимала участие сначала в войне 1805 г., затем — вместе с Пруссией — в войне 1806—1807 г., завершившейся Тильзитским миром, затем в войне 1812 г., продолжившейся в коалиционной войне 1813—1814 гг.; в войне «ста дней» 1815 г. российская армия принять активное участие не успела, но затем играла большую роль в рамках оккупационного корпуса, размещенного во Франции во время Второй реставрации. Во второй четверти XIX в., как уже говорилось, Европа преимущественно наслаждалась миром, но и здесь российская армия сражалась с армией Царства Польского в ходе мятежа 1830—1831 гг., фактически вылившегося в полноценную войну, а в 1848—1849 гг. играла решающую роль в подавлении Венгерского восстания, придя на помощь правительству Австрийской империи. О среднеазиатских экспедициях, в первую очередь походе Перовского, можно не упоминать подробно — но отметим, что военные столкновения на этих границах империи были регулярны, а для кавказского региона центральным событием на протяжении целого полувека была Кавказская война 1817—1864 гг. Тем самым для офицеров и солдат боевой опыт, участие в военных действиях для этого периода — в отличие от периода 1860—1890-х — было практически универсальным, в свою очередь поступить «вольноопределяющимся» относилось к достаточно обыденным практикам (напомним об опыте Льва Толстого, поступившего добровольцем в Кавказскую армию и собиравшегося подать в отставку в 1853 г., однако в связи с началом Крымской войны отставки были отменены — и таким образом он оказался в Севастополе). Во-вторых, с этим связано и другое значение войны как «повседневности» — в том плане, что военное состояние, за исключением войны 1812 г., практически не меняло ритма жизни тех слоев слоев общества, которые непосредственно не были связаны с войной. Нам сейчас затруднительно это осознавать в силу радикально иного опыта военных противостояний последующего века, но война между державами в некоторых случаях могла даже не исключать сохранения между их подданными торговых отношений. Отражая уже меняющийся опыт, Вера Аксакова в письмах Марии Карташевской высказывает возмущение тем, что в Петербурге война практически незаметна, светские и публичные увеселения идут своим чередом, обсуждаются новые книги, ездят в театр и т. д., и что московское общество также во многом не меняет своих обычных дел, разве что приобретя новые предметы для салонных разговоров и новые темы для благотворительных балов [Крымская война… 2016]. Но и для нее одним из основных предметов внимания в 1854 г. является, с одной стороны, выход в свет первой биографии Гоголя, а с другой — подготовка ее отцом, С. Т. Аксаковым, воспоминаний о Гоголе для П. А. Кулиша, занятого работой над новым, расширенным изданием биографии (см.: [Аксакова 2013: по указателю имен]). Тем самым она демонстрирует разрыв между уже активно складывающимися новыми, позднемодерными представлениями о войне как феномене, затрагивающем все общество, что станет вполне осознанным и реализованным в опыте «тотальной войны» Первой мировой, предполагавшей «тотальную мобилизацию» [см.: Юнгер 2002*;* исторический комментарий: Гузикова 2004], а с другой — на практике воспроизводит иные модели поведения.

За два десятилетия, отделявшие Крымскую войну от начала балканского кризиса (1875), в Российской империи успели произойти кардинальные изменения — сформировалось публичное пространство, сфера общественного мнения [Тесля 2017а], военная реформа 1874 г. создала армию, формирующуюся по призыву, распространение грамотности сформировало массовую печать. В последнем отношении показательны примеры издательских успехов А. С. Суворина и И. Д. Сытина — если первый, создав «Новое время», ориентировался на широкие городские круги (и широкая корреспондентская зарубежная сеть, быстрота доставки новостей с театра военных действий стали источником его успеха в 1877 г., сделавшего «Новое время» самым популярным общенациональным изданием, сохранявшим свои позиции вплоть до начала нового столетия), то Сытин, начинавший свою карьеру коробейником, ориентировался на малограмотную публику, обнаружив в ней в ходе войны 1877—1878 гг. новый рынок для печатных изданий, соответствующих ее восприятию — близких к лубку и аналогичной продукции.

В ситуации войны 1877—1878 гг. в восприятии публики, которое отчетливо передается в публицистике (в первую очередь в военных корреспонденциях В. Немировича-Данченко и затем многочисленных романах, написанных им на те же сюжеты) появляется новый феномен — «воюющего народа». События войны теперь относятся не к солдатам и офицерам, людям особой социальной группы, всем стилем и образом жизни отделенной от остальных, а к самой читающей публике. В этом смысле показателен выбор персонажей одного из самых популярных романов Вас. И. Немировича-Данченко на эти темы, «Плевна и Шипка» [Немирович-Данченко 1902], вышедшего первым изданием в 1881 г.: (1) сестра милосердия, из бедных дворян, ранее театральная драматическая актриса, игравшая и в провинции, и в столицах, (2) офицер, из студентов, ее поклонник — между ними и строится любовная линия романа, (3) московская семья ее друзей — доктор и два его сына, из которых старший уходит вольноопределяющимся рядовым, а доктор поступает добровольцем в военный госпиталь, оставляя младшего учиться, дабы было кому позаботиться о матери в случае смерти отца и сына на войне, (4) старый солдат-вольноопределяющийся, бывший швейцар, из крестьян — уходящий на войну ради исполнения христианского долга. Здесь примечательно и то, что все персонажи, поставленные в центр повествования, оказываются вольноопределяющимися, то есть в современной терминологии — добровольцами, что позволяет автору показать войну глазами своих читателей — обычных людей, тех, с чьим опытом легко себя соотнести[189].

[189] Отметим, что близкий друг Немировича-Данченко, В. В. Верещагин, в своих очерках, посвященных тем же событиям [Верещагин 1898], занимает последовательно иную позицию — как человека знающего, имеющего военный опыт, делящегося и объясняющего военные события и психологию похода, атаки, обороны. Его основными персонажами, соответственно, выступают профессиональные военные — в первую очередь генерал Скобелев — и отчасти сам Немирович-Данченко, как участвующие в тех же событиях в статусе, сходным с художником. То есть Верещагин акцентирует особость, отличие своего опыта от опыта читателя, понимание, ему не-

В позднемодерных условиях возникновения публичной сферы и всеобщей воинской повинности требовалась принципиально другая риторика, чем в предшествующих военных конфликтах — власти надлежало, для успеха общественной мобилизации, сформулировать риторику, позволяющую присоединиться и разделить ее, интроецировать сторонникам самых разных позиций и взглядов. В результате ключевые образы, в которых репрезентируется сначала балканский кризис, а затем война 1877—1878 гг., становятся отражающие / выражающие следующие дихотомии: свобода vs. рабство; цивилизация vs. варварство; гуманность vs. жестокость; Запад vs. Восток; христианство vs. ислам.

На них мы остановимся чуть позже, а пока уделим пристальное внимание сложной судьбе шестой, самой универсальной, дихотомии: мужское vs. женское. Разумеется, в ситуации военного конфликта своя сторона должна ассоциироваться с «мужским» (выступающим в ряду цепи понятий: «активное», «воинственное» и т. п.). Однако реальность предсказуемым образом оказывается гораздо более сложной — не останавливаясь на расхожести представления «Отечества» в женской ипостаси, отметим привычную для XIX в. связь «Отечества» со «Свободой», эта система образов обретает законченность в «Свободе на баррикадах» Эжена Делакруа. Как известно, Делакруа, много раз редактируя центральный образ картины, в итоге не только создает из «Марианны» (то есть репрезентации «Отечества») визуализацию «Свободы», но и, что особенно важно, придает ей пластику античной «Ники», то есть победы — соединяя тем самым «Отечество», «Свободу» и «Победу» в единый образ, что и сообщает последнему такую силу и значимость [Кожина 1969].

Романтический набор образов значим в данном случае постольку, поскольку именно «романтическое» прочтение играло определяющую роль в формировании «ориентализма» 1830—1840-х гг., на протяжении десятилетий затем ставшего готовой системой образов и представлений, к которым обращались, говоря о «Востоке».

«Восток» в смысле ориентализма стал базовой рамкой для репрезентации образов, связанных с балканским кризисом 1876 г. — достаточно напомнить известные работы «Болгарская мученица» М. О. Микешина (1876) и «Болгарских мучениц» К. Е. Маковского (1877)[190]. Здесь «ориентальное» позволяло многое:

(1) изображать полунагую натуру — в иных случаях строго возбранявшуюся вкусами русского общества (напомним, что в собрание П. М. Третьякова не вошла ни одна картина с обнаженной или полуобнаженной натурой);

доступное, — профессиональный взгляд, тогда как Немирович-Данченко принципиально старается выстроить единое пространство опыта с читателями, говоря с позиции непрофессионального военного, добровольца, оказавшегося на войне впервые — и для которого этот опыт так и остается уникальным, нетривиализируемым.

[190] См. специальное рассмотрение визуальных репрезентаций русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в аспекте данной работы: [Тесля 2018].

(2) в политически и общественно приемлемых формах соединять садомазохистские образы — сцены сексуального насилия одновременно предъявлялись и осуждались, причем сами жертвы насилия выступали в эстетически-привлекательном виде;

(3) в случае «Болгарской мученицы» Микешина есть и прямое обращение к христианской иконографии — мученичеству Св. Себастьяна, заменяемого здесь на конвенциональную (в отличие от перверсивного в восприятии многих римского мученика) молодую женщину, христианский иконографический мотив легко увидеть и у Маковского в его изображении предстоящей жертвы насилия — молодой матери с младенцем.

Вообще тема мученичества — и в первую очередь именно сексуального насилия, зачастую с детально и сладострастно описываемыми пытками, иногда лишь в виде отсылки — оказывается ключевой при описании «болгарских страданий». Этот мотив сохранится на долгое время — так, классик болгарской литературы Иван Вазов, участник апрельского восстания 1876 г., много лет проведший в России и в Одессе написавший большую часть своего классического романа «Под игом» [Вазов 1985], начинает последний именно со сцены грозящего изнасилования — причем для усиления эффекта жертвой изнасилования предстоит стать тринадцатилетней дочери мельника, а потенциальными насильниками выступают два турка-башибузука. Отметим, что для Вазова эта тематика совершенно не ключевая — он вводит ее как шаблонный прием, но именно в шаблонности соединяется ориентальная тематика в истолковании Эдварда Саида — «Восток» здесь пространство того, что запрещено на «Западе», дозволенность или возможность таких чувств и действий, которые на «Западе» поставлены под запрет: сексуальное насилие над малолетней, публичность сексуальных действий (на глазах отца), групповой секс. Для Вазова реакция главного героя романа — ведущего себя как конвенциональный «западный» / «европейский» человек — и защищающий жертву, убивающий в порыве безотчетного гнева обоих насильников — демонстрация «европейскости» болгар, точнее — «лучших представителей» болгарского народа, что доказывает право болгар на независимость и т. д. — они оказываются «Европой» по отношению к туркам. Что одновременно вскрывает и соотносительность этих категорий — «Запад» и «Восток», «Европа» и «Турция» определяются по контексту, то, что выступает «Европой», «европейским» по отношению к одному, само оборачивается «Востоком» в сопоставлении с иным. Эти мотивы, в частности, будет обыгрывать Алеко Константинов в своих фельетонах про бая Ганю [Константинов 1979], демонстрируя «ориентальность», «турецкость» болгар — и необходимость для них воспитывать себя, проводить над собой работу цивилизации — а в ситуации 1876 г. оборачиваемость «Востока» станет исходной точкой рассуждений Драгоманова, сопоставляющего «турок внешних» с «турками внутренними», под которыми будет понимать наличный режим Российской империи[191].

[191] Отметим, что в русской литературе 1870-х гг. есть два значимых исключения иной работы с «ориентальным», при воспроизведении самой матрицы ориентализма, где «Восток» оказывается носителем положительного, переосмысляемого по отношению

В противостоянии Османской империи Российская представала, во-первых, носительницей «европейских» начал (вне зависимости от того, как уже каждый из участников дискуссии сам определял положение России по отношению к Европе), то есть снимало внутреннее напряжение и позволяло, в разных интерпретациях, одним соотнести себя с «Европой», устранить разрыв между «русским европейцем» и собственной страной, где значительная часть интеллигенции воспринимала себя в качестве носителей иных, более высоких — и, самое главное, внешних — культурных норм по отношению как к правительству, так и большинству «народа»; другим же — определять себя и Россию как «подлинную Европу» в смысле носительницы христианских ценностей, защитнице народов и т. д. — в противопоставление половинчатой и прагматичной позиции иных европейских держав.

Во-вторых, в этом противостоянии на стороне Российской империи оказывалась вся первая часть дихотомий, тогда как Турции безусловно отводилась вторая (когда, напр., жестокость и сладострастное мучение в свою очередь интерпретировались как «женственность», то есть жертва и насильник совпадали в ключевом, выступая двумя вариантами «женской» части оппозиции «мужскому» как способности контролировать свои чувства и влечения и защищать слабого — при этом насилие над слабым в рамках выстроенной иерархии в свою очередь интерпретировалось «ориентально», как черта слабого и женственного, стремление мучать того, кто слабее тебя — в отличие от мужественного поведения соревнования с равным).

Следует отметить, что один мотив войны почти совершенно не звучит в публичной сфере — хотя имеет значение с точки зрения правительства[192]: это реванш за Крымскую войну 1853—1856 гг. Напротив, этот же мотив воспоминаний о Крымской войне зазвучит позже, в обстановке дипломатического кризиса весны — лета 1878 г., завершившегося Берлинским договором; это обстоятельство связано с тем, что Крымская война воспринималась в русском обществе того времени как противостояние «Европе» (см., напр., характерную первую главу «России и Европы» Данилевского, печатавшуюся в начале 1870-х гг.), в отличие как от предшествующих, так и от текущей русско-турецкой войны.

Данная матрица понятий и выстраиваемых в тесной связи с ними образов оказалась весьма эффективной в аспекте общественной мобилизации, позволяя включение в общее действие самых разных общественных групп. Так,

к «Западному» — это тексты Н. И. Костомарова и К. Н. Леонтьева (причем Костомаров в данном случае опирается на восходящую еще к 1850-м модель восприятия «турецкого» и «восточного», выработанную П. А. Кулишем и, в свою очередь, связанную с «туркофильством» в польской прозе кресов 1830—1840-х гг.).

[192] Показательно, что по итогам войны Российская империя вернет себе Бессарабию, с 1856 по 1878 г. входившую в состав Дунайских княжеств (Румынии), произведя обмен территориями на Добруджу — этот «размен» вызовет большое недовольство в Бухаресте, но для Петербурга принцип восстановления власти над прежними имперскими владениями будет преобладающим.

землеволец Дмитрий Клеменц, один из создателей радикальной партии, отправляясь из Франции в Россию с целью организации побега Н. Г. Чернышевского, по его собственным воспоминаниям, относился к «общественному возбуждению» 1876 г. весьма критично — полагая, что все ограничивается шумихой дозволенных общественных организаций, вроде Славянского комитета, и заявлениями официозных публицистов. Однако путь до Иркутска и обратно (Клеменц быстро обнаружил невозможность организовать задуманный побег) продемонстрировал ему такую глубину общественного интереса и вовлеченность самых разных народных слоев в происходящее, что во второй половине 1876 г. он отправился добровольцем в Сербию, стремясь принять участие в войне [Милевский, Панченко 2017: гл. 3]. Представитель совершенно других, консервативно-либеральных взглядов, Б. Н. Чичерин, достаточно далекий от увлечений панславизмом в предшествующие годы, в 1876 г. оказывается — на недолгое, правда, время сам увлечен происходящим, заявляя в письме к А. В. Станкевичу от 21.VII.1876: «Я на войну смотрю, как на грозу, освежающую воздух» (цит. по: [Китаев 2004: 102])[193].

Таким образом, мы видим, во-первых, что в отличие от предшествующих аналогичных ситуаций значительных военных конфликтов, участником которых выступала Российская империя, балканский кризис 1876 г. и последовавшая за ним Русско-турецкая война 1877—1878 гг. потребовала со стороны властей активной работы с общественным мнением, причем эта потребность так и не была до конца осознана[194].

[193] В скором времени, правда, он изменит свой взгляд — в силу разочарования в южных славянах. Тому же корреспонденту уже 22 ноября 1876 г. он пишет: «Я сначала сам готов был стать горою за так называемое правое дело, но видя, как ведут себя наши братья-славяне, я прихожу к убеждению, что они не стоят того, чтобы из-за них проливать кровь… Во всяком случае глупо проливать кровь из филантропии. Если бы южные славяне были на что-нибудь годны, понимаю, что им можно было бы и следовало бы помочь; но так как из них, очевидно, может быть еще в течение нескольких столетий ничего не выйдет, то совершенно достаточно общим европейским напором помешать, чтобы их не резали» (цит. по: [Китаев 2004: 102—103]).

[194] Последнее обстоятельство заметно по цензурной политике властей — на всем протяжении военных действий, они не препятствовали самым радикальным «патриотическим» высказываниям в печати о целях и задачах войны, вплоть до водружения «креста над Святой Софией». При этом в рамках дипломатической подготовки войны изначально правительством были согласованы с Австро-Венгрией возможные территориальные приобретения и в качестве компенсации, для сохранения баланса сила, оговорено установление протектората Вены над Боснией и Герцеговиной, последующая военная кампания сопровождалась постоянными дипломатическими переговорами стран-участниц «европейского концерта». Тем самым и московская, и петербургская печать создавали у публики самые нереалистичные ожидания о возможных результатах военных действий — в связи с чем и прелиминарный договор с Турцей, заключенный в Сан-Стефано, существенно нарушавший оговоренные ранее с европейскими державами территориальные изменения, был воспринят русской публикой как далеко не соответствующий ее надеждам, а Берлинский мирный договор, сильно

В отличие от предыдущих русско-турецких войн, где цели и оправдание войны обозначались в высочайших манифестах, содержавших общую идеологическую рамку, и имели весьма ограниченный круг и глубину воздействия[195], война 1877—1878 гг. потребовала создания широкой идеологической рамки — в качестве последней оказалась избрана тема «освобождения», далее варьируясь как освобождение «славян», «православных братьев» и т. п.

Во-вторых, эта рамка оказывается базовой для репрезентации всего царствования — от «освобождения крестьян» до «освобождения славян» / «освобождения Балкан», что создает своеобразные логические и риторические последствия:

— с одной стороны, включая саму власть в «освобожденческий» дискурс — дополняя им предшествующую риторику «реформ». Если последняя не предполагала автоматически бесконечной прогрессии[196], то дискурс «освобождения» означал имплементацию либеральной доктрины — с бесконечностью «освобождения», связанного лишь фактическими условиями, поскольку фундаментальным здесь, используя дихотомию Исайи Берлина [Berlin 1969], выступает «негативное понимание свободы» («свобода от»), то достигнуть собственно «свободного состояния» невозможно, свобода оказывается соотносительной — данное состояние более свободно, чем предшествующее, крестьяне свободны в том смысле, что с них сняты ограничения крепостной зависимости, они пользуются правами, которых ранее были лишены, но лишены иных прав или возможностью ими воспользоваться, печать свободна в том смысле, что ограничена теперь в меньшей, чем ранее, степени и т. д. Не-

сокративший приобретения, и вовсе консенсуально был воспринят обществом как «позорный», едва ли не аннулировавший достигнутые военные результаты — и тем самым надолго, едва ли не до наших дней, сообщил войне 1877—1878 гг. репутацию «неудачной» именно в аспекте напрасно понесенных военных жертв и недостаточности приобретений. Не касаясь собственно содержательных оценок войны и достигнутых ею результатов, такого рода общественная реакция — выразителем которой стал Иван Аксаков, выступивший с резкой речью против Берлинского договора и призвавший едва ли не к европейской войне, во всяком случае требовавший не опасаться оказаться в конфронтации со всеми остальными европейскими державами [Тесля 2015] — обусловлена именно тем, что на протяжении войны власти никак не сдерживали «патриотическую» пропаганду, оставляя без внимания последствия «разгорева» общественных настроений. В итоге сама война стала восприниматься как едва ли не «бесплодная», вместо ожидаемого укрепления авторитета власти приведя к его ослаблению, что особенно ярко проявилось в начале народовольческого террора при безразличии или во всяком случае пассивности общества (см.: [Сафронова 2014]).

[195] См. обсуждение вопроса и текст манифеста 1828 г.: [Чаадаев против национализма 2018].

[196] Что, кстати, проявлялось в риторике конституционалистов вплоть до начала XX в. — достаточно напомнить знаменитую формулу «увенчания здания», то есть логику некоего предела, доведения до логического конца, предполагающегося другими мерами, от гласного суда и свободы печати от предварительной цензуры до земского самоуправления.

случайно, следующее царствование начнется с принципиального изменения риторики — на смену «освобождению» и «реформам», как требующим постоянного продвижения на пути изменений в лучшую сторону, в сторону большей свободы, придет риторика «надлежащего», естественного состояния, предполагающего онтологический порядок («естественных мест», в конце концов отсылающих к аристотелевской физике) и тем самым идеальное состояние как состояние покоя / кругового движения [Уортман 2004], что довольно полно будет представлено в задающих ключевые понятия и круг ассоциаций выступлениях К. П. Победоносцева [Полунов 2010; Тесля 2017б][197];

— с другой стороны, это же позволяло оппонентам власти «слева» — разной степени радикализма или умеренности — публично опираться на тот же язык, то есть осуществлять риторически переинтерпретацию властной риторики и, более того, презентировать власть либо как непоследовательную, либо как лицемерную, на практике не исполняющую собственные заявления. Особенно ярким примером этого рода служит известный текст М. П. Драгоманова «Турки внешние и турки внутренние» [1876], где, используя именно многозначность понятия «свободы», он утверждает, что дабы освободить балканских славян от «турок внешних», необходимо прежде освободиться самим от «турок внутренних», достигнув политической свободы.

> Только эта политическая свобода: всенародное, земское представительство, с контролем над действиями исполнительной власти, с неприкосновенной свободой лица, слова, сходок, обществ — и может обеспечить хоть сколько-нибудь согласие деятельности правительства с национальными интересами и общественным мнением, своевременность проявления этой деятельности, не ждущей, чтоб турки вырезали десятки и сотни тысяч братьев наших прежде, чем мы надумаемся помочь им, а также только политическая свобода может хоть сколько-нибудь охранить нашего солдата от тех злоупотреблений и хищничества, которые были причиною неудачи восточной войны 1854—1856 гг. [Драгоманов 1876: 8].

Этот текст весьма примечателен сразу с нескольких точек зрения. Прежде всего в нем используется многозначность понятия «свобода» и «освобождение». «Освобождение славян», «решение славянского вопроса» с правительственной точки зрения понималось как достижение славянами политической независимости, самостоятельного политического существования — или, в компромиссном варианте, наделение православных подданных султана действительными политическими и гражданскими правами (ответом на эту интерпретацию и станет октроирование Абдул-Хамидом II конституции Османской империи в 1876 г.). Здесь уже можно видеть возникающую двойствен-

[197] Благодарю Ф. А. Гайду (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) за соображения по поводу концептуального анализа логики и риторики либерализма, которыми он поделился в частных беседах во время своего пребывания в Калининграде — и на который опирается предшествующее изложение.

ность, на которую опирается Драгоманов в своей риторике: если целью Российской империи является не непременное образование самостоятельных национальных славянских государств на Балканах, а такая цель официально и не ставилась — задачей объявлялась защита православных / славянских подданных султана от угнетения, — то одним из способов такового обеспечения становился конституционный порядок. В отсутствие такового в России это означало, что требование «освобождения» может быть (в том числе и в рамках озвученных российскими дипломатическими представителями вместе со своими коллегами из других великих держав требованиям к Османской империи) понято как утверждение свобод (правовых), обеспеченных конституцией.

Вместе с тем вопрос переносился и в иную плоскость — отсутствие правового порядка, «свобод» и конституционного режима в России означало неэффективность правительственных действий, то есть неспособность достигнуть задачи «освобождения славян». Здесь задействовалась другая логика, подкрепляющая первую, — на сей раз на передний план выступал прагматический аспект, который последующие неудачи в войне и в особенности болезненная реакция русского общества на дипломатические итоги войны, достигнутые на Берлинском конгрессе 1878 г., усилили, в свою очередь укрепив аспект собственно политической свободы — поскольку Российская империя после победы в войне ввела в Болгарском княжестве разработанную ее юристами конституцию («Тырновскую конституцию» 1879 г.). Тем самым вновь — уже собственно правительственные действия утверждают представление о «политической свободе» как не только свободе от внешнего господства, но и внутреннем «свободном» (конституционном, либеральном) устройстве — и тем самым требование от правительства о введении в России конституционного правления означает то, что за благо *de facto* признано самой же верховной властью.

Еще более любопытен иной поворот сюжета: Иван Аксаков, один из основных пропагандистов войны, выступает со схожей логикой — «освобождение» южных славян должно привести к глубоким внутренним переменам в Империи, освободить ее саму (и вывести, как он надеется, на славянофильский путь), а конечная неудача интерпретируется им в 1878—1881 гг. как результат внутренней неготовности — и в силу моральной неготовности Российская империя оказывается неспособна достигнуть своих целей в войне, отстоять в Берлине достижения Сан-Стефано, а плодом моральной «гнилости» власти и общества становится террор [Тесля 2015].

Мы видели, как широка риторическая схема, положенная в основу публичной репрезентации балканского кризиса и последовавшей русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В силу своей универсальности она объединила самые разнородные силы и политические позиции — и именно в силу универсальности не только послужила в дальнейшем основанием для размежеваний через переинтерпретацию каждой из групп основополагающих образов и

понятий, но и сделала власть во многом заложником ставки в качестве ключевого на понятия «свободы» и «освобождения», что побудило ее в дальнейшем, в 1880-х гг., существенно модифицировать основной набор образов, возвращая себе власть над языком самоописания.

18.2

Другой ракурс рассмотрения означенных проблем дает обращение к визуальным репрезентациям Балканской войны, созданным в непосредственной хронологической близости к самим событиям. Живопись в это время сильно влияла на общественное мнение; кроме того, посредством ее можно судить о состоянии последнего. В отличие от XVIII и первой половины XIX в., когда русский живописный рынок почти целиком определялся двором (что, в свою очередь, задавало практически монопольное положение Академии художеств, являвшейся одновременно и центром обучения, и производства, и оценки произведений изящных искусств для основного заказчика), во второй половине XIX в. начинает складываться художественный рынок с быстро растущим числом потребителей и заказчиков, что сказывается на возможности возникновения Товарищества передвижных художественных выставок (1871), учрежденного Академией в противовес последнему Общества выставок художественных произведений (1874), попыток — в некоторых случаях довольно успешных — организации индивидуальных выставок. Художественный мир постепенно коммерциализируется[198] и оказывается тем самым связанным не с узким кругом заказчиков, в первую очередь с Императором, а с достаточно широкой публикой, интересам и вкусам которой необходимо соответствовать или их требуется провоцировать так, чтобы получить возможность заработка[199].

В официальной корреспонденции из действующей армии от 5 мая 1877 г. В. В. Крестовский (печатавшийся в «Правительственном вестнике») извещал:

> Из числа русских художников при действующей армии находятся пока двое: Е. К. Макаров, состоящий непосредственно при Особе Его Высочества, и В. В. Верещагин, составивший себе почетную известность два года назад большою выставкою (*sic!*) своих картин из среднеазиатской русской и туземной жизни [Крестовский 1879: 171—172].

[198] Многие из его представителей будут болезненно переживать этот процесс, см., напр., характерное письмо П. П. Чистякова П. М. Третьякову по поводу цены, назначенной Г. И. Семирадским за полотно «Светочи христианства»: «За то, что человек ловок, смел и талантлив, 40.000 нельзя платить. Нужно ценить честность в деле, умение и выдержку, а таланты бог дает!» [Письма… 1968: 299, письмо от 28.IV.1877, ср. письмо П. М. Третьякова И. Н. Крамскому от 25.VI.1876: Крамской 1953: 145—146]. О сюжете «художник и деньги» в последние десятилетия XIX — начале XX в. см.: [Северюхин 2008: 447—458].

[199] См. о становлении и развитии художественного рынка Петербурга: [Северюхин, 2008]; рассмотрение с этой точки зрения истории ТПХВ: [Шабанов 2015].

В примечании к книжному (существенно расширенному и дополненному) изданию своих корреспонденций, вышедшему в Петербурге в 1879 г., Крестовский писал:

> Впоследствии, а именно в июле месяце 1877 г., приехали еще двое художников, г-да П. Соколов и Буткевич, из коих последний набросал несколько эскизов, ландшафтов, сцен и портретов под Плевной и на Шипке, а из баталистов наших находился в отряде Великого Князя Владимира Александровича г. Коваленский[200]. Но, вообще говоря, художников у нас было очень немного, и об этом нельзя не пожалеть, потому что война 1877—1878 гг. могла бы представить для их деятельности массу прекраснейшего материала, как в пейзаже, так и в бытовом и военном жанре. В. В. Верещагин, вылечившись от раны, полученной при атаке турецкого броненосца на Дунае, возвратился к действующей армии и участвовал в ее предприятиях до самого конца кампании, отличаясь в передовом кавалерийском отряде генерала Струкова не только как художник, но и как волонтер, нередко исполнявший обязанности офицера генерального штаба. Брат его С. В. Верещагин, тоже художник, убит под Плевною 30-го августа, где он добровольно принял на себя обязанности ординарца при генерале Скобелеве 2-м [Крестовский 1879: 172 прим.).

Любопытно, что в этот перечень попали далеко не все русские художники, принимавшие участие в войне, — так, помимо названных, на театре военных действий были Н. Н. Каразин, А. П. Боголюбов, В. Д. Поленов и др. Однако совершенно предсказуемо, что центральную роль при перечислении живописцев В. В. Крестовский отвел В. В. Верещагину. К этому времени последний успел приобрести и всероссийскую, и европейскую известность, в том числе благодаря стратегии саморепрезентации и презентации своих работ, принципиально отличной от принятой в России и во многом новой и для европейского художественного пространства [см.: Василий Верещагин… 2018: 40—51]. И именно вокруг «Балканского цикла» последнего развернется основная полемика в начале 1880-х, выявляющая проблемы живописной репрезентации войны.

Официальная и официозная реакция на произведения «серьезной живописи», посвященной событиям русско-турецкой войны 1877—1878 гг. демонстрирует наличие широкого консенсуса по поводу устарелости, неактуальности расхожих батальных полотен. Если в 1880-е и в последующие годы число последних будет велико — в частности, целый ряд работ будет заказан и в дальнейшем размещен в Военной галерее Зимнего дворца, не говоря о многочисленных заказах отдельных полков или полотнах, предназначенных им в дар, призванных запечатлеть «привычным» образом значимые события военной истории, то последние не будут расцениваться как создание надлежащего визуального образа последней войны. Они отойдут в область «рутины» и работы такого рода не станут экспонатами ни больших коллективных выставок, ни индивидуальных — то есть окажутся в области «художественного ремесла».

[200] Принятое современное написание: П. О. Ковалевский.

Расхождение во взглядах произойдет по поводу того, можно ли «Балканский цикл» Верещагина рассматривать в качестве искомой / приемлемой визуальной репрезентации. Стасов[201], передавая публике свои впечатления от осмотра парижской мастерской художника, работавшего над циклом, в конце статьи утверждал:

> …пусть только Верещагин доведет начатое дело до конца, и нам нечего будет тужить и беспокоиться: та небывалая, несравненная картинная галерея, какой требовала война, будет создана русским искусством, и великие дни великой русской истории 77 года навеки будут занесены на несокрушимые скрижали [Стасов 1937а: 320).

Напротив, цесаревич Александр Александрович писал художнику А. П. Боголюбову 21 декабря 1879 г. в Париж:

> Сегодня я получил… каталог картинам Верещагина… Читая каталог картинам Верещагина, а в особенности тексты к ним, я не могу скрыть, что было противно читать всегдашние его тенденциозности, противные национальному самолюбию… Жаль, что *это будут единственные картины в воспоминание славной войны 1877—78 гг., и это все, что мы оставим нашему потомству* (курсив мой. — *А. Т.*) [Письма императора 1900: 12—13].

В этом письме примечательно сразу несколько обстоятельств: во-первых, произведения Верещагина (несмотря на то что в это время был заказан целому ряду художников ряд полотен и официальные полотна на соответствующие сюжеты будут активно создаваться на протяжении 1880-х) рассматриваются как «единственные картины». Иначе говоря, только они относятся к значимым произведениям искусства. Во-вторых, адресатом письма является А. П. Боголюбов, не только художник, весьма близкий к императорской фамилии, выполнявший своего рода роль русского «агента» в художественном мире Франции, но одновременно и один из живописцев, принявших участие в войне 1877—1878 гг., создавший серию рисунков, которые в конце 1870-х были фототипическим способом изданы в Петербурге [Эпизоды войны...]. Если работы Боголюбова, как можно предположить, не рассматривались в качестве «картин в воспоминание славной войны» в том числе и по сюжетной ограниченности (они были посвящены исключительно морякам; понятно, что роль флота в минувшей войне была весьма невелика), то гораздо более значимо, что цесаревич не воспринимал ни на тот момент, ни в перспективе в качестве значимого и творчество на соответствующие сюжеты В. Д. Поленова, который состоял при Рущукском отряде под командованием Александра Александровича.

[201] Об отношениях Стасова и Верещагина и об оценках критиком работ художника в исторической динамике см.: [Каренин 1927: 528—539].

Трудности, с которыми встретились живописцы при работе над сюжетами русско-турецкой войны при попытке выйти за пределы официозной баталистики, характеризуют Передвижные художественные выставки 1878 г. и ближайших последующих годов. Прежде всего следует отметить малочисленность полотен на сюжеты, так или иначе связанные с войной. И. Н. Крамской писал И. Е. Репину 26 марта 1878 о VI выставке, открывшейся в начале марта того года, отмечая «три вещи, в равной степени интересные и достойные. Клодта “Прощание перед отъездом”[202]. Офицер уезжает, должно быть, в Болгарию, и сидит на диване с матерью. Очень мило. Маковского “С ангелом!”… Васнецова “Чтение телеграммы”[203] очень типично и жизненно. Мне эта картинка очень нравится, но зато все остальное, боже мой!!! Нет, нехорошо, этак он никогда ничего не продаст, будет вечно бегать и нюхать: нет ли где деревяшки?[204]» [Крамской 2014: 275—276). Из 103 произведений, выставленных в 1878 г. (см. каталог выставки: [Товарищество… 1987: 150—157]), таким образом, к сюжетам только что минувшей войны и связанным с ними относились только две картины, причем обе трактовали бытовые сюжеты, отражение войны на мирной жизни — взламывающей последнюю или приносящей тревогу.

Еще более любопытно, что на VI и VII выставках представлял свои работы В. Д. Поленов, ставший членом ТПХВ 27 мая 1878 г. Вернувшийся с войны и ранее побывавший добровольцем в Сербии в 1876 г., близкий к славянофилам, он не выставляет работы связанные с военными сюжетами — напротив, в 1878 г. он представит только что написанный «Московский дворик» (1878, ГТГ), ставший одной из наиболее известных работ художника, а в следующем году — еще три картины: «Бабушка и внучка» («Бабушкин сад», 1878, ГТГ), «Лето» (обозначено в каталоге ТПХВ как собственность Д. П. Боткина, в настоящее время местонахождение неизвестно) и «Удильщики» (обозначено в каталоге ТПХВ как «собственность г-на Матвеева», к этому сюжету Поленов обращался неоднократно, какая именно из известных на данный момент картин является выставленной на VII выставке — неизвестно). Вновь сюжеты, связанные с войной, появятся лишь два года спустя, уже на VIII передвижной выставке: (1) «На войну» К. А. Савицкого (1880, ГТГ)[205], (2) знаменитые «Проводы новобранца» И. Е. Репина (1879, РМ) и (3) две работы В. Д. Поленова, «Долина смерти» и «Турецкий аванпост». И здесь можно увидеть характерное удвоение — с одной стороны, повтор в большем масштабе,

[202] Современное название: «Перед отъездом на войну» (1878, Ивановский художественный музей).

[203] Современное название: «Военная телеграмма» (1878, ГТГ).

[204] Крамской в данном случае имеет в виду поиск заказов гравюр на дереве — то есть для дешевых, «народных» изданий.

[205] Известная одноименная картина К. А. Савицкого, хранящаяся в РМ, исполнена в 1888 г. Картина 1880 г. была разрезана самим художником на несколько частей, большая часть из которых сохранилась и хранится в ГТГ (см.: [Товарищество… 1987: 200, ил. №135; Гольдштейн 1957]).

с большей проработкой сюжетов, родственных выставленных уже в 1878 г., а с другой — Поленов демонстрирует трактовку войны, родственную верещагинской, правда, в отличие от последнего, избирая менее напряженные сюжеты. О логике же верещагинской выставки, предстоящей, после демонстрации в Париже, в Петербурге, М. М. Антокольский писал С. И. Мамонтову 10 (22) января 1880 г.:

> Не знаю, что дадут выставки академическая и передвижная, но нет сомнения, что выставка Верещагина произведет сильное впечатление картинами из последней войны. Тут он теперь как раз хватает за сердце, да и за больные его струны.
>
> Тут множество семейств траура еще не сняли, у многих свежо в памяти то, что они перечувствовали; многие еще не успели дочитать того, что писалось о войне; а тут живо, наглядно, во всей наготе являются перед вами все ужасы войны, с отвратительнейшей стороны. Положим, что художники найдут множество недостатков, критики скажут, что он односторонен, но это потом, потом! Лишь когда рана окончательно заживет, Верещагин займет должное место в истории искусства России; но теперь всем достаточно впечатления, одного намека, и сердце защемит до боли, а тогда можно ли думать и рассуждать? [Антокольский 1905*:* 403—404].

Наибольший интерес с точки зрения обнаружения различий, происходящих в репрезентации войны, имеет характер живописной реакции на события балканского кризиса 1875—1876 гг. (восстание в Боснии и Герцеговине, апрельское восстание в Болгарии, Сербо-Черногорско-Турецкая война 1876 г.) и на войну 1877—1878 гг. К числу наиболее известных произведений, вызванных балканским кризисом, принадлежат «Балканская мученица» М. О. Микешина (1876, литография журнала «Пчела») [собрание ГИМ; Журавская и др. 2017: 34] и «Болгарская мученица»[206] К. Е. Маковского (1877, Национальный художественный музей Республики Беларусь). Характеризуя эти работы, А. А. Бобриков пишет:

> Главным патриотом [на волне панславистского энтузиазма 1876 г.] стал коммерческий гений Михаил Микешин... Его соперник по бизнесу Константин Маковский прославился картиной «Болгарская мученица»… изображающей несчастную христианскую женщину, убитую турецкими башибузуками прямо в церкви; не вполне одетую, в соблазнительной позе (и еще одну, которую явно ждет та же участь). Романтизм с оттенком политики — голые женщины «с тенденцией» — это новая формула коммерческого успеха эпохи предвоенного романтизма — со своим прототипом на весь XIX и значительную часть XX века — «Хиосской резней» Делакруа [Бобриков 2012: 398—399].

В случае «Балканской мученицы» можно видеть, как Микешин собирает значительную часть привычного арсенала религиозной живописи, обильно

[206] Другое название картины, под которым она упоминалась в 1877 г.: «Турки в Болгарии» [Северюхин 2008: 430].

прибегая к аллегориям — мученица оказывается распята в позе, напоминающей Андреевский крест (при этом апостол Андрей является святым покровителем Константинополя), на груди у нее большой православный крест, в тело ее художник воткнул четыре стрелы, вдохновившись иконографией св. Себастьяна и т. д.

Со своей стороны Маковский создает применительно к политическому контексту универсальный живописный текст:

— во-первых, отсылающий к «романтической битве» 1820-х — от Жерико до Делакруа, тем самым задействуя отсылки к либеральной традиции;

— во-вторых, противопоставление «христианства» / «ислама», что прочитывается и как «запад» / «восток», и как «цивилизация» / «варварство»; для зрителя остается широкий диапазон интерпретаций, которые ему предпочительнее избрать в своих симпатиях на Балканах — от сочувствия к «единоверцам» до сочувствия поруганным и беззащитным

— в-третьих, для зрителя остается возможность внеполитического прочтения, как «хорошего куска живописи», упражнения на тему ставшего в это время «классиком» Делакруа (и через него — Рубенса).

Примечательно, что в рамках культа «достоверности» Маковский предпримет даже недолгую поездку на театр военных действий, для самой картины совершенно избыточную, поскольку «для одной [из “мучениц”] (прижимающей к груди младенца), — вспоминал его сын, известный художественный критик Сергей Константинович, — позировала моя мать; лицо другой, распростертой на полу уже мертвой женщины, написано с тетки, Александры Павловны Летковой. Обе очень похожи — отец оставался портретистом и в жанровых композициях… Тогда же написан и другой не менее патетический жанр на военный сюжет: большая акварель — болгарка над трупом убитого ребенка, на фоне охваченной пожаром окрестности. Болгарку отец писал тоже с жены, так недавно еще оплакавшей свою дочь. Акварель была приобретена значительно позже вел. кн. Владимиром Александровичем» [Маковский 1955: 45—46]. «Болгарская мученица» имела большой успех, выставленная сначала на академической выставке, а затем — в декабре 1877 г., в пользу Красного Креста, на специальной, в помещении Министерства внутренних дел [Северюхин 2008: 430—431; Маковский 1955: 46], вместе с другой картиной Маковского, «Перенесение ковра» (1876, РМ). Выставка двух работ Маковского показательна, поскольку демонстрирует, что их общий «ориентальный» характер оказывается преобладающим над различием сюжетов.

Поленов, который в дальнейшем будет иметь существенные трудности с изображением событий войны 1877—1878 гг., перед отправкой добровольцем в Черногорию создает на тот момент одну из наиболее успешных своих работ — «Герцеговинка в засаде» (май 1876 г., написана в Париже), где изображена вооруженная девушка на фоне горного пейзажа[207]. Репин, друживший с По-

[207] В письме к В. В. Стасову от 18 января 1877 г. Поленов оценивает ее в 600 рублей — на тот момент она была одной из самых дорогих его картин [Сахарова 1950: 140].

леновым со времен ученичества в Академии и некоторое время снимавший с ним вместе жилье в Париже, писал 20 января 1877 г. — увещевая писать с натуры из «русской действительности»:

> Можно [ли] после этого вернуться в rue Blanche, 72 и там из вечно того же шарфа сочинять «Герцеговинку» и пр. и пр. [Сахарова 1950: 143].

Любопытно, что в записках о русско-турецкой войне В. В. Верещагин оказывается гораздо более «ориентален», чем в живописи — так, он в стиле «турецких повестей» рассказывает и о повадках каваса Христо [Верещагин 1898: 293, 307—308], и о попытках грека Фасса в занятом русскими войсками Адрианополе присвоить себе сделавшуюся вакантной должность губернатора [Верещагин 1898: 276—281, 285—288], и об албанцах-башибузуках, творивших вполне хрестоматийные зверства и которых, ради живописного опыта, Верещагин желал повесить, но чего по распоряжению военных властей не состоялось [Верещагин 1898: 288—292]. Сцена встречи русского передового отряда жителями Адрианополя, покинутого турецкой армией, как она описывается Верещагиным, годится на парадное полотно, напр.:

> Только лишь въехали мы и осмотрелись, как на встречу из примыкавшего болгарского квартала вышла огромная процессия из представителей разных церквей и религий. Впереди был греческий митрополит (Дионисий), затем армянский архиепископ, болгарский священник, еврейские раввины, турецкие муллы и с ними громадная толпа народа — вся площадь покрылась людьми; я думаю, было тысяч 30—40… Мы приложились к крестам и поцеловали пухлую, мягкую руку митрополита, видимо оставшегося довольным таким знаком почтения [Верещагин 1898: 279—280].

То есть Верещагин убирает «картинные» сюжеты, помещая их в текст, в то время как для живописи отводит «повседневные», «негероические» сюжеты[208].

[208] Так, из рассказа о двух башибузуках и их зверствах в живописном плане оказываются две картина, причем лишенные внешней динамики — «Башибузук (Албанец)» (с 1932 в ГМИИ РТ, ранее — в собрании П. М. Третьякова) и «Два ястреба. Башибузуки» (ГТГ, поступление начала 1920-х г., ранее — в собрании Н. А. и А. Н. Терещенко, Киев). На первой изображен картинный, одетый в алую рубашку и носящий одноцветный ей тюрбан, подпоясанный широким кушаком, за который вправлены ятаган, ружье и пистолет «башибузук», чьи руки связаны за спиной, а за ним — сливаясь с темным фоном помещения — двое русских солдат, стражников, у одного из них — винтовка с примкнутым штыком, образующая диагональ к телу «албанца». На второй — тот же персонаж (если не считать изменения цвета усов, которые из черных стали седыми), связанный спиной к спине с собратом, сидящий на земле посреди русских военных палаток — и на фоне, в верхнем левом углу — часовой, стоящий к ним спиной, с той же винтовкой — позу часового можно истолковать как охрану пойманных «башибузуков» от расправы местных жителей. В книге очерков Вереща-

Таким образом, погружение в изучение ближайших по времени живописных отображений русско-турецкой войны 1877—1878 гг., претендующих на самостоятельную художественную ценность, демонстрирует кризис живописной репрезентации войны. Художественное новаторство В. В. Верещагина вызывает неприятие со стороны как властей, так и значительной части публики[209], тогда как иные варианты отражения войны прочитываются как недостаточные — фиксирующие нечто, связанное с войной, но не войну «как таковую», остающуюся незапечатленной. Показательно, что В. В. Крестовский в цитированном в начале статьи примечании к своим военным корреспонденциям от 1879 г., говорит о материале для живописцев «как в пейзажном, так и в бытовом и военном жанре» [Крестовский 1879: 172 прим.]: книга Крестовского выходит еще до выставки Верещагина и до появления для глаз широкой публики большей части живописных работ, связанных с войной 1877—1878 гг., — тем характернее порядок перечисления жанров, где на первом месте оказывается пейзаж. Большую часть художественной продукции В. Д. Поленова, не названного Крестовским среди живописцев, находившихся в армии, составят именно пейзажи и бытовые сценки — аналогичным образом можно истолковать и значительную часть работ В. В. Верещагина, отнеся их к «военным пейзажам» и «военным бытовым» картинам, — его способ преодоления исчезающей репрезентации войны заключается в создании серий и помещении картин одновременно в насыщенное текстовое пространство.

Если ориентальные изображения что «мучениц», что «мучителей» имели не только готовый, но и вполне живой канон — ориентированный на Дела-

---

гина репродукция с нее помещена под названием «Связанные албанцы» [Верещагин 1898: 289]. Все напряжение изображаемого считывается не только и не обязательно вместе с текстом — но по крайней мере в динамике ряда живописных изображений, лишенная же «сериальности» последняя картина читается как родственная «Турецкому аванпосту» и аналогичным Поленова.

[209] Примечательно, что В. В. Стасов, описывая свое первое знакомство с частью «Балканского цикла» Верещагина, делает акцент сугубо на художественной стороне, оставляя всякую трактовку с точки зрения сюжетной: «Чудесны туркестанские и индийские картины Верещагина, великолепные золотые краски и яркий блеск южной природы, но еще поразительнее мне показались теперь пустынные поля и горы, где толстые слои снега истоптаны тысячами русских и турецких шагов. Несколько десятков картинок — все только серых и белых, все только снег да туман, да облака, да жидкие ряды деревьев — и одинакоже (sic! — *А. Т.*), какая у Верещагина вышла цепь колоритных, разнообразных сцен. И что за tour de force, целая картинная галерея из одного снега и белой краски. Никто еще не осмеливался быть так дерзок и правдив. Национальнее и проще этого, право, кажется, ничего не найдешь ни у какой нации» [Стасов 1937а: 318]. Трактовка «простоты», «правды» изображенного как «национального» любопытным образом выливается, быть может, не вполне осознанным образом, в интерпретацию природы Румелии как «нашей»: «ни у кого из наших пейзажистов никогда еще не была выражена с большею правдою наша родная славянская серенькая, хмуренькая, маловзрачная природа и день» [Стасов 1937а: 319].

круа и последующую традицию, позволяющую совместить целый ряд тем, не вводя их в конфликт, то массовая война, ведущаяся армией призывников и вольноопределяющихся, исключала для образованного зрителя бесстрастно-любопытствующее рассмотрение. Язык художественного и публицистического описания войны оказывался определен Толстым — «Севастопольскими рассказами» (1855), «Казаками» (1863) и «Войной и миром» (1867—1869) — на него ориентирован и самый популярный русский военный корреспондент этой войны, В. И. Немирович-Данченко. Примечательно, что современный литературовед, анализируя сборник военных корреспонденций Немировича-Данченко, изданных затем в качестве книги под заголовком «Год войны» и принесших ему уже и международную известность, говорит и о фабуле, и о метасюжете книги, рассматривая ее как целостное художественное произведение [Грачёва 2013: 13]. В романах, созданных в последующие годы, где Немирович-Данченко будет старательно разрабатывать тему русско-турецкой войны[210], характерно сочетание документальных военных очерков, наложенных на какой-либо весьма нехитрый сюжет. Так, в «Плевне и Шипке», одном из «больших романов» Немировича-Данченко, сюжетной канвой служит история любви бывшей актрисы, ушедшей от своей пустой жизни в сестры милосердия, и вольноопределяющегося — но она столь необязательна, что в первой части романа автор может себе позволить на сотню страниц вовсе забыть о своих героях, при этом большая часть остальных «персонажей» романа — реальные участники войны, описываемые посредством схематизированной «психологической прозы». Война изображается глазами ее рядовых участников, правда, только с русской стороны — но противник в свою очередь разделяется на три плана: во-первых, «турки» вообще, враг, творящий зверства, угнетающий славян и проч., но именно в силу абстрактности ему отведено минимальное место; во-вторых, турецкая армия — обретающая свою конкретность, умелость действий, героизм и т. п. — в том числе значимая как достойный враг, и, в-третьих, конкретные турки, турецкие солдаты — которые как «люди» оказываются симметричны русским солдатам. Негодование автора и вслед за ним читателя оказывается направлено на собственных «начальников» и фигур, с ними связанных, — на немецкого доктора, приписанного к штабу, получающего награды и лишь вредящего в деле своей трусостью и некомпетентностью (см., напр.: Немирович-Данченко 1902: 9], на командиров, отдающих неверные приказы и т. п. — поскольку противник действует в своей логике, его стремлению всячески помешать русским войскам нелепо возмущаться. Примечательно, что и изображения собственных военачальников и турецких в русской печати не отличаются — они подаются однородным образом, а, напр., выпущенное литографией Яковлева (Москва) изображение Осман-паши (цензурное разрешение датировано 2 декабря 1877 г.), подписано следующим образом:

[210] Им будут написаны: «Гроза» (1879), «Плевна и Шипка» (1881), «Вперед!» (1883), «Боевая страда (от Плевны до Шипки)» (1890), «В огне» (1892).

Храбрый защитник Плевны Осман паша, взятый в плен русскими войсками 1877 года ноября 28 дня [см. репродукцию: Журавская и др. 2017: 228].

Официальные изображения и «лубок» (подразумевая под последним применительно ко второй половине XIX — начале XX в. «картинки для народа», зачастую имеющие весьма немного признаков собственно «лубка» [Иткина 2013: 3—4], совпадают в своей сосредоточенности на «большом», «героическом» уровне событий — так, выполненный в Хромолитографии В. В. Пономарева листок «Взятие “Плевны” и сдача Осман-паши» ориентирован композиционно и многими элементами художественного языка на многочисленные парадные «капитуляции», распространенные в европейской живописи с конца XVI в., с шедеврами вроде «Сдачи Бреды» Веласкеса (La rendición de Breda o Las lanzas, 1634, Museo del Prado).

Проблема, явственно обнаруженная живописными репрезентациями войны 1877—1878 гг., заключалась в невозможности в рамках новой преобладающей эстетики сообщить героический и мобилизующий пафос, выполнять роль глорификации «исторических деяний». В. В. Стасов в статье «Двадцать пять лет русского искусства», долженствующей подвести итоги художественному развитию эпохи и обозначить перспективы, писал: «Грубо ошибся бы тот, кто подумал бы, что Верещагин есть только живописец “военный”. Никогда! Солдаты Верещагина — это все тот же народ, только случайно носящий мундир и ружье» [Стасов 1937б: 105]. Современники часто сравнивали его живопись (подразумевая в первую очередь Туркестанский и Балканский циклы) с Толстым, имея в виду, вероятно, «Севастопольские рассказы», а критик *Le Parisien* в 1888 г. добавил к этому ряду и Достоевского [Стасов 1952: 121]: отчасти это отражало фиксацию «литературности» данного рода живописи, способность (соответствующую желанию самого автора) быть прочитанной как некое повествование [Верещагин 1982: 146; Василий Верещагин... 2018: 56—57]. Но сопоставление с другими попытками представить живописную репрезентацию войны 1877—1878 гг. демонстрирует, что возникающее затруднение коренилось отнюдь не в частных особенностях, эстетических и мировоззренческих особенностях Верещагина — если его «Балканский цикл» вызывал отторжение со стороны цесаревича Александра Александровича, то последний отнюдь не противопоставлял ему нечто иное, предпочитаемое — напротив, наследнику престола оставалось лишь сожалеть и фиксировать отсутствие, никак не обозначая, какой ему самому представлялась бы надлежащая живописная память о войне. Как отмечалось ранее, у художников не возникало трудностей с созданием «ориентальных» работ — проблемы начинались там, где требовалось изобразить персонажей, которых зрителю надлежало отождествить с собой, при этом представить последних в активной позиции, в рамках наличной эстетики передать «правду», причем историческую, то есть исключая возможность прибегать к арсеналу аллегорических средств.

Разрешение этой проблемы произойдет уже в новом столетии, в рамках иных эстетик — через выход к символическому и далее через создание художественного пространства, размыкающего противопоставление достоверного / ложного — так, например, уже в 1910-х, в Первую мировую, К. Петров-Водкин откроет возможность нового пафоса и героики в рамках высокого художественного языка, а следом возникнет новая разнообразная эстетика, работающая с героическим и мобилизующим, позволяющая вновь «единственного» и «конкретного» представить выразителем не только «удела человеческого», но и «общего действия». Для ближайшей перспективы, 1880—1890-х гг., возможность заключалась в ином — перемещении сюжета в прошлое, позволяющем одновременно и проецировать современное в минувшее, и одновременно предполагать «иных людей, иные нравы», высшие, чем современные зрители, — и начинается расцвет исторической живописи, в том числе открывающей новые художественные возможности и приход новых эстетик XX в.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. СМЫСЛ В ЖИЗНИ И СМЫСЛ В ТЕКСТЕ

Основу данного раздела составляет содержание Круглого стола, состоявшегося в Светлогорске 2 июня 2018 г.[211] Обсуждались ключевые вопросы смыслоформирования в нарративных и перформативных практиках. В режиме свободной дискуссии рассмотрены различные факторы и параметры, определяющие осмысленность действий, и те механизмы, на основе которых они интерпретируются. Все эти механизмы можно трактовать как проявление различающихся в модальном отношении различных типов текстуализации. Интерпретация и текстуализация позволяют выявить и описать соотнесенность между некоторыми каузальными и функциональными отношениями («смысл в жизни») и их семиотической манифестацией «смыслом в тексте».

С. Т. ЗОЛЯН: Нашу дискуссию начнем с рассмотрения смыслов слова «смысл». Можно ли свести их к некоторому лингво-семиотическому субстрату — например, к смыслу по Г. Фреге? Очевидно, что это разные плоскости рассмотрения. В одном случае мы говорим об отношении «означающее — означаемое», в других — о некоторых каузальных или функциональных отношениях. Так, можно в лингвистических терминах определить смысл слова «жизнь» в русском языке — что и делают лексикографы. Но вот смысл жизни — это уже совсем иное, возможно ли его определить, связав с некоторыми дискурсивными или символическими практиками? В таком случае мы вновь приходим к возможности некоторого лингво-семиотического описания, хотя оно будет коренным образом отличаться от лексикографического. Это то, что обычно называют «смысл, который вкладывают в это слово». Например, «смысл жизни — делать добро», или «смысл жизни — в служении партии». Обязательна некоторая процедура текстуализации смысла.

М. В. ИЛЬИН: Если, предположим, я член партии с пятидесятилетним стажем, то смыслом моей жизни пятьдесят лет будет именно служение партии. И это мой смысл, который я вкладываю в это высказывание. Но я его могу выразить по-иному, путем наблюдаемого действия: может, я значок ношу партии, может, хожу на мероприятия партии по утрам и вечерам, а может, еще как-то. Мне непонятно противопоставление смысла в языке и смысла в жизни, потому что оба они вместе — и в языке, и в жизни.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Раскрытие слова «жизнь» будет зависеть от того, кто будет это говорить. Может, это будет говорить убежденный партиец, что для него смысл жизни — это служение партии. Для него. А кто-то скажет, что смысл жизни — любовь.

---

[211] Материалы круглого стола опубликованы в журнале «Слово.ру: Балтийский акцент» (Золян и др. 2020). В нем также принимали участие Е. В. Макаров, И. В. Фомин, А. В. Щекотуров. Материалы дискуссии были подготовлены к печати Т. В. Белецкой.

С. Т. ЗОЛЯН: Потому и стоит разграничить то, что условно можно назвать «смысл в языке» и «смысл в жизни». Нельзя в словаре записать «смысл слова *жизнь* — служить партии». Это различные модусы употребления слова, как, например, в предложениях «слово *жизнь* — это слово из пяти букв и четырех звуков» и «жизнь прекрасна». Это принцип подстановки, который показывает различие в смыслах: подставим одно вместо другого и получим абсурдные высказывания «слово из пяти букв и четырех звуков прекрасно». Обычно противопоставляют смысл слова в языке как словарное толкование и смыслы, которое мы приписываем поступкам. В первом случае смысл — это то, что обозначается словом в языке, и мы абстрагируемся от того, кто говорит, кто и что вкладывает в это слово. Но ситуация меняется применительно к тексту. Смыслы, которые вкладываются в слова, возникают уже на основе внелингвистических факторов исходя из определенной жизненной ситуации. Эти два различных понимания могут быть сведены воедино в понятии *осмысление:* оно основано на предположении о том, что в любой момент нашей деятельности мы можем ответить на вопрос, что́ мы делаем, то есть перевести некоторые поведенческие схемы в некоторый текст. И естественно, этот перевод текста в поступки и поведения будет основываться на некоторых семиотических явлениях. Игнорировать собственно языковые отношения мы не можем. Какой бы ни был упертый партиец, он должен основываться в определенном отношении на смыслах слова *смысл* и слова *жизнь*. Во всяком случае, это должно быть скоррелировано. От чисто лингвистического подхода возможно перейти к такому, который условно назовем социологическим, и уже для социологического найти его коррелят в лингвистике. Напомним, что понятие смысла лежит в основе понимающей социологии Макса Вебера (см.: [Золян 2018]), а из более близких — это системная теория Н. Лумана. Согласно Веберу, действие является социальным, поскольку его смысл может быть проинтерпретирован другими [Вебер 1990]. Если говорить о дальнейшем развитии, то его я вижу также и концепции смысла у Никласа Лумана: смысл как семиотическое отношение между знаком и денотатом может быть операционально соотнесен с пониманием смысла как целевого или каузального отношения между различными событиями — в обоих случаях имеют места различные, но взаимосвязанные события автореференциального порождения смысла [Луман 2004]. Наше поведение предполагает соответствующую вербализацию и определяется вербальными структурами, поскольку мы в состоянии сказать, что́ мы делаем, зачем это делаем, и каким-то образом спроецировать последствия. То есть для экспликации смысла мы создаем текст. Другое дело, какой из альтернативных текстов реализуется в действительности. Здесь важно осуществить переход к модальной семантике, семантике возможных миров. Из многочисленных версий мне представляются наиболее подходящими Сола Крипке [Kripke 1980] и Дэвида Льюиза [Lewis 1979] — они, на мой взгляд, в большей мере связаны с языковыми структурами смысла и референции, чем, скажем, концепция Я. Хинтикки [Hintikka 1972].

Стоит также добавить теорию двойников [Lewis 1968], поскольку она больше подходит к описанию контрфактических ситуаций. Так, согласно его примеру, имя *Ричард Никсон* выделяет разных индивидов, когда мы строим предположение «Будь Никсон честным, он остался бы президентом»: это разные Никсоны, очень похожие, но отличающиеся именно по признаку «честный — нечестный». Это важно, потому что, если мы уходим от, собственно, наблюдаемого поведения и хотим описать реальное, то поведение вовсе не сводится к тому, что конкретно сделано, а именно, к тому, что описано. Так, даже простой вопрос «Что сейчас ты делаешь?» может привести к различным описаниям: что я в действительности делаю, описываю ли я свое собственное представление или же восприятие других. Например, читаю ли я сейчас лекцию или же участвую в дискуссии, отрабатываю нагрузку, хочу произвести впечатление на начальство и т. п. Мое поведение предполагает различные описания и самоописания, которые могут надстраиваться друг на друга.

Это то, что рассматривается как смысловые рекурсии (самоописания) в теории систем Н. Лумана. Попытаемся найти для этого лингвистическую основу. Это — различные типы нарративов и перформативов, посредством которых осуществляется возможность различных авто- и мета-репрезентаций. Я сейчас что-то рассказываю. Это может быть описано чисто формализованно, как отчет для администрации: *Мы проводим семинар в рамках проекта*. Можем описать содержательно: *Обсуждаем проблему смысла.* С определенной точки зрения — *чепухой занимаемся, непонятно о чем болтаем*. Задан спектр возможностей, и описывающий индивид предстает как полиглот, владеющий множеством языков описания поведения. И здесь возникает определенный стереометрический эффект, когда мы рассматриваем различные семантики. Следующий шаг — это переход от описания к действию посредством текста, что приводит к перформативности. Вследствие многозначности этого термина можно остановиться на его узком, изначальном понимании: как самоописывающем себя действии.

М. В. ИЛЬИН: Когда мы говорим «перформатив», мы имеем в виду все, что угодно. А у меня сразу возникает возражение в связи с тем, что мы можем говорить только о *performative utterances.* Это то, о чем Джон Остин говорил. Если мы говорим только о том, что говорил Остин и его последователи, которые занимаются логикой, которые берут одно высказывание и дальше его детально анализируют, это одно. И тут я с тобой согласен. Но с точки зрения именно социальной семиотики у нас существуют кроме *performative utterances* еще *performative events*, у нас еще существует *performative act*, который многосоставный. И вот, например, такой *event*, как «американская независимость», — этот *event* длился десять лет, и там много чего упаковано.

С. Т. ЗОЛЯН: Я бы перевел *event* в текст, описав его.

М. В. ИЛЬИН: Назови «текстом», как хочешь, чтобы понятно было, из-за чего мы спорим. Мне *performative utterances*, честно говоря, малоинтересны. Только если анализировать этот *utterance* в составе *event*, меня интересуют *events*.

С. Т. ЗОЛЯН: С этой точки зрения полезно развитие концепции перформатива Джоном Серлем в книге «Конструирование социальной реальности» [Searle 1995]. Здесь важна не возможность самоописания, а то, что в результате перформативов изменяется действительность, это Серль называет «социальной магией». Она возникает на основе речевого акта и совокупности «удачных» условий. Само по себе высказывание к этому эффекту не приводит. Лингвистические факторы только вместе с внелингвистическими создают опять-таки стереометрический эффект: одно накладывается на другое, в том числе и нарративные и перформативные дискурсы. Возникает их постоянное чередование или, используя метафору Ролана Барта о соотношении между фактом и мифом [Барт 1989: 88—89], это постоянно вращающийся «турникет» между нарративом и перформативом. Если я скажу, что завтра солнце взойдет, допустим, в 4:30 — это, конечно же, предсказание. Если я скажу, что завтра я собираюсь встать рано утром в 4:30 — это будет уже не предсказание, а описание моих действий, это определенная программа. По-моему, основная характеристика перформатива — это если поступок нельзя отделить от действия. Когда это разделение возможно, это и есть принцип нарративности. Когда единство слова и действия теряется, когда одно может произойти без другого, то возникает нарративизация. Единство слова и действия может быть восстановлено, но уже на других, отличных от первоначальных, условиях.

Наконец, нарративность смысла должна быть соотнесена с различными модальностями и мирами. Одно и то же предложение может быть соотнесено с различными мирами и областями интерпретации. Истинно или ложно высказывание: «Судьи справедливы»? Возникнет вопрос: «Относительно какого мира?», говорим ли мы о действительном мире или же о его деонтической альтернативе, мире норм. Эта многозначность активно эксплуатируется в политическом дискурсе, когда деонтическое представляется как имеющее место. Посмотрите любой уголовный кодекс. Например, там написано: кража карается сроком до семи лет. Это норма, но в действительности далеко не всякая кража карается по закону. Противоречиво ли само предложение, поскольку оно одновременно и ложно, и истинно? Нет, поскольку мы имеем в виду его различные интерпретации, различные реальности, и оцениваем его истинность / ложность в различных мирах.

М. В. ИЛЬИН: С точки зрения обществоведов, с точки зрения практики — это не так. Логик легко разведет эти разные миры и будет с ними оперировать примерно так: «Это реальный мир, а это вот деонтический». Или еще какой-то. А вот у нас в политике депутаты или администраторы спорят. Для них эти миры сведены. Они сведены не в том смысле, что я их отождествляю, а в том, что я использую этот мир здесь, сейчас. Я его использую, он для меня инструментален, то есть он на самом деле не отдельно существует. Я знаю, что судьи несправедливы, но я начинаю тем несправедливым судьям, которых я вижу перед собой говорить: «Ах, ты гад такой! Если ты несправедлив, значит, ты не судья». Это знаменитое *The king can do no wrong*. А раз он *did some wrong*, то он не *king* больше.

С. Т. ЗОЛЯН: Вот я и говорю, что политический дискурс основан на неразличении этих модальностей. Но можно представить, как дальнейший шаг: появляется судья, который произнесет: «Вот этот человек несправедлив, он не имеет право быть судьей». Чтобы это высказывание стало перформативом, требуется уже социальный контекст: говорящий должен обладать этими полномочиями: не только сказать, но и лишить его ранга судьи, то есть от констатива перейти к нарративу.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Вы приводите пример деонтической модальности. Но в алетической интерпретации модальный оператор может рассматриваться как квантор по возможным описаниям состояния. Это квантификация по описаниям состояния, то есть по возможным мирам. Необходимо, чтобы судьи были справедливы, значит во всех возможных мирах судья справедлив. И для опровержения этого достаточно, чтобы в одном из описаний состояния, в одной из ситуаций судья оказался несправедлив. Но при этом сама возможность квантификации предполагает консенсус участников дискурса, например депутатов.

С. Т. ЗОЛЯН: Эти депутаты могут по наивности, а, может, и специально смешивать эти два типа модальности. Но подобное смешение в целом характерно для политического дискурса — сошлемся на Гарольда Лассвелла, который писал, что политическая формула одновременно и дескриптивна, и прескриптивна [Лассвелл 2006: 273—274]. Она дескриптивна, потому что что-то описывает. Она прескриптивна, потому что нечто предписывает. Но подобная многозначность в силу интерпретации в различных мирах характерна и для других типов дискурса. Например, в художественных. Вот простой пример: «Правда ли, что Онегин убил на поединке друга?» — это ложно применительно к актуальному миру, но истинно по отношению к миру романа.

М. В. ИЛЬИН: Роман — это часть нашей реальности. Но если бы Пушкин придумал роман о каком-нибудь другом герое, что он соблазнил, жену своего друга, написал бы в своей голове и никому бы не рассказал. Тогда бы я сказал: я не знаю, что это такое, это вообще не часть реальности.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Мы переносим предикаты из текста Пушкина на описания реальности и говорим девушке, что она вылитая Татьяна Ларина. Мы сравниваем реального человека с персонажем.

С. Т. ЗОЛЯН: Когда мы говорим о различных мирах, мы должны стратифицировать области, указывая механизм перехода одного в другой. Именно тогда мы описываем семантику как прослеживание межмировых соотношений. Онегин существует в одних мирах, не существует в других, в третьих существует как конструкт, в четвертых — как интертекст и прочее. Если мы вводим понятие модальности в стратификации, то у нас получается семантика другого типа, где в некоторых мирах все судьи справедливы, а вот в нашем несовершенном мире не все судьи справедливы. И получается, что предложение может быть либо эксплицировано за счет его привязки, допустим, к нашему миру, и тогда мы пытаемся привести наш мир в соответствие с этим идеальным миром, то есть всех плохих судей выгоняем. Либо же считаем так,

что раз судья, то, значит, он справедлив, и поэтому никакое судебное решение не подлежит обжалованию. Кстати, существующая практика исходит именно из этого — решение одного судьи может отменить только другой вышестоящий в иерархии судья, то есть «более судья», чем принявший отмененное решение.

Подытоживая нашу дискуссию о механизмах создания новых смыслов и тем самым образования многозначности, укажем их типы. Первый тип — когда мы некоторому языковому высказыванию приписываем его интерпретацию в некотором множестве возможных миров, где они могут отличаться. Примерно это, но как дополненное тем, что может быть обусловлено различающимися установками потенциальных говорящих, у Столнейкера и Льюиза называется двухмерной семантикой.

Наконец, уже сами лексические единицы языка также увеличивают степень многозначности. Значение — это не какие-то дискретные единицы, а некоторый континуум, или семантический вакуум, который заполняется некоторым спектром значений. Помимо того, что мы интерпретируем различные миры и различные истинностные значения, лексические значения могут входить в различные конфигурации, которые являются одновременными интерпретациями данного предложения. При этом мы не можем сказать, какая из них точная, поскольку всегда имеется доля недоопределенности. Именно это имел в виду У. Куайн, предлагая понятие радикальной интерпретации, — просто вообще отказаться от языка и говорить путем указания на видимые явления и объекты. Как у Свифта. Но к проблеме можно подойти по-иному.

Эта неопределенность или недоопределенность создается как раз языком, потому что одну и ту же ситуацию мы можем описать совершенно поразному. И можно предложить обратную интерпретацию. Неоднозначность, как она была описана Куайном, возникает именно вследствие того, что мы используем ресурсы естественного языка, благодаря чему одной и той же ситуации можно привести в соответствие различные описания. При этом вполне возможны метафорические описания, основанные на совмещении различных интерпретаций. Например, высказывание «Не человек, змея». Его нельзя заменить без ущерба для смысла на «Этот человек опасен», поскольку важен комплекс (блендинг) комплекс: и человек, и змея. Это не только опасное, но и хитрое, изворотливое, и к тому же пресмыкающееся существо. При этом не отрицается, несмотря на поверхностную структуру «*не человек...*», что речь идет о человеке (при аномальности: «он человек, и / но змея»).

Как видим, различные интерпретации могут образовывать некоторый комплекс, а не отрицать друг друга, как предполагается у Куайна. Различные значения многозначного знака могут быть совмещены. Языковой знак одновременно указывает на объект (денотация), и приписывает ему некоторые характеристики (коннотация). Это распространяется и на имена собственные… Если мы назовем Дом быта «Золушкой» — это одно, а вот «Медвежья услуга» — это совсем другое. Хотя, казалось бы, это имя собственное указывает лишь на некоторый объект, но не на качество производимых услуг.

Одновременно с называнием мы даем и некоторую оценку. Так действует язык, почему и неадекватны модели одномерной семантики и одномерного семантического согласования. И если применительно к отдельным предложениям могут быть приведены контрпримеры, то применительно к тексту многомерное структурирование оказывается определяющим. При этом внутри текста возникает и сохраняется мера структурирования, при которой возможны неопределенность и недоопределенность, это та форма организации информации, которая позволяет тексту приобретать новые значения в новых контекстах.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: Я хочу продемонстрировать, как возникает подобная многозначность, рассмотрев механизмы семантической аберрации в публичном дискурсе. Медиальный политический дискурс в последнее время часто рассматривается именно в категориях аберрации, понимаемой как некое отклонение от здравого смысла, от логики рассуждения и так далее. Естественно, мы как лингвисты не рассматриваем клинические случаи аберрации, которые тоже вербализуются и текстуализируются в речи пациентов определенного рода. Вне поля моего внимания тоже остались случаи спонтанного эффекта аберрации, возникающего вследствие низкой языковой компетенции говорящего либо в условиях дефицита времени и высокого эмоционального напряжения — «инференционная тарабарщина» в классификации Александра Киклевича (bełkot inferencyjny) [Kiklewicz 2015: 15]. То есть замысел был иной, а получилось так, как получилось. Это знаменитые черномырдизмы — ляпы, которые уже стали в России народным фольклором. В Польше есть подобного рода микротексты, например, валенсизмы, изречения Леха Валенсы, например: «Есть плюсы положительные и плюсы отрицательные». Огромное количество есть малых жанров, которые построены на концептуальном диссонансе: армеизмы, абсурдные анекдоты, фольклор, стишки, детские считалочки, «Путаница», в конце концов, Корнея Чуковского и т. д. То есть то, что можно было определить как игровую тарабарщину (bełkot ludyczny) [Kiklewicz 2015: 17). «Ум за разум заходит», «Живы будем, не помрем», «Живете как свиньи в берлоге» или даже фраза «Мальчик стоит под дверью». Как «под дверью»? Он стоит за дверью. Но мы говорим «мальчик стоит под дверью», и все прекрасно понимают смысл сказанного. Обычно такие тексты не несут глубокой смысловой нагрузки, тем не менее сущность комического в них базируется на нарушениях логических оснований разного порядка и некой общей абсурдизации высказывания.

Можно рассмотреть подробнее контрфактические политические заявления, спровоцированные обычно неподготовленностью выступающего. В силу своей аномальности, а также высокого статуса говорящего и соответствующей медийной платформы, которая позволяет тиражировать эти тексты, они имплицируют обширный респонсивный контент в смеховом ключе. Речь идет о так называемых индексальных фразах с гипертрофированной дейктичностью, которые потом в текстах выполняют в основном отсылочную реминисцентную функцию. Как пример, можно привести знаменитое утверждение

Виктора Черномырдина, сделанное им в 2000 г. в качестве посла Российской Федерации на Украине: «Россия — континент, и нас здесь нельзя ни в чем упрекать». На вопросы журналистов: «Ну, как континент, если на этом же континенте с Россией есть другие страны, например, Китай», он сказал: «А причем здесь Китай? Китай — не континент».

Еще более резонансным стало выступление в 2017 г., в январе, Витольда Ващиковского — главы МИД Польши — после возвращения с Совета Безопасности ООН. Он говорил о встрече с дипломатами разных государств, в том числе Сан-Эскобара. Поскольку он сделал это с такой, скажем, высокой медийной трибуны, данное высказывание породило огромнейший респонсивный контент, комментировалось очень широко в Польше, Европе и за границей, в «Вашингтон Пост», «Таймс» и т. д., и спровоцировало целую волну сетевого креатива. Не только появилось огромное количество мемов, демотиваторов, карикатур, появились в Твиттере и на Фейсбуке аккаунты несуществующей Демократической республики Сан-Эскобар, были спеты многочисленные песни в Польше, посвященные свежеиспеченной стране, поставлены юмористические номера, а сам Ващиковский стал победителем конкурса «Серебряные уста» в 2017 г. за наиболее резонансную фразу года.

Во всех вот этих примерах аберрация является, конечно же, результатом нарушения принципа кооперации Пола Грайса, прежде всего максимы качества информации и релевантности. Но исследователи, занимающиеся лингвистическим абсурдом, подчеркивают, что это, скорее, обратная сторона, изнанка смысла, и особенно в таком аберрационном дискурсе, конечно, присутствует определенный парадокс.

Показательны случаи не узуального, семантического, а прагматического аномального номинирования, обусловленного экстралингвистическими факторами. Например, в 2010 г. по просьбе французов Еврокомиссия отнесла улиток к классу сухопутных рыб. И это записано, есть соответствующие акты, действующие на территории ЕС. Конечно, причина такого переименования и новой категоризации улиток исключительно утилитарная, потому что французы заинтересованы в том, чтобы хозяйства, занимающиеся разведением улиток, получали те же дотации, что и рыбные хозяйства. Но это не единственный, конечно, случай, когда экономико-обусловленная классификация Брюсселя расходится с классификацией биологов. По тем же причинам Еврокомиссия решила, что морковь — это фрукт, поскольку в Испании, Португалии очень популярно морковное варенье, которое, согласно законам ЕС, может производиться только из фруктов.

М. В. ИЛЬИН: Нельзя ли это в логике, которую Сурен предлагает, развести эти номинации по разным мирам. И тогда рассмотреть и межмировые переходы?..

С. Т. ЗОЛЯН: Безусловно. Не будем углубляться в классификации, отметим, что поскольку морковь в биологических текстах, и морковь в юридических текстах — они разные. Кстати, это хороший пример действия не референтной, а когерентной семантики: нужно морковь соотнести с вареньем.

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Это то же самое, что я упоминал раньше: когда образ Татьяны Лариной применяют к реальной девушке. Это пример того, как нарративы «нереального» в искусстве, в литературе, в кино формируют смысловую картину реального мира.

Ж.Р. СЛАДКЕВИЧ: Указание на аберрацию может стать приемом по дискредитации оппонента. Зачитаю заявление Дмитрия Медведева: «Мне, например, очень грустно, что президент Обама, выступая с трибуны ООН, перечислял угрозы, которые стоят перед человечеством, на первое место поставил соответствующую болезнь — лихорадку Эбола, на второе — Российскую Федерацию, только на третье — исламское государство. Мне даже не хочется это комментировать, это печально, это какая-то аберрация в мозгах». То есть указание на такую умственную аберрацию оппонента и элиминация его вменяемости как политического актора позволяют говорящему занять позицию эксперта и выносить оценочное суждение на тему описываемой ситуации.

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Тут много обстоятельств и факторов. Любая власть играет на аларме и хорроризации, потому что безопасность, обеспечение преодоления страхов, неопределенностей — базовая ценность социогенеза. Поэтому так важен образ всесильного врага, которому мы под мудрым руководством должны противостоять. И тут в ход идут разные метафоры. Например, уподобление России «Империи Зла». И такая хорроризация взаимна.

Ж.Р. СЛАДКЕВИЧ: Это как бы сегмент тематического поля «болезнь» разворачивается по сценарию «общество — больной организм», а «субъект политической власти — больной человек». Уже к такому типу аберрации отсылают сами заголовки политических статей, огромное количество их, конечно, в Интернете можно найти: «Весенняя галлюцинация в украинском политическом цирке», «Политика Украины — политика бреда», «Бред сумасшедшего: в Европе раскрыли, что Россией управляет мировое сообщество» и так далее. Номинальная правда здесь, соотносится с теорией суппозиции формальной логики, которая всегда основана на идее существования и корреляции названия с десигнатом или понятием вне зависимости от его содержания. Но суппозиция может соотноситься также с альтернативным по отношению к действительности, воображаемым миром в случае номинаций, выполняющих функцию подлежащего. Ну, и, судя по логике таких конструкций, например, «Путин продолжает бредить о несуществующей Новороссии» или «Трамп не мешает Климкину бредить о зоне свободной торговле с США для России», — судя по логике таких конструкций, адресат не предполагает реальной возможности существования Новороссии как независимого государства и зоны свободной торговли для США и России. И вот в случае таких глаголов: «бредить», «галлюцинировать», «мнить себя», значение которых уже включает в себя сему креации и вымысла, суппозиция именной группы (в позиции дополнения) указывает на существование в возможном мире, созданном благодаря фантазии политического субъекта: «Соединенные Штаты

также уязвимы, пусть и мнят себя хозяевами Вселенной», «Путин мнит себя Наполеоном, «Вашингтон совершенно искренне мнит себя мессией, ведущим за собой человечество».

Ну и результатом такой аберрационной мыслительной деятельности является, конечно, ложь, фальсификация, фантом, мираж, что вообще коррелирует в современной медийной культуре с понятием постправды, названным, кстати, словом 2016 г. по версии Оксфордского словаря. Постправда — вот это как раз наше двоемирие, двоемыслие.

Обращает на себя внимание использование персуазивных метаоператоров (термин А. Авдеева и Г. Хабрайской [Habrajska 2005]), в качестве такого рода модальных единиц выступают «мол», «якобы», «типа», «дескать», то есть как текстовые маркеры аберрационного контекста, ну а также графические ресурсы — кавычки. Например, у Шендеровича часто используется «типа выборы», «типа невесты», «типа суды» — все это взято в кавычках еще и само слово «типа», создает усиленный эффект.

Еще, если мы говорим о лингвистическом анализе информационного контента, важно обратить внимание, что в медийных текстах фигурирует группа полисемантических знаков, которые в предикативной функции могут отсылать как к реальной, сенсорно воспринимаемой действительности, так и к умственной аберрации — индивид придумывает несуществующую действительность, воображает иллюзорный мир. К лексемам такого характера относятся единицы, обозначающие восприятие мира посредством органов чувств: кто видит, слышит, чует, чувствует *что*? А также характерная для русского языка аффективная диатеза, в которой субъект психического состояния стоит в форме косвенного дополнения обычно дательного падежа: кому видится, слышится, чудится, чуется *что*? В польском языке нет таких конструкций. «И снова Западу видится рука Москвы». Вот замечательный пример: «Я не считаю ваши голоса, я их слышу» — это лозунг избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского в 2011 г. Этот двусмысленный слоган, да еще и с такой соответствующей графикой, потенциально указывающий на аберрацию политического субъекта, спровоцировал целую волну опять же сетевого креатива, в «Живом Журнале» появилось несколько постов по поводу этого плаката, где Жириновского назвали новым Нострадамусом и внуком Ванги, а также предложили принять участие в новом сезоне «Битвы экстрасенсов».

К последней группе знаков примыкают единицы, которые однозначно отсылают к воображаемой реальности — чудится, кажется, мерещится *что*: «У Порошенко паранойя — ему чудится теракт в столице», «Трампу кажется, что он справится с Путиным», «Шведам снова мерещится Полтава», «Западу мерещится ползающая Россия». Конечно, если мы говорим о механизмах текстуализации, то в них происходит разная поляризация. Скажем так, в последнем примере — «Западу мерещится ползающая Россия» — «мерещится» означает желательную для оппонента оптативную действительность, но полярная перекодировка реферируемого содержания с минуса (слабая, униженная, пол-

зающая Россия) на плюс наступает в завершающем блоке текста: если Россия и ползет на коленях, то только в православных храмах к Богу, поэтому и сильна. Так что даже в такой аберрационный контекст можно «вывернуть», скажем, персуазивные свои намерения осуществить.

Ну и желательную, совершенно оптативную реальность в политических текстах символизирует лексема «грезить», маркирующая именно ту часть аберративного дискурса, которая относится к будущему, к несбывшейся проекции оптимального развития событий: «Украинцев не то, что Гондурас, даже соседи не беспокоят, а о Европе смутно грезят как о рае, но без подробностей» и множество других примеров.

Аберрация происходит и на уровне текстуализации субъекта повествования, скажем, за счет нарушения лексико-грамматических, стилистических норм языка. Например, как в тексте Шендеровича, это один из любимых примеров. Сокращение форм склонения, спряжения (характерных для пародий на речь иностранцев) сигнализирует непонимание и этот аберративный контекст маркирует: «Я думал понимать читать по-русски, оказалось не понимать, смотреть бумага, тереть глаза, ехать крыша. Много букав…» — это одни из примеров текстуализации аберрационного контента.

В парадигме современной коммуникативной культуры, которая характеризуется не только тем, что я сказала, — сфокусированностью на социально-резонансных фактах, открытой социальной оценочностью, повышением эмоциональной плотности высказывания, установкой на раскрепощенность, языковую игру, но и иконизацией семиосферы, расширением визуальной культуры, — следует отметить также интерсемиотические или мультимодальные приемы указания на аберрацию критикуемого политического субъекта. Я здесь использую термин Сергея Эйзенштейна: «монтаж аттракционов», то есть фактически когнитивное сближение текстов, относящихся в данном случае к разным дискурсивным сферам-источникам. Например, серьезное политическое выступление перемежается с юмористическими миниатюрами. И вот этот второй текст, репрезентирующий комический дискурс, является отражением как бы в кривом зеркале дискурса аберративной серьезной политической коммуникации. Множество есть клипов, созданных в Интернете, они доступны и очень популярны, набирают большое количество просмотров. Одним из таких иллюстративных является, например, очень популярный ролик 2015 г. — «Кто лучший юморист: Путин или Карцев?», в котором синхронным переводчиком президента является юморист Роман Карцев, а сам ролик представляет собой нарезку чередующихся фрагментов пресс-конференции Путина 2014 г. и юморески Карцева 1990-х гг. на текст Михаила Жванецкого: «Здесь будет лучше. Но не сегодня, а завтра». Ну и закончить такое рассуждение о конструировании дискурса аберрации, напрямую связанного с реализацией стратегии дискредитации, хотелось бы словами философа-просветителя Вольтера: «Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, лишенными разума».

С. Т. ЗОЛЯН: Имеет смысл уточнить, что́ мы понимаем под аберрацией. В некоторых случаях это можно было понимать как метонимию — одно вместо другого, это можно понимать и как блендинг, когда у нас смешиваются два концепта, иногда — как абсурд. А в примере из Жириновского — это пример поэтического употребления, когда одновременно реализуются оба значения слова «голос». Определяя аберрацию как отклонение от нормы, вспомним, что любое творчество и есть отклонение от нормы. Приведу тезис Бориса Гаспарова: «Знание языка — это умение отклоняться от нормы».

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Это очень близко к остранению В. Б. Шкловского, к деконструкции Деррида. Когда Жак Деррида во второй раз приезжал в Питер, он говорил: «Я не понимаю, что вы все так носитесь с деконструкцией. Я же ничего нового не сделал, просто перевел термин Шкловского». Ерничал, конечно, но все же… Поэтому тут все крутится вокруг какого-то *différance*, какого-то накопления различности и различаемости.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: Проявление десемантизации я вижу, например, в высказываниях Черномырдина: «Я ничего не буду говорить, потому что опять что-нибудь скажу».

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Это не десемантизация, это одно из проявлений нонсенса, а нонсенс — это не бессмыслица, а умножение и факторизация смысла.

С. Т. ЗОЛЯН: Вы посмотрите с иной позиции: рассматривайте Черномырдина не как такого горе-оратора, а как новатора русского политического дискурса.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: Можно привести примеры из разных культурно-языковых сообществ: в России — это Черномырдин, в Польше — Валенса, на Украине — Кличко господствует в данный момент. В Америке — Буш, бушизмы. Но важно, что механизмы будут общими, то есть это в значительной степени алогизмы разного порядка. Но применительно к рассматриваемым нами механизмам текстуализации и смыслообразования интересно то, что одни такие аномальные, абсурдные высказывания уходят просто в небытие, а другие порождают обширнейшие тексты. Почему одни ими становятся? Что оказывается решающим: площадка тиражирования (медиа), а может статус самого субъекта говорящего?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Еще один аргумент, почему креативность в рекламе, сама реклама, брендинг, маркетинг работают именно на нахождении отклонения от нормы, стереотипа, который будет цеплять, привлекать внимание. Все построено на нахождении какого-то нетривиального цепляющего отклонения. Это именно *différance*, нахождение чего-то такого, что выводит за рамки привычного стереотипа в другие ассоциации и значения.

С. Т. ЗОЛЯН: Разумеется, важна также и конструируемая фигура говорящего. Так, Алексей Плуцер-Сарно [1999], характеризуя политиков как сказочных персонажей, описывал Черномырдина как Иванушку-дурачка, кото-

рый вроде бы глупости говорит, но на самом деле режет правду-матку. Именно за счет приписывания к высказыванию конструируемой фигуры говорящего возможна дополнительная семантизация, в том числе и вызывающая шок. Когда один из бывших функционеров КГБ говорил о спасении *висящей на крюке России*, он имел в виду альпинистский крюк и горноспасательные ассоциации. Однако его оппоненты интерпретировали образ висящей на крюке России как объект пыток со стороны соответствующего ведомства. Высказывание интерпретируется путем его соотнесения с автором, а лишь после этого с описываемой ситуацией. В данном случае любопытным и превратным (в этимологическом смысле слова — перевернутым) образом реализуется принцип романтической герменевтики «понять автора (лучше, чем он сам)».

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: К вопросу о нередкой квалификации информации как бредовой. Бред — это не просто фантазия, но и некая связная очень целостная целостная осмысленная картина мира. Человек может, исходя из этого бреда, объяснить все что угодно, в том числе, например, теорию заговора. Но назвать это «бредом» — это уже занятие некой оценочной позиции. С какой-то позиции — это бред, а с какой-то иной позиции — это новый взгляд на существующее. Одна из студенток, которая отвечала на экзамене на вопрос о плане Октябрьского вооруженного восстания, сказала, что он включал в себя захват мостов, вокзалов, телефона, телеграфа, банков и метро. Я спрашиваю: «Какое метро?», а она: «Как какое — Кировско-Выборгскую линию. «Почему?». Она говорит: «Как почему? Потому что она соединяет два пролетарских района города». Абсолютно осмысленная картина мира — на любой вопрос у нее будет ответ.

И тогда получается не столько семантика алетических модальностей, сколько эпистемическая семантика, потому что функционально знать «что?» — это привязка к субъекту. Там $Ka(p)$, где K — функтор знания субъекта a о p. А будет привязка к другому субъекту — будет $Kb(p)$. Поэтому то, что вы говорили о переходе между мирами, это не переход между мирами, это переход из одной предметной области (онтологии) в другую. Семантика возможных миров имеет привязку все-таки к одной онтологии, к одной предметной области. А у нас получается не только идентификация по описаниям состояния, а еще и квантификация по онтологиям, по разным предметным областям.

М. В. ИЛЬИН: А по онтологиям вы имеете в виду в строгом смысле?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Буквально в куайновском смысле: существует то, по чему пробегает связанная легенда. И мне кажется, что в этом плане можно говорить о следующем уровне квантификации — о квантификации по типам существования. Возможные миры относятся к определенному типу существования. Это альтернативные описания состояния одной и той же предметной области. Один из споров между Хинтиккой и Крипке сводился к вопросу отождествления сквозь миры: нужна ли каждый раз новая процедура иденти-

фикации предмета, прослеживающая его «сквозь миры». Согласно Хинтикке [Hintikka 1969; 1975] — да, а согласно Крипке [Kripke 1980; 2013], эту роль выполняют «жесткие десигнаторы» (например — указательные местоимения и имена собственные). В нашем случае, как я понимаю, мы претендуем на некий аппарат, который позволяет увязывать между собой совершенно разные типы существования или разные паттерны. У меня родился такой несколько странный термин или идея: то, о чем мы говорим, есть *паттернизация текстуализации смыслообразования*. Под паттернизацией имеется в виду привязка к совершенно разным рациональным контекстам и паттернам, будем называть их нормативно-ценностными системами с последующей уже потом конкретизацией, но фактически речь идет о паттернизации текстуализации. И такая паттернизация текстуализации с логико-семантической точки зрения является квантификацией по предметным областям.

С. Т. ЗОЛЯН: Несколько моментов, которые подтверждают эту точку зрения, но в то же время взывают к уточнению. Во-первых, это семантика пропозициональных установок, причем в интерпретации Хинтикки [Хинтикка 1980], которая позволяет рассматривать эти миры как совместимые с установками говорящего или, наоборот, не разрешает. Отсюда возможна ориентированная на говорящего типология онтологий, хотя я предпочитаю использовать куда более нейтральный термин «предметная область», который не влечет метафизических ассоциаций. Во-вторых, совсем необязательно, чтобы для системы (или модельной структуры — в смысле Крипке) этих возможных миров мы бы задали одну-единственную предметную область, потому что некоторый индивид из одного мира вовсе не обязательно должен существовать в других, тем самым, предметные области различных миров текста могут различаться.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Это и есть самое интересное, как из предметной области литературы предикаты переносятся в реальность. Или как предикаты из какого-то бреда вдруг переносятся в предметную область общего политического дискурса и начинают обсуждаться.

С. Т. ЗОЛЯН: Сказанное опирается именно на конкретные описания таких межмировых переходов — из миров литературы в действительные миры и обратно [Золян 2014в], а затем, уже на основе найденных моделей — уже на самоописание политических процессов, в частности ситуации вокруг Карабаха в 1918, 1921 и 1988 гг., как одни модально-темпоральные состояния мира отождествляются и переносятся из настоящего в прошлое [Золян 2014в; 2012]. Наибольший интерес представляет то, как субъекты подобных описаний рассматривают эти состояния одновременно и как одно и то же, и в тоже время — как не одно и то же (например, используя дихотомию “de facto — de jure”). Термин *паттернализация* представляется мне удачным — ранее при описании подобных явлений мы в нашем проекте использовали термины слова «механизм», а также «фреймы». *Паттернализация* позволяет их объединить.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: *Механизм* хорошее слово — что-то за что-то цепляет и что-то при этом происходит. Говоря о паттернализации, имеется в виду, что мы претендуем на квантификацию по предметным областям. Мы квантифицируем по разным паттернам. Получаются переходы не просто между описаниями состояния в рамках одной предметной области, но переходы между предметными областями: из мира искусства в мир политики, из мира политики в обыденное сознание…

С. Т. ЗОЛЯН: Чтобы логическим жаргоном не пугать, может вместо *квантификации* будем говорить о «прослеживании» сквозь возможные миры.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Не только сквозь миры, но и между предметными областями. Кроссонтологика. Это позволит выйти на следующий уровень: если Д. Льюиз и С. Крипке квантифицировали по мирам, привязанным к одной предметной области, ее состояниям, то мы предлагаем квантифицировать вообще по предметным областям. Здесь как раз очень важный момент перехода. Я на это наткнулся в связи с проблемой воли. Концептуализировать волю — это целая проблема. И мне в свое время очень помогло название книжки штангиста Ю. Власова «Формула воли — верить». Имеется в виду не вера конфессиональная, а некое приравнивание существования — как в задаче на нахождение: дано — известно что дано, требуется найти *x* (икс). Для решения ты допускаешь существование икса в той же степени, что и существование данных. Если ты не приравниваешь их по существованию, тогда задачка нерешаема.

С. Т. ЗОЛЯН: Икс, который мы должны приравнять к настоящему и будущему?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Да. В данном случае получается, что нужно допустить существование будущего, верить в него, и в рамках этой предметной области строить возможности перехода. И тогда ты просто консолидируешь ресурсы, ты находишь путь, решаешь задачу перехода в это будущее. Если ты не допускаешь его существование, то задача неразрешима. В этом плане, между ученым и матерью, которая ставит свечку, чтобы сын вернулся с войны, разницы нет. И в том, и в другом случае: и когда ученый ставит эксперимент, и когда мать ставит свечку — срабатывает один и тот же онтологический импульс: «Да будет так!» Вот это и есть то, что имел в виду Ю. Власов: «Да будет так!» Если не верю, не допускаю этого, что будет так, я не могу начать действовать.

С. Т. ЗОЛЯН: Ваш пример хорошо показывает зависимость планируемого действия от пропозициональных установок. Приведу обратный пример: в 2012 г. правящая в Армении партия вышла на выборы с лозунгом «Верь, чтобы изменить!». А поскольку ей уже никто не верил, то ничего не изменилось. Так что виноват оказался народ, а не партия.

По семантике и тем более прагматике высказывания о будущем могут смыкаться с перформативами. Так, еще Ясперс показал, как политическая

программа может маскироваться под прогноз: когда Гитлер говорил, что через пять лет в Европе не будет евреев, это был не прогноз, а программа, которую он реализовал. Мое утверждение «Завтра взойдет солнце» есть предсказание, которое формулируется аналогично перформативу: «Да будет свет!». Хотя на самом деле солнце взойдет, и вы можете поразиться силе моих слов: «Какой всемогущий человек! Сказал, что солнце взойдет — оно взошло». Если же я говорю: «Давайте завтра соберемся в десять часов», то в данном случае это уже получается приказ, чистый перформатив, но люди могут и не собраться, перформативная сила высказывания остается, но как предсказание оно окажется ошибочным.

В высказываниях о будущем содержится спектр возможных осмыслений, связанных с различной степенью проявления как перформативности, так и нарративности. Так, в ряде политических дискурсов будущее оказывается не проекцией черного настоящего, а золотого прошлого, должно быть восстановлено то, что было хорошим и справедливым состоянием мира. Это то, что принято называть восстановлением исторической справедливости. Во многих языках будущее — самое проблематичное время; нередко то, что описывают как будущее, есть различные типы модальности. В большинстве африканских языков отсутствует и такая форма будущего. Та или иная модальность присутствует в высказываниях о будущем даже в языках с развитой морфологической системой выражения будущего, например в русском.

Пропозициональные установки, о которых говорил проф. Г. Тульчинский, — они и основываются на модальности, и через понятие пропозициональной установки может быть осуществлен прямой выход на говорящего.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: У меня комментарий относительно перевода текста в поступок. Переход текста в поступок — тема в духе практических рассуждений Аристотеля. В «Никомаховой этике» Аристотель приводит пример практического силлогизма: из посылок «Все вкусное нужно есть» и «Это яблоко вкусное» следует не то, что это яблоко нужно съесть, а само съедание яблока — некое действие [Аристотель 1983: 87]. Нужна не просто иллокутивная сила, а такая, которая переходит в некоторое действие. Для меня за этим начинается проблема воли или насилия, потому что переход может быть либо за счет принуждения, либо за счет свободной воли. Если все сладкое ты должен есть, то — ешь. Это в духе Бармалея из фильма «Айболит 66»: «Я всех сделаю счастливыми, а кто не хочет, того в бараний рог сверну, в порошок сотру и брошу акулам». Или это свободная воля, если она есть. Мне кажется, что я принимаю решение.

Вы говорили о том, что перформатив — это некий акт, это текст вместе с автором, а нарратив — это просто текст. В данном случае мы в процессе общего рассуждения пришли к тому, что, в конечном итоге настоящее является ключевым моментом, а дальше мы к этому сущему применяем различные оценочные, воображаемые объекты. В этом плане это действительно управ-

ление настоящим. Но тогда у меня вопрос: чем тогда смысл отличается от мотивации? А мотивация, согласно фон Вригту, — это не причина поступка, а его объяснение. Это значит, что мотивация есть диспозиционное качество, которое проявляется в момент его проявления. Как можно выяснить, сладкое это или несладкое? Попробовать на вкус? Как можно выяснить, это растворимое или нерастворимое? Бросить в воду. Как можно выяснить, ведьма женщина или не ведьма? Камень на шею и — в воду. Утонула, значит, нормальная была, если всплыла — ведьма... И тогда получается, что мотивация — это поздняя рационализация. И при некотором интеллектуальном усилии всегда можно найти еще более глубокую мотивацию. Когда судят человека, его судят не за действие, а за мотивацию. Есть мотивация отягчающая, есть облегчающая, может быть отсутствие мотивации — состояние аффекта, он за себя не отвечал, он был невменяемый. Тогда получается, что наши попытки нарративизировать перформативы — это всегда попытки поздней, иногда защитной, иногда обвиняющей рационализации. Задним числом, постфактум.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: При переводе текста в поступок, как мне кажется, ключевыми будут категории прагматики. Например, разграничение прямых и непрямых речевых актов, потому что одно дело, это сказать: «Закрой окно». Но если я войду в помещение и скажу: «Ну и холодина!» или «Сибирь просто настоящая!», то не каждый прочитает это как просьбу закрыть окно, и не каждый ее выполнит. То есть этот текст не будет переведен в поступок, если не прочитают правильно непрямой речевой акт.

С. Т. ЗОЛЯН: Это может быть описано как коммуникативная неудача, которая возможна и при прямом коммуникативном акте. Например, я скажу: «Закрой окно», а мне ответят: «А ты кто такой?». То есть возможен уход в область соответствующих социальных условий. Но можно рассматривать и поступки, и их мотивацию как находящиеся в едином пространстве текстов. Рассматривая смысл как слова, так и поступка я предполагаю определенную текстуализацию. Я поступок описываю как текст, я намерение описываю как текст, и для меня это сопряжение двух текстов. Для меня вопрос — как описать это сопряжение, и для меня как лингвиста проще оперировать текстами и искать связи между ними, а не между тем, что они описывают. Я перевожу поступки в их описания, и поэтому для меня поступка как такового, независимого от его описания, не существует. Соответственно, в зависимости от описания будут отличаться и объяснения.

Вероятно, следует установить некоторую иерархию между этими объяснениями и описаниями. Например, можно, как предлагает Григорий Львович, смысл ассоциировать с мотивацией, а мотивацию — с объяснением. Или, что обстоятельно разграничивает Джон Серль, — это различие между интенцией и каузальностью. Он подробно описывает, как Гаврила Принцип задумал убить эрцгерцога, что было базовым действием, что производным. Так, он перепутал улицы, но это же сделал и шофер эрцгерцога, так что Гаврила со-

вершил то, что он задумал, но не так, как он задумал. Далее, поскольку Гаврила был плохой стрелок, то, по Серлю, он совершил ряд связанных действий: поднял пистолет, прицелился, нажал на курок, тогда как для опытного стрелка это было одним действием. Намерением Гаврилы было не столько убить эрцгерцога, сколько поднять сербское восстание, но не спровоцировать мировую войну. Так что если считать, что выстрел Гаврилы стал причиной Первой мировой, то это никак не входило в его намерения, более того, никто не мог бы предсказать ход событий, последовавших после выстрела Гаврилы, например революцию в России [Searle 1980: 64—65].

Дж. Серль очень подробно рассматривает связь между различными действиями (каузальную, интенциональную) и состояниями и показывает различия между интенциями, причинами и поступками (действиями). В другом месте он приводит пример Д. Беннета и Д. Дэвидсона: Джо замыслил убийство Билла, они охотятся на кабанов, Джо стреляет в Билла, но, поскольку он плохой стрелок, он попадает в кабана. А разъяренный кабан, увидев, что в него целится Билл, нападает и убивает этого Билла, что и замыслил Джо. Теперь как понять: это сознательное убийство, это несознательное нечаянное убийство, или же несчастный случай и кто здесь убийца? [Searle 1980: 68—69]. Или же другой пример — что считать действием: на аукционе я случайно поднял руку, а мне говорят «Плати! Нам нет дела, было ли твое действие намеренным или нет».

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Продолжая эту тему… Когда, например, в биатлоне стрелок выезжает на стрельбище — что он делает: он, сдерживая дыхание, сгибает палец, или он нажимает на курок, или он целится и хочет попасть, или он хочет выиграть соревнования, и наконец-то купить квартиру и наконец-то жениться? И это возникает вопрос глубины анализа и интерпретации. Но не только: это задача профессиональной подготовки, тренинга — перевести человека, его физические действия в автоматический режим, чтобы он ставил задачи дальние-дальние, не думая о сгибании пальца, дыхании и т. п.

Можно выделить три уровня нарратива. Первый — это фактология, просто факты, перечисляются факты. Следующий — это каузальный, или детерминация: почему это произошло, строится взаимосвязь между фактами. Но рано или поздно появляется необходимость в третьем нарративе — для чего и зачем? В науке — как в детективе — появляется Пуаро, появляется заключительный рассказ мисс Марпл, которые говорят, что же за всем этим стоит, чей же замысел здесь реализован. Потому что вроде каузальность есть, но какие-то разрывы между фактами. В принципе, и различие между *humanities* и *science* в том, что *science* останавливается на втором нарративе, выстраивая каузальные цепочки и выстраивая некий пазл. Но какой-то замысел за этим стоит, и для этого возникает необходимость вменяемого субъекта, который имел некий план. В *science* это тоже есть, но в контексте (обоснование актуальности проблемы, актуальности задачи, выбор методов), и в конце все равно будет интерпретация, как и практическое значение исследования. Это тоже нарратив третьего уровня.

Поэтому мне кажется, что наш разговор вращается все больше и больше вокруг нарратива третьего уровня — зачем, в каком практическом контексте и в контексте какой практики это рассуждение строится. Эти три нарратива, хорошо коррелируют с моделью науки у Й. Галтунга [Galtung 1977] в виде треугольника между фактом, целью (или ценностью) и теорией. Отношение между теорией и фактом — это эмпиризм, позитивистская часть науки, когда есть плоскость фактологии и плоскость теории, и ты переходишь с помощью верификации и фальсификации. Отношение между фактом и целью — это критика, без которой наука не обходится. И отношение между целью и теорией — это конструктивизм, выстраивание некой модели. Это те же три нарратива.

С. Т. ЗОЛЯН: Это не только три нарратива, это еще и три структурных типа нарратива. Вспомним известный пример — у трех рабочих спрашивают: «Что ты делаешь?». Первый отвечает: «Не видишь, камни таскаю» (это — наблюдаемое действие). Второй: «Деньги зарабатываю» (субъективная цель, известная только ему, он описывает ее, а не свои действия). Третий гордо отвечает: «Строю Шартрский собор» (это и интенция, и цель, и описание своих интенций и действий, но это высказывание не выводится из наблюдаемого действия, а предполагает некоторое предвидение будущего). Ситуация подгоняется под один из этих трех типов нарративов. Человек, который тащит камни, может даже не знать, что он строит. Должен быть определенный план. А план — это знак будущего в настоящем. В данном случае это будущее должно быть зафиксировано в чертеже, который станет собором в будущем.

Поэтому я бы поостерегся говорить о *замысле,* о том, что, как нам кажется, думает индивид, если отсутствует какая-либо знаковая репрезентация замысла. Потому что у нас нет никакой репрезентации. Мы, конечно, можем гадать, с какой целью тот или иной поступок был совершен, но для этого нужно создать текст. Или же применительно к тексту — мы не можем знать, что имел в виду Пушкин, когда писал то-то и то-то, но у меня есть целый набор интерпретаций того, что якобы думал Пушкин, когда писал то-то и то-то. И я рассматриваю эти зеркала, которые создают стереометрический образ. А что реально думал Пушкин, — еще Лев Выготский об этом писал: представьте, что мы нашли документ, где сказано, что имел в виду Шекспир, создавая образ Гамлета, — неужели тогда бы прекратился бы имеющий многовековую историю процесс интерпретации «Гамлета»?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Несколько слов относительно культуры, потому что для меня культура — это некая машина осмысления, это то, что порождает осмысление. По Лотману культура — система внегенетического наследования информации о поведении. Другими словами — система порождения, отбора, хранения и трансляции социального опыта. Для нашего анализа это система моделей, паттернов, определяющих сознание и определяющих поведение. В этом плане культура выступает не только как мера усвоения действительности и мера социализации, но и как мера осмысление действительности, упорядочивания картины понятного мира.

Любая деятельность предполагает цели, некий желаемый результат, правила его достижения и средства. И культура она состоит из ценностей, норм и знаков. Это для меня некий исходный бэкграунд, он должен включать знаки культуры: это первичные знаки культуры — ее артефакты; и вторичные знаки вплоть до символов и языка.

Язык — это не только коммуникация, это и знаки знаков, это путеводитель по культурам. Прежде чем войти в какую-нибудь культуру, надо освоить ее язык. Очень любопытная концепция языка была у Бориса Фёдоровича Поршнева. Согласно Поршневу, язык существует не для передачи мысли, а для того, чтобы добиться цели [Поршнев 2007: 87—207]. Когда я подхожу к окну и говорю: «Смотрите, солнце взошло», имеется в виду не просто, что я делюсь радостью узнавания («Смотри-ка! Солнце опять взошло!»), а, значит, я обращаюсь к ближнему, может быть, к жене: «Вставать уже пора!», «Кофе варить пора!», или еще что-нибудь. Вне управленческого контекста, вне контекста коммуникации бессмысленно говорить об использовании языка.

В этой связи я давно позволил себе такую экстракцию из идей много кого. Если рассматривать любой элемент культуры, различая означающее и означаемое, под означающим можно понимать некую материальную форму знака, а в означаемом — различать социальное значение и личностный смысл. Для характеристики их отношений можно воспользоваться аналогией. Так, если взять два треугольника, образованных от пересечения двух отрезков, то эти треугольники могут быть разными по площади и конфигурации, но у них будут две общие характеристики: вершины в точке пересечения отрезков и размер углов при этих вершинах. Аналогично и при коммуникации у людей могут быть самые различные личностные смыслы, но сама коммуникация, понимание возможны при наличии знака (вершины в точке пересечения) и некоего инвариантного социального значения. Я скажу «лето» и для кого-то это Майорка, для кого-то Канары или еще что-нибудь; для кого-то это ягоды, грибы; а для кого-то огород-огород-огород. Личностные смыслы разные, но мы понимаем, что речь идет о наиболее теплом времени года в северном полушарии.

В свою очередь, в социальном значении можно находить предметное значение (о чем идет речь?), функциональное смысловое значение, а в личностном смысле можно выделить оценочное отношение и переживание.

Все это является фактически проявлением деятельности. Предмет деятельности, социальное значение этой деятельности, некое оценочное отношение к ней и ее переживание. Если представить эти компоненты в виде матрешки, то переход от материальной формы к переживанию будет процессом распредмечивания, понимания смысловой структуры опыта, а обратный переход от переживания к материальной форме знака — опредмечиванием, воплощением опыта. Понимание любого явления может быть реализовано на любом из этих уровней. Например, осмысляя вот этот стол: я понимаю, что

это такое тут стоит, дальше я понимаю, какой это стол, в какой системе паттернов активного опыта он используется (это учебный стол, игровой стол или еще что-нибудь), дальше я могу понять автора этого стола, его отношения к нему, старание или нет и в конце концов даже сопережить его опыту. Эти уровни — они же и уровни герменевтики.

Можно эту модель назвать глубокой семиотикой (deep semiotics), дополняющей классическую семиологию, восходящую к французскому структурализму, и семиотику, восходящую к американскому прагматизму и в алгебре отношений Чарльза Пирса.

Глубокая семиотика восходит к традиции немецкой учености, к Гумбольдту, к Фосслеру, и к той традиции, которая продолжилась в России (Потебня, Марти, Лосев), с элементами влияния имяславцев — включения в семиотический анализ личности. Почему глубокая? Потому что личность является источником, средством, результатом осмысления. Вне личности культуры нет. Всякая культура оживает, когда появляется носитель культуры. Когда появляется археолог, он что-то домысливает, он сопереживает носителям этой культуры и, таким образом, восстанавливает какую-то смысловую структуру их опыта.

Ключевую роль в нашем контексте играет смысловое функциональное значение, некие способы деятельности, некие социальные способы деятельности, некие паттерны или нормативно-ценностные системы (НЦС). Любая культура, любая субкультура является НЦС. Язык — это тоже НЦС, потому что у него есть цель, и средства, у него есть те способы организации, которыми он реализуется. В этой связи структура воплощенного замысла предполагает нормативно-ценностный синтез знания реальности, знания о должном и знания возможностей (программы реализации).

В обыденном сознании это происходит в синкретичной форме. Ребенок познает мир не в понятиях, он познает его в идеях, для него стол — это и программа деятельности, и определенная ценность, он еще его и обыгрывает: и как магазин, и как космический корабль, как что угодно. В более зрелых формах, опять же, мы имеем дело с идеями. Например, идеи либерализма — это что? Это определенные представления о сущем, это определенные представления о должном и определенные представления о программе деятельности, как сущее привести в соответствие с должным. Идеи коммунизма — то же самое, идея относительности — то же самое.

В науке эти три аспекта аналитически сепарируются. Мы предпочитаем иметь дело не с идеями, а с понятиями, которые безоценочны, которые можно тематизировать, концептуализировать и операционализировать, и, таким образом, верифицировать или фальсифицировать. Но тем не менее наука все равно погружена в оценочный и нормативный контекст (третий нарратив) — хотя бы на стадии формулировки актуальности проблематики, а потом — в обосновании практического значения разработки. В любой программе исследования, в заявке на грант, в тексте публикации это присутствует.

И этот нормативно-ценностный синтез, и соответствующие НЦС проходят стадии институционализации. Например: мы вчера на эту тему спорили, после мне в голову пришла идея, и дальше при наличии общения она становится каким-то общим пониманием, при регулярном общении формируется неформальная группа. Дальше появляются лидер, вербовка, программа, сплоченная группа и, наконец, социальное признание, официальный статус, медиа, финансирование — и мы имеем дело с социальным институтом. На первой стадии ведущая роль у личностного смысла и неформальных отношений, на второй стадии — социального значения, и на третьей — формальных отношений.

Важно, что в этом процессе ключевую роль играет коммуникация и соответствующие тексты, нарративы. Таким образом, коммуникация определенной интенсивности, регулярности и упорядоченности играет ключевую роль как в институционализации, так и в порождении института. Не только институты задают коммуникацию, но и коммуникация порождает институты в результате ее упорядоченности, интенсивности. В этом плане это для нас особая какая-то веточка, как мне кажется, важная и интересная. Роль коммуникации и социальной семиотики, не только учитывая институциональную среду, но и формирование этой среды, ее постоянное переформатирование. В этой связи я и пришел к идее паттернизации текстуализации смыслов. Но для меня ключевой момент — это личностный смысл, роль личности и оценочного отношения. Оценка — это то, что определяет занятие позиции в смыслообразовании. Субъект осмысления, автор, его позиция — она задается оценкой.

С. Т. ЗОЛЯН: Это скорее интерпретатор.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Да, интерпретатор, вменяемый субъект.

С. Т. ЗОЛЯН: Автор — это субъект текстуализации.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Ответственный, тот, кому вменяется. В конечном счете он занимает какую-то позицию, а эта позиция с неизбежностью носит оценочный характер, порождается какое-то отношение к чему-то. И оценка всегда эмоционально нагружена. Это эмоциональный фактор смыслопорождения. И иллокуция, помимо прочего, — это зарождение определенных эмоций и отношений. Вот перформатив связан с какой-то эмоциональной разрядкой. Мне кажется, может оказаться любопытной роль оценки в смыслообразовании и типологизация таких оценок. Эта паттернизация может быть связана, с определенной оценочной позицией.

На основе того, что прозвучало в нашей дискуссии, у меня получилась модель паттернов смыслообразования — как некоего пространства, образованного двумя осями. Вертикальная ось — соотношение социального и личностного, горизонтальная — эмоциональная (сила и качество эмоций). Точка их пересечения — исток любой культуры, табуирование, запрет на что-то. Вокруг нее задается зона нормативности. В этом пространстве могут быть обозначены паттерны героизма, ликования, скорби, ужаса, осмеяния, важные для смыслообразования в реальной культуре.

Как решать задачу нормативно-ценностного синтеза знания, оценки и нормы — другими словами, модальностей сущего, должного и возможного? Можно с помощью описания состояния и вычеркивания невозможного, нежелательного и несоответствующего реальности. Во-вторых, можно с помощью модальной системы, квантификации по мирам, по предметным областям.

С. Т. ЗОЛЯН: Вот во всей этой семиотике где у вас знак?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Любой элемент культуры — знак, с которым связан текст.

С. Т. ЗОЛЯН: Давайте посмотрим с точки зрения семиотики. Знак — то отношение между означаемым и означающим, которое имеет социальное значение и личностный смысл. Уточним: социальное значение — это ведь тоже оценочное значение, оно же и смысловое отношение. Социальное значение — это также отношение сопереживания, но уже в социальном контексте. Здесь личностный смысл приобретает коллективность («соборность») и контекстуальную прагматику (напр., к шпиону мы должны испытывать личную неприязнь, вспомним и практику «пятиминуток ненависти»). Как видим, мы приходим к тому, с чего начали — к тому, насколько связаны «смыслы в жизни» и «смыслы в языке». Сделав этот круг, мы вместе с тем выявили факторы — перформативные и нарративные — которые обеспечили эту связь, манифестируя ее в текстах («смысл в тексте»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Авдонин В. С. Методологическая интеграция науки // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2014. № 4. С. 12—32.

Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности. Статья первая // Новый мир. 1988. № 7. С. 210—220.

Авросин С. В. Напряженность в рекламном тексте // Речевое воздействие: психологический и психолингвистический аспекты. М. : Изд-во МГУ, 1986. С. 131—146.

Агеева Н. А. Наррация и анарративность в монодраме Я. Пулинович «Наташина мечта» // Научный диалог. 2015. № 12 (48). С. 151—160.

Агеева Р. А. Страны и народы: Происхождение названий. М. : Наука, 1990. 256 с.

Айзенберг М. Власть тьмы кавычек // Знамя. 1997. № 2. С. 214—221.

Аксакова В. С. Дневники. Письма / сост., подгот. текстов, вступ. и сопровод. ст., коммент. Т. Ф. Пирожковой. СПб. : Пушкинский Дом, 2013. 626 с.

Алпатов В. М. О двух подходах к выделению основных единиц языка // Вопросы языкознания. 1982. № 6. С. 66—74.

Алпатов В. М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. 1993. № 3. С. 15—26.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М. : КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 288 с.

Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М. : Идея-Пресс, 2003. 360 с.

Анкерсмит Ф. Р. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности. М. : ИД Высшей школы экономики, 2014. 432 с.

Антокольский М. М. Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи / под ред. В. В. Стасова. СПб. ; М. : Издание т-ва М. О. Вольф, 1905. 1046 с.

Антоновский А. Ю. Вместо заключения: смысл как коннективный механизм в языке, сознании и коммуникации // Антоновский А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных систем / Рос. акад. наук, Ин-т философии. М. : ИФРАН, 2007. С. 95—122.

Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). М. : Просвещение, 1966. 305 с.

Арендт Х. Vita Activa, или О деятельной жизни / пер. В. Бибихина. М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. 416 с.

Аристотель. Никомахова этика // Соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1983. Т. 4. С. 173—174.

Аристотель. Метафизика. М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 232 с.

Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике. М. : Высшая школа, 1991. 140 с.

Артемова Е. А. Карикатура как жанр политического дискурса : дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2002.

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М. : Наука, 1976.

Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. М. : Сов. энциклопедия, 1990. С. 136—137.

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М. : Новое литературное обозрение, 2014. 328 с.

Аташева К. Косплей как стиль жизни // Портал «Мир фантастики». URL: https://www.mirf.ru/geek/kospley-chto-takoe (дата обращения: 05.03.2018).

Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Новосибирск : Сибирский хронограф, 1998. 804 с.

Ачкасов В. А. Национал-популизм в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы: причины роста электоральной поддержки // Вестник МГИМО-Университета. 2011. №3. С. 145—149.

Бадью А. Метаполитика: можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М. : Логос, 2005. 240 с.

Балалуева И. Медиаобраз и социообраз: процессы взаимоуправления в информационном обществе // Право и управление. XXI век. 2014. №4 (33). С. 86—91.

Баранов Н. А. Возрождение популизма: европейский опыт и российские практики // Вестник СПбГУ. 2015. №3. С. 25—36.

Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс : Универс, 1989. С. 72—130.

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс : Универс, 1994. С. 384—391.

Барт Р. Общество, воображение, реклама // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 512 с.

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М. : Художественная литература, 1975. 504 с.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979.

Безотосный И. А. Позитивный имидж России : дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2011. 151 с.

Беловодская А. К вопросу о методике анализа медиаобраза (на примере анализа корпуса интернет-мемов, эксплицирующих медиаконцепт «Путин») // Przegląd Rusycystyczny. 2016. №4 (156). С. 118—131.

Белоусова Ю. В. Медийный образ как средство коммуникации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота. 2012. №12 (26). С. 27—31.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М. : Прогресс, 1974. 477 с.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / перевод Е. Руткевич. М. : Медиум, 1995. С. 20—66.

Бершидский Л. Москва похожа на Мордор, Украина — на страну хоббитов. 02.05.2013. URL: https://censor.net.ua/resonance/240801/moskva_pohoja_na_mordor_ukraina_na_stranu_hobbitov (дата обращения: 19.08.2018).

Бершидский Л. Популистская революция в Европе? Пока еще нет // Bloomberg View. 2016. URL: https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-11-14/europe-won-t-see-a-populist-trump-like-revolution-just-yet (дата обращения: 22.12.2017).

Бестужев Н. Записки о Голландии 1815 г. СПб. : Тип. Императорского воспитательного дома, 1821. 122 с.

Бобриков А. А. Другая история русского искусства. М. : Новое литературное обозрение, 2012. 744 с.

Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М. : Искусство, 1971. 510 с.

Богдан Е. Н. Медиаобраз России как понятие теории журналистики // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2007. №4. С. 122—127.

Бодрийяр Ж. Система вещей. М. : Рудомино, 1995. 168 с.

Бодуэн де Куртенэ И. А. Язык и языки // Энциклопедический словарь. СПб. : Изд-во Брокгауза и Ефрона, 1904. Т. 81. С. 528—549.

Бодуэн де Куртенэ И. А. Языкознание // Энциклопедический словарь. СПб. : Изд-во Брокгауза и Ефрона, 1904. Т. 81. С. 517—527.

Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов. М. : Новое литературное обозрение, 2013. 576 с.

Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 1998. 1536 с.

Борисенко И. В. Национальный образ России: философско-культурологический анализ : дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2008. 136 с.

Бочкарева Н. 4 страны, которые не существуют. URL: http://fb.ru/post/destinations/2016/2/8/4077 (дата обращения: 19.08.2018).

Бугорская Н. В. Антропоцентризм как категория современного языкознания // Вопросы психолингвистики. 2004. №2. С. 18—25.

Булгаков С. Н. Философия имени. СПб. : Наука, 2008. 448 с.

Бурдье П. Формы капитала // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / под ред. В. В. Радаева. М. : РОССПЭН, 2004. С. 519—536.

Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб. : Алетейя ; М. : Институт экспериментальной социологии, 2005. 567 с.

Бурдье П. Социология социального пространства. СПб. : Алетейя ; М. : Институт экспериментальной социологии, 2007. 288 с.

Бухарин С. Н., Цыганов В. В. Методы и технологии информационных войн. М. : Академический проект, 2007. 382 с.

Быстрова Т. Ю. Аксиология бренда: к методологии культурного брендинга территории // PR в изменяющемся мире: Региональный аспект : сб. ст. / под ред. М. В. Гундарина, А. Г. Сидоровой, Ю. В. Явинской. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. Вып. 9. С. 85—95.

Бэкон Ф. Новый Органон, или истинные указания для истолкования природы // Соч. : в 2 т. М. : Мысль, 1978. Т. 2. С. 7—214.

Бюлер К. Теория языка: репрезентативная функция языка. М. : Прогресс, 1993. 501 с.

Вазов И. Под игом / пер. с болг. ; сост. и вступ. ст. Н. Симакова; прим. Н. и К. Державиных. М. : Правда, 1985. 512 с.

Ванова А., Палагина И. Шок, эпатаж и провокация как методы влияния: PR, реклама, журналистика // Рекламодатель: теория и практика. 2011. №12. С. 25—33.

Варенцова О. В. Три волны популизма в Латинской Америке // Вестник МГИМО-Университета. 2014. №6. С. 153—160.

Вартазарян С. Р. От знака — к образу. Ереван : Изд-во АН Армянской ССР 1973. 200 с.

Василий Верещагин : альбом / отв. ред. Т. Л. Карпова ; сост. каталога С. Л. Капырина, Л. А. Торстенсен. М. : Государственная Третьяковская галерея, 2018. 416 с.

Васильев А. Memory studies: единство парадигмально-многообразных объектов. (Обзор англоязычных книг по истории памяти) // Новое литературное обозрение. 2012. №5 (117). С. 461—480.

Вдовиченко А. В. О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии. 2016. № 6. С. 164—175.

Вебер М. Основные социологические понятия // Избр. произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 602—643.

Венедиктов С. В. Социальная реклама здорового образа жизни в медиасфере Беларуси // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2016. № 3 (20). С. 44—50.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М. : Высшая школа, 1991. 207 с.

Верещагин В. В. На войне в Азии и Европе. С рисунками художника В. В. Верещагина. М. : Типо-литогр. Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1898. 397 с.

Верещагин В. В. [*мл.*] Воспоминания сына художника / предисл. В. Оссовского ; вступ. ст. А. Лебедева. Л. : Художник РСФСР, 1982. 182 с.

Веселов Ю. В. Доверие и справедливость. Моральные основания современного экономического общества. М. : Аспект-Пресс, 2011. 231 с.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М. : Изд-во иностранной литературы, 1958. 131 с.

Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. М. : Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 75—320.

Власенко И. С., Кирьянов М. В. Информационная война: искажение реальности. Ярославль : Канцлер, 2011. 196 с.

Волков Ю. Г., Нечипуренко В. Н., Самыгин С. И. Социология: история и современность. 1999. URL: http://lawbooks.news/sotsiologiya_910_912/vilfredo-pareto-logika-33494.html (дата обращения: 22.12.2017).

Волконский Н. Л. История информационных войн : в 2 т. СПб. : Полигон, 2003. Т. 2. 736 с.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М. : Изд-во Акад. пед. наук, 1960. 500 с.

Выготский Л. С. Психология искусства. М. : Искусство, 1968. 576 с.

Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. М. : Педагогика, 1983. Т. 3 : Проблемы развития психики. 368 с.

Выготский Л. С. Мышление и речь. М. : Лабиринт, 1999. 352 с.

Галинская Т. Н. Понятие медиаобраза и проблема его реконструкции в современной лингвистике // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 11 (160). С. 91—94.

Галумов Э. А. Международный имидж современной России (Политологический анализ) : дис. ... д-ра полит. наук. М., 2004. 433 с.

Герасимов С. В. Замыкая круг манипуляций // Философские науки. 2015. № 5. С. 34—41.

Герасимов С. В. Массовые праздники и социальное партнерство. СПб. : Алетейя, 2016. 138 с.

Герасимов С. В. Событие как управленческая функция генерации социальной реальности // Человек. Культура. Образование. 2017. № 1 (23). С. 68—83.

Гидденс Э. Последствия современности / пер. с англ. Г. К. Ольховикова, Д. А. Кибальчича. М. : Праксис, 2011.

Гирц К. Интерпретация культур. М. : РОССПЭН, 2004. 560 с.

Глазунова С. М., Тульчинский Г. Л. Парадоксальность «информационных войн» как репрезентации конфликтов в современном обществе: в поисках «постинформационного Третьего» // Модернизация как управляемый конфликт. М. : Изд. Дом «Ключ-С», 2012. С. 333—338.

Глинка К. Теория юмора. URL: https://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/laughter/laughter5.php (дата обращения: 19.08.2018).

Гольдштейн С. Н. Из истории создания картины К. А. Савицкого «На войну» // Искусство. 1957. № 4. С. 62—65.

Горбачева О. Н. Текст социальной антикоммерческой, социально-коммерческой и социальной интернет-рекламы чистого типа в структурно-функциональном аспекте : дис. … канд. филол. наук. Кемерово 2014. 186 с.

Горный Е. Что такое семиотика? // Радуга (Таллинн). 1996. № 11. С. 168—175.

Гравер А. А. Образ, имидж и бренд страны: понятия и направления исследования // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 3 (19). С. 29—45.

Грачёва А. М. Правдивые приключения и необыкновенные книги «русского дома» (Василий Иванович Немирович-Данченко) // Немирович-Данченко В. И. Цари биржи. Каиново племя в наши дни. Сластеновские миллионы / вступ. ст., сост., примеч. А. М. Грачёвой. СПб. : ООО «Политграф», 2013. С. 5—22.

Громыко А. А. «Новый популизм» и становление постбиполярного мирового порядка // Современная Европа. 2016. № 6 (72). С. 5—10.

Гузикова М. В. «Тотальная мобилизация» Эрнста Юнгера как проект модерности: историческая реконструкция и интерпретация : дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2004. 166 с.

Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М. : Прогресс, 2000. 400 с.

Гуссерль Э. Логические исследования / пер. с нем. В. И. Молчанова. М. : Академический проект, 2011. Т. 1, ч. 1 : Исследования по феноменологии и теории познания. 256 с.

Дамасио А. Так начинается «я». Мозг и возникновение сознания. М. : Карьера Пресс, 2018. 384 с.

Данилина Н. Шоковая терапия ГИБДД. 2008. URL: http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_ID=4922&SECTION_ID=107 (дата обращения: 20.07.2017).

Данто А. Аналитическая философия истории. М. : Идея-Пресс, 2002. 292 с.

Дейк Т. ван. Дискурс и власть. М. : URSS, 2013. 344 с.

Делёз Ж. Кино / пер. Б. Скуратова. М. : Ad Marginem, 2016. 560 с.

Демьянков В. З. Фреймовая семантика // Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. М. : Филол. ф-т МГУ, 1996. С. 189—191.

Деррида Ж. О грамматологии / пер. Н. Автономовой. М. : Ad Marginem, 2000. 520 с.

Дмитриева Л. М. Социальная реклама. М. : Юнити-Дана, 2009. 336 с.

Дойчман П. «Коммуникация», «культура» и «общество» в теории систем Никласа Лумана // Пересекая границы: межкультурная коммуникация в глобальном контексте : сб. матер. I Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. Г. Брагина, А. Г. Жукова. М. : Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2018. С. 87—89.

Драгоманов М. П. Турки внутренние и внешние: Письмо к издателю «Нового времени» / [Соч.] М. Драгоманова. Genève ; Bâle ; Lyon : H. Georg, 1876. 30 с.

Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы. 1995. URL: http://socioline.ru/files/5/50/zhan-mari_dryu_-_lomaya_stereotipy.pdf (дата обращения: 01.08.2021).

Дускаева Л. Р. Речевая структура новостных текстов сетевых изданий // Вестник Пермского университета. 2014. № 1 (25). С. 179—183.

Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. М. : Прогресс, 1960. Вып. 1. С. 264—389.

Ельницкий Л. А. Древнейшие океанские плавания. М. : Географгиз, 1962. 86 с.

Есильбаева А. Основные признаки поликодового текста // Вестник Казанского национального технического университета. 2011. №36. С. 98—101.

Желтов М. Сложный выбор между евроскептиками, борцами за права животных и сторонниками Эрдогана // «ИзбирКом». 2017. URL: http://izbircom.com/2017/04/04/нидерланды-сложный-выбор-между-еврос/ (дата обращения: 22.12.2017).

Желтухина М. Р. Комическое в политическом дискурсе (на материале немецкого и русского языков) : дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2000. 251 с.

Женетт Ж. Границы повествовательности // Женетт Ж. Фигуры. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 1. 470 с.

Жуков Л. Б. Философская схема Лумана: Опыт философской интерпретации общей теории систем Никласа Лумана. М. : URSS, 2019. 248 с.

Журавская И. Л. и др. «За други своя»: К 140-летию войны за освобождение Болгарии. 1877—1878 : каталог выставки / авт. выставки И. Л. Журавская ; авт.-сост. И. Л. Журавская, Е. В. Колганова, Г. С. Марштупа ; вступ. статьи В. М. Бокова, И. Л. Журавская, К. Г. Игошин, Е. В. Колганова. М. : Гос. ист. музей, 2017. 336 с.

Завадская А. В. Эпатаж как способ речевого воздействия в современных рекламных текстах // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2013. Т. 2, №6. С. 57—61.

Загибалова М. А. Феномен карнавализации современной культуры : дис. … канд. филол. наук. Тула, 2008. 154 с.

Зегерт Д. Трансформация и развитие партий в Восточной Европе после завершения переходного десятилетия // Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства : сб. ст. / ред.-сост. Е. Ю. Мелешкина, Г. М. Михайлова. М. : ИНИОН, 2009. С. 20—43.

Зерчанинова Т. Е. Социология. Словарь. Екатеринбург, 2006. URL: http://voluntary.ru/dictionary/1107 (дата обращения: 19.08.2018).

Зинкевич О. В. Локализация как процесс лингвистической трансформации структуры и содержания динамического текста // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. №3 (111). С. 135—137.

Зинченко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М. : Изд-во УРАО, 2000. 208 с.

Золян С. Т. О семантике поэтической цитаты // Проблемы структурной лингвистики. 1985—1987. М. : Наука, 1989. С. 152—165.

Золян С. Т. Семантические аспекты поэтики адресата // Res Philologica (Филологические исследования). Памяти акад. Г. В. Степанова 1919—1986. М. ; Л. : Наука, 1990. С. 351—356.

Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текста. Ереван : Изд-во Ереванского ун-та, 1991. 316 с.

Золян С. Т. Описание регионального конфликта как методологическая проблема // Полис. 1994. №2. С. 131—142.

Золян С. Т. Семиотика и семантика исторического дискурса // Интерпретация. Понимание. Перевод. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2005. С. 65—73.

Золян С. Т. Язык и политическая реальность: перечитывая Орвелла // Язык, общество, коммуникация (Ереван). 2010. №1. С. 23—33.

Золян С. Т. Логика предпочтений и решение конфликтов (на примере Карабахского конфликта) // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2012. №3. С. 39—67.

Золян С. Т. Текстоцентричная семантика и теория перевода // Иностранные языки в высшей школе. 2013. №2 (25). С. 11—18.

Золян С. Т. Модальная семиотика: основания и обоснования // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2014а. №4. С. 97—121.

Золян С. Т. О модальном измерении языкового знака // Вопросы языкознания. 2014б. №3. С. 96—111.

Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текста / 2-е изд., перераб. и доп. М. : Либроком, URSS, 2014в. 336 с.

Золян С. Т. Теория языкового знака Готлоба Фреге в модальном ключе // Вопросы философии. 2014г. №12. С. 139—149.

Золян С. Т. Между миром и языком: к основаниям семиотики текста // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2015а. №5. С. 250—265.

Золян С. Т. О формальном аппарате контекстно зависимой композиционной семантики (применительно к описанию лексики естественного языка) // Иностранные языки в высшей школе. 2015б. №2 (33). С. 7—23.

Золян С. Т. Лингвистическая поэтика и общая теория языка (о контекстно-зависимой семантике и текстоцентричной лингвистике) // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова, VII : матер. междунар. науч. конф. «Первые Григорьевские чтения: Языковое творчество vs. креативность: эстетический, эвристический и прагматический аспекты» (12—14 марта 2015 г.). М. : Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 2016а. С. 69—85.

Золян С. Т. Семиотика и прагмасемантика политического дискурса // Политическая наука. 2016б. №3. С. 47—77.

Золян С. Т. К проблеме смысла в социальной семиотике: Макс Вебер сегодня // Слово.ру: балтийский акцент. 2018. Т. 9, №4. С. 27—42.

Золян С. Т. Смысл и языковой знак в системной теории Никласа Лумана // Критика и семиотика. 2020. №2. С. 34—51.

Золян С. Т. Как примирить Лумана с Соссюром: принцип внутрисистемной дифференциации как основа неоструктуралистского подхода // Вопросы языкознания. 2021. №1. С. 121—141.

Золян С. Т., Жданов Р. И. Геном как информационно-семиотический феномен // Философия науки и техники. 2018. Т. 23, №1. С. 88—102.

Золян С. Т., Ильин М. В., Сладкевич Ж. Р., Тульчинский Г. Л. Смысл в жизни и смысл в тексте (материалы круглого стола) // Слово.ру: балтийский акцент. 2020. Т. 11, №1. С. 7—33.

Золян С. Т., Чернов И. А. О структуре языка описания поведения // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту : Тартуский гос. ун-т, 1977. №411. С. 151—163.

Зуляр Ю. А. Массовые коммуникации в рекламе. Иркутск : Оттиск, 2006. 405 с.

Иванов В. В. «Границы семиотики»: Вопросы к предварительному обсуждению // Современная семиотика и гуманитарные науки. М. : Языки славянской культуры, 2010. С. 31—52.

Ивин А. А. Основания логики оценок. М. : Изд-во Московского ун-та, 1970. 231 с.

Ивин А. А. Логика оценок и норм. Философские, методологические и прикладные аспекты. М. : Проспект, 2016. 320 с.

Ивлев Ю. В. Содержательная семантика модальной логики. М. : Изд-во Московского ун-та, 1985. 170 с.

Ильин М. В. Политический дискурс как предмет анализа // Политическая наука. 2002. № 3. С. 7—19.

Ильин М. В. Методологический вызов. Что делает науку единой? Как соединить разъединенные сферы познания? // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2014. № 4. С. 6—11.

Ильин М. В. Что может дать анализ перформативов? // Политическая наука. 2016. № 4. С. 262—270.

Ильин М. В. Образ: исходные когнитивные схемы и этимоны // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2018а. № 8. С. 12—24.

Ильин М. В. Образ, облик, эйдос, фигура, паттерн. Как слова помогают распознавать образы, ощущать их, понимать значения и смыслы? Слово.ру: балтийский акцент. 2018б. Т. 9, № 2. С. 6—20.

Инглхарт Р. Культурная эволюция. Как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир. М. : Мысль, 2018. 346 с.

Ионов А. Путеводитель по вымышленным странам Marvel: Ваканда, Латверия, далее везде. 19.05.2018. URL: https://www.mirf.ru/worlds/marvel-strany-wakanda-latveria (дата обращения: 19.08.2018).

Историческая политика в XXI веке / под ред. А. Миллера, М. Липман. М. : Новое литературное обозрение, 2012. 648 с.

Иткина Е. И. Династия Романовых в массовой печатной графике XVIII—XIX веков. Из собрания Исторического музея. М. : Ист. музей, 2013. 116 с.

Калинин И. А. Тартуско-московская семиотическая школа: семиотическая модель культуры / культурная модель семиотики // Новое литературное обозрение. 2009. № 98. С. 27—55.

Кандинский В. В. Точка и линия на плоскости. СПб. : Азбука, 2003. 240 с.

Каренин В. [*Комарова В. Д.*]. Владимир Стасов. Очерк его жизни и деятельности : в 2 ч. Л. : Мысль, 1927. Ч. 2. 395 с.

Карцев Д. Больше, чем партия. Что показали выборы в Голландии // Московский Центр Карнеги. 2017. URL: http://carnegie.ru/commentary/?fa=68321 (дата обращения: 22.12.2017).

Кацис Л., Руднев В. Две правды о профессоре Ермакове // Логос. 1999. № 5. С. 76—87.

Квят А. Медиамем как инструмент политического PR: когнитивный подход // Реклама и PR. 2013. № 1. URL: http://www.mediascope.ru/node/1254 (дата обращения: 19.08.2018).

Китаев В. А. Либеральная мысль в России (1860—1880 гг.). Саратов : Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2004. 380 с.

Клушина Н. И. Стилистика публицистического текста. М. : Изд-во Московского ун-та, 2008. 242 с.

Князев А. А. Энциклопедический словарь СМИ. М., 2002. URL: http://voluntary.ru/dictionary/1105/word/kontekst (дата обращения: 19.08.2018).

Ковалев А. Д. Книга Ирвинга Гофмана «Представление себя другим в повседневной жизни» и социологическая традиция // Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / пер. с англ. и вступ. статья А. Д. Ковалева. М. : Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000. С. 5—26.

Кожина Е. Ф. Романтическая битва: Очерки французской романтической живописи 1820-х годов. Л. : Ленингр. отд. изд-ва «Искусство», 1969. 271 с.

Кондратов А. М. Атлантиды пяти океанов. Л. : Гидрометеоиздат, 1987. 160 с.

Кондратов А. М. Атлантиды ищите на шельфе. Л. : Гидрометеоиздат, 1988. 224 с.

Конеген С. Шок-реклама. 2010. URL: http://konegen.livejournal.com/40486.html (дата обращения: 01.08.2021).

Коноплева Т. В. Психология восприятия информации: восприятие новостей о мире политики в медиа-пространстве // Психолог. 2013. №5. URL: http://e-notabene.ru/psp/article_9247.html#8 (дата обращения: 19.08.2018).

Константинов А. Избранное / пер. с болг. ; предисл. В. Андреева. М. : Художественная литература, 1979. 333 с.

Копосов Н. Е. Исторические понятия о мире без будущего // Как мы пишем историю? М. : РОССПЭН, 2013. С. 57—93.

Кормишина Г. М. Имидж в системе социального взаимодействия // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2011. №2. С. 73—77.

Крамской И. Н. Переписка И. Н. Крамского: И. Н. Крамской и П. М. Третьяков. 1869—1887. М. : Искусство, 1953. 460 с.

Крамской И. Н. Письма к художникам (Ф. А. Васильеву и И. Е. Репину) / сост. А. Г. Обрадович. СПб. : Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014. 320 с.

Крестовский В. В. Двадцать месяцев в действующей армии. (1877—1879). Письма в редакцию газеты «Правительственный вестник» от ее официального корреспондента, лейб-гвардии уланского Его Величества полка штабс-ротмистра Всеволода Крестовского. Изд. испр. и значительно доп. : в 2 т., с планами и картами. СПб. : Типография Министерства внутренних дел, 1879. Т. 1. 608 с.

Крипке С. Семантический анализ модальной логики // Фейс Р. Модальная логика. М. : Наука, 1974. С. 253—303.

Кромптон А. Мастерская рекламного текста / пер. с англ. Б. В. Субботина. М. : Довгань, 1998. 243 с.

Крымская война в истории России и в жизни славянофильского семейства: Переписка Веры Аксаковой и Марии Карташевской (1853—1856) / подгот. изд. А. П. Дмитриев, Д. А. Федоров. СПб. : Росток, 2016. 464 с.

Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // Известия Академии наук СССР. Сер. литературы и языка. 1994. Т. 53, №2. С. 3—15.

Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX в. // Язык и наука конца XX века : сб. ст. / под ред. Ю. С. Степанова. М. : Изд-во РГГУ, 1995. С. 144—238.

Кузнецова Е., Химшиашвили П. Эксперты Кремля предсказали рост популизма в России по западной модели // РБК. URL: http://www.rbc.ru/politics/24/04/2017/58fccb959a7947263bd9d666?from=main (дата обращения: 22.12.2017).

Культура имеет значение / под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. М. : МШПИ, 2002. 320 с.

Ладенко И. С., Тульчинский Г. Л. Логика целевого управления. Новосибирск : Наука, 1988. 208 с.

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М. : УРСС Эдиториал, 2004. 256 с.

Лапшин А. О. О новом популизме и глобализации (несколько замечаний) // Власть. 2017. №4. С. 16—18.

Лассвелл Г. Язык власти // Политическая лингвистика (Екатеринбург). 2006. №20. С. 264—279.

Леви-Стросс К. Структура мифов // Леви-Стросс К. Структурная антропология. М. : Наука, 1983. 535 с.

Леви-Стросс К. Мифологики: сырое и приготовленное / пер. А.З. Акопяна и З.А. Сокулер. М. : ИД «Флюид», 2006. 399 с.

Леонтьев А.А. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). М. : Смысл, 2001. 392 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975. 304 с.

Леонтьев Д.А. Психология смысла. М. : Смысл, 2007. 512 с.

Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / пер. Е. Эдельсона // Избр. произведения. М. : Художественная литература, 1953. С. 385—516.

Листопадов В. Почему социальная реклама не будоражит сознание белорусов // «Заўтра тваёй краіны». 26.08.2011. URL: http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=9157 (дата обращения: 28.07.2017).

Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Очерки по философии художественного творчества. СПб. : Блиц, 1999. С. 147—165.

Лобовиков В.О. «Искусственный интеллект», формальная этика и морально-правовой выбор. Свердловск : Уральский гос. ун-т, 1988. 186 с.

Лопатина С., Тульчинский Г. Публичные пространства в обществе массового потребления: гражданский и политический потенциал // Топография популярной культуры / ред.-сост. А. Розенхольм, И. Савкина. М. : Новое литературное обозрение, 2015. С. 285—302.

Лопиталь Г.Ф. Анализ бесконечно малых. М. ; Л. : Гостехтеориздат, 1935. 376 с.

Лосев А.Ф. Имя: Избранные работы, переводы, беседы. СПб. : Алетейя, 1997. 616 с.

Лосев А.Ф. Имяславие. Ареопагитский корпус. М. : Изд-во О. Абышко, 2009. 224 с.

Лотман М.Ю. За текстом: Заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая) // Лотмановский сборник. М., 1995. Вып. 1. С. 214—222.

Лотман Ю.М. О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры // Вопросы языкознания. 1963. №3. С. 44—52.

Лотман Ю.М. Динамическая модель семиотической системы // Ученые записки Тартуского университета. 1978. Вып. 464 (Труды по знаковым системам, вып. 10). С. 18—23.

Лотман Ю.М. Мозг — текст — культура — искусственный интеллект // Семиотика и информатика. М. : ВИНИТИ, 1981. Вып. 1. С. 13—17.

Лотман Ю.М. О семиосфере // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту : ТГУ, 1984. Вып. 641 (Труды по знаковым системам, т. 17). С. 5—23.

Лотман Ю.М. Звонячи в прадѣднюю славу // Избр. статьи : в 3 т. Таллинн : Александра, 1992а. Т. 2. С. 107—110.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М. : Гнозис, 1992б. 272 с.

Лотман Ю.М. Несколько вводных слов // Sign Systems Studies. 2008. №36/2. С. 509—511.

Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки (1968—1992). СПб. : Искусство-СПб, 2010. 704 с.

Лотман Ю.М., Пятигорский А.М. Текст и функция // III Летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тарту : Тартуский гос. ун-т, 1968. С. 74—88.

Луман Н. Понятие общества // Луман Н. Проблемы теоретической социологии. СПб. : Петрополис, 1994. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2969 (дата обращения: 01.08.2021).

Луман Н.Л. Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновского. М. : Логос, 2004. 232 с.

Луман Н. Эволюция / пер. с нем. А. Антоновского М. : Логос, 2005а. 256 с.

Луман Н. Медиа коммуникации / пер. с нем. А. Глухова, О. Никифорова. М. : Логос, 2005б. 280 с.

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб. : Наука, 2007а. 641 с.

Луман Н. Введение в системную теорию / под ред. Д. Беккера ; пер. с нем. К. Тимофеевой. М. : Логос, 2007б. 360 с.

Луман Н. «Что происходит?» и «что за этим кроется?». Две социологии и теория общества // Социологическое обозрение. 2007в. №3. С. 100—117.

Луман Н. Общество общества. М. : Логос, 2011. Кн. 1 : Общество как социальная система. Кн. 2 : Медиа коммуникации. Кн. 3 : Эволюция.

Луман Н. Истина, знание, наука как система. М. : Проект letterra.org, 2016.

Макаренков М. Белка-пропагандист. URL: http://www.praima.ru/node/187 (дата обращения: 28.08.2017).

Маклюэн М. Галактика Гутенберга. М. : Академический проект, 2018.

Маковский С.К. Портреты современников. Нью-Йорк : Изд-во имени Чехова, 1955. 415 с.

Малинова О.Ю. Символическая политика: контуры проблемного поля // Символическая политика. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М. : ИНИОН РАН, 2012. С. 5—16.

Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М. : РОССПЭН, 2015. 207 с.

Мандельштам О.Э. Слово и культура: статьи. М. : Советский писатель, 1987. 320 с.

Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М. : Гос. изд-во полит. лит., 1959. Т. 13. С. 1—167.

Марущак А.В. Политико-социальный образ России в американском медиапространстве // Журналистский ежегодник. 2012. №1. С. 93—96.

Математика и семиотика: Две отдельные познавательные способности или два полюса единого органона научного знания? Круглый стол // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2014. №4. С. 122—142.

Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М. : Прогресс, 1995. С. 95—142.

Медиация как социокультурное явление // Философские науки. 2013. №11. С. 34—52 ; №12. С. 51—70 ; 2014. №1. С. 58—72 ; №2. С. 39—62 ; №3. С. 64—83 ; №4. С. 64—84 ; №5. С. 132—149.

Милевский О.А., Панченко А.Б. «Беспокойный Клеменц»: Опыт интеллектуальной биографии. М. : Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2017. 695 с.

Можейко М.А. Контекст // Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. Минск : Интерпрессервис : Кн. Дом, 2001. С. 502.

Монтегю Р. Прагматика // Семантика модальных и интенсиональных логик. М. : Прогресс, 1981. С. 254—279.

Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М. : Радуга, 1983. С. 37—89.

Мортон А.Л. Английская утопия. М. : Изд-во иностранной литературы, 1956. 278 с.

Мыркин В.Я. Типы контекстов. Коммуникативный контекст // Филологические науки. 1978. №1. С. 95—100.

Налимов В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков. М. : Наука, 1979. 304 с.

Налимов В. В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М. : Академический проект, 2011. 399 с.

Неклюдов С. Миф всему голова. 7 фактов о роли мифа в истории культуры и мифотворчестве в современном мире. URL: https://postnauka.ru/faq/6599 (дата обращения: 19.08.2019).

Немирович-Данченко В. И. Плевна и Шипка [1881] / 4-е изд. СПб. : Издание П. П. Сойкина, 1902. 714 с.

Нестеров А. Г. Движение «Пяти звезд» как феномен «протестной партии» в Италии XXI века // Научный диалог. 2016. № 11 (59). С. 290—303.

Нижников С. А. Философия имени в России: становление и современная дискуссия. Ч. 1: Имяславие П. А. Флоренского // Пространство и Время. 2011. № 4 (6). С. 64—71.

Нижников С. А. Философия имени в России: становление и современная дискуссия. Ч. 2: Имяславие и платонизм в творчестве А. Ф. Лосева // Пространство и Время. 2012. № 1 (7). С. 51—55.

Николаева Т. М. О «лингвистике речи» (в частности, о междометии) // Вопросы языкознания. 2015. № 4. С. 7—20.

Николайшвили Г. Г. Социальная реклама. М. : Аспект-Пресс 2008. 191 с.

Ницше Ф. Соч. : в 2 т. М. : Мысль, 1990. Т. 2. 829 с.

Обсуждение книги Т. И. Ойзермана «Марксизм и утопизм» // Вопросы философии. 2004. № 2. С. 43—112.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Азбуковник, 1999. 944 с.

Олянич А. В. Презентационная теория дискурса. Волгоград : Парадигма, 2004. 507 с.

Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1986. Вып. 17. С. 22—129.

Панина М. А. Комическое и языковые средства его выражения : дис. ... канд. филол. наук. М., 1996. 144 с.

Парсонс Т. О структуре социального действия // Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/03.php (дата обращения: 22.12.2017).

Парсонс Т. Системы действия и социальные системы // Сайт кафедры социологии и гуманитарной культуры МИФИ. URL: https://sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/parsons_modern_soc_systems.html (дата обращения: 05.03.2018).

Паршенцева Н. Социальная реклама. 2009. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/parsh_soc.php (дата обращения: 28.07.2017).

Пашутин С. Б. Непристойность и скабрезность в маркетинговых коммуникациях // Маркетинг в России и за рубежом. 2007. № 2. С. 70—79.

Перелыгина Е. Б. Восприятие и изменение имиджа как феномена интерсубъектного взаимодействия // Российский психологический журнал. 2005. № 2. С. 26—43.

Петухов В. В. Гражданское общество и власть: сотрудничество или противостояние? // Вестник Института социологии. 2012. № 5. С. 240—246

Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М. : Логос, 2000. 448 с.

Письма императора Александра III к А. П. Боголюбову. Сообщил А. П. Новицкий. СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1900. 13 с.

Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. 1870—1879 / подгот. к печати и примеч. Н. Г. Галкиной, М. Н. Григорьевой, Н. Л. Приймак. М. : Искусство, 1968. 559 с.

Плунгян В. А. Лингвистика в XXI веке: проблемы, перспективы, точки роста // Слово.ру: балтийский акцент. 2018. Т. 9, № 1. С. 7—12.

Плуцер-Сарно А. Государственная Дума как фольклорный персонаж: Пародия, плач, исповедь и пасквиль — жанры русской политики // Логос. 1999. №9 (19). С. 65—79.

Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. М. : Прогресс, 1985. 344 с.

Политология. Словарь. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1143 (дата обращения: 28.10.2021).

Полонский А.В. Медиа — дискурс — концепт: опыт проблемного осмысления // Современный дискурс-анализ. 2012. URL: http://discourseanalysis.org/ada6/st43.shtml (дата обращения: 28.07.2017).

Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М. : РОССПЭН, 2010. 374 с.

Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. СПб. : Алетейя, 2007. 714 с.

Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М. : Искусство, 1976. 616 с.

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М. : Рефл-бук, 2001. 624 с.

Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М. : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2006. 574 с.

Почепцов Г.Г. Распознавание пропаганды и языка ненависти [2015]. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/raspoznavanie_propagandy_i_yazyka_nenavisti/, 2015 (дата обращения: 02.10.2019).

Прайор А.И. Временная логика и непрерывность времени // Семантика модальных и интенсиональных логик. М. : Прогресс, 1981. С. 76—97.

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1986. 364 с.

Пропп В.Я. Собрание трудов. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки. М. : Лабиринт, 1998. 512 с.

Проскурин С.Г. Лингвокультурный трансфер: представления о мире в древних традициях // Критика и семиотика. 2017. №1. С. 220—232.

Пятигорский А.М. Некоторые общие замечания относительно текста как разновидности сигнала // Структурно-типологические исследования. М. : Наука, 1962. С. 144—154.

Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Общественные науки и современность. 2003. №2. С. 5—17.

Рассел Б. История западной философии / пер с англ. ; подгот. текста В.В. Целищева. СПб. : Азбука, 2001. 957 с.

Рахилина Е.В. О концептуальном анализе в лексикографии А. Вежбицкой // Язык и когнитивная деятельность : сб. ст. / отв. ред. Р.М. Фрумкина. М. : Наука, 1989. С. 46—51.

Ревзин И.И. О субъективной позиции исследователя в семиотике // Ученые записки Тартуского ун-та. Тарту : Тартуский гос. ун-т, 1971. Вып. 266. С. 334—344.

Ренан Э. Что такое нация? // Собр. соч. : в 12 т. Киев : Тип. М. М. Фиха, 1902. Т. 6. С. 87—102.

Романова Т.В. Коммуникативный имидж и речевой портрет современного политика // Политическая лингвистика. 2009. №1 (27). С. 109—117.

Романова Т.В. Антропоцентрическая парадигма в истории языкознания: «язык индивида» (Г. Пауль), «язык как психический феномен» (В. Гумбольдт) // Когнитивные исследования языка. М. ; Тамбов : Институт языкознания РАН ; Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. №21. С. 116—121.

Рубцова Н. В. Эпатажная реклама как нестандартный инструмент коммуникаций в условиях финансового кризиса, или PR во время чумы // Маркетинговые коммуникации. 2009. №2. С. 78—88.

Рябов Д. О. Образ России в политике европейской идентичности ЕС : дис. ... канд. полит. наук. СПб., 2016. 173 с.

Саймон Г. Науки об искусственном. М. : УРСС, 2009. 144 с.

Сальникова Е. В. Докумиф, или погоня за реальностью // Наука телевидения : науч. альманах. М. : ГИИ, 2014. №11. С. 48—84.

Самойлова Е. О. Семиотические и онтологические аспекты феномена «косплей» // Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и образовании : матер. науч. конф. Тверь : Тверской гос. ун-т, 2012. С. 165—171.

Сафронова Ю. Русское общество в зеркале революционного террора. 1879—1881 годы. М. : Новое литературное обозрение, 2014. 376 с.

Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. 2-е изд. / общ. ред. и вступ. ст. А. Леонова. М. ; Л. : Искусство, 1950. 512 с.

Северюхин Д. Я. Старый художественный Петербург. Рынок и самоорганизация художников от начала XVIII века до 1932 года. СПб. : Міръ, 2008. 534 с.

Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1986. Вып. 17. С. 170—194.

Сидоров А. История в стиле лего. Зачем нам памятники и что с ними делать. 2015. URL: http://lenta.ru/columns/2015/07/04/monuments/ (дата обращения: 06.08.2019).

Сидорская И. В. «Образ» или «имидж» страны: что репрезентируют СМИ // Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики : сб. матер. науч. семинара / сост. Л. А. Капитанова, В. В. Фролов. Псков : Псковский гос. ун-т, 2016. С. 64—84.

Симонов П. В. Лекции о работе головного мозга. Потребностно-информационная теория высшей нервной деятельности. М. : Ин-т психологии РАН, 1998. 98 с.

Сладкевич Ж. Наружная социальная реклама Беларуси (социокультурный и прагмалингвистический анализ) // Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Gdańsk : WUG, 2018. С. 103—124.

Сладкевич Ж. Р. Образ современной России в языке и культуре: обзор тематического номера «Русского обозрения» // Слово.ру: балтийский акцент. 2018. Т. 9, №2. С. 87—97.

Сладкевич Ж. Интерсемиотический анализ механизмов креации медиаобраза России на обложках избранных польских общественно-политических журналов // Studia Medioznawcze. 2019а. Т. 20, №2 (77). С. 188—204.

Сладкевич Ж. Медиаобраз Сан-Эскобара в пространстве вымышленных миров: социосемиотический ракурс // Слово.ру: балтийский акцент. 2019б. №2. С. 73—103.

Сладкевич Ж. Персональный имидж: к вопросу об определении понятия // Вестник Московского государственного педагогического университета. 2019в. №4 (36). С. 68—80.

Сладкевич Ж. Принцип трех «С» в эпатажной социальной рекламе: секс, смерть и смех // Porządek słów. Gramatyka. Styl. Dyskurs / Порядок слов. Грамматика. Стиль. Дискурс ; T. Kananowicz, A. Klimkiewicz (red.). Gdańsk : WUG, 2019г. С. 276—294.

Слинин Я. А. Современная модальная логика. Л. : Изд-во ЛГУ, 1976. 104 с.

Словарь иностранных слов русского языка. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/16959 (дата обращения: 28.10.2021).

Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века). СПб. : Изд-во Михайлова, 2002. 383 с.

Согомонян В.Э. Публичность власти: определения понятия и типология форм/видов // Закон и жизнь. Кишинев : Изд-во Мин-ва юстиции Республики Молдова, 2013. №10 (262). С. 59—62.

Согомонян В.Э. Метаморфозы коммуникации в публичном дискурсе // Политическая наука. М. : ИНИОН РАН, 2016. №3 : Политическая семиотика. С. 137—151.

Солганик Г.Я. Современная публицистическая картина мира // Публицистика и информация в современном обществе / под общ. ред. Г.Я. Солганика. М. : Московский гос. ун-т, 2000. С. 14—15.

Сонин А.Г. Моделирование механизмов понимания поликодовых текстов. М., 2006. URL: http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-mekhanizmov-ponimaniya-polikodovykh-tekstov?_openstat=cmVmZXJ1bi5jb207bm9kZTthZDE7 (дата обращения: 01.08.2021).

Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М. : Прогресс, 1977. 696 с.

Спиноза Б. Соч. : в 2 т. СПб. : Наука, 1999. Т. 2. 629 с.

Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания. Относительно марксизма в языкознании // Правда. 1950. 20 июня.

Стасов В.В. Избр. соч. : в 2 т. М. ; Л. : Искусство, 1937а. Т. 1 : Обзоры. Выставки. Полемика. 861 с.

Стасов В.В. Избр. соч. : в 2 т. М. ; Л. : Искусство, 1937б. Т. 2 : Статьи об искусстве. 661 с.

Стасов В.В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания : в 2 т. М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1952. Т. 1. 317 с.

Степанов Ю.С. Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М. : Прогресс, 1974. С. 5—16.

Столнейкер Р.С. Прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1985. Вып. 16. С. 419—438.

Строганова А. Костюмы и голограммы: чем запомнится предвыборная кампания во Франции // Международное французское радио RFI. URL: http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170416-chem-zapomnitsya-predvybornaya-kampaniya-vo-frantsii (дата обращения: 22.12.2017).

Тарский А. Семантическая концепция истины и основания математики // Аналитическая философия: становление и развитие (антология). М. : Прогресс-традиция, 1998. С. 90—129.

Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе : в 12 т. СПб. : Санкт-Петерб. дух. акад., 1902. Т. 8 : Толкование на Евангелие от Иоанна. 1011 с.

Тесля А.А. «Последний из “отцов”»: биография Ивана Аксакова. СПб. : Владимир Даль, 2015. 799 с.

Тесля А.А. Кто говорит и кого (не) надлежит слышать: «общественное мнение» в Российской империи 2-й половины XIX века // Пути России. Война и мир : сб. ст. Т. 22 / под общ. ред. М.Г. Пугачевой и В.П. Жаркова. М. ; СПб. : Нестор-История, 2017а. С. 93—109.

Тесля А.А. Русский консерватор: о системе политических воззрений К.П. Победоносцева 1870—1890-х годов // Социологическое обозрение. 2017б. Т. 16, №1. С. 151—172.

Тесля А.А. «Единственные картины в воспоминании славной войны»: героика, ориентализм и проблемы живописной репрезентации русско-турецкой войны 1877—1878 гг. // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17, №3. С. 240—255.

Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы. 1869—1899 гг. / сост. и авт. примеч. В.В. Андреева, М.В. Астафьева, С.Н. Гольдштейн, Н.Л. Приймак ; предисл. и общ. ред. С.Н. Гольдштейн. М. : Искусство, 1987. 667 с.

Трофимова Н.А. Экспрессивы: мнения и решения // Ученые записки. СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2013. Т. 22 : Современные проблемы филологии, межкультурной коммуникации и перевода. С. 77—88.

Тулмин Ст. Человеческое понимание. М. : Прогресс, 1984. 327 с.

Тульчинский Г.Л. «Новые» теории истины и «наивная» семантика (Об альтернативных теориях истины в современной логической семантике) // Вопросы философии. 1986. №3. С. 27—32.

Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности. Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. 175 с.

Тульчинский Г.Л. Развитие знания: зашнуровывающая метафора и модели // Философия и методология науки. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1995. С. 72—75.

Тульчинский Г.Л. Сущность и существенность. Философско-логический анализ // Логико-философские штудии. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2000. С. 31—59.

Тульчинский Г.Л. Идеи: источники, динамика и логическое содержание // История идей как методология гуманитарных исследований. СПб. : Центр истории идей, 2001. С. 28—58.

Тульчинский Г.Л. Смысл и гуманитарное знание // Проблема смысла в науках о человеке. М. : Смысл, 2005. С. 7—26.

Тульчинский Г.Л. Смена онтологической парадигмы: от сущего к потенциальному // Парадигма: Очерки философии и теории культуры. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2006. №6. С. 12—23.

Тульчинский Г.Л. Этапы политической институционализации: от идеи к институту // Политические институты в современном мире. СПб. : Аллегро, 2010. С. 358—360.

Тульчинский Г.Л. Современность: имманентность и поиски трансценденции // Философские науки. 2013. №5. С. 56—67.

Тульчинский Г.Л. Total branding. Мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в современном бизнесе и культуре. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2013. 280 с.

Тульчинский Г.Л. Историческая память в символической политике и информационные войны // Философские науки. 2015а. №5. С. 24—33.

Тульчинский Г.Л. Роль геноцида в национальном самосознании // Геноцид в исторической памяти народов и информационных войнах современности. М. : Ключ-С, 2015б. С. 154—167.

Тульчинский Г.Л. Наррация в символической политике: Уровни и диахрония // Символическая политика. М. : ИНИОН РАН, 2016. Вып. 4 : Социальное конструирование пространства. С. 65—83.

Тульчинский Г.Л. Соотношение исторической и культурной памяти: практики забвения // Социально-политические науки. 2016. №4. С. 10—14.

Тульчинский Г.Л. Объяснение в политической науке: конструктивизм vs позитивизм // Публичная политика. 2017. №1. С. 76—98.

Тульчинский Г.Л. Оценочно-эмоциональные факторы смыслообразования: нормативно-ценностные паттерны нарративов культуры // Человек. Культура. Образование. 2018. №4 (30). С 165—175.

Тульчинский Г.Л. Тело свободы: ответственность и воплощение смысла. СПб. : Алетейя, 2019. 471 с.

Тульчинский Г.Л. Философия поступка. Самоопределение и позиционирование личности в современном обществе. СПб. : Алетейя, 2020. 826 с.

Тюпа В.И. Драматургия как тип высказывания // Новый филологический вестник. 2010. №3 (14). С. 7—16.

Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI века. Харьков : Ун-т внутр. дел, 1999. 285 с.

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2002. 528 с.

Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии : в 2 т. М. : ОГИ, 2004. Т. 2 : От Александра II до отречения Николая II. 605 с.

Уэст Д. Континентальная философия. Введение / пер. с англ. Д.Ю. Кралечкина. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 448 с.

Фидря Е.С. Социальные практики и устройства социализации неопределенности // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2011. №6. С. 107—115.

Флоренский П.А. Сочинения : в 2 т. М. : Правда, 1990. Т. 2 : У водоразделов мысли. 447 с.

Фомин И.В. Элементы семиотического органона для обществоведения: Анализ повествований // Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. 2014. №4. С. 143—162.

Фомина Е., Рачева Е. От шофера «черного воронка» до Сталина // Новая газета. 23.11.2016. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/23/70635-ot-shofera-chernogo-voronka-do-stalina (дата обращения 17.09.2019).

Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. М. : ВИНИТИ, 1977. №8. С. 181—210.

Фреге Г. Логико-философские труды. Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2008. 283 с.

Фрейд З. Тотем и табу. СПб. : Азбука-классика, 2004. 320 с.

Фрейд З. Тотем и табу. СПб. : Лениздат. Команда А, 2013. 224 с.

Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М. : Политиздат, 1980. 832 с.

Фуко М. Что такое автор // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М. : Касталь, 1996. С. 7—46.

Хайдеггер М. Бытие и время. М. : Ad Marginem, 1997. 452 с.

Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма. М. : Мысль, 2014. 285 с.

Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб., 2004 (Предисловие). URL: http://www.philology.ru/linguistics2/khimik-04.htm (дата обращения: 01.02.2017).

Хинтикка Я. В защиту невозможных возможных миров // Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М. : Прогресс, 1980. С. 228—244.

Холтон Дж. Тематический анализ науки. М. : Прогресс, 1981. 384 с.

Ценев В. Психология рекламы. Реклама, НЛП и 25-й кадр. М. : Бератор, 2003. 224 с.

Цилюрик Д.Д. Образ России в современном французском политическом медиадискурсе (по материалам электронных версий ежедневных газет «Монд», «Фигаро» и «Либерасьон» за 2008—2012 гг.) : дис. … канд. филол. наук. М., 2013. 289 с.

Цымбурский В.Л. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные исследования. М. : Европа, 2011. 372 с.

Чаадаев против национализма / сост. и вступ. ст. М. Б. Велижева. М. : Common place, 2018. 198 с.

Чень И., Ли Р. Математическая логика и автоматические доказательства теорем. М. : Наука, 1983. 360 с.

Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание. М. : Языки славянской культуры, 2013. 447 с.

Черникова П. Г. Парадокс трансцедентального в массовой культуре // Общество, среда, развитие (Terra Humana). 2013. № 1 (26). С. 203—206.

Чернявская В. Е. Дискурс // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М. : Флинта, Наука, 2003. С. 54—56.

Шабанов А. Е. Передвижники: между коммерческим товариществом и художественным движением. СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 336 с.

Шатин Ю. В. Семиотика vs семиология: к вопросу о полноте знаковой теории // Критика и семиотика. 2015. № 2. С. 10—17.

Шейгал Е. И. Невербальные знаки политического дискурса // Основное высшее и дополнительное образование. Волгоград, 2011. № 1. URL: http://philology.ru/linguistics1/sheygal-01.htm (дата обращения: 01.02.2021).

Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям : учеб. пособие. М. : Народное образование, 2002. 254 с.

Шепель В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. Ростов н/Д : Феникс, 2005. 472 с.

Ширинкин П. С. Туристское легендирование: Региональные аспекты. Пермь : Пермск. гос. акад. искусства и культуры, 2014. 260 с.

Шкловский В. Б. О теории прозы. М. : Круг, 1925. 189 с.

Шомова С. А. Шоковые технологии современной рекламы // Реклама и PR. 2011. № 4. URL: http://www.mediascope.ru/node/946 (дата обращения: 28.07.2017).

Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. М. : Гермес, 1914. 219 с.

Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. М. : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1916. Ч. 1 : Материалы. 476 с.

Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве 1891—1916. Статьи по философии и психологии. М. : б. и., 1916. С. 156—210.

Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово. М. : б. и., 1917. С. 1—69.

Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. Вып. 1. М. : ГАХН, 1927. 147 с.

Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы Гумбольта). М. : ГАХН, 1927. 219 с.

Шпет Г. Г. Комментарий к «Посмертным запискам Пиквикского клуба» // Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. М. ; Л. : Academia, 1934. Т. 3. 360 с.

Шульга Е. Н. Символический интеракционизм и проблема понимания // Философия науки. 2012. № 17. С. 113—127.

Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М. : РОССПЭН, 2004. 1056 с.

Эволюция Путина: журнальные обложки с российским президентом. 15.04.2015. URL: http://newzz.in.ua/politic/1148916661-evolyuciya-putina-zhurnalnye-oblozhki-s-rossiyskim-prezidentom.html (дата обращения: 01.08.2021).

Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных. М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1961. Т. 1. 315 с.

Эйхенбаум Б.М. Набросок критической заметки // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1937. Вып. 3. С. 14—15.

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб. : Петрополис, 1998. 432 с.

Эко У. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации. М. : Академический проект, 2016. 559 с.

Элиаде М. Священное и мирское / пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Гарбовского. М. : Изд-во МГУ, 1994. 144 с.

Эпатаж в рекламе: 5 советов по применению URL: http://marketing.by/mnenie/epatazh-v-reklame-5-sovetov-po-primeneniyu/?mobile=Y (дата обращения: 28.08.2017).

Эпизоды войны 1877—1878 гг. Подвиги наших моряков. 10 фототипий с рисунков профессора А.П. Боголюбова. СПб. : Издание А. Беггрова, б/д.

Эрос и Танатос в рекламе. URL: http://www.imprint-media.ru/pub_eros-tanatos.html (дата обращения: 28.07.2017).

Эткинд А. Кривое горе. Повесть о непогребенных. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 228 с.

Юм Д. Трактат о человеческой природе // Соч. : в 2 т. М. : Мысль, 1996. Т. 1. 733 с.

Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа / под ред. А.Д. Кошелева. М. : Гнозис, 1994. 551 с.

Юнг К.Г. Архетип и символ. М. : Ренессанс, 1991. 304 с.

Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / пер. А.В. Михайловского. СПб. : Наука, 2002. 539 с.

Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». М. : Прогресс, 1975. С. 193—230.

Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика / сост., вступ. ст. и общ. ред. Ю.С. Степанова. М. : Радуга, 1983. С. 102—117.

Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. М. : Большая рос. энциклопедия, 2002. 709 с.

15 великолепных карт несуществующих миров. 2017. URL: https://vsegda-tvoj.livejournal.com/22426536.html (дата обращения: 28.10.2021).

Aase L., Fleming M., Ongstad S., Pieper I., Samihaian F. Reading. Strasbourg : Council of Europe, Language Policy Division. 2009. 12 p.

Acemoglu D., Robinson J.A. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty. N.Y. : Crown Business, 2012. 544 p.

Awdiejew A., Habrajska G. Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej. Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004. T. 1. 332 s.

Badyda E., Warda-Radys L. Santo Subito, Bimberro Grande i Pico de Waszczykowski (2017 m) — wykreowany w przestrzeni Internetu fikcyjny kraj San Escobar (wpływ kontekstu na strukturę pojęcia) // Media, biznes, kultura. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 2017. №1 (2). S. 93—106.

Bartmiński J. O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku // Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju / pod red. S. Dubisza, S. Gajdy. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2001. S. 27—53.

Barwise J., Perry J. Situations and attitudes // Journal of Philosophy. 1981. Vol. 78, №11. P. 668—691.

Bell D.S.A. Mythscapes: memory, mythology, and national identity // British Journal of Sociology. 2003. Vol. 54, №1. P. 63—81.

Bergson H. The Creative Mind: An Introduction to Metaphysics. N. Y. : Philosophical Library, 1946. 746 c.

Berlin I. Two Concepts of Liberty // Berlin I. Four Essays on Liberty [1958]. L. : Oxford Univ. Press., 1969. P. 121—172.

Blank A. Why do new meanings occur? A cognitive typology of the motivations for lexical Semantic change // Blank A., Koch P. Historical Semantics and Cognition. Berlin ; N. Y. : Mouton de Gruyter, 1999. P. 61—90.

Boltanski L., Thevenot L. On Justification: Economies of Worth. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2006. 390 p.

Bourdieu P. Political Representation: Elements for a Theory of the Political Field // Language and Symbolic Power / ed. by J. B. Thompson. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1991. 302 p.

Cap P. Towards the Proximization Model of the Analysis of Legitimization in Political Discourse // Journal of Pragmatics. 2008. № 40. P. 17—41.

Chandler D. Semiotics: the basics. L. ; N. Y. : Routledge, 2007.

Cichosz M. Wizerunek lidera politycznego // Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu / M. Jeziński (red.). Toruń : Dom Wydawniczy DUET 2004. S. 78—92.

Cresswell M. J. A highly impossible scene. The semantics of visual contradiction // Meaning, use and interpretation of language. Berlin ; N. Y. : De Gruyter, 1983. P. 62—78.

Davidson D. On saying that // Words and objections. Essays on the work of W. V. Quine. Dordrecht : D. Reidel. 1975. P. 158—174.

Dequech D. 2003. Uncertainty and Economic Sociology: A Preliminary Discussion // American Journal of Economics and Sociology. Vol. 62, № 3. P. 509—532.

Dijk T. van. Macrostructures. N. Y. : Lawrence Erlbaum, 1980. 327 p.

Dijk T. van. Ideology: A Multidisciplinary Approach. L. : SAGE, 1998. 365 p.

Donnellan K. Proper Names and Identifying Descriptions // The Semantics of Natural Language / ed. by D. Davidson, G. Harman. Dordrecht : Reidel, 1972. P. 356—379.

Drzał-Sierocka A. Seks i śmierć. Tabu i jego przekraczanie w kampaniach społecznych na temat HIV / AIDS // Kultura popularna. 2012. № 4 (34). S. 122—127.

Duszak A. Dyskurs w badaniach kontekstu społecznego // Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych / pod red. P. Stalmaszczyka, P. Capa. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. S. 227—244.

Eco U. A Theory of Semiotics. Bloomington ; L. : Indiana University Press, 1976. 354 p.

Eco U. Interpretation and Overinterpretation: World, History, Texts // The Tanner Lectures on Human Values. Clare Hall : Cambridge University, 1990. P. 141—202.

Eggins S., Martin J. Gatunki I rejestry dyskursu // Dyskurs jako struktura i proces / pod red. T. van Dijka, tłum. G. Grochowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 [1997]. S. 24—39.

Ellul J. Propaganda. The formation of men's attitudes. N. Y. : Vintage Books, 1973. 352 p.

Fairclough N. Language and Power. L. : Longman, 1989. 259 p.

Fairclough N. Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. L. : Routledge, 2003. 270 p.

Fillmore Ch. J. Frame Semantics and the Nature of Language // Annals of the New York Academy of Sciences. 1976. Vol. 280, № 1 : Origins and Evolution of Language and Speech. P. 20—32.

Fish S. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1980. 394 p.

Foolen A. Expressives // The Routledge Handbook of Semantics. Routledge, 2015. URL: https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315685533.ch27 (дата обращения 14.12.2017)

Frege G. Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. 1892. №100. S. 25—50.

French T. What kinds of "interpretation" can semiotics offer to e-commerce site users and designers? // Proceedings of the First International Workshop Interpretative Approaches in Information Systems Research. L. : Brunel University. 2002. P. 1—6.

Frye N. Fearful Symmetry: A Study of William Blake. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1947. 462 p.

Galtung J. Essays in methodology. Copenhagen : Christian Ejlers, 1977. Vol. 1 : Methodology and ideology. 387 p.

Gergen K.J. Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1997. 356 p.

Gill G. Symbolism and Regime Change in Russia. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 246 p.

Global Trends: The Paradox of Progress // DNI. URL: https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home (дата обращения: 22.12.2017).

Graham L., Kantor J.-M. Naming Infinity. A True Story of Religious Mysticism and Mathematical Creativity. Cambidge (Mass.) ; L. : The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2009. 256 p.

Grice P., Paul H. Logic and Conversation // Syntax and Semantics 3: Speech acts ed. by P. Cole, J. L. Morgan. N. Y. : Academic Press, 1975. P. 41—58.

Goffman E. Frame analysis: An essay on the organization of experience. Cambridge MA : Harvard University Press, 1974. 586 p.

Gutowska-Kozielska E. Nieoczekiwany romans. Władimir Putin jako ucieleśnienie konserwatywnej wersji amerykańskiego snu // Przegląd Rusycystyczny. 2016. №4 (156). S. 56—64.

Gutzmann D. Expressives and beyond. An introduction to varieties of use-conditional meaning // Beyond Expressives. Explorations in Use-Conditional Meaning / ed. by D. Gutzmann, H.-M. Gärtner. Leiden : Brill, 2013. P. 1—58.

Gutzmann D. Use-Conditional Meaning. Studies in Multidimensional Semantics. Oxford : Oxford University Press. 2015. 272 p.

Gutzmann D. The Grammar of Expressivity. Oxford : Oxford University Press, 2019. 287 p.

Gutzmann D., Henderson R. Expressive updates, much? // Language. 2019. Vol. 95, №1. P. 108—155.

Habermas J. On the pragmatics of social interaction: Preliminary studies in the theory of communicative action. Cambridge, MA : The MIT Press. 2001. 216 p.

Habrajska G. Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 2005. №7/2. S. 91—126.

Hall S. Encoding, decoding [1973] // Culture, Media, Language. Working Papers in Cultural Studies, 1972—1979 / ed. by Centre for Contemporary Cultural Studies. L. : Routledge, 1980. P. 128—138.

Halliday M.A.K. Notes on Transitivity and Theme in English // Journal of Linguistics. 1967. №3. P. 50—77.

Halliday M. A. K. Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning. Maryland : University Park Press, 1978. 256 p.

Halliday M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. L. : Edward Arnold, 1985. 387 p.

Hempel C. G. Science, Explanation, and Rationality. N. Y. : Oxford University Press, 2000. 460 p.

Hermeneutics and Science. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999. 377 p.

Hintikka J. Eseje logiczno-filozoficzne. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992. 497 p.

Hintikka J. Models for Modalities. Selected Essays. Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1969. 220 p.

Hintikka J. The Semantics of Modal Notions and the Indeterminacy of Ontology // Davidson D., Harman G. (eds.) Semantics of Natural Language / ed. by D. Davidson, G. Harman. Springer, Dordrecht : D. Reidel, 1972. P. 398—414.

Hintikka J. The Intentions of Intentionality and Other New Models for Modalities. Dordrecht : D. Reidel, 1975. 268 p.

Hodge R., Kress G. Social Semiotics. Cambridge : Polity, 1988. 285 p.

Huber K. Image, czyli jak być gwiazdą na rynku. Warszawa : Bysiness Press, 1994. 243 s.

Iedema R. Multimodality, Resemiotization: Extending the Analysis of Discourse as Multi-Semiotic Practice // Visual Communication. 2003. № 2 (1). P. 14—26.

Ile wiesz o San Escobar? Rozwiąż quiz. URL: http://pomorskie.naszemiasto.pl/artykul/ile-wiesz-o-san-escobar-rozwiaz-quiz,3980292,art,t,id,tm.html (дата обращения: 23.06.2018).

Jackendorfff Ray S. Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure. Cambridge : MIT Press, 2007. 432 p.

Kampka A. Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania // Forum Artis Rhetoricae. 2011. № 1. S. 7—23.

Kaplan D. The Meaning of Ouch and Oops. Explorations in the theory of Meaning as Use. 1999. University of California, Los Angeles, 1999. 29 p. Manuscript.

Keller R. Entering Discourses: A New Agenda for Qualitative Research and Sociology of Knowledge // Qualitative Sociology Review. 2012. № 8 (2). P. 47—75.

Kiklewicz A. Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 248 s.

Kiklewicz A. Bełkot w komunikacji: próba klasyfikacji zjawisk // Bełkot, czyli mowa ludzka pozbawiona sensu. Komunikacyjna funkcja wypowiedzi niejasnych / red. P. Lewiński. Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, 2015. S. 14—17.

Korzybski A. Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics (5th ed.). Brooklyn, NY : Institute of General Semantics, 1958. 927 p.

Kress G., Leeuwen van T. Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication. L. : Arnold Publishers, 2001. 142 p.

Kress G. Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. L. ; N. Y. : Taylor & Francis, 2010. 212 p.

Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1980. 172 p.

Kripke S. Reference and Existence. N. Y. : Oxford University Press, 2013. 184 p.

Kroeger P. R. Analyzing meaning: An introduction to semantics and pragmatics (Textbooks in Language Sciences 5). Berlin : Language Science Press, 2018. 482 p.

Kuligowski W., Zwierzchowski P. Śmierć jako norma, śmierć jako skandal. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. 93 s.

Laclau E. On Populist Reason. L. : Verso, 2005. 276 p.

Laclau E. The Rhetorical Foundations of Society. L. ; N. Y. : Verso. 2014. 229 p.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 256 p.

Langacker R. Interactive cognition: toward a unified account of structures, processing, and discourse // International Journal of Cognitive Linguistics. 2012. Vol. 3. P. 95—124.

Lasersohn P. Context dependence, disagreement, and predicates of personal taste // Linguistics and Philosophy. 2005. Vol. 28, №6. P. 643—686.

Lasersohn P. Expressives, Perspective and Presupposition // Theoretical Linguistics. 2007. Vol. 33, №2. P. 223—230.

Lazari A., Riabow O., Żakowska M. Europa i Niedźwiedź. Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013. 320 s.

Leeuwen T. van. Introducing Social Semiotics. N. Y. : Routledge, 2005. 301 p.

Levitsky S., Loxton J. Populism and Competitive Authoritarianism in the Andes // Democratization. 2012. №20 (1). P. 107—136.

Lewis D. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic // Journal of Philosophy. 1968. №65. P. 113—126.

Lewis D. Attitudes De Dicto and De Se // Philosophical Review. 1979. №88. P. 513—543.

Lisiewicz P. Kpił z Putina, pójdzie do polskiego więzienia. Niezależna. URL: http://niezalezna.pl/59972-kpil-z-putina-pojdzie-do-polskiego-wiezienia (дата обращения: 01.10.2014).

Lotman M. Pierce, Saussure and foundations of semiotics // Sun Yat-sen Journal of Humanities. 2003. №16. P. 77—88.

Lotman M. Verse as a semiotic system // Sign Systems Studies. Vol. 40 (1/2) / ed. by M.-K. Lotman and M. Lotman. Tartu : Tartu University Press, 2012. P. 18—51.

Luhmann N. Meaning as Sociology's Basic Concept // Essays on SelfReference. N. Y. : Columbia University Press, 1990. P. 21—79.

Luhmann N. Sign as form. Problems of form. Stanford: Stanford Univ. Press, 1999. P. 46—63.

Luhmann N. System as difference // Organization. 2006. Vol. 13, №1. P. 37—57.

Maćkiewicz J. Jak można badać komunikację medialną? — perspektywa odbiorcy // Studia Medioznawcze. 2016. №2. S. 25—35.

Maćkiewicz J. Badanie mediów multimodalnych — multimodalne badanie mediów // Studia Medioznawcze. 2016. №2 (69). S. 33—42.

Malinovski B. The problem of meaning in primitive languages // Ogden C.K., Richards I.A. The meaning of meaning: A study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism. N. Y. : A Harvest Book Harcourt, Brace & World, Inc., 1923. P. 296—336.

Maliszewski B. Obrazowo mówiąc. O grach wizualno-werbalnych na okładkach tygodników publicystycznych // Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal. 2017. №2 (2). S. 21—35.

Martin J. English Text. Amsterdam : John Benjamins, 1992. 620 p.

Maurer K. Communication and Language in Niklas Luhmann's Systems-Theory // Pandaemonium germanicum. 2010. №16. P. 1—21.

McCloskey D. The Rhetoric of Economics. Madison : University of Wisconsin Press. 1998. 248 p.

McLuhan M. Galaktyka Gutenberga // Wybór tekstów. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001. 582 s.

Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past. / ed. by J.-W. Mueller. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 302 p.

Morris Ch. W. Foundation of the Theory of Signs. Chicago : The University of Chicago Press, 1938. 59 p.

North D. Understanding the Process of Economic Change. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005. 200 p.

Oberg K. Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments // Practical Anthropology. 1960. №7. P. 177—182.

Ogden C. K., Richards I. A. The meaning of meaning: A study of the infl uence of language upon thought and of the science of symbolism. N. Y. : A Harvest Book Harcourt, Brace & World, Inc., 1923. 386 p.

Ogonowska A. Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współczesnej humanistyki // Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji / E. Kulczycki, M. Wendland (red.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2012. S. 53—67.

Olick J. Collective Memory: The Two Cultures // Sociological Theory. Madison (USA). 1999. Vol. 17, №3. P. 333—348.

Pawlak-Sobczak K. Środki perswazyjne w reklamie społecznej (na przykładzie profilaktyki AIDS) // Zeszyty prasoznawcze. 2015. T. 58, №3 (223). S. 704—716.

Pisarek W. Wizerunek // Słownik terminologii medialnej / W. Pisarek (red.). Kraków : Wydawnictwo Uniwersitas, 2006. S. 228—230.

Potts C. The logic of conventional implicatures (Oxford Studies in Theoretical Linguistics). Oxford : Oxford University Press, 2005. 249 p.

Potts C. The expressive dimension // Theoretical Linguistics. 2007. Vol. 33 (2). P. 165—197.

Pstyga A. Wtręty rosyjskojęzyczne w relacjach polskich korespondentów zagranicznych // Przegląd Rusycystyczny. 2016. №4 (156). S. 9—21.

Randviir A. Mapping the World: Towards a Sociosemiotic Approach to Culture. Tartu : Tartu University, 2004. 162 p.

Realpolitiks: San Escobar wchodzi do gry. URL: http://www.gra.pl/gry/realpolitiks-san-escobar-wchodzi-do-gry (дата обращения: 22.06.2018).

Ross S. The encoding / decoding model revisited // International Communication Association Conference. Boston, 26—30/5, 2011. Boston, 2011.

Searle J. Speech Acts. An Essay of the Philosophy of Language. Cambridge : Cambridge University Press, 1969. 203 p.

Searle J. The Intentionality of Intention and Action // Cognitive Science. 1980. №4. P. 47—70.

Searle J. The Construction of Social Reality. N. Y. : The Free Press. A Division of Simon & Schuster Inc., 1995. 256 p.

Searle J. Making the Social World. Oxford : Oxford University Press, 2010. 208 p.

Segal R. A. Theorizing About Myth. Amherst ; Boston : University of Massachusetts Press, 1999. 216 p.

Sieńko A. Polskie firmy oszalały na punkcie San Escobar. Ich pomysły zadziwiają kreatywnością. URL: http://innpoland.pl/132213,polskie-firmy-oszalaly-na-punkcie-san-escobar-ich-pomysly-zadziwiaja-kreatywnoscia (дата обращения: 20.06.2018).

Skandaliczna „reklama" Tigera, która wpędzi markę w problemy. URL: http://natemat.pl/214537,ktos-pije-to-gow-tak-tiger-reklamowal-sie-w-rocznice-powstania-siec-odkryla-to-pozno-ale-i-tak-jest-skandal (дата обращения: 20.08.2017).

Skudrzyk A. Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym. Katowice : Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 219 p.

Słobodzian M. Globalizacja — szansa czy konieczność? [2011]. URL: http://www.edukacja.edux.pl/p-10757-globalizacja-szansa-czy-koniecznosc.php (дата обращения: 04.04.2018).

Stroud B. Inference, belief und understanding // Mind. 1979. Vol. 88, №350. P. 179—196.

Szczerek Z. Niech żyje San Escobar! Między Molvanią a San Sombrero. URL: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1690342,1,niech-zyje-san-escobar.read (дата обращения: 19.06.2018).

Szewczyk J. Nie bądź sknerą, podziel się nerą! Kontrowersje wokół problematyki transplantacji post mortem // Pressje. 2009. №17. S. 159—171.

Szpunar M. Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa // Teorie komunikacji i mediów 2 / pod red. M. Graszewicza, J. Jastrzębskiego. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010. S. 251—262.

Taleb N.N. The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable. N. Y. : Random House, 2007. 368 p.

Taylor A. San Escobar: How Poland's foreign minister helped create a fake country // Washington Post. 11.01.2017. №11.

Thaler R.H., Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. New Haven : Yale University Press, 2008. 293 p.

The Invention of Tradition / ed. by E. Hobsbawm and T. Ranger. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1983. 320 p.

Thevenot L. Conventions of co-ordination and the framing of uncertainty // Intersubjectivity in Economics / ed. by E. Fallbrook. L. : Routledge, 2002. P. 181—197.

Thibault P.J. Social semiotics as praxis: Text, social meaning making, and Nabokov's Ada. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1991. 320 p.

Topolski E. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography // History and Theory. 1999. Vol. 38, №2. P. 198—210.

Toscani O. Reklama: uśmiechnięte ścierwo / tłum. M. Misiorny. Warszawa : Agencja Wydawnicza Delta, 1997. 184 s.

Tóth B. The Term 'Sense' in Niklas Luhmann's Theory // Belvedere Meridionale. 2015. Vol. 27, №1. P. 126—133.

Tulchinskii G. Information wars as a conflict of interpretations: activating the 'third party' // Russian Journal of Communication. 2013. Vol. 5, №3. P. 244—251.

Vendler Z. The possibility of possible worlds // Canadian Journal of Philosophy. 1975. Vol. 5, №1. P. 57—72.

Wang W., Liu W. Critical Discourse Analysis of New Reports on China's Bullet-Train Crash // Studies in Literature and Language. 2015. Vol. 10, №2. P. 1—8.

Welzer H. Lehte — Kunst und Kritik des Vergessens. München : Beck, 2005. 317 s.

Weyland K. The Threat From the Populist Left // Journal of Democracy. 2013. №24 (3). P. 18—32.

Whitehead A.N. Essays in Science and Philosophy. L. : Philosophical Library. 1947. 342 p.

Wikariak S. San Escobar już nie dla wszystkich. Trwa walkę o markę. URL: http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/545460,san-escobar-marka-patent (дата обращения: 23.06.2018).

Wiktorowski G. Janusz Palikot jako polityczny skandalista. Kreowanie wizerunku w perspektywie antropologicznej (w stronę antropologii wizerunku) // Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej. Tabu — Trend — Transgresja. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013. T. 1 / red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska. S. 361—380.

Winter J. Historical Remembrance in the Twenty-First Century // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008. № 617. P. 6—13.

Wittgenstein L. Philosophical investigations. L. : Basil Blackwell, 1958. 592 p.

Wolek-Kocur B. Shockvertising. O szokowaniu w reklamie // Skandal w tekstach kultury Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013. T. 2 / pod red. M. Ursela, M. Dąbrowskiej, J. Nadolnej i M. Skibińskiej. S. 65—79.

Wright G. H. von. Explanation and Understanding. Ithaca (NY, USA) : Cornell University Press, 2004. 256 p.

Zeige L. E. From Saussure to sociology and back to linguistics: Niklas Luhmann's reception of significant / signifié and langue / parole as the basis for a model of language change // Semiotica. 2015. № 207. P. 327—368.

Zwierzchowski M. San Escobar — Waszczykowski odkrył nowy kraj, internet oszalał. URL: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1690154,1,san-escobar--waszczykowski-odkryl-nowy-kraj-internet-oszalal.read (дата обращения: 20.12.2021).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ[212]

Абдул-Хамид II 352
Абеляр П. 216
Авдеев А. (Awdiejew A.) 303, 324, 374
Авдонин В. С. 11
Аверинцев С. С. 226
Аверченко А. Т. 62, 63
Авросин С. В. 303
Агеева Н. А. 254
Агеева Р. А. 331
Айзенберг М. 330
Аксаков И. С. 343, 351, 353
Аксаков К. С. 102
Аксаков С. Т. 345
Аксакова В. С. 343, 345
Александр Александрович, великий князь (в дальнейшем: император Александр III) 356, 363
Александр Великий (Македонский) 29, 32, 35
Александров П. С. 112
Алпатов В. М. 53—57, 59, 60, 64
Андерсон Б. 232
Анкерсмит Ф. Р. 118
Анненский И. Ф. 62
Антокольский М. М. 358
Антоновский А. Ю. 147
Апресян Ю. Д. 275
Арендт Х. 273
Аристотель 14, 29, 32, 34—36, 102, 106, 124, 126—128, 152, 209, 215, 216, 352, 380
Арнольд И. В. 302
Артемова Е. А. 301
Арутюнова Н. Д. 276, 323
Ассман А. 226, 249
Аташева К. 288
Ахиезер А. С. 237
Ачкасов В. А. 266

[212] Указатель составлен Г.Л. Тульчинским и Т.В. Белецкой.

Бадью А. 209
Балалуева И. 292, 295
Баранов Н. А. 266
Барт Р. 52, 80, 84, 93, 309, 310, 368
Баум Л. 333
Бахтин М. М. 107, 109, 116, 120, 244, 342
Бахтин Н. М. 109
Безотосный И. А. 297
Белецкая Т. В. 365
Белецкий З. Я. 94
Белинский В. Г. 93, 98
Беловодская А. 297, 298, 330
Белоусова Ю. 290
Бенвенист Э. 20, 21, 24, 25, 40, 43, 48—50, 53, 60, 64, 80, 150, 151, 157
Бентам Дж. 120
Бергер П. 267, 271, 272
Бергсон А. (Bergson H.) 209
Беркли Дж. 216
Берлин И. (Berlin I.) 351
Бернейс Э. 244
Бершидский Л. 266, 337
Бетти Э. 107
Блумер Г. 283
Блумфилд Л. 56, 57, 58
Бобриков А. А. 358
Богатырев П. Г. 102
Богдан Е. Н. 294, 299
Боголюбов А. П. 355, 356
Бодрийяр Ж. 281
Бодуэн де Куртенэ И. А. 56—59, 175
Болтански Л. (Boltanski L.) 199, 200, 202, 204
Больцано Б. 104
Бор Н. 211
Борисенко И. В. 297
Боткин Д. П. 357
Бочкарева Н. 331
Брауэр Л. 211
Брентано Ф. 104
Бубер М. 109
Бугорская Н. В. 53
Будда 82, 332
Булатович А. 110—112

Булгаков С. Н. 111, 112
Бурдье П. (Bourdieu P.) 191, 196—198, 200, 202, 203, 256
Буткевич (Будкевич) И.-К. К. 355
Бухарин С. Н. 239
Быстрова Т. Ю. 294
Бэкон Ф. 14—17, 19, 20, 108, 211
Бюлер К. 173, 175, 178, 182, 183, 188, 189

Вазов И. 348
Валенса Л. 371, 376
Ванова А. 311, 314
Варенцова О. В. 266
Вартазарян С. Р. 68, 70
Васильев А. 246
Вдовиченко А. В. 59
Вебер М. 93, 133—141, 143—146, 177, 189, 192, 283, 366
Вейланд К. (Weyland K.) 266
Вербицкий А. А. 327
Верещагин В. В. 346, 354—356, 358, 360, 361, 363
Верещагин В. В.-мл. 363
Верещагин С. В. 355
Вернадский В. И. 101
Веселов Ю. В. 234
Веселовский В. В. 95, 96
Винер Н. 105
Винкельман И. И. 108
Витгенштейн Л. (Wittgenstein L.) 13, 20, 28, 34, 41, 42, 46, 61, 70—79, 96, 102, 160, 177, 188
Владимир Александрович, великий князь 355, 359
Власенко И. С. 239
Водак Р. 93
Волконский Н. Л. 239
Вольтер 375
Вольф Х. 216
Воропай Т. С. 120
Выготский Л. С. 90, 101, 112, 120, 134, 137, 383
Вяземский П. А. 6

Гадамер Х.-Г. 104, 107, 120
Галилей Г. 214, 261
Галинская Т. Н. 292, 294, 295
Галтунг Й. (Galtung J.) 212, 383

Галумов Э. А. 297
Гартман Р. 127
Гегель Г. В. Ф. 102, 216, 246
Гейзенберг В. 211
Гейтинг А. 211
Герасимов С. В. 221, 232, 255, 260
Гераскина Л. Б. 333
Герген К. 257
Герман V 111
Герцен А. И. 109
Гидденс Э. 268
Гильберт Д. 211
Гирц К. 192
Глазунова С. М. 239
Глинка К. 331
Гоббс Т. 216
Гоголь Н. В. 345
Гомер 30, 32, 67, 68, 260
Горбачева О. Н. 316
Горный Е. 23
Горький М. 168
Гофман И. (Goffman E.) 184, 283, 284
Гравер А. А. 297
Грачёва А. М. 362
Громыко Ал. А. 266
Губер К. (Huber K.) 293
Гуд Т. М. 246
Гумбольдт В. фон. 7, 53, 107, 108, 113, 120, 137, 155, 156, 385
Гуссерль Э. 104, 106, 107, 157, 216, 257
Гютцман Д. (Gutzmann D.) 166, 177, 178, 186, 189

Дамасио А. 118
Данилевский Н. Я. 349
Данилина Н. 317
Данто А. 32, 246
Дейк Т. ван (Dijk T. van) 93, 211, 278, 323
Декарт Р. 6, 216
Делакруа Э. 347, 358, 359, 361
Делёз Ж. 270, 290
Демьянков В. З. 269
Деррида Ж. 44, 118, 120, 376
Джекендорф Р. (Jackendorff R.) 44, 58

Джонсон М. (Johnson M.) 72, 230
Диккенс Ч. 109
Дильтей В. 107
Дмитриева Л. М. 313
Добролюбов Н. А. 98
Дойчман П. 147
Достоевский Ф. М. 168, 363
Драгоманов М. П. 348, 352, 353
Дрю Ж.-М. (Dru J.-M.) 310
Дускаева Л. Р. 304
Душак А. (Duszak A.) 323, 325
Дюркгейм Э. 284, 291

Егоров Д. Ф. 112
Ельмслев Л. 18, 19, 45—47, 50, 74, 89, 138, 151, 153, 154
Ельницкий Л. А. 332
Ермаков И. Д. 90—92
Есильбаева А. 305

Жванецкий М. М. 375
Жданов Р. И. 103
Желтов М. 266
Желтухина М. Р. 331
Женетт Ж. 254
Жерико Т. 359
Жириновский В. В. 301, 305, 374, 376
Жуков Л. Б. 147
Жуковский В. А. 6
Журавская И. Л. 358, 363

Завадская А. В. 311
Загибалова М. А. 329
Звежховски П. (Zwierzchowski P.) 314, 339
Зегерт Д. 266
Зерчанинова Т. Е. 327
Зинкевич О. В. 253
Зинченко В. П. 113
Золян С. Т. 8, 20, 28, 31, 38, 42, 50, 59, 60, 66, 81, 91, 103, 135, 140, 143, 146, 162, 169, 170, 171, 265, 270, 274, 297, 365—369, 372, 376, 378, 379, 381, 383, 386, 387
Зуляр Ю. А. 310
Зырянов Н. 250

Иванов Вяч. Вс. 44, 59
Ивин А. А. 122, 124

Ивлев Ю. В. 132
Ильин М. В. 21, 70, 268, 292, 293, 329, 365, 367—369, 372, 377
Инглхарт Р. 118, 223
Иоаким III 111
Иоанн Златоуст 141
Иоанн Кронштадтский 112
Ионов А. 334
Иткина Е. И. 363

Калинин И. А. 103
Каллер Д. 246
Камп Г. 51
Кандинский В. В. 224
Кант И. 216, 232,
Каплан Д. (Kaplan D.) 37, 177—181, 183—189
Карагодин Д. 250
Карагодин С. 250, 251
Каразин Н. Н. 355
Карнап Р. 20, 78, 106
Карр А. 246
Карташевская М. Г. 343, 345
Карцев Д. 266
Карцев Р. А. 375
Кацис Л. 90
Квят А. 329
Келлер Р. (Keller R.) 204
Керимов Т. 97
Кермоуд Ф. 246
Киклевич А. (Kiklewicz A.) 327, 339, 371
Кирьянов М. В. 239
Кирюхина Е. 97
Китаев В. А. 350
Клеменц Д. А. 350
Клушина Н. И. 309
Князев А. А. 226, 327
Ковалев А. А. 283
Ковалевский П. О. 355
Кожина Е. Ф. 347
Коллингвуд Р. 108, 211
Колмогоров А. Н. 112
Кондратов А. М. 331
Конеген С. 311

Коноплева Т. В. 334
Константинов А. 348
Копосов Н. Е. 235
Коржибски А. (Korzybski A.) 35
Кормишина Г. М. 292
Костин М. И. 333
Костомаров Н. И. 349
Крамской И. Н. 354, 357
Крёгер П. Р. (Kroeger P. R.) 185
Крессвелл М. Дж. (Cresswell M. J.) 28, 31
Крестовский В. В. 354, 355, 361
Крипке С. (Kripke S.) 32, 35, 36, 42, 78, 86, 128, 366, 377—379
Кромптон А. 309
Кручёных А. 87, 92
Куайн У. 182, 274, 370, 377
Кубрякова Е. С. 53
Кузнецова Е. 265
Кули Ч. 283, 284
Кулиговски В. (Kuligowski W.) 314
Кулиш П. А. 345, 349
Кун Т. 107
Кэрролл Л. 88, 89, 333

Лаврентьев М. В. 112
Ладенко И. С. 124, 132
Лакатос И. 107
Лакло Э. (Laclau E.) 93, 270, 271
Лакофф Дж. (Lakoff G.) 72, 230
Лапшин А. О. 267
Ларина Е. 222
Лассвелл Г. 369
Лафарг П. 94
Ле Гуинн У. 333
Левинас Э. 109
Левинсон А. 235
Леви-Стросс К. 83, 85, 290
Левитски С. (Levitsky S.) 266
Лейбниц Г. В. 14, 36, 216, 218, 220
Ленин В. И. 38, 93, 94
Леонтьев А. А. 113
Леонтьев А. Н. 113, 120
Леонтьев Д. А. 113

Леонтьев К. Н. 349
Лессинг Г. Э. 67, 68, 74
Леткова А. П. 359
Ли Р. 131
Липпман У. 244
Листопадов В. 317
Лихачев Д. С. 257
Лобовиков В. О. 124
Локк Дж. (Locke J.) 23, 216
Локстон Дж. (Loxton J.) 266
Лопатина С. 232
Лопиталь Г. Ф. 216
Лосев А. Ф. 112, 120, 323, 385
Лотман М. Ю. (Lotman M.) 22, 24, 36, 44, 258
Лотман Ю. М. 6, 44, 52, 63, 80, 82, 100, 101, 104, 134, 135, 140, 143, 274, 383
Лузин Н. Н. 112
Лукман Т. 267, 271, 272
Луман Н. (Luhmann N.) 7, 133, 134, 136, 137, 140—166, 283, 366, 367
Льюиз Д. (Lewis D.) 25, 31, 35, 37, 179, 366, 367, 370, 379
Льюис К. С. 337
Лютер М. 93, 182

Макаренков М. 322
Макаров Е. В. 365
Макаров Е. К. 354
Макгрегор Г. 332
Маклюэн М. (McLuhan M.) 267, 328
Маковский К. Е. 347, 348, 357—359
Маковский С. К. 359
Малинова О. Ю. 227, 236, 246, 248
Малиновский Б. 26
Мамонтов С. И. 358
Мандельштам О. Э. 46, 47, 82, 91, 97, 112
Марков А. 211
Маркс К. 74, 94
Марти А. 107, 108, 120, 385
Мартин Дж. (Martin J.) 324, 325
Мартин Дж. Р. Р. 336
Марущак А. В. 294
Матурана У. 88, 89, 92
Мацькевич Й. (Maćkiewicz J.) 327
Маяковский В. В. 255

Медведев Д. А. 301—303, 373
Мид Дж. 283, 284
Микешин М. О. 347, 348, 358
Михайлов Ф. Т. 94
Можейко М. А. 326, 327
Монтегю Р. 130
Моррис Ч. (Morris Ch. W.) 9—14, 16, 17, 20—23, 43, 102, 103, 106
Мортон А. Л. 332
Мур Д. 127
Муфф Ш. 93
Мыркин В. Я. 327

Налимов В. В. 61, 112, 223
Нарекаци Г. 92
Неклюдов С. 230
Немирович-Данченко Вас. И. 346, 347, 362
Нестеров А. Г. 266
Нижников С. А. 112
Николаева Т. М. 60, 182
Николай II 111
Николайшвили Г. Г. 313
Никон (Рождественский) 111
Нисский Григорий 110
Ницше Ф. 249
Новиков П. С. 112

Оберг К. (Oberg K.) 310
Огден Ч. К. (Ogden C. K.) 26
Олянич А. В. 309
Оруэлл Дж. 31, 93, 270
Остин Дж. 135, 174—177, 179, 188, 189, 367

Палагина И. 311, 314
Палама Григорий 110
Панина М. А. 331
Парето В. 284
Парсонс Т. 283, 284, 291
Паршенцева Н. 313
Пастернак Б. 66, 83, 84, 112,
Пауль Г. 53
Пашутин С. Б. 309
Перелыгина Е. Б. 294

Петров-Водкин К. С. 364
Пирс Ч. С. (Peirce Ch. S.) 9, 20, 22—28, 33, 41, 43, 45, 48, 66, 68—70, 87, 103, 106, 120, 156, 163, 385
Платон 6, 7, 29, 32, 35, 36, 102, 110, 112, 118, 188, 307, 331
Плунгян В. А. 59, 64
Победоносцев К. П. 352
Полани М. 107
Поленов В. Д. 355—359, 361
Полонский А. В. 309
Полунов А. Ю. 352
Померанц Г. 120
Пономарев В. В. 363
Понтрягин Л. С. 112
Потебня А. А. 107, 385
Поттс К. (Potts C.) 186, 188, 189
Почепцов Г. Г. 243, 244, 293,
Прайор А. И. 33
Пропп В. Я. 223, 333
Проскурин С.Г 253
Пстыга А. (Pstyga A.) 297
Пушкин А. С. 6, 7, 63, 67, 87, 90, 91, 168, 369, 383
Пятигорский А. М. 65, 79, 82, 83, 135

Радаев В. В. 202
Распутин Г. 112
Рассел Б. 32, 254
Рахилина Е. В. 54
Рачева Е. 251
Ревзин И. И. 23
Ренан Э. 249
Репин И. Е. 357, 359
Рикёр П. 92, 107, 246, 282
Ричардс И. А. (Richards I. A.) 26
Родари Дж. 333
Розовский М. 96
Романова Т. В. 53, 293
Росс С. (Ross S.) 194
Рубцова Н. В. 310
Руднев В. 90
Рябов Д. О. 297

Саваоф 110
Савицкий К. А. 357
Саид Э. 348

Саймон Г. 123
Сальникова Е. В. 233
Самойлова Е. О. 287, 288
Сапковский А. 333
Сартр Ж.-П. 216
Сахаров Г. 63
Сахарова Е. В. 359, 360
Свифт Дж. 333, 370
Семирадский Г. И. 354
Серль Дж. (Searle J.) 76, 135, 164, 174, 176, 178, 188, 189, 269, 323, 325, 329, 368, 381, 382
Сидоров А. 233, 237
Сидорская И. В. 293
Симонов П. В. 225
Синицын А. 243
Сладкевич Ж. Р. (Sładkiewicz Ż.) 292, 297—299, 306, 309, 313, 323, 371, 373, 376, 381
Слинин Я. А. 132
Сметанина С. И. 309
Согомонян В. Э. 279, 280
Соколов П. Ф. 355
Сократ 182
Солганик Г. Я. 309
Соловьев В. С. 109
Сологуб Ф. 91
Сонин А. Г. 305
Сорокин П. А. 101
Соссюр Ф. (Saussure F.) 22—28, 36, 40, 41, 43—45, 48, 49, 66, 70, 74, 103, 113, 148—156, 162, 163
Спенсер-Браун Дж. 157
Спиноза Б. 209, 216
Сталин И. В. 94, 236, 242, 250, 276, 302, 308, 315
Станкевич А. В. 350
Стасов В. В. 356, 359, 361, 363
Степанов Ю. С. 37, 53, 54, 60
Стефаний Пермский 111
Столнейкер Р. С. 37, 130, 179, 370
Строганова А. 266
Стросон П. 76, 77
Суворин А. С. 346
Сытин И. Д. 346

Талеб Н. (Taleb N. N.) 221
Талер Р. (Thaler R. H.) 222

Тарский А. 13, 20, 42, 128, 141
Тевено Л. (Thevenot L.)192, 199, 200, 202, 204
Тейлор А. (Taylor A.) 329
Терещенко А. Н. 360
Терещенко Н. А. 360
Тернер В. 118
Тесля А. А. 346, 347, 351, 352, 353
Тихож М. (Cichosz M.) 294
Тойнби А. 246
Толкин Дж. Р. Р. 288, 337
Толстой А. Н. 333
Толстой Л. Н. 34, 35, 37, 345, 362, 363
Тоскани О. (Toscani O.) 316, 317
Трамп Д. 221, 222, 266, 268, 306, 373, 374
Третьяков П. М. 347, 354, 360
Троицкий С. В. 110
Трофимова Н. А. 175
Троцкий Л. Д. 93
Трубецкой С. Н. 109
Тулмин С. 107
Тульчинский Г. Л. (Tulchinskii G.) 113, 121, 122, 124, 128, 132, 211, 212, 226, 229—232, 238, 239, 243, 247, 248, 256, 365, 369, 373, 376—380, 382, 383, 386, 387
Тюпа В. И. 254
Тягло А. В. 120

Уайт Х. 228, 232, 246
Уайтхед А. Н. (Whitehead A. N.) 209
Уортман Р. 352
Успенский Б. А. 9, 135

Фейерабенд П. 107
Фидря Е. С. 191
Фихте И. Г. 216
Фиш С. (Fish S.) 92, 93
Флоренский П. А. 112—114, 120
Фомин И. В. 21, 365
Фомина Е. 251
Фосслер А. 107, 120, 385
Фрай Н. (Frye N.) 88
Фреге Г. (Frege G.) 19, 20, 22, 26—33, 38—40, 42, 43, 61, 104, 106, 113, 162, 172, 260, 365
Фрейд З. 104, 291, 311, 314

Фрэзер Дж. 278
Фуко М. 84, 93, 269, 273
Функе О. 108
Фэркло Н. (Fairclough N.) 325, 326

Хабермас Ю. (Habermas J.) 211, 269, 284
Хабрайская Г. (Habrajska G.) 303, 324, 374
Хайдеггер М. 102, 104, 109, 209, 216,
Хантингтон С. 237
Харрисон Л. 234
Хейм И. 51
Химик В. В. 329
Химшиашвили П. 265
Хинтикка Я. (Hintikka J.) 31, 35, 36, 339, 366, 377, 378
Хлебников В. 18, 82
Холл Е. 127
Холл С. (Hall) 192—194, 196, 206
Холтон Дж. 107
Христос Иисус 82, 94, 110, 112, 141
Хрущев Н. С. 236
Хэллидей М. (Halliday M. A. K.) 5, 104, 134, 144, 164, 323, 324

Цезарь Г. 182
Ценев В. 311
Цилюрик Д. Д. 297
Цымбурский В. Л. 223, 231, 232, 248

Чень И. 131
Черниговская Т. В. 103
Черникова П. Г. 288
Чернов И. А. 135, 140, 143
Черномырдин В. С. 371, 372, 376
Чернышевский Н. Г. 250
Чернявская В. Е. 323
Чехов А. П. 62
Чистяков П. П. 354
Чичерин Б. Н. 350
Чуковский К. И. 371

Шанин Н. И. 211
Шатин Ю. В. 103
Шаумян С. К. 55

Шейгал Е. И. 301
Шекспир У. 83, 84, 383
Шелер М. 216
Шеннон К. 105
Шепель В. М. 294
Шефтсбери Э. Э. К. 108
Ширинкин П. С.
Шкловский В. Б. 108, 118, 211, 376
Шомова С. А. 310, 311
Шпет Г. Г. 107—109, 112, 113, 120
Шпильрейн С. 112
Шрёдингер Э. 219
Шульга Е. Н. 283, 284
Шухарт Г. 108
Шюц А. 271, 272

Щекотуров А. В. 365

Эггинс С. (Eggins S.) 324
Эйлер Л. 216
Эйхенбаум Б. М. 6
Эко У. (Eco U.) 25, 43, 91, 92, 101, 271, 286
Элиаде М. 230
Эллюль Ж. (Ellul J.) 247
Энгельс Ф. 94
Эпштейн М. Н. 102
Эткинд А. 226, 231, 232
Эшер М. 33

Юм Д. 216, 254, 255

Якобсон Р. 33, 68, 69, 71, 80, 91, 173, 174, 176, 178, 189
Ярцева В. Н. 326, 327

Acemoglu D. 212

Badyda E. 330, 338, 341
Bartmiński J. 323
Barwise J. 28
Bell D. S. A. 228, 246
Blank A. 253

Cap P. 305
Chandler D. 22

Davidson D. 28
Donnelan K. 32
Drzał-Sierocka A. 314

Fillmore Ch. J. 184, 188
Foolen A. 175
French T. 120

Gill G. 233
Graham L. 112
Grice P. 323

Hempel C. G. 210
Hodge R. 104

Iedema R. 325

Kampka A. 308
Kantor J.-M. 112
Korzybski A. 35
Kress G. 89, 104, 325
Langacker R. 175
Lasersohn P. 188
Lazari A. 306
Leeuwen van T. 104, 105, 134, 325
Lisiewicz P. 301
Liu W. 325, 326

Maliszewski B. 307
Maurer K. 147
McCloskey D. 211

North D. 212

Ogonowska A. 307

Pawlak-Sobczak K. 314
Perry J. 28
Pisarek W. 294

Randviir A. 103, 105
Riabow O. 306

Segal R. A. 230
Sieńko A. 341
Skudrzyk A. 328
Słobodzian M. 328
Stroud B. 132
Sunstein C. R. 222
Szczerek Z. 336
Szewczyk J. 321
Szpunar M. 328

Thibault P. J. 105
Topolski E. 228
Tóth B. 147, 157

Vendler Z. 31

Wang W. 325, 326
Warda-Radys L. 330, 338, 341
Welzer H. 249
Wikariak S. 341
Wiktorowski G. 293
Winter J. 243
Wolek-Kocur B. 310

Żakowska M. 306
Zeige L. E. 147

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Антропоцентризм в лингвистике 53—56, 59, 60, 64, 65, 213, 232, 234, 263, 290, 297, 310

Внутренняя форма слова 38, 107, 108
Вымышленные миры 15, 16, 323, 331, 336; *см. также* миры

Гибридная реклама 316

Денотат 19—21, 26—42, 68, 74, 88, 97, 162, 209, 213—217, 219, 222, 299, 301, 366, 370

Знак 4, 5, 8—15, 17—36, 39—45, 47—52, 60—64, 66—74, 76—82, 87—89, 91 98—108, 113—115, 119—122, 133, 134, 137, 142, 144—154, 156—163, 165, 173, 177, 178, 190, 193, 206, 210, 213, 214, 218, 230, 235, 260, 269, 277, 279, 282, 286, 289, 293, 301, 305, 307, 308, 313, 323, 327, 330, 366, 370, 374, 383, 384, 387

Идея 7, 21, 40, 57, 106, 121—125, 128—132, 147, 156, 212, 292, 385, 386
Идолы Бэкона 15—17, 20, 21
Иконы, иконичность 9, 33, 35, 66—72, 74, 77—79, 91, 101, 103, 144, 176, 289, 290, 292, 299—301, 303—308, 328, 375
Имидж 292—294, 296, 297, 301, 302, 313
Имя собственное 27, 29, 30, 32—35, 38, 39, 41, 276, 339, 370, 378
Имяславие 110—112, 385
Индексы 9, 35, 61, 69, 101, 103, 133, 173, 179, 188, 371
Интенсиональный контекст 38, 50, 106, 132, 169, 172, 182, 327, 339
Интерпретативные
… сообщества 92, 93, 94
… стратегии 92, 93, 98, 145
Интерпретация 4, 7, 10, 18—21, 24—26, 30, 31, 33, 36, 39, 41—43, 51, 52, 56, 64, 72—74, 80—82, 85—94, 96—99, 105, 106, 115, 120, 130, 131, 133, 135, 144—146, 149, 159, 163, 165, 167, 170, 172, 173, 175, 177, 183, 184, 190—194, 198, 199, 206, 207, 215, 227, 228, 230—232, 234, 235, 239—243, 247, 258, 269, 275, 276, 279, 280, 282—286, 295, 297, 298, 300, 301, 307, 324, 339, 349, 352, 353, 359, 361, 365, 366, 368—370, 377, 378, 382, 383, 386
Информационные войны 238, 239
Истина, истинность 20, 30, 32, 37, 38, 41, 42, 72, 74—76, 78, 82, 86, 91, 93, 94, 121, 123—132, 137—142, 147, 160, 178, 182, 209, 214, 268—271, 274, 276, 339, 368—370; *см. также* корреспондентная теория истины

Истинностное значение 32, 86, 274, 370
Историческая память 226, 240—243, 245—251, 263

Категория выдвижения 299, 302, 308
Категория интериоричности 299, 307
Категория интертекстуальности 307, 308
Категория модальности 305, 308
Категория напряженности 303, 308
Категория проспекции 304, 308
Категория ретроспекции 304, 308
Коммуникативный контекст 39, 41, 51, 89, 145, 170, 195
Коммуникация 4—8, 18, 19, 21, 41—43, 45, 49, 52, 64, 84, 92, 93, 101, 105, 113, 118, 133—135, 137, 142, 145—151, 154—157, 159—166, 170, 173, 175, 187, 190—199, 204—208, 210—213, 222, 228, 232, 233, 237, 238, 243, 247, 251—253, 255—257, 259, 262, 263, 265, 267—271, 277—279, 282—284, 286, 289, 290, 292, 295, 297, 299—301, 305, 309, 310, 313, 314, 317, 322—330, 337, 339, 341—343, 375, 381, 384, 386
Композицинальности принцип 42
Композициональная семантика 42
Контекст 7, 8, 16, 21, 29, 34, 36—39, 41—43, 46, 47, 50—52, 59—64, 70, 77, 80—82, 84—87, 89, 93, 95, 97, 98, 100, 102—106, 109, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 125, 130, 133, 141, 142, 145, 150, 151, 156, 157, 162, 163, 166—172, 177—195, 197, 205—209, 213, 228, 236, 238, 244, 247, 258, 268, 271, 274, 275, 279, 282, 284, 288, 299, 308, 323—328, 330, 337, 339, 341, 348, 359, 369, 371, 374, 375, 378, 382—385, 387
… интенсиональный 38, 50, 106, 132, 169, 172, 182, 327, 339
… коммуникативный 39, 41, 51, 89, 145, 170, 195
… культурно-познавательный 192
… литературный 327, 330
… ситуативный контекст 177, 190, 191, 194, 323, 327, 328
… социально-маркетинговый 341
… языковой 337
Контекстная зависимость 7, 21, 29, 37, 42, 43, 47, 50, 52, 60—62, 80, 82, 84, 86, 87, 120, 133, 150, 170—172, 177, 180, 182, 183, 186—189, 247, 274
Корреспондентная теория истины 42, 75, 76, 141, 160
Культура 4—6, 8, 12, 52, 83, 93, 98, 100—105, 107—110, 112, 113, 115—117, 121, 122, 134, 140, 143, 145, 146, 156, 190—193, 198, 201, 206, 208, 211, 213, 214, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 231, 234—238, 240, 241, 243, 245—253, 258, 259, 261—263, 267, 269, 274, 277, 280, 283, 286—290, 297, 301, 307—311, 314, 322, 324—328, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 341, 349, 374—376, 383—387
Культурно-познавательный контекст 192

Литературный контекст 327, 330
Личностный смысл 113—115, 117—121, 384, 386, 387

Медиадискурс 309, 328, 371
Медиаобраз 292, 294—299, 301, 309, 323, 327, 330
Медиаобраз России 292, 296—299, 301, 308
Медиум 148, 150—157, 159—161, 163, 164, 247
Мем 281, 290, 298, 322, 328—330, 337—340, 372
Метанаука 9—11
Метасемантика 49; *см. также* семантика
Метасемиотика 18, 19, 138; *см. также* семиотика, социальная семиотика
Метаязык 9, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 64, 140—143, 145, 146, 172, 269
Миры
… возможные 7, 17, 20, 21, 30—36, 40—43, 51, 52, 78, 80, 84- 86, 106, 129, 130, 132, 215, 339, 366, 369, 370, 373, 377—379
… воображаемые 165, 273, 274, 331, 373, 374
… вымышленные миры 15, 16, 323, 331, 336
… невозможные 30—33, 36, 130
Модальность 20—22, 30, 31, 33, 39, 41—43, 46, 50, 51, 76, 85, 106, 121, 130, 132, 143, 190, 209, 210, 213, 215, 219, 220, 254, 268, 305, 306, 308, 339, 340, 365, 368, 369, 374, 377, 380, 387
Модально-темпоральное поле 32, 36, 37, 39, 50, 378

Нарративы, наррация 4, 8, 85, 144, 148, 208, 223—238, 243—246, 252—264, 276, 298, 337, 339, 342, 365, 367—369, 373, 380—383, 385—387
Нормативно-ценностные системы 116—118, 121, 122, 124, 126—129, 132, 223, 224, 234, 236, 238, 252, 256, 259, 378, 385—387

Образ 5, 24, 30, 33, 40, 66—78, 116, 128, 129, 193, 202, 212, 216, 228—230, 238, 241—243, 258, 278, 288, 290—300, 303, 304, 306, 308, 310, 314, 316, 317, 321, 322, 324, 325, 327, 329—334, 336—339, 342, 347—349, 353—355, 373, 377, 383
Означаемое 19, 24, 25, 33, 35, 39—41, 51, 68—70, 72, 77, 79, 91, 102, 103, 113, 115, 137, 145, 147, 149, 150, 156, 162, 163, 165, 213, 365, 384, 387
Означающее 24, 25, 33, 35, 39, 40, 51, 68—70, 77, 79, 91, 102, 103, 113, 115, 137, 145, 147, 149, 150, 153, 156, 162, 163, 165, 213, 218, 219, 270, 271, 365, 384, 387
Осмысление 21, 50, 96, 99—102, 105, 107, 113—119, 121—126, 128, 130, 132, 135, 136, 141, 146, 158—160, 179, 180, 184, 189, 208, 212, 223, 226, 227, 229—231, 235, 238, 240, 242, 244—250, 257, 269, 275, 283, 343, 348, 365, 366, 377, 380, 383—386

Принцип трех «С» 313, 314

Реклама 208, 212, 236, 264, 290, 293, 309—322, 376
… гибридная 316
… социальная 236, 309, 313, 314, 316—322
… шоковая реклама (shockvertising) 310, 311, 313, 314, 316—319, 321, 322

Референт, референция 7, 16, 19, 21, 31, 32, 42, 47, 50—53, 61, 67, 74, 75, 78, 80, 81, 84, 86—89, 91, 96, 106, 115, 133, 134, 141, 147, 149—151, 157—159, 162, 163, 168, 170, 171, 178, 181, 183, 184, 188, 189, 223, 269—271, 300, 308, 339, 366, 372, 374

Семантика 4—14, 16, 19—26, 28, 29, 31, 34—38, 40—46, 48—52, 57, 58, 60—64, 70, 71, 74, 77, 80, 81, 83—93, 96, 99, 100, 103, 104, 106, 112, 118—122, 124—134, 138, 144—148, 156, 157, 160, 162, 166, 169—174, 177—189, 193, 213—215, 220, 223, 253, 275, 276, 292, 293, 302, 304, 327, 339, 343, 366, 367, 369—372, 374, 376—379; *см. также* метасемантика

… возможных миров (модальная семантика) 20—22, 30—37, 40—44, 80, 84, 87, 106, 129, 130, 132, 147, 215, 339, 366, 377, 378; *см. также* миры

… гибридная 67, 166, 177, 189

… стереометрическая 100, 121, 122, 124, 129, 132, 367, 368, 383

Семиотика 4—7, 9—15, 17—26, 28, 31, 40—45, 48, 49, 51—53, 60, 66—70, 72—74, 77—81, 83, 84, 88, 89, 91, 96, 100—106, 113, 118—121, 133—135, 137, 139, 140, 143—145, 147, 148, 151, 152, 155—157, 162, 165, 173, 176, 177, 188—190, 219, 259, 287, 293, 297, 299—301, 307, 308, 323—325, 336, 365—367, 375, 385—387; *см. также* метасемиотика, социальная семиотика

… глубокая 100, 118—121, 385

… денотативная 18, 19, 20

… коннотативная 15, 18, 19, 78

Синонимия 37, 38, 74, 170, 171, 292

Ситуативный контекст 177, 190, 191, 194, 323, 327, 328

Словоцентризм 50, 54—56, 59, 60, 64—66, 81

Смысл 4—8, 11, 12, 17—22, 24, 26—42, 46, 47, 50—52, 60—64, 70—74, 76, 77, 80—87, 89, 90, 97—101, 104—126, 128—151, 153—173, 176—183, 185, 189—195, 198, 199, 203—208, 210, 212, 213, 215, 223, 227—231, 235, 237—239, 246, 252, 253, 256, 259—261, 263, 267—271, 273—275, 277—282, 284, 285, 292, 293, 295, 301, 307—309, 311, 314, 322, 326, 327, 329, 365—368, 370—378, 381, 384—387

… объективный 27, 137—140, 144, 145

… социальный 18, 19, 114, 120, 135, 136, 144, 147, 157, 168—170, 176, 177, 179, 180, 189, 282, 284, 384, 386, 387

… субъективный 27, 136—140, 142—144

Смысловая структура опыта 103, 105, 115, 116, 118, 119, 121

Смыслообразование 6—8, 106, 108, 113, 116, 118, 122, 133, 223—225, 271, 292, 298, 300, 304, 307, 309, 322, 326, 342, 376, 378, 386

Социальная реклама 236, 309, 313, 314, 316—322

Социальная семиотика 5, 6, 89, 104, 133—135, 139, 144, 145, 190, 259, 323, 325, 367, 386

Социальное значение 18, 113—117, 120, 121, 126, 175, 179, 184, 188, 189, 295, 300, 305, 313, 337, 384, 386, 387

Социально-маркетинговый контекст 341

Текст 4—8, 12, 18, 21, 36, 37, 40, 41, 43—45, 47—52, 59—67, 73, 74, 78—89, 91—100, 102, 103, 105—107, 120, 133, 137, 143—148, 156, 159, 164, 165, 167, 177, 181, 185, 190—195, 197—200, 203—207, 228, 238, 253—260, 263, 264, 286, 294, 297—305, 307 308—314, 316, 321, 323—327, 340, 341, 343, 349, 352, 359—361, 365—367, 369, 371, 372, 374—376, 378, 380, 381, 383, 386, 387
Текстоцентризм 44, 48—53, 59, 60, 63, 64, 80, 81, 83

Шоковая реклама (shockvertising) 310, 311, 313, 314, 316—319, 321, 322

Экспрессивы 133, 166, 172—189, 305, 308, 327
Экстенсионал 32, 38, 106, 162, 171, 172, 287
Эпатаж 92, 225, 310—314, 321, 322

Языковая игра 7, 13, 20, 42, 50, 52, 62, 71, 121, 166, 169, 177, 188, 375
Языковой контекст 337

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Золян Сурен Тигранович — доктор филологических наук, профессор, профессор Института гуманитарных исследований Балтийского федерального университета им. И. Канта, научный редактор журнала «Слово.ру: Балтийский акцент».

Тульчинский Григорий Львович — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербургский государственный университет; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия.

Герасимов Сергей Викторович — кандидат педагогических наук, доцент кафедры связей с общественностью и коммуникационных технологий СПбГЭУ; научный сотрудник, Санкт-Петербургский государственный университет.

Сладкевич Жанна Ромуальдовна (Żanna Sładkiewicz) — доктор филологических наук, профессор Гданьского университета, заведующий кафедрой прагматики коммуникации и лингводидактики в Институте русистики и востоковедения; заведующий Лабораторией по исследованию речевого воздействия; член Лаборатории по исследованию социолингвистических аспектов речи; заместитель главного редактора научного журнала „Studia Rossica Gedanensia”

Согомонян Виктор Эрнестович — доктор политических наук, кандидат филологических наук, профессор факультета международной журналистики МГИМО (Университет) МИД России, руководитель канцелярии второго экспрезидента Республики Армения.

Тесля Андрей Александрович — кандидат философских наук, старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Фидря Ефим Сергеевич — кандидат социологических наук, на момент выполнения гранта — доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта; член совета исследовательской сети по социологии риска и неопределенности Европейской социологической ассоциации RN22 ESA.

Научное издание

МЕЖДУ МИРОМ И ЯЗЫКОМ:
СМЫСЛ И ТЕКСТ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Монография

Под редакцией С. Т. Золяна и Г. Л. Тульчинского

Редактор *И. О. Дементьев.* Корректор *П. С. Щербаков*
Компьютерная верстка *Г. И. Винокуровой*

Подписано в печать 14.07.2022 г.
Формат 70×100 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 35,4
Тираж 500 экз. (1-й завод 50 экз.). Заказ 69

Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
236001, г. Калининград, ул. Гайдара, 6